

Российская академия наук
Карельский научный центр
Институт языка, литературы и истории



МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПОЛИЭТНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОГРАНИЧНОГО РЕГИОНА

Материалы международной научной конференции,
посвященной 75-летию Института языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН

Петрозаводск
2005

ББК 6/8

УДК 3 + 7/9 (470.22)

Межкультурные взаимодействия в полиэтническом пространстве пограничного региона: Сборник материалов международной научной конференции. Петрозаводск, 2005. 416 с.

Сборник статей содержит материалы научной конференции, состоявшейся 10–12 октября 2005 г. в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Участникам конференции было предложено рассмотреть пограничье как географическое и историко-культурное пространство, осмыслить феномены границ, контактных зон, ареалов взаимодействия людей и идей в социально-демографическом, национальном, религиозном, этнолингвистическом контексте, а также путем обращения к фольклорной и литературной традиции – результату взаимовлияния прибалтийско-финской и славянской культуры. В конференции приняли участие известные ученые и начинающие исследователи академических и университетских центров, институтов и музеев России, Финляндии, Эстонии.

Составитель О. П. Илюха

Секретарь издания А. Е. Беликова

Материалы печатаются в авторской редакции

*Конференция состоялась при поддержке РГНФ (грант 05-01-14022г),
программы Президиума РАН «Поддержка молодых ученых»,
Государственного комитета по делам национальной политики
Республики Карелия*

Сборник публикуется при поддержке РГНФ (грант 05-01-14022г)

ISBN 5-9274-0188-0

© Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН, 2005

© А. К. Байбурин
Санкт-Петербург

Несколько замечаний о резистентности, заимствованиях и взаимовлияниях

Исследование контактных зон является сейчас одной из самых популярных тем. В последнее время «пограничной» проблематике было посвящено несколько конференций (Саратов, Харьков), вышло множество работ, среди которых хотелось бы назвать книгу «Граница и люди. Воспоминания переселенцев Приладожской Карелии и Карельского Перешейка», выпущенную недавно Карельским институтом университета Йозенсуу и Европейским университетом в Санкт-Петербурге (СПб, 2005).

Характер исследований пограничья в последнее время существенно изменился. Если раньше речь шла главным образом о типологии контактов, о различного рода взаимовлияниях разных культурных традиций, то сейчас чаще рассматриваются вопросы идентичности пограничного населения, способы презентации локальных вариантов различного рода ценностных установок и подобные. Однако и прежние сюжеты остаются актуальными. Коснемся известных исследовательских схем, которые используются при рассмотрении контактов русского населения со своими ближайшими соседями. При этом нас будет интересовать в основном характер научного и околонуучного дискурса, ориентированного на проблематику межкультурных контактов.

Хорошо известно, что пограничье и контактные зоны – сферы повышенной политической и идеологической заинтересованности. Взаимодействие «своего» и «чужого» всегда приводит к исключительно мифогенной ситуации. Это касается и науки. Сейчас становится ясно, что многие научные концепты, точнее, те понятия, которые до сих активно используются в языке научного описания (прежде всего такие, как *народ*, *культура*, *традиция* и др.), сформировались во многом под влиянием политических и идеологических установок¹. Политическая подкладка исследовательских тем, связанных с контактными зонами, стала причиной возникновения теоретических конструкций, которые по своему характеру близки к категориям

околонаучных мифов. Применительно к проблематике контактов русской культуры с иноэтничными культурными традициями речь может идти о двух распространенных сюжетах пограничной метамифологии. Рассматриваемые концепции являются примерами исследовательских построений, которые ранжируют пограничную ситуацию с диаметрально противоположных позиций.

Концепция первая: русская культура обладает *резистентностью* (то есть своего рода иммунитетом, невосприимчивостью) по отношению к своим непосредственным соседям. Другими словами, предполагается, что контакты русских со своими соседями носили односторонний характер: русская культура выступала если не исключительно, то преимущественно в качестве донора. Влияние иноэтничных культур на русскую было минимальным (если вообще допускалось). В 1929 г. Д. К. Зеленин пытался доказать, что финно-угорские народы не оказали никакого влияния на русскую культуру². Но широко известной концепция резистентности русской культуры стала после того, как она была сформулирована Д. С. Лихачевым в книге «Поэтика древнерусской литературы» (Л., 1967). Следует иметь в виду, что Д. С. Лихачев формулировал концепцию резистентности в контексте изучения древнерусской литературы по отношению к азиатским традициям. Он писал: «...прежде всего обращает на себя внимание полное отсутствие переводов с азиатских языков. Древняя Русь знала переводы с греческого, с латинского, с древнееврейского, знала переводы, созданные в Болгарии, Македонии и Сербии, знала переводы с чешского, немецкого, польского, но не знала ни одного перевода с турецкого, татарского, языков Средней Азии или Кавказа». И далее: «Как это ни странно, восточные сюжеты проникали к нам через западные границы Руси, от западноевропейских народов» (с. 12). Действительно, в письменной традиции дело обстояло именно таким образом, но мы практически ничего не знаем о сюжетах, передававшихся устным путем.

Затем Д. С. Лихачев выходит за рамки собственно литературных связей и формулирует более общий взгляд на специфику отношений русской культуры к азиатским традициям. Он пишет: «Это несомненно находится в связи с особой резистентностью древней Руси по отношению к Азии. Обращу внимание на следующий факт. В отличие от других стран Восточной Европы в России не было „потурченцев“, „помаков“ – целых групп или районов населения, перешедших в магометанство. До сих пор в Болгарии, в Македонии, в Сербии, в Боснии, в Хорватии есть местности, населенные магометанами из славян. В этих странах сохранились памятники славянской письменности на арабском алфавите. В России, напротив, неизвестно ни одной русской рукописи, написанной восточным

шрифтом. В магометанство переходили только отдельные пленники за пределами страны, но случаев перехода в магометанство целых селений или целых районов страны Россия, единственная из славянских стран, несмотря на существование татаро-монгольского ига в течение двух с половиной веков, не знала» (с. 13). Отсюда следует вывод, ставящий под сомнение еще один широко распространенный миф о том, что Россия являлась своего рода мостом между Европой и Азией. «Это значит подменять географическими представлениями отсутствие точных представлений по древнерусской литературе» (там же).

Нет оснований ставить под сомнение те выводы Д. С. Лихачева, которые касаются древнерусской литературы. Но их распространение на другие сферы культуры не кажутся бесспорными. Можно согласиться с мнением Дмитрия Сергеевича о том, что «не обнаружены сколько-нибудь заметные влияния азиатских стран в русском изобразительном искусстве и архитектуре» (с. 11). Но и сводить восточное влияние лишь к некоторым следам в орнаментальных мотивах (там же) тоже, видимо, не вполне справедливо.

Как и во многих подобных случаях, надежность выводов зависит, во-первых, от наличия материалов, достаточных для этих выводов, во-вторых, от масштаба сопоставления и, в-третьих, от того, о каких сферах культуры идет речь. Концепция особой резистентности русской культуры явно не срабатывает, если мы обратимся, например, к тюркским языковым влияниям. Лексические заимствования из тюркских языков именно в древнерусский период обильны и разнообразны (примерно такая же картина обнаруживается при исследовании пищи, одежды и других сфер культуры).

Показательно, что идея резистентности русской культуры в научных кругах была встречена весьма сдержанно, несмотря на авторитет Д. С. Лихачева. Во всяком случае, она не получила широкого распространения. Зато в околонаучных кругах она приобрела статус концепции, доказывающей самодостаточность русской культуры и ее исключительность. Теперь она уже ориентирована не только на Восток, но и на Запад. В качестве примера приведу отрывок из текста, размещенного в Интернете: «Самобытность и извечная невосприимчивость русских людей ко всяким там губительным для христианских душ *западным веяниям* (выделено мной. – А. Б.) всегда поражала и будет удивлять и впредь все остальные народы мира»³. Думаю, что Д. С. Лихачев рассчитывал на другой эффект.

Концепция вторая: русская культура состоит из сплошных заимствований. В отличие от концепции резистентности, она не имеет

определенного авторства, да и называть ее концепцией можно лишь с большой долей условности⁴. Строго говоря, эта точка зрения не могла не возникнуть в ситуации существования идеи резистентности. Скепсис по поводу русской уникальности может принимать и такие формы, причем речь идет не о каком-то внешнем конструкте, а о вполне внутренней точке зрения. Разумеется, как и всякое око-лонаучное построение, эта позиция тоже имеет под собой некоторые основания. Действительно, в русской истории были периоды, когда приток заимствований был особенно интенсивным. В этом смысле показательным является, например, XVIII в., в течение которого русская культура энергично впитывала западные ценности в самом широком диапазоне. Но затем она не только «берет», но и «отдает». Литература XIX в. являет собой хороший тому пример.

Обе концепции апеллируют к такому глобальному конструкту, как **русская культура**. Собственно только при таком масштабе обе точки зрения находят какие-то подтверждения. Как только меняется масштаб и речь заходит о конкретных локальных процессах в конкретном пограничье и в конкретное время, так обе эти концепции оказываются неустойчивыми. Но на этом уровне, в свою очередь, появляются концепты, которые, как мне представляется, не проясняют, а, скорее, затушевывают реальную картину.

Если мы обратимся к работам, посвященным **конкретным** культурным процессам в пограничье и, более широко, – в контактных зонах, то увидим, что, пожалуй, наиболее частотными понятиями для их описания будут такие, как **взаимовлияния или взаимосвязи**. Эти концепты обычно никак не определяются (вроде бы и так понятно, о чем идет речь), но то, каким образом они используются, не может не привести к мысли, что немалую роль играет их политкорректность. Даже в тех случаях, когда описываются односторонние импульсы, речь идет о взаимовлиянии. Строго говоря, такое описание вполне справедливо, поскольку даже одностороннее влияние ведет к изменению конфигурации обеих контактирующих систем, но подобного рода рефлексии существуют исключительно на теоретическом уровне и эмпирически никак не верифицируются. На практике использование подобных концептов может объясняться только тем, что «так традиционно принято» описывать процессы в контактных зонах, или предполагается, что всегда можно найти примеры влияния в обе стороны.

В результате применительно к контактам русской культуры с иноэтническим окружением мы имеем две, я бы сказал, довольно-таки агрессивные разнонаправленные концепции, апеллирующие к культуре вооб-

ще, а в области исследования локальных зон пограничья, там, где мы вправе ждать конкретных результатов, господствует риторика взаимности. Вообще говоря, «научная мифология» и политкорректная терминология представляют значительный интерес хотя бы потому, что они самим фактом своего существования проблематизируют исследовательское поле. Их, наверное, не следует рассматривать с позиции «хорошо» или «плохо». Появление таких построений и соответствующего метаязыка по-своему диагностично. Они выполняют функцию сигналов о том, что в данной области знаний не все благополучно. Степень осмысленности любой проблематики характеризуется тем, насколько развит язык описания данной проблемы. Когда К. Гирц в своей известной книге «Интерпретация культур» призывал к расширению научного дискурса, он имел в виду прежде всего расширение возможностей интерпретации. Применительно к нашей теме это означает, что принципы описания культурных процессов в контактных зонах требуют серьезного обсуждения.

¹ См. материалы дискуссии «Основные тенденции антропологических исследований» в журнале «Антропологический форум». 2004. № 1.

² Зеленин Д. К. Принимали ли финны участие в формировании великорусской народности? // Тр. Ленинградского общества исследователей культуры финно-угорских народностей. 1929. Вып. 1.

³ <http://samizdat.sol.ru/?q=30&pub=1000&page=33>.

⁴ Что не мешает ее активному обсуждению. См., например, дискуссию на сайте <http://www.lovehate.ru/opinions/20138/2>.

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНИХ ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ

© М. Г. Косменко
Петрозаводск

Основные концепции этноса и проблемы этнической принадлежности культур бронзового века – раннего средневековья в Карелии

К числу сложных проблем изучения далекого прошлого Северо-Западной Европы относится происхождение финноязычных народов. Нужно кратко рассмотреть общие подходы к пониманию этноса и основные концепции генезиса европейских финно-угров с целью определить наиболее перспективное направление исследовательской мысли.

В этнологии второй половины XX в. сложились два основных подхода, отражающие разное понимание этносов. Примордиальный, иначе эволюционный, подход подчеркивает их биологическую основу. Согласно многим зарубежным и российским авторам¹, этническая принадлежность людей обусловлена кровными узами. Многие российские этнологи отдают приоритет объективным компонентам, но критерием разграничения этносов признают субъективное сознание. Отсюда разделение на этносы и историко-этнографические общности, которые обладают сходством культуры, но не осознаются людьми. В археологии ему близки эволюционный и культурно-исторический подходы. Примордиальный подход не вскрывает механизм сложения этнических общностей и противоречит многим фактам неустойчивости этносов и непостоянства их границ. Основным пороком подхода является «схоластическое представление, что статистические множества, обладающие культурной гомогенностью... являются природной основой для социальных субъектов»².

Инструментальный, иначе ситуационный, подход³ подчеркивает зависимость этносов от исторических условий и событий. Этнос рассматривается как особый вид социальной общности. Согласно Ф. Барту⁴, этнические общности – это инструмент достижения индивидуальных целей.

Культуре этноса он отводит второстепенную роль. Другие инструменталисты признают значимость коллективных норм и культуры, которая, по А. Козну⁵, «не является суммой стратегий независимых индивидуумов», а В. А. Тишков⁶ определяет этнос как общность «на основе культурной самоидентификации по отношению к другим общностям». Инструментальный подход акцентирует социальные функции этноса и мотивы самоопределения людей, но не дает ясного представления о специфике этносов, которые фактически приравниваются к социальным группам интересов. Четко не объясняются причины устойчивости расового облика, языка и иных черт культуры этносов. Инструментальный подход перекликается с «новой» археологией, которая придает решающее значение адаптивным функциям материальной культуры.

Оба подхода дополняют друг друга. Наиболее удачной попыткой их объединения, пожалуй, является «практическая теория» Ш. Джоунс⁷. Этот подход можно обозначить как «традиционалистский». Сумма традиций, сложившихся в повседневной практике, с детства формирует сознание людей и, в конечном счете, специфику этносов. Комплексы приобретенных предпочтений оказывают решающее влияние не только на поведение людей в конкретных ситуациях, но и на устойчивые расовые, языковые и культурные черты, если иметь в виду предпочтения в сфере брачных отношений и степень языковой и культурной восприимчивости.

Данному подходу близки взгляды европейских археологов-постпроцессуалистов, утверждающих, что символические «тексты материальной культуры проще расшифровать, чем письменные документы, язык которых нам неизвестен»⁸. Эта установка чревата произвольной расшифровкой символов. Современные создатели изображений обычно объясняют их содержание с помощью зрительных, зачастую случайных образных аналогий, а не смысловых или сигнальных ассоциаций⁹. Отсутствие представлений о смысле таких признанных символических мотивов, как свастика, «ромбы с крючками», «всадницы» и другое, отмечается у карел, вепсов, саамов¹⁰. Данная ситуация понятна. Сознательное отношение к традициям не является необходимым условием их воспроизводства. Воспроизводство материальной культуры – это цепь «запечатленных действий, которые относятся к иному роду сознания, чем то, которое выражают семантика и синтаксис языка»¹¹. Исследователи приписывают осознанные смысловые или информационные цели древним людям, опираясь на свои представления о содержании изображений.

Археологи более или менее успешно выделяют культурные ареалы, но испытывают затруднения с выявлением следов этносов, так как «общности в материальной культуре... не обязательно совпадают с

территорией и границами... древних этнических групп»¹². Этнические границы могут отчетливее проявляться как следствие отторжения чужеродных новшеств. Их надежнее выявлять путем анализа взаимной адаптации разнородных культур.

В современных теориях происхождения финноязычных народов полностью доминирует примордиальный подход. Есть тенденция к крайним эволюционным решениям, когда пытаются найти истоки финно-угорских народов даже в эпохе верхнего палеолита. Примордиалистские версии генезиса финно-угров сводятся к двум концепциям, которые фактически оформились в качестве общих теорий. Это восточная, иначе уральская, и западная теории.

В финно-угроведении долго преобладала восточная миграционная теория. Она основана на модели дерева уральских языков, сложившейся во второй половине XIX в. Западные финноязычные народы рассматриваются как потомки переселенцев из области прародины, которая находилась, по разным версиям, от Алтая до Среднего Поволжья. Многие российские археологи связывали переселение финнов на Запад с культурами каменного века — энеолита. Современные версии (М. Г. Косменко, С. В. Кузьминых, И. С. Манюхин, В. В. Напольских) учитывают новые данные о генезисе культур лесной зоны. Но и для них ключевой вопрос о смене языка в западных регионах остается камнем преткновения.

Восточная теория игнорирует вопрос об отношениях финно-угров с местным населением, кроме антропологов, которые пытались объяснить расовую пестроту финно-угорских народов. Археологи не установили факт массового переселения финно-угров на Запад, нет там и восточной, пермской топонимии, а многие названия близки к поволжским типам¹³. У западных народов преобладают европеоидные черты, заставляющие признать, как минимум, участие местного населения в их формировании. Однако восточная теория не беспочвенна. Лингвисты давно описали сходство лексики финно-угорских языков. В западных регионах есть комплекс элементов культуры железного века восточного происхождения. В расовом облике западных народов и в древней культуре имеется компонент восточного происхождения, но модель восточной прародины финнов противоречит данным антропологии и археологии.

Западная теория объединяет лингвистов — сторонников прародины финнов в ареале от Урала до Балтики (П. Аристэ, Э. Итконен, А. Йоки) и авторов новых моделей формирования уральских языков в образном виде «мангрового дерева», «куста», «зубцов гребня» или «цепи прародин» (К. Виик, А. Кюннап, Я. Пустаи, П. Саммалаhti и др.). С ними перекликаются взгляды тех антропологов, согласно которым в каменном веке между Уралом и Балтикой сложилась североевропейская реликтовая, иначе

«уральская», раса (В. В. Бунак, И. И. Гохман, Г. М. Давыдова, А. А. Зубов и др.). В рамках западной теории различаются две концепции генезиса западных финноязычных народов: балтийская и волго-окская.

Основы балтийской концепции в начале XX в. заложил германский археолог Г. Коссинна¹⁴. По его версии, протофинны – это потомки европейского населения эпохи палеолита, которое позднее продвинулось в Скандинавию и далее в Сибирь до северной Японии. Прародиной индоевропейцев и финно-угров он считал территорию Франции. Современные сторонники балтийской концепции развивают взгляды Г. Коссинны, но не комментируют идею миграции протофиннов в Азию. Они базируются на данных генетики, антропологии и лингвистики, которые с поправками проецируются в каменный век. Зарубежные и российские археологи тоже высказывали мнения о финноязычности населения эпохи мезолита в Прибалтике и Фенноскандии (Д. Ласло, Г. А. Панкрушев, М. Нуньез, П. М. Долуханов, В. Я. Шумкин). Основанием балтийской гипотезы следует признать факт отсутствия преобладающего комплекса восточных черт у населения Прибалтики и Фенноскандии, но балтийская концепция умозрительна, как и восточная теория. Прямые проекции ряда современных черт в глубокую древность приводят к упрощенным эволюционным схемам этногенеза «от Адама». Западноевропейское происхождение языков балтийских финнов и саамов точно не установлено. Остается неясным, где, когда и как сложилось сходство финно-угорских языков и является ли оно реликтом их бывшего общего состояния. Недостатком этой концепции в археологии является отсутствие развитой техники анализа смены культурных типов.

Другой вариант западной теории базируется на идее сложения протофинской общности в центре Русской равнины. В 1950-е гг. оформилась волго-окская гипотеза, согласно которой появление протофиннов в Прибалтике и Фенноскандии связано с распространением в неолите культуры с ямочно-гребенчатой керамикой из Волго-Окского междуречья (П. Аристе, Х. Моора, Л. Янитс, К.-Ф. Мейнандер, К. Карпелан, Х. Лескинен, А. Парпола, П. Саммалаhti)¹⁵. Эта концепция прочнее адаптирована к данным лингвистики и устраняет пробел балтийской концепции, не объясняющей родство балтийских и волжских финских языков. Однако критерии выделения протофинской общности в западных культурах эпохи неолита надежно не обоснованы. Генезис культуры с ямочно-гребенчатой керамикой совершенно не связан с камско-уральским регионом. Поэтому волго-окская концепция не объясняет сходство финно-угорских языков и наличие восточных расовых элементов у западных народов. Сторонники волго-окской гипотезы не доказали распространение данной культуры из Поволжья именно к Северу.

Теория гибридного происхождения финноязычных народов предполагает минимум два разнородных компонента, на основе которых сложились эти этносы. Однако данная концепция слабо разработана. Ее излагали антропологи Г. Ф. Дебец, В. П. Алексеев, Р. А. Денисова, Ю. Д. Беневоленская и другие в виде теории скрещивания европеоидов и монголоидов¹⁶. Она перекликается с полицентрическими моделями сложения уральских языков. Существенное различие морфологии пермских и западных финских языков¹⁷ выводит решение вопроса на пути полицентрической концепции. Проблемой остается сходство лексики финно-угорских языков, которое могло сложиться в ходе взаимной адаптации разнородных этносов. Полицентрическая модель сложения финно-угров с последующей интеграцией с камско-уральским этническим компонентом наиболее перспективна для дальнейшей разработки.

Форма и содержание процессов смены культур Карелии от бронзового века до раннего средневековья значительно различались¹⁸. Эти процессы свидетельствуют о смешанном происхождении западных культур. Культура сетчатой керамики бронзового века Карелии содержит комплекс элементов поволжского происхождения при отсутствии признаков адаптации к субстратной культуре и ограниченной адаптации к местной природной среде. В данном случае вероятны радикальные изменения вплоть до полной смены языка в результате миграции населения из левобережных областей Верхнего Поволжья.

Иначе складывался ананьинский пласт культуры в раннем железном веке. Здесь смешаны поволжские и камско-уральские элементы, более заметна культурная и экологическая адаптация. Можно говорить о диффузии восточного населения и его культуры в среду западных этносов. Нет оснований предполагать смену языка на восточный, кроме внедрения новой лексики. Этот пласт древностей в Карелии связан с южными, лесными, саамами, а сложение ананьинского культурного ареала от Урала до Балтики означало становление финноязычной общности.

Смена культуры в раннем средневековье была обусловлена адаптацией населения к новым историческим условиям. Поселения с лепной керамикой, видимо, отражают ранний этап продвижения в бассейн Онежского озера балтийских финнов, которые прочно здесь не осели и занимались охотой и торговлей. Саамы прекратили производство керамики и продолжали занимать большую часть Карелии. Прежнее уральское направление их связей было переориентировано на бассейн Балтики, и это ускорило обособление южных саамов от восточных и поволжских этносов.

- ¹ Обзоры см.: Jones S. The archaeology of Ethnicity. Constructing identities in the past and present. London and New-York, 1997. Chap. 4; Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983. Гл. 1.
- ² Тишков В. А. Реквием по этносу. М., 2003. С. 136.
- ³ Обзоры см.: Jones S. Op. cit.; Соколовский С. В. Российская этнография в конце XX в. // Этнографическое обозрение. 2003. № 1.
- ⁴ Barth F. Introduction // Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organisation of Culture Differences. Bergen; Oslo; London, 1969. P. 9–38.
- ⁵ Cohen A. Introduction: The Lesson of Ethnicity // Urban Ethnicity. London, 1974. P. xiii.
- ⁶ Тишков В. А. Указ. соч. С. 115.
- ⁷ Jones S. Op. cit.
- ⁸ Hodder I. Reading the Past. Current approaches to interpretation in archaeology. Cambridge, 1991. P. 126.
- ⁹ Иванов С. В. Орнамент народов Сибири как исторический источник // ТИЭ. 1963. Т. 81, гл. 1.
- ¹⁰ Косменко А. П. Традиционный орнамент финноязычных народов северо-западной России. Петрозаводск, 2002. Гл. 1.
- ¹¹ Graves P. Flakes and ladders: what the archaeological record cannot tell us about the origins of language // World archaeology. 1994. Vol. 26, № 2. P. 167.
- ¹² Jones S. Op. cit. P. 122.
- ¹³ Афанасьев А. П. Западные и юго-западные границы гидронимов пермского типа // Тр. Института ЯЛИ Коми филиала АН СССР. Сыктывкар, 1985. Вып. 36; Матвеев А. К. Происхождение основных пластов субстратной топонимики русского Севера // Вопросы языкознания. 1969. № 5.
- ¹⁴ Kossinna G. Der Ursprung der Urfinnen und der Indogermanen und ihre Ausbreitung nach dem Osten. Vortrag gehalten am 18 Juli 1908 // Mannus. Leipzig, 1909. Bd 1.
- ¹⁵ См., например: Moora H. Zur ethnischen Geschichte der ostseefinnischen Stämme // Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja. Helsinki, 1958. № 59. 3; Carpelan C. and Parpola A. Emergence, Contacts and Dispersal of Proto-Indo-European, Proto-Uralic and Proto-Aryan in Archaeological Perspective // MSFOu. Helsinki, 2001.
- ¹⁶ См., например: Дебец Г. Ф. О путях заселения северной полосы Русской равнины и восточной Прибалтики // СЭ. 1961. № 6; Алексеев В. П. Происхождение народов Восточной Европы. М., 1969; Давыдова Г. М. Об участии древнеуральского населения в формировании западных финнов (по материалам антропологии) // Вопросы финно-угроведения. Сыктывкар, 1979.
- ¹⁷ Серебrenников Б. А. Общезыковедческие аспекты теории волн И. Шмидта // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977.
- ¹⁸ Косменко М. Г. Археологические культуры периода бронзы – железного века в Карелии. СПб, 1993.

*© В. И. Хартанович
Санкт-Петербург*

Антропологический состав карельского народа (общность и специфика территориальных групп как результат межэтнического взаимодействия)

Академик К. М. Бэр, один из крупнейших естествоиспытателей XIX в., писал: «Несомненно, нет ни одного государства, для которого

богатое краниологическое собрание представляло бы такой интерес и было бы столь важно и необходимо для изучения его прошлого, как для России»¹.

Основным итогом сбора и изучения краниологических материалов является, во-первых, построение синхронной таксономической классификации, базирующейся на определении степени сходства (генетического родства) между различными близкими по времени популяциями. Во-вторых, строится диахронная классификация, при которой краниологические данные сопоставляются с палеоантропологическими, выясняются истоки формирования современных популяций. Очевидно, что первостепенное значение в таком процессе имеет изучение географической варибельности признаков, выделение антропологических комплексов в составе разных групп населения, определение этнической локализации таких комплексов.

Систематические работы по сбору и изучению краниологических материалов развернулись в советское время, с 1930-х гг. К 1950–60-м гг. советскими антропологами был завершен первый этап антропологического изучения страны. Однако в части, касающейся изучения антропологии населения Северо-Запада России, исследователи сталкивались с проблемой отсутствия материалов. Оставались значительные лакуны, объясняемые отсутствием близкого к современности, и древнего, краниологического материала, в первую очередь, по прибалтийско-финским народам. Объяснялось это и крайне плохой сохранностью костного материала в северных почвах и, возможно, недостаточными усилиями самих антропологов в комплектовании источниковедческой базы краниологических исследований.

На IV Международном конгрессе финно-угроведов в 1975 г. в Будапеште принято специальное постановление, настоятельно рекомендующее обратить особое внимание на накопление «близких к современности» антропологических материалов по финно-угорскому населению и их сравнительное изучение. С 1976 г. в отделе антропологии МАЭ РАН были организованы работы по систематическому сбору и исследованию близких к современности краниологических материалов финноязычного населения Севера европейской части России. Была поставлена задача не только дать общую краниологическую характеристику народа на основании единичной серии черепов, но и исследовать территориальную изменчивость в разных частях ареала его расселения. К настоящему времени эта задача в основной части выполнена. Впервые получены отсутствовавшие в мировых собраниях представительные коллекции по финно-угорским народам России: саамам, карелам, финнам Северо-Западного Приладожья, ижоре, вепсам, коми-зырянам и коми-пермякам (рис. 1). Была получена первая и единственная на настоящее время позднесредневековая краниологическая серия из северной Карелии – из могильника XVII в. Алозеро (Калевальский район).

В выполнении работ с 1998 г. финансовую поддержку оказывают Российский гуманитарный научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований. С 2003 г. исследования продолжились и в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Этнокультурное взаимодействие в Евразии», проект «Историческая антропология человеческих популяций северной Евразии (на материалах коллекций и баз данных МАЭ РАН)», номер Госконтракта 10002-251/П-23/238-244/020703-982.

Собранные в результате длительных экспедиционных работ краниологические материалы были изучены и опубликованы в ряде работ².

Краниологические серии сопоставлены с близкими к современности материалами с территории Восточной Европы и Фенноскандии. Для сопоставления была привлечена 51 краниологическая серия с территории (см. табл.), применялся анализ главных компонент десяти краниометрических признаков.

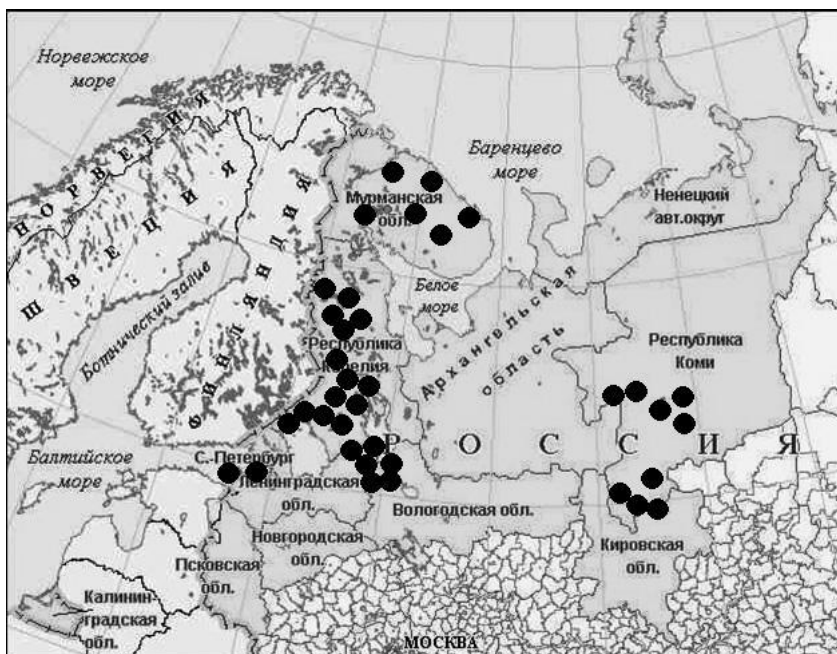


Рис. 1. Собранные краниологические серии VIII – начала XIX в.

Сравнительные краниологические материалы

№	Серия	Этническая группа	Источник
1	2	3	4
1	Липпово	Ижора	Хартанович В. И. Краниология ижор // Расы и народы. Вып. 30. М., 2004.
2	Суйстамо I	Карелы	Хартанович В. И. Краниология карел // Антропология современного древнего населения Европейской части СССР. Л., 1986.
3	Турха	То же	То же
4	Кондиевуара	”	”
5	Пеккавуара	”	”
6	Боконвуара	”	”
7	Компаково	”	”
8	Чикша	”	”
9	Регярви	”	”
10	Варбола	Эстонцы	Марк К. Ю. Вопросы этнической истории эстонского народа в свете данных палеоантропологии // Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956.
11	Аймла	То же	То же
12	Кабина	”	”
13	Ряпина	”	”
14	Кохтла-Ярве	”	”
15	Ингерманланд-цы	Финны	Алексеев В. П. Краниологическая характеристика населения Восточной Фенноскандии (по материалам Г. Ф. Дебеца) // Расогенетические процессы в этнической истории. М., 1974.
16	Суйстамо II	То же	Хартанович В. И. Краниология карел // Антропология современного древнего населения Европейской части СССР. Л., 1986.
17	Куркиёки	”	Хартанович В. И. Краниология населения Северо-Западного Приладожья XIX – начала XX в. // Балты. Славяне. Финны. Рига, 1990.
18	Саво	”	Khartanovich V. Origin of the Baltic-Finns on the bases of craniological series // Physical anthropology and population genetics of Vologda Russians. Helsinki, 1993.
19	Хяме	”	То же
20	Уусимаа	”	”
21	Хельсинки	”	”
22	Варсинайс-Суоми	”	”
23	Петерсере	”	”
24	Южная Похьянмаа	”	”
25	Северная Похьянмаа	”	”
26	Сатакунта	”	”

Окончание табл.

1	2	3	4
27	Архангельская губ.	Русские се- веро-запад- ных губер- ний России	Алексеев В. П. Происхождение народов Вос- точной Европы (Краниологическое исследова- ние). М., 1969.
28	Петербургская губ.	То же	То же
29	Новгородская губ.	”	”
30	Псковская губ.	”	”
31	Олонецкая губ.	”	”
32	Вологодская губ.	”	”
33	Старая Ладога	”	”
34	Себеж	”	”
35	Рухну	Шведы	Алексеев В. П. Краниологическая характери- стика населения Восточной Финноскандии (по материалам Г. Ф. Дебеца) // Расогенетические процессы в этнической истории. М., 1974.
36	Шведы Финляндии	То же	То же
37	Дурбе	Латыши	Алексеев В. П. Происхождение народов Вос- точной Европы (Краниологическое исследова- ние). М., 1969.
38	Западные латыши	То же	То же
39	Лудза	”	”
40	Пургайли	”	Денисова Р. Я. Этногенез латышей (по данным краниологии). Рига, 1977.
41	Кокнесе, Резнес	”	То же
42	Дудиняс	”	”
43	Яункандава	”	”
44	Тервете, Салдус	”	”
45	Леймани	”	”
46	Пулозеро	Саамы Кольского полуострова	Хартанович В. И. Новые материалы к кранио- логии саамов Кольского полуострова // Сб. МАЭ. 1980. Т. 36.
47	Чальмны- Варрэ	То же	То же
48	Варзино	”	”
49	Иоканга	”	”
50	Утсйоки	Саамы Фин- ляндии	Неопубликованные материалы*
51	Иннари	То же	То же

* Автор выражает признательность А. Г. Козинцеву за предоставление неопубликованных данных по саамам Иннари и Утсйоки.

Положение исследованных групп в пространстве I и II главных компонент приводится на рис. 2. К карелам относятся девять серий черепов, представляющих основные группы карельского народа – карел-ливвиков, карел-людиков, группы собственно-карельского диалекта, сегозерских карел³. Специфичность антропологического типа, преобладающего в составе карельского народа, отражена и на графике (см. рис. 2), где карельские популяции занимают в целом отдельный ареал.

Среди краниологических серий карел наряду с общими чертами отмечаются специфические особенности, позволяющие выделить ряд вариантов в пределах общего антропологического типа. Черепа из северной Карелии (Чикша, Регоярви), с территории распространения собственно-карельского диалекта, – наиболее массивные, с очень большой высотой черепа, очень широким лицом, узким, сильно выступающим носом, высокими костями и переносьем. Группы карел-ливвиков и людиков из средней Карелии отличаются от северных преимущественно более узким лицом.

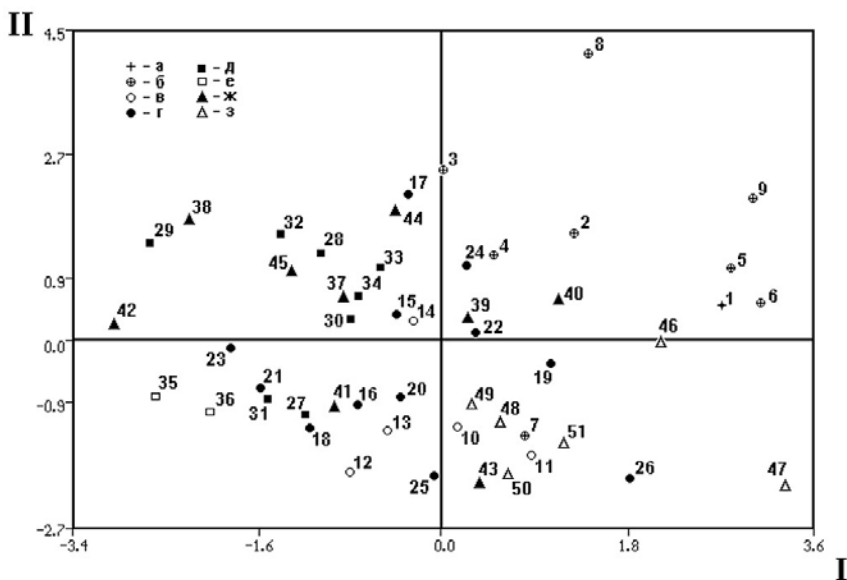


Рис. 2. Положение краниологических серий ижоры, карел, эстонцев, финнов, русских, шведов, латышей, саамов в пространстве I и II главных компонент:

а – ижора, б – карелы, в – эстонцы, г – финны, д – русские, е – шведы, ж – латыши, з – саамы. Нумерацию групп см. в табл.

Особый интерес представляют краниологические серии, происходящие из районов расселения сегозерских карел. В культуре этой этнографической группы данные фольклористики и этнографии фиксируют элементы возможного саамского влияния. В целом вариации признаков черепов карел Сегозерья не выходят за рамки изменчивости показателей в пределах общего для карел антропологического типа, и говорить о сходстве с лапоноидным комплексом можно только как о незначительной тенденции.

Среди материалов с территории Карелии присутствуют и серии, существенно отличающиеся по своему антропологическому типу от остальных карельских. Это, во-первых, одна из групп из Северного Приладожья. В этом районе был изучен могильник XVIII в. Суйстамо, погребения которого в ряде случаев удалось разделить на лютеранские и православные. По основным характеристикам материалы из лютеранских погребений (Суйстамо II) явно отличны от черепов из захоронений с православным обрядом (Суйстамо I). Первые близки к финским, тогда как черепа из православных погребений близки к карельским. Такой факт подтверждает аргументы о том, что карелы в этом регионе сохраняли свое религиозное и культурное своеобразие. Но он говорит и о том, что карелы в Северном Приладожье сохраняли и специфику антропологического типа.

Судя по данным краниологии, иные процессы имели место при формировании антропологического состава населения Северо-Западного Приладожья⁴. Краниологическая серия из Куркиёки, представляющая население Северо-Западного Приладожья конца XVIII – начала XIX в., оказалась однородной в антропологическом отношении и промежуточной по многим признакам между финскими и карельскими черепами, но ближе к последним. Такая однородность свидетельствует о законченности процессов метисации финского и карельского населения в этом регионе, а ее промежуточное положение при сдвиге в «карельскую» сторону – о значительной доли участия карельского субстрата в сложении антропологического типа жителей юго-западной Карелии этого периода.

Вторая серия черепов, по своим особенностям резко отличающаяся от остальных карельских, происходит с территории Беломорского района и была получена из могильника близ дер. Компаково. Антропологический комплекс черепов из Компаково наиболее близок к саамскому антропологическому варианту, представленному в тундровых, прибрежных группах саамов Кольского полуострова. Эти группы саамов, в свою очередь, по всей вероятности, являются смешанными по происхождению, включившими в свой состав разнообразных европейских пришельцев.

Таким образом, собранные материалы выявили, с одной стороны, общность и специфичность распространенного в составе карел комплекса антропологических особенностей, с другой – наличие в составе карельского народа локальных антропологических вариантов, свидетельствующих о межэтнических контактах, особенно заметных в зонах погранично-го проживания этнических групп.

Следует подчеркнуть, что в составе каждого, не только карельского, народа имеется какое-то количество локальных групп, попадающих по своим антропологическим особенностям не на «положенное» им место в пределах «своего» этноса, а в состав антропологического варианта других этнических или даже лингвистических групп. Данные всех систем антропологических признаков, безусловно, свидетельствуют о том, что понятия «этнос», «языковая группа», «антропологический тип» не синонимы. В составе «этноса» могут быть и, как правило, присутствуют представители разных антропологических типов.

Примененные методы анализа, таким образом, предоставляют возможность сделать следующие выводы о взаимоотношении изученных групп. Очевидна отчетливая антропологическая близость серии черепов ижоры к карельским краниологическим материалам, позволяющая предполагать тесное генетическое родство и единую основу формирования двух этих народов.

В составе финноязычных народов (карел, коми-зырян, ижоры) в результате проведенных исследований был выявлен очень специфичный комплекс признаков. Представители этих народов сходны между собой и по данным других систем антропологических признаков, прежде всего соматологии. На стоматологических материалах этот комплекс признаков получил название «восточнобалтийского» («балтийского») антропологического типа⁵. Однако данные соматологии в силу ограниченности возможностей диахронного анализа не давали ответа на вопрос об истоках формирования такого комплекса.

Краниологические данные показали, что данный комплекс отличает карел, ижору и коми-зырян от остальных близких к современности серий черепов с территории Евразии, в том числе и их лингвистических «родственников» (финнов-суоми, эстонцев, вепсов, поволжских финнов). Именно на краниологических материалах удалось найти ближайшие аналогии этому комплексу – только среди древнейших (мезо-неолитических) жителей восточнобалтийского ареала.

Ретроспективный анализ показывает, что среди всех более ранних палеоантропологических материалов как рассматриваемой территории, так и Евразии в целом аналогичными особенностями обладают только черепа из мезо-неолитического могильника Звейниёки, расположенного в Латвии⁶. Дан-

ный факт, конечно, нельзя рассматривать как свидетельство прямой генетической преемственности части современных прибалтийских финнов с населением, оставившим этот памятник. Скорее всего, его следует связывать с сохранением в отдельных, в ходе исторического развития наименее подвергавшихся разнообразным влияниям популяциях Северо-Запада России и Восточной Прибалтики древнейшего на этой территории антропологического типа. Речь идет о североевропейском антропологическом типе, распространенном в мезолите на огромных пространствах Европы, от Западного и Восточного Прионежья и Украины до Югославии, Дании и Южной Швеции и генетически происходившим от верхнепалеолитического населения европейской северной приледниковой зоны⁷. Один из вариантов этого комплекса представлен черепами из могильника Звейниёки.

Обоснование гипотезы об антропологической преемственности древних, мезо-неолитических и части современных жителей северо-запада Восточной Европы требует ответа на вопрос, почему данный комплекс признаков не был выявлен ранее на других материалах. Нам представляется, что это зависело от степени антропологической изученности древнего и современного населения, территориальной и хронологической репрезентативности введенных в научный оборот краниологических данных. Справедливо предположить, что консервация древнейших антропологических комплексов в этом регионе, отличавшемся интенсивностью миграционных процессов, могла происходить в двух случаях. Они могли сохраняться либо в занимающих географически относительно изолированную территорию группах населения (например, у карел и коми-зырян, где такой тип распространен практически повсеместно), либо в отдельных популяциях, дисперсно и случайно распространенных во времени и пространстве по всему ареалу. Естественно, что при последнем условии частота встречаемости таких комплексов будет невысокой, но увеличивающейся по мере накопления данных. Такие примеры нам известны – упомянутый латвийский могильник Пургайли XVIII в., где особенности древнего типа представлены в «ослабленном» виде. Зафиксирован этот комплекс признаков и в недавно введенных в научный оборот краниологических материалах из «каменных ящиков» славянского средневекового могильника Раглицы, расположенного в Новгородской области.

⁷ Baer K. Nachrichten über die ethnographischer-craniologische Sammlung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg // Bull. de la classe physico-mathématique de l'Acad. imp. des sciences de St. Petersburg. 1859. Т. 17, № 12, 13, 14.

² Гохман И. И., Лукьянченко Т. В., Хартанович В. И. О погребальном обряде и краниологии лопарей // Полевые исследования Института этнографии 1976 г. М., 1976; Хартанович В. И. Результаты исследования новой краниологической серии саамов // Полевые

исследования Института этнографии 1978 г. М., 1980. С. 181–188; Он же. Новые материалы к краниологии саамов Кольского п-ова // Сб. МАЭ. 1980. Т. 36; Он же. Краниология карел // Антропология современного и древнего населения Европейской части СССР. Л., 1986; Он же. Краниологии населения Северо-Западного Приладожья XIX – начала XX в. // Балты. Славяне. Финны. Рига, 1990; Он же. Краниология коми-зырян // Сб. МАЭ. 1992. Т. 44; Он же. Материалы к краниологии финнов // Антропология сегодня. Вып. 1. 1995; Он же. Финноязычные народы Северо-Западной России по данным физической антропологии. Краниология // Прибалтийско-финские народы России. М., 2003. С. 32–38; Он же. Новые краниологические материалы по саамам Кольского полуострова // Палеоантропология, этническая антропология, этногенез. СПб, 2004. С. 108–125; Он же. Краниология ижор // Расы и народы. Вып. 30. М., 2004.

³ Хартанович В. И. Краниология карел.

⁴ Он же. Краниологии населения Северо-Западного Приладожья...

⁵ Витов М. В., Марк К. Ю., Чебоксаров Н. Н. Этническая антропология Восточной Прибалтики // Тр. Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции. М., 1959. Т. 2; Происхождение и этническая история русского народа // Тр. Института этнографии АН СССР. Нов. сер. 1965. Т. 86; Марк К. Ю. Антропология прибалтийско-финских народов. Таллин, 1975.

⁶ Денисова Р. Я. Антропология древних балтов. Рига, 1975; Она же. Этногенез латышей (по данным краниологии). Рига, 1977.

⁷ Гохман И. И. Новые палеоантропологические находки эпохи мезолита в Каргополье // Проблемы антропологии древнего и современного населения севера Евразии. Л., 1984; Он же. Антропологические особенности древнего населения европейской части СССР и пути их формирования // Антропология современного и древнего населения европейской части СССР. Л., 1986.

© В. Ф. Филатова
Петрозаводск

Этнокультурные аспекты в изучении мезолитических древностей на территории Карелии

Вопросы происхождения и этнокультурной принадлежности мезолитических древностей на территории Карелии приобретают особую значимость в ходе изучения этноисторических процессов, в частности, при попытках связать их с историческими этносами финно-угорской языковой семьи. Вместе с тем не в полной мере разработаны фундаментальные для этноистории понятия «этнос» и «этничность», не установлены значение и вес определяющих признаков, их историческая глубина¹. Понимая это, исследователи предлагают не реконструкцию древних этносов, а изучение процесса этногенеза комплексно, с использованием всех источников (археологии, лингвистики, антропологии и пр.), поскольку разные их виды отражают различные аспекты этнических реальностей и стороны жизни людских сообществ. При этом полагают, что для каждого временного

отрезка человеческой истории существует свой набор основных источников. Для эпохи первобытности таковыми могут служить лишь археология и антропология. Проследить этнические процессы для этого времени по археологическим данным можно по пути выявления изменений определенного характера в материальной культуре. Антропология, в свою очередь, способна выявить другие стороны этих процессов². В свете обозначенных подходов попытки ряда исследователей найти истоки народов финно-угорской языковой семьи в палеолите – мезолите³, по меньшей мере, преждевременны. На современном этапе археологических знаний в восточноевропейской лесной зоне и Фенноскандии о происхождении и этнокультурной принадлежности (точнее, об этапах культурогенеза) комплексов и их групп (культур) эпохи камня можно судить путем выявления направленности связей и аналогий отдельным элементам материальной культуры⁴. Это относится к мезолитическим древностям Карелии.

Практически все исследователи сходятся на том, что их появление в регионе (то есть его заселение) произошло в результате миграции населения в голоцене из ранее освободившихся от последствий оледенения областей на уже благоприятные по природным показателям новые территории. Различия наблюдаются в оценке направлений движения и времени заселения. Существуют разные взгляды на эти проблемы. Так, до сих пор принимается гипотеза о Зауральском – Приуральском происхождении ранних комплексов, их протосаамской принадлежности (кварцевый мезолит, 10 тыс. до н. э.) и протофинно-угорской более поздних (кремневый мезолит, с 8 тыс. до н. э.) из Волго-Окского междуречья⁵. Первые насельники, считал Г. А. Панкрусев, достигли Финляндии. На этой основе сложилась единая для обоих регионов кварцево-сланцевая культура аскола-суомусъярви, переросшая затем в культуру сперрингс. В протоугро-финской среде в юго-восточной Карелии впоследствии появляется ямочно-гребенчатая керамика.

Некоторые исследователи процесс заселения Карелии связывают с движением потомков свидерского населения в ходе его распространения с территории первичного обитания на северо-восток, в центральные области Русской равнины, в Карелию и восточные районы Финляндии, полагая их предками народов финно-угорской языковой семьи⁶. Другие, не ставя вопрос об этнической принадлежности населения, считают вероятным заселение с начала пребориала из области кундско-бутовской культурной общности по Карельскому перешейку, далее – в Финляндию и по Онежско-Ладожскому на берега Онежского озера⁷ или связывают его генезис непосредственно с культурой кунда Восточной Прибалтики⁸. По мнению Л. В. Кольцова, комплексы «кремневого мезолита» родственны бутовской культуре и появились в ходе ее распространения с Верхней

Волги на север⁹. Полагают также вероятным заселение края из области веретинской культуры Восточного Прионежья в ходе продвижения ее населения западнее, где оно смешивалось с какими-то местными группами, возможно, теми, которые представлены особями с монголоидными признаками в Оленеостровском могильнике¹⁰. Высказано мнение о заселении Карелии и восточных районов Финляндии из области Восточного Прионежья¹¹.

По-видимому, окончательное решение проблемы происхождения и этнокультурной принадлежности мезолитического населения Карелии и, тем более, его связи с историческими этносами территории – дело будущего. Пока следует обратить внимание на некоторые обстоятельства, без учета которых все предлагаемые гипотезы выглядят малодоказательными. В их ряду отношения мезолитических комплексов Карелии и финляндских типа аскола-суомусъярви. Некоторые из археологов отрицают существование этапа аскола в качестве древнейшего, культуру суомусъярви считают локальной, охватывающей преимущественно северное побережье Финского залива, а мезолит в целом – однородным по генезису и культурной принадлежности¹². Согласно другим представлениям, комплексы западных районов связаны с кругом западноевропейских культур, а восточные и часть северных древностей – с постсвидерскими культурами Восточной Европы, при этом допускается заселение крайних северных участков с севера Норвегии или Швеции и наоборот. Допускают также заселение Финляндии и пограничных районов Карелии с территории культуры кунда, рассматривая последнюю как обширный ареал родственных культур от Балтийского моря до Восточного Прионежья включительно¹³. Вместе с тем в последнее время приведены вполне убедительные доказательства отличий комплексов типа суомусъярви и северных-северо-западных карельских¹⁴, хотя вывод исследователя об однородности последних и восточнофинляндских, на наш взгляд, не соответствует показателям фактических материалов. Совершенно очевидно также, что отличительные мезолит Финляндии признаки¹⁵ не имеют аналогов в мезолитических комплексах остальной части Карелии и утверждения об их сходстве и родстве не более как длительное время существующее заблуждение.

Следует иметь в виду локализацию известных к настоящему времени мезолитических древностей на территории Карелии группами на участках, прилежащих к разным эколого-географическим микрорегионам и отделенных друг от друга водоразделами, что во многом определяло направленность путей освоения и, в конечном итоге, генезис первого населения. Это не позволяет решать вопросы их происхождения суммарно.

Выделяются две такие крупные группы памятников: 1 – в северо-западных-северных районах бассейна Белого моря и 2 – в бассейне Онежского озера. Мезолит в юго-западной-западной части края практически не изучен, скудные материалы известных там нескольких стоянок культурной атрибуции не поддаются. В силу этого все предположения о путях и времени ее заселения некорректны.

Установлено также, что характер существующих отличий между комплексами мезолита двух намеченных групп препятствует их объединению в единую культуру. Северо-западные-северные комплексы явно тяготеют к мезолиту Кандалакшского берега Белого моря и опосредованно южных районов Кольского полуострова, что позволяет предполагать их генетическую связь именно с данными областями. Взаимосвязи их с восточнофинляндскими окончательно не изучены, но родственность маловероятна¹⁶.

Мезолит в бассейне Онежского озера представлен значительным числом материалов, близость которых по всем существенным показателям позволяет объединить их в одну онежскую мезолитическую культуру. В нее органично входят «кварцевые и кварцево-сланцевые» и «кремневые» комплексы. Как самостоятельное сообщество (археологическая культура) она, безусловно, складывалась на месте с начала – середины 7 тыс. до н. э. в ходе адаптации к новым природным условиям мигрировавших на берега Онежского водоема групп близкородственного населения¹⁷.

Вопросы этнокультурной принадлежности онежского мезолита в полной мере могут быть решены в русле исследований данного круга проблем для известных культурных образований восточноевропейской лесной зоны. В настоящее время исходные для него культурные сообщества намечаются предположительно по сумме признаков сходства в материальной культуре. Наиболее тесными они оказываются с веретинскими, с комплексами на южном побережье Онежского водоема (вне границ онежской культуры), бассейна р. Шексны и позднебутовскими или производными от них бассейна Верхней Волги.

Онежские комплексы (в рамках «кремневого» мезолита) принято включать в круг постсвидерских, понимая их как отсегментовавшиеся части более ранней по времени бутовской или кундско-бутовской общности с единой свидерской основой, но также с участием некоторых западноевропейских и местных финальнопалеолитических элементов¹⁸. Существуют и другие мнения. Так, веретинскую культуру считают генетически связанной с североевропейскими круга маглеме¹⁹. Окончательно не определена принадлежность шекснинских комплексов, при этом отрицается генетическая связь их и родственных им

по происхождению некоторых онежских с культурой кунда, но признается исходной для всех свидерская основа²⁰. Высказано мнение о сложении бутовской культуры на базе более ранних по времени рессетинских комплексов с основой в финальнопалеолитических памятниках Русской равнины и при небольшом числе свидерских элементов заключительного этапа существования²¹. Предполагают также, что распространенная на локальной территории палеолитическая свидерская индустрия не имела продолжения в бутовской культуре, свидероидные наконечники стрел, на основе которых главным образом устанавливается родство с ней восточноевропейских мезолитических культур, могут иметь независимое происхождение; близкие им формы есть в финальнопалеолитических материалах Русской равнины²².

При всем многообразии мнений на истоки и механизмы сложения раннемезолитических культур в восточноевропейской лесной зоне, южные-юго-западные направления их связей признаются всеми исследователями. По-видимому, эти культуры действительно складывались в процессе консолидации разных групп верхнепалеолитического населения, возможно, родственных по каким-либо признакам, например, по принадлежности к большой европеоидной расе. Необходимо выяснить долю участия каждой из групп, определивших, в конечном итоге, генезис нового образования. Более поздние по времени формирования культуры северных областей Восточной Европы, в частности онежская, отражают продолжавшийся процесс освоения новых территорий в послеледниковое время. Насколько можно судить по имеющимся данным, исходными для нее послужили группы населения культурных образований из приграничных областей к югу-юго-востоку, но не восточнее бассейна р. Онеги и не южнее бассейна Верхней Волги. Этот вывод подтверждается отсутствием аналогов в материалах средневычегодской²³, камской и усть-камской культур²⁴. По-видимому, следует исключить западные-юго-западные территории, если исходить из отсутствия черт сходства с культурой кунда, иеневской и привалдайской.

Веским аргументом в пользу предположения об этнокультурных связях онежского мезолита с определенным кругом культур бассейнов Верхней Волги и р. Онеги и опосредованно с финальнопалеолитическими культурными образованиями Русской равнины являются заключения о принадлежности погребенных в Оленеостровском могильнике к ранним недифференцированным типам в рамках европеоидного расового ствола²⁵. В отличие от мнений других исследователей, признающих среди погребенных наличие форм азиатского круга и метисных²⁶, они более всего согласуются с материалами онежской культу-

ры, населению которой, несомненно, принадлежал некрополь. Проникновение монголоидных типажей в северные области Восточной Европы большинство антропологов относят к намного более позднему, чем мезолитическое, времени. В этих областях и в Карелии первое появление восточных элементов материальной культуры, которые ретроспективно можно связывать с культурами предков финноязычных народов, согласно археологическим данным, фиксируется не ранее начала железного века²⁷.

Вопросы смены культуры мезолита на неолитические разрабатывались в предварительном плане лишь для района бассейна Онежского озера. Выяснилось, что как самостоятельная этнокультурная единица онежская культура не имела продолжения. Материалы свидетельствуют о явном упадке во всех сторонах жизни общества в финальную стадию на рубеже 6–5 тыс. до н. э., об отсутствии ресурсов для дальнейшего развития. Общество было не готово к назревшим качественным преобразованиям в индустрии камня и к восприятию новаций. Хронологически на этой территории ему наследовало новое культурное образование, сложившееся в результате появления нового населения – носителей керамики сперрингс. Вопрос о культурной преемственности основанной ими культуры от мезолитической решается, таким образом, отрицательно. Немногочисленное местное население оказало незначительное влияние и было поглощено пришельцами, уже владевшими керамическим производством и неолитической техникой и технологией в индустрии камня. Смена населения, однако, не означает кардинальной смены антропологического типа. По данным антропологов²⁸, носители верхневолжской ранненеолитической керамики, с которой большинство исследователей связывают происхождение керамики типа сперрингс, принадлежали к европеоидному расовому стволу.

В ходе сравнительного изучения онежских мезолитических комплексов и сопровождающего неолитическую ямочно-гребенчатую керамику каменного инвентаря выяснилось наличие значительного по продолжительности (минимум 700 лет) временного разрыва. Каменная индустрия культуры ямочно-гребенчатой керамики характеризует развитую стадию неолита и не имеет истоков в мезолитической в бассейне Онежского озера. В Карелии ее появление обеспечил поток нового населения со своими традициями во всех сторонах жизни. Взаимосвязи его с населением культуры сперрингс до конца не выяснены, но в области каменной индустрии культурная преемственность отсутствует. Не исключается смена физического типа, но гипотеза о «лапоноидности» населения макрокультуры с ямочно-гребенчатой системой орнамента керамики²⁹ явно противоречит существующим представлениям о месте ее сложения и территории

распространения. Вероятнее всего (если иметь в виду данные сравнительного языкознания, антропологии и археологии по более поздним эпохам), это произошло не в рамках уральской языковой семьи и монголологизированных сообществ, то есть вне среды, послужившей основой для исторических этносов финно-угорской языковой семьи.

¹ Рыбаков С. Е. Этничность и этнос // ЭО. 2003. № 3. С. 3–24; Белков П. Л. О методе построения теории этноса; Анфертьев А. Н. Прологомены к изучению этнической истории // Этнос и этнические процессы. М., 1993. С. 48–69.

² Косменко М. Г., Кочкуркина С. И. Вопросы истории населения древней Карелии // Археология Карелии. Петрозаводск, 1996. С. 362–385; Косменко М. Г. Основные проблемы и методики изучения древностей Карелии // Там же. С. 8–35; Напольских В. В., Наговицин Л. А. Заметки о «кризисе жанра» в финноугроведении: к методологии этногенетических исследований // Исследования по этногенезу и древней истории финноязычных народов. Ижевск, 1990. С. 3–10.

³ Панкрушев Г. А. Мезолит и неолит Карелии. Ч. 1, 2. Л., 1978; Денисова Р. Я. Проблема наличия монголоидного компонента в составе древнего населения Восточной Европы // Неолит лесной полосы Восточной Европы. Антропология Сахтышских стоянок. М., 1997. С. 42–54; Carpelan C. Late Palaeolithic and Mesolithic Settlement of the European Nord-Possible Linguistic Implication. // MSFOu. Helsinki, 2001. P. 37–53; Nunez M. Old and new ideas about of the Finns and Saami // RPNE. 1998. 1. P. 151–160.

⁴ Ошибкина С. В. Веретье 1. М., 1997. 203 с.

⁵ Панкрушев Г. А. Мезолит и неолит Карелии. Ч. 1: Мезолит. Л., 1978.

⁶ Carpelan C., Parpola A. Emergence Contacts and Dispersal of Proto-Indo-European Proto-Uralic and Proto-Aryan in Archaeological Perspective // MSFOu. Helsinki, 2001.

⁷ Жилин М. Г. К вопросу о пионерном заселении южной Карелии и Финляндии в раннем голоцене // Вестник КГКМ. 2002. Вып. 2. С. 3–15.

⁸ Косменко М. Г. Многослойные поселения южной Карелии. Петрозаводск, 1992.

⁹ Кольцов Л. В. Варианты развития культурных общностей мезолита Северной Европы // ТАС. 2000. Вып. 4, т. 1. С. 52–56.

¹⁰ Ошибкина С. В. Указ. соч.

¹¹ Шахнович М. М. Древнейший этап освоения человеком территории Карелии и Финляндии в период поздне- и последнедиковья (к постановке проблемы) // ТАС. 2000. Вып. 4, т. 1. С. 80–86.

¹² Matiskainen H. Studies on the Chronology Material Culture and Subsistence Economy of the Finnish Mesolithic (10000-6000 BP) // Iskos. 1989. № 8.

¹³ Schulz N. Suomen varhaismesoliittisen alkuperästä // Muinastuikija. 1998. № 4.

¹⁴ Шахнович М. М. Памятники эпохи мезолита в Фенноскандии (провинция Кайну) // ТАС. 1998. Вып. 3. С. 147–157.

¹⁵ Luho V. Die Suomusjärvi-kultur // SMAFFT. Helsinki, 1967.

¹⁶ Филатова В. Ф. Мезолитические памятники Карельского побережья Белого моря // Природное и культурно-историческое наследие Северной Фенноскандии. Петрозаводск, 2003. С. 120–123.

¹⁷ Она же. Мезолит бассейна Онежского озера. Петрозаводск, 2004.

¹⁸ Кольцов Л. В., Жилин М. Г. Мезолит Волго-Окского междуречья. М., 1999.

¹⁹ Ошибкина С. В. Указ. соч.

²⁰ Косорукова Н. В. Памятники типа Андозера М в бассейне Шексны // ТАС. 1998. Вып. 3. С. 162–167; Она же. Мезолитические памятники в бассейне р. Шексны // ТАС. 2000. Вып. 4, т. 1. С. 91–98.

²¹ Сорокин А. Н. Мезолит Жиздринского Полесья. М., 2002.

- ²² Желтова М. Н. Некоторые технико-морфологические особенности свидерской индустрии // ТАС. 2000. Вып. 4, т. 1. С. 15–21.
- ²³ Волокитин В. А. Мезолит // Археология Республики Коми. М., 1997. С. 91–145.
- ²⁴ Косменко М. Г. Мезолит Среднего Поволжья // КСИА. Вып. 149. 1977. С. 94–100; Галимова М. Ш. Памятники позднего палеолита и мезолита в устье р. Камы. Мю-Казань, 2001.
- ²⁵ Якимов В. П. Антропологические материалы из неолитического могильника на Южном Оленьем острове // Сб. МАЭ. 1960. 19. С. 221–260; Алексеева Т. И. Неолитическое население лесной полосы Восточной Европы // Неолит лесной полосы Восточной Европы. Антропология Сахтышских стоянок. М., 1997. С. 18–41.
- ²⁶ Жиров Е. В. Заметки о скелетах из неолитического могильника Южного Оленьего острова // КСИИМК. 1940. Вып. 4; Беневоленская Ю. Д. Расовый и микроэволюционный аспекты краниологии древнего населения Северо-Восточной Европы // Балты, славяне, прибалтийские финны: этногенетические процессы. Рига, 1990; Гохман И. И. Оленеостровский могильник на Онежском озере как источник расогенеза населения Северо-Запада России и Финноскандии // Междунар. конф., посвященная 100-летию со дня рождения проф. В. И. Равдоникаса: Тез. докл. СПб, 1994. С. 53–54.
- ²⁷ Косменко М. Г. Археологические культуры периода бронзы-железного века в Карелии. СПб, 1993; Манюхин И. С. Происхождение саамов. Петрозаводск, 2002.
- ²⁸ Алексеева Т. И. Указ. соч.
- ²⁹ Алексеева Т. И., Крущ С. И. Древнейшее население Восточной Европы // Восточные славяне: антропология и этническая история. М., 2002. С. 254–278.

© С. И. Кочуркина
Петрозаводск

Древние карелы в финляндских исследованиях*

Финляндские исследователи внесли существенный вклад в создание источниковой базы для изучения этнокультурной истории древних карел. Археологические памятники раннего средневековья на Карельском перешейке стали известны благодаря работам Петтера Теодора Швиндта (1851–1917). Будучи уроженцем Ряйсъя (ныне пос. Мельниково) с самого начала своей деятельности он увлекся исследованием истории родного края. В 1893 г. стал куратором Археологической комиссии и руководил вначале археологической, а затем этнографической секцией, координируя собирательскую работу Выборгского студенческого союза и этнографического музея. В 1891 г. проводил раскопки в крепости Кякисалми (современный Приозерск). Во время путешествия по Карелии собрал богатый материал, частично вошедший в его работы по крестьянским костюмам и карельской вышивке. Его этнографический опыт и глубокие знания в этой области сказались на высоком для того времени качестве

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 04-01-00049а.

публикации материалов окарельских могильниках¹. Но в финляндской литературе в свое время она не получила признания, хотя, по словам К. А. Нордмана², ни до, ни после Т. Швиндта, а мы добавим и до сих пор, таких обширных раскопок не производилось. Немаловажная работа проделана исследователем по сбору случайных находок, сохраненных его усилиями для науки. Эти находки – иногда единственные упоминания о некогда существовавшем памятнике. Докторский труд исследователя значителен по кругу освещенных вопросов: довольно подробное описание погребальных обрядов и материальной культуры, мужской и женской одежды, хозяйства и верований. Вопрос о происхождении культуры и ее связях с окружающими регионами Т. Швиндтом не разрабатывался, за что его упрекали современники. С сегодняшних позиций эти потери не кажутся катастрофическими: публикация памятников сохранила свою значимость и пережила многие ранее выдвинутые гипотезы и теории.

Большие работы в Северо-Западном Приладожье или в Ладужской Карелии (имеются в виду территории по северо-западным берегам Ладоги и Карельский перешеек) проводил Отто Ялмар Аппельгрэн (1853–1937; с 1906 г. – Отто Ялмар Аппельгрэн-Кивало). Вся его жизнь была посвящена археологии и музейной работе: в 1884 г. – ассистент археологического и этнографического музея университета Гельсингфорса, затем – член Археологической комиссии, с 1915 по 1926 г. – государственный археолог. Его научные интересы формировались под непосредственным влиянием И. Р. Аспелина, в экспедициях которого (Прибалтика, Енисей) он принимал участие. Итогом таких поездок явилась публикация финно-угорских древностей. Вклад Я. Аппельгрена как незаурядного художника, сделавшего рисунки к последней части издания, несомненен.

В 1877–1879 гг. Я. Аппельгрэн провел самостоятельные исследования в восточной части бассейна р. Кеми (губерния Лаппи) и издал материалы о находках и легендах, а затем опубликовал огромную и трудоемкую работу о фортификационных сооружениях (*muinaislinnat*) Финляндии, куда были включены и памятники Северо-Западного Приладожья³. В работе представлены планы и результаты проведенных им раскопок в Куркиёки (Лопотти), Хямеенлахти, Суур-Микли, Тиуринлинна (Тиверск) и впервые дано описание укрепленных поселений летописной корелы. Для того времени исследование можно считать образцовым с точки зрения изданного материала и сбора топонимической номенклатуры. К слову сказать, до сих пор археологи, в той или иной мере касающиеся в своих исследованиях древнекарельских памятников, пользуются схемами городищ, сделанных Я. Аппельгреном, избегая трудоемкой работы по инструментальной съемке памятников.

Работу Т. Швиндта по изучению могильных древностей в Финляндии продолжил Аксель Олай Хейкель (1851–1924). В круг его интересов входили этнографические и археологические памятники Финляндии и России. С 1882 по 1899 г. Общество древностей (основа будущего Национального музея) посылало стипендиатов в Карелию для сбора археологических материалов и историко-искусствоведческих исследований карельской архитектуры. Инициатива исследования принадлежала А. Хейкелю. Под руководством И. Р. Аспелина им раскопан могильник у г. Миккели и опубликован материал, который не стал объектом его научных привязанностей – раскопки могильника не были закончены.

К. А. Нордман, анализируя этот период в финляндской археологии, видел причину такого состояния науки в слишком малом числе специалистов-археологов, которым приходилось заниматься многими делами, не имея возможности остановиться на детальной проработке научных проблем⁴. Специализация в финляндской археологии началась с деятельности А. Хакмана и Ю. Айлио.

Альфред Леопольд Фредрик Хакман (1864–1942) – крупнейший знаток древностей железного века. Эрудиция, понимание археологического материала, высокая требовательность к себе и научная добросовестность обеспечили долгую жизнь его трудам. Памятниками Северо-Западного Приладожья он не занимался, за исключением Тиуринлинна, в раскопках которого он принимал участие. Но для нас важна другая сторона его деятельности – работа над каталогом новых приобретений по железнному веку Исторического и Национального музеев, регулярно печатавшихся им в журнале «Finskt Museum» с 1909 по 1925 г. Благодаря заботам А. Хакмана современные исследователи имеют представление обо всех случайных находках и раскопках в Северо-Западном Приладожье.

Аарне Элиас Европеус (1887–1971, с 1930 г. – Аарне Элиас Яюряпяя) известен высококвалифицированными публикациями по каменному веку Финляндии. Работы по эпохе железа эпизодичны: статьи по каменным крепостям и раскопки в 1920–1921 гг. могильника Лапинлахти на Карельском перешейке, не получившие развития в его трудах.

Диапазон научных интересов Аарне Микаэля Талльгрена (1885–1945) простирался вплоть до Сибири. Он прошел археологическую подготовку в Швеции, затем, заведая кафедрой археологии в Дерптском университете, организовал археологические исследования и охрану памятников в Эстонии, осуществил свою идею издания ежегодника «*Eurasia Septentrionalis Antiqua*», посвященного археологии Западной и Восточной Европы. И хотя кипучая деятельность не позволяла ему сосредоточиться на частных проблемах, он провел небольшие раскопки около Выборга и

Рауту (современное Сосново) и посвятил карельской тематике три обзорные статьи.

В плодотворной и разносторонней деятельности Карла Акселя Нордмана (1892–1972) видное место уделено проблематике железного века Карелии. К слову сказать, его вполне справедливо называли «*kirjoituspuutaarkeologi*», то есть кабинетным археологом. Опубликованная им монография⁵ демонстрирует все лучшие качества ученого: знание огромного археологического материала, творческий подход к сложившимся мнениям, корректную форму критики. Высказанные К. А. Нордманом соображения о происхождении карел, их взаимоотношениях с Новгородом, о влиянии Новгорода на развитие карельской культуры оказались прозорливыми и прогрессивными на фоне некоторого застоя, царившего в финляндской литературе 40-х гг. XX в. Позднее он опубликовал несколько статей, посвященных некоторым памятникам древних карел.

С позиций требований современной археологии к фиксации процесса археологических работ удивляет быстрота проводимых полевых исследований финляндскими археологами. Например, Т. Швиндт на исследование крепости Корела в 1891 г. потратил три рабочих дня, А. Европеус раскапывал могильник с трупосожжениями в 1920 г. пять дней, Э. Кивикоски исследовала могильник Патъя в 1938 г. четыре дня (30 погребений!), в Нукутталаhti – два дня⁶. Отсутствие планомерных археологических работ в 20-х гг. XX в. в Северо-Западном Приладожье тормозило накопление материала. Обычная практика выявления древностей в то время осуществлялась через проверку сведений, поступивших от местных жителей. Лишь в конце 30 – начале 40-х гг. исследованиями Эллы Кивикоски (1901–1990), специалиста по археологии Фенноскандии, внесен существенный вклад в изучение и публикацию древностей Северо-Западного Приладожья. Ею раскопаны погребальные памятники в районе Сортавала и в Саккола-Патъя (Ольховка), а также курганы на Олонецком перешейке. К числу заслуг исследовательницы нужно отнести доброкачественную по сравнению с материалами 20-х гг. полевую документацию. Э. Кивикоски выполнила грандиозную работу по созданию каталога древностей Финляндии и Северо-Западного Приладожья⁷. В итоге к началу 1939 г. в археологических коллекциях Национального музея (г. Хельсинки) третья часть приходилась на изделия из Северо-Западного Приладожья и около 40% – на предметы каменного века, найденные в Карелии⁸.

Раскопки археологических памятников в юго-восточной Финляндии, в районе г. Миккеля проводили С. Пяльси, В. Варесмаа, Э. Сарасмо, Ё. Леппяхо. Их материалы были обработаны П.-Л. Лехтосало-Хиландер⁹.

В 70-х гг. XX в. в Северо-Западном Приладожье отрядом Института археологии АН СССР (теперь ИИМК РАН) под руководством А. Н. Кирпичникова осуществлены раскопки крепости Корела и разведочные работы в Тиверске¹⁰. С 1970-х гг. и по настоящее время археологические работы ведутся под руководством С. И. Кочкуркиной. За этот период изучались объекты с топонимами «линनावуори» и «линнамяки», вскрыты большие площади (около 3000 м²) на городищах Тиверск, Куркиёки-Лопотти, Соскуа, Паасо, исследованы могилы островов Риеккала и Мантсинсаари¹¹. В опубликованных книгах представлены важные результаты полевых исследований, проанализирована богатейшая материальная культура с привлечением данных естественно-научных дисциплин, охарактеризованы письменные источники и топонимические свидетельства, раскрывающие многообразный историко-культурный фон, на котором происходило зарождение и формирование древних карел.

Большой вклад в создание источниковой базы Северо-Западного Приладожья внес А. И. Сакса, опубликовавший результаты исследования на финском языке¹². Наиболее результативные полевые исследования осуществлены в Кууппала – Калмистояки в 1985–1987, 1995 гг. (вскрыто более 500 м²). На исследованной территории выявлены культурные слои эпохи неолита и раннего металла, 25 погребений X–XV вв., а также предметы из разрушенных погребений. На городище Хямеенлахти А. И. Сакса в 1987 г. исследовал средневековый слой на площади 52 м². Им раскопан также комплекс Ольховка (169 м²), состоящий из селищ, ритуальных куч и жертвенных камней. При археологических исследованиях территории древней крепости Корела на рубеже 80–90-х гг. XX в. (раскопки А. И. Саксы и П. Уйно) обнаружены строительные остатки, существовавшие на острове до возведения крепостных сооружений, и предположительно следы разрушенных погребений VIII–XIII вв., которые позднее были уничтожены при строительных работах. Территорию Выборгской крепости и ее окрестностей в 1980-х гг. изучал А. В. Тюленев, на рубеже XX–XXI вв. – А. И. Сакса. В последние два десятилетия новых средневековых памятников почти нет. Не увеличилось число древностей I тыс. н. э., что негативно сказывается, к примеру, на решении вопросов происхождения древних карел. Однако археологи вновь и вновь возвращаются к изучению древностей Северо-Западного Приладожья и анализу узловых, все еще нерешенных проблем этнокультурной истории древних карел.

Ю. П. Таавитсайнен¹³ в работе о древних крепостях Финляндии лишь перечислил 25 крепостей Северо-Западного Приладожья, упомянутых в конце XIX в. Я. Аппельгреном, но позднее¹⁴ специально останавливается на древних карельских крепостях и подчеркивает трудности, связанные с

их классификацией, поскольку сооружались они с разными целями, датированием, так как вещественные доказательства порою скудны и противоречат радиоуглеродным датам, и разным предназначением. Не верит он в былые мифы, согласно которым линнавуори, расположенные в пределах видимости друг друга, передавали информацию с помощью сигнальных костров, что было доказано опытным путем. Ю. П. Таавитсайнен не согласен с распространенным в литературе мнением, что крепости предназначались для защиты населения со всем его имуществом и скотом. Такое переселение в боевой обстановке на крутые возвышенности, по его мнению, связано с большим риском быть сразу всем уничтоженным врагом. Он предполагает, что населению легче было укрыться в лесу, на отдаленных островах и т. д. Но эти рассуждения идут от здравого смысла современного человека и вряд ли адекватны действиям населения в эпоху средневековья.

В 1997 г. вышло археологическое исследование о древней Карелии¹⁵, в котором обобщены все имеющиеся археологические источники по этой теме, приведены различные точки зрения на спорные вопросы. К числу несомненных заслуг П. Уйно можно отнести богатый картографический материал. Ей удалось нанести на топографические карты не только существенно важные археологические памятники, но и случайные находки, что российским исследователям по известным причинам сделать было трудно или почти невозможно. Несомненным достоинством книги являются приложения, в первую очередь, каталог памятников и перечень основных археологических предметов с инвентарными номерами их хранения в Музейном ведомстве (г. Хельсинки). Основные позиции исследовательницы изложены и в коллективной работе «Karjalan synty». Книга написана в научно-популярной форме, рассчитанной на массового финского читателя. По этой причине особо акцентируется внимание на вкладе финляндских археологов в историю исследования иногда в ущерб заслуг и приоритета российских исследователей.

Научную ценность представляет раздел Х. Симола¹⁶, впервые наиболее полно рассказывающий о карельской природе и людях: о растительном и животном мире, о новых палеоэкологических исследованиях в Северо-Западном Приладожье и Карелии. К сожалению, остается неразработанной методика использования данных естественно-научных дисциплин в археологических исследованиях. Проведенные палеоэкологические исследования в районе Сортавала, Куркиёки, Хийтола, на Валааме, Карельском перешейке показали наличие земледелия в I тыс. н. э., но синхронные археологические свидетельства присутствия населения в этом районе отсутствуют. Боль-

шую ценность представляет диалектологический обзор, в то время как топонимические данные почти не использованы, несмотря на фундаментальные разработки в этой области исследователей Финляндии. Для археологов важны результаты осуществленного недавно в Музейном ведомстве остеологического анализа на материалах археологических памятников¹⁷. Исследование далеко не бесспорное, но, безусловно, перспективное.

-
- ¹ Schwindt T. Tietoja Karjalan rautakaudesta // SMYA. 1893. № 13.
² Nordman C. A. Archaeology in Finland before 1920. Helsinki, 1968. S. 43.
³ Appelgren Hj. Suomen muinaislinnat // SMYA. 1891. № 12.
⁴ Nordman C. A. Archaeology in Finland... S. 45.
⁵ Idem. Karelska järnåldersstudier // SMYA. 1924. № 34.
⁶ Karjalan synty. 1. osa. Jyväskylä, 2003. S. 135.
⁷ Kivikoski E. Die Eisenzeit Finnlands. Bildwerk und Text. Helsinki, 1973.
⁸ Karjalan synty. S. 137.
⁹ Lehtosalo-Hilander P.-L. Rautakautinen Mikkelin seudulla // Kalmistojen kertomaa. Rautakautinen Mikkelin seutu idän ja lännen välissä. Mikkeli, 1994.
¹⁰ Кирпичников А. Н. Каменные крепости Новгородской земли. Л., 1984.
¹¹ Кочуркина С. И. Археологические памятники корелы (V–XV вв.). Л., 1981; Она же. Древняя корела. Л., 1982.
¹² Saksa A. Rautakautinen Karjala. Joensuu, 1998.
¹³ Ancient Hillforts of Finland // SMYA. 1990. № 94.
¹⁴ Taavitsainen J.-P. Karjalan muinaislinnat // Karjalan synty. S. 432–434.
¹⁵ Uino P. Ancient Karelia. Helsinki, 1997.
¹⁶ Simola H. Karjalan luonto ja ihminen // Karjalan synty. S. 81–107, 110–115.
¹⁷ Hedelin H. Osteologisk analys av material från finska Karelén, nuvarande Ryssland, Museovirasto. Käsikirjoitus, 2000.

© А. Ю. Тарасов
Петрозаводск

Энеолитическая индустрия каменных макроорудий Карелии в ряду европейских индустрий позднего каменного века

Эпоха позднего каменного века в человеческой истории знаменательна тем, что в это время была создана технологическая база для запуска тех процессов, которые позже привели к образованию стратифицированного общества и государства. Эта особенность отмечена в концепции «неолитической революции», предложенной Г. Чайлдом. Безусловно, она не может быть в одинаковой степени применима ко всем неолитическим культурам, поскольку основным в ней является распространение производящих форм хозяйства. В Карелии, например, они не были известны вплоть до средневековья. Тем не

менее важные элементы технологии, хозяйственной и социальной организации человеческих обществ, зарождавшиеся в земледельческих районах Азии и Западной Европы, были характерны и для неолитических культур Северной Евразии, включая Карелию. Наряду с керамической посудой одним из таких элементов является массовое использование таких крупных каменных орудий с рубящими функциями, как топоры, тѣсла, желобчатые тѣсла и долота, то есть макроорудия.

Большинство явлений, затрагивающихся в этой работе, в той или иной мере имели место уже в мезолите¹. Главным отличием тех индустрий, о которых пойдет речь, является, скорее, их масштаб, тесно связанный с масштабом экономической (и социальной) активности создавших их обществ и приведший к тому, что эти индустрии стали одним из факторов и направлений усложнения самой общественной организации.

Здесь можно было бы рассмотреть очень большое количество таких индустрий², однако мы остановимся только на трех примерах, которые были подробно охарактеризованы в качестве не только производственного, но и социального явления. Это индустрии на территории Эльзаса во Франции (4600–3700 лет до н. э., культура шаровидных амфор), на территории Англии (4000–2500 лет до н. э., культуры Уиндмилл-Хилл, питербору, райнио-клектон) и Южной Скандинавии (4000–2350 лет до н. э., культура воронковидных кубков).

В развитии индустрии в Эльзасе выделяются две фазы. Во время первой, до 4200–4100 лет до н. э., сырье добывалось в поверхностном слое земли. Первичная оббивка производилась на месторождении, однако в целом форма изделия создавалась уже на постоянных поселениях с помощью техник пикетажа и шлифования, что не требовало высокой квалификации мастеров, но одновременно означало большие затраты времени на изготовление одного орудия. Объем производства оставался небольшим, обмен развития не получил³.

На втором этапе сырье начинают добывать из глубоких шахт. Согласно оценке авторов исследования, из них было извлечено 40 000 м² породы, что потребовало 80 000 человеко-дней работы в течение 400 лет⁴. Такое сырье позволяло более успешно применять технику расщепления для создания формы орудия. Благодаря этому сократилось время, необходимое для изготовления одной вещи. Однако одновременно такой подход резко повысил требования к мастерам, которым, во-первых, требовалось тратить больше усилий на добычу сырья, во-вторых, был необходим более длительный период обучения.

Вокруг каменоломен в виде концентрических кругов располагаются мастерские, на которых отобранные куски сырья приобретали законченную форму (на расстоянии одного дня пути), и поселения, на которых производилось шлифование поверхности удачных заготовок (на расстоянии двух дней пути). Очень важно, что наряду с постоянными земледельческими поселениями здесь также возникают укрепленные enclosures, которые обычно считаются местами для встречи отдельных общин, церемоний и обмена. Подобная специализация стоянок интерпретируется как свидетельство интенсификации обмена как внутри данной территориальной группы, так и с удаленными территориями – изделия из мастерских Эльзаса обнаружены на территории от Бургундии на западе до Цюриха на востоке⁵. Более того, каменные топоры очень часто встречаются в инвентаре курганных захоронений и в кладах, причем в них есть вещи, изготовленные в разных мастерских⁶. Следовательно, каменные топоры стали объектом накопления.

В Англии в течение неолита возникает целый ряд центров изготовления топоров. Масштабы производства в свое время позволили исследователям говорить о них даже в терминах капиталистической эпохи⁷. В течение раннего неолита, до 3300 лет до н. э., ведущими являются центры, расположенные на юго-востоке страны. Здесь сооружаются шахты для добычи кремня, рядом с которыми располагаются мастерские, а также enclosures. Все вместе они находятся по краям районов земледельческого освоения, то есть топоры играли важную роль в ходе церемоний, проходивших в enclosures, включавших обмен между соседними общинами⁸.

В позднем неолите большинство шахт на юге перестают эксплуатироваться. Меняют свою природу enclosures, превращаясь в постоянные укрепленные поселения. Индивидуальные курганные захоронения, редкие в раннем неолите, становятся обычными, и их инвентарь составляют в основном вещи, изготовленные в удаленных районах⁹. Именно в этот период достигают высшего уровня развития окраинные центры, в том числе в Кумбрии на северо-западе страны. Сложившаяся здесь индустрия основывалась на месторождениях мелкозернистого туфа. Во второй половине IV тыс. до н. э. происходят изменения в технологии. Несмотря на то что тип изделий не меняется («топоры группы VI»), анализ отходов производства показывает, что на ряде мастерских применяется более квалифицированная работа, которая выражается в большей точности, аккуратности, небольшой частоте ошибок расщепления¹⁰. В это же время продукция мастерских Кумбрии распространяется почти по всему острову. Р. Брэдли и М. Эдмондс, подробно изучившие эти процессы, считают, что в позднем

неолите резко увеличилось значение обмена престижными и экзотическими вещами в южной Англии в связи с усложнением местного общества. В данной ситуации экзотический материал – туф – делал топоры из Кумбрии более ценными, чем местные кремневые изделия¹¹.

Исследователи, занимавшиеся этими примерами, делают два сходных вывода. Во-первых, в рамках данных индустрий складывается специализация, вызванная интенсификацией обмена. Во-вторых, способность накапливать каменные топоры и контролировать их обмен стала одним из факторов, способствующих увеличению социального «веса» отдельных индивидов, то есть одним из факторов формирования элит¹².

Немного иначе развивается индустрия в Южной Скандинавии. Она основывалась на местных запасах высококачественного кремня, для разработки которых уже в раннем неолите строились шахты¹³. Параллельно происходили изменения в технологии. Здесь начинает применяться так называемый четырехсторонний метод обработки, с помощью которого изготавливаются топоры с четырехугольным поперечным сечением. Эта технология является весьма сложной, состоящей из нескольких стадий и требующей высокого уровня подготовки мастеров. В связи с этим потенциально она могла привести к становлению специализации как социально значимого явления¹⁴. Тем не менее имеющиеся данные такого предположения не подтверждают. Мастерские, расположенные вблизи источников сырья, содержат только заготовки начальных стадий, в то время как большая и наиболее сложная часть работы происходила на постоянных поселениях («фермах»). При этом объем производства не превосходил потребности отдельных хозяйств. Подавляющее большинство четырехгранных топоров не демонстрируют признаков профессиональной работы и являются весьма заурядными изделиями¹⁵.

Таким образом, несмотря на то что технология потенциально позволяла вступить на путь специализации и, следовательно, социальной дифференциации, так же, как это позволяло сделать регулярное накопление прибавочного продукта благодаря земледелию, общество культуры воронковидных кубков предпочитало такое развитие сдерживать. По мнению Л. Сундстрёма, это общество характеризуется намеренным усилением именно эгалитарной идеологии¹⁶.

Тем не менее полностью сдерживать его было невозможно. Обмен готовыми изделиями – топорами, фиксируется уже с раннего неолита. Кремневые топоры из Южной Скандинавии импортировались в центральные, а позже и в северные районы Швеции. Значительная часть их импортировалась в Норвегию¹⁷. Интересно отметить, что южноскандинавские кремневые изделия могли достигать Кольского полуострова¹⁸.

Кроме этого, выделяется группа топоров особо крупных размеров, которые становятся более многочисленными по мере удаления от производственного центра. Они встречаются в основном в контексте так называемых стоянок коллективных собраний, то есть, по мнению Л. Сундстрёма, являлись, скорее, коллективной, чем индивидуальной собственностью¹⁹. Вместе с тем они, несомненно, были изготовлены действительно квалифицированными мастерами-специалистами²⁰. Следовательно, в обществе все-таки возникли условия, позволяющие совершенствовать свое мастерство. Другое дело, что эта специализация оставалась индивидуальным достижением и не оформилась в социальный институт. В позднем неолите ту нишу, которую могла бы занять индустрия четырехгранных топоров, здесь заняла индустрия кремневых кинжалов²¹.

Можно отметить ряд черт, которые являются общими для всех трех примеров: 1) резкое увеличение масштабов добычи сырья и производства орудий; 2) поиск и разработка месторождений более качественного сырья; 3) усложнение технологии; 4) стандартизация; 5) изготовление значительной части изделий специально для обмена, в том числе с удаленными (вплоть до тысячи километров и больше) территориями; 6) возникновение условий для специализации и развитие такой специализации; 7) вовлеченность участников индустрии и производимых ими изделий в процессы социальной трансформации обществ позднего каменного века. Далее мы постараемся показать, что данные признаки были характерны и для энеолитической индустрии макроорудий на территории Карелии, точнее, южной половины Карелии (культура асбестовой керамики 2500–1600 лет до н. э.²²).

В энеолите Карелии макроорудия использовались столь же активно, что и раньше, изготавливались из местных пород – алевролитов и сланцев²³. Тем не менее ряд особенностей энеолитической индустрии все же делают ее уникальной для нашего региона.

Первая из них – качество используемого сырья. Носители неолитических культур использовали преимущественно сырье с низкими и средними показателями твердости, в то время как в энеолите отмечается очень строгая избирательность и использование почти исключительно очень твердого материала²⁴. Другой показатель – степень морфологической стандартизации (рис. 1). Наиболее часто встречающимися формами энеолитических макроорудий, доля которых показана на графиках, являются изделия с трапециевидным поперечным сечением и трапециевидные в плане.

Такие орудия известны в нашей традиции как орудия русско-карельского типа²⁵, а среди финских и эстонских исследователей – восточно-карельского типа²⁶. Они были изготовлены при использовании оригинальной технологии расщепления, наиболее сложной среди всех таких технологий, которые когда-либо применялись в Карелии. Для нее характерны, во-первых, стадийная последовательность расщепления, во-вторых, использование

приема, напоминающего «четырёхсторонний метод» культуры воронковидных кубков и так же, как и там, предполагающего применение удара через посредник²⁷. Здесь следует отметить, что для орудий этого типа характерна в целом более качественная абразивная обработка, несмотря на то что, чем тверже обрабатываемая порода, тем больших затрат труда и времени такая обработка требует (рис. 2). Наконец, они в среднем имеют наибольшие размеры²⁸.

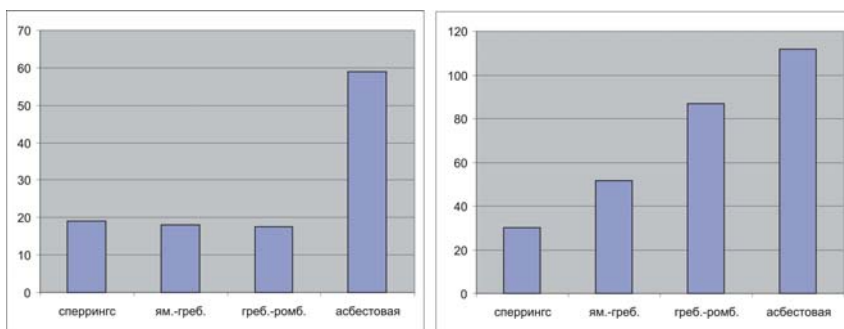


Рис. 1. Степень морфологической стандартизации макроорудий Карелии периода неолита – энеолита

Слева – доля наиболее частого сочетания формы макроорудий в сечении и в плане, % от общего количества целых изделий на памятниках культур неолита – энеолита. Справа – доля наиболее часто встречающейся формы сечения макроорудий, % от общего количества целых изделий

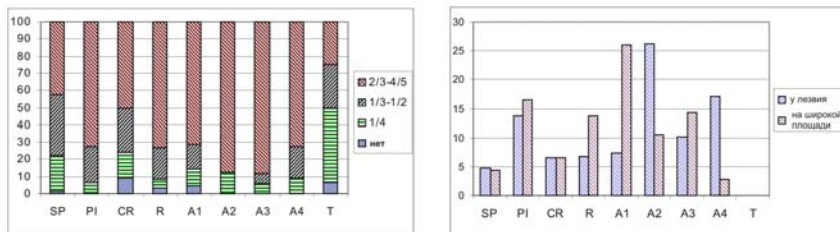


Рис. 2. Качество завершающей абразивной обработки макроорудий с памятников Карелии неолита – раннего железного века

Слева – распространение шлифовки по площади макроорудий (доля орудий с разной зашлифованной площадью, %). Справа – частота встречаемости полировки на макроорудиях, %:

Периоды: SP – сперрингс; PI – культура ямочно-гребенчатой керамики; CR – памятники с гребенчато-ямочной керамикой; R – памятники с ромбоямочной керамикой; A1 – памятники с асбестовой керамикой типа Войнаволок XXVII; A2 – памятники с асбестовой керамикой типа Оровнаволок XVI (ранней); A3 – памятники с асбестовой керамикой типа Оровнаволок XVI (поздней); A4 – памятники с асбестовой керамикой типа Палайгуба II;

T – культуры сетчатой керамики и лууконсаари

Изготовление орудий происходило в специализированных мастерских, а не на постоянных поселениях. Эти мастерские впервые были описаны финскими археологами в первой половине прошлого века²⁹, однако вплоть до 90-х гг. не привлекали внимание исследователей. Находятся они в устье р. Шуя, на западном побережье Онежского озера. Обилие инвентаря, включающего сотни заготовок и десятки тысяч отщепов, позволяет утверждать, что в энеолите здесь существовал крупный центр по изготовлению каменных макроформ³⁰. Существенно, что на мастерских имеются свидетельства всех стадий обработки, в то время как на постоянных поселениях со срубными жилищами таких свидетельств нет³¹.

Выбор места для устройства мастерских мог быть обусловлен двумя причинами. Во-первых, близость источников сырья. Во-вторых, они находятся в стратегически выгодном месте. С одной стороны, изделия можно было легко транспортировать в пределах Онежского озера. С другой стороны, реки Шуя и Суна предоставляли возможность для их перевозки на запад, в сторону Ладожского озера и Финляндии.

У нас действительно имеются свидетельства обмена с населением удаленных территорий. Картографирование находок таких вещей на территории Финляндии и Эстонии было проведено В. Лухо в 1948 г.³² Подготовленная им карта очень показательна, хотя и устарела – орудия русско-карельского типа направлялись не только на запад, но и на восточный берег Онежского озера, в Вологодскую область, известны они в северной Карелии³³. Хотя у нас нет результатов петрографических анализов, типологический анализ свидетельствует, что эти вещи идентичны макроорудиям Карелии. Мы также можем сослаться на то, что ни в Финляндии, ни в Эстонии неизвестны месторождения такого сырья и мастерские такого рода³⁴.

Как показывает пример культуры воронковидных кубков, сложная технология и морфологическая стандартизация сами по себе не являются достаточными для возникновения специализации как социального института, сопровождающегося ограничением доступа к технологии. Тем не менее в нашем случае мы сталкиваемся именно с этим. Стандартизация на территории Карелии совпадает с прекращением производства макроорудий на постоянных поселениях. Вместо этого всему населению южной половины Карелии буквально «навязываются» изделия, изготавливающиеся в специализированных, удаленных производственных центрах (или даже всего лишь в одном таком центре).

Следовательно, очень вероятно, что изготовление макроорудий являлось делом относительно замкнутой группы людей, посвящавших этому занятию значительную часть своего времени и получавших за

это вознаграждение в виде части прибавочного продукта, накопленного сообществами охотников, рыболовов и собирателей, в значительной степени уже оседлыми. Считаем необходимым также отметить, что некоторые изделия русско-карельского типа вполне могут претендовать на роль «престижных» вещей. Интересно, что наиболее совершенное такое изделие, которое нам приходилось видеть, было найдено в Финляндии³⁵.

Таким образом, можно утверждать, что древнее общество нашего региона развивалось в том же направлении, что и неолитические общества земледельческих регионов Европы, то есть в направлении усложнения общественной организации.

¹ Филатова В. Ф. Мезолит бассейна Онежского озера. Петрозаводск, 2004; Bengtsson L. Knowledge and Interaction in the Stone Age: Raw Materials for Adzes and Axes, Their Sources and Distributional Patterns // *Mesolithic on the Move*. Oxford, 2003. P. 388–394; Bergsvik K. A., Olsen A. B. Traffic in Stone Adzes in Mesolithic Western Norway // *Ibid*. P. 395–404; Fisher A. Exchange: Artifacts, People and Ideas on the Move in Mesolithic Europe // *Ibid*. P. 385–387.

² Гурина Н. Н. Древние кремнедобывающие шахты на территории СССР. Л., 1976; Она же. К вопросу об обмене в неолитическую эпоху // КСИА. 1974. Вып. 138. С. 12–23; Кларк Дж. Г. Д. Доисторическая Европа: Экономический очерк. М., 1953. С. 117–124.

³ Petrequin P. et al. From the Raw Material to the Neolithic Stone Axe: Production Processes and Social Context // *Understanding the Neolithic of North-Western Europe*. Glasgow, 1998. P. 297.

⁴ *Ibid*. P. 304.

⁵ *Ibid*. P. 297.

⁶ *Ibid*. P. 295–296.

⁷ Bradley R., Edmonds M. *Interpreting the Axe Trade: Production and Exchange in Neolithic Britain*. Cambridge, 1993. P. 43.

⁸ *Ibid*. P. 157–178.

⁹ *Ibid*. P. 179–199.

¹⁰ *Ibid*. P. 59–154.

¹¹ *Ibid*. P. 196, 200–206.

¹² Petrequin P. et al. *Op. cit.* P. 297–300; Bradley R., Edmonds M. *Op. cit.* P. 200–206.

¹³ Hogberg A. et al. The Spread of Flint Axes and Daggers in Neolithic Scandinavia // *Pamatky Archeologicke*. 2001. Vol. XCII, № 2. P. 190–201.

¹⁴ Hansen P. V., Madsen B. An Experimental Investigation of a Flint Axe Manufacture Site at Hastrup Vaenget, East Zealand // *Journal of Danish Archaeology*. 1983. Vol. 2. P. 43–59; Pelegrin J. Prehistoric Lithic Technology: Some Aspects of Research // *Archaeological Review from Cambridge*. 1990. Vol. 9, № 1. P. 123.

¹⁵ Olausson D. Lithic Technological Analysis of the Thin-Butted Flint Axe // *Acta Archaeologica*. 1982. Vol. 53; Olausson D. Talking Axes, Social Daggers // *Form, Function & Context: Material Culture Studies in Scandinavian Archaeology*. Lund, 2000. P. 125–126; Hogberg A. Production Sites on the Beach Ridge of Jaravallen: Aspects on Tool Preforms, Action, Technology, Ritual and the Continuity of Place // *Current Swedish Archaeology*. 2002. Vol. 10. P. 137–162.

¹⁶ Sundström L. Det hotade kollektivet: Neolitiseringsprocessen ur ett Ost mellansvenskt Perspektiv. Uppsala, 2003. P. 291–292.

¹⁷ Hogberg A. et al. *Op. cit.* P. 211–212, 216.

¹⁸ Гурина Н. Н. История культуры древнего населения Кольского полуострова. СПб, 1997. С. 98, рис. 49.

¹⁹ Sundström L. *Op. cit.* P. 293.

- ²⁰ Olausson D. Talking Axes... P. 126.
- ²¹ Apel J. Dagger's Knowledge and Power: The Social Aspects of Flint Dagger Technology in Scandinavia (2350–1500 cal BC). Uppsala, 2001. P. 113–125.
- ²² Жульников А. М. Энеолит Карелии: Памятники с пористой и асбестовой керамикой. Петрозаводск, 1999. С. 75–79.
- ²³ Журавлев А. П., Горлов В. И. Петрографическое изучение сланцевых орудий из археологических памятников Пегремы // СА. 1979. № 1. С. 245–248; Тарасов А. Ю. Изменения сырьевой базы индустрии макроорудий в неолите – раннем железном веке на территории Карелии // Российская археология. 2004. № 1. С. 79.
- ²⁴ Тарасов А. Ю. Изменения... С. 82.
- ²⁵ Брюсов А. Я. История древней Карелии // Тр. ГИМ. 1940. Вып. 9. С. 72; Филатова В. Ф. Русско-карельский тип орудий в неолите Карелии // СА. 1971. № 2. С. 32–38; Панкрушев Г. А. Мезолит и неолит Карелии. Ч. 2: Неолит. Л., 1978. С. 6; Жульников А. М. Энеолит... С. 61.
- ²⁶ Suomen Historia. Helsinki, 1984. Vol. 1. P. 38; Крийска А., устное сообщение.
- ²⁷ Тарасов А. Ю. Центр изготовления каменных макроорудий энеолитического времени на территории Карелии // Археологические вести. 2003. Вып. 10. С. 60–74.
- ²⁸ Тарасов А. Ю. Изменчивость метрических признаков каменных орудий с поселений Карелии (неолит – ранний железный век) // Вестник КГМ. 2002. Вып. 4. С. 78.
- ²⁹ Кларк Дж. Г. Д. Доисторическая Европа... С. 246–247.
- ³⁰ Тарасов А. Ю. Центр изготовления...
- ³¹ Там же. С. 72.
- ³² Кларк Дж. Г. Д. Доисторическая Европа... С. 247; Гурина Н. Н. К вопросу об обмене... С. 15.
- ³³ Жульников А. М. Поселения эпохи раннего металла Юго-Западного Беломорья. Петрозаводск, 2005. Рис. 158: 2; 180: 5, 12; 185: 2.
- ³⁴ Nunez M. Slates, the «Plastics» of Stone Age Finland // Occasional Papers in Archaeology. Third Flint Alternatives Conference at Uppsala. 1998. Vol. 16. P. 108–109; Крийска А., устное сообщение.
- ³⁵ Suomen Historia. P. 38.

© Н. В. Лобанова
Петрозаводск

Археологические исследования на Карельском берегу Белого моря (2003–2005 гг.)

Белое море – единственное внутреннее море России. Оно почти замкнутое, соединенное с океаном узким и неглубоким проливом. Наибольшая его длина (Канин Нос – устье Онеги) 580 км. Вдоль западного побережья расположено более 300 островов, сложенных древнейшими кристаллическими породами, часто куполообразной формы, с крутыми склонами. Во многих местах видны следы тектонической деятельности. Крупнейшие острова архипелага Кузова поднимаются над морем более чем на 100 м. В основном же вдоль Карельского и Поморского берегов тянутся низинные ландшафты. Современный рельеф Беломорья сформировался, согласно геологическим данным, около 2,5 тыс. лет назад¹.

Белое море давно привлекает серьезное внимание исследователей. С 1970-х гг. ведутся широкие научные работы по изучению и возобновлению его биоресурсов. В археологическом отношении Карельское побережье Белого моря и прилегающие районы до последних лет практически были белым пятном на карте Карелии. Правда, карельским краеведом И. М. Мулло в 1960-х гг. на архипелаге Кузова были выявлены загадочные каменные сложения и частично опубликованы материалы². Они имели близкое сходство с памятниками расположенного неподалеку Соловецкого архипелага.

В 1991–1992 гг. археологический отряд под руководством И. С. Манюхина занимался инвентаризацией памятников на архипелаге Кузова, но, к сожалению, она не была завершена, поскольку работы были непродолжительными и не охватили всей территории даже в пределах одного архипелага³.

В 2000–2002 гг. объектом внимания комплексной международной экспедиции (с участием карельских, норвежских и шведских археологов) по изучению природного и историко-культурного наследия по гранту Совета Министров северных стран стала Онежская губа Белого моря. Экспедицией было обследовано 14 островов и найдено не менее 60 различных каменных конструкций, в том числе предположительно основания саамских жилищ средневекового времени⁴.

В 2003–2005 гг. исследования в Карельском Беломорье приобрели более целенаправленный и углубленный характер. На средства упомянутого фонда были проведены археологические разведки совершенно неизученного района – Карельского берега, который тянется на расстоянии около 200 км к северу от устья р. Кемь⁵. Выяснилось, что научный потенциал территории чрезвычайно высок. Здесь было обнаружено 49 памятников: поселения с жилищами и местонахождения с кварцевыми предметами эпохи камня – раннего металла и разнообразные каменные сооружения, относящиеся предположительно к средневековому времени (рис. 1).

Существенный научный интерес представляют древние поселения в окрестностях бывшей дер. Соностров (в 60 км к югу от пос. Чупа) – Соностров I, III–VI. На них выявлены 32 разновременные жилищные впадины, в том числе расположенные цепочкой в один ряд⁶. Раскопки проведены на трех из них. Два жилых сооружения на поселениях Соностров I и IV связаны с эпохой позднего энеолита и могут датироваться рубежом III–II – началом II тыс. до н. э. Это были постройки подпрямоугольной формы с двумя выходами и очагами у выходов и в центре. Площадь одного из жилищ составляла 18 м² (рис. 2), другого – не более 12 м². В обоих случаях обнаружены одинаковые двухкамерные каменные очаги, не имеющие аналогов на территории Карелии. Находки, собранные в жилищах, в основном представлены кварцевыми орудиями и отходами их производства, а также фрагментами сосудов с примесью асбеста.

Жилое сооружение более раннего времени изучено на поселении Соностров V. Оно имело такую же форму, но несколько большую площадь – 24 м²; как и в предыдущих случаях, были прослежены два выхода и три каменных очага овальной формы. Частично разрушенный очаг в центре жилища содержал обломки фрагментов от одного ямочно-гребенчатого сосуда, отщепы кварца и крупные обломки кальцинированных костей животных. Кроме того, в заполнении жилищной впадины найдены изделия из кремня: наконечник стрелы, обломок ножевидной пластинки, отщепы кремня. Эти материалы можно уверенно датировать эпохой развитого неолита (второй половиной 4 тыс. до н. э.).

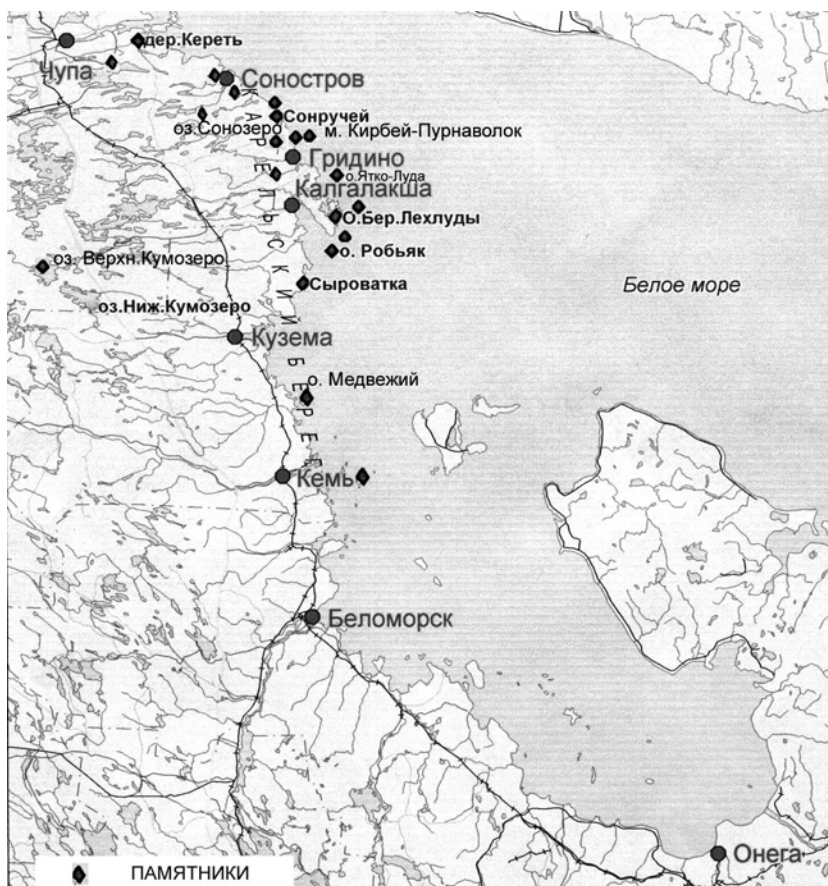


Рис. 1. Карта расположения археологических памятников на Карельском берегу Белого моря

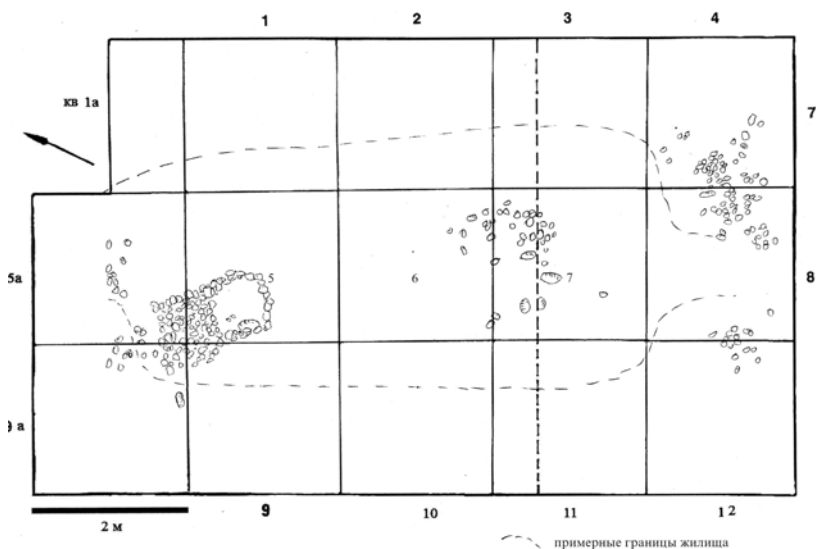


Рис. 2. Поселение Соностров I. План жилища с очагами и каменными кладками

На Карельском берегу (на островах и в прибрежной части) обнаружено большое число каменных сложений — куч, ям в моренных грядах, менгиров, различных сложных выкладок⁷. Назначение многих из них пока не выяснено.

Каменные насыпи очень широко распространены на всем беломорском побережье. Среди них выделяются овальные, подокруглые, подпрямоугольные или длинные, в виде стенок, скопления камней. В ряде случаев они являются погребальными сооружениями. На о. Бережные Лехлуды, Сонострове, на мысах Кирбей и Пурнаволоок раскопаны пять могил с частично сохранившимися костяками. Могилы были сооружены по единому принципу. Умерших клали на голую скальную поверхность на открытом морском побережье, в выемку, обычно ориентированную в направлении запад — восток. Вокруг и сверху могила тщательно обкладывалась камнями и плитами. Датировка могил затруднена, поскольку погребальный инвентарь отсутствует. В одном случае сохранились кусочки бересты, в которую, по всей вероятности, был завернут погребенный. Степень сохранности костей указывает на позднесредневековый возраст. Близкие по конструкции саамские могилы изучены в северной Норвегии (Варангерфьорд, местечко Мортенснес)⁸.

На Соловках аналогичные валунные груды часто являются составными элементами лабиринтов. К настоящему моменту здесь раскопано более 20 из них, при этом установлен погребальный характер некоторых из них. Вместе с тем многие кучи не содержали признаков захоронений и признаются исследователями в качестве символических могил⁹.

Менгиры представляют собой плоские плиты (изредка валуны вытянутой формы) природного происхождения, поставленные вертикально и подпертые с двух сторон наклонными, более мелкими плоскими плитами. Последние, в свою очередь, упираются в валуны, кольцом охватывающие всю конструкцию. Их число в целом очень невелико, но сильно выросло за последнее время. Встречаются как одиночные сооружения (у мыса Кирбей, на островах Лоушко и Ятко-Луда), так и целые комплексы (Сыроватка, о. Большой Робьяк). Особенно впечатляющие менгиры на Большом Робьяке (рис. 3). Три прямоугольные гранитные плиты, расположенные недалеко друг от друга, высотой от 2,0 до 2,75 м были вкопаны в грунт и обложены валунами по периметру. Диаметры этих валунных насыпей составляют более 3 м. Назначение таких сооружений пока не ясно. Скорее всего, они могут рассматриваться как культовые.

На Карельском берегу распространены ямы различного диаметра и глубины, сложенные на сформированных ледником и морскими отложениями валунных грядах. Впервые они были кратко описаны И. М. Мулло¹⁰. Исследователь интерпретировал их как летние саамские жилища, не смущаясь их размерами. Большинство впадин имеют диаметр 1,5 м, изредка 2,0–2,5 м. И только в единичных случаях найдены ямы диаметром 3,0–3,5 м. Их глубина варьирует от 0,12 до 1,0 м, но чаще всего 0,6–0,7 м. Ямы занимают высоты от 2,5 до 15 м, в одном случае около 45 м над уровнем моря; часть их покрыта почвой либо кустарником и деревьями. Крупнейшее скопление (31 яма) находится на о. Лодейный, который относится к архипелагу Кузова. Подобные сооружения известны по всему ареалу обитания саамского населения, однако вопрос о назначении таких объектов неясен. Возможно, многие из них (расположенные неподалеку от берега моря) служили для хранения шкур тюленей или чего-то иного. Однако удивляет чрезмерная концентрация небольших ям на ограниченном пространстве (острова Лодейный, Жужмуй, Большой Заяцкий) или расположение отдельных впадин высоко и далеко от берега, в труднодоступных местах. Видимо, нельзя исключить и другие предположения, например, что ямы могли иметь культовый характер.

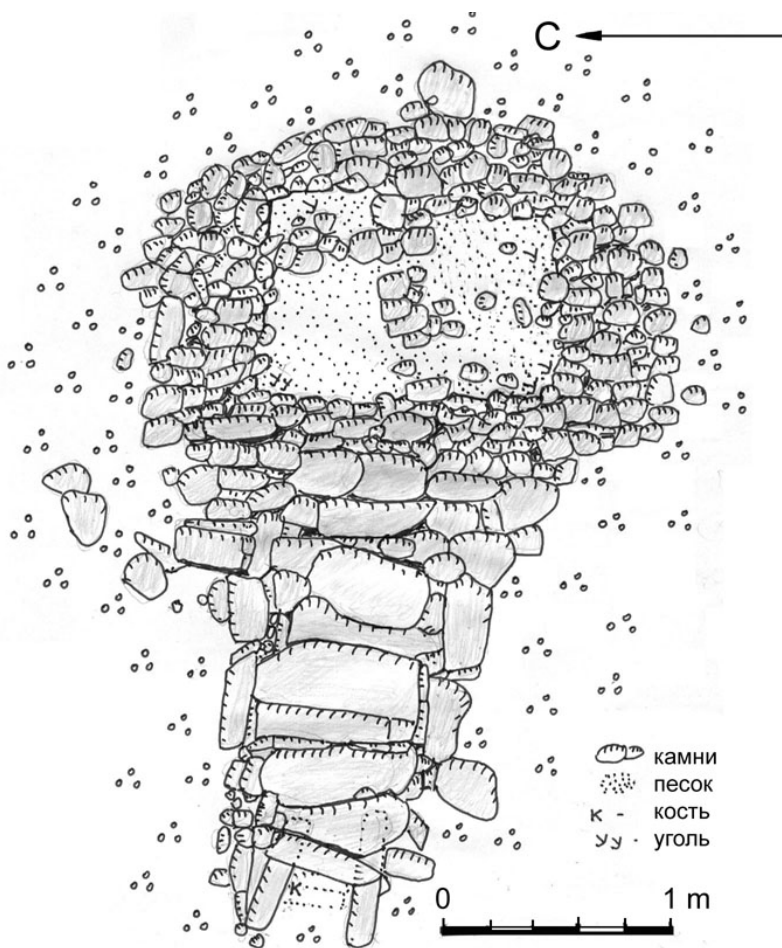


Рис. 3. Каменное сооружение у мыса Пурнаволок

Интересные сложения, так называемые каменные «ящики», обнаружены на о. Бережные Лехлуды, неподалеку от средневекового могильника. Их всего пять. Это прямоугольные конструкции. Они сделаны из уплощенных валунов или плит, поставленных вертикально и плотно друг к другу. Размеры сооружений разные: максимальный – $3,2 \times 2,4$, минимальный – $1,6 \times 1,2$ м, высота от 0,4 до 0,7 м. При расчи-

стке внутри одного сооружения выявлены углистые прослойки. Сходные конструкции с углистыми линзами известны также на Соловецком архипелаге¹¹.

К наиболее редко встречающимся конструкциям неустановленного назначения нами отнесены так называемые «укрытие» (о. Бережные Лехлуды) и «лаз» (мыс Пурнаволок).

«Укрытие» – прямоугольное сложение из огромных каменных валунов или блоков площадью 12–16 м² с входом в одной из коротких стен. Особенно мощные блоки высотой более полуметра использованы при строительстве аналогичного сооружения на мысе Печак (о. Большой Жужмуй в Онежской губе Белого моря).

«Лаз» почти полностью зарос мхом и кустарником, поэтому в 2005 г. был раскопан (см. рис. 3). Это оказалась совершенно необычная и сложная конструкция из вертикальных плоских плит (длина 4,5, ширина 1,0–1,2 м) с верхним перекрытием. Камни на крыше хорошо подобраны и очень плотно уложены. Этот «лаз» (или проход) ведет к большой и глубокой, сложенной плитами и валунами яме прямоугольной формы (внутренние размеры 2,8×1,8 м, внешние 4,8×3 м) и глубиной более 1 м. При раскопках в проходе, недалеко от его начала, был найден маленький фрагмент кальцинированной кости, а в углах ямы на дне зафиксировано небольшое количество мелких угольков.

Таким образом, проведенные в 2003–2005 гг. археологические исследования позволяют в определенной степени закрыть белые археологические «пятна» Карельского берега Белого моря. Вместе с тем, учитывая обширность и труднодоступность территории, наличие еще необследованных озерно-речных систем, связанных с Белым морем, необходимо дальнейшее продолжение и углубление работ, особенно раскопки уникальных жилищ на Сонострове. Следует также установить характер и датировку многих неопознанных каменных объектов.

¹ Кошечкин Б. И., Девятова Э. И., Коган Л. Я., Пунниг Я. М. Последлениковые морские трансгрессии в Онежском Беломорье // Стратиграфия и палеогеография четвертичного периода Севера Европейской части СССР. Петрозаводск, 1977. С. 5–16.

² Мулло И. М. Памятники древней культуры на Кузовых островах // Археология и археография Беломорья. Соловки, 1984. С. 52–81.

³ Манюхин И. С. Проект зон охраны памятников археологии на островах Кузова в Кемском районе Республики Карелия. Петрозаводск, 1993; Манюхин И. С., Лобанова Н. В. Археологические памятники архипелага Кузова // Культурное и природное наследие островов Белого моря. Петрозаводск, 2002. С. 19–31.

⁴ Лобанова Н. В. Итоги и перспективы изучения археологических памятников Онежской губы Белого моря // Природное и историко-культурное наследие Северной Фенноскандии: Материалы междунар. науч.-практической конф. 3–4 июня 2003 г. Петрозаводск, 2003. С. 103–110.

⁵ Отчет Н. В. Лобановой о полевых работах в 2003–2004 гг. // Архив ИА РАН; Отчет М. Г. Косменко о полевых работах в 2003–2004 гг. // Архив ИА РАН.

⁶ Отчет Н. В. Лобановой...

⁷ Lobanova N. Muinaishistorian arvoituksia Vienanmerenrannikolla // Karjalan Kunnaat. 5–26.11.2003. С. 24.

⁸ Lars I. H., Bjornar O. Samenes historie fram til 1750. Oslo, 2004. S. 116–122; Schanche A. Graver i ur og berg. Samisk gravskikk og religion fra forhistorisk til nyere tid. Karasjok, 2000. S. 14–15; Idem. Mortensnes. A journey through 1000 years of cultural history. Varanger Sami Museum, 2002. S. 160–162.

⁹ Мартынов А. Я. Археологические памятники Соловецкого архипелага и других островов южной части Белого моря. Архангельск; Соловки, 2002. С. 38.

¹⁰ Мулло И. М. Указ. соч. С. 76.

¹¹ Мартынов А. Я. Указ. соч.

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ «КОНТАКТНОЙ ЗОНЫ»

© И. А. Разумова
Апатиты

Этнокультурная ситуация на Кольском Севере: проблемы, аспекты и методы исследования

Кольский Север в силу своего географического положения всегда был и остается поликультурным ареалом. Регион интересен с точки зрения практики длительного относительно мирного сосуществования различных этнических групп. Это следствие объективных факторов: социально-исторического (особенности процесса освоения и заселения края) и демографического (высокий процент мигрантов, высокий процент городского населения, полиэтничность). К автохтонному населению принято относить саамов и русских поморов, к более позднему «пришлому» населению – ижемских коми, численно преобладающих русских, а также представителей самых разных этносов России и республик бывшего СССР.

В настоящее время большинство населения региона проживает в малых промышленных городах, которые создавались преимущественно в советский период в процессе научно-промышленного освоения края. Урбанизация осуществлялась быстрыми темпами и почти исключительно за счет мигрантов, что в свое время определило и продолжает определять демографическую и этнокультурную ситуацию в регионе. По итогам переписи 2002 г., городское население составило 824 тысячи человек, сельское – 69 тысяч¹.

Этнические сообщества Кольского Севера исследованы неравномерно. Интенсивнее изучалась саамская культура (прежде всего норвежскими и финляндскими учеными), в русской этнографии наиболее значительными продолжают оставаться труды Н. Н. Харузина², Т. В. Лукьянченко³ и коллективная монография о происхождении саамов⁴. И сейчас традиционный интерес представляют историко-этнографические и социологические исследования автохтонного населения.

На периферии исследовательских интересов долгое время оставались другие этносы и этнолокальные сообщества Кольского Севера, в первую очередь, русское старожильческое население края. Существует авторитетная традиция изучения истории и культуры поморов как субэтноса русских в целом, прежде всего труды Т. А. Бернштам⁵, а также описания традиций населения Карельского, Зимнего, Летнего и других берегов Белого моря. Поморы всегда привлекали особенное внимание фольклористов и лингвистов. Несмотря на это, мы пока располагаем недостаточным количеством исследований даже по традиционной культуре кольских поморов. Почти не проводились сравнительные исследования в этой области, мало внимания уделялось колонизации Мурманского берега поморами: истории возникновения и исчезновения рыбацких поселений. Тем более не становились предметом анализа современные этнокультурные процессы, протекающие в поселениях кольских поморов. Экспедиции ЦГП КНЦ РАН⁶ 2003–2005 гг. на Терский берег Кольского полуострова позволили начать исследование проблемы этнолокального самосознания современных терчан: основных дифференцирующих признаков, с точки зрения жителей («говор», факт рождения / проживания на Терском берегу, черты характера). Это дает возможности для сравнения кольских поморов с другими группами поморского населения и – шире – северных русских⁷. Особый аспект представляет проблематика, связанная с экономическими и культурными инициативами в отношении поморов Терского берега.

Еще одну исследовательскую перспективу историко-этнографического и социологического профиля представляет изучение ижемских коми, которые занимают особое и значимое место в этнической структуре Кольского Севера. Историко-этнографические труды по ижемским коми на Кольском Севере относятся к 20–30-м гг. XX в., когда велось активное изучение Карело-Мурманского края, и к 1980-м гг. – периоду проведения полевых исследований УрО Коми научного центра АН СССР. Не изучены пока вопросы взаимодействия саамов и коми-ижемцев, коми и русских на этапе урбанизации и многие др. Наиболее перспективны, на наш взгляд, исследования историко-культурной памяти смешанных коми-саамских, коми-русских и моноэтнических коми семей.

Представляет научный интерес изучение карельского населения Кольского Севера с точки зрения его исторических судеб, вовлеченности в этнические процессы, динамики этнического самосознания и современной культурной ситуации. Карелы Кольского полуострова ранее специально не изучались, но есть основание для гипотезы, что, по крайней мере, часть их могла представлять собой этнографическую группу или несколько групп, активно включенных в различные периоды в этнокультурные процессы на данной территории.

Настало время теоретического осмысления сложившихся на региональном уровне традиций и тенденций межкультурных взаимодействий и форм взаимной адаптации, а также роли локальных сообществ, социальных групп и микрогрупп (включая семейные) в формировании поликультурного пространства региона. Исследование этнокультурных процессов на Кольском Севере в XX – начале XXI в. и в исторической ретроспективе предполагает координацию историко-этнологического и социально-антропологического направлений исследований с тенденцией к их интеграции, использованию комплексных методик в изучении этнических и социальных процессов, истории и культуры Кольского Севера. В первую очередь, она связана с проблемами социокультурной адаптации населения к Крайнему Северу и межэтнических взаимодействий в регионе. Подавляющее большинство жителей края – горожане, мигранты в первом – третьем поколениях, представители различных этносов (при преобладании русских) и исходных территорий. В этой ситуации перед исследователями встает задача проведения комплексных исследований социальных практик и этнокультурных процессов в северных промышленных городах.

В последние годы при общем оттоке населения с северных территорий приток мигрантов ограничивается преимущественно «беженцами» и временными переселенцами из южных регионов России и республик бывшего СССР. Однако, судя по социологическим исследованиям, значительная часть молодого трудоспособного населения городов Кольского Севера не имеет устойчивых миграционных установок. У городского населения наличествует определенное локальное самосознание на уровне как региональной, так и поселенческой общности⁸.

В связи с этим важна разработка социально-антропологических аспектов проблем адаптации мигрантов к новому социальному, культурному, этническому окружению. Привлекательность либо отталкивающий потенциал территорий выбытия и прибытия всегда обусловлены комплексом факторов⁹. Немаловажен среди них и такой, как символический образ края, который транслируется межпоколенно. Он является основой формирования локальной идентичности сообществ «северян», жителей Крайнего Севера и / или определенного города.

Одним из существенных факторов стабилизации населения на Севере является признание места жительства «своим» как индивидами, так и группами, в частности, городскими сообществами. В настоящее время в Центре гуманитарных проблем Кольского НЦ РАН осуществляется комплексное исследование феномена локальной идентичности горожан Мурманской области и связанных с ним поведенческих практик¹⁰. В обычных условиях локальная идентичность проявляется в формировании определенной системы

ценностей и норм поведения жителей региона. Ее можно обнаружить в фольклоре, литературе, местной интерпретации истории страны и т. п.¹¹ Материалом для исследования данного феномена являются устные и письменные высказывания жителей, полученные в ходе интервьюирования, опросов, спонтанных бесед. Ценный источник представляют также литературные произведения, краеведческие и экскурсионные тексты, документы частного происхождения и многое др.

Локальная идентичность городского населения Кольского Севера основывается на комплексе общих признаков, связанных с историко-культурными и собственно пространственно-средовыми особенностями жизни сообществ. Ревизия устно-исторических семейно-биографических нарративов и письменных мемуаров демонстрирует, что значительная часть жителей осознает себя мигрантами и / или потомками таковых с сходными вариантами судеб. Нарративный материал обнаруживает несколько сюжетов, вокруг которых группируются истории семей. Во-первых, это история «спецпереселенцев», депортированных на Север при известных обстоятельствах в 1920–30-е гг.¹² В последние годы восстановление биографий репрессированных, высланных, раскулаченных и т. п. актуализировалось. Одновременно усилилось и осознание некой «общей судьбы» репрессированных семей при всей их социальной и этнической неоднородности.

Другая категория переселенцев, которых большинство, – «завербованные» на Север, то есть сделавшие свой выбор по причинам, связанным с неудовлетворительными условиями жизни, невостребованностью на прежнем месте. Для них Север оказался местом «спасения» или, по крайней мере, значительного улучшения существования.

Как известно, малые индустриальные города Кольского Севера создавались в советский период ускоренными темпами, вслед за разработками природных ресурсов и их промышленным освоением¹³. Идеи «покорения Севера», «преобразования (подчинения человеку) природы», «освоения территории» объединяют сообщества горожан на уровне историко-культурной памяти. Эта идея сохраняет актуальность в силу возраста городов, который в настоящее время совпадает с оперативной памятью локальных, профессиональных и семейных групп.

Существует устойчивая традиция репрезентации Севера в текстах разного рода, которая поддерживает групповое самосознание. Так, «экстремальность» зональных условий оказывается тем атрибутом, который повышает статус мигрантов и их потомков, отграничивая от живущих «на материке». Необходимость противостояния экстремальным, с точки зрения уроженца прочих территорий, средовым условиям создает специфическую идентичность «нового северянина». Кризисность физического существования ком-

пенсруется повышенной «духовностью» Севера и его жителей. Это устойчивый стереотип, требующий специального рассмотрения. В целом же «северный текст», несомненно, выполняет социально-интегрирующие функции, создавая коллективный образ северян как особого сообщества и в значительной степени сглаживая этнические различия.

Этот вывод отчасти подтверждает изучение так называемых новых диаспор в городах Мурманской области. Проведенное исследование «Кавказцы в представлениях жителей Кировско-Апатитского региона» позволило выявить основные стереотипы в отношении к представителям кавказских диаспор и ряд особенностей, отличающих отношение к этой категории мигрантов со стороны населения обследованного региона от настроений в некоторых других регионах России.

Известную автономию городских сообществ определяет их культурная дистанцированность от «коренных» жителей края. Для большинства урбанизированного населения относительно немногочисленные автохтоны представляются отдаленными во времени, пространстве, культуре. «Саамская» сюжетика в локальном кольском тексте имеет характер историко-этнографической информации; саамы и их культура – часть прошлой, «дикой», «неосвоенной» природной среды. Об этом свидетельствует, в частности, низкий уровень реальных знаний о традиционном быте аборигенного населения края. Согласно проведенному недавно в г. Апатиты социологическому исследованию, и молодые горожане, и люди среднего возраста имеют весьма расплывчатые представления об основных элементах материальной культуры саамов (отчасти, исключая лишь пищу), их языке, территории расселения и т. п.¹⁴ Традиции русского старожильского населения – поморов – известны в основном тем из горожан, кто связан с ним родственно, в противном случае знания эти имеют «музейный» характер или крайне скудны.

Именно для текста горожан характерна мифологема «притяжение Севера», типичны утверждения об особой «культурности» северян, их бескорыстии и духовности, сдержанности и уравновешенности характера, шутки о «замороженности». Эксплицированная в высказываниях бесконфликтность («спокойствие») на всех уровнях – от личностного до поселенческого – отчетливо связана с локальной символикой. Представление об этнической толерантности прочно ассоциировано с образом жителя Крайнего Севера (и Севера вообще). Данное обстоятельство можно рассматривать в качестве значимого фактора социальной стабилизации на региональном уровне.

¹ Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. М., 2003.

² Харузин Н. Н. Русские лопари. М., 1890.

³ Лукьянченко Т. В. Материальная культура саамов (лопарей) Кольского полуострова в конце XIX – XX в. М., 1971.

- ⁴ Происхождение саамов: По данным антропологии и археологии. М., 1991.
- ⁵ Бернштам Т. А. Поморы. Формирование группы и система хозяйства. Л., 1978; Она же. Русская народная культура Поморья в 19 – начале 20 в. Л., 1983.
- ⁶ Центр гуманитарных проблем Баренц-региона Кольского научного центра РАН.
- ⁷ Нахшина М. В. Поморы Терского берега: перспективы историко-культурного исследования // Этнокультурные процессы на Кольском Севере. Апатиты, 2004. С. 38–50.
- ⁸ On the problems of local identity and contemporary Russian «migratory text» (with reference to the Northwestern region of Russia) // Moving in the USSR. Western anomalies and Northern wilderness. Helsinki, 2005. P. 110–129.
- ⁹ Аарелайд-Тард А. Проблемы адаптации к новым культурным реалиям в зеркале биографического метода // Социологические исследования. 2003. № 2. С. 59–68; Бабышова И. М. Отношение местного населения к мигрантам // Там же. № 6; Юдина Т. О. О социологическом анализе миграционных процессов // Там же. 2002. № 10.
- ¹⁰ Исследования по данному проекту выполняются при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 05-06-97503 «Северный индустриальный город в эпоху трансформаций российского общества: социально-антропологические аспекты».
- ¹¹ Кувенева А. Е., Манаков А. Г. Формирование пространственных идентичностей в порубежном регионе // Социологические исследования. 2005. № 7.
- ¹² Шашков В. Я. Спецпереселенцы на Мурмане. Мурманск, 2003; Тимофеев В. Г. История одной семьи. Кировск, 2004.
- ¹³ См., например: Киселев А. А. Социалистическая индустриализация Европейского Севера СССР (1926–1940). Л., 1975; Еремеева А. А. Начало строительства комбината «Североникель» (период до начала Великой Отечественной войны) в г. Мончегорске // Этнокультурные процессы на Кольском Севере. Апатиты, 2004. С. 79–100.
- ¹⁴ Исследование выполнено на кафедре философии и социологии Кольского филиала ПетГГУ студенткой Т. Волковой под руководством И. А. Разумовой.

© К. Хейккинен
Йоэнсуу (Финляндия)

Национальность, пол, социальное положение исследователя и исследуемых – сложный комплекс факторов, влияющих на ход полевого этнографического исследования*

Рассмотрим сложную картину этнической принадлежности, социального положения и пола в контексте собирательской деятельности. Отправной точкой возьмем тезис рефлексивной антропологии о том, что исследователю следует осознавать собственное место в процессе исследования (Vuorela, 1999; Vakimo, 2001). Нас будет интересовать не столько сама этническая принадлежность, социальное положение или пол, сколько то, как эти факторы влияют на ход полевого исследования, которое считаем результатом совместной работы исследователя и информантов. Следует также заметить, что оценка исследователем себя основывается на индивидуальных фак-

* Перевод статьи с финского языка выполнен А. П. Конка

торах, но, главное, на групповых, так как этническая принадлежность, пол и социальное положение являются факторами коллективными.

По мнению А. Ненола, в фольклористике и этнографии, с точки зрения гендерных исследований, выделяются следующие важные вопросы: 1) каковы традиционные представления о женщине и мужчине или превращение половых признаков в репрезентативную величину; 2) какие из областей традиционной культуры и какие формы освоения традиции имеют половую специфику; 3) каковы женщины и мужчины в качестве исполнителей и манифестантов традиции; 4) какова роль женщины как женщины-исследователя в фольклористике и этнографии (Nenola, 1994). С. Вакимо добавляет еще возраст (Vakimo, 2001).

В процессе собирания фольклора присутствовала односторонность. Известно, что ранние собиратели рун с явным пренебрежением относились ко многим жанрам фольклора, которые были именно женским фольклором (например, к причитаниям). Во второй половине XIX в., когда фольклористика становится частью финской национальной идеи, высоко ценящееся пение рун ассоциировалось с мужчинами. Искали фигуры крупных рунопевцев-мужчин и находили. Их делали известными и возвышали даже тогда, когда, вероятнее всего, можно было бы найти столь же компетентных женщин-исполнительниц.

На более позднем этапе собирательской работы и расширении сферы научных интересов, когда многие фольклорные жанры стали объектами исследования, роль женского фольклора стала расти. Начали говорить о сохранении традиции, а не о сотворении ее. С точки зрения С. Вакимо, именно женщин видели в качестве хранителей и продолжателей традиций. Отмечалось, что женщины больше, чем мужчины, находились в кругу домашнего хозяйства, куда не доходили новые влияния, в отличие от более подвижного круга занятий мужчин. Считали, что мужчины быстрее, чем женщины, перешли в область национальной научно-технической модернизации. Например, «исследователи-мужчины представляли дело так, что мужчины привозили из поездок инновации для сохранения их женщинами дома» (Vakimo, 2001. S. 33–34, 36). Одновременно возник вопрос о феминизации традиции. Хочется спросить не представляется ли то, что называют народной традицией, с точки зрения мужского и женского начал, некой анонимно созданной культурой, у которой нет активных имеющих половые различия создателей.

Собственно говоря, именно старые женщины стали по большей части представлять «голос народа» (Vakimo, 2001. S. 24–34). Поиски «старых» определяли во многом собирание традиционных знаний, как и сбор материала по более широким программам. По мнению С. Вакимо, можно прямо говорить о некой возрастной цензуре, которую исследователи приме-

няли во время своих собирательских поездок, пытаюсь найти самых пожилых информантов (Vakimo, 2001. S. 25).

С. Вакимо предостерегает от такой позиции, когда в старых женщинах видят прежде всего память поколений. Она приводит совершенно иную точку зрения и особо подчеркивает мысль, по которой культуру и образ жизни пожилых следовало бы рассматривать как самостоятельную культуру определенного возрастного периода. Тогда бы она могла быть сравнима, например, с молодежной культурой. В таком случае она была бы по своему характеру частью современной культуры, которую не следует редуцировать в другие возрастные категории или в прошедшие формы культуры (Vakimo, 2001. S. 26–30).

Исследования в России

Тезисы А. Ненола и С. Вакимо обдумывались нами применительно к проведенным в 1990-е гг. исследованиям и собирательской работе в России. Мы занимались полевыми исследованиями в Карелии, Вологодской и Ленинградской областях, в республиках Удмуртии и Марий Эл, то есть работали в основном с финно-угорским населением, хотя поселения были полиэтничными.

Характер полевых исследований был достаточно традиционным. В деревнях «по цепочке» стремились найти знающих фольклор жителей, так называемых хорошо помнящих и интересующихся стариной людей и среди них охотливых рассказчиков. На практике это были в основном женщины средних лет и старше. Методами сбора материала были интервьюирование и наблюдение. Разного рода оттенки и акценты в интервью зависели от того, кто на практике его проводил. Использовалось структурированное, полуструктурированное и свободное интервьюирование; проводилось и групповое интервьюирование.

Материал был многоязычным и смешанным в языковом отношении. Во время обычного и группового свободного интервьюирования пользовались смесью языков – карельского, вепсского, русского и финского. Людям зачастую было достаточно сложно понять суть нашей работы. Между вепсами и карелами существовала определенная разница. Карелы выглядели более привычными к собирателям традиционных знаний. Можно даже сказать, что их научили быть информантами.

Во время полевой работы актуализировались такие факторы, как этническая принадлежность, социальное положение или класс и пол. Пришлось задуматься над тем, какое значение имело финское происхождение автора, гражданство Финляндии, какова роль собственной «финскости» во взаимовлияниях с разноэтничной группой исследователей, ка-

кое значение имел пол автора исследований и его академическое образование.

Процесс получения материала описан с позиций обобщенных выводов и через призму собственного опыта. Быстрые изменения в России породили новые, порой неожиданные обороты и темы в речи людей. Общественный, этнический и культурный перелом присутствует постоянно как в контексте всего исследования, так и в содержании рассказов информантов.

Противоречивая этническая близость и чуждость

Одной из форм общественных движений во время перестройки было движение на этнической почве. В деревнях этническое проявлялось различным образом. Частично разговоры об этнической принадлежности поднимались исследователями, но часто она ассоциировалась с другими поднятыми в разговоре темами. Можно сказать, что языковые вопросы вообще и особенно касающиеся вепсов и карел, сильно интересовали сельских жителей. Сравнение языков было популярной темой разговоров. Карельский и вепсский языки сравнивали в отношении их к финскому (с подачи автора), но также и с другими языками, находящимися в кругу языкового опыта собеседников. В целом было достаточно трудно определить действительную картину владения языками и использования разных языков в будничной ситуации.

Политико-идеологическая чуждость и социальное неравенство

Финляндские финны могут представлять себе, что они по причине общей этнической истории испытывают особенно теплое отношение к карелам и вепсам, если для сравнения взять отношение финнов хотя бы к русским и, с другой стороны, отношение жителей других западных стран к вепсам.

Карелы и вепсы – граждане России, они проживали в России сотни лет. Отношение к бывшему Советскому Союзу требует от западного исследователя сдержанности, ведь живем в условиях еще не успокоившегося волнения прекращенной недавно холодной войны. Требуется определенная осторожность в высказывании мнений.

Финляндия является западной страной с рыночной экономикой, что как явление для многих российских граждан было еще чем-то чуждым и порождало разные формы удивления и недоверия. Финское гражданство есть гражданство какой-то демократической, несоциалистической страны и на данный момент прежде всего страны зажиточной в экономическом смысле.

Представление о Финляндии как о зажиточной западной стране утвердилось в течение 1990-х гг., когда люди стали больше понимать действи-

тельное положение дел в России переходного периода. Речи, тем не менее, не касались политики, а были лишь повествованием о происходящих жизненных ситуациях. Чаще всего это были обычные жалобы, но трудности момента проявлялись также и в нарративах и тематических беседах. Трудно определить, повлияло ли иностранное гражданство на то, что жители деревень так быстро в своих разговорах переходили к жалобам на жизнь или это была лишь естественная реакция на быстрые и для многих людей, по вполне понятным причинам, кажущимися невозможными изменения.

В идентификации исследователей были и другие нюансы. Общим для всех вопросов был, например, такой: занимались ли мы благотворительностью и в чем именно выражалась эта наша роль. К этнической инородности примешивались социально неравные отношения на разных уровнях. Социальные различия между исследователями и деревенскими обывателями были физически ощутимыми: мы были жителями городов, откуда прибыли в летнюю пору на несколько недель интервьюировать население, представляли незнакомую для сельского жителя университетскую среду, непривычна для него была и наша работа.

Пол как объединяющий фактор

Особенностью нашей работы было то, что мы практически всегда имели дело с женщинами. Для женщин ритуалы представляли большой интерес, и они безо всяких усилий выступали в роли рассказчиц. Гораздо меньше интереса проявляли к традиционной культуре мужчины. Мы были привязаны к карельскому и вепсскому языкам, и это оказалось частично причиной того, что мы оказались в женском окружении, хотя изначально это не было нами предусмотрено. Таким образом, упор на этничность привел нас к усилению интереса к женской стороне культуры.

Женщины были общительнее мужчин. Женский состав нашей исследовательской группы уже сам по себе способствовал общению именно с женщинами. Контакт между исследователем и исследуемыми был в значительной степени основан на женском начале, на взаимном понимании того, как заботятся о детях и близких, о домашнем скоте и огороде. Это давало возможность проникнуть в ближайшее окружение женщин, по крайней мере, в качестве некоего внешнего его члена.

Практическая смекалка и забота о своих близких, столь свойственная деревенским женщинам, распространялась и на нас. Без их помощи мы, несомненно, не смогли бы выполнить поставленные задачи. В организации проживания и питания в сельской местности в России могли неожи-

данно возникнуть проблемы, решение которых зачастую требовало изобретательности.

Но у женского союза была и другая сторона. Время от времени появлялось желание иметь больше информации о политической и общественной жизни. Тем не менее разделение работы по половому признаку привязывало нас к домашнему хозяйству, к компании женщин, детей и домашних животных, от которых мы периодически стремились уйти, желая услышать что-то другое. Следует, однако, сказать, что, в конечном итоге, женская сущность автора и участие в качестве некоего внешнего члена в «вепском движении» открыла возможность заниматься собирательской деятельностью. Интерес к традиционной культуре – естественная часть этнокультурных устремлений вепсов. Особый интерес женщин к ритуальной стороне культуры есть следствие этой тенденции.

Многоголосие деревни

В карельских деревнях особенно ярко проявилась сила этнического фактора, то есть этническая близость всего карельского и финского. С финскими гостями старались говорить по-карельски, вернее, на смеси карельского и финского, им пели финские песни, рассказывали о поездках в Финляндию и о живущих там родственниках и друзьях. Ориентация была на Финляндию и на все финское. Говорили много о традициях карел. Особую заинтересованность в обрядах, верованиях, церквах и часовнях проявляли сами исследователи, их привлекала религиозная информация, то есть тематика, ранее в науке как объект исследования не приветствовавшаяся. В этом контексте русская ментальность и все русское в современной культуре села оказались в тени.

О советском периоде финнам не хотели рассказывать, кроме, вероятно, как о сталинских репрессиях, что уже было, похоже, неинтересно российским исследователям. Так, собственная позиция исследователей и общие научные задачи, поставленные перед собирателями, повлияли на то, что советская история, культура и советский быт не получил должного внимания. Какова доля исследователей в конструировании прошлого?

Тем не менее ясно и то, что в российских деревнях есть доля населения, которая не считает важным подчеркивание своей этнической или религиозной принадлежности.

В связи с этим объектом изучения стали бы и те группы женщин, которые в нашей ситуации остались за пределами исследования. Мы столкнулись с проблемой понятия «народ». Разве отрицательно к религии

относящиеся женщины не представляют свой народ или их культура – это не народная культура?

Вполне понятно, что с точки зрения какой-нибудь другой науки, хотя бы экономической науки или социологии, исходя из других теоретических предпосылок, исследованные другими учеными, хотя бы российскими или американскими, или хотя бы в результате изысканий, проведенных исследователями-мужчинами, вепские и карельские деревни оказались бы совсем иными. Возможно, что этнический аспект занял бы в них меньше места, тогда как «восточная экзотика» усилилась бы. Усиление экзотической стороны было замечено, например, в описаниях некоторых американских исследователей.

В заключение заметим, что не бывает одноголосых деревень и что описания всегда похожи на записавших их исследователей.

Литература

Heikkinen K. «Vieras vai oma. Kenttätöiden vanha nainen» // Toim. Hirsiaho A., Korpela M., Rantalaiho L. Kohtaamisia rajoilla. Helsinki, 2005. S. 263–277.

Nenola A. Folkloristikka ja sukupuolitettu maailma // Kulttuurintutkimus. Toim. Jari Kupiainen & Erkki Sevänen. Tietolipas 130. SKS. Jyväskylä, 1994. S. 184–204.

Vakimo S. Paljon kokeva, vähän näkyvä. Tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämäkäytännöistä. Helsinki, 2001.

Vuorela U. Postkoloniaali ja kolmannen maailman feminismit // (toim.) J. Airaksinen, T. Ripatti. Rotunaisia ja feminismejä. Nais- ja kehitystutkimuksen risteyskohtia. Tampere, 1999. S. 13–37.

© К. К. Логинов
Петрозаводск

К вопросу об этнолокальных и локальных группах русских Карелии

На характер и даже интенсивность изучения этнологами различных групп русского народа серьезным образом повлияла широкая дискуссия об этнических общностях, развернувшаяся в нашей стране в 1960–80-х гг.¹ В результате дискуссии были выделены основные компоненты этничности, утвердилось понятие «этноса», а также «субэтноса» и «этнографической группы» (общности, у которых этнические свойства выражены менее, чем у основной этнической единицы) и многие др. Тем не менее нельзя не согласиться с многократно высказываемым мнением, что набор универ-

сальных признаков этнической специфики как этноса, так и этнографических и этнических групп до сих пор окончательно не определен². Не случайно В. В. Пименов, назвав этнос «саморегулирующейся и самовоспроизводящейся системой», перечислил 10 компонентов «этничности» этноса, но указал, что набор этот «может быть как избыточным, так и слишком узким» в зависимости от объекта изучения – всего этноса или его территориальных подразделений³. При этом он справедливо указал, что «самым устойчивым признаком этнической структуры является вся структура в целом»⁴.

В изучении культурной специфики основных этнографических групп русского народа (севернорусской и южнорусской) отечественная этнография добилась несомненных успехов. Вершиной этого успеха стало составление и издание двух обширных томов «Русские. Историко-этнографический атлас»⁵. Значительно меньший прогресс обнаруживается в исследовании этнической и культурной специфики локальных общностей более низкого таксономического уровня. Без всяких сомнений следует согласиться с мнением Т. А. Бернштам, что «ареальная или локальная дифференциация» таких групп «изучена пока слабо и не равномерно», что их исследование будет производиться «в русле поиска новых аспектов и методологии изучения... „малых этнографических сообществ“»⁶. Именно «малые этнографические сообщества» Карелии, называемые иногда «этнолокальными», а чаще «„локальными“ группами», составляют предмет нашего исследования. Изучение их признано одной из актуальных задач отечественной этнографии на современном этапе развития науки⁷.

Первым серьезным опытом специального изучения локальной севернорусской группы, выполненного на монографическом уровне, стали монографии Т. А. Бернштам, посвященные «поморам»⁸. И это самым непосредственным образом касалось Карелии, северные территории которой заселены «поморами». Следующим подобным опытом изучения локальной группы Карелии стали монографии, посвященные локальной группе «заонежан»⁹. Десять лет автор посвятил изучению локальной группы русских, проживающих в Водлозерье. Монография по традиционно-бытовой культуре последних в настоящее время готовится к изданию. Таким образом, методика исследования «этнолокальной» группы для нас не является тайной за семью печатями.

Название «поморы», согласно исследованиям Т. А. Бернштам¹⁰, в качестве названия и самоназвания утвердилось еще в XVI в. Мысль, что «поморы» являются особой «этнографической» или «этнолокальной» группой русского этноса можно отыскать в любой работе, в которой пишется об этническом самосознании русского этноса. Идею о том, что «заонежане» в Олонецкой губернии тоже представляют собой особую груп-

пу, отличную от русского населения Олонецкой губернии, первыми высказали еще П. Н. Рыбников¹¹, затем – В. В. Майнов¹². С. А. Токарев причислил «заонежан» к числу «обособленных» групп русских Карелии, указав при этом, что такие группы имеют обособленную территорию проживания, с которой связано их название и самоназвание. Прочие группы населения на территории Карелии, название и самоназвание которых всегда связывалось с притяжением к местному административному центру, С. А. Токарев предложил называть «аморфными» группами¹³. Нам представляется, что от понятия «аморфная группа» отказываться ни в коем случае нельзя, поскольку по отношению к русскому этносу в целом любая из них будет «локальной», ибо всегда локализуется на строго определенной местности. Тем не менее в нашей этнографической науке уже укрепилась традиция именовать «этнолокальные» группы «локальными». Следует ей и автор. В 1986 г. нами со страниц «Советской этнографии» было заявлено о том, что «заонежане» являются «локальной» группой русских¹⁴. О том, что к «локальным» группам русских Карелии следует относить также «водлозеров», автор писал в 1995¹⁵ и 2001 гг.¹⁶ Более общий характер носила публикация 1990 г.¹⁷, в которой рассматривались все «аморфные» и обособленные группы русских Карелии. Всего на территории Карелии мы насчитали пять локальных («этнолокальных») групп русских. Это «заонежане», «водлозеры», «выгозеры», «даниловцы» (как целое группа существовала только до 1954 г.) и «поморы» (собственно «поморы») с Карельского и частично Поморского берега Белого моря.

«Этничность» самосознания (категоричность противопоставления «мы – они») у этих групп была различной. Если взять группу «поморов», то в ней выделялись не только собственно «поморы» с развитым осознанием своей внутренней культурно-этнической общности, но и те, кто такую общность едва-едва осознавали. Последнее выражалось, например, в заявлениях типа «„помор“ – это не национальность, а образ жизни» (информация А. П. Конкка из Княжей Губы). Поморскую ситуацию наглядно изображают названия других «поморов» со стороны собственно «поморов». В частности, население Кандалакшской губы они именовали «губянами» и «пяккой», а население от Умбы до Поноя – «терчанами» или «роканами»¹⁸. Тем не менее «этничность» самосознания «поморов» с их основным занятием морским рыболовством и зверобойными промыслами была гораздо выше, чем у «заонежан» – типичных севернорусских земледельцев. Такой же, а возможно, даже на порядок еще более яркой и напряженной была «этничность» (в данном случае – конфессионального) самосознания «даниловцев». Если к «даниловцам» по своему религиоз-

ному духу «поморы» были достаточно близки (почти сплошь старообрядцы поморского толка), то с «водлозерами», среди которых «оплотом старообрядчества» считалась всего одна дер. Малый Куганаволок, их разделяла непреодолимая конфессиональная пропасть. Таким образом, материалы с территории Карелии еще раз подтверждают тезис об иерархичности самосознания «этнических общностей различных таксономических категорий и порядков»¹⁹.

Подход автора к проблеме выделения локальных групп в Карелии состоял в том, чтобы непременно лично побывать там, где расселены представители «локальной» группы, а также у ближайших к ним территориально соседей и задать информантам традиционный в таких случаях набор вопросов. Мы выясняли: имеют ли представители группы особое самоназвание для всех представителей группы, не совпадает ли их самоназвание с названием административного центра территории. Затем методом опроса выявлялись окраинные пункты расселения «своих» и ближайших «чужих», а также границы хозяйствования представителей группы, то есть локальная территория расселения группы. Особенно актуален данный вопрос в случае, когда соседями являются не иноэтничные соседи, а группы родственного этноса. Поэтому нами всегда изучался вопрос, насколько территория расселения группы совпадает или не совпадает с волостной административной территорией (не была ли она уже или шире, чем волость, не разделялась ли границами разных волостей или границами уездов, а также границами церковных приходов). Оказалось, что территория расселения «локальной» группы, как правило, не совпадает с административной территорией волости и уезда. У небольших «локальных» групп Карелии («выгозеров» и «даниловцев») она была уже, чем территория волости, а у более крупных обычно включала две волости и более, часто при этом еще и из разных уездов. Данные обстоятельства, на взгляд автора, один из верных признаков, что исследователь имеет дело именно с «этнолокальной» группой. Представителям группы мы предлагали назвать черты быта и материальной культуры, по которым они могли бы с первого взгляда отличить представителей своей группы от представителей иных групп. Обычно такими чертами оказывались какие-то особенности кроя традиционной женской одежды и женских повойников, размеры и форма упряжной конской дуги, особенности конструкции и формы основного типа местной лодки. Обязательно среди представителей соседних с исследуемой групп населения проводился опрос: считают ли и они данную группу населения какой-то особой (и почему), как именуют представителей соседней группы, то есть выяснялся экзоэтноним исследуемой группы. При наличии достаточных этнокультурных оснований пред-

полагать, что автор действительно имеет дело с «локальной» группой, следовало обращение с вопросами к лингвистам или же к имеющейся специальной литературе на предмет выяснения вопроса: присущ ли исследуемой группе особый, характерный именно для нее говор. Полагаться на мнение информантов, что их говор отличается от говора соседей, автор считает несколько некорректным методом исследования локальной группы. Информанты, как правило, не способны оценить говор всей своей группы в целом, но уверенно указывают мелкие отличия выговора слов их собственной деревни от выговора ближайших соседей. Тем не менее даже последовательно выполненный опрос по указанной схеме дает лишь предварительный ответ на вопрос, является или не является данная группа локальной группой русских. Окончательный утвердительный ответ дает лишь детальное монографическое исследование традиционной материальной культуры, семейной обрядности и народного календаря (и народных праздников) этой группы на предмет выявления локальной культурной ее специфики. На это приходится тратить годы и годы исследовательской работы.

В качестве примера приведем наш опыт, связанный с изучением русских Заонежья. Вывод о том, что заонежские говоры представляют собой особую группу русских говоров Карелии, был сделан Р. Ардентовым (1955), Т. Доля (1963), М. Сухановой (1975). Наши исследования показали, что «заонежане» обладали и обладают всеми прочими признаками, которые позволяют их выделять в «локальную» группу русского этноса. В числе этих признаков:

а) общая для всех «заонежан» территория расселения, отделенная от других групп русского и нерусского населения Карелии водами Онежского озера, а с севера – незаселенной водораздельной территорией. Несмотря на то что в административном отношении Заонежье разделялось между Петрозаводским и Повенецким уездами, а внутри еще и границами трех волостей, Заонежье воспринималось и самими «заонежанами» и их соседями как единая, общая для представителей группы территория;

б) общее для всех «заонежан» самоназвание («заонежана»), совпадающее с названием (экзоэтнонимом) со стороны других групп русского и нерусского населения Карелии, никак не было связано с каким-либо административным центром, но объединялось территорией расселения – Заонежским полуостровом. «Заонежанами» их называли даже северные карелы, «поморы», «выгозеры» и «даниловцы», хотя по отношению к районам их расселения Заонежье не было территорией, расположенной «за Онежским озером»;

в) общее для «заонежан» «локальное» самосознание, которое проявлялось как осознание внутреннего языкового и культурного единства своей группы в противоположность другим группам русских. Локальное самосознание «заонежан» было обострено проживанием их в этническом пограничье, по соседству с иноэтничными карелами и вепсами;

г) общность для всей группы отдельных феноменов их народной культуры. Например, форма и особенности росписи праздничных выездных дуг, форма донцов женских повойников, конфигурация воротников наплечной женской одежды и некоторые другие детали (и способы ношения) одежды и многое др. Они воспринимались «заонежанами» в качестве консолидирующих группу признаков, отличающих представителей их группы от групп соседнего русского, вепсского и карельского населения;

д) основанное на фольклорных преданиях осознание единства происхождения «от общих предков» – новгородцев.

«Заонежане» в массе своей не были старообрядцами (как «даниловцы»), не имели особого для их группы социального статуса (как казаки), не отличались от соседей особым культурно-хозяйственным комплексом (как «поморы»). При некоторой этнокультурной и языковой несхожести с окружающим русским населением ведущим признаком для выделения «заонежан» в локальную группу было проживание их на особой, четко очерченной территории. Однако наименование и группы, и территории, давшей название самой группе, не было связано с наличием вблизи крупного водоема, как у «поморов», «выгозеров», «водлозеров» (карел «сямозерцев» и «сегозерцев»). Этим локальная группа «заонежан» выделяется среди других локальных групп Карелии, хотя и здесь можно говорить о притяженности к крупному природно-географическому объекту на территории Карелии. Локальными группами Карелии, название и самоназвание которых связывалось не с природно-географическим объектом Карелии, а с притяженностью к духовному центру, была группа старообрядцев «даниловцев» (самоназвание – «Боговы дети») ²⁰.

Не сложились в локальные группы в силу, скорее всего, тесного контакта с соседями (из-за отсутствия собственной, изолированной от соседей территории, тяготеющей к крупному природно-географическому объекту) такие старожильные группы русских Карелии, как «челмужане», «шаляне» и многие другие «аморфные» группы русских Пудожья и северо-восточного Обонежья. Исторически поздно, в XVIII в., возникшим в западном Обонежье группам русских («лижемцев» и «уничан»), фактически проживавших в окружении карел, не хватило, наверное, времени, чтобы сложиться в локальные группы. Кроме того, формированию последних в локальные группы препятствовала их очевидная малочисленность.

- ¹ Громов Г. Г. Восточнославянские народы // Очерки по этнографии народов СССР. М., 1962. С. 3–45; Токарев С. А. Проблема типов этнических общностей (к методологическим проблемам этнографии) // Вопросы философии. 1964. № 11. С. 43–53; Чебоксаров Н. Н. Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых // СЭ. 1967. № 4. С. 94–109; Козлов В. И. О классификации этнических общностей (состояние вопроса) // Исследования по общей этнографии. М., 1974. С. 5–23; Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии. М., 1981; Он же. Очерки теории этноса. М., 1983; Он же. Этносоциальные процессы: теория, история современность. М., 1987; Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы, расы, культуры. М., 1985; Пименов В. В. Системный подход к этносу // Расы и народы. М., 1986. С. 12–30; Чистов К. В. Еще раз об исторических типах этнических общностей // СЭ. 1986. № 5. С. 78–80 и др.
- ² Чистов К. В. Еще раз об исторических типах этнических общностей. С. 69–70; Пименов В. В. Системный подход к этносу. С. 14–15; Фурсова Т. В. Этнографические и этнические группы: проблемы их дифференциации и методов исследования // Локальные традиции в народной культуре Русского Севера (Материалы IV междунар. науч. конф. «Рябининские чтения». Петрозаводск, 2003. С. 263) и др.
- ³ Пименов В. В. Системный подход к этносу. С. 13–14.
- ⁴ Там же.
- ⁵ Русские. Историко-этнографический атлас. М., 1967, 1970.
- ⁶ Бернштам Т. А. Введение // Русский Север. К проблеме локальных групп. СПб, 1995. С. 5.
- ⁷ Бернштам Т. А. От редактора // Русский Север. Ареалы и культурные традиции. СПб, 1992. С. 3.
- ⁸ Бернштам Т. А. Поморы. Формирование группы и система хозяйства. Л., 1978; Она же. Русская народная культура Поморья в XIX – начале XX в. Л., 1983.
- ⁹ Логинов К. К. Семейные обряды и верования русских Заонежья. Петрозаводск, 1993; Он же. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья (конец XIX – начало XX в.). СПб, 1993; Кузнецова В. П., Логинов К. К. Русская свадьба Заонежья (конец XIX – начало XX в.). Петрозаводск, 2001.
- ¹⁰ Бернштам Т. А. Поморы. С. 70.
- ¹¹ Этнографические заметки о заонежане // Памятная книга Олонецкой губернии на 1864 год. Петрозаводск, 1865.
- ¹² Майнов В. Поездка в Обонежье и Корелу. СПб, 1877.
- ¹³ Токарев С. А. Этнография народов СССР. М., 1958. С. 10.
- ¹⁴ Логинов К. К. Являются ли «заонежане» локальной группой русских? // СЭ. 1986. № 2. С. 91–95.
- ¹⁵ Логинов К. К. Этническая история и этнографические особенности русских Водлозерья // Природное и культурное наследие национального парка «Водлозерский». Петрозаводск, 1995. С. 197–205.
- ¹⁶ Логинов К. К. Основные компоненты традиционно-бытовой культуры русских Водлозерья // Национальный парк «Водлозерский»: Природное разнообразие и культурное наследие. Петрозаводск, 2001. С. 267–273.
- ¹⁷ Логинов К. К. Аморфные и обособленные группы русских бывшей Олонецкой губернии // Европейский Север: история и современность. Петрозаводск, 1990. С. 140–141.
- ¹⁸ Бернштам Т. А. Поморы. С. 59, 77–78.
- ¹⁹ Чебоксаров Н. Н. Указ. соч. С. 96.
- ²⁰ Как представляется, имеются локальные группы и среди прибалтийско-финского населения Карелии. У карел к таковым, по-видимому, можно отнести «михайловских» карел, народный говор которых считается более близким к вепским диалектам, чем к диалектам карельского языка. Их название со стороны олонечских карел – «михайловские евреи». Некоторые признаки, характерные для этнолокальных групп, обнаруживаются и у вепсов, проживающих ныне на особой административной территории – Вепсской волости Карелии. Однако вопросы эти являют собой особую самостоятельную тему, которая требует детального исследования.

Этногенетические истоки традиционных представлений о домашних птицах у вепсов

В мифологии всех народов значительное место занимают животные, представления о которых удивительно разнообразны: тотемизм, природно-хозяйственный и социально-религиозный культы, магия, связанные с нею суеверия и т. д. Исследование всех этих сложных явлений имеет много аспектов. Один из них – этногенетический – важен и с практической точки зрения, особенно при изучении народов малочисленных, таких, например, как вепсы, пытающихся возродить свою культуру, подчеркнуть ее национальное своеобразие в разноцветном мире этносов. Один из пунктов в решении этой проблемы включает работу по созданию национальной символики. О ее назревшей необходимости говорят, в частности, эпизоды из вепского национального движения. В 1989 г. в с. Шелтозеро проходил очередной фольклорный праздник. В качестве символа этого праздника и символа вепской национальной культуры его организаторы выбрали красного петуха. Образ этого животного вызвал естественный вопрос: насколько он действительно может считаться вепским национальным символом? Но чтобы дать ответ на него, необходимо было ответить на ряд других вопросов: когда вепсы стали заниматься куроводством, имеется ли образ петуха в древневепском изобразительном искусстве и фольклоре, известны ли вепские ритуалы «с петухом» и насколько они древние и т. п. Таким образом, требовалось обоснование, основанное на фактах.

Ученые считают, что центром распространения петухов и кур по всему миру явилась территория Индии. Примерно во II тыс. до н. э. в Индии, а также в Бирме и на Малайских островах петухи занимали почетное место в ряду священных животных. Их держали в домах не из-за мяса и яиц, а как дозорных, своим пением прогоняющих злых духов. Именно в таком качестве эти птицы примерно в I тыс. до н. э. попали сначала в Персию, затем в древнюю Грецию, после – в Рим и далее распространились по всем странам Европы. В быту прибалто-финнов петухи и куры появились, скорее всего, под влиянием германцев, у которых птицеводство достигло высокого уровня развития¹. Названия кур и петухов в прибалтийско-финских языках одинаковы и относятся к древнегерманским заимствованиям (вторая половина I тыс. до н. э. – первые века н. э.)².

Какие функции выполняли эти птицы у прибалто-финнов в то время, неизвестно. Можно предположить, что, как и у многих народов Европы, они первоначально играли роль домашних охранителей. В раннем средневековье весь не разводила кур. Костей домашней курицы на поселении Крутик (IX–X вв.) не выявлено, хотя на древнерусских памятниках конца I – начала II тыс. н. э. Московской, Калужской, Смоленской, Рязанской областей они известны. В то же время подвески-обереги в виде «курочек» и «петушков» встречаются в древневепсских оятских курганах³. Еще в конце XIX – начале XX в. куроводство было слабо развито в вепсских деревнях. Кур держали из-за яиц. О состоянии дел в этой отрасли животноводства в Олонецкой губернии (местожительстве прионежских, оятских и шимозерских вепсов) писала газета «Олонецкие губернские ведомости»: «Куроводство только еще начинает распространяться в губернии, двигаясь с юга на север; есть местности (центральная Карелия), где кур еще не знают. На юге и востоке губернии крестьянская кура обладает только одним качеством – выносливостью». Эта малорослая, почти карликовая птица, дает в год 40–70 яиц⁴. В тон этому газетному сообщению вторит и наблюдение А. В. Светляка о куроводстве у шимозерских вепсов, сделанное уже в конце 20-х гг. XX в.: «Куроводство в Шимозерии не завоевало еще себе достаточных прав на существование»⁵. Столь бледный практический фон, обрисованный исследователями, не согласуется с довольно яркими мифологическими представлениями о петухе и курице, бытовавшими у вепсов.

К древним индоевропейским истокам относятся вепсские представления о петухе как солнечном животном, своим кукареканьем возвещающим наступление положительного времени – дня, света, когда исчезают темные силы. Попад в вепсскую среду, эти представления приобретали своеобразные формы. В северновепсской традиции в образе петуха – вестника солнца и бодрствования – представлялся дух бессонницы под названием *örägu* (букв. «ночной плач»), мешающий спать ребенку. Об этом свидетельствует лечебный обряд против *örägu*: над девочкой или мальчиком в рубашке держали коромысло, на которое сажали петуха. Далее рубашку мочили в воде и вешали на коромысло с заклинанием: «*Örägu, na sinei rad täl öl paideine kuida i pecida rabad ni kosta*» – «Ёрягу, на тебе работу на всю ночь рубашку сушить и этого раба не трогай». Затем эту рубашку одевали ребенку на ночь⁶.

Петух, как и солнце, – счетчик времени. В прошлом вепсские крестьяне определяли дневное время по солнцу, а ночное – по крику петухов. От

соседнего русского населения оятские вепсы переняли термины, обозначающие отсчет времени по крику петухов. Считалось, что петухи должны петь в *урочное время*: первый раз – в полночь, второй – в два часа ночи, третий – в три. Всякий другой час в ночную пору будет в *непоказанное время*⁷. Петушиный крик в урочное время способен победить нечистую силу. Такое представление нашло отражение в ритуале перехода в новый дом. Оятские вепсы всегда переселялись в новый дом в урочное время после петушиного крика, который разгонял нечисть. Этот мотив довольно часто встречается и в вепсских сказках: человеку угрожает опасность от представителей темных сил, спастись он сможет только в том случае, если продержится до крика петуха⁸. По северновепским поверьям, «если в избе чудится, то надо петуха на ночь взять в избу, чтобы не бояться. Пение петуха очищает все в избе»⁹. Мотив о петухе, разгоняющем нечистую силу, нашел отражение в вепсских меморатах. В одном из них рассказывается, как духу леса удается забраться в курятник только после того, как он выбрасывает оттуда петуха¹⁰.

Приведенные данные показывают, что в народных представлениях петух как бы одновременно соединял положительное время и положительное пространство. По мнению исследователя мифологии В. Б. Иорданского, из всех домашних животных петух был наиболее тесно связан с домашним положительным пространством. Он проводил день в непосредственной близости от жилища, а на ночь укрывался под крышей крестьянского дома¹¹. Вепсы считали, что «без петуха дом – сирота»¹². В большинстве вепсских деревень при переселении в новый дом, который в народном сознании представлялся неизведанным, полным опасностей пространством, первым хозяева пускали петуха – защитника от всего вредоносного¹³. Петух считался хозяином дома. У капшинских вепсов по действиям петуха определялся глава семьи: если петух шел в красный угол, значит, хозяином будет мужчина, если в другое место – женщина. У южных вепсов появление петуха в первую очередь в красном углу или у печи сулило богатую и счастливую жизнь. Если петух запоет, значит, жизнь семьи в новом доме будет веселая¹⁴. Различные варианты обряда перехода в новый дом с петухом были распространены у славянских народов. Исследователи относят их к праславянской традиции¹⁵.

Петуху приписывалась способность уничтожать и такой вид нечисти, как болезни. Для вепсской традиции характерно множество лечебных заговоров, в центре которых образ этой домашней птицы, клюющей болезнь. Приведу отрывок из заговора от *призора*, или сглаза, у ребенка: «Kuldeizel kivel kuldeine kukei, oma kukeizel kuldeizel suugeized, om kukeil kuldeine ñokeine, kut necil ñokeizel kokkib i nokkib, muga nokeigaha i kokei-

gaha pahad čokkāižed, nokeigaha i kokeigaha nabeisešpäi pahad ligutezed» – «На золотом камне золотой петух, у петушка золотые крылышки, у петуха золотой клювик, как этим клювиком долбит и клюет, так пусть долбит и клюет плохие колючки, пусть долбит и клюет из пупка плохие раны»¹⁶.

Если петух связан с солнцем, то курица – с темнотой, закатом. По северновепсской примете, если курица сидит на яйцах головой к заходу солнца, то из яиц на свет появятся курицы, если сидит головой к восходу солнца, то будут петухи, а если сидит в полдень к солнцу – те и другие¹⁷.

Связь курицы с закатом, а следовательно, с нижним загробным миром отразилась на направленности ее пророческого пения, которое, в отличие от петушиного, считалось отрицательным. У вепсов, как и у многих народов Европы и Азии, широко была распространена примета, видимо, общеиндоевропейского происхождения о том, что пение курицы петухом – к худу.

К отголоскам древних индоевропейских представлений можно отнести и взгляд на кур как на нечистых существ и производный от него запрет употреблять куриное мясо в пищу, бытовавший в прошлом у пязозерских вепсов, а также у паданских карел и русских Заонежья¹⁸. Такой вывод имеет основанием данные из древних европейских культур. У кельтских племен бриттов, например, считалось святотатством отвеживать куру¹⁹.

Изучение некоторых продуцирующих и предохранительных куроводческих обрядов обнаруживает зависимость кур от огня домашнего очага. В Великий Четверг перед утренней топкой хозяйка ворошила кочергой золу в печном жаратнике; если она находила скопление непотухших углей, это означало «куриное гнездо с яйцами», то есть знак, что куры будут хорошо нестись²⁰. Подобный обряд под названием *искать гнездо* был известен и русскому населению Заонежья²¹. Чтобы курицы водились в хозяйстве и не околевали, существовал запрет жечь в печи «клинья» – заостренные с одной стороны куски дерева²². У оятских вепсов, например, запрет жечь в печи клинья объяснялся тем, что курица залетит в топящуюся печь²³. Возможно, перед нами отголоски каких-то древних представлений о связи куриных с огнем. У многих народов Европы и Азии эта связь наиболее ярко прослеживается с петухом, но вполне может касаться и кур. По немецкой примете, если курица (особенно красная) запоет петухом, то следует опасаться пожара²⁴. Кроме того, у многих европейских народов обнаруживаются жертвоприношения петуха огню. Так, по сведениям И. Георги (конец XVIII в.), «собираются ижорки на канун Иванова дня и препровождают с пением и воплем всю ночь при великом огне, а напоследок сжигают белого петуха, делая при этом много шалостей»²⁵. Известны также латышские и русские жертвоприношения петуха

для умилоствления гуменника-овинника²⁶. Как представляется, все эти параллели в какой-то мере объясняют ассоциацию из уже упоминавшегося вепсского запрета о клиньях и курице, залетающей в печь. В этом контексте, как нам кажется, раскрывается и образ подгоревшего петуха в детской дразнилке у вепсов: «Igoi-biroi, räčînrahkoi, korbii kukoi räčil launub» – «Ирой-бирой, пачинрахкой, подгоревший петух на печи поет» (*päčînrahkoi, rahkoi* – это дух печного очага у вепсов). Любопытна и поговорка, которая у вепсов употребляется по отношению к человеку, поздно явившемуся на работу: «Kukoi – pule, a rahkoi – gadole» – «Петух – на насест, а рахой – на работу». Одновременное упоминание петуха и духа печи может свидетельствовать о взаимосвязи этих образов. Такое явление вполне возможно. В верованиях русских крестьян, например, связь петуха с домашним очагом выражена достаточно определенно²⁷. К кругу подобных представлений можно отнести и способ тушения пожара куриными яйцами, распространенный у русских, коми и вепсов²⁸.

Таким образом, петух и курица – явно почитаемые животные в вепском бестиарии. С ними были связаны основные пространственно-временные идеи существования Вселенной: верхний и нижний миры, чередование света и тьмы, дня и ночи. Петух и курица были воплощениями плодородия и плодовитости. Голос и поведение этих птиц служили важными предсказаниями. Петух был символом солнца и огня, мощнейшим оберегом. Сравнительный анализ показал, что подавляющая часть этих представлений, лежащая в основе культа, имела древнее индоевропейское происхождение. В вепсской среде они получили разные витки развития. Солнечная и огненная природа петуха использовалась в сложении образов мифологических персонажей *örägu* и *päčînrahkoi*; бережное значение петуха получило яркое воплощение в вепсских заговорах от болезней. С развитием птицеводства курица стала объектом многих продуцирующих и предохранительных обрядов. Многие из них были заимствованы от русского населения, у которого куроводство и связанный с ним комплекс обрядов оказались более развитыми. В русской традиции в отличие от вепсской были широко распространены: «курячы именины», «куриные праздники», отмечаемые 1/14 ноября, в день памяти св. Космы и Дамиана; использование петуха и курицы в свадебном ритуале; разнообразные блюда из куриного мяса и т. д.²⁹

¹ Материальная культура. Свод этнографических понятий и терминов. М., 1989. С. 34.

² SKES. 1958. II. С. 232.

³ Пименов В. В. Этническая принадлежность курганов юго-восточного Приладожья // СА. 1964. № 1. С. 96.

- ⁴ Куроводство // ОГВ. 1913. Т. 1, № 2–3. С. 178.
- ⁵ Светляк (Фомин) А. В. // Архив РГО. Р. 119. Оп. 1. № 344. Л. 52.
- ⁶ Perttola J. // SKSA. № 220.
- ⁷ Светляк (Фомин) А. В. // Архив РГО. Р. 119. Оп. 1. № 344. Т. 2. Л. 2.
- ⁸ Вепские народные сказки. Петрозаводск, 1996. № 9.
- ⁹ Perttola J. // SKSA. № 93.
- ¹⁰ Светляк (Фомин) А. В. // Архив РГО. Р. 119. Оп. 1. № 344. Л. 10.
- ¹¹ Иорданский В. Б. Звери, люди, боги. Очерки африканской мифологии. М., 1991.
- ¹² Пушкин Д. М. // Архив КНЦ. Р. XI. Оп. 2. № 79. Л. 25.
- ¹³ В ряде деревень капшинских и южных вепсов эту роль выполняла кошка.
- ¹⁴ Joalaid M. Elamuga seotud kombestikust lõuna-vepsas // Etnograaiiammuuseumi aasta-gaamat XXX. Tallinn, 1977. С. 240.
- ¹⁵ Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. С. 104–106.
- ¹⁶ Perttola J. // SKSA. № 206.
- ¹⁷ Ibid. № 457.
- ¹⁸ Пяжозеро. Фон. ИЯЛИ, № 3414/4; Тароева Р. Ф. Материальная культура карел (Карельская АССР). М.; Л., 1965. С. 123; Логинов К. К. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья. СПб, 1993. С. 125.
- ¹⁹ Дмитриев Ю. Д. Человек и животные. М., 1976. С. 199.
- ²⁰ Светляк (Фомин) А. В. // Архив РГО. № 344. Тетр. 9. Л. 3.
- ²¹ Логинов К. К. Указ. соч. С. 39.
- ²² Макарьев С. А. // Архив КНЦ. Ф. 26. Оп. 1. № 15. Л. 173.
- ²³ Светляк (Фомин) А. В. // Архив РГО. № 344. Разд. III. Л. 1.
- ²⁴ Клинтгер В. П. Животное в античном и современном суеверии. Киев, 1911. С. 309.
- ²⁵ Георги И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Ч. 1. СПб, 1799. С. 25.
- ²⁶ Мифы народов мира. Т. II. М., 1997. С. 310.
- ²⁷ Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М., 1978. С. 165.
- ²⁸ Петук // Мифология коми. Сыктывкар, 1999; Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX – начала XX в. М.; Л., 1957. С. 69; Винокурова И. Ю. Календарные обычаи, обряды и праздники вепсов (конец XIX – начало XX в.). СПб, 1994. С. 67.
- ²⁹ Маслова Г. С. Указ. соч. С. 165; Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря. СПб, 2001. С. 294–295.

© В. П. Кузнецова
Петрозаводск

«Словарь живого поморского языка» И. М. Дурова как источник для изучения этнокультурных контактов

В Научном архиве Карельского научного центра РАН с 1934 г. в фонде документации хранится папка, которая до сих пор была просмотрена буквально одним-двумя исследователями. Это рукопись краеведа-исследователя Ивана Матвеевича Дурова, коренного жителя поморского с. Сумский Посад. Рукопись называется «Словарь жи-

вого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении». Она написана от руки чернилами и содержит восемь томов. На каждом из них стоит отметка «не издан» и дата 1934 г.¹ В «Словаре» содержится не только бесценный лингвистический материал, но и поморский фольклор, а также богатый этнографический материал, который мы находим в статьях, дающих толкование некоторых слов. Это не единственная работа И. М. Дурова, хранящаяся в Научном архиве. Исследователи давно пользуются его материалами, содержащимися в нескольких фольклорных коллекциях 1910–1936 гг. В них собраны записи произведений разных жанров – духовные стихи, поморские песни, детский фольклор и т. д.²

По словам самого И. М. Дурова, он работал над «Словарем» 20 лет, и рукопись стала для него трудом всей жизни. Сбор материала он начал в 1912 г. по программе Академии наук, изданной в 1900 г. В 1913 г. благодаря инициативе Беломорского отдела Общества изучения Русского Севера началась работа над «Словарем»³. Несколько слов необходимо сказать о самом И. М. Дурове. В архиве имеется его личное дело, в котором указана дата его рождения – 1894 г., место рождения – с. Сумпосад. После окончания 7 классов Сумского высшего училища (1903–1910) он в течение 9 месяцев в 1912 г. прошел заочную подготовку «гимназия на дому» и окончил коммерческие курсы «Самообразование» в 1913 г.⁴ В одном из документов он сам указывал, что начал краеведческую работу с 1915 г., когда состоял в Обществе изучения Поморского края. С 1924 г. занимался краеведческой работой и организацией ячеек краеведения при колхозах и школах в Сорокском районе⁵.

И. М. Дуров сотрудничал с Карельским научно-исследовательским институтом, вел с ним переписку и сдавал на хранение собранные материалы. В 1934 г. между ним и институтом на полгода был заключен договор, подписанный С. Макарьевым⁶, для завершения работы над «Словарем».

Территория, которая обследовалась И. М. Дуровым с целью сбора материала для «Словаря», – это, как он сам называет, Сорокско-Кемский район, от с. Поньгома до с. Нюхча включительно. За 20 лет ему удалось собрать 12 090 слов среди поморского населения; кроме того, были привлечены статьи и заметки из разных изданий. В рукопись включен материал его опубликованного словаря по рыболовному промыслу Поморья, изданного Соловецким обществом краеведения в 1929 г.⁷ В 1934 г., завершая работу над «Словарем», И. М. Дуров выезжал в поморские села, где проверял произношение и значение каждого слова. В 1937 г. он был аре-

стован, 3 апреля 1938 г. расстрелян, как установила исследовательница его биографии и краеведческой деятельности С. М. Лойтер⁸, в местечке Сандармох около г. Медвежьегорска.

«Словарю живого поморского языка» И. М. Дуров предпослал целое исследование истории Беломорья, сведения о составе населения, особенностях быта, а также дал общую характеристику поморского говора, его фонетики, морфологии и синтаксиса. Многие слова сопровождаются статьями, поясняющими употребление этих слов в живой речи, дается иногда развернутое описание какого-либо обряда или предмета, орудия труда и т. д., целое фольклорное произведение (частушка, поговорка, народная примета) или отрывок песни. Надо ли говорить о ценности труда И. М. Дурова для языкознания, этнографии и фольклористики, особенно имея в виду то, что он сам был носителем этого говора и традиционной поморской культуры.

Первое, что отмечает автор «Словаря», – это однородность национального состава населения в исследуемом регионе – Нюхча, Колежма, Сумский Посад, Вирма, Сухое, Шизня (он называет так Шижню), Выгостров, Сорока, Шуерецкое и г. Кемь. В поле зрения не вошли рыбацкие поселения Юкково и Сань-наволоок, а также лесозаводы и железнодорожные поселки Сороки, Шуерецкого и Кемь, поскольку они населены «пришлыми людьми»⁹. Говоря о географическом положении Поморья, И. М. Дуров отмечает, что с севера и северо-запада оно граничит с Лоухским, Ухтинским и Тунгудским районами, где проживает карельское население. Он приводит примеры топонимов, говорящие о том, что первыми жителями Поморья были саамские (лопарские) племена, вытесненные впоследствии финнами. Это такие названия древних урочищ, озер, гор и прибрежных островов на Белом море, как Тайбола, Кóк-ручей, Сár-ручей, Явánd-ручей, Чúпор-гора, Пёрт-озеро, Гап-наволоок, Сум-остров, Габ-озеро, Рух-ламба, Керко-ручей, Куз-остров, Тоб-ручей, Ревеж-гора, Майдо-ручей, Вегаракша, Рег-остров и многие др.

Краевед высказывает предположение, что еще в IX в. на Беломорье обитало финское племя Сумь (Suoma laiset), которое занимало обширное пространство между Онего и Белым морем. Именем племени Сумь называется р. Сума, вытекающая из оз. Сúмо, а отсюда и Сумский Посад, древнейшее селение Карельского Поморья. Автор говорит об истории завоевания Поморья шведами, о владении этим краем карелами и вытеснении карел новгородской колонизацией.

И. М. Дуров приводит сведения из летописи Сумского острога, в которой записаны первые поселенцы на берегах рек Сума, Выг. Это были бежавшие в XV в. от притеснений «ливонского города немцев» право-

славные христиане. Среди этих фамилий встречаются такие, как Ильмянинов (с Ильмень-озера), и карельские фамилии, например, Рогуев. Во второй половине XIX в. происходило переселение на морское побережье карел из средней Карелии – к Сумскому Посаду, Колежме и Вирме, из Тунгудской Карелии – к Сороке, Шижне и Шуе, а из Ухтинской – к Кеми и частично Шуе. Карелы, переселявшиеся вместе с семьями, оседали в Поморье, устанавливались прочные связи со славянским населением через межнациональные браки, происходило и взаимное восприятие культурных традиций, сказалось это и на особенностях поморского говора.

И. М. Дуров отмечает, что влияние на культуру некоторых поселений Поморья оказала лесная промышленность, в которой были задействованы переселенцы из других районов Русского Севера, например, в район Сорока – Кемь они принесли свои обычаи и особенности наречия, которые в известной степени отразились на современном говоре поморов. Благодаря Мурманской железной дороге, отмечает составитель «Словаря», коренное население Сороки, Шижни и Кеми было растворено другими национальностями. В то же время весь Сорокский район остался почти нетронутым. По данным сельских советов сел Нюхчи, Колежмы, Сумы, Вирмы и Сухого, на 1934 г. численность населения составляла 4942 человека, из них на долю коренного, то есть поморов, приходилось 4547 человек, пришлого русского – 369, обрусевших карел – 17 и представителей прочих народов 9 человек, почти все они проживали в Сумском Посаде¹⁰. В процентном соотношении на то время русских проживало в Поморье 97,4%, карел – 1,5 и прочих национальностей 0,1%. И. М. Дуров отмечал толерантность поморского населения, чему способствовало распространение межнациональных браков.

Тенденция межнациональных браков сложилась после империалистической войны 1914 г. До этого времени в Поморье предпочтение при выборе брачных партнеров всегда отдавалось своим односельчанам или поморам своего края. Нарушение этого правила было редким исключением, еще более необычным был выбор помором жены за пределами Беломорья. Выход девушки замуж за непомора становился целым событием для села. Война, а затем революция разрушили целостность семейного уклада жизни. Уже в начале 1930-х гг. смешанные браки не были редкостью.

И. М. Дуров, не имея специального лингвистического образования, смог сделать подробный очерк об особенностях поморского говора. По его наблюдениям, в этом говоре сохранились следы саамского и прибалтийско-финских языков. Об этом говорят не только многочисленные названия, о которых уже говорилось, эти следы отмечаются и в лексике.

Рассмотрим несколько примеров из его «Словаря», сопоставив их хотя бы с одним из словарей прибалтийско-финских языков¹¹.

Ню'гайдать – гнусавить, говорить невнятно (*Nuhnoi* – кар. мямля; гнусавый).

Ню'рики (слово карельское) – сшитые из кожи без накладных подошв и каблуков летние сапоги; удобная и весьма легкая обувь для хождения по лесам и болотам в летнее время. Незаменимая обувь у карела. Повс.

Ня'ша – И. М. Дуров сам отмечает, что это слово финское – тина, болото, трясина (*Näskii* – кар. чавкать, хлюпать – о грязи, о воде).

Ли'нда (лопарское) – 1) жидкая, заправляемая мукою похлебка из рыбы; жидкая разварившаяся каша; 2) о человеке в насмешку: длинный, тончавый, длинноногий и длиннорукий; слабого телосложения.

Лох – название семги после нереста (*Lohi* – кар. лосось).

Ля'бать – переговаривать, передавая слышанное, пересказывать, заниматься сплетнями (*Läbžöttii* – кар. мять, толочь, раздавливать).

Маймуха – маленькая рыбка-малек, по строению кости и формой сходная с навагой и треской; не имеет чешуи; обитает исключительно в пресной речной воде в реках Нюхча, Руйга и Колежма (*Maimu* – кар. 1) сушеная мелкая рыба, сущик; 2) мелкая рыбешка).

Мáлтaть (слово карельское) – понимать, разуместь. Я малтаю, что ты говоришь.

О прибалтийско-финском влиянии говорит и ударение, во многих словах сохраняющееся на первом слоге. Примеры: *ру́чей, по́толок, спíна, ко́паньё, плёваньё, за́печьё, бо́сой, гу́стой, дру́гой, плóхой, при́дет* и др.

С XIV в. Беломорье заселялось новгородцами, и, как утверждает И. М. Дуров, вплоть до конца XV столетия здесь существовал только новгородский говор. В районе Сорока – Кемь все-таки заметно искажение местного говора в связи с прибалтийско-финским (карельским) влиянием. С XV в., когда утверждается московское владычество, появляются и элементы московского наречия¹². Вместе с тем все, что впитал поморский говор, основой которого является новгородское наречие, настолько органично вошло в него, что стало незаметным. Это касается и московского, и прибалтийско-финского влияния.

Это только один из вопросов, которых касается И. М. Дуров в своем «Словаре». Сам он признается в предисловии, что не имеет специального лингвистического образования и что изучить собранный материал должны специалисты. Большую ценность для нас представляет его труд и сегодня. Этот «Словарь», безусловно, должен быть издан.

В одном из архивных дел хранится переписка И. М. Дурова с руководителем этнографо-лингвистической секции А. Н. Нечаевым. Закончив свой труд, Иван Матвеевич представил его в единственном экземпляре в Карельский научно-исследовательский институт. Завязалась долгая переписка по поводу издания «Словаря» и фольклорных материалов. По письмам видно, как изменялось отношение краеведа к руководству института, условия заключенного договора не выполнялись, по-видимому, его труд не был оплачен, а жить ему было не на что. Он страстно желал заниматься научным трудом, но в условиях сельской жизни это было невозможно, в институт путь ему был закрыт, возможно, из-за связи с Н. Н. Виноградовым, редактором его первого словаря по рыболовному промыслу, способствовавшим изданию словаря на Соловках. В письме А. М. Линевскому он говорит: «Я, Александр Михайлович, не смею мечтать о том, что я когда-либо буду получать регулярно деньги на жизнь – сидеть и писать. Нет, я такими мечтами никогда не задавался, а лишь горел желанием передать на пользу науки и грядущему поколению все то, что знаю, что имею о своем горячо любимом Поморье. А о том, что я знаю свой край, не хвастаю, и знаю точно его... жизнь... во всех ее многогранных особенностях. <...> У меня одна просьба к Вам, Александр Михайлович, если сумеете как помочь мне, так помогите. Видите, я до чего дошел... Мне стыдно и в то же время горько так кланяться!.. Но иного сейчас в данный период времени у меня выхода нет – сижу между двух стульев обескураженный. И больше не знаю, к кому и обращаться. И если это ничто последнее не поможет, махну на все рукой и продам свой труд куда-либо в „канцелярию“. А все, что у меня творческого, предам забвению»¹³.

На наш взгляд, мы должны выполнить свой долг перед светлой памятью Ивана Матвеевича Дурова, настоящего ученого, положившего свою жизнь на благо науки и горячо любимого им Беломорья.

¹ Дуров И. М. Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении // Научный архив КарНЦ РАН (далее – АKNЦ). Ф. 1. Оп. 32. Д. 181–188.

² Марковская Е. В. Каталог фольклорных коллекций Научного архива КарНЦ РАН. Русский фольклор (Ф. 1. Оп. 1). 2004. Рукопись.

³ Сопроводительное письмо И. М. Дурова к «Словарю» в Карельский научно-исследовательский институт // АKNЦ. Ф. 1. Оп. 32. Д. 189. Л. 2.

⁴ Там же. Ф. 1. Оп. 26. Д. 56. Л. 3.

⁵ Дуров И. М. Заявление председателю Областного бюро краеведения // Там же. Л. 1.

⁶ АKNЦ. Ф. 1. Оп. 32. Д. 189. Л. 1.

⁷ Дуров И. М. Опыт терминологического словаря рыболовного промысла Поморья / Под ред. Н. Виноградова. О. Соловки, 1929. 180 с.

⁸ Лойтер С. М. Краевед И. М. Дуров и его коллекция поморских детских игр // Живая старина. 2005. № 1.

⁹ Дуров И. М. Словарь живого поморского языка... // АКНЦ. Ф. 1. Оп. 32. Д. 181. Л. 4.

¹⁰ Там же. Л. 27.

¹¹ Словарь карельского языка (ливвиковский диалект) / Сост. Г. Н. Макаров. Петрозаводск, 1990.

¹² Дуров И. М. Словарь живого поморского языка... // АКНЦ. Ф. 1. Оп. 32. Д. 181. Л. 38.

¹³ АКНЦ. Ф. 1. Оп. 32. Д. 189. Л. 30.

© П. Суутари
Йоэнсуу (Финляндия)

Перемены в национальной музыкальной культуре Карелии в 1930–50-е гг.*

В настоящее время я занимаюсь исследованием перемен в карельской национальной музыкальной культуре. Работаю в Институте Карелии при Университете Йоэнсуу. Цель работы – понять сегодняшнее состояние карельской культуры, исследуя недавнее ее прошлое. Этот вопрос для нас – финнов – важен потому, что карельская культура в последние сто лет развивалась у нас совсем иначе, чем в России, несмотря на общие отправные точки.

О финском подходе к изучению народной музыки

Считается, что осознание идеи народной музыки в Финляндии зародилось в XIX в. вместе с национальной идеей. Собираение народной музыки (в основном под руководством Общества финской литературы) было сильно идеологизировано, когда разыскивалась старая, красивая и подлинно финская (то есть свободная от иностранного влияния) музыка. Музыку, собранную таким образом, стремились использовать в национальных обществах, хорах и на песенных праздниках, там, где пропагандировались идеи национального идентитета и проводилась просветительская работа в народе (а также собирались средства на деятельность обществ). В XIX в. народ рассматривался, скорее, через призму романтических идеалов, то есть таким, каким его хотели видеть, а не таким, каковым он был на самом деле. На практике музыка в обществах представляла собой более новую народную песню, профессионально аранжированную в стиле романтизма, в которой применение калевальского размера, не говоря уже о плачах, было незначительным.

Современная музыка и танец в народном стиле, естественным образом развивавшиеся в течение этого времени, остались за пределами интересов собирателей и деятельности обществ, а к их исследованию приступили, по

* Перевод выполнен В. Давыдовым.

существо, лишь в 1970-е гг. после появления в Финляндии в Хельсинкском университете американского этномузыковедения. В это же время произошло возрождение интереса к исполнению народной музыки с привнесением новых оригинальных оттенков (folk revival) в манеру ее исполнения, в чем большую роль играли проводимые с 1968 г. фестивали народной музыки в Каустинене. Народная музыка стала для широкой публики объектом ностальгии. Изменения в процессе культурного участия и потребления заметны, скорее, в виде активного выбора и воздействия, чем пассивного массового движения, которым можно манипулировать извне.

На фестивалях в Каустинене поначалу серьезно заботились, чтобы исполняемая народная музыка была подлинной, однако с 1980-х гг. появление новой эклектичной, синтезированной из разных стилей музыки изменило ситуацию. Народная музыка стала сигнификативной категорией, например, поп-музыка: основная масса продолжала, как и прежде, танцевать и играть в самостоятельных ансамблях, а высокообразованное поколение народных музыкантов обратило свое внимание на старинную, уже пару поколений назад исчезнувшую музыку – калевальская руна вновь занимает свое место в программах многих современных ансамблей народной музыки (например, «Värttinä» – «Вярттиня»).

Все это привело к размыванию понятия подлинности народной музыки. Когда начали исполняться рунические песни или плачи, за основные критерии при оценке музыки стали принимать уровень профессиональной подготовки исполнителей и архивные материалы вместо подлинности. Для исполнителя не имело большого значения, была ли исполняемая им музыка получена от истинных хранителей деревенской традиции или же это была музыка собственного сочинения (под старину). Спектр музыкальных влияний был также очень широк, как и в мировой музыке.

Таким же образом, не позже 1980-х гг. в исследовательских кругах была поставлена под сомнение сама ценность идеи подлинности народной музыки, когда была опубликована, в частности, диссертация В. Куркела¹ о музыкальном фольклоризме и вообще стали более широко говорить об идеологических последствиях собирания народной музыки. С. Кнууттила² актуализировал данный вопрос, высказав парадоксальную мысль, что современные перформансы на темы «Калевалы» ничуть не более искусственны, чем те представления сотни лет назад, которых никто не слышал. Форма нашей жизни изменилась, но изменилась и традиция, существовавшая на условиях художественных, социальных и культурных представлений.

Об изменениях в народной музыке советской Карелии

На первый взгляд из Финляндии, изменение музыкальной культуры в Республике Карелия представляется естественным и даже неизбежным

процессом. Идеологические понятия народа и народной музыки регулировали эти изменения в обеих странах, и народное просвещение играло существенную роль при проведении этих изменений в жизнь и выработке ограничивающих рамок. Естественно, различия велики в опыте людей, живших в середине 1990-х гг.: в Финляндии организованная народная музыка относилась к национальным обществам, тогда как в Республике Карелия – к профессиональным коллективам, композиторам и домам культуры, клубам, кружкам. Самодеятельно (для себя) люди, конечно, танцевали и пели, как и раньше, и в финской Карелии, и в Республике Карелия.

В Карелии переломный этап для народной музыки начался еще до революции. Однако лишь послереволюционная просветительская работа ускорила перемены в повседневной жизни жителей Карелии. Кампания по ликвидации безграмотности и последовавшие за ней еще большие перемены создали в самых маленьких деревнях структуры новой культурной работы. Модернизацию 1920–30-х гг. можно рассматривать как движение, в которое молодое поколение вливалось массово, поскольку это воспринималось как новый элемент жизни. В предлагаемых клубами вариантах – в занятиях в кружках, праздниках и танцах – люди принимали участие с удовольствием. В этом смысле с точки зрения культурных изменений более значительным процессом была модернизация (спонсорство), чем цензура (отрицание).

В Советском Союзе, как известно, во второй половине 1930-х гг. началась поддержка национальных культур, и наиболее важными их формами были хоровое пение и танцы. Первая Декада Карельской культуры в Ленинграде в 1937 г. стала хорошей демонстрацией нового бюрократического подхода по отношению к культуре. Там выступали недавно созданный симфонический оркестр республики и его первое (национальное) поколение композиторов, еще малочисленный оркестр «Кантеле», созданный Виктором Гудковым всего за год до этого события. Однако новейшее идейное направление в культурно-политическом смысле представляли участвующие в поездке карельские и русские рунопевцы, исполнители на народном инструменте кантеле, а также национальные хоры и танцевальные коллективы из Шелтозеро, Кондопоги, Петровского района и Центрального дома культуры Петрозаводска.

Особенность 1930-х гг. заключалась в том, что, когда собственную музыку народа начали внедрять через клубы и песенные праздники как советскую культуру, эта деятельность в последующие годы была очень пестрой и частично бесконтрольной. Например, в газетах часто жаловались, что представление карельских свадеб (во многих местах) является ошибочным выпячиванием идеалов прошлого³. Также крити-

ковалась упрощенная (под народную) манера выступления групп⁴. Но идея народной традиции как непрерывного процесса была революционной и новой, такой же, как в определении культуры в современном этномузыковедении и фольклористике. Были созданы известные народные хоры. Откуда им было черпать материал и манеру исполнения, кроме как у жителей своих регионов? Хорошим примером этого могут служить Иван Левкин и Василий Кононов, которые (каждый по-своему) начали развивать народную музыку в родных местах. После прослушивания записей И. Левкина в Научном центре убеждаешься, насколько хорошо он знал собственно карельскую манеру пения и, в сущности, узкий репертуар. В народных хорах манера пения, естественно, нивелировалась и со временем «обрусела». Перформативность и выход традиционной песни на эстраду, со своей стороны, уже сами по себе повлияли на перемены – костюмы, танцы, громкость и мелодичность песенного голоса, а принципы составления репертуара стали факторами, которые можно анализировать в качестве индикаторов перемен⁵.

Стиль выступлений народных хоров и оркестра «Кантеле» начал меняться после войны, когда в ансамбли были приглашены профессионально подготовленные дирижеры, у которых, однако, уже не было собственного знания местной культуры. В 1950-х гг. организовывались фольклорные экспедиции и велся поиск источников для творчества так же, как и в 1930-е гг., но выступления начали нивелироваться под советский стиль. Составленные в 1930-е гг. программы мозаичной культуры, символизирующей братство народов, центром которой была русская культура, парадоксальным образом начали воплощаться уже после смерти Сталина. Творческие коллективы – один другого грандиозней – и их программы символизировали величие Советского Союза и излучали оптимизм. Так, Ведлозерский хор достиг максимальной величины в 1960-х гг., а в периферийном Юшкозерском доме культуры исполнялись танцы многих народов. К сожалению, собственная традиционная культура карел при таком процессе развития осталась на задворках, особенно с учетом того, что карельский язык активно подавлялся в течение 30–40 лет⁶.

Идеалы, провозглашаемые для национальной культуры Советского Союза, не могли не повлиять на способы восприятия собственной музыкальной традиции и идентитета. Поскольку музыка не создавалась специально для карел (а являлась лишь символом дружбы народов и расцвета национальных культур), она и не выступала в качестве фактора, укрепляющего национальный идентитет. Это имело значение, в первую очередь, для молодых людей, немногие из которых

заинтересовались молодежным фольклорным движением. Многие женщины сетовали на то, как неправильно певцы ансамбля «Кантеле» артикулируют (произносят) слова на карельском языке (хотя это и репетировалось в хоре)⁷. Эта тема кажется не столь существенной, однако значение ее велико: неправильно исполненное ансамблем «Кантеле» музыкальное произведение не казалось своим («не наша музыка»). Однако в соответствии с научным понятием постмодернизма меньшинство должно само определять собственный идентитет. Провозглашаемое народной музыкой единение между народами сменилось унификацией. В этом смысле карельскость как направленность идентитета осталась в прошлом, в представлениях прошлых времен, хотя карельская музыка действительно много исполнялась на концертных подмостках.

¹ Kurkela V. Musiikkifolklorismi ja järjestökulttuuri Kansanmusiikin ideologinen ja taiteellinen hyödyntäminen suomalaisissa musiikki- ja nuorisjärjestöissä. Helsinki, 1989.

² Knuuttila S. Kalevalaisen musiikin paradokseja // Musiikin suunta. 1999. 3. S. 6.

³ Kolosenok S. Kansan luomistyö // Rintama. 1936. 5.

⁴ См. также: Lapasha R. Amateurs and enthusiasts: folk music and the Soviet state on stage in the 1930 s. // Soviet Music and Society Under Lenin and Stalin. London, 2004.

⁵ Olson L. Performing Russia. Folk Revival and Russian Identity. London, 2004. S. 119.

⁶ Надо, однако, упомянуть, что народная музыка советской Карелии развивалась на профессиональном уровне, то есть иначе, чем в Финляндии, где народная музыка осталась на самодеятельном уровне.

⁷ Karp S. M. Kantele. Petroskoi, 1971. S. 27.

ПРИГРАНИЧЬЕ: ДИАЛОГ И СТОЛКНОВЕНИЕ КУЛЬТУР

© А. Ю. Жуков
Петрозаводск

Этносоциальные истоки генезиса поморов. XV–XVI вв.

Поморам и Поморью посвящено немало работ, особенно этнологов. Но в них поморы предстают вполне сложившимся субэтнотомом. В данной же статье выявляется система факторов, которые привели к самому зарождению этнолокальной группы русских поморов *в середине и второй половине XVI в.* Постараемся дать периодизацию начального этапа их этногенеза.

В монографии о поморах Т. А. Бернштам писала, что в первой половине XVI в. изначальное Поморье включало только *Мурман* на Баренцевом море, а поморами стали именоваться русские и карелы из Кандалакши и Керети, открывшие здесь постоянный морской промысел. Ссылаясь на записи видного этнографа Н. Н. Харузина о том, что саами объясняют слово *мурман* как «морская земля» и «морской человек», она предположила заимствование русскими данного термина у саами, а слово *помор* вывела из понятия «мурман»¹.

Другой исследователь поморов Б. И. Кошечкин углубляет время генезиса поморов чуть ли не до XII–XIII вв. Он связывает зарождение субэтнотомоса и с мореходным опытом древних новгородцев и ладожан, и с карелами, осваивавшими Северную Карелию; большая роль отводится им Соловецкому монастырю и фактору природно-географической среды (особенность западнобеломорского бассейна, его богатые промыслы)². Мы связываем истоки становления поморов тоже с Западным Беломорьем, но с XV–XVI вв.

Вначале остановимся на понятиях *Мурман* и *мурмане*. Они пришли из древнерусского языка. Еще в XIV–XV вв. Мурманом русские летописи называли в широком смысле – северные земли, а в узком – Норвегию; мурманами русские именовали норвежцев³. Преп. Лазарь назвал основанную им

на Онежском озере Успенскую обитель Мурманским, то есть *Северным* монастырем (позднее обитель переименовали в Муромскую)⁴. Поэтому и в истолковании понятия *помор* мы не можем опираться на саамский язык.

Термин *Поморье* в значении «земли по морю» («у моря») значится в купчей середины XV в. между членами карельских феодалов «пяти родов» на беломорские угодья: «Се купи... землю и воду на Поморьи». В другом аналогичном акте XV в. вместо «Поморье» написано «по морскому берегу»⁵. Источники XVI в. под Поморьем подразумевали уже все побережье Западного Беломорья и Мурман – от района под названием *Поморье* в устье р. Онеги на юге⁶ и вплоть до Колы на севере. Так, царские жалованные грамоты Соловецкому монастырю 1590–1591 гг. сообщили о гонцах «в Поморье и на Мурманское море, и до устья Колы и в иные поморские волости», о солеварении «в Поморье – в Унбе (Умбе. – А. Ю.), да в Керети, да в Кеми» и о торгах соловецких крестьян в поморских Сумской и Варзужской волостях. Эти грамоты четко фиксируют и самоназвания отдельных групп северян, отмечая «всяких торговых людей: поморцев и каргопольцев, и двинян, и ноугородцев, и заонежцев»⁷. Очевидно, что к концу XVI в. понятия *Поморье* и *поморцы* устоялись и были связаны именно с Западным Беломорьем и с его населением (форма слова «помор» тогда не существовала). Восточное же Беломорье (устье Северной Двины) и двиняне к ним не относились.

В середине XVI в. эпизодически, а к концу века все чаще жители поморских волостей начинали именоваться *поморцами* (*поморянами*). Например, в грамоте Ивана IV 1546 г. в Каргополь говорится о поморцах, торговавших солью в устье р. Онеги⁸. Свидетелями «мировой записи» сумлян и шуерчан 1556/57 г. в числе прочих выступали два поморца из Кеми и Шуи, а в 1572 г. поморцем же звал себя и житель Сумы. По данным Т. А. Бернштам, в 1580/81 г. керечане с кандалакшанами слыли поморцами. Но и ранее, в 1565 г., царь называл одного из керетчан поморцем и поморянином⁹. Следовательно, уже с середины XVI в., особенно во второй его половине, термин *поморец* бытовал столь же широко, как и названия *Поморье* и *поморские волости*. Относились все они, соответственно, к населению и побережью Западного Беломорья, терминологически отделяя их от Двинского и Каргопольского уездов, двинян и каргополов Восточного Беломорья, а на западе – от *лопян* – карел материковых Лопских погостов.

Сами поморские волости даже к началу XX в. представляли собой узкую полосу прибрежных земель и селений; уже в 20–40 км от берега начинались карельские волости¹⁰. Объяснение данного феномена связано с установлением главных факторов складывания субэтноса поморов, с их системным воздействием друг на друга.

Если мы обратимся к политическим реалиям XV–XVI вв., то с удивлением констатируем, что вплоть до конца XVI – начала XVII в. беломорское Поморье не составляло единого территориального целого и его население было административно разобщено. Во времена Великого Новгорода Поморский берег входил в Выгозерский погост Обонежья, а Карельский берег составлял северо-восточную оконечность Корельской земли¹¹. Но и после 1478 г. беломорские волости Выгозерского погоста Новгородского уезда входили в Занежскую половину Обонежской пятины, а Кемская и Шуерецкая волости принадлежали Водской пятине, входя в округ Лопских погостов Новгородского уезда. Уезд заканчивался на р. Кивиканде, к северу от которой лежали земли Керетской, Ковдской и других волостей Двинской земли. То же самое можно сказать о надзирающих властях – самых разнообразных и отдельных для каждого из этих районов¹². Несомненно, данные управленческие реалии препятствовали зарождению субэтноса поморов.

Объединяли их сходные природно-климатические условия, однотипная общественная и хозяйственная организация крестьянского мира, его полиэтничность, церковно-приходское устройство новых поморских общин, фактор складывания всероссийского рынка, социальная политика властей, наконец, угроза внешнего вторжения. Эти факторы, действовавшие сообща или группами, заставляли разрозненные поначалу общины карел и русских объединяться.

И вот почему. После 1478 г. центральная власть конфисковала земли новгородской знати в доход государства; угодья карельской знати на севере также стали черносошными. Жители Западного Беломорья получили в свое владение обширные земли, превратившись в зажиточные волости-общины¹³. Этнически в XV в. прибрежное население состояло из карел, живших и на Карельском, и на Поморском берегах Белого моря, и из русских, осваивавших в основном Поморский берег (бывшие боярские вотчины Выгозерского погоста). Социально-экономический уклад карельских волостей Беломорья отличался общинным (*луковым*, по терминологии кадастров) владением угодьями. Промыслы разрабатывались совместно, а раздел добычи волощане производили в соответствии с долей каждого. В местных частноправовых актах XVI в. такие общинные «луковые» доли обязательно назывались угодьями «промеж волощан»¹⁴, то есть сходно с формулой «промеж пяти родов» карельских грамот XV в. А. И. Копанев, изучавший крестьянство на примере Двинской земли, назвал данный общинный порядок *варзужским*, отличным от *материкового* двинского типа хозяйствования с индивидуальным владением крестьянами своими промыслами¹⁵. Мы нашли, что варзужский тип в XVI в. был характерен для карел и вообще для западнобеломорских волостей, а не

только для двинской волости Варзуги и «корелы варзужской»; поэтому будет правильнее называть его *карельским* – в противовес русскому материковому на Двине.

Утвердившаяся в Западном Беломорье карельская система хозяйствования закреплялась государственными кадастрами. Она препятствовала русским переселенцам разрабатывать угодья карел, интегрироваться в их общины. Тем не менее это случилось в прибрежных селениях. Основой для интеграции послужило солеварение, неизвестное на Карельском берегу еще в XV в. Оно было привычным занятием русских Новгородчины и других севернорусских земель. Так, в Новгородской республике соль изготавливалась в Старой Руссе, недостающие запасы привозились из Западной Европы¹⁶.

Береговым карелам показалось выгодным иметь соляной промысел у себя дома. Только в этом случае они могли развернуть лов морской рыбы в широких масштабах для складывавшегося с середины XVI в. емкого товарного рынка России: свежая рыба быстро портилась, но просоленная выдерживала долгую перевозку. Русские же переселенцы приспособили выпарку соли к новым условиям. Здесь рассолом стала служить морская вода, а не подземные соленые воды, как в других землях Северной России. Вследствие этого варницы располагались исключительно у моря¹⁷. Топливом для выпарки соли могли служить только «луковые» леса, рубить которые солевары могли лишь с разрешения волощан.

Слияние в новые прибрежные *поморские общины* местного населения и пришельцев произошло на почве обоюдовыгодных экономических интересов. Карелы получили дешевую соль, признав русских волощанами и допустив их в лесные угодья. Два основных занятия жителей – солеварение и морской промысел – составили главную торговую славу Поморья в XVI–XVII вв. Слова грамоты Ивана IV 1546 г. в Каргополь о закупке соли у поморцев говорят о формировании поморских общин уже к середине XVI в. Карелы же семи материковых Лопских погостов, не получая прямой хозяйственной выгоды от соляного промысла, не приняли в свои общины пришельцев и не впустили их в волостные «луковые» угодья. Население материковых Лопских погостов осталось карельским.

Таким образом, выделение узкой прибрежной полосы Западного Беломорья в особый экономический район Поморья и начало этногенеза поморов совпадают по времени и относятся к первой половине – середине XVI в. Территориальное же объединение поморских волостей произошло в конце XVI – начале XVII в. в виде особого административного вотчинного округа Соловецкого монастыря, теснейшим образом связанного религиозными, социально-экономическими, а в лице своей братии – этни-

ческими и просто родственными узами с населением Беломорского Поморья. Так, в списках 105 монахов Соловецкого монастыря второй половины XVI в. среди имен старцев значатся всего 15 имен с прозвищами. 4 из них передают этническую принадлежность (3 *корелянина* и 1 *лопин*), 11 прозвищ указывают на место рождения, в том числе 6 – на Беломорское Поморье (*сумлянин*, *золотчанин*, *виремець*, *колежемской*, *корелишю-рецькой*, *нюхчанин*)¹⁸.

Соловки стояли у истоков складывания субэтнуса поморов. Уже в конце XV в. вместо часовни св. Николая в устье р. Выг, у которой скончался преп. Савватий, обитель поставила церковь. К 1563 г. ее церкви имелись в вотчинной Сумской волости – св. Николая и Успения Богородицы, в Колежме – во имя св. Климента, в устье р. Выг – св. Троицы, в с. Вирма – во имя апп. Петра и Павла¹⁹. Тем самым Соловецкий монастырь сплачивал в единые приходы поморцев – и местных жителей, и новых поселенцев. Единое вероисповедание и приходская жизнь, карельская система природопользования приводила к породнению карел и русских через заключение межэтнических браков. Сплачивала поморов и военная угроза.

Боевые действия со Швецией в Приполярье шли с малыми перерывами с конца 1570- до начала 1590-х гг.²⁰ Даже на выборах в польские короли Сигизмунда, сына шведского короля Юхана III, поляки грозились «военными кораблями шведскими загородить морскую дорогу в Белое море»²¹. Москва срочно укрепляла северные окраины. В 1584 г. возводится Архангельская крепость, а в 1584–1594 гг. – каменный Соловецкий Кремль. Сами Соловки вливались в боевые порядки северной обороны мощью своих поморских вотчинных владений, которым предоставлялись многие льготы²².

А. А. Савич писал, что в данных условиях «естественно было стянуть разоренные волости к одному административному центру»²³. Административный округ Соловецкого монастыря был образован в 1592 г. и включал поморские волости обители. Гражданская власть над ними перешла к игумену и соборным старцам, а сам округ подчинялся непосредственно приказу Новгородской четверти в Москве. В 1607 г. царь Василий Шуйский присоединил к округу бывшую до того в вотчинном владении Соловков «четверть» (населения, угодий и промыслов) Керетской волости, а в 1613 г. царь Михаил Романов отдал Соловкам Шуерецкую волость²⁴. Так почти все западнобеломорские волости поморцев обрели административно-территориальное единство. В XVII–XVIII вв. в пределах округа и сложился окончательно субэтнос русских поморов.

На примере истории зарождения субэтноса поморов наглядно проявляется парадигма многофакторности исторического процесса. Мы видим, что в жизни ни один из этих факторов не действовал поодиночке. Все они вступали друг с другом в прочные взаимосвязи и производили системное воздействие. Поэтому трудно выделить хотя бы один из них в качестве ведущего на всем протяжении исследуемого времени. Но, изучив эти факторы, можно выстроить этносоциальную периодизацию начального этапа генезиса поморов.

В XV в. западнобеломорские земли усиленно, но обособленно заселялись карельскими и русскими крестьянами в ходе вотчинного освоения Белого моря новгородской и карельской знатью. С конца XV и в первой половине XVI в. в западнобеломорских селениях идет процесс породнения русских и карел, складываются совместные русско-карельские общины. В середине XVI в. новые общинники самоидентифицируются – они *поморцы*. Несмотря на жестокий военный урон, во второй половине XVI в. четко выделились *поморские волости*. Наконец, в конце XVI – начале XVII в. поморцы и их волости получили официальное государственное признание в виде *особого* административного округа Соловецкого монастыря.

¹ Бернштам Т. А. Поморы: Формирование группы и система хозяйства. Л., 1978. С. 71–72.

² Кошечкин Б. И. Боже, дай нам ветра. Кемские полярные мореходы. Петрозаводск, 1992. Библиографию основных работ о поморах см. там же. С. 187–189.

³ См., например: Новгородская четвертая летопись // Полное собрание русских летописей. Т. IV, ч. 1. С. 258 (под 1320/21 г. – о походе новгородских ушкуйников «на мурманы» – норвежцев); Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 350 (под 1339/40 г. – о новгородском посольстве в «Мурманскую землю» и о заключении там мирного договора).

⁴ Пулькин М. В., Захарова О. А., Жуков А. Ю. Православие в Карелии (XV – первая треть XX в.). М., 1999. С. 33, 50.

⁵ Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1950. С. 294–295, 298.

⁶ Акты социально-экономической истории Севера России конца XV – XVI в. Л., 1988. Акты Соловецкого монастыря. 1479–1571 гг. [Далее – АСМ, 1] С. 155–159 («Отпись» новгородских дьяков о податях с Турчасовского стана Каргопольского уезда, 1559 г.).

⁷ Материалы по истории Карелии XII–XVI вв. Петрозаводск, 1941 [Далее – Материалы]. С. 306–308, 316–318.

⁸ Акты исторические, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи Археологической экспедицией Императорской Академии наук. Дополнены и изданы Высочайше учрежденной комиссией. СПб, 1836. С. 200–201.

⁹ АСМ, 1. С. 135–136, 183–184; Акты социально-экономической истории Севера России конца XV – XVI в. Л., 1990; Акты Соловецкого монастыря. 1472–1584 гг. [Далее – АСМ, 2]. С. 8–9; Бернштам Т. А. Указ. соч. С. 70.

¹⁰ Карта Кемского уезда // Издание Архангельского губернского статистического комитета. Архангельск, 1908. Приложение 5.

¹¹ См., например: История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2001 [Далее – ИК]. С. 84, 89.

¹² Жуков А. Ю. Северная Карелия в системе государственного управления России XV–XVI вв. // Исторические судьбы Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2000. С. 6–25.

¹³ АСМ, I. С. 23 (купчая на двор в Шуерецкой, 1499 г.); Пулькин М. В., Захарова О. А., Жуков А. Ю. Указ. соч. С. 34 (о возникновении Успенского прихода в Кемь, начало 1470-х гг.).

¹⁴ Около двух сотен частнопровольных актов XVI в. жителей западнобеломорских волостей изданы: Материалы; АСМ, I; АСМ, 2.

¹⁵ Копанев А. И. Крестьянство Русского Севера в XVI в. Л., 1978. С. 172. Варзуга в XVI–XVII вв. входила в состав Двинской земли (в Холмогорский, затем – Архангельский уезд).

¹⁶ Берестяные грамоты XII–XV вв. о торговле солью в Новгороде и Старой Руссе см.: Рыбина Е. А. Торговля средневекового Новгорода: Историко-археологические очерки. Великий Новгород, 2001. С. 315 (№ 282), 317 (№ 354), 323 (№ 624) [Новгород]; С. 329 (№ 2) [Старая Русса].

¹⁷ См., например: Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. Л., 1930 [Далее – ПКОП]. С. 159, 164–165 (варницы «у моря» в заонежском Выгозерском погосте, писцовая книга 1563 г.); История Карелии XVI–XVII вв. в документах / Asikirjoja Karjalan historiasta 1500– ja 1600-luvulta. Петрозаводск; Йоэнсуу / Joensuu; Petroskoi, 1987. I. С. 218–220, 238–240 (действующие и запустевшие варницы «подле Студеного моря» в Шуерецкой волости, «дозоры» 1597 и 1598 гг.).

¹⁸ См.: Лобакова И. А. «Устав о монастырском платье» 1553 г. – один из неучтенных источников по истории Соловецкого монастыря времен игуменства Филиппа (Колычева) // Книжные центры Древней Руси. Соловецкий монастырь. СПб, 2001. С. 324–328. В подлиннике ошибочно: «*коллешиюерецкой*».

¹⁹ ПКОП. С. 159–165 (писцовое описание беломорских волостей Выгозерского погоста).

²⁰ ИК. С. 105, 111; Старостина Т. В. Шуерецкая волость в XVI–XVII вв. // Крестьянство и классовая борьба в феодальной России: Сборник статей памяти И. И. Смирнова. Л., 1967. С. 197–199.

²¹ Цит. по: Соловьев С. М. М., 1989. Кн. 4, т. 7. С. 220.

²² АСМ, 2. С. 115 (указная грамота от 2 августа 1578 г. – о постройке в Соловецком монастыре острога в связи с ожидаемым нападением шведов); Материалы. С. 284–286, 306–308, 311, 316–318, 318–319 (царские жалованные грамоты Соловецкому монастырю: от 11 августа 1584 г., 15 мая и 2 июня 1590 г., 19 июня и ...июня 1591 г.).

²³ Савич А. А. Соловецкая вотчина XV–XVII вв.: Опыт изучения хозяйства и социальных отношений на Крайнем Севере в древней Руси. Пермь, 1927. С. 55–57.

²⁴ Материалы. С. 329–330 (Жалованная грамота царя Федора Ивановича Соловецкому монастырю на Кемскую волость, 15 апреля 1592 г.); Сборник грамот коллегии экономии. Л., 1929. Т. 2 Ст. 465–469 («Отдельная книга» Алексея Толстого Соловецкому монастырю на «четверть» волости Керети, 1607 г.); Карелия в XVII в.: Сб. документов. Петрозаводск, 1948. С. 28–30 (Жалованная грамота царя Михаила Романова Соловецкому монастырю на Шуерецкую волость, 19 сентября 1613 г.).

© И. В. Борисов
Питкяранта

История горного дела Северного Приладожья

На территории Северного Приладожья за период с XVII в. по 1980-е гг. в процессе добычи и переработки полезных ископаемых сфор-

мировалось уникальное индустриальное наследие, включающее более 500 горных выработок и десятки руинированных сооружений.

Строительный, декоративно-облицовочный и поделочный камень

Природный камень Северного Приладожья многие сотни лет использовался местными жителями для строительства крепостных валов (XII–XIII вв.), домов, плотин, кладки горнов и бытовых печей, изготовления точильных брусков и мельничных жерновов.

В XVII в. шведы организовали добычу мрамора в Рускеала, гранита на о. Тулолансаари и «корельских рубинов» (гранатов-альмандинов) в Кителя. В XVIII–XIX вв. дешевые кительские гранаты почти не добывались¹.

В конце 1760-х гг. в окрестностях Сердоболя началась разработка камня для украшения зданий и сооружений С.-Петербурга и загородных парков. В августе 1765 г. из столицы в Выборгскую губернию для изыскания строительных камней был отправлен подмастерье каменных дел Андрей Пилюгин. В Сердоболе он встретился с местным пастором Самуилом Алопеусом – прекрасным знатоком приладожского камня. В июле 1766 г. А. Пилюгин заложил на о. Аресаари, вблизи д. Йоэнсуу, мраморную ломку и уже 24 сентября отправил отсюда в С.-Петербург первое судно с блоками. 22 августа 1766 г. началась добыча мрамора и в Рускеала².

19 января 1768 г. Екатерина II подписала указ Сената об организации добычи камня в Сердобольском и Рускеальском погостах Кексгольмского уезда для украшения Исаакиевской церкви в С.-Петербурге³.

Мраморная ломка на о. Аресаари (Йоен, Ювень, Калккисаари) действовала с 1766 по 1805 г. В 1770-е гг. ювенский мрамор пошел на украшение Исаакиевской церкви, Мраморного дворца, дома Апраксина в столице, Чесменской колонны и Орловских ворот в Царском Селе. В 1840–90-е гг. Валаамский монастырь вывез с о. Ювень оставшийся мрамор, мелкие куски которого пошли на жжение извести, а крупные – на украшение некоторых часовен, церквей и колодцев Валаама⁴.

Рускеальские мраморные ломки действовали с 1766 по 1980-е гг. С 1769 по 1840-е гг. рускеальский мрамор добывался карьерами для украшения сооружений столицы (Исаакиевской церкви, Мраморного дворца, Михайловского замка, Казанского собора, Исаакиевского собора и др.), а также Царского Села и Гатчины. С 1769 по 1839 г. в «Главном» карьере Рускеала было добыто 200 тысяч тонн светло-серого полосчатого мрамора⁵.

В 1770–80-е гг. мраморными работами в Рускеала и Йоэнсуу руководили мастера из Италии, Екатеринбург и С.-Петербурга. В 1830-е гг. в

Рускеала работали от 300 до 800 человек – крестьян из центральных районов России и жителей Сердобольского уезда. Именно тогда стала складываться «рускеальская» школа мастеров-каменотесов. Добыча мрамора осуществлялась буровзрывным способом, транспортировка – в два этапа: зимой на санях до Хелюля, летом – галиотами по Ладожскому озеру.

С 1860 до 1930-х гг. рускеальский мрамор добывался шахтами и карьерами для получения строительной и технологической извести, а также щебня и декоративной крошки. В начале 1900-х гг. «Главный» карьер Рускеала был значительно углублен. Куски мрамора в вагонетках поднимались на поверхность через шахты и далее отправлялись на известковый завод, построенный в 1895–1937 гг.⁶ В 1944–1992 гг. Рускеальские карьеры продолжали давать мрамор для производства извести, декоративной крошки и щебня. В 1973–1985 гг. в одном из карьеров Рускеала канатными станками выпиливали мраморные блоки.

С 1770 до 1930-х гг. вблизи Сердоболя – Сортавала, на островах Риеккалансаари, Ваннисенсаари, Тулолансаари и мысу Импиниеми добывались «сердобольские» граниты. Эти граниты широко применялись в архитектуре С.-Петербурга (Мраморный дворец, Михайловский замок, Казанский собор, Эрмитаж, Николаевский дворец, Невские ворота, Николаевский мост, памятники Николаю I, Екатерине II, дом Вавельберга и т. д.) и Петродворца (Львиный Каскад, Розовый Павильон, Бельведер), а также в небольшом количестве – в Новгороде, Москве и Петрозаводске⁷.

В 1870–1910-е гг. Валаамский монастырь добывал строительные камни на принадлежавших ему ладожских островах Св. Германа (Сюсюянсаари), Св. Сергия (Путсаари), Тилькусаари, Ювень и Валаам. Красные «валаамские» граниты с о. Св. Германа применялись на Валааме (часовни, Спасо-Преображенский собор и др.), в С.-Петербурге (костел Лурдской Божией Матери, буддийский Дацан, Московский купеческий банк и др.), в Москве (Храм Христа Спасителя). Серые «монастырские» граниты с о. Св. Сергия использовались практически во всех постройках Валаамского монастыря. Черные амфиболиты с островов Св. Германа и Тилькусаари и валаамские габбродиабазы использовались на Валааме для украшения Спасо-Преображенского собора и часовен, строительства мостов и колодцев⁸.

Добычей и обработкой камня для Валаамского монастыря занимались рабочие и мастера Сердобольского уезда (преимущественно «рускеальской» и «тулолансаарской» школ), Вологодской и Новгородской губерний.

С 1870 до 1930-х гг. многочисленные каменоломни окрестностей г. Сортавала поставляли для строительства города и приладожских селений различные породы: темно-красные гранитогнейсы, гнейсограниты и

граниты (север города и Кирьявалахти), серые «сердобольские» граниты (о. Риеккалансаари), темно-серые амфиболиты и амфиболовые сланцы (территория города), темно-серые габбродиориты (пос. Кааламо)⁹.

Рудное сырье

Еще в конце XVIII в. вблизи Сердоболя шахтой добывали свинцовый блеск с серебром¹⁰. В 1770–80-е гг. в окрестностях дер. Ялонваара купцы Посников и Сахаров разведывали свинцовые и медные руды¹¹. В начале XIX в. горный мастер Фурман изучал проявления свинца в Хелюля, Мурсула, Ялонваара и меди в Питкяранта¹².

В 1814–1816 гг. компаньоны Федор Баранов, Михаил Ошвинцов и Андрей Анисимов безуспешно пытались добывать и плавить медные руды Питкяранта¹³. С 1816 по 1821 г. владельцами Питкярантских медных приисков, сменяя друг друга, были Чеботарев, Дерябин и Лионель Лукин¹⁴.

С 1832 по 1847 г. разработкой питкярантских медных и оловянных руд занимался Всеволод Омелянов. Управляющим производством при нем до 1840 г. был известный саксонский горный мастер Густав Альбрехт¹⁵.

В 1837 г. в 7 км от Питкяранта, на ручье Койриноя, был построен Митрофановский олово- и медеплавильный завод, проработавший до 1859 г. 23 июля 1842 г. на этом заводе была проведена первая плавка олова. Позже была налажена плавка купферштейна – медно-каменного шлака¹⁶.

В 1842 г. в 2 км от Питкяранта, на ручье Келеноя, Генрих Клее запустил новый медеплавильный завод (Александринский). В декабре 1843 г. на этом заводе началась выплавка купферштейна, а затем и чистой меди. Александринский завод проработал до середины XIX в.¹⁷

В 1847 г. владельцем Питкярантских рудников и заводов стала Санкт-Петербургская «Питкярантская» компания, которая развила прибыльную горную деятельность. В конце 1840 – начале 1850-х гг. «Питкярантская» компания построила «Нижний» медеплавильный завод и оловообогадительную фабрику на ручье Келеноя и «Верхний» паровой медеплавильный завод вблизи шахт, а в начале 1860-х гг. – еще две паровые оловообогадительные фабрики¹⁸.

В 1867 г. «Питкярантская» компания прекратила свою деятельность. Возрождение Питкярантских рудников и заводов началось с 1879 г., когда они перешли в собственность компании «Эдвард М. Мейер» и управляющим стал горный инженер Хельмар Фурухьельм. В 1880-е гг. добыча руды и выплавка металлов (меди, олова и железа) в Питкяранта успешно развивались. В 1885 г. в Питкяранта был запущен щелочной завод, позво-

ливший извлекать из медной руды серебро и получать более качественную медь¹⁹.

В 1896 г. Питкярантские рудники и заводы перешли в собственность АО «Ладоба», которое запустило новые железорудные шахты на рудных полях, открытых геологом Отто Трюстедтом. С 1897 г. железная руда стала обогащаться на фабрике, построенной вблизи дер. Юляристи²⁰, а с 1899 г. переплавляться в чугун в домне, построенной Санкт-Петербургской компанией «Александровский завод» неподалеку, в местечке Ма-сууни.

В 1904 г. Питкярантские рудники и заводы были закрыты. Добычу руды и выплавку чугуна в Питкяранта пытались возродить в 1914–1916 гг. (АО «Ристиниеми») и 1916–20-х гг. (АО «Питкяранта Брук АБ»).

Руду в Питкяранта и окрестностях добывали буровзрывным способом в трех десятках шахт, глубина которых достигала 50–300 м. Рабочими рудников были жители приладожских деревень – финны, карелы и русские. Руководство работами осуществляли лучшие мастера и горные инженеры из Германии, Швеции и России. С 1830-х гг. до 1904 г. на Питкярантских рудниках было добыто около 1100 тысяч тонн руды, из которой выплавлено: меди – 6,6 тысяч тонн, олова – 0,49, железа (с 1880-х гг.) – 30 тысяч тонн, получено серебра (с 1885) 11,2 тонны, золота – 32 килограмма²¹.

С 1867 по 1873 г. в Люпикко, вблизи Питкяранта, действовал чугуноплавильный завод компании «Вольстедт и Нобель». Сырьем служили залежи гематита района Колатсельга и озерные руды окрестностей Салми.

С 1852 по 1940-е гг. на р. Юваньёки работал Вяртсильский чугуноплавильный завод, основанный Нильсом Людвигом Арппе. С 1898 г. заводом владела фирма «Вяртсиля Ахтиеболаг», с 1908 г. – АО «Вяртсиля». В год на заводе выплавлялось до 15–16 тысяч тонн железа. Сырьем служили озерные железные руды, которые добывались в 50 озерах, расположенных на обширной территории от Китее до Суоярви²².

С 1889 по 1905 г. АО «Путиловское» разрабатывало шахтами титаномagnetитовое месторождение Велимяки, открытое геологом Холмбергом в 1855 г. Объем добычи составлял 30–45 тысяч тонн руды в год²³. Руда обогащалась на Велимякской фабрике и отправлялась по Ладожскому озеру на Путиловский литейный (С.-Петербург) и Видлицкий чугуноплавильный заводы.

«Флюсовый камень»

Добыча «флюсового камня» (мрамора), используемого при выплавке металлов, осуществлялась вблизи металлургических заводов. Для Питкярантских заводов мраморы разрабатывали в местечке Хопунваара (1830–1900-е гг.) и на мысу Ристиниеми (1870–1900-е гг.), для Вяртсильского

завода – в 1850–1930-е гг. на берегах оз. Малое Янисъярви, в Улонваара и на мысу Кинтсиниеми²⁴.

Графит

Наиболее крупные разработки графита (всего 450 тонн) осуществлялись вблизи г. Сердоболь у дер. Кимамяки с 1851 по 1870-е гг. Низкосортный «сердобольский» графит пользовался спросом в С.-Петербурге для изготовления плавильных горшков, покрытия кровельного толя и финляндскими заводчиками для производства огнестойкого кирпича²⁵.

Кварц и полевой шпат

Первые разработки кварца для российских фаянсовых и фарфоровых фабрик появились вблизи Сердоболя еще в 1770-е гг.²⁶ В 1830-е гг. в окрестностях г. Сердоболь ежегодно добывалось до 360 тонн полевого шпата и 16–32 тонн кварца²⁷. С 1850 до 1930-х гг. кварц и полевой шпат добывали буровзрывным способом траншеями и шахтами на островах Ладожского озера – Валкеасаари, Пусунсаари, Локансаари, Палмиосаари, Путкисаари (район Питкяранта), Риеккалансаари, Лейрисаари, Пеллотсаари (район Сердоболь), Соролансаари, на полуостровах Налганиеми, Нуоланниеме, Хуннука, у деревень Кителя, Мурсола, Руокоярви, Рускеала²⁸. Сырье вывозили по Ладожскому озеру в С.-Петербург и Финляндию.

На базе памятников индустриальной культуры Северного Приладожья Региональный музей Северного Приладожья и Питкярантский краеведческий музей планируют создать «Музей истории горного дела». В настоящее время ведется работа по музеефикации индустриальных памятников, расположенных в Рускеала, Питкяранта и на о. Тулолансаари.

¹ Буллах А. Г., Борисов И. В., Гавриленко В. В., Панова Е. Г. Каменное убранство Петербурга. Книга путешествий. СПб, 2004. С. 240.

² Алопеус С. Краткое описание мраморных и других каменных ломов, гор и каменных пород, находящихся в Российской Карелии. СПб, 1787.

³ Там же.

⁴ Буллах А. Г., Борисов И. В., Гавриленко В. В., Панова Е. Г. Указ. соч.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

⁷ Там же.

⁸ Там же.

⁹ Там же.

¹⁰ Государственная карта полезных ископаемых СССР. Л-Р-35, 36. Петрозаводск, 1956.

¹¹ Алопеус С. Указ. соч.

¹² Фурман Г. Минералогическое описание некоторой части Старой и Новой Финляндии // Горный журн., 1828. Кн. 2, № 11.

¹³ Трюстедт О. Питкярантские рудники и заводы. Гельсингфорс, 1907.

¹⁴ Экономическая жизнь Приграничной Карелии. Сортавала, 1926.

¹⁵ Трюстедт О. Указ. соч.

- ¹⁶ Трюстедт О. Указ. соч.
¹⁷ Борисов И. В., Ильин П. В. Питкярантские рудники и заводы. Лахденпохья, 2004.
С. 52.
¹⁸ Там же.
¹⁹ Трюстедт О. Указ. соч.
²⁰ Борисов И. В., Ильин П. В. Указ. соч.
²¹ Борисов И. В., Ильин П. В. Указ. соч.; Трюстедт О. Указ. соч.
²² Экономическая жизнь...
²³ Государственная карта...
²⁴ Там же; Борисов И. В., Ильин П. В. Указ. соч.
²⁵ Андреев А. П. Ладожское озеро. СПб, 1875.
²⁶ Алопеус С. Указ. соч.
²⁷ Иосса. Краткое обозрение финляндского горного производства // Горный журн., 1836.
Ч. 2, кн. 6.
²⁸ Андреев А. П. Указ. соч.; Государственная карта...

© М. В. Пулькин
Петрозаводск

Переводческая комиссия Архангельского Комитета Православного миссионерского общества (конец XIX в.)

С проблемой языкового и культурного барьера между пастырями и значительной частью прихожан в Карелии столкнулась в первую очередь Русская Православная Церковь. По сути, крещение карел в 1227 г. стало отправным пунктом обрусения. К XVII в. вероисповедание превратилось в Карелии в основной этнодифференцирующий признак: православных по обеим сторонам русско-шведской границы «считали русскими, потому что они не знали шведского закона и общественных традиций»¹. Между тем православное духовенство и русские прихожане на протяжении столетий оказывали постоянное воздействие на повседневную жизнь карел. Об этом со всей определенностью писал известный публицист начала XX в. В. П. Крохин: «Православие, перенятое карелами у русских, внесло собою в жизнь карела обряды и обычаи русского народа»².

Однако ресурсы церкви в этот период оставались незначительными и русификация продвигалась медленно. Пробуждение интереса церковных деятелей к карельскому языку приходится на конец XVIII в., когда духовные власти всерьез озаботились проблемой приобщения «иностранцев» к православию. По-настоящему масштабная попытка перевода богослужебной литературы на карельский язык приходится на начало XIX в., когда Синод распорядился перевести Катехизис и Символ веры, в числе других языков, на «олонецкий (южнокарельский. – М. П.) и корельский языки»³. В

дальнейшем, в течение всего XIX в., духовные власти Архангельской и Олонецкой епархий всячески поддерживали тех священников, которые владели карельским языком (в основном с детства) и использовали его при богослужении и совершении церковных треб⁴.

Заметный вклад в дело русификации⁵ внесли миссионерские общества и православные братства. Предшественником последних на Европейском Севере стал Архангельский комитет Миссионерского общества, состоящий из священников, кровно заинтересованных в распространении православия среди так называемых инородцев – представителей коренных народов Европейского Севера России. Комитет возник при следующих обстоятельствах. Сначала по инициативе местного архиерея в Архангельске 21 ноября 1893 г. появился Епархиальный комитет Православного миссионерского общества, затем при нем, согласно указу Синода от 28 июля 1894 г., была создана Переводческая комиссия. Возглавил ее преподаватель местной духовной семинарии Иустин Сибирцев, которому Комиссия поручила «взять на себя труд по переводу и изданию книг на инородческих языках Архангельской епархии и тем оказать свое содействие к осуществлению одной из главнейших целей Комиссии – просвещения инородцев»⁶. Приступая к работе, Комиссия отмечала, что ее активным участникам предстоит нелегкая роль. Особые трудности и опасения вызывало то известное обстоятельство, что «инородческие языки Архангельской епархии – лопарский, корельский, самоедский и зырянский – весьма скудны по лексическому материалу и – по отсутствию письменности и разбросанности населения – отличаются неразработанностью форм и распадаются на несколько наречий или говоров»⁷.

Начало активной деятельности, направленной на просвещение «инородцев» и приобщение их к русскому языку, ознаменовало составление в Архангельске «Азбуки для зырян и ижемцев», «Русско-ижемско-зырянского словаря». На коми язык стали переводиться Священное Писание, различная православная литература, причем переводчиками часто выступали преподаватели духовных школ. Они руководствовались разработанной в Казани системой ознакомления «инородцев» с основами православия и русским языком, рекомендованной начиная с 1870 г., для всех нерусских школ России⁸. Примечательно, что в Архангельске не обошлось и без прямого казанского влияния. На отсутствие необходимой богослужебной литературы на языках народов Европейского Севера обратил внимание архангельский преосвященный Никанор, бывший председатель Казанского просветительского общества имени св. Гурия⁹, вплотную занимавшегося церковным просвещением татар, несомненно, знакомый с педагогической системой Н. И. Ильминского.

Для того чтобы начало работы стало успешным, комиссия предполагала, во-первых, собрать, по возможности, все письменные труды прежних деятелей по изучению «иностранческих» языков. Во-вторых, намечалось просить «нынешних» священников «иностранческих приходов» епархии составить опыты переводов на местные языки наиболее употребительных в пастырской деятельности текстов: молитв, Символа веры, заповедей, чина исповеди, Священной истории и т. п. и представить все подготовленные тексты в комиссию. В том, что такая работа в приходах ведется, члены комиссии не сомневались. Со своей стороны, члены комиссии обязывались заняться внимательным изучением «иностранческих» языков, сравнением и исправлением представленных приходскими священниками переводов, составлением необходимых для «иностранческих» школ книг «с употреблением русского алфавита и присоединением русского отдела» к текстам, переводом на «иностранческие» языки Священного Писания.

Обращение Комиссии к священнослужителям с просьбой о предоставлении текстов старинных и недавних переводов принесло значительные плоды. Первым откликнулся архангельский архипастырь: он представил «черновые труды архимандрита Вениамина по составлению русско-самоедского словаря и по переводу на самоедский язык книг Нового Завета». Вслед за ним помощь Комиссии оказали преподаватели духовных учебных заведений, которые не только знали «иностранческие» языки, но и с энтузиазмом поддерживали начинания в сфере издания литературы, адресованной карелам, саамам, ненцам, коми. Так, преподаватель духовного училища Е. И. Корелин представил текст «Краткой грамматики самоедского языка» и «Исповеди для самоедов». Оба эти текста в свое время подготовил его отец, священник Иосиф Корелин. Внесли свой вклад приходские священники. Священник П. Михайлов прислал в распоряжение Комиссии «Практическое руководство к изучению ижемско-зырянского языка» с приложением «Русско-зырянского словаря». Сын приходского священника А. Усердов пополнил библиотеку Комиссии «Русско-карельским словарем», составленным его отцом¹⁰.

Затем наступил черед священников из самых глухих и удаленных от епархиального центра (то есть Архангельска) приходов. Священник Тунгудского прихода Кемского уезда прислал небольшую брошюру «Начатки христианского учения на карельском и русском языках», изданную в 1882 г., с собственным замечанием о том, что содержащийся в ней текст «мало подходит к наречию карелов Кемского уезда», а сам он не может подготовить необходимый для них текст на карельском языке. Священник Ухтинского прихода этого же уезда Павел Преображенский прислал составленный им «Букварь для карелов» и «Краткий русско-карельский

словарь». От дьякона Логовароцкого прихода этого же уезда в Комиссию поступил составленный им перевод на карельский язык «Краткой священной истории Ветхого и Нового Завета».

В Комиссию были отправлены также переводы книг на «лопарский» и «зырянский» языки. Первый был представлен переводом, подготовленным священником Ловозерского прихода Кольского уезда Николаем Шмаковым. Этот образованный иерей перевел на саамский язык Молитву Господню и Молитву Святому Духу. Текст на «зырянском» языке поступил из Ластинского прихода Печерского уезда. Это были тексты десяти заповедей и Молитвы Господней, переведенные на язык коми священником Владимиром Зуевым. К числу переводов на этот же язык относятся тексты «Вопросов на исповеди» священника Кычкарского прихода Иоанна Михайлова и «Ижемско-зырянского букваря», составленного священником Иосифом Распутиным¹¹. На «самоедском» (ненецком) языке текст в Комиссию прислал священник Мезенского собора А. Ивановский. Он подготовил «приблизительный» перевод текстов Молитвы Господней, Молитвы Святому Духу и Символа веры.

Получив тексты, члены Комиссии приступили к рассмотрению, сличению и редактированию переводов, пытаясь понять, следует ли печатать что-либо из этих разношерстных произведений. Кроме того, они занялись подготовкой учебников для «иностранцев» и переводом на их языки «душе-спасительных» книг. С этой целью в Архангельск были приглашены священнослужители, имеющие опыт деятельности в приходах с неславянским населением, в частности, священник Николай Дьячков, «знаток корельского языка», «миссионер корельского края»¹². Вскоре появились плоды их работы. Священник К. Щеколдин подготовил «Азбуку для лопарей, живущих в Кольском уезде Архангельской губернии» и перевод Евангелия от Матфея на саамский язык. Священник М. Усердов совместно с коллегами П. Преображенским и Н. Дьячковым подготовил «Азбуку для корелов, живущих в Кемском уезде Архангельской губернии», а священник Н. Дьячков и дьякон К. Дьячков перевели на карельский язык Краткую священную историю. И, наконец, для «самоедов» (ненцев) Комиссия, в лице преподавателя И. Сибирцева, издала «Букварь для самоедов, живущих в Архангельской губернии»¹³. Ряд изданий находились «в печатании».

Изданные буквари и словари, как говорилось в отчете Переводческой комиссии, «составлены по звуколагательному способу с постепенным переходом от простого к более сложному». В их состав, который формировался по единому принципу, входили: «а) краткий русский отдел; б) молитвы, символы веры и заповеди на иностранческом и русском языках и в) цифры». Тиражи изданий оказались значительными. Так, карельская азбука была отпечатана тиражом в 2000 экземпляров, «лопарская» – в 1000, «са-

моедский» букварь – в 500. Евангелие на «лопарском» языке – в 500 и Священная история на карельском языке – в 2000 экземпляров¹⁴. Комитет заботился и о кадрах для «инородческих» школ, положение которых в этот период было удручающим¹⁵. Так, в июне 1897 г. за счет средств Комитета в Кондокскую школу был назначен «особый учитель, знающий корельский язык»¹⁶. Успешно начатую Переводческой комиссией работу продолжило Карельское православное братство¹⁷, которое унаследовало от Комиссии обширное поле приложения сил и придало больший масштаб всем основным чертам ее деятельности и прежде всего переводу Евангелия и богослужебных книг на карельский язык.

¹ Хакамиес П. Восток и Запад – отражение границы в этнических взаимоотношениях в Восточной Финляндии // Народные культуры Русского Севера. Фольклорный этнетип этноса. Архангельск, 2002. С. 17.

² Крохин В. П. История карел. СПб, 1908. С. 2.

³ Российский государственный исторический архив. Ф. 834. Оп. 84. Д. 4. Л. 78; Пулькин М. В. Межэтническое взаимодействие в православных приходах Олонецкой епархии: пути и формы преодоления языкового барьера (XVIII – начало XX в.) // Нестор: Ежеквартальный журнал истории и культуры России и Восточной Европы. СПб, 2000. № 1. С. 275–276. Здесь и далее в цитатах сохранена орфография оригинала.

⁴ Рягоев В. Д. Начин перевода Евангелия от Матфея на «олонецкое наречие» карельского языка // Прибалтийско-финское языкознание: Сб. статей, посвящ. 80-летию Г. М. Керга. Петрозаводск, 2003. С. 24–27.

⁵ См. о политике русификации подробнее: Пулькин М. В. Политика русификации в XIX – начале XX века (по материалам Архангельской и Олонецкой губерний) // Новая политическая история. СПб, 2004. С. 191–206.

⁶ Сибирцев И. О деятельности Переводческой комиссии, учрежденной при Архангельском комитете Православного миссионерского общества // Архангельские епархиальные ведомости. 1894. 15 августа. С. 421.

⁷ Там же.

⁸ История Коми. Т. 1. С. 552.

⁹ Сибирцев И. Указ. соч. С. 420.

¹⁰ Там же. С. 422.

¹¹ Там же. С. 423.

¹² Там же.

¹³ Там же. С. 423–424.

¹⁴ Там же. С. 424.

¹⁵ Пулькин М. В. «Инородческая» школа на Европейском Севере России (конец XIX – начало XX в.) // Бубриховские чтения: Проблемы исследования и преподавания прибалтийско-финской филологии. Петрозаводск, 2005. С. 237–248.

¹⁶ Меньшиков А. Кондокская миссионерская церковно-приходская школа (Краткая историческая сведения) // Архангельские епархиальные ведомости. 1904. 15 сентября. С. 677.

¹⁷ Витухновская М. А. Карельские православные братства: формирование и первые годы существования // Православие в Карелии. Петрозаводск, 2000. С. 80–88; Putmonen V. Piispa Kirpian ja Karjalan veljeskunta // Doksologia. Joensuu, 1980. S. 117–128.

Судьбы приграничья в «Рассказах о Гражданской войне в Карелии» (по материалам Архива КарНЦ РАН)

В центре внимания исследования находится проблема трансформации исторической памяти населения карельского приграничья – современников и участников общественно-политических перемен в нашем крае в начале XX в., очевидцев событий гражданской войны в Карелии¹.

Изменения, которые произошли в традиционном укладе жизни карельской деревни, уездных городов и прежде всего губернского центра Петрозаводска, рассматриваются на основе как опубликованных, так и неопубликованных источников. К первым относятся, в частности, выходявшие в 1932, 1957 и 1963 гг. сборники воспоминаний участников революции и гражданской войны 1918–1920 гг. в Карелии².

Однако особый интерес представляют хранящиеся в Архиве КарНЦ многочисленные подготовительные материалы к этим публикациям. Проанализировано более 30 текстов о событиях в Олонецкой и Беломорской Карелии. Значительная часть рассказов о гражданской войне, собранных в 1930-е, послевоенные и 1950-е гг., так и не увидела свет из-за того, что их содержание слишком расходилось с привычной схемой изложения этапов «триумфального шествия» советской власти по стране.

Многие воспоминания носят следы авторской правки, что само по себе может представлять важный источник по истории науки и самостоятельный объект исследования. Достаточно назвать изъятые из воспоминаний Ф. А. Лесонена, уроженца дер. Суднозеро Вокнаволоцкой волости Кемского уезда, упоминание о том, что носителями радикальных идей и сторонниками призывов по-новому организовать жизнь приграничья становились здесь не только возвращавшиеся с фронтов Первой мировой войны солдаты-большевики³.

Оказывается, как писал автор воспоминаний в 1958 г., «в наших деревнях жили и работали рабочие Финляндии, сбежавшие от виселиц и тюрем Маннергейма. Среди них были революционеры, имена которых оставались неизвестными для широких кругов». Во время наступления белофинских отрядов в глубь Беломорской Карелии весной 1918 г. именно финские рабочие революционеры Мюра и Пурсиайнен были расстреляны одними из первых в дер. Суопасаара Юшкозерской волости, а уж затем арестованы сторонники новой власти из местного карельского населения⁴.

Но такая «память» не вписывалась в установленную схему и нарушала монополию большевиков на революционизирование жителей приграничья и на чествование павших героев, которые могли происходить лишь из рядов правящей партии или ей сочувствующих. Поэтому из окончательной редакции воспоминаний эпизод с погибшими финскими революционерами был исключен, так же, как и многие «неудобные» подробности, связанные с действиями «Карельского легиона».

Этот легион, или «Карельский полк», ставивший целью изгнание «белых финнов» из Карелии и первоначально насчитывавший до четырех сотен бойцов, был сформирован в июле 1918 г. карельскими добровольцами и командованием английских интервенционистских войск, весной того же года высадившихся на Мурмане⁵.

Воспоминания об инициативе англичан, оказавшихся организаторами защиты Беломорской Карелии от вторжения финнов, также не соотносились с базовым мифом о гражданской войне, который ко времени создания СССР уже принадлежал к основным мифам возникшего многонационального советского государства. Видимо, поэтому во многих воспоминаниях бывших бойцов «Карельского полка» обнаруживаем попытку вывести историю этого вооруженного формирования из первых обращений недавних фронтовиков-карел в Кемский уездный совет еще весной 1918 г. с просьбой оказать помощь бойцами, продовольствием и оружием для освобождения родных деревень от финских интервентов.

По свидетельству И. Ф. Лежоева, «там мы получили поддержку и все для первой необходимости. Уездсовдеп предложил нам начать вербовку карел из наших деревень и работавших на линии Мурманской железной дороги. Мы горячо взялись за работу», которая «была трудной в условиях белофинской оккупации и начавшейся интервенции иностранных империалистов на севере России». Когда 2 июля 1918 г. войска недавних союзников России по блоку «Антанта» захватили Кемь, «Совет был разогнан и лучшие люди расстреляны и посажены в тюрьмы, наш отряд был арестован и распущен». Лишь после этого командир отряда уроженец дер. Кивиярви Г. Лежоев «был послан в штаб английского командования, чтобы получить разрешение о выступлении отряда против белофиннов»⁶.

Аналогичным образом вспоминает о «добританской» истории полка и А. Петров из дер. Контокки: «...англичане прибыли в Кемь из Мурманска в июле 1918 г., заняли его и арестовали только что организованные карельские добровольческие отряды». Арестованных повели на станцию, «где английский штаб учинил всем допрос». После достигнутой с интервентами договоренности «пойти против белых (то есть финнов. – Е. Д.)», если англичане дадут оружие и провиант, «английский генерал хотел включить в наши ряды

своих людей и офицеров, но мы от этого отказались и требовали, чтобы нам разрешили выбрать из своей среды все начальство»⁷.

Служивший же в разведотряде легиона Б. Андронов из дер. Шуезеро в воспоминаниях об организации Карельского добровольческого полка начинает рассказ с событий августа 1918 г., когда в деревню из Кеми прибыл один из земляков для вербовки бойцов в отряд. По его воспоминаниям, «белофинны захватили пограничные деревни Карелии, вследствие чего из этих деревень карельские мужики сбежали партиями в Кемь, где тогда находился английский десант». Там они «обратились к англичанам с просьбой выдать им оружие, провизию и амуницию, чтобы выступить в борьбу против белофиннов, непристойное командование которых надоело карельскому населению. Англичане охотно приняли это предложение»⁸.

Как пишет автор воспоминаний, находились желающие вступить в отряд и среди русских рабочих Кеми, Сороки и других рабочих поселков, но «вербовщики их не принимали, говорили, что возьмем только карелов»⁹. Такие свидетельства не очень вписываются в долгие годы господствовавшие в исторической науке представления о едином фронте трудящихся Карелии, поднявшихся на борьбу против иноземных захватчиков для защиты завоеваний нового строя. И уж совсем не подходящим для публикации оказалось вычеркнутое из редактируемого текста воспоминание Ф. Лесонена о военной учебе бойцов отряда английскими офицерами. Она «усиленно велась до лета» (1919 г. — *Е. Д.*), и «нам было ясно, что готовят нас против Красной Армии и Советской власти»¹⁰.

Как отмечает исследователь феномена коллективной памяти и культуры «припоминания / забывания» И. Нарский, пропаганда первых лет советской власти, повлиявшая на характер рассказов о гражданской войне, оставалась недостаточно гибкой и велась радикально, «по-военному». Самые незначительные явления укладывались в объяснительную схему, состоявшую из оппозиционных понятийных пар вроде «революционный — контрреволюционный» или «патриотический — предательский»¹¹.

Обращают на себя внимание материалы хранящейся в Архиве КарНЦ РАН фольклорной коллекции, в частности, рассказы о гражданской войне, записанные собирателями одновременно с историческими песнями, любовной лирикой и другими жанрами. Они не воспринимались историками как достоверный и надежный источник, а сами фольклористы, имевшие свойственные своему времени представления о том, какой должна быть «правильная» история, зачастую относились к непривычным рассказам своих информантов снисходительно, порой включали в паспортизацию записей комментарии типа «много ненужных подробностей»¹² и т. п.

В частности, никогда не публиковались воспоминания, содержащиеся в материалах экспедиции ленинградской исследовательницы А. М. Астаховой, работавшей в 1932 г. в Беломорье. Разумеется, экспедиции собирателей и составители сборников обращались к памяти лишь одной из сторон – к победителям, участвовавшим в революционных событиях и сражениях гражданской войны. Среди авторов воспоминаний – бывшие красные партизаны, красноармейцы и те из жителей приграничья, кто поддерживал советскую власть. Но в их свидетельствах можно обнаружить неожиданные подробности, которые обычно не встречаются в текстах, написанных «по всем правилам» конспектов-минимумов для воспоминаний о революции и гражданской войне.

В рассказе Н. М. Степанова о побеге из белогвардейского плена, записанном фольклористами в 1932 г., обнаруживаются совершенно уникальные сведения о взаимоотношениях бежавших большевиков с членами созданного летом 1919 г. в с. Ухта и не признававшего советской власти Временного правительства Архангельской Карелии «Тоймикунта».

В воспоминаниях С. И. Леттиева 1959 г. «Тоймикунта» предстает как «белокарельское правительство», возглавляемое «белофинном Туйску». Оно состояло из «белофиннов и карелов, переехавших жить в Финляндию, как Пааво Ахава», который стал крупным торговцем, представителей «местных кулаков и купцов», и, по словам автора воспоминаний, было правительством, ничего общего не имевшим «с нашим трудовым народом»¹³.

Из рассказа Н. М. Степанова выясняется, что бежавшие из лагеря военнопленных первоначально нашли в лице «Тоймикунты» поддержку, получили в Ухте ночлег, а когда через несколько дней «Тоймикунта» предупредила, что не может дать им приюта как большевикам, члены ухтинского правительства собрали им «120 марок финских и 10 рублей русских на дорогу». Автору воспоминаний, в отличие от его спутников, как уроженцу Беломорской Карелии правительство все же позволило остаться в Ухте. Расставшись с товарищами, он «пошел в Тоймекунду просить хлеба», чтобы его приняли на довольствие¹⁴.

Упоминаний о том, что довольствием служил паек хлеба, привозимого правительством из Финляндии, что несколько месяцев один из организаторов советов в Карельском Поморье служил работником у члена правительства «Тоймикунта» Пааво Ахава, а когда «работы у хозяина не стало», Степанов согласился «быть конюхом для обслуживания Тоймекунды», в текстах его воспоминаний, предназначенных для публикации, разумеется, нет. Об этом можно прочитать только в рассказе о побеге из плена, сообщенном Н. М. Степановым собирателю фольклора в начале 1930-х гг.

Документы из различных по характеру собранного материала коллекций Архива КарНЦ РАН позволяют на примере воспоминаний одного из участников и очевидцев гражданской войны в карельском приграничье увидеть, как фильтровалась, деформировалась и фрагментировалась биографическая память человека в процессе «обновления» исторической памяти поколения. Как табуировались ее отдельные эпизоды, приводя к «стиранию» событий, безусловно, значимых для конкретного человека, но предаваемых им забвению, коль скоро они не вписывались в уже установившуюся схему того, что и как следовало вспоминать о революции и гражданской войне, а порой становились опасными для самого вспоминающего.

¹ Подробнее см.: Нарский И. В «империи» и в «нации» помнит человек: память как социальный феномен. Заочный круглый стол *Размышления о памяти, империи и нации* // *Ab Imperio*. 2004. № 1. С. 85–88; Малышева С. Миф о революции 1917 года: первый советский государственный проект // Там же. 2001. № 1–2. С. 285–303.

² В боях за Советскую Карелию: Очерки и воспоминания. Л., 1932; В борьбе за власть Советов: Воспоминания участников борьбы за установление Советской власти в Карелии. Петрозаводск, 1957; За Советскую Карелию. 1918–1920: Воспоминания о гражданской войне. Петрозаводск, 1963 и др.

³ Архив КарНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 20. Д. 140. Л. 15.

⁴ Там же. Л. 17.

⁵ Голдин В. И. Интервенция и антибольшевистское движение на Русском Севере. 1918–1920. М., 1993; История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2001; Nevakivi J. Murmannin legioona. Suomalaiset ja liittoutuneitten interventio Pohjois-Venäjällä 1918–1919. Helsinki, 1970.

⁶ Архив КарНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 20. Д. 139. Л. 96–97.

⁷ Там же. Оп. 31. Д. 220. Л. 9–10.

⁸ Там же. Оп. 31. Д. 219. Л. 1.

⁹ Там же. Л. 2.

¹⁰ Там же. Оп. 20. Д. 140. Л. 22.

¹¹ Нарский И. Конструирование мифа о гражданской войне и особенности коллективного забывания на Урале в 1917–1922 гг. // *Ab Imperio*. 2004. № 2. С. 222–223.

¹² Архив КарНЦ РАН. Там же. Оп. 1. Кол. 26. Ед. хр. 118. Л. 336.

¹³ Там же. Ф. 1. Оп. 20. Д. 142. Л. 36.

¹⁴ Там же. Оп. 1. Кол. 26. Ед. хр. 118. Л. 345–347.

© В. И. Мусеев
Санкт-Петербург

Контрабанда в российско-финляндском пограничье как экономическая и политическая проблема (1920–30-е гг.)

Контрабанда была серьезной проблемой российско-финляндского приграничья, в частности на Карельском перешейке, еще в XIX – начале XX в., когда Финляндия имела статус автономного Великого княжества в

составе Империи, однако обладала собственной таможенной системой, и ее административная граница с Россией являлась также и таможенной границей. Обретение Финляндией независимости в декабре 1917 г. и официальное закрытие границы не привело к ликвидации или хотя бы к ослаблению этой проблемы. Создавшиеся условия способствовали тому, что контрабанда продолжалась или даже усиливалась, принимая порой весьма причудливые формы.

Развитию контрабанды в послереволюционный период в значительной степени способствовал продовольственный кризис и товарный дефицит в советской России и, в частности, в Петрограде. В этих условиях контрабанда из Финляндии играла далеко не последнюю роль в насыщении петроградского «черного рынка» продуктами и иными товарами. Усиление контрабандного ввоза в Россию продовольственных товаров отмечалось еще летом – осенью 1917 г.¹ В 1918–1919 гг. эта тенденция получила продолжение. В докладе финской пограничной комендатуры о положении на границе с Россией в 1919 г. сообщалось о том, что через границу перевозятся в основном продовольственные товары: мука, масло, крупы, кофе². К числу контрабандных товаров, поставлявшихся в Россию через Финляндию, относился кокаин, пользовавшийся немалым спросом в Петрограде³. В эти же годы у контрабандистов появилось новое прибыльное занятие: переправка через границу в Финляндию беженцев из советской России⁴.

Живучесть контрабанды на Карельском перешейке в значительной степени была связана с тем обстоятельством, что участие в ней составляло важную статью доходов значительной части населения по обе стороны от границы. В упомянутом докладе финской пограничной комендатуры, в частности, констатировалось, что «большая часть населения приграничных районов почти оставила другие занятия и принялась зарабатывать этим способом». По большей части, говорилось далее в докладе, приграничные жители тем или иным способом замешаны в контрабанду: «Если они сами не везут товар, то помогают контрабандистам приобретать его»⁵. В то же время охрана границы с обеих ее сторон оставляла желать много лучшего. На совещании летом 1918 г. представителей комиссариатов Союза коммун северной области отмечалось: «Сухопутная и морская границы с Финляндией охраняются настолько скверно, что фактически границу можно перейти и переехать совершенно свободно»⁶. Один из советских деятелей, совершивший в агентурных целях поездку в Финляндию и обратно, по возвращении свидетельствовал: «По дороге я убедился, что наша государственная граница совершенно не охраняется. На протяжении 40 верст пешего пути я встретил одну только заставу, которая

пропустила меня за кусок хлеба»⁷. Обустройство границы, лишь недавно получившей статус государственной и проходившей по большей части через лесные массивы и болотистые места, требовало времени, для ее охраны не хватало людей, ощущался явный дефицит квалифицированных кадров. Между тем местные жители и связанные с ними контрабандисты отлично знали местность и были хорошо осведомлены о расписании обходов границы пограничными патрулями. С 1918 г. в Финляндии стали появляться ингерманландские финны – беженцы из российской части Карельского перешейка. У многих из них сохранялись связи на российской стороне границы, а известные им «окна» на границе также нередко использовались в целях контрабанды. Сезонная активизация контрабандистов наблюдалась обычно в конце лета, с наступлением темных ночей и более пасмурной и дождливой погоды. Зимой при глубоком снежном покрове нелегальный переход сухопутной границы был несколько затруднен, зато усиливалось движение через Финский залив и Ладожское озеро после того, как на них вставал лед⁸.

Все эти обстоятельства делали борьбу с контрабандой чрезвычайно сложной. Попытки усиления борьбы с контрабандой иногда давали определенный эффект: к примеру, финская пограничная комендатура связывала некоторое снижение активности контрабандистов летом 1927 г. мерами по усилению охраны границы и очищению пограничных деревень от «сомнительных элементов», предпринятыми на советской стороне⁹. Этот эффект, однако, оказывался, как правило, временным. Достижению решительного успеха в значительной мере препятствовал недостаток координации в действиях пограничных властей обоих государств, поскольку советско-финляндские отношения оставались тогда весьма прохладными, сохранялось обоюдное недоверие. Советское правительство в середине 1920-х гг. пыталось достичь соглашения с Финляндией о совместной борьбе с контрабандой. На заседании СНК СССР в ноябре 1924 г. был утвержден проект соответствующего договора, который предусматривал, в частности, обязанность сторон «держатъ пограничную охрану на протяжении всей пограничной линии» и не допускать «оставления вдоль границы свободной для передвижения товаров пограничной зоны». Переговоры, начавшиеся в конце января 1925 г., были, однако, вскоре прерваны, не дав результата. На следующий год удалось лишь достичь некоторой договоренности о борьбе с контрабандой в Финском заливе, о чем было подписано тройственное советско-финляндско-эстонское соглашение (ВЦИК СССР ратифицировал его лишь в 1929 г.)¹⁰.

Характерной особенностью контрабанды в российско-финляндском пограничье была ее связь с политикой. Профессиональные контрабанди-

сты по большей части были людьми аполитичными. Однако в погоне за наживой они могли за определенную мзду браться за выполнение заданий, связанных со шпионажем и политической пропагандой. Использование контрабандных каналов в политических целях имело место еще до 1917 г. В начале XX в. русские революционеры при деятельной поддержке финских оппозиционных групп и попустительстве местных властей провозили через Финляндию и ввозили в Россию через финляндскую границу газету «Правда» и другую нелегальную литературу, оружие и боеприпасы¹¹. В 1920-е гг. услугами контрабандистов активно пользовались как советские, так и финские спецслужбы, а также русские эмигрантские организации и находившиеся в советской России финские коммунисты. Финские спецслужбы, вербуя агентов среди контрабандистов и ингерманландских беженцев, хорошо понимали, что тем же может заниматься ГПУ. Штаб пограничной охраны сообщал в июне 1922 г. губернатору Выборгского лена: «Значительная часть ингерманландских беженцев, живущих в непосредственной близости от государственной границы, либо занимается контрабандой, либо действует в качестве коммунистических агентов и проводников коммунистических курьеров»¹². На совещании в штабе пограничной охраны в Терийоки с участием главы терийокского отделения Центральной сысской полиции обсуждался вопрос о переселении беженцев вглубь Финляндии. Финские власти в качестве превентивной меры действительно подчас практиковали переселение беженцев из пограничных во внутренние районы страны и, в особых случаях, принудительное выдворение некоторых из них за линию границы. Так, в 1920–1921 гг. из Финляндии был выселен 41 ингерманландец¹³. В марте 1925 г. терийокское отделение Центральной сысской полиции обращало внимание на активность коммунистических курьеров в районе побережья Ладожского озера на участке Метсаяпиртти – Кексгольм, причем содействие им оказывала часть местных рыбаков, среди которых имелись «политические сомнительные элементы еще со времен восстания 1918 г.» Руководил работой этой нелегальной сети командир советского пограничного поста в дер. Никулясы финский коммунист Саари, бежавший в Россию после поражения «красных финнов» в 1918 г.¹⁴

Для советских властей активность контрабандистов в приграничных районах была таким же объектом особого внимания, как и для финских. Наиболее «пораженными» контрабандой пограничными территориями на советской стороне границы на перешейке считались Термолово, Охта, Лемболово, Керро и Мустолово¹⁵. При этом здесь также отмечалась связь контрабанды со шпионажем. В заключительном акте рабочей комиссии по обследованию борьбы с контрабандой в Ленинградском округе от

6 апреля 1925 г. отмечалось, что контрабанда в Сестрорецком районе является «по существу чисто подсобной отраслью и маскировкой шпионской работы и самостоятельного значения... не имеет»¹⁶. Ижорские и ингерманландские рыбаки с Сойкинского и Курголовского полуостровов на южном побережье Финского залива, как утверждала финская секция Ленинградского губкома ВКП(б), подолгу бывая в море и общаясь с рыбаками из Финляндии, попадали под влияние финнов, получали от них контрабанду, через них передавались и агитационные материалы. В Сойкино в начале 1926 г. была обнаружена русская белогвардейская прокламация «Общества спасения России»¹⁷. В июне 1929 г. в «Ленинградской правде» рассказывалось о деле четырех финских контрабандистов, которых зимой 1928 г. задержали на льду Финского залива, причем все они ранее в разное время уже арестовывались за контрабанду, но трое из них были освобождены, а четвертый бежал из-под стражи. На следствии удалось выяснить, что эти лица взялись выполнить поручение финской разведки за вознаграждение в 4 тысячи марок¹⁸.

В 1935 г. началась инициированная НКВД операция «по очистке пограничной зоны Ленинградской области и Карелии от кулаков и антисоветских элементов». Соответствующий приказ управления НКВД по Ленинграду и области был принят 28 марта 1935 г.¹⁹ С ним связаны и принятые в мае того же года советскими и партийными руководящими органами Ленинградской области постановления «О пограничном режиме в пограничных округах и районах Ленинградской области» и «Об усилении паспортного режима в г. Ленинграде и режимных районах Ленинградской области»²⁰. Эти мероприятия в первую очередь диктовались интересами обороны, но к числу задач их проведения относилось, в числе прочих, и намерение покончить, наконец, с контрабандой в советско-финляндском пограничье. Операция, длившаяся больше года, фактически свелась к поголовному выселению из пограничных районов Карельского перешейка финноязычного населения (советские власти, таким образом, оказались куда радикальнее своих финских коллег, проводивших лишь выборочные выселения). Только такими мерами, характерными для тогдашнего советского руководства, в сочетании со строительством вдоль границы мощной линии оборонительных сооружений удалось достичь поставленной цели: применительно ко второй половине 1930-х гг. можно говорить, что граница действительно была надежно закрыта.

¹ Hämäläinen V. Karjalan kannaksen venäläinen kesäasutus ja sen vaikutus Suomen ja Venäjän suhteiden kehitykseen autonomian ajan lopulla. Tampere, 1974. S. 211.

- ² Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге (далее – ЛОГАВ). Ф. 147. Оп. 1. Д. 60. Л. 1.
- ³ Шкаровский М. В. Семь имен «кошки»: расцвет наркомании в 1917–1920-е гг. // Невский архив. 3. М.; СПб, 1997. С. 468.
- ⁴ Karste-Liikkanen G. Pietari-suuntaus kannakselaisessa elämäkentässä 1800-luvun loppupuolelta vuoteen 1918. Helsinki, 1968. S. 240–241.
- ⁵ ЛОГАВ. Ф. 147. Оп. 1. Д. 60. Л. 2–3.
- ⁶ Рупасов А. И., Чистиков А. Н. Советско-финляндская граница. 1918–1938. СПб, 2000. С. 32.
- ⁷ Центральный государственный архив историко-политических документов С.-Петербурга (далее – ЦГАИПД СПб). Ф. 3631. Оп. 1. Д. 31а. Л. 1об.
- ⁸ EK:n Terijoen alaosasto. Tilannekatsaus № 26. 29.12.1925 // Kansallisarkisto, Helsinki (далее – КА). EK-Valpo. Ryhma 16. № 2763.
- ⁹ Salakuljetus ja rajan yli tapahtuva liikenne. Selostus 30.8.1927 // Ibidem.
- ¹⁰ Рупасов А. И., Чистиков А. Н. Советско-финляндская граница... С. 134.
- ¹¹ См.: Мусаев В. И. Великое княжество Финляндское и русские революционеры (начало XX в.) // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. СПб, 2004. С. 282–290.
- ¹² Kannaksen rajavartioston esikunta – Viipurin läänin maaherralle 10.06.1922 // КА. Inkerin arkisto. Kansio XXXVII.
- ¹³ ЛОГАВ. Ф. 1. Оп. 16. Д. 681. Л. 9–11.
- ¹⁴ EK:n Terijoen alaosasto. Tilannekatsaus № 23. 13.3.1925 // КА. EK-Valpo. Ryhma XXIII. В 1.
- ¹⁵ Рупасов А. И., Чистиков А. Н. Советско-финляндская граница... С. 143–144.
- ¹⁶ Там же. С. 132–133.
- ¹⁷ ЦГАИПД СПб. Ф. 16. Оп. 12. Д. 12 048. Л. 31об.
- ¹⁸ Ленинградская правда. 1929. 2 июня.
- ¹⁹ См.: Мусаев В. И. Политическая история Ингерманландии в конце XIX – XX вв. СПб, 2004. С. 398–399.
- ²⁰ ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 172. Л. 53.

*© Е. В. Дианова
Петрозаводск*

Кооперация и повседневность: будни и праздники жителей Карелии в 1920-е гг.

С окончанием гражданской войны и переходом к мирной жизни стали восстанавливаться товарно-денежные отношения, сельское хозяйство и промышленность. В городах и деревнях возобновлялась традиционная повседневная жизнь с заботами о хлебе насущном. У владельцев личных подворий и частных хозяйств на первый план вышли будничные хлопоты, связанные со своим домашним хозяйством: обеспечение рабочим скотом, семенами и орудиями труда, распределение земельных наделов.

В 1920-е гг. кооперация влияла на многие стороны повседневной жизни всего советского общества, в том числе и крестьянства. Будни и празд-

ники городских и сельских жителей Карелии как пограничного региона также во многом определялись деятельностью кооперативных организаций. Участие граждан в кооперации обеспечивало снабжение продуктами питания и товарами широкого потребления, инвентарем, инструментами и сырьем кустарей и ремесленников, крестьян, членов кооперативных товариществ.

В период новой экономической политики кооперации отводилась роль в организации обмена, торговой смычки между городом и деревней, чтобы обеспечить воздействие пролетарского государства на мелкотоварное хозяйство и подготовить переход крестьянства на путь социализма. В сознание населения внедрялось представление о том, что «кооперация есть способ, которым трудящиеся могут улучшить свою жизнь и избежать угнетения со стороны рыночных посредников и ростовщиков»¹.

В начале нэпа основной формой экономической связи государственной промышленности с крестьянским хозяйством предполагался безденежный товарообмен. После нескольких лет политики «военного коммунизма» руководство страны проявило страх перед полной легализацией товарно-денежных отношений. Основным аппаратом для проведения товарообмена была признана потребительская кооперация.

При организации товарообмена в 1921–1922 гг. государство предоставляло кооперативам различные товары (предметы домашнего обихода и орудия сельского хозяйства), те должны были в обмен на товары готовить у населения хлеб, овощи, рыбу и т. п. Товарообменный фонд в Карельской Трудовой Коммуне был очень скромным: 40 сепараторов, 61 коса-литовка, 393 косы-горбуши; больше всего было серпов – более 4500 штук. Распределение сельхозинвентаря между уездами Карельской Трудовой Коммуны проводилось с особой тщательностью, при этом некоторые уезды вообще не получали из-за бедности товарообменного фонда каких-либо орудий труда. Так, косы-горбуши были выделены только Кемскому и Петрозаводскому уездам, а в Олонецкий уезд отправлено лишь 30 кос-литовок. В товарообменный фонд Карельского союза кооперативов поступили также галантерея и небольшое количество предметов домашнего обихода: нательные кресты, ситцевые платки, гребни, ложки, хлебные лопаты².

Переход к рыночным отношениям через товарообмен проходил с большим напряжением для кооперативных организаций, которые не всегда могли предоставить населению товары повседневного спроса. На кооперативных складах находились отрезы бархата и шелка, коробки с рюмками и тальком, хрустальные рюмки и фарфоровые сервизы. А крестьяне

хотели приобрести керосин и мыло, ситец и спички, чай и сахар, соль и гвозди, мелкий сельскохозяйственный инвентарь и др. Наличие ненужных для крестьянства товаров было одной из причин неудавшегося товарообмена. Так, кооперация Карельской Трудовой Коммуны справилась с выполнением государственных заданий по товарообмену только на 50%. В обмен на продукты сельского хозяйства из товарообменного фонда Карельского союза кооперативов («Карсоюза») население Карельской Трудовой Коммуны получило 56 граблей, 25 серпов, 19 кос, 24 подковы, 18 деревянных ложек, 5 гребенок, 2 пары парусиновых туфель и пр.³

После провала товарообмена стало очевидно, что снабжение населения товарами широкого потребления кооперация может осуществлять только при налаживании кооперативной торговли. Для работников кооперативных организаций на первом плане стояло решение насущных задач, связанных с организацией торговых точек, магазинов, складов, лавок селпо, хранилищ, сыпных и заготовительных пунктов. Сельские потребительские общества наряду с торговлей занимались заготовкой и сбытом продуктов сельского хозяйства.

В связи с расстройством финансовой системы страны в начале 1920-х гг. кооперативные союзы вынуждены были проводить торговые операции по обмену одного вида товара на другой. Так, Олонецкий губернский союз потребительской кооперации по договору с Главрыбой (Москва) менял 2 тысячи пудов смолы на сети, пряжу и веревки. Договор с Управлением кожевенных заводов в Петрограде предусматривал поставку 7 тысяч пудов кожсырья в обмен на шорные товары. Крымская контора Центросоюза по договору с Олонецким губсоюзом должна была поставить в обмен на лес 2 тысячи пудов сахара, 700 пудов риса, 250 пудов фасоли и др. По договору с Курским губсоюзом Олонецкий губернский союз кооперативов отправил 36 тысяч кубометров теса в обмен на зерно. При этом 10 фунтов хлеба приравнивалось к 1 кубу теса. В 1922 г. из Курска в обмен на лесоматериалы были получены 4824 пуда ржи, 100 пудов проса, 785 пудов овса⁴.

В дальнейшем потребительская кооперация продолжала заниматься снабжением жителей Карелии необходимыми товарами и продуктами питания. В Ленинграде было создано отделение Карело-Прионежского союза потребительских обществ, куда отправлялись продукты сельского хозяйства, ягоды, грибы, рыба, дичь, изделия кустарных промыслов, а в Карелию поставлялись бакалея, мануфактура, обувь, пряжа, сахар, чай. В Кеми, Медвежьегорске, Петрозаводске, Пудожье и Сороке работали районные базы Ленинградского представительства «Каронегосоюза», куда направлялись оптовые партии товаров транзитом из Ленинграда.

В середине 1920-х гг. весьма актуальным был вопрос: «Что реально дала кооперация? В какой мере пользуется основной потребитель (рабочий и крестьянин) кооперативными лавками в своих ежедневных закупках?» Обследование некоторых крестьянских хозяйств Северо-Западной области показало, что для крестьянского бюджета роль кооперации достаточно значительна. В 1925/26 г. крестьянин в кооперативных лавках делал от 56 до 65% всех своих закупок. В городах кооперативная торговля через лавки рабочих кооперативов и распределительные пункты на предприятиях на 50–56% обеспечивала продуктами питания, одеждой и обувью только граждан, работающих на данных предприятиях и являющихся членами кооперативов. Государственная торговля все еще не могла дать широкий выбор товаров, удовлетворение покупательного спроса населения происходило за счет частного рынка.

Однако рост кооперативной торговли и увеличение ее товарооборота не могли сразу радикально повлиять на состояние потребительского рынка в отдаленных районах Карелии, там оно по-прежнему оставалось неудовлетворительным. В первую очередь сказывалась сезонность поставки товаров, что нередко приводило к затовариванию складов и медленному обороту средств кооперации. Централизованное распределение дефицитных и пользующихся спросом у населения товаров (чай, консервы, макароны и т. п.) обеспечивало прежде всего крупные и промышленные центры, а снабжение мелких населенных пунктов происходило по остаточному принципу. При наличии возросшей покупательной способности населения это приводило к постоянному неудовлетворенному спросу на различные продукты и товары первой необходимости. Недостаток различных товаров повседневного спроса, ограниченное распределение их по потребляющим районам, в том числе и в Карелию, узкий ассортимент и продажа товаров «в нагрузку» не только отрицательно влияли на бесперебойную торгово-снабженческую деятельность кооперации, но и заставляли население обращаться к услугам частного рынка.

В начале 1920-х гг. была восстановлена сельскохозяйственная и кредитная кооперация. В 1921 г. образован Карельский краевой союз сельскохозяйственных и промысловых кооперативов («Крайсоюз»). Правление данного союза стремилось к максимальному удовлетворению нужд крестьянства Карелии в снабжении его орудиями и инвентарем, семенами, рабочим скотом и «всякого рода материалами, необходимыми в сельском хозяйстве». Так, в 1923 г. с помощью «Крайсоюза» деревня получила несколько сотен кос и серпов, 18 сепараторов, 289 пудов семян. В 1924 г. «Крайсоюз» поставил крестьянам бороны, плуги, соломорезки и другие орудия труда, семена трав

и огородных культур на общую сумму около 85 тысяч рублей. На складах «Крайсоюза» имелось более 70 наименований предметов сельскохозяйственного производства, в том числе 47 наименований машин, деталей и запасных частей к ним, 35 сортов трав, огородных и полевых культур. Условием сбыта техники первичным кооперативам была выплата задатка 25–30% стоимости покупаемых орудий и машин, остальная часть их стоимости погашалась в рассрочку. В 1923 г. для снабжения рабочим скотом крестьянских хозяйств Карелии «Крайсоюз» закупил в Смоленской и Витебской губерниях 178 лошадей. В 1924 г. «Крайсоюзом» было закуплено в Финляндии еще 225 лошадей. Лошади отпускались через сельскохозяйственные кооперативы с рассрочкой платежей на один год⁵.

Кооперация занималась заготовкой, переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции (мяса, молока, масла, кожи, шерсти, сена, ягод и т. п.). «Крайсоюз» проводил закупку у сельских жителей Карелии не только продуктов сельского хозяйства, но и изделий кустарных гончарных, кузнечных, бондарных, скипидарных, дегтярных и других промыслов. Продукты сельского хозяйства, ремесленные изделия, а также грибы, ягоды, рыба, дичь, лекарственные растения отвозились в Ленинград и другие города страны. Сбытовая кооперация, заготавливая продукты сельского хозяйства и промыслов, избавляла крестьян от посредничества скупщика, увеличивала доходы крестьянского двора.

Для развития кредитной кооперации в крае в 1923 г. было создано Карельское агентство Северо-Западного общества сельскохозяйственного кредита. Одним из первых, кто воспользовался услугами данного общества, стал крестьянин из пограничного с. Реболы И. А. Тергуев. В 1924 г. он получил в Петрозаводске ссуду для покупки лошади и приобрел ее в Ленинграде. Вернувшись верхом на ней в свое село, И. А. Тергуев организовал там кредитное товарищество, председателем правления которого он являлся на протяжении многих лет⁶.

Необходимо отметить, что низовая кредитная кооперация при поддержке Карельского общества сельскохозяйственного кредита нашла отклик среди крестьянства и получила довольно широкое распространение. Благодаря помощи кредитной кооперации в Карелии к 1 октября 1927 г. было организовано около 170 мелиоративных товариществ, выданы 103 тысячи рублей на мелиорацию 3 тысяч гектаров земли. К этому же времени в Карелии действовало 30 машинных товариществ, которым на приобретение 5 тысяч различных сельскохозяйственных машин и других орудий труда, в том числе трех тракторов, было выдано 170 тысяч рублей. В 1927 г. в Карелии зарегистрированы 4 маслодельные артели, на

устройство шести маслодельных и сыроваренных заводов было отпущено через кредитную кооперацию 15 тысяч рублей. Во второй половине 1920-х гг. стали появляться специальные животноводческие, коневодческие кооперативные товарищества. Для их развития через низовые кредитные кооперативы крестьяне получили 890 тысяч рублей на приобретение 5800 лошадей, 117 тысяч рублей на приобретение 2200 голов крупного рогатого скота, 52 тысячи рублей для покупки «сильных» и простых кормов для скота, 33 тысячи рублей на покупку 26 тысяч пудов семян трав⁷.

С помощью кредитной кооперации укрепились крестьянские общества взаимопомощи, ведущие лесозаготовительные операции: на развитие лесных артелей было выдано в кредит 58 тысяч рублей. Население Беломорского района получило 470 тысяч рублей на приобретение 5 тысяч штук различного рыбопромыслового инвентаря (сети, моторы, лодки). Например, житель с. Кереть известный сказитель М. М. Коргуев в 1920-е гг. через кредитное товарищество смог купить два баркаса, снасти, лошадь, которые потом сдал в общий фонд при вступлении в колхоз «Красный рыбак»⁸.

В пограничной полосе, особенно сильно пострадавшей в период гражданской войны, население брало кредиты на строительство и ремонт жилья и других зданий. В общем на строительные цели было выдано 10% имеющихся средств низовых кредитных товариществ, или 260 тысяч рублей. На эти деньги в Карелии были построены 2 тысячи домов, хлевов, сараев и других хозяйственных построек. Кроме того, на строительство крестьянству выдали еще дополнительно 250 тысяч рублей⁹.

Кооперация влияла на повседневную жизнь крестьянства, на его привычный уклад жизни и организацию хозяйства. Она ставила крестьянина в известность о требованиях рынка, заставляла менять весь план своего хозяйства и строить его на новых основаниях: закупать новые улучшенные сорта семян, применять передовые методы агротехники, расширять кругозор и получать новые знания по земледелию и животноводству. Для этого члены кооперативных товариществ посылались на различные курсы по молочному делу, по сортировке и первичной обработке льна и конопли, по счетоводству и бухгалтерскому учету.

С целью заинтересовать крестьян Карелии в использовании передовых способов агротехники, улучшенных сортов трав, огородных и зерновых культур, выращивании племенного скота кооперативные товарищества проводили сельскохозяйственные выставки с показом образцов сельскохозяйственных машин, а также рабочего скота и других животных из крестьянских подворий. Кооперация занималась также организацией показательных участков, огородов и полей. Такое хозяйство было организовано Карельским союзом сельскохозяйственных кооперативов в начале

1920-х гг. на землях бывшей коммуны «Братство». Здесь выращивалась рассада огурцов, капусты, брюквы, свеклы и других овощей на продажу населению Петрозаводска. На опытных полях Карельского союза сельскохозяйственной кооперации демонстрировались совместная обработка земли и уборка урожая механическим способом. Олонецкое сельскохозяйственное товарищество также организовало показательный участок полеводства и огородничества с применением торфа и минеральных удобрений¹⁰.

В центре внимания кооперативных организаций находились вопросы культурно-просветительской работы среди кооперированного населения: борьба за новый быт, ликвидация неграмотности, распространение знаний по агрономии, маслоделению и т. п. Для повышения образовательного уровня кооперативных работников правление Карельского союза сельскохозяйственных кооперативов выписывало в Финляндии журналы и книги по сельскому хозяйству на немецком языке. Корреспонденция поступала на адрес конторы Внешторга Карелии в Гельсингфорсе, а оттуда приходила с дипломатической почтой в Петрозаводск.

После появления в печати статьи В. И. Ленина «О кооперации» она оказалась в центре официальной агитации и пропаганды как «столбовая дорога к социализму». Кооперативные работники были втянуты в борьбу за новый быт. Одной из наиболее острых была проблема бытового пьянства. Кооперативные лавки для увеличения товарооборота были вынуждены заниматься торговлей вином и пивом. В то же время многие кооператоры заняли принципиальную позицию по отношению к злоупотреблению алкогольными напитками. В лавках сельских и городских потребительских обществ висели плакаты «Кооперация и пьянство несовместимы!». В 1920-е гг. в правление и ревизионные комиссии стали повсеместно привлекать женщин – работниц и крестьянок. Под руководством женсоветов и кооперативных активов устраивались шествия пионеров и школьников с лозунгами «Отец, не пей! Купи книги детям, одень их! Пьянство губит тебя и детей!» и др. В библиотеки и красные уголки при кооперативных товариществах поступали книги серии «За переделку быта», в которых в сатирическом виде были представлены «обломки старого быта»: мешанство, алкоголизм, обывательщина, комчванство, стремление к «изысканной жизни».

В 1920-е гг. кооперация участвовала в организации всех революционных празднеств. В Карелии как пограничном регионе уделялось особое внимание празднованию Дня международной солидарности трудящихся 1 мая, Международного дня кооперации, Международного юношеского дня и др. В 1920-е гг. среди населения сверху настойчиво формировалась традиция отмечать советские гражданские праздники. Кооперативные

союзы получали из центра различные указания по организации того или иного праздника. Так, к молодежному празднику через кооперативные организации рассылались плакаты «Да здравствует Международный юношеский день!», «Молодежь, готовь кооперативную смену!», «Вперед на бой с капитализмом!», «Пролетарий, будь начеку!»; в конце 1920-х гг. появились плакаты такого содержания «Победного шествия пятилетки не остановить империалистам!»; «Крепи оборону страны, призывник!» и т. п.

При проведении Международного дня кооперации отмечалось его особое значение для совместной борьбы советских рабочих и всего мирового пролетариата за светлое будущее: «День кооперации будет за границей днем борьбы за освобождение от гнета капиталистов и помещиков. Раскрепощение трудящихся требует союза рабочих и крестьян всего мира». Однако жители глубинки и отдаленных районов Карелии зачастую были равнодушны к подобным мероприятиям, новые праздники они проводили как будни в трудах и заботах по своему крестьянскому хозяйству.

Таким образом, кооперация была важным элементом жизни советского общества 1920-х гг., она оказывала непосредственное влияние на повседневную жизнь людей той эпохи.

¹ Пожелания крестьянской кооперации Архангельской губернии на 1923 год. Архангельск, 1923. С. 8.

² Национальный архив Республики Карелия (далее – НА РК). Ф. 545. Оп. 1. Д. 10/187. Л. 17.

³ Там же.

⁴ Там же; Олонецкий кооператор. 1922. № 3–4. С. 36

⁵ НА РК. Ф. 244. Оп. 1. Д. 18/231. Л. 2–3.

⁶ Экономика и статистика Карелии. 1928. № 1. С. 85.

⁷ Там же. С. 94–95.

⁸ Там же; Серебряный корабль: Сказки Матвея Коргуева. Петрозаводск, 1988. С. 12.

⁹ Экономика и статистика Карелии. 1928. № 1. С. 94–95.

¹⁰ НА РК. Ф. 244. Оп. 1. Д. 17/221. Л. 134.

© С. Н. Филимончик
Петрозаводск

Городские школы Карелии в годы нэпа: новации и традиции

История советской школы Карелии в 1950 – первой половине 1980-х гг. изучалась прежде всего исходя из задач модернизации общества, которые решали большевики. А. И. Афанасьева, Г. Е. Власьев, Н. Г. Кучепатов, Л. М. Нюнько делали акцент на демократизацию школы

в 1920-е гг., подчеркивали успехи в укреплении ее материальной базы, акцентировали внимание на светском характере образования, возрастании роли естествознания в учебном плане. С конца 1980-х гг. школа стала рассматриваться прежде всего как социальный институт, характеризующий процесс утверждения в 1920–30-е гг. в России авторитарного режима. Усиление в 1920–30-е гг. идеологизации школы наиболее обстоятельно проследила О. П. Илюха. В условиях антропологического и лингвистического поворотов в историографии исследователи стали уделять больше внимания языковой политике в образовании, истории школы в пограничных регионах Карелии, где сосуществовали и взаимодействовали разные культуры. В этом плане особенно важны исследования А. И. Афанасьевой, Л. И. Вавулинской, Е. Ю. Дубровской, О. П. Илюха, В. Г. Кондратьева. В последние годы региональная историография стала отходить от традиции жесткого разграничения (вплоть до противопоставления) до- и послереволюционной школы.

Гражданская война нанесла особый урон городским поселениям. В 1920 г. в Карелии училась только половина городских детей школьного возраста. С 1919 по 1921 г. в крае закрылось около трети школ¹. В 1920-е гг. стали школьниками дети, родившиеся в период демографического кризиса мировой войны и революции. Длительное недоедание, тяготы прифронтовой обстановки тяжело сказались на их здоровье. В ходе медицинского осмотра школьников Петрозаводска в 1926/27 г. были признаны вполне здоровыми не более 1% детей. В школах Кеми у 70% детей были выявлены серьезные заболевания. Такая же картина наблюдалась в школах Сорокского, Олонецкого, Тунгудского, Прионежского районов. Особенно широко среди школьников была распространена анемия. Высок был уровень заболеваемости туберкулезом. Достаточно часто в характеристиках поведения детей встречаются такие определения, как «крайне нервный», «совершенно не владеет собой». В этих трудных условиях возрождение школы невозможно было вести без опоры на предшествующий опыт и традиции. Несмотря на сохранение революционной риторики и противоречивость практических действий власти, этому объективно способствовало провозглашение нэпа.

В трудное время школы стремились опереться на поддержку городского общества, прежде всего семей учащихся. Для укрепления школьного хозяйства использовался опыт деятельности в начале XX в. родительских комитетов². В подавляющем большинстве школ были созданы комитеты содействия, организовано шефство предприятий и учреждений. Комсоды и шефы вели сбор средств, отапливали и освещали школы³. В 1923/24 учебном году все хозяйственное обслуживание школ в Кемском

уезде было передано комсодам и шефам. В октябре 1923 г. родительское собрание в школе 2-й ступени г. Пудожя обложило каждое семейство, имеющее детей-учащихся, по ½ сажени дров натурой или по 1 пуду хлеба (ржи). Правда, вскоре Совет школы уточнил, что «помощь школе от населения считать лишь желательной, но необязательной, а потому и взносы (дровами или деньгами), предложенные комсомодом, могут быть только добровольные»⁴.

В 1924 г. в городских школах была введена плата за обучение. Ее вносили предприниматели, торговцы, интеллигенция, кустари и ремесленники, а также рабочие и служащие, чей заработок превышал 50 руб. в месяц. Введение платы не привело к существенному укреплению материальной базы учебных заведений. Закон освобождал от платы от 40 до 90% школьников. Многие школы высказывали недовольство введением платы, поскольку сразу значительно сократилась добровольная помощь населения⁵. Основную часть денег на содержание школы выделяло государство. В 1927/28 г. в Петрозаводске на развитие образования было отпущено 326,5 тыс. руб. бюджетных средств, родительские взносы за обучение составили 1% от этой суммы – 3,3 тыс. руб.⁶

В то же время у части горожан сохранялось традиционно пассивное отношение к школе, неверие в важность учебы для будущего детей. До революции чаще всего пребывание в школе ограничивалось 1–2 годами, когда ребенок овладевал навыками чтения, счета, письма. В дальнейшей учебе детей многие родители не видели прока⁷. В 1920-е гг. начальные школы Петрозаводска оканчивали 75%, а в уездных городах – менее половины поступивших в первый класс. Высокий отсев и пропуски занятий были отчасти связаны с высокой заболеваемостью детей, зимой – с отсутствием одежды и обуви, но прежде всего они обуславливались традиционно массовым отвлечением детей для домашних работ.

Развал старой государственности, ослабление прежде строгого надзора над внутренней жизнью учебных заведений, содержанием школьного образования в первые послереволюционные годы в определенной мере активизировали попытки провести в жизнь назревшие еще в конце XIX – начале XX в. преобразования. Безусловно, дореволюционные классические гимназии накопили бесценный опыт: серьезное изучение древних языков давало привычку к напряженному умственному труду, тренированную память, умение анализировать тексты. Однако все более активно критиковались в деятельности дореволюционной школы авторитарность, муштра, оторванность от жизни. Новый импульс получили идеи, высказывавшиеся в дискуссиях о приоритетах образования передовыми педагогами дореволюционной школы: важно помочь подростку

не только овладеть основами знаний, но и сформировать социальные умения, интегрироваться в окружающий мир.

В 1920-е гг. в школах 1-й ступени предметное преподавание отменили, заменив его комплексными программами. На уроках дети получали информацию из разных областей научных знаний, связанную общей темой: «Времена года», «Дикие и домашние животные», «Охрана здоровья», «СССР», «Наш край», «Октябрьская революция» и др. Уроки по новым программам требовали большой организационной и методической подготовки, применения новых методов. Вокруг новых программ и комплексной системы обучения развернулись бурные споры среди учителей. Критики комплексной системы указывали, что ее применение ведет к снижению уровня овладения учебными навыками. Сторонники системы парировали: «Не менее важны, чем навыки математики, русского языка, навыки коллективного труда, организаторские навыки и т. д. Все они из комплекса и вытекают»⁸. Через несколько лет стало ясно, что свертывание предметной системы не привело к повышению качества знаний школьников. На второй год в городских школах оставалось 14–19% учеников. В 1927–1928 гг. были введены программы в новой редакции, предполагавшие сочетание комплексного и предметного обучения.

Перед Первой мировой войной в России приобрели популярность идеи итальянского педагога Марии Монтессори. Она резко критиковала традиционную школу за авторитарность, призывала опираться на индивидуальность ребенка. Девизом такой школы стал обращенный к взрослому призыв: не «научи», не «объясни», а «помоги мне это сделать самому». В 1913 г. в России появился первый детский сад Марии Монтессори, вскоре возникло общество «Свободное воспитание (метод Монтессори)»⁹. В начале 1920-х гг. в Карелии активно обсуждались возможности практического использования идей итальянского педагога Марии Монтессори в работе с детьми младшего возраста¹⁰.

В школах 2-й ступени поддержание школьного порядка и дисциплины было возложено на органы ученического самоуправления: собрания, ученические комитеты, комиссии и т. п. Постоянным органом самоуправления стал школьный ученический совет (ШУС). Представители ШУСа участвовали в работе педагогического совета с правом решающего голоса. В свою очередь педагоги выделяли своего представителя в ШУС.

В обучении очень большое внимание уделялось экскурсионному методу, который активно разрабатывался в отечественной педагогике с начала XX в. В городских школах систематически проводились экскурсии на природу, на промышленные предприятия. Так, в 1926/27 учебном году ученики 2-й группы 3-й школы Петрозаводска побывали на 17 экскурсиях, в том

числе на Онежское озеро и Лососинку, на курган, в лес, в портновскую и сапожную мастерские, в музей, в совхоз, на рынок, в гостиный двор, в Голиковский и Летний сад, на железнодорожный вокзал. По их итогам школьники рисовали, делали гербарии, чертили схемы и диаграммы, писали сочинения, заполняли дневники погоды. Ребенок выходил из своего привычного окружения, наблюдал предметы изучения в их естественной обстановке, а не в искусственном воспроизведении. Смысл экскурсионного метода состоял в активном познании мира. Экскурсия расширяла не только когнитивные способности ребенка, но и его способность переживать, приучала к наблюдательности, развивала личность. В организации экскурсий было и немало трудностей. Не всегда можно было согласовать приход детей с производственным ритмом предприятия, многие мастерские были маленькими и не могли вместить класс. А в зимние морозы дети часто отказывались от экскурсий из-за плохой одежды и обуви.

Новый импульс получило в 1920-е гг. развитие краеведения. В Пудожской опорной школе ученики под руководством агронома проводили обследования крестьянских хозяйств, изучали местные почвы, составляли диаграммы доходности ремесел. Большой опыт краеведческой работы был накоплен в Сорокской опорной школе. Дети составили план города, диаграмму разных видов местных почв, собрали коллекцию «Камень и что из него получают в природе». Ученики изготавливали модели сельскохозяйственных орудий, представляли письменные работы «Как улучшить породу нашего скота. Чем у нас кормят коров и как бы их надо кормить». Собранный в Пудуже и Сороке краеведческий материал стал основой школьных музеев¹¹.

В 1920-е гг. школы 2-й ступени и девятилетки работали в основном в городских поселениях Карелии. Значительно облегчился доступ в среднюю школу для детей рабочих и крестьян-бедняков. В то же время сохранился принцип отбора детей в школы повышенного типа в зависимости от социального происхождения. Теперь среднее образование старались ограничить для детей духовенства, предпринимателей, некоторых групп интеллигенции. Однако фактически к концу нэпа в школах повышенного типа Карелии, как и до революции, сохранялось преобладание детей служащих.

В советской школе не только сохранилась с прежних времен, но и значительно возросла идеологизация и политизация учебной и воспитательной работы. В 1923 г. во всех школах Карелии было введено преподавание политграмоты, причем в школах 2-й ступени этот предмет вели не учителя, а профессиональные партработники¹². В немалой степени через школу внедрялся в общество ритуал празднования годовщин Октябрьской революции. В программу праздника включались доклады старшеклассников о революции, Ленине, социалистическом строительстве в Ка-

релии, организовывался концерт с участием чтецов и хора. Школьный драматический кружок готовил пьесу, редколлегия выпускала стенгазету. Здание школы празднично украшалось, на торжества приглашались родители¹³. Торжественно отмечался в школах День Парижской Коммуны. В 1926 г. школьники Петрозаводска участвовали в сборе денег в пользу детей бастовавших английских горняков. Школьники писали многочисленные плакаты для политических кампаний. Детей привлекали к участию в государственных займах. Так, Сорокская школа в 1926 г. подписалась на 12 руб. 50 коп.¹⁴ В школах проводились беседы, направленные против христианского учения, религиозных обрядов и праздников, невзирая на то, что большинство детей росло в семьях верующих.

В 1920-е гг. возобновились дискуссии о языке обучения карел. В резолюции по докладу Отдела народного образования делегаты I Всекарельского съезда Советов записали, «что возрождение карельской грамоты является ненужным и невыполнимым делом». В конце 1920-х гг. секретарь Карельского обкома ВКП(б) Г. Ровио невозможность создания карельского литературного языка обосновывал диалектной раздробленностью, исторической и языковой близостью к финскому языку, отсутствием материальных средств, научных трудов¹⁵. Эти аргументы, скорее, говорили о трудностях, с которыми пришлось бы столкнуться при создании карельской письменности, нежели о невозможности письменность создать. Из восемнадцати языков финно-угорской семьи только три (финский, венгерский и эстонский) имели письменность до Октябрьской революции. Вряд ли работа по созданию эрзя-мордовской, мокша-мордовской, лугово-марийской, горно-марийской, удмуртской, коми-зырянской, коми-пермяцкой, мансийской, хантыйской письменностей была беспроблемной, тем не менее, она велась в послереволюционное время¹⁶. Важную роль в определении языковой политики сыграла позиция финских политэмигрантов, стоявших у руля власти в Карелии. Они решительно настаивали на обучении карел финскому языку.

Одной из самых первых финских школ стала финская девятилетка в Петрозаводске. Более 48% ее учащихся составляли карелы, посланные на учебу из Петрозаводского и Олонецкого уездов. Для них при школе был создан интернат. Учиться в девятилетке многим карельским детям первое время было сложно из-за недостаточной подготовки в сельской школе, а также из-за слабости здоровья. Заведующий финской девятилеткой В. В. Сало сетовал: «Карельский крестьянин посылает учиться только слабых и больных детей»¹⁷. Около 47% учеников этой школы были финны, в основном из семей финских революционеров, прибывших в Советскую Россию после подавления революции 1918 г. Финская девятилетка была единственной школой в городе, где в 1920-е гг. подавляющее большинство детей являлись пионерами и комсомольцами.

В 1927 г. 45% школ республики уже работали на финском языке¹⁸. В Южной Карелии большинство детей учились на русском языке, хотя одновременно росло число школьников, обучавшихся на финском языке. В 1923 г. в Олонецком уезде только в одной школе (где было 37 учащихся) обучение велось на финском языке. В 1929 г. из 29 школ 1-й ступени в Олонецком районе в 12 школах преподавали на финском языке¹⁹. В 1929 г. руководство республики официально утвердило финский язык в качестве единственного письменного и литературного языка карельского населения.

Носителями традиций школы и проводниками новых веяний являлись учителя. Большинство их получили профессиональную подготовку и опыт педагогической деятельности до революции. В школах 1-й ступени четверть преподавателей, в школах 2-й ступени – 17% составляли выходцы из духовенства. Больше всего в школах 1-й ступени было выпускников епархиальных училищ. В школах 2-й ступени 52% учителей имели среднее, 42% – законченное и незаконченное высшее образование²⁰.

Советская власть закрыла учительскую и духовную семинарии, епархиальное училище и развернула подготовку учительства в педагогическом техникуме. Поступавшие туда, как правило, имели слабые знания. На финское отделение педтехникума принимали тех, кто прошел 1–2 отделения начальной школы. Учеба в техникуме не всегда позволяла существенно повысить уровень общего образования. Для властей на первом плане была общественно-политическая активность учительства²¹. Много времени студенты обязаны были отдавать общественной работе. Ежедневно учащиеся 4-го курса парами во всякую погоду пешком ходили в подшефную дер. Ужесельга – днем вели занятия в школе, а вечером с молодежью и взрослыми читали газеты, беседовали о текущей политике. Студенты – члены ОДН вели занятия по ликвидации неграмотности. Участники хора регулярно выступали перед делегатами многочисленных съездов и конференций в Петрозаводске. В 1926 г. учащиеся техникума принимали активное участие в проведении переписи населения²². Считалось, что таким образом учащиеся приобретают «некоторую закалку для работы на том суровом поприще, к которому они готовятся». Учебный план подготовки учителей ориентировался прежде всего на их политическое образование и включал такие предметы, как обществоведение, политэкономика, экономическая политика, истмат, история классовых борьбы, текущая политика. В учебный план финского отделения дополнительно входили кооперация, политпросветработа, военное дело, советская конституция²³. В характеристиках преподавателей, которые готови-

ли заведующие школ для руководства с грифом «секретно», обязательно фиксировалось: «В отношении к Советской власти благонадежен»²⁴.

Несмотря на трудности, в период нэпа школьная сеть в Карелии была восстановлена. Начальным образованием удалось охватить 82% городских детей в возрасте 8–11 лет. Была поставлена задача перехода ко всеобщему начальному образованию²⁵. В организации школьной жизни в 1920-е гг. важную роль играло стремление к демократизации, уважению личности ребенка, преодолению муштры, развитию коллективизма. Много было ошибок и «трудностей роста» на этом пути, связанных и с бедностью жизни, и с недостатком профессионализма. В то же время авторитаризм и сверхидеологизация старой школы не только не были изжиты, но стремительно укреплялись. На смену сословному характеру прежней системы образования пришли классовый принцип и большевистская проповедь социальной нетерпимости.

¹ Статистический обзор 1923–1924 г. Петрозаводск, 1925. С. 60–61. Афанасьева А. И. Великий Октябрь и становление советской культуры в Карелии. Петрозаводск, 1983. С. 93, 140.

² См. Балашов Е. М. Школа в российском обществе 1917–1927 гг.: Становление «нового человека». СПб, 2003. С. 14.

³ Национальный архив Республики Карелия (далее – НА РК). Ф. 630. Оп. 1. Д. 10/97. Л. 31–32.

⁴ Там же. Ф. 298. Оп. 1. Д. 33/454. Л. 129, 161.

⁵ Там же. Ф. 630. Оп. 1. Д. 10/98. Л. 21.

⁶ Там же. Ф. 581. Оп. 1. Д. 4/10. Л. 2.

⁷ Кучепатов Н. Г. Сорок лет (Краткий очерк народного образования в Карельской АССР) // Уч. зап. Карельского педагогического института. Т. 4. Петрозаводск, 1958. С. 46–82.

⁸ НА РК. Ф. 581. Оп. 1. Д. 10/27. Л. 50.

⁹ Хорош Л. Ю. Человек в педагогике. Петрозаводск, 2000. С. 31–34.

¹⁰ Коммуна. 1921. 27 марта.

¹¹ НА РК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 48/439. Т. 1. Л. 379; Д. 340. Л. 152.

¹² Ньюко Л. М. Из истории школьного строительства в Карелии в первые годы советской власти // Уч. зап. Петрозаводского государственного университета. Т. 6, вып. 1. Исторические и филологические науки. Петрозаводск, 1957. С. 46.

¹³ НА РК. Ф. 581. Д. 5/12. Л. 13–14.

¹⁴ Там же. Ф. 630. Оп. 1. Д. 340. Л. 273–278.

¹⁵ Ровио Г. Проблемы языка в национальной политике АКСР // Карело-Мурманский край. 1931. № 1–2. С. 16–22.

¹⁶ Керг Г. М. Д. В. Бубрих – основатель отечественного финно-угроведения // Д. В. Бубрих: К 100-летию со дня рождения. СПб, 1992. С. 5–6.

¹⁷ НА РК. Ф. 581. Оп. 1. Д. 10/27. Л. 172.

¹⁸ КГАНИ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 177. Л. 3, 5.

¹⁹ Отчет Карельского областного исполнительного комитета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов IV Всекарельскому съезду Советов. Петрозаводск, 1923. С. 66–67. Ежегодник АКСР. Вып. 4. 1929. Петрозаводск, 1931. С. 41.

²⁰ НА РК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 31/259. Л. 72, 81.

²¹ Илюха О. П. Формирование новой школьной этики (на материалах Карелии 1920–1930-х гг.) // Россия в XX веке: Сб. ст. к 70-летию со дня рождения чл.-корр. РАН, проф. В. А. Шишкина. СПб, 2005. С. 170; Она же. Социальный облик школьного учителя советской Карелии (1920–1930-е гг.) // Карелия и Финляндия на пороге нового тысячелетия: Тез. докл. междунар. симпозиума историков 21–23 мая 1999 г. Петрозаводск, 1999. С. 82.

²² В помощь просвещенцу. 1928. № 1–2. С. 22–29.

²³ НА РК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 40/337. Л. 143–145.

²⁴ Там же. Ф. 579. Оп. 1. Д. 5/84. Л. 27–28.

²⁵ Там же. Ф. 630. Оп. 1. Д. 40/338. Л. 82.

© Е. С. Сениянская
Москва

Влияние войн XX в. на формирование образа Финляндии и финнов в России*

Взаимовосприятие двух стран и народов зависит от множества факторов, имеющих определенную соподчиненность. Условно это явление можно отразить в виде упрощенной схемы: субъект, объект, обстоятельства восприятия, смысловое наполнение формируемого образа. Субъектами восприятия могут быть государственные структуры, формирующие политику в отношении другого государства; определенные социальные категории населения и, наконец, конкретные граждане страны. Объект восприятия также может быть целостным (страна и народ в целом) и дифференцированным – государство, народ, его история, культура и т. д. Образ другой страны никогда не бывает статичным. Его формирование всегда происходит исторически, подвергается изменениям и коррективам вместе с изменением условий взаимоотношений стран и народов, исторического опыта, смены поколений и т. д. На конкретные субъекты восприятия в большей или меньшей степени влияют различные источники информации, каналы и инструменты воздействия: официальные и пропагандистские материалы, пресса и другие СМИ, произведения искусства и культуры и т. д. Существенным в восприятии народов являются такие факторы, как их величина и историческая значимость, соседство или отдаленность, интенсивность или слабость контактов, их характер (враждебность, нейтральность или дружелюбность), виды и направленность взаимодействий (экономические, политические, культурные) и т. д.

* Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 05-01-01086а).

Финляндия – маленькая соседняя России страна, и финны занимают весьма скромное место в русском историческом сознании. Это не немцы, французы, турки или даже англичане: все эти народы и страны были *самостоятельными субъектами истории*, в том числе много воевали против России, даже угрожали ее существованию и немало повлияли на ее политику, экономику, культуру. Поэтому о них у *всех* русских есть какое-либо представление (достаточно подробное) и мнение (плохое или хорошее). О Финляндии в России большинство людей мало что знает и думает (кроме жителей пограничных с ней регионов). Причина проста: Финляндия была *объектом* – предметом дележа великих держав – Швеции и России. Сначала она была отвоевана Россией у Швеции, причем самими финнами, во-первых, была дарована автономия с правами, которых больше в Российской Империи ни у кого не было (русские об этом могли только мечтать); во-вторых, к Великому княжеству Финляндскому была присоединена – в качестве *подарка* от Александра I – Выборгская губерния. После Октябрьской революции 1917 г. Финляндия советской Россией была *дарована* независимость. А в «благодарность» Финляндия стала претендовать на земли, которые ей никогда по праву не принадлежали. И когда в 1920-е гг. этим (в том числе вооруженным) притязаниям был дан отпор, готова была заключить союз против России то с Англией и Францией, то с фашистской Германией лишь бы реализовать свои аннексионистские планы. Так что и так называемые (финнами) «Зимнюю войну» и «Войну Продолжение» нужно видеть именно в этом контексте, как и послевоенное их отражение в искусстве и в массовом сознании.

Естественно, при всей периферийности и малозначимости Финляндии в российской жизни, войны с ее участием не могли не отразиться на восприятии у нас соседней страны и ее народа, причем далеко не лучшим образом, так что даже интенсивная советская пропаганда, внедрявшая в массовое сознание образ «дружественной Финляндии», не могла стереть из национальной исторической памяти тот факт, что финны были союзниками Гитлера во Второй мировой войне, оккупировали часть приграничной территории и стали пособниками фашистов в одном из самых трагических для советского народа эпизодов войны – блокаде Ленинграда, то есть Финляндия непосредственно виновна в гибели сотен тысяч наших соотечественников, в том числе мирных жителей Карелии и Ленинграда.

Образ восприятия другой страны может быть подразделен на синхронный и ретроспективный, а типологически – на официально-пропагандистский, служебно-аналитический, художественно-обобщенный, лично-бытовой и др. Последний из перечисленных типов образа особенно тесно связан с массовым историческим сознанием. При этом очевидно, что основную информацию о Финляндии простой советский (а позднее российский) человек получал главным образом из учебников,

прессы, телевидения, произведений искусства. И лишь очень незначительная часть людей, живших преимущественно в приграничных районах, была причастна к источникам непосредственной исторической памяти (современники, участники событий и общавшиеся с ними люди).

Пропаганда и средства массовой информации играют весьма существенную роль в формировании исторической памяти. В СССР в учебной литературе и в СМИ эпизоды военного противостояния с Финляндией занимали крайне незначительное место, а то и вовсе замалчивались в угоду политической конъюнктуре, а именно, официально дружественному отношению двух стран. Поэтому для обывденного сознания людей основным источником более адекватной информации по этому вопросу оставались воспоминания непосредственных участников и свидетелей событий – субъектов индивидуальной и коллективной исторической памяти. К ним относились ветераны боевых действий в период Зимней войны и на Карельском фронте, а также жители приграничных территорий, подвергшихся финской оккупации. Именно от них до массового сознания доходили сведения об особой жестокости финнов по отношению к пленным и к гражданскому русскому населению оккупированных областей, об их оккупационной политике, носившей характер геноцида.

В период «перестройки» в контексте разоблачения «преступлений сталинского режима» впервые в фокусе внимания историков и публицистов оказалась и «незнаменитая» Советско-Финляндская война 1939–40 гг., при этом основной акцент в ее освещении был сделан на негативных для советской стороны аспектах этого события (якобы немотивированная агрессия великой державы против маленького соседа; неудачное ведение боевых действий и неоправданно высокие потери советской стороны; репрессии против вернувшихся из финского плена красноармейцев и т. д.).

Лишь в последние годы акценты в изучении и освещении этого события смещаются в сторону более объективных оценок, проникновения в сущность явления, а не сосредоточение на внешних его сторонах. Между тем, анализируя геополитическую ситуацию в контексте уже начавшейся Второй мировой войны, враждебных настроений элиты и политики правящих кругов Финляндии, можно прийти к выводу, что в конце 1939 г. у СССР объективно не было иных возможностей, кроме как силовым способом решить проблему обеспечения безопасности своих границ, проходивших в непосредственной близости от Ленинграда – крупнейшего индустриального, военно-морского, политического, культурного и т. д. центра. Великая Отечествен-

ная война со всей очевидностью показала принципиальную верность этого решения, хотя и реализованного формально некорректно с точки зрения международного права и недостаточно эффективно в военном отношении. Однако поправка норм международного права в тот период стало «фактической нормой», реальной практикой межгосударственных отношений, пример чему показали «западные демократии» Мюнхенским сговором. А допущенные СССР в ходе «малой войны» военные ошибки были проанализированы и частично учтены в последовавшей вскоре «большой войне».

Аналогично и освещение участия Финляндии в войне против СССР на стороне фашистской Германии также подвергается коррективам. Замалчивавшиеся ранее и «неудобные» для финской стороны темы преступлений гитлеровского союзника все больше становятся достоянием как научного сообщества, так и общественности. Среди них – не только крайняя жестокость и бесчеловечность обращения с советскими военнопленными, но и общая политика финского оккупационного режима на занятых советских территориях с откровенно расистскими установками в отношении русского населения и ориентация на его истребление. Сегодня опубликовано немало материалов с документальными свидетельствами жертв финских оккупантов, в том числе малолетних узников концентрационных лагерей¹. Однако в отличие от правительства современной Германии официальная позиция финской стороны состоит в том, чтобы не признавать эти действия своей армии и оккупационной администрации в качестве преступлений против человечности. Более того, эта позиция заключается в отрицании самого факта, что Финляндия во Второй мировой войне являлась союзницей фашистской Германии. Она якобы являлась всего лишь «военной соратницей». Однако подобная словесная эквилибристика может обмануть лишь тех, кто сам желает обмануться: совместный характер целей и действий, согласованность планов двух «соратников», в том числе по послевоенному разделу СССР, широко известны. Вместе с тем не только финские политики, но и ряд историков придерживаются этой скользкой позиции². Даже в период официальной «крепкой советско-финляндской дружбы» в финской литературе и искусстве проскальзывали откровенные антирусские настроения, а также сожаления о том, что экспансионистские планы по созданию Великой Финляндии провалились.

Подводя итоги краткого анализа, можно отметить, что войны между двумя странами в XX в. оказали определенное влияние на изменение образа соседней страны в российском сознании. Во-первых,

она заняла в нем несколько большее место, нежели ранее, причем нейтральное и в целом безразличное отношение сменилось более негативными и настороженными оценками. Во-вторых, динамика восприятия от синхронного (в период войн) к ретроспективному зависела не только от направленности и активности пропаганды в советский период, но и от расширения гласности, которая раскрыла весь спектр двусторонних взаимоотношений военного и послевоенного времени, – не только определенные просчеты сталинской политики в советско-финляндских отношениях, но и экспансионистские устремления финской элиты на Восток, и преступления финской военщины в годы Второй мировой войны, и тенденции самооправдания в послевоенном финском обществе, все более нарастающие после распада СССР и питающие реваншистские настроения финских радикалов.

¹ Сулимин С. и др. Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР. Л., 1945; По обе стороны Карельского фронта. 1941–1944: Документы и материалы. Петрозаводск, 1995; Шадрова Л. В. Горечь детства, горечь смерти. Книга памяти. Война, плен, концлагеря. Карелия 1941–1944 гг. Подпорожье, 1998; Костин И. А. Воспоминания о жизни в оккупированном Заонежье // Карелия в Великой Отечественной войне. 1941–1945. Петрозаводск, 2001. С. 47–56; Лайне А. Гражданское население восточной Карелии под финляндской оккупацией во Второй мировой войне // Карелия, Заполярье и Финляндия в годы Второй мировой войны. Петрозаводск, 1994. С. 41–43; Шляхтенкова Т. В., Веригин С. Г. Концлагеря в системе оккупационной политики Финляндии в Карелии 1941–1944 гг. // Карелия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Петрозаводск, 2001. С. 37–46; Судьба: Сборник воспоминаний бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Петрозаводск, 1999; Гущин Б. Колючая проволока нашего детства // Лицей. 2002. № 10. С. 14; Лукьянов В. Трагическое Заонежье: Документальная повесть. Петрозаводск, 2004; Юсупова Л. Н. Военное детство в памяти поколения, пережившего оккупацию в Карелии // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2003/2004. Новые научные направления. М., 2004. С. 345–351; Чумаков Г. В. Финские концентрационные лагеря для гражданского населения Петрозаводска в 1941–1944 гг. // Вопросы истории Европейского Севера (Народ и власть: проблемы взаимоотношений. 80-е гг. XVIII–XX вв.). Петрозаводск, 2005. С. 142–151; и др.

² См.: Вихавайнен Т. Пропаганда и контроль общественного мнения в Финляндии во время войны 1939–1944 годов: Доклад на 17 фин.-рос. симпозиуме историков. Институт П. Ренвалла, Хельсинкский университет. 25–26 мая 2001 г.; Он же. Пропаганда во время Войны Продолжения: Доклад на финл.-рос. семинаре «Война Продолжение 1941–44 гг. Взгляд по обе стороны фронта». Институт Финляндии в Санкт-Петербурге, 25 мая 2005 г.; и другие устные и письменные выступления этого автора, в том числе в качестве «эксперта по вопросам России» по поводу выступления Президента Финляндии Т. Халонен во Французском институте международных отношений 1 марта 2005 г. о роли Финляндии во Второй мировой войне и последовавшего за ним заявления МИД РФ от 3 марта 2005 г. (см.: <http://www.inosmi.ru/text/translation/217798.html>).

Советские и финские военнопленные 1939–1944 гг.

Плен – неизбежный спутник любой войны. Все государства, ведущие боевые действия, сталкиваются с проблемой захвата и содержания военнопленных. Не было исключением и советское государство. За время своего существования СССР дважды вел войны с Финляндией.

Несмотря на то что после окончания Зимней войны и Войны Продолжения прошло свыше 60 лет, мы до сих пор не знаем точного количества пленных. Официальные данные очень противоречивы. Государственные органы СССР заявляют о том, что в Зимнюю войну в плен попали от 858 до 1100 финнов, из которых 20 человек отказались возвращаться в Финляндию после заключения мирного договора. На основании обнаруженных нами в российских и финских архивах документов, можно заключить, что в лагерях и госпиталях СССР в 1939–1940 гг. находились 883 финских военнопленных. Количество советских пленных в Финляндии – от 5 546 до 6 116 человек. Официальные статистические данные о пленных периода Войны Продолжения еще более противоречивы. Цифры количества финских пленных колеблются от 2377 до 3402 человек, а советских – от 64 188 до 72 000 человек. Говоря о финнах, наиболее достоверной цифрой, которую мы получили при составлении базы данных финских военнопленных, являются 3 114 человек¹. Точных данных о количестве советских пленных в российской историографии нет. Более того, российские историки не разрабатывали эту тему в своих работах, а лишь использовали ссылки на финские источники.

Несколько слов о правовой стороне вопроса. Накануне и во время Зимней войны и Войны Продолжения действовали Гагская конвенция 1907 г.; Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1929 г.; Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 1929 г.

Однако в полном объеме все статьи этих конвенций оба государства не могли реализовать по объективным причинам. Впрочем, ни одна страна, вступившая в войну, никогда не может и не соблюдает все положения международных правовых документов. Каким бы демократическим государством она не являлось, война накладывает определенный отпечаток на внутреннюю жизнь общества, ограничивая многие демократические принципы.

Ни Финляндия, ни СССР не ратифицировали Женевскую конвенцию 1929 г. «Об обращении с военнопленными», мотивируя невозможностью точного выполнения некоторых статей и положений Конвенции и ее расхождением с

внутренним законодательством. Однако при этом обе страны заявили, что в случае возникновения проблемы будут ее решать в духе этого международного акта. Но обе страны подписали другой важный документ – Женевскую конвенцию 1929 г. «Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях», то есть *de-facto* СССР и Финляндия брали на себя обязательство гарантировать права пленных, признанные мировым сообществом.

В СССР вопрос ратификации данных конвенций был связан с особенностями законодательства, в котором имелись статьи, предусматривающие наказание за сдачу в плен советских граждан. Соответственно, признав права иностранных пленных, СССР вынужден был бы признать и права своих собственных солдат и командиров, попавших в плен к неприятелю, что, по мнению руководства страны, было недопустимо и идеологически вредно. Впрочем, существовали «смягчающие вину обстоятельства» – ранение или болезнь могли освободить советских военнопленных от уголовного преследования. Поэтому СССР в соответствии со своим внутренним законодательством закрепил равные права за своими и иностранными больными и ранеными пленными.

Финляндия в основном ограничилась небольшими, но очень конкретными инструкциями и комментариями международных документов. Например, такой, как «Инструкция по внутреннему распорядку в сборном лагере для военнопленных № 1», подписанная подполковником Б. Бьёрклундом, в которой регулировались вопросы медицинского обслуживания, работы пленных, их питания, обеспечения их прав и обязанностей².

Таким образом, Советский Союз и Финляндия брали на себя обязательство гарантировать права пленных, признанные мировым сообществом. И это были добровольно принятые решения обоих государств, поскольку в то время не существовала эффективная система международных санкций, применявшихся в случае несоблюдения правил в обращении с военнопленными.

Для решения проблемы пленных в СССР было создано Управление по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР (УПВИ НКВД). Образованное во время Польской кампании 1939 г., это учреждение к началу советско-финляндских войн имело свои подразделения во многих регионах СССР. Опыт УПВИ НКВД СССР, полученный в результате работы с поляками, применялся во время Зимней войны и Войны Продолжения. На поляках был впервые опробован метод деления военнопленных на разные группы и создание отдельных лагерей для содержания пленных в соответствии с их воинским званием. УПВИ являлось главной организацией, от которой зависели судьбы миллионов людей, учреждением, ответственным за содержание всех пленных, захваченных Красной

Армией и находящихся как на территории Советского Союза, так и за его пределами. Более того, УПВИ отвечало и за фильтрационные проверки граждан СССР – бывших пленных, вышедших из окружения бойцов и командиров РККА, а также гражданских лиц, репатрируемых на родину.

На основании архивных документов можно сделать следующий вывод: ни Финляндия, ни СССР не были полностью готовы к приему на своей территории военнопленных как в Зимнюю войну, так и в Войну Продолжения. Создание и обустройство многих лагерей не было завершено до поступления пленных из действующих армий. Военнопленные размещались в плохо приспособленных для жилья помещениях, наспех переоборудованных для новой цели. Однако, несмотря на недостатки, во время Зимней войны в приемных пунктах и лагерях были созданы хотя и не совсем хорошие, но более или менее приемлемые санитарно-бытовые условия. И не случайно в лагерях не было эпидемических заболеваний. Кардинально противоположной была ситуация с размещением пленных в начале Войны Продолжения. Отсутствие элементарных санитарно-бытовых условий в совокупности с тяжелым трудом, недостаточным питанием и плохим медицинским обслуживанием привело к высокому проценту заболеваемости и смертности среди пленных.

Во время войны 1941–1944 гг. значительно выросла численность заболевших и умерших. Но в целом раненым и больным оказывалась по возможности медицинская помощь, и их с передовой отправляли в военные госпитали. Недостатки в медицинском обслуживании пленных во время обеих войн были связаны с отсутствием у части медперсонала необходимой квалификации, нехваткой во время Войны Продолжения медикаментов и перевязочных средств. Постоянно увеличивающийся приток пленных существенно усложнил задачи, стоявшие перед медицинскими службами лагерей. Поступавшие пленные нередко находились в ослабленном состоянии. В лагерях катастрофическим образом не хватало витаминных препаратов, никотиновой кислоты и дрожжей для лечения пеллагры, которая была настоящим бичом и в СССР, и в Финляндии. Нередко не хватало вакцин против дифтерии и дизентерии³.

Имевшие место недостатки в медицинском обслуживании военнопленных во время Войны Продолжения учитывались руководством органов, ответственных за здоровье пленных. В меру своих возможностей они старались исправить сложившуюся ситуацию. Таким образом, нельзя сказать, что нарушения, имевшие место в медицинском обслуживании военнопленных, являлись целенаправленной политикой геноцида в отношении финских и советских пленных.

Анализ архивных документов показал, что самой острой проблемой было плохое продовольственное обеспечение. Особенно тяжелое положение сложилось в советских и финских лагерях в конце 1941 – начале 1943 г., когда пленным выдавали продукты ниже норм, предусмотренных международными правилами. Хотя калорийность рациона питания финских и немецких военнопленных в СССР превышала калорийность питания советских пленных в Финляндии и Германии, но все же была недостаточной. Кроме того, в отличие от советских пленных в Финляндии, финны в Советском Союзе не имели возможности работать в крестьянских хозяйствах, то есть хоть как-то увеличить свой рацион питания.

Наиболее тяжелыми для пленных периодами, сопряженными с большим количеством смертей, были 1942 г. и осень 1944 г. В 1942 г. увеличение смертности финских и советских пленных связано с ухудшением продовольственного положения в СССР и Финляндии и вызванного этим уменьшением пайков. Осень 1944 г. была особенно тяжела для финнов. Перед репатриацией их собрали в Череповецком лагере № 158. Но переподчинение ведомств, снабжавших лагерь лекарствами, создало критическую ситуацию с вакцинами и сыворотками против дизентерии и дифтерии. Учитывая, что финны были ослаблены недоеданием, становится ясно, почему процент заболевших и умерших среди них значительно вырос. В СССР во время Войны Продолжения скончались 997 финнов, то есть смертность финских пленных составляла 32% с учетом расстрелянных в момент пленения, в Финляндии – 18 700, то есть 29%. В Германии, для сравнения, умерли в плену 57% советских солдат⁴.

Конечно, одной из главных причин отмеченных недостатков являлся острый дефицит продовольственных, материальных и финансовых ресурсов, подорванных Второй мировой войной. Поэтому, констатируя плохое обеспечение пленных, подчеркнем, что трудности продовольственного снабжения испытывали не только они, но и мирное население.

Труд военнопленных в Зимнюю войну из-за ее скоротечности широкого распространения не получил. Пленные вообще не работали и использовались прежде всего для поддержания нормальных санитарно-бытовых условий в лагерях.

Во время Войны Продолжения труд пленных принимал все больший размах. Финны и русские привлекались к работам на лесо- и торфозаготовках, в угольной промышленности, трудились в сельском хозяйстве, на строительстве дорог и жилых помещений. Труд стал одной из причин заболеваемости и смертности пленных в СССР и Финляндии. Завышенные производственные нормы и недостаток питания приводил к ухудшению физического состояния военнопленных.

Незначительное количество финских пленных во время Войны Продолжения не могло оказать существенного влияния на экономику Советского Союза. Не могли они и кардинальным образом изменить положение в той или иной отрасли народного хозяйства. Поэтому решения Тегеранской, Ялтинской и Потсдамских конференций о «репарациях трудом» затронули финнов, в отличие от немцев, в меньшей степени. Финляндия не была оккупирована советскими войсками, а большинство финнов уже репатриировали на родину после окончания войны. Оставшиеся же в силу своего плохого физического состояния не могли использоваться на работах по восстановлению экономики СССР.

Ни одна война не может длиться вечно и рано или поздно обе стороны должны заниматься репатриацией пленных на родину. Обе страны незамедлительно после окончания Зимней войны и Войны Продолжения предприняли активные усилия по скорейшему обмену военнопленными. Репатриация подавляющей части советских и финских пленных была осуществлена в довольно короткие сроки. Большинство из них вернулись домой уже в конце 1944 г.

Подводя самый общий итог, можно сделать вывод о том, что в действиях советских и финских органов, решающих вопросы содержания пленных, были ошибки. Допускались отклонения от норм международного права. К наиболее серьезным относятся: во-первых, военнопленные были лишены возможности переписки со своими родственниками; во-вторых, СССР и Финляндия в нарушение международных норм права и своего собственного законодательства не предоставляли списки пленных, содержащихся на их территории; в-третьих, имели место расстрелы военнопленных на этапе транспортировки к местам сбора и после получения от них необходимой информации. В случае Войны Продолжения последнее более характерно для партизанских отрядов на этапе позиционной войны (Asema Sota 1942–1944 гг.). Причем приказы о расстрелах давались на достаточно высоком уровне – на уровне Штаба партизанского движения Карельского фронта⁵.

Однако Вторая мировая война была отнюдь не малым локальным конфликтом, при котором в ходе вялого ведения боевых действий можно было, да и то с трудом, выполнить все и в полном объеме правила и требования Женевской конвенции. Перечисленные мной нарушения международного права допускали все страны во время войны. Ни СССР, ни Финляндия, ни Германия, ни США не были исключением. Ни одна страна не могла предоставить пленным переписку в том объеме, в котором требовали статьи Женевской конвенции. Обмен списками пленных носил пропагандистский характер и давал возможность давления на общественное мнение, обвиняя противника в несоблюдении норм международного пра-

ва. Расстрелы пленных были «обыденным явлением» во время войны. Все воюющие страны сталкивались с этим.

В заключение отметим ряд особенностей, присущих только финским пленным периода Войны Продолжения. Хотя финны не выделялись в привилегированную группу по национальному признаку, они не подвергались таким притеснениям, как это было в отношении немцев.

Во-первых, в СССР не было написано ни одного произведения, которое бы призывало население убивать финнов, как это было в статье И. Эренбурга «Убей!»⁶. Во-вторых, в отличие от немецких пленных, финнам не приходилось строить лагеря в открытом поле при полном отсутствии инфраструктуры⁷. В-третьих, финских пленных эвакуировали в Россию, а не расстреливали, как немцев при выводе советских войск из Эстонии в 1941 г. или как советских заключенных при отступлении из Украины и Белоруссии. Это связано с тем, что финнов было мало и они представляли ценность. Напомню, в советском плену находилось около 2,5 млн. немцев. Финны занимали 11-е место по количеству попавших в плен (около 3 тысяч).

И последнее, самое главное, характерное только для финских пленных, отличие. Финны содержались в лагерях УПВИ относительно короткое время, большая их часть вернулась домой уже в ноябре – декабре 1944 г. (при том что основная масса попала в плен в период летнего наступления Красной Армии 1944 г.). Остальные пленные находились в СССР вплоть до 1955 г., то есть Финляндия была единственной страной, в отношении которой СССР полностью придерживался положений Женевской конвенции о скорейшей репатриации пленных после окончания боевых действий.

В завершение отметим, что обе страны старались и многое сделали для того, чтобы не усугублять чрезвычайно трудное положение, в которое попали пленные в ходе невиданной по жестокости, злу и насилию Второй мировой войны. О целенаправленной политике геноцида в отношении финских и советских военнопленных говорить нельзя.

¹ Цифра военнослужащих финской армии, попавших в советский плен, остается спорной. Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 1е. Оп. 3. Д. 12. Л. 6; Alava T., Hiltunen R., Juutilainen A. Muistatko... Sotavangit r. y. 1969–1989, Jyväskylä, 1989. S. 23 – 825 военнопленных; Дюпуи Р. Э., Дюпуи Т. Н. Всемирная история войн. Кн. 4 (1925–1997). СПб; М., 1998. С. 109 – 847 пленных; Manninen O. Neuvostoliiton Suurhyökkäys // Yksin suurvaltaa vastassa. Talvisodan poliittinen historia. Toim. Vehvilainen O., Rzesewski O. Jyväskylä, 1997. С. 304 – 1100 финнов; Галицкий В. Финские военнопленные в лагерях НКВД (1939–1953). М., 1997. С. 36 – 876 военнопленных финской армии. Такое расхождение в цифрах можно, по-видимому, объяснить тем, что одни авторы учитывали количество всех финнов – и

военнопленных и интернированных, попавших в лагеря НКВД. Другие учитывали лишь пленных, возвращенных в Финляндию после Зимней войны. По этому вопросу см. также: Alava T., Frolov D., Nikkila R. Rukiver! Suomalaiset sotavangit Neuvostoliitossa. Helsinki, 2002. РГВА. Ф. 1с. Оп. 3. Д. 8. Л. 200; Manninen O. Sotavangit ja sotavankileirit // Jatkosodan historian. 6 osa. 1994. S. 282–283; Mikkola P. Sotavangin elämä ja kuolema. Jatkosodan neuvostosotavankien suuren kuolleisuuden syyt. Suomen ja Skandinavian historian pro gradu- tutkielma. Helsingin yliopiston historian laitos, 2000.

² Подробнее см.: Frolov D. Talvisodan 1939–1940 Neuvostoliittolaiset sotavangit // Sotahistoriallinen aikakauskirja, 19/2000.

³ Frolov D. Sotavankina Neuvostoliitossa. Suomalaiset NKVD:n leireissä talvi- ja jatkosodan aikana. SKS Bibliotheca historica 91, 2004. S. 195.

⁴ Ibid.

⁵ КГАНИ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 203. Л. 26.

⁶ Красная звезда. 1942. 24 июля.

⁷ Frolov D. Finnish Prisoners of war in Soviet Union. Specifics of custody // From war to peace. Experience of Captivity of the POWs in WWII 1944–55. Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutti 2005; Карнер С. Архипелаг ГУПВИ. Плен и интернированные в Советском Союзе 1941–1956. М., 2002 (Karner S. Im Archipel GUPVI. Kriegsgefangenschaft in der Sowietunion 1941–1956. Wien; Munchen, 1995).

© А. И. Бутвило
Петрозаводск

Феномен национальной государственности: этнополитический и историко-правовой контекст

В последние годы история национально-государственного строительства в Карелии оказалась в центре внимания исследователей. Сложились и достаточно четко оформились две основные концепции. Наиболее четко и лаконично они были сформулированы на состоявшейся в 2000 г. конференции, посвященной 80-летию государственности Карелии. Профессор М. И. Шумилов озвучил традиционную для советской историографии позицию: национально-государственное строительство в Карелии осуществлялось с целью «помочь безграмотному и забитому карельскому народу подняться с колен и встать в полный рост с сознанием своего достоинства и равенства среди других народов»¹. И при всех ошибках и непоследовательности этой политики главное направление движения оставалось правильным, отвечающим интересам населения Карелии.

Второй подход сформулировал Ю. М. Килин: «Политика Советского государства, осуществлявшаяся в пограничной Карелии с 1920 г. до начала Великой Отечественной войны, была в основном обусловлена военно-

стратегическими и внешнеполитическими императивами, а ее специфика в конкретные периоды определялась характером отношений с Финляндией и целями финансовой политики руководства РСФСР – СССР. Наиболее очевидно это проявилось в отношении центра к проблеме создания карельской государственности и изменения ее статуса»².

Обе позиции имеют своих сторонников. Дискуссия идет достаточно активно и жестко. Позитивным ее результатом является введение в научный оборот большого числа новых источников, преимущественно из центральных архивов. К числу негативных аспектов следует отнести попытки отдельных исследователей перевести сугубо научную проблему в политический дискурс.

Не пытаясь выступить арбитром в этом споре, хотел бы обратить внимание на некоторые аспекты проблемы, игнорируемые либо недооцениваемые «противоборствующими» сторонами. Речь идет об историко-правовом и методологическом аспектах.

Историко-правовой аспект состоит в том, что участники дискуссии практически не интересуются тем, насколько реальный процесс национально-государственного строительства соответствовал действовавшему на тот момент законодательству, насколько правовое поле, формируемое этим законодательством, позволяло легитимно решать ставившиеся политические задачи.

Подробный анализ этой проблемы предполагается в рамках другого исследования. Сейчас же можно отметить, что правовая база национально-государственного строительства в СССР практически отсутствовала, если не считать нескольких конституционных норм, предельно общих по определению. Законодателя вопрос о правовом механизме изменения статуса субъектов союзного государства не интересовал вплоть до поздней перестройки, когда появился закон, регулировавший порядок выхода союзных республик из СССР. Все проблемы решались сугубо политически, а принимавшиеся правовые акты носили преимущественно декларативный характер. Все те немногие правовые нормы, которые имели отношение к национально-государственному строительству, воспринимались как несущественная формальность.

Этот момент следует иметь в виду при дальнейшем изучении проблемы, четко классифицируя действия властей на легитимные, незаконные и внеправовые.

Методологическая ущербность идущей дискуссии заключается в том, что обе стороны совершают одну и ту же ошибку. Активно используя источники для обоснования своих позиций, они в наиболее принципиальных вопросах строят свои концепции не столько на знании, сколько на вере. Одни верят в то, что говорил И. В. Сталин, что содержалось в официальных документах, другие всему этому столь же абсолютно не доверяют. А дискуссии о вере неплодотворны по определению.

Но как же тогда решать проблему выяснения целей национальной политики того же И. В. Сталина? Понятно, что не все цели обнародовались и что полученные результаты не всегда соответствовали ставившимся целям.

Представляется, что политику И. В. Сталина в вопросах национально-государственного строительства следует рассматривать в общем контексте большевистской теории и практики. Ведь никто и никогда не говорил об эксклюзивном характере политики в отношении Карелии, ее выпадении из упомянутого выше контекста. И если мы действительно хотим понять цели И. В. Сталина, то должны обратиться к общему анализу его политики, а не к рассуждениям Э. Фромма о его «несексуальном садизме», как это делает профессор Т. Вихавайнен³.

Тот же Т. Вихавайнен вполне справедливо отмечает важное значение работы И. В. Сталина «Марксизм и национальный вопрос», в которой дается определение понятия «нация», делается выбор в пользу национально-территориальной, а не национально-культурной автономии⁴. Но он все же недооценивает важности статьи для понимания И. В. Сталина и его политики. Недооценивает именно потому, что всю эту политику рассматривает как детерминированную прежде всего сиюминутными, сугубо прагматическими соображениями.

На деле же именно тогда, в 1913 г., были сформулированы все основные постулаты национальной политики большевиков, реализованные ими после прихода к власти. О чем же писал тогда И. В. Сталин? Нация имеет право свободно определить свою судьбу: устроиться автономно или определиться. Выбор между автономией, федерацией и сепаратизмом должен делаться исходя из конкретно-исторических условий, взятых в их развитии. При таком выборе абсолютно исключен предлагаемый австрийскими социал-демократами вариант культурно-национальной автономии как противоречащий задаче классовой борьбы. Единственно верное решение – национально-территориальная автономия, ломающая национальные перегородки и открывающая дорогу к размежеванию по классовому принципу. И уже в рамках национально-территориальной автономии можно говорить о возможности пользования родным языком, национальной школе и т. п.⁵

О необходимости самого серьезного внимания к сталинским воззрениям говорит хотя бы то обстоятельство, что модель национально-территориальной автономии, предпочтенная большевиками именно потому, что в наибольшей степени способствовала задачам классовой борьбы, а не решению национальных проблем, была осуществлена на практике и продолжает существовать сегодня. Стоит ли удивляться, что она не позволяет решать национальный во-

прос, поскольку не для того создавалась? Это уже привело к распаду СССР. Но должных выводов пока не сделано.

Следует говорить именно о сталинизме как наиболее зрелой и логически завершенной форме большевизма. Ленинизм такой формой стать не успел, так как В. И. Ленину был отпущен слишком короткий срок – чуть более года, если отбросить экстраординарные обстоятельства первых месяцев советской власти и годы гражданской войны. После же И. В. Сталина происходила медленная, но методичная и последовательная деградация большевизма, вполне логично завершившаяся его полным крахом.

Какие же черты большевизма наиболее важны в контексте интересующей нас проблемы? Во-первых, очевидное стремление действовать в общем русле марксистской теории, пусть все более догматизируемой и сакрализирующейся. Для зрелого большевизма, который мы договорились отождествлять со сталинизмом, теория не стала еще ритуальной формальностью, некоей привычной марксистской фразой, как это будет во времена Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева, знавших марксизм существенно хуже И. В. Сталина. Для последнего было весьма важно, чтобы конкретная, прагматическая политика получала теоретическое обоснование, лежала в общем русле сталинской трактовки марксизма. Насколько глубоким было такое обоснование, в нашем случае вопрос вторичный. Здесь важнее осознание необходимости такового.

Во-вторых, большевизм как метод предполагает использование любых средств в достижении поставленных целей. Если цель, в понимании большевиков, определена правильно, то в борьбе за ее достижение не только можно, но и нужно применять все возможные способы. И уж во всяком случае не должны учитываться такие буржуазные предрассудки, как гуманизм, права человека и т. п. Готовность ради идеи жертвовать своими и чужими жизнями – одно из таких средств. Любой, кто внимательно читал В. И. Ленина и И. В. Сталина и изучал их практическую деятельность, не может с этим не согласиться.

В-третьих, крайне важно постоянно помнить об этатизме И. В. Сталина, за который его критиковали и В. М. Молотов, и В. И. Ленин⁶. Восприятие государства как основной ценности и главного орудия решения всех возникавших проблем всегда было органично присуще И. В. Сталину. Отсюда проистекает бюрократический характер многих его действий. Кстати говоря, именно в вопросе о роли государства после социалистической революции сталинизм наиболее глубоко и принципиально разошелся с классическим марксизмом.

В-четвертых, нельзя не отметить, что цели политики эпохи сталинизма имели сложную иерархическую структуру. И когда они начинали противоречить друг другу, власти без колебаний отдавали приоритет наиболее принципиальным для них задачам. Так, национальная политика имела вторичный ха-

рактен по отношению к основной задаче — мировой революции, ведущей к торжеству социализма во всем мире. Задачу эту в 1929 г. никто не отменял. Ее реализацию лишь отложили на неопределенное время, но при этом никогда не забывали и все события в мире анализировали в том числе сквозь призму перспектив мировой революции. Профессор М. И. Шумилов не прав, когда говорит о том, что в Кремле и сами не верили в такую перспективу⁷. Достаточно обратиться к частным записям В. М. Молотова, сделанным в период отставки, не предназначенным для публикации и потому вполне заслуживающим доверия⁸. И если цели мировой революции приходили в противоречие с задачами национальной политики в той же Карелии, то последняя тут же безжалостно корректировалась и менее всего при этом опасались обвинений в непоследовательности и нелогичности.

Только с учетом названных особенностей сталинизма можно серьезно анализировать национальную политику И. В. Сталина, в том числе в карельском вопросе. Не впадая в идеализацию этой политики, не интерпретируя ее по принципу «все действительно разумно», но и не упрощая, не примитивизируя И. В. Сталина, не сводя его действия к психическим патологиям или вульгарной уголовщине, мы сможем продвинуться к пониманию драматической истории нашей страны.

¹ Шумилов М. И. Исторический выбор карелов в 1917–1920 гг. // Республика Карелия: 80 лет в составе Российской Федерации (становление и развитие государственности). Петрозаводск, 2000. С. 13.

² Килин Ю. М. Карельская государственность в 1920–1941 гг. // Республика Карелия: 80 лет в составе Российской Федерации (становление и развитие государственности). Петрозаводск, 2000. С. 15.

³ Вихавайнен Т. Сталин и финны. СПб, 2000. С. 123.

⁴ Он же. Национальная политика ВКП(б) / КПСС в 1920-е–1950-е годы и судьбы карельской и финской национальностей // В семье единой: Национальная политика партии большевиков и ее осуществление на Северо-Западе России в 1920–1950-е годы. Петрозаводск, 1998. С. 16.

⁵ Сталин И. В. Марксизм и национально-колониальный вопрос. М., 1935. С. 3–45.

⁶ См., например: Никонов В. А. Молотов: молодость. М., 2005. С. 586–587.

⁷ Шумилов М. И. Указ. соч. С. 13.

⁸ Никонов В. А. Указ. соч. С. 370–372.

© О. Ю. Савич
Петрозаводск

Культурная жизнь в Карелии. 1940–1944 гг.

В период господства лозунга о культуре «национальная по форме, социалистическая по содержанию» эволюция культур в национальных республиках Советского Союза, в том числе в Карело-Финской ССР шла в

русле патерналистской культурной политики. На материале КФССР нам предоставляется возможность определить, что представляли собой национальная форма культуры и ее социалистическое содержание, и раскрыть их взаимодействие в пределах данного региона.

Став союзной, республика обрела «самостоятельность» в решении вопросов культурной политики. Органы, обеспечивающие культурную деятельность в республике – Управление по делам искусств при СНК КФССР, Народный Комиссариат Просвещения, – перешли на республиканский бюджет и отчитывались перед республиканским правительством. СНК КФССР и ЦК КП(б) КФССР с доминирующей ролью ЦК являлись средним звеном в системе директив, исходящих от центрального аппарата. В структуре ЦК КП(б) КФССР вопросами культуры преимущественно занимались отдел пропаганды и агитации, отдел школ. В аппарате СНК КФССР действовала группа культуры.

Изменение государственно-правового статуса республики требовало решения новых задач в области культуры. Во-первых, была преобразована структура управления культурными учреждениями. Во-вторых, требовалось сформировать эффективную систему советских органов культуры в семи новых районах. В-третьих, необходимо было восполнить ущерб, причиненный культурным учреждениям республики в результате Советско-Финляндской войны.

Управление по делам искусств при СНК КФССР руководило всеми видами искусств в республике, за исключением кинематографии¹. В 1940 г. оно занималось организацией Государственного Финского драматического театра, театров в городах Виипури (Выборг), Сортавала, филиалов филармонии в городах Виипури и Кякисалми (Приозерск). Как только Выборг был включен в состав КФССР, этим воспользовались *«концертные жучки»*. Карельский перешеек был наводнен «дикими бригадами», которые заключали неофициальные финансовые договоры с филармонией и ее филиалами, где и устраивали несанкционированные концерты и выступления².

В плане работы Комитета по делам искусств при СНК СССР на 1941 г. объяснялось, что «все искусство должно служить делу коммунизма, воспитывая в массах мобилизационную готовность ко всяким „случайностям“ со стороны наших врагов, воспитывая в массах патриотизм, волю, мужество, готовность оборонять свою социалистическую родину и крепить ее обороноспособность»³. Необходимо было подготовить общественное сознание к возможному вступлению во Вторую мировую войну.

Основу репертуара театров и музыкальных коллективов составляли национальные произведения, преобладали сюжеты народного эпоса «Калевала», темы гражданской войны в Карелии, борьбы с белофиннами⁴.

Стали выходить республиканские печатные издания на финском языке: ежедневная газета «Totuus», орган ЦК и Петрозаводского горкома КП(б), СНК и Верховного Совета КФССР, ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал «Punalippu», орган Союза советских писателей КФССР⁵. В декабре 1940 г. состоялся Первый съезд писателей республики⁶. Основной задачей стало воспитание «национальных» литераторов. Развитие литературы в республике шло на финском и русском языке.

Начал свою работу на финском языке отдел общественно-политического вещания Радиокомитета. Ежедневно по утрам проводился обзор «Totuus», передавались последние известия. В передачах уделялось внимание вопросам международного положения, рабочего движения, деятельности коммунистических партий в капиталистических странах⁷. Что касается внутреннего положения СССР, то наиболее актуальными считались вопросы о советском строительстве, выборах, советской конституции, социалистическом строительстве в союзных республиках, истории партии и т. д.⁸ С февраля 1940 г. по радио систематически читались лекции по истории ВКП(б).

По указанию Наркомата связи разрабатывался генеральный план радиофикации республики на 7 лет. На 1 апреля 1941 г. в новых районах действовала 3101 радиоточка⁹.

Перед Управлением кинофикации при СНК КФССР в 1940 г. стояли следующие основные задачи:

- а) создание районных отделов;
- б) восстановление поврежденной во время военных действий киноаппаратуры;
- в) освоение новых районов КФССР¹⁰.

Перед киносеансами проводилась культмассовая работа.

Ключевой задачей в работе политпросветучреждений было обеспечить организацию политико-массовой работы среди населения по мобилизации их на выполнение производственных планов, по реализации решений Первого съезда КП(б) КФССР и других решений партии и правительства¹¹.

Задачи сельской интеллигенции четко сформулировал М. И. Калинин: «...желательно, чтобы вы при проведении культурной работы вносили в нее общественно-государственные элементы, политику вносили, а то ваша культура потеряет ориентацию и приобретет характер так называемой „уездной культуры“...»¹²

«Библиотечная техника – это уже политика»¹³, – утверждала Н. К. Крупская. Основными формами массово-политической работы в библиотеках были

читки и беседы, а также книжные выставки¹⁴. Библиотеки организовывали *книгоношество*, доставляя книги на дом и в учреждения.

В связи с сокращением финансирования культурно-просветительских учреждений и мероприятий по ликвидации неграмотности и малограмотности в июне 1940 г. эти вопросы решались силами общественности¹⁵. Участие интеллигенции республики в деле ликвидации неграмотности и малограмотности на общественных началах называлось «*федякинским движением*» (по почину с. Федякино).

На 1 мая 1941 г. на территории новых районов начали работу 6 домов культуры, 71 изба-читальня, 57 библиотек. В начале учебного 1940/41 г. открылось 269 школ¹⁶.

С 1 сентября 1940 г. на финский язык обучения были переведены 204 карельские школы¹⁷. Начальные школы и начальные классы НСШ и СШ были полностью обеспечены педагогическими кадрами, владеющими финским языком. В старших классах был введен финский язык как предмет, но обучение шло на русском языке. Больше внимания в школе стали уделять военно-физкультурной подготовке. В 5–8-х классах ребята занимались физкультурой, в 9–10-х классах проходили строевую подготовку, вводилась начальная и допризывная военная подготовка. В школах и училищах плохо обстояло дело с педагогическими кадрами, учебной литературой, успеваемостью¹⁸.

Новыми явлениями в училищах помимо введения финского языка было введение предметов и проведение мероприятий, направленных на выполнение постановлений, требующих привития производственных и сельскохозяйственных навыков, военных умений¹⁹.

С осени 1940 г. началась организация сети ремесленных училищ и школ ФЗО, которые должны были обеспечить растущие промышленные предприятия республики квалифицированными рабочими кадрами. В КФССР первоначально были созданы 5 ремесленных училищ (1200 чел.) и 4 школы фабрично-заводского обучения (1000 чел.)²⁰.

Первый съезд КП(б) КФССР вынес решение о необходимости преобразования Карельского НИИК в республиканский филиал Академии наук и одобрил решение ЦК ВКП(б) об учреждении в г. Петрозаводске государственного университета²¹. «Ваша задача, работников высшей школы, – подготовить кадры всесторонне развитых государственных деятелей ленинско-сталинского типа»²², – говорилось в обращении к руководителям университета Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, СНК КФССР, ЦК КП(б) КФССР.

В Государственном университете на историко-филологическом факультете была создана финно-угорская группа, для которой преподавание велось на финском языке. Финский язык как учебная дисциплина ввели на всех факультетах²³.

Карельский НИИК был преобразован в Научно-исследовательский институт культуры КФССР. Постановлением СНК КФССР от 23 декабря 1940 г. институту поручалось обратить особое внимание на изучение изобразительного народного творчества в районах республики, «усилить работу со сказителями, оказывая помощь в их дальнейшем творческом росте», способствовать популяризации фольклора среди «широких трудящихся масс»²⁴.

Социалистическое содержание работы Центрального государственного музея (ЦГМ) КФССР, организованного из краеведческого музея НКП, определялось в Положении о ЦГМ от 10 мая 1941 г.²⁵ Для передачи этого содержания использовался местный материал. Были организованы 18 командировок с целью получения экспонатов по войне с белофиннами, по сбору историко-этнографического материала на новых территориях²⁶. Велась подготовка по открытию Выборгского музея.

Итак, на основе изученного материала можно сделать вывод, что социалистическое содержание подразумевает комплекс идейно-политических доктрин, направленных на решение как практических (например, подъем лесной промышленности, борьба за урожай), так и идеологических (например, создание общности карело-финского народа с характеристиками советского гражданства) задач. Суть доктрин транслировалась с использованием присущих местному населению выборочных признаков (язык, фольклор, изобразительное народное творчество, промыслы) и специфики развития народного хозяйства.

Начало Великой Отечественной войны внесло свои коррективы в дальнейший ход культурных процессов в республике. Деятельность многих учреждений была свернута, началась эвакуация. Большая часть территории КФССР оказалась в оккупации. Однако уже в первые месяцы 1942 г. начинается процесс восстановления деятельности ранее ликвидированных организаций и их резэвакуация. Некоторые из юридически ликвидированных коллективов и групп не прекращали своей деятельности (например, Союз советских композиторов КФССР²⁷) или вновь организовывались (кружки, агитбригады, группы на предприятиях, в колхозах и районных центрах²⁸). К 1943 г. назрела необходимость восстановления их юридического статуса и тем самым возобновление контроля и руководства. Но после освобождения всей территории республики наблюдается спад активности культурных коллективов²⁹. Деятельность многих из них подверглась критике³⁰.

Одной из задач культурной политики было сохранение профессиональных кадров и наиболее значимых коллективов. Во время войны вновь начали работать Выборгский театр, Государственная филармония,

Дом народного творчества, Союз художников, Союз композиторов и Союз архитекторов. В 1942 г. началось восстановление деятельности Управления кинофикации, расширение вещания Радиокомитета.

В 1942 г. ансамбль «Кантеле» был реорганизован в Ансамбль народной песни и пляски. Появились новые обработки народных песен, экспериментировали с формами подачи материала³¹. Деятельность Республиканского Финского драматического театра, находившегося тогда в Архангельской области, была возобновлена в 1942 г.³² В 1943 г. Театр музыкальной комедии был реорганизован в Государственный музыкальный театр КФСР³³, в репертуаре которого преобладали спектакли военной тематики и на исторические сюжеты.

Зимой 1944 г. на неоккупированной территории республики был проведен первый в военных условиях смотр художественной самодеятельности. Во время смотра был восстановлен национальный народный хор петровских колхозниц и поморский хор с. Сумпосад Беломорского района.

К концу 1942 г. в Советской Карелии насчитывалось 129 политпросветучреждений. К январю 1944 г. их число возросло до 137³⁴. В январе 1943 г. на неоккупированной части республики работало 97 школ, а через год – 118. В 1943 г. обучалось 14 436 детей (на 4911 чел. больше, чем в 1942 г.). Из них 512 в 11 национальных школах³⁵. Новым направлением работы НКП стало обучение рабочей молодежи без отрыва от производства. Было открыто 6 школ подростков, где учились 362 человека³⁶.

В начале войны деятельность учительского института была прекращена. Численность учащихся сократилась во всех работающих учебных учреждениях республики. В связи с платностью обучения и тяжелыми бытовыми и учебными условиями некоторые студенты пытались покинуть работающий в Сыктывкаре Карело-Финский университет. Ушли 24 студента. Чтобы предотвратить самовольный уход, изымались паспорта³⁷.

В деятельности учебных заведений обязательными стали трудовое воспитание, военная подготовка, помощь фронту. Вводились предметы по истории Великой Отечественной войны. Преподавание всех дисциплин связывалось с военными нуждами.

В сентябре 1941 г. в связи с военными действиями на территории республики большинство ремесленных училищ (РУ) и школ ФЗО было эвакуировано. Но уже в ноябре 1942 г. были организованы 2 РУ и 5 школ ФЗО³⁸. За 1943–1944 гг. их количество изменялось. Готовились рабочие для важнейших отраслей хозяйства республики: лесной, целлюлозно-бумажной, строительной. На многих предприятиях выпускники школ ФЗО и РУ составляли 50–70%³⁹.

В связи с началом Великой Отечественной войны в 1941 г. Научно-исследовательский институт культуры КФССР прекратил свою деятельность и был эвакуирован в г. Сыктывкар, где поддерживал связь с Карело-Финским университетом⁴⁰. В конце 1942 г. его статус был восстановлен. Главной задачей института был сбор материалов по Великой Отечественной войне и борьбе карело-финского народа с немецко-финскими захватчиками. Весь 1943 г. и первое полугодие 1944 г. работала лишь историческая секция. План на 1943 г. включал 25 тем, в то время как в штате института числилось всего 5 человек⁴¹. Выполнение плана предполагалось осуществить с помощью республиканского актива партийных, советских и хозяйственных организаций. К 1944 г. штат института увеличился на 15 человек, однако основная задача институтом так и не была выполнена⁴². Удалось подробно осветить лишь партизанское движение в республике.

В годы Великой Отечественной войны в культурной жизни Карело-Финской ССР сочетались милитаризация и работа на мирную перспективу. Работники культуры республики внесли свой вклад в дело победы советского народа над врагом. Культура Советской Карелии не только была сохранена, но и были созданы предпосылки для ее постепенного возрождения.

¹ Национальный архив Республики Карелия. Ф. 2150. Оп. 1.

² Карельский государственный архив новейшей истории. Ф. 8. Оп. 1. Д. 412. Л. 35–36.

³ НА РК. Ф. 2150. Оп. 1. Д. 2/28. Л. 19.

⁴ Там же. Д. 4/48. Л. 115.

⁵ КГАНИ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 425. Л. 137.

⁶ История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2001. С. 592.

⁷ КГАНИ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 429. Л. 29–30, 36.

⁸ Там же. Л. 36.

⁹ Там же. Л. 18–19, 21.

¹⁰ Там же. Д. 124. Л. 58–62.

¹¹ НА РК. Ф. 1394. Оп. 3. Д. 58/424. Л. 47.

¹² Ленинское знамя. 1941. 8 января.

¹³ Красная Карелия. 1940. 15 апреля.

¹⁴ НА РК. Ф. 1192. Оп. 2. Д. 22/217. Л. 14.

¹⁵ НА РК. Ф. 1192. Оп. 2. Д. 20/195. Л. 22–29.

¹⁶ КГАНИ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 271. Л. 62–63.

¹⁷ Там же. Д. 400. Л. 7.

¹⁸ Красная Карелия. 1940. 13 июля.

¹⁹ НА РК. Ф. 1192. Оп. 2. Д. 14/141. Л. 2–21.

²⁰ КГАНИ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 60. Л. 13–17.

²¹ Красная Карелия. 1940. 29 июня.

²² Ленинское знамя. 1940. 8 сентября.

²³ КГАНИ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 409. Л. 1.

²⁴ Научный архив КарНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 279. Л. 93.

- ²⁵ НА РК. Ф. 1192. Оп. 2. Д. 22/216. Л. 19–20.
²⁶ Там же. Л. 47.
²⁷ Там же. Ф. 1394. Оп. 3. Д. 78/589. Л. 4.
²⁸ Там же. Л. 9.
²⁹ Там же. Ф. 2150. Оп. 1. Д. 13/152. Л. 10.
³⁰ Там же. Л. 10–20; Ф. 1394. Оп. 3. Д. 122/925. Л. 79–84.
³¹ Там же. Ф. 2150. Оп. 1. Д. 13/152. Л. 4.
³² Там же. Ф. 1394. Оп. 3. Д. 77/581. Л. 29.
³³ Там же. Д. 78/589. Л. 123.
³⁴ Там же. Ф. 1192. Оп. 2. Д. 15/154. Л. 15.
³⁵ Там же. Л. 1.
³⁶ Там же. Л. 7.
³⁷ КГАНИ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 629. Л. 16.
³⁸ НА РК. Ф. 1910. Оп. 1. Д. 10/63. Л. 177.
³⁹ Там же. Л. 178а.
⁴⁰ НА КарНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 36.
⁴¹ Там же. Оп. 3. Д. 324. Л. 1.
⁴² Там же. Д. 353. Л. 1.

© Е. Ю. Протасова
 Хельсинки (Финляндия)

«Рюсся»: кто это?

В финском и соответственно в русском языке русскоязычных иммигрантов в Финляндии¹ слово «рюсся» используется как презрительное прозвище русских; как известно, слово «чухна» является соответствующим нелестным этнонимом для финно-угорских народов. Для ингерманландских финнов, репатриировавшихся в Финляндию, типично ощущение, при котором они не были своими ни в России, где их считали финнами, ни в Финляндии, где их считают русскими². Мы исследуем применение сильно окрашенного в финском языке слова в русскоязычных источниках. Таким образом, оно выступает в качестве самоназвания. Почти всякий раз, когда термин вводится, объясняется, что это значит, за исключением тех случаев, когда он применяется на территории Финляндии. Налицо процессы, неоднократно описанные в исследованиях этнонимов: некоторая группа населения перенимает для самообозначения то слово, которым его называет другой народ (особенно если тот народ выступает в качестве большинства, а данная группа представляет меньшинство). При этом оказывается не важным, что этноним в устах коренных жителей носил пейоративный оттенок.

1. Использование термина «рюсся» в официальных источниках. Национальная идея для Финляндии строилась, в частности, на сопро-

тивлении «восточному влиянию», и до сих пор более 60% финнов не любят русских. Явление нелюбви к соседям широко распространено в Европе. В оскорбительно-пренебрежительные клички этнонимы переходят в результате исторических изменений, когда некоторые слова перестают использоваться³. Так, пришедшее из шведского языка в финский слово «рюссия» первоначально не означало ничего негативного. *«Однако с течением времени слово „рюссия“ в финском языке приобрело то же негативное значение, что и „кацап“ в украинском, „тибла“ в эстонском или „москаль“ в польском. В финском языке появился официальный термин „русский“ – „венеляйнен“ и пренебрежительно-негативный термин „рюссия“. В тридцатые годы употреблять это слово было еще нормально. Солидные ученые писали академические труды на тему того, что отличительной чертой любого финна является неперемнная ненависть ко всему восточному – „рюссиявиха“. „Рюссия“ угнетали братский финнам карельский народ, избрали богопротивный коммунизм... в тридцатые годы „рюссиявиха“ действительно можно было считать феноменом жизни финского общества...»*⁴ В другом источнике: *«Многие горячие головы проводят прямые аналогии: Чечня оккупирована злыми „рюссия“ так же, как бывшие финские территории. В 1939 г. самым страшным и обидным ругательством в довоенной Финляндии было слово „рюссия“ – „русский“. Если горячий финский парень обзывал за кружкой пива своего собутыльника этим словом, то обиженный немедленно хватался за свой финский нож – „пукко“».*

Наиболее естественные случаи, исторически уместные и не требующие оправданий и пояснений, связаны с ситуациями, имевшими место в ходе Второй мировой войны. Здесь презрительные прозвища оказываются естественными, поскольку тогда сражались друг с другом враги и словцо было в ходу. В подобных отрывках «рюссия» звучит как цитата, отдающая даже ностальгией. Известно, что у бывших врагов – ветеранов войны – много общего. Из своей исторической перспективы они склонны видеть одни и те же обгоревшие деревья и блиндажи, пейзаж, на фоне которого свершалось великое противостояние, и эти одинаковые воспоминания делают бывших смертельных недругов близкими друг другу: *«Ну, ты, „рюссия“, даешь! Молодец! Давай еще по одной – за мир и всеобщее разминирование!»* Ветераны даже предлагают использовать себя в качестве экспертов по амуниции того времени, например, когда западные режиссеры снимают свои картины, а иначе, *«горячие финские парни, прорываясь через советские позиции, расстреливают „рюссия“ почем зря, а сами будто бронированные!»*

В описаниях военных действий и по отношению к военнопленным это слово звучит как термин, причем даже склоняется: *заработок заключенных концлагеря рюссей; освобожденная от «рюссят» единая земля финнов – Суур Суоми; потребовал от «рюссят» возврата «утраченных территорий» и выплаты компенсации; рюсся был и остается вековым врагом родственных финнам народов; отпечатанные рюссями листовки; вынести рюсся (презрительная кличка русских, как «москаль») из Карелии, а потом из Ингрии*⁵. Аналогичное употребление возможно и тогда, когда реконструируется бой между финнами и РККА: из леса по-фински кричат «рюсся, рюсся». К. Г. Маннергейм «удивительным образом победил недоверие и враждебность своих солдат: шведоязычный генерал ненавистной царской армии, „рюсся“ (Ryssä – по-фински презрительная кличка русских), почти не говорящий по-фински (да еще с русским денщиком и неизменным портретом Николая II на столе), очень быстро завоевал авторитет и даже любовь подчиненных»⁶. Старые и новые коннотации слово обретает сегодня: *оскорбительное слово «рюсся» в ходу сегодня именно среди финских женщин?* О том, что такое отношение к русским сохранилось у старшего поколения до периода финляндизации, свидетельствует следующий отрывок: *«мама предостерегала ее „не впутываться в это дело, а то рюсся заберет“ („Рюсся“ – презрительное название русских у финнов, примерно как „москаль“ у украинцев или „чухонец“ по отношению к финну в России. Говоря про „рюсся“, мать ... имела в виду, что ее дочь может оказаться втянутой в советскую пропагандистскую систему, а то вообще попасть в милицию или в лагерь»*. На бытовом уровне отношения подобного типа встречаются в смешанных браках: *Подвыпив у себя дома с друзьями, супруг вовсю клял этих «рюсся» (финский вариант нашенской «чухны»)*. Для русскоязычных, живущих в Финляндии, очень важно переломить отрицательное отношение к себе. Хотя постоянно в СМИ возникают какие-то дразги и скандалы, связанные с русской мафией, все громче звучит и голос протеста против огульного обвинения всех русских в нечестности. Русскоязычная пресса выбирает положительные моменты: «И если сегодня материал о Лехтере в Илта-саномат „нежно“ назван: „Семейное счастье в аду рюсся“, то через пару лет изменится и этот тон. Во всяком случае, „рюсся“ пропадет точно».

2. Использование термина в Интернет-форумах.

На сайте www.suomi.ru, 5.1.2004 проходила дискуссия:

– Terve! Первое – информации об Ингерманландии у меня достаточно, мне интересно живое общение с «нашими», уехавшими «туда». Второе – я не желаю общаться с руссоя... Terveisin.

– Гхм. Я сейчас разозлюсь, и очень сильно. Во-первых, ингерманландец и *gyssä*, как правило, для финнов не представляют разницы. Во-вторых, *gyssä* является, на мой взгляд, оскорблением для любого, кто говорит на русском как на родном языке. Может быть, терпимость и дружелюбие предков научит тебя чему-нибудь... Хотя вообще не понятно кто такие эти «ваши»...? Лично я – финн. Но таковым я был в СССР и Эстонии, в частности. А здесь, для местных, я *gyssä* Virosta.

– Я тоже хочу разозлиться, хотя мне то чего злиться. Обидно такое слово услышать из Pietari.

– Смешно слышать «Я не желаю общаться с руссоя» от человека, живущего в России... Позвольте узнать, уважаемый Рейо, Вы, собственно, как в Питере живете?? Не общаясь?? Ой, это, наверное, мы все Вам до такой степени надоели, что говорим по-русски и являемся русскими? А еще что-то говорят про шовинизм, расизм и прочие реалии современной жизни. До чего народ докатился. С кем бы мне не общаться, подскажите, а?

– Сорри, кого-то обидел... все мы немного руссоя, но я считаю, что знание родного языка и культуры и любовь к ним определяют национальность. А при переезде особенно... Уважение к языку и культуре коренной нации показатель элементарной культуры... а если мы так любим Россию и русских, не фиг ехать. А насчёт меня, мне просто стыдно за выходцев из России и неприятно признаваться, кто я... А неприязнь у финнов мы заслужили.

– Не все русские руссоя и не все руссоя русские, на русском языке есть хороший аналог – совок... Среди русских много культурных и уважающих другую культуру людей ...

– Ингерманландцы, чем же вы заслужили неприязнь финнов? Тебе уже посоветовали, что тебе сделать, чтобы стать «руссоя». Всего лишь приехать сюда, в Финляндию.

– Да у нас тут, ... да мы ... да тут такое, такое ваще! Молодец Рэйио, так держать, завидуй и злись на Ингерманландских руссоя акупировавших твою историческую родину!

– Зависть к **«нашим», уехавшими «туда»** и, мягко говоря, неприязнь к *gyssä*. Этой фразой он все о себе сказал.

– Переехав сюда, ваши рассуждения кардинально бы изменились... во-первых, вы сразу бы стали тем самым пресловутым «руссоя», а во-вторых, посмотрели бы на эту хваленую вами «культуру» изнутри (не сомневаюсь, увидели бы много нового и неожиданного для себя). Я не обеляю «руссоя», да мне тоже зачастую бывает стыдно за своих соотечественников.

– Вообще-то я ко всем равно отношусь, но будучи русским, приехавшим сюда, выучившим финский язык и говорящим иногда почти без акцента, воспринимаю со смехом, когда мне на шамкающем ингерманладском наречии говорят рюшся.

– Хехе, Reijo. Добро пожаловать в maamme Suomi. Здесь найдутся приверженцы ваших взглядов, выдадут куртку пилот, армейские ботинки, спортивные штаны, даже побреют бесплатно. От вас нужно будет только иногда выходить на улицу, и, напившись, кричать: Ryssat pois meidan maasta!!! vapautukaa inkerimaamme!!! Palautukaa Karjalamme takaisin. Ах да, что бы не травмировать вашу тонкую психику, вам придется избавиться от русско-ингермаландского акцента, иначе не все ваши новые друзья будут понимать, что вы вообще даже не ryssä, а самый настоящий Inkeri. Хотя я думаю, вам понадобится много времени, объяснить, чем же ингермаландец отличается от русского.

– ja uzhe govoril – ryssä ne natsionalnost, a psihologija, jest mnogo russkih, kotoryh ja gluboko uvazhaju.

– И еще вопрос: когда ты заходил в самом начале на suomi.ru – РУ (понимаешь, не suomi.fi, не suomi.net, не suomi.com, а RU), то не задумался ли ты на минутку, что форум-то этот эти самые «ryssä» и организовали, а?

– Но то, что ты тут разводил по поводу «рысь», то надо было бы сразу говорить о совках, коих везде, конечно же, много, и из-за которых к русским относятся плохо, а не оскорблять всех участников этого форума.

– Кстати, могу тебя огорчить, ты не инкери, ты рюсся. Это не Номо soveticus, это название для выходцев из экс-СССР и слово это употребляют только придурки вроде тебя.

– Эх, рюсся, рюсся... Тяга к болтовне и валянию в грязи в нашем народе похоже неистребима...

– Не рюсся, а вентяйнен, а то ведь и физиономию начистить можно.

– Нет именно – рюсся.

Данный отрывок демонстрирует актуальность дискуссии о применимости этнонимов. О частоте и популярности употребления данного слова в Финляндии и о необходимости обсуждать его содержание в своей среде говорят и другие ссылки: *Кто обзовет кого «рюсся» – полиция тут как тут: штраф выписывает. Мне вот в передаче⁷ было интересно, что когда еще белогвардейские эмигранты убежали жить в Фи., то они тоже терпели рюсся виха. После увиденного, мне кажется здесь рюссянвixa была всегда и никуда не исчезнет (www.spektr.net). Или: Теперь финны в нашей фирме стали с подозрением относиться ко всем русским, иногда даже в их разговоре можно услышать брезгливые нотки: «Аа...рюсся –*

одно ворье!» (www.datsha.com). И в совсем грубой форме: *Рюсся – не значит «русский (веняляйнен)», особенно сейчас. Это скорее «совок», типа тех белых свиней на ножках, которые ... все вокруг своего дома и гордятся этим. Признак совка – бескультурие и бессмысленная агрессия* (www.trizna.ru). Итак, наиболее важный момент здесь то, что переживание собственной несостоятельности связано с нахождением в среде людей, которые связывают с употреблением определенного этнонима коннотации, которые кажутся неверными тому, кто мог бы отнести к себе употребленный термин. Значит, русским, не сталкивавшимся с финнами, это слово, вообще говоря, не знакомо.

3. Нейтральные коннотации. Название России на некоторых языках связано с подобным произношением: Рюсу – по-японски, Рюсси – по-французски, Рюси – на каком-нибудь из тюркских языков (встретилось в разных печатных источниках). Гораздо более сильным и своеобразно окрашенным является выражение «а ля рюсс» (в разных написаниях), означая приноровленный к западному восприятию образ русской культуры, ширпотребно-аляповатый экспортный вариант русскости. В первой половине XIX в. стиль рюсс был созданием иностранцев, посещавших Россию и писавших о ней. Романтизм искал в нем народный дух. В конце XIX – начале XX в. он был искусственно и искусно осмыслен, просчитан в духе национального возрождения, ар нуво, югендстиля, для всемирных выставок в Париже и удачно привит на русскую почву, после революции массово вывезен и распространен русской эмиграцией. Он смешной, трогательный, наивный, приносящий доход, вызывающий к лучшему, к особой эстетике, к России, которая была потеряна, не существовав на самом деле. Он призывает к гармонии, редко ее достигая. Мечтая о включении России в общее культурное пространство с Европой и миром, скатывается до попыток быть интересным любой ценой, до унижения собственного достоинства. Внутрироссийская точка зрения может не иметь никакого отношения к точке зрения иностранца, точке зрения «со стороны», может быть вообще никак не связанной с искусством или «художеством»: Во Франции говорят: *«Он работает а-ля рюсс», то есть ни шатко ни валко*. Отрыв от российской действительности почти автоматически приводит к тому, что русское становится не подлинным. Это касается и существования русскоязычных общин за границей: *А сколько страсти проявили участники шуточных эстафет и игр, проведенных под знаком «а ля рюсс»*. Эмигрантам отказывают в праве на русскость: *точно с Брайтон-бич: косоворотки, декольтированные мини-сарафаны – а-ля рюс*. Проявления русского стиля за границей окажутся невсамделишными: *солеными грибами и капустой, картошечкой и блинами с икрой – русский дух поддер-*

живается так, а иной раз и помпезным стилем а-ля рюс, доходящим до абсурда. Из-за недобросовестности тех, кто эксплуатирует тему, русский стиль постепенно превращается просто в халтуру. Здесь видна и самоирония, и натуральная любовь к лихим развлечениям, сочетающаяся с непониманием того, как это кому-то может не нравиться, и заранее прочувствованной досадой на то, что такие неизбежно найдутся.

Как ни странно, значительная часть семантики обоих слов – «рюсся» и «рюс» – оказывается очень сходной. Разница между ними в том, кто и когда употребляет эти слова и кто на них обижается. В обоих случаях есть подделка, связь с границей, разочарование в неприязненном отношении к тем лучшим качествам, которые оказываются не востребованными, чужими, необходимость вернуться в объятия своих и найти общий язык с теми, кто разделяет твои убеждения, устои и культуру поведения.

¹ См. Протасова Е. Феннороссы: жизнь и употребление языка. СПб, 2004.

² Агава Ф., Куокканен В. «В России мы были чухонцами, а здесь нас презрительно называют рюсся» // Северный курьер. 25 ноября 2004.

³ Этнонимы. М., 1970.

⁴ Разумихин А. Отношения между Россией и Финляндией – пришла пора переоценки? // БИЦ: Аналитика – страны региона Балтийского моря. 29.10.2004 эксперт BRC-info.

⁵ Коко Н. Восточная граница: как она формировалась. // БИЦ: Аналитика – страны региона Балтийского моря. 12.03.2004.

⁶ Иоффе Э. Линии Маннергейма // Звезда. 1999. № 10.

⁷ В Финляндии на эту тему вышли книга, документальный фильм, состоялись несколько ток-шоу.

ФОЛЬКЛОРНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В СВЕТЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

*© Н. А. Криничная
Петрозаводск*

Мифологема сотворения мира и ее христианская трансформация (русско-карельские параллели)*

Космогонические мифы относятся к древнейшему духовному наследию человечества. Именно они отвечали на вопрос о начале и устройстве Мира, о сущности его творца, о месте человека во Вселенной. Такие мифы зафиксированы и на территории Карелии. Они обнаружены здесь в различных этнокультурных традициях – русской и карельской, а также в разных жанрах фольклора: легендах, духовных стихах, эпических песнях. Типологическое сходство, наблюдаемое между сюжетами в той и другой традициях космогонической мифологии, значительно превалирует над другими формами этнокультурных связей. Длительное взаимодействие на территории Карелии названных соседствующих традиций, каждая из которых поддерживала бытование другой, обусловило уникальную сохранность фольклора, в том числе и интересующих нас древних сюжетов.

Вместе с тем нельзя недооценивать и наличие генетических связей, ярко проявившихся в фольклорных традициях Карелии. Если русская космология своими корнями уходит в праславянский и – шире – индоевропейский мифологический фонд, то карельская соответственно в финно-угорскую и далее в прауральскую общность.

Свою лепту в картину межэтнических взаимодействий в той или иной мере вносят и контактные, в данном случае прежде всего культурно-религиозные связи. Преобладающее конфессиональное единство русских и финно-угров

* Автор выражает благодарность кандидату искусствоведения В. Г. Платонову за консультации по иконописным сюжетам, связанным с темой публикации.

облегчило подобное взаимовлияние. Укрепление христианства на Руси сказалось на фольклорной традиции. Определенная трансформация коснулась и восходящих к язычеству мифов о сотворении Мира. Их христианская «перелицовка» происходила под воздействием церковно-христианской и апокрифической литературы. Ее поток, идущий из Византии через южнославянские земли, не прерывался с самых первых веков христианства на Руси, что, однако, не исключало и других культурно-религиозных влияний.

Обратимся к рассмотрению фольклорных текстов.

В русских космогонических мифах, уже перешедших в силу их христианизации в разряд легенд, началу сотворения Мира предшествует первородный хаос. Его воплощением служит всеобъемлющая водная стихия, бесформенная и недифференцированная: «Было время, когда не было ни земли, ни неба, а была одна вода»¹. Такое состояние уподобляется библейской *бездне*, обозначающей первоначальные мировые воды и связанной с космогенезом: «<...> и тьма над *бездной*; и Дух Божий носился над *водою* (курсив мой. — Н. К.)» (Быт. 1. 2). В этой универсальной природной стихии заключены нарастающие потенции к созиданию, к установлению упорядоченного мироздания. Не случайно в обрядах и верованиях вода повсеместно наделяется животворящей силой, порождающей, исцеляющей, обновляющей. В известном смысле — это первоэлемент Вселенной: «Как Бог творил мир, была сначала везде всё вода»².

Заметим, что репрезентацию состояния, связанного с первичным водным хаосом и его преодолением, по сути, содержат в себе мифы о всемирном потопе, известные в фольклоре народов мира. Тем не менее именно библейская версия сыграла санкционирующую роль в формировании русской легенды о Ноевом ковчеге, записанной и в Карелии: «Бог сильно разгневался на людей, послал всемирный потоп. <...> Сорок дней и сорок ночей непрерывный дождь — и ничего не осталось. Все потопло»³. Числом «сорок» в фольклоре обычно обозначается лиминальный период, в течение которого совершается переход из одного состояния в другое. В результате мир опять возвращается к первородному хаосу, для преодоления которого потребуются вторичный (если не очередной) космогонический акт.

В качестве единственной изначальной природной стихии изображаются воды и в карельских эпических песнях, повествующих о создании Вселенной. Независимо от того, где было снесено птицей-демиургом космогоническое яйцо: на синей кочке, синем островке, на колене Вяйнямёйнена, упавшего в море и годами плававшего по волнам, либо на лопатках Иисуса, а то и на мачте проходящего судна, — оно неизменно вызревает среди водного пространства.

Если экспозиция, которой предваряется сотворение Мира, сходна и в русской легенде, и в карельской руне, то сценарий самого космого-

нического акта имеет стадияльно обусловленные различия. В карельских эпических песнях творцом-демиургом представлена утка (варианты: гусь, орел, ласточка). Рассекая крылами первородный хаос, она дни и ночи без усталости летает, парит в поисках той единственной точки опоры, с которой и начнется сотворение Мира. Найдя место для гнезда, она согревает своим теплом это «золотое яйцо» – вместилище будущего космоса.

И тогда яйцо разбилось,
Шесть и семь кусочков стало,
Верхняя часть скорлупы
Обернулась верхним *небом*,
Нижняя часть скорлупы
В *твердь земную* превратилась.
А белок яйца [той утки]
Солнышком на небе греет,
А желток яйца той утки
Месяцем на небе светит,
А осколки от скорлупки
Стали *звездами* (курсив мой. – Н. К.) на небе⁴.

Уже в этой эпической песне, отразившей черты древнего мифологического сознания, обозначились дуальные модели сотворения Вселенной: небо – земля, солнце – месяц, возникшие из верхней и нижней частей яичной скорлупы, желтка и белка.

Мотив сотворения Мира из яйца, снесенного водоплавающей птицей, обнаруживается и в саамском мифе: Земля образовалась из травинки, вокруг которой летала уточка, а из снесенных ею яиц возникли деревья, животные, люди⁵. Этот мотив находим и в коми мифологии. Возможно, что подобные космологические представления нашли отражение и в традиции создания пластических форм, относящихся к так называемому пермскому звериному стилю. В их числе – птицевидный персонаж, фигурирующий на металлической литой подвеске, датированной VI–VIII вв. Того же ряда и онежский петроглиф в виде водоплавающей птицы (лебедя?) со снесенным, как предполагают исследователи, мировым яйцом. Его «возраст» свыше четырех тысячелетий.

Такое яйцо (по сути, сама водоплавающая птица) в рассматриваемых космогонических мифах служит исходным «материалом» для первотворения. Подобного рода «птичьи» образы – отголоски древних космологических представлений, связанных с зооморфной (а в данном случае – с орнитоморфной) моделью Вселенной.

Осколок мифа о птице-демиурге обнаруживается, как это ни удивительно, даже в библейском сказании о сотворении Мира. Так, в ветхозаветной Книге Бытия при упоминании о Духе Божием, который *носился* над водой, в оригинале, как выяснили исследователи, используется глагол, обозначающий не только быстрое передвижение, полет, но и высиживание наседкой яиц в гнезде. Русский синодальный перевод Библии оставил, по сути, незамеченным второе значение этого слова⁶. А между тем уже в IV в. один из отцов церкви Василий Кесарийский, разясняя смысл выражения «и Дух Божий носился над водою», писал: «Дух согревал и оживотворял водное естество <...>, наподобие того, как *птица высиживает яйца* (курсив мой. – Н. К.), сообщая им через это некоторую живительную силу»⁷.

В русской же традиции некогда бытовавший миф о сотворении мира из яйца по мере того, как в него переставали верить, все более удалялся в область художественного вымысла, пока и вовсе не перебазировался в сферу сказки. Об этом, в частности, свидетельствуют реконструкции этого мифа, предпринятые В. Н. Топоровым на материалах русской волшебной сказки⁸.

Зато в русской мифологической традиции так и не изжила себя до конца более поздняя, антропоморфная модель Вселенной. Она сохранилась главным образом в духовном стихе о Голубиной книге, варианты которой были зафиксированы и на территории Карелии. Вместо привычного для подобной космогонии первочеловека-великана, из плоти которого и создается мир, в отдельных текстах духовного стиха в качестве «материала» для творения Вселенной представлен сам Иисус Христос. Согласно этому стиху, компоненты космоса образуются от частей его тела, а также от некоторых материализованных абстрактных категорий, маркированных именем Христа: *солнце красное* – от Божьего лица, *млад светел месяц* – от его груди, *звезды частые* – от Божьих риз, *ночи темные* – от Господних дум, *зори утренние* – от его очей, *ветры буйные* – от Святого Духа, *белый вольный свет* – от Суда Божия. Так возникает антропоморфизированная модель Вселенной.

С мифом о сотворении мира птицей в рассматриваемых традициях преемственно связан другой сюжет: Мир создают *две* птицы, в *разной степени* противопоставленные друг другу. Такой космогонический миф основывается на дуальных моделях, или бинарных оппозициях. «По досюльному окиян-морю плавало два гоголя: один бел гоголь, а другой черен гоголь», – говорится в русской легенде, записанной в Занежье⁹. В парном сочетании творцов-демиургов возможны закономерные замены и трансформации. Основной персонаж обычно антропоморфизируется, в то время как его помощник-антагонист сохраняет

в своем облике прежние «птичьи» черты (чаще утки, гоголя, гагары). То же наблюдается в аналогичных мифах, бытующих у финно-угорских народов. В парном сочетании демиургов в соответствующих мифах коми фигурируют Ен и Омоль: они вылупились из двух яиц, снесенных уткой и мировом океане (по другим вариантам, плавали в образах лебедя и гагары или летали в облике двух голубей). В удмуртской мифологии дуалистическое деление мира определяют Инмар и его брат Керемет. В марийской космологии подобную пару составляют братья Кугу-Юмо и опять-таки Керемет, который плавает в водах первородного океана в облике селезня. Аналогом подобного рода демиургам в мордовской мифологии является Шкай, изначально обитающий на камне среди первозданного водного хаоса; ему противостоит Шайтан, архаическим предшественником которого также была птица (его душа помещена в яйцо, а яйцо – в утке, плавающей по Великому океану). В обско-угорской традиции, мансийской и хантыйской, подобным персонажам соответствуют Нуми-Торум и Куль-Отыр, принявший облик гагары¹⁰. Аналогичные персонажи известны и в орнаментике финно-угорских и славянских народов: парные водоплавающие птицы фланкируют мировое древо, соединяющее миры и символизирующее Вселенную.

И в русских легендах, зафиксированных не только в Карелии, но и в различных областях России, в других славянских землях, и в финно-угорских мифах каждый из первых членов этих бинарных оппозиций – носитель доброго начала, тогда как его антипод – создатель зла на Земле. В основе рассматриваемого сюжета лежит идея дуалистического деления Вселенной на «светлую» и «темную» сферы. Создание Мира вырисовывается как противоборство двух изначальных сущностей, двух универсальных противоположностей, а сам космогонический акт – как некое достижение равновесия между силами упорядоченности и хаоса, света и тьмы, добра и зла. И в русских легендах, и в финно-угорских мифах творцы создают твердь из горсточки земли, песка, ила, подчас из камня, поднятых с третьей попытки со дна первородного океана на поверхность мировых вод пернатым дублером и одновременно антиподом главного демиурга. И в той и в другой космологии один из творцов создает ровную и благодатную землю, тогда как другой – гористую, непригодную для человеческого бытия.

Космогонические мифы финно-угорских народов *в основе своей* сохраняют дохристианские представления о мироустройстве, в то время как русские в значительной мере уже христианизированы, хотя в них так до конца и не изжиты подспудные языческие пласты.

В дуальной модели христианизированных русских легенд место птиц-демиургов заняла другая пара противопоставленных творцов-антиподов – Господь и Сатана: «На воды плавало две утки. В одной утке заключался Бог, а в другой – Сатанаил», – говорится в легенде, зафиксированной на территории Карелии¹¹. Как видим, одна из «ячеек» дуальной модели, выработанной традицией преимущественно для изображения водоплавающего демиурга, теперь оказалась пригодной для изображения Бога, Господа, Господа Вседержителя, Саваофа (в легендах, как и в иконографической традиции, связанной с изображением Творца Мира, это персонажи-синонимы). Возможность замены языческого крылатого демиурга христианизированным творцом поддерживалась иконографией – этой «книгой для неграмотных»: когда Иисус созидает Мир в облике Ангела Великого Совета, то есть Христа до воплощения, он, естественно, крылат. «Крылатость» Творца Вселенной особенно ярко проявилась в народной гравированной Библии мастера Василия Кореня, созданной в конце XVII в.

Сам же космогонический акт даже в христианизированном виде описывается в сугубо крестьянских категориях. Он осмысливается как посев, где семена – горсть песчинок, а почва – мировые воды. Созревший же урожай – Земля, нередко отождествляемая с Миром. Это не просто твердь, но целое мироздание, с морями, реками, озерами, лесами. По другой версии, творимая Богом земля растет, всходит, подобно тесту в твориле, от раскинутой по воде горсти песка пошли пузыри, земля киснет, увеличиваясь в размерах. Не случайно ведь и слово «творить» в родстве с диалектными лексемами «творево», «творилка» – тесто и дежа, квашня. В рамках устной легенды сугубо бытовые элементы органично сочетаются с библейско-христианскими представлениями, сформулированными на все века в ветхозаветной Книге Бытия: «И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша; и стало так. (И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша.) И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями: и увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1. 9–10). Обратим внимание, что в библейской космогонии Бог с самого начала выступает как единственный творец и мироустроитель. Таким же он предстает на иконах «И почи Господь в день седьмый...», «Символ веры», равно как и в композициях «Сотворение мира», «Господня земля и исполнение ее», в росписях папертей русских храмов, в рукописной миниатюре.

Однако на рассматриваемый нами сюжет русской народной легенды оказала влияние не только христианско-церковная, но и христианско-апокрифическая литература. Согласно апокрифической Беседе трех святителей, мир творили два начала: предвечное высшее начало Саваоф и противостоящее ему существо – Сатана, который и здесь изображается в виде птицы-гоголя.

Такое осмысление сотворения Мира сложилось под влиянием восточно-гностических и манихейско-богомильских учений, возникших в качестве религиозно-философских течений в период раннего христианства. В них христианские религиозные догматы причудливо сочетались с восточной мифологией. Отголоски этих учений, нашедших свое выражение и в апокрифах, через южнославянские земли достигли в свое время и пределов Руси¹².

В дуальной модели мироздания, сформировавшейся в славяно-русской и финно-угорской традициях, имелась, как мы помним, «ячейка» и для антагониста, противостоящего основному творцу. Ее-то и заполнил персонаж, носящий имя «Сатана», которое в переводе с древнееврейского означает «противник», «противоборствующий». Еще в III в. александрийские богословы отождествили Сатану, изображаемого в Ветхом Завете в качестве падшего ангела, с дьяволом, «князем тьмы», противником Бога¹³.

Деяния Бога и Сатаны в рассматриваемой легенде определяются бинарными оппозициями, первая часть которых соотносится с положительным началом, а вторая – с отрицательным: светлый – темный, верхний – нижний, правый – левый, восточный – западный (северный), равнинный – гористый. Они сыграли свою структурирующую роль в дуалистической картине созидающегося мира.

Таким образом, данный фольклорный сюжет сложился на пересечении различных традиций – вербальных и изобразительных, устных и книжных, бытовых и религиозных, языческих и христианских. Он – продукт творчества многих народов, близких и далеких этнически или территориально. Это в полной мере относится и к рассмотренным в данной статье русско-карельским параллелям.

Архетип таинственного действа сотворения всего сущего, маркированного знаком водоплавающей птицы, и поныне живет в нашей генетической памяти, питает подсознание современного поэта. И рождаются строфы о невозможности постичь заключенную в обыденности тайну мироздания:

И ничего не выразить стихом,
Когда взлетают утки над рекою¹⁴.

¹ Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельниках // Изв. Имп. общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. 13. Тр. этнографического отдела. М., 1874. Кн. 3. Вып. 1. С. 87.

² Ширский А. А. Из легенд Ветлужского края // Тр. Костромского научного общества по изучению местного края (Третий этнографический сб.). Кострома, 1923. Вып. 29. С. 6.

³ Архив Карельского научного центра РАН. Кол. 165. № 1100.

- ⁴ Карело-Финский народный эпос / Сост., вступ. ст., перевод, примеч. В. Я. Евсеева. М., 1994. Кн. 2. I. IV. С. 13–14.
- ⁵ Чарнолуский В. В. Легенда об олене-человеке. М., 1965. С. 122.
- ⁶ Евсюков В. В. Мифы о вселенной. Новосибирск, 1988. С. 29.
- ⁷ Святоотеческая хрестоматия / Сост. Н. Благоразумов. М., 1883. С. 231–232.
- ⁸ Топоров В. Н. К реконструкции мифа о мировом яйце (на материалах русских сказок) // Тр. по знаковым системам. Тарту, 1967. Т. 3. С. 81–82.
- ⁹ Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Петрозаводск, 1991. Т. 3. С. 181.
- ¹⁰ Айхенвальд А. Ю., Петрухин В. Я., Хелимский Е. А. К реконструкции мифологических представлений финно-угорских народов // Балто-славянские исследования. М., 1982. С. 162–192 и др. работы.
- ¹¹ Архив Карельского научного центра РАН. Кол. 40. № 187.
- ¹² Щапов А. П. Исторические очерки народного мирозерцания и суеверия // Щапов А. П. Соч.: В 3 т. СПб, 1906. Т. 1. С. 100.
- ¹³ Серов С. Я. Дьявол // Религиозные верования: Свод этнографических понятий и терминов. М., 1993. Вып. 3. С. 76.
- ¹⁴ Сойни Е. Г. И найдется ветвь... Петрозаводск, 1997. С. 33.

© Н. В. Дранникова
Архангельск
© Р. Ларсен
Тромсё (Норвегия)

Предания о чуди в норвежском и русском фольклоре

Статья посвящена преданиям о чуди, существующим в России и Норвегии. Кем же является чудь – реальным народом, действовавшим в определенном историческом контексте, или же – мифологическим персонажем? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к различным упоминаниям о чуди, которые сохранились как в исторических источниках, так и в русских преданиях, и в норвежских историях (сагн). В наши задачи входило: 1) раскрыть значение слова «чудь» в норвежской и русской культурах; 2) провести анализ сагн и преданий о чуди с целью установления основных сюжетообразующих элементов. Для этого вначале мы обращаемся к значению этого слова в норвежской культурной традиции, затем – в русской.

Изучением семантики и функционирования данного этнонима занимались исследователи: в Норвегии – Л. И. Хансен, С. Солхейм, Ф. Стремстед и др., в России – Д. К. Зеленин, Д. В. Бубрих, В. В. Пименов, А. И. Попов, Р. А. Агеева, Е. А. Рябинин, А. К. Матвеев¹ и др.

В работе использовались синхронный и диахронный методы анализа исследуемого материала, записи которого охватывают более чем полутора-вековой период. Первая фиксация преданий была осуществлена в 1856 г. С. В. Максимовым, последние записи относятся к современному

периоду. Записи норвежских сагн были сделаны Ю. К. Квигстадом на рубеже XIX–XX вв.²

Этноним *чудь* в русской культуре имеет длительную историю. В настоящее время в Архангельской области в этом же значении употребляются слова *чухарь*, *чуча*, *чукча*, *чучкарь*³. Существуют различные точки зрения о возникновении слова *чудь*. Р. А. Агеева приводит многочисленные гипотезы о происхождении этого наименования и его этнической идентификации⁴. Приведем одну из них. Исследовательница высказала предположение, что «название древнего племени „чудь” связано с обозначением глухаря в саамском и некоторых других языках территории Севера»⁵. М. Фасмер также предположил, что наименование «чухарь» возникло в результате преобразования финно-угорского названия глухаря⁶. А. И. Попов считал, что у саамов слово «чудде» / «чутте» означает враг, противник⁷.

Обратимся к истории значения слова «чудь» в русской культуре. Чудь – таинственный народ, некогда живший на территории Русского Севера. Ю. И. Смирнов придерживается мнения о том, что чудь относилась к группе прибалтийско-финских народов. Одно из первых упоминаний о чуди встречается в «Повести временных лет» (около 1113 г.)⁸. В ней приводится свидетельство о том, что, преодолев сопротивление чуди, «славяне автоматически стали называть чудью другие финноязычные народы»⁹. Русское название «чудь» (*tsjude*) было, таким образом, расширительным, не включавшим точной этнической идентификации¹⁰.

Как полагали Д. К. Зеленин, Д. В. Бубрих, В. В. Пименов, А. И. Попов, Р. А. Агеева, Е. А. Рябинин и др., *чухарями* и *чудью* называли вепсов¹¹. Н. Первухин в 1888 г. распространял наименование чудь на вотяков¹². М. Фасмер писал о том, что *чухарь* «название близкородственного карельцам населения в у.<езде> Лодейное поле»¹³. В словаре В. И. Даля *чудь* названа «народом дикарем, жившим, по преданию, в Сибири, и оставившим по себе одну лишь память в буграх (курганах, могилах)»¹⁴. Остатки чуди Ю. И. Смирнов видит в сету – обрусевших эстах¹⁵. Норвежский исследователь Л. И. Хансен считает, что чудь – это не только финские народности, жившие у Балтийского моря, но и другие, с которыми русские контактировали, – воты и эсты на западе.

Образ чуди сохранился в русской и норвежской повествовательных традициях. В Норвегии устные рассказы называются сагн. О. Сольберг утверждает, что слово *sagn* связано с глаголом *å si* (говорить)¹⁶.

Рассказы о чуди публиковались в Норвегии Ю. К. Квигстадом, С. Солхеймом, Т. Стурюрдом, Л. Стэрком, О. Сольбергом¹⁷. Ю. К. Квигстад собрал в конце XIX – начале XX в. самую большую коллекцию саамских преданий и сказок. В его книге находится 21 рассказ о чуди, которые были записаны как от норвежских, так и от русских саамов, проживающих на Кольском по-

луострове. Эти истории до сих пор бытуют в северной части Норвегии. С 1998 г. Р. Ларсен вместе со студентами колледжа г. Тромсе собирает саги этой части страны. Его работа завершилась изданием в 2002 г. книги «Люди без головы и очоценевшие путешественники автостопом»¹⁸. В нее вошли 144 текста, 10 из них – содержат информацию о чуди.

В XIX в. в России предания о чуди публиковались в книгах и в периодической печати исследователями, собирателями, краеведами, путешественниками и писателями (С. В. Максимов, П. С. Ефименко, А. Кастрен, Д. Н. Островский, Н. Н. Харузин, А. Шустиков и др.)¹⁹.

С конца 1980-х гг. студенты Поморского государственного университета (г. Архангельск) под руководством Н. В. Дранниковой записывают предания о чуди на территории Архангельской области. Таким образом, была собрана обширная коллекция текстов об этом персонаже. Интересующие нас предания были обнаружены в различных районах Архангельской области.

В России предания о чуди изучались Ю. И. Смирновым, Н. А. Криничной²⁰ и др. Ю. И. Смирнов опубликовал указатель мотивов «Предания Европейского Севера о чуди», который до сих пор остается единственным в русской науке. В отдельную группу выделены эти предания в «Указателе типов, мотивов и основных элементов преданий» Н. А. Криничной.

Л. И. Хансен, проанализировав многочисленные исторические источники, пишет о том, что события, связанные с чудью, восходят к средневековой приполярной Скандинавии²¹. О. Бё считает, что подобные саги возникли в северных территориях²², граничащих с современными Россией и Финляндией, а также Швецией и Норвегией, о чем свидетельствуют истории, записанные от луле-саамов²³.

Дальнейший анализ мест записи преданий и саг дает возможность сделать вывод о том, что сюжеты о нападении чуди на местное население оказались распространены среди саамов, в том числе и кольских, проживающих в Мурманской области России²⁴. Истории о чуди, вероятно, восходят к воспоминаниям о разбойных набегах на этот народ. Уже в конце эпохи древненорвежского вождя Отара имели место нападения квенов, говорящих на финском языке, на Северную Норвегию. Квены были отдельным народом²⁵. С конца XII в. древненорвежские источники описывают Квенландию как район, находящийся на границе Финляндии и Карелии²⁶. Начиная с XVIII в. слово «квен» получает еще одно значение – финн-эмигрант, переселившийся в Северную Норвегию.

Вначале норвежская государственная власть не рассматривала территорию проживания саамов (*Sameland*, или *Finnmark*) как владения короля²⁷. Несколько веков эта территория была местом различных столкновений и обоюдных разбойных набегов²⁸. В начале XIII в. для ее населения стали угрозой карелы, политически представлявшие Новгородскую республику (в

конце XV в. они стали действовать от имени Москвы). Известно об 11 набегах карел на побережье Северной Норвегии в период с 1250 по 1444 г.²⁹

К какой этнической группе относят чудь сами исполнители – жители Северной Норвегии? В уже названной книге Р. Ларсена приведены истории, в которых говорится о том, что народ-захватчик приходил с востока³⁰. В двух первых разбойников называют *русскими*, в третьей упоминаются *карельские банды разбойников*, которые, кроме того, именуются еще *чудью* и *русскими*. В четвертой чужд – это банды разбойников из России и Финляндии. Ю. К. Квигстад отмечал, что названия *русская чужд* и *карельская чужд* являются взаимозаменяемыми³¹. Это позволяет нам сделать вывод, что название «чужд» допускает более широкое толкование, оно использовалось как наименование различных этнических групп, пришедших с востока в Северную Норвегию. Этой же точки зрения придерживается Ф. Стрёмстед³². В рассказах, записанных от кольских саамов, чужд приходит с запада. Свидетельства о постоянных набегах шведов на Кольское Поморье в начале XVII в. содержит статья К. Козьмина³³.

Возможно, что бесчисленные истории о *карельской* или *русской чуди*, нападавшей на население провинций Финмарк и Тромс, отражают исторические события. Также не следует игнорировать возможность того, что этой группой «чужеземных» сборщиков податей могли быть и другие северные соседи – шведы, датчане, финны или же квенны³⁴. Т. Стурюрд опубликовал предания о чуди, записанные среди луле-саамов в провинции Нурланн на границе со Швецией. Образ чуди, присутствующий в рассказах, нельзя соотнести ни с карелами, ни с иными финно-угорскими народами³⁵, вероятнее всего, что это наименование относилось к шведам. В различных саамских регионах название «чужд» было адаптировано к местным иноэтническим контактам³⁶.

Особенности функционирования слова «чужд» в саамском и норвежском языках можно проанализировать на примере географических названий. Топоним *Russeholet* (Русский омут) означает место, где река бурлит и где, по рассказам, *карельскую чужд* убили с помощью обмана; *Russeflaget* переводится как место, где карел убили с помощью обмана. Эти примеры взяты из сборника Ю. К. Квигстада. Луле-саамское слово *Tjudiharra*, означающее *пирамиды (груды камней) чуди*, относится к 17 грудам камней, символизирующих 17 *чудинов*, пришедших в поселок Кьеррис провинции Нурланн³⁷. Топоним послужил названием сагн «Чудихорро», опубликованной Т. Стурюрдом. Приведенные топонимы свидетельствуют еще раз, что слово чужд охватывает «чужие» народы, выступавшие в роли захватчиков по отношению к саамам.

Оказалось, что истории о чуди, разбойничавшей в приполярной области, редко имеют временную определенность. Некоторые ин-

форманты, с которыми работал Р. Ларсен, с неуверенностью говорили, что события могли происходить в XVIII–XIX вв. Большинство из исполнителей использовали следующие формулы – *в давние времена, давно или очень давно* (*gamle dager, lenge siden, for alvorlig lenge siden*).

Память нарратива, как правило, распространяется на 3–5 поколений, поэтому «чудские» события при попытке определения времени их существования исполнителями «приближаются». В современном фольклоре тексты о чуди стали не актуальны, во время Ю. К. Квигстада (на рубеже XIX–XX вв.) их еще рассказывали в настоящем времени³⁸.

Предания о чуди оказались особенно устойчивы к историческим изменениям. Их сюжет содержит в себе антитезу, заключающуюся в героическом поведении саамов и представителей других коренных народов в самых северных провинциях Норвегии (включая Кольский полуостров на востоке России)³⁹, с одной стороны, и разбойные набеги чуди – с другой. Данные рассказы относятся к «внутренним» текстам, повышающим оценку пограничных сообществ в глазах «соседей». Таким образом, сюжеты о чуди были распространены в разных местах, фиксировались в различное время, основывались на реальных событиях и подверглись мифологизации.

Рассмотрим два рассказа, которые все еще живут в народной памяти⁴⁰. События в них относятся к району г. Каутокейно, находящемуся во внутренней части провинции Финмарк. История «Русские обжигают глаза» рассказывает о саамах – мужчине и мальчишке, отправившихся на рыбалку и обнаруживших движущихся к ним русских. Чтобы русские не смогли зайти внутрь их землянки, они завалили ее вход деревянными чурками и развели костер. Когда русские поняли, что не смогут зайти внутрь, то залезли на крышу землянки, чтобы посмотреть внутрь через дымовое отверстие. У взрослого саама был котелок с жиром, в который он в тот момент смотрел. Когда он увидел в нем отражение голов разбойников, то вылил жир в костер. Костер вспыхнул, и русским обожгло глаза огнем.

Вторая история – «Биретлуокта» относится к северной части провинции Тромс и рассказывает о саамской женщине и ее маленькой дочери, которым пришлось спрятаться в яме, чтобы избежать смерти от чуди. Как только саамки укрылись в яме, паук начал плести над ямой паутину. Когда чудь увидела паутину, то решила не искать беглецов в яме. Мотив о пауке характерен для христианских легенд. Он встречается у разных народов, например, у балканских народов и на Западной Украине⁴¹. Вероятно, он был связан с сюжетом о бегстве Богородицы с грудным Иисусом Христом.

Среди норвежских историй о чуди есть группа текстов с сюжетом, где чудь, ведомая проводником, падает с обрыва. Существуют различные варианты этой истории. Остановимся на наиболее распространенном из них. Вооруженные чужеземцы надеются внезапно подойти к саамской деревне, для чего им нужен проводник. Они поднимаются в горы и встречаются с человеком, часто саамом, которого заставляют показать короткий путь через гору. Саам идет первым, держа в руках факел и приводит отряд, который идет на лыжах или же едет на сани, к крутому обрыву. Затем кидает факел вперед, а сам скатывается в сторону и спасается, хватаясь за дерево или камень. Чудь же летит с обрыва и разбивается насмерть.

Типологическая близость между норвежскими и русскими преданиями существует на уровне композиционно-повествовательной стереотипии. Общими для норвежского и русского фольклора оказались сюжеты о том, как проводник саам заводит чудь к обрыву (норвежские саамы) и на берег реки (кольские саамы, Итконен, с. 101–102); в бурлящую воду (норвежские саамы; Квигстад, № 98) и на водопад, порог или молодой лед (кольские саамы; Кастрен, с. 61; Максимов, с. 324–325). Рассказ о том, как кольский *лопин* (саам) губит чудь, был опубликован несколько раз: в 1889 г. Д. Н. Островским, в 1890 г. Н. Н. Харузиным и в 1931 г. Т. И. Итконен в Хельсинки⁴². Только у норвежских саамов проводник везет русских на остров, где растет много морошки, оставляет их там, и они погибают (Квигстад, № 108).

В некоторых преданиях проводник с помощью обмана заводит врагов в быстро текущую реку или в водопад (Квигстад, № 98), где они гибнут. Как мы уже отмечали, исторические источники подтверждают, что нарративы о чуди, несомненно, имеют под собой историческую основу. Территориальная привязка рассказа о проводнике и чуди относится только к отдельным районам. Рассказ с таким же сюжетом был записан среди луле-саамов на границе со Швецией. В дер. Салтдал в провинции Нурланн до сих пор существует предание «Квенская гора»⁴³. В нем рассказывается о саамском проводнике, который завел на обрыв квен.

С XVI в. в русском фольклоре существует предание об Иване Сусанине. Во время Второй мировой войны, уже в Советском Союзе, сюжет возник вновь⁴⁴. В период немецкой оккупации предания с этим мотивом появились и в северной части Норвегии, где существуют до сих пор. История о проводнике, с помощью обмана заведшего немцев к обрыву, была записана в 2001 г. Р. Ларсеном⁴⁵. Немцы, как и предыдущие захватчики, называются в них чудью.

Как воспринимало чудь местное население Норвегии в различные исторические периоды? Предания из Северной Норвегии, записи которых делались в течение всего XX в., восходят к выражению «они

источали зло». Информанты, предоставившие Р. Ларсену материал о чуди, однозначно называют ее *захватчиком*⁴⁶.

В рассказах чудь наделяется стереотипами поведения, свойственными представителям «чужого» мира. Ее глупость утрирована, а поступки и внешность аномальны. Она носит черную одежду и говорит на каком-то искусственном языке⁴⁷. Ее дурачат и обманывают, так что в конце концов она падает с обрыва и погибает, теряет одежду и замерзает, остается на пустынном острове и умирает с голода, шторм разбивает ее суда, и она тонет, иногда ее представители сами убивают друг друга. Ее физическая сила гиперболизируется. В борьбе с нею саамы вынуждены были обращаться за помощью к шаманам – нойдам. В сагн чудь обращается за помощью к нечистой силе. Для того чтобы победить саамов, она заключает сделку с саамской нечистой силой – сталлой (Квигстад, № 112). Средством убийства сталлы становится универсальное для традиционной культуры различных народов средство – металлический предмет (в рассказе финский нож). Мотив использования колдовства встречается и в преданиях кольских саамов. В текстах, опубликованных А. Кастреном и Н. Н. Харузиным, чудь, околдованная лопарем, губит друг друга (Кастрен, с. 15; Харузин, с. 373).

Некоторые из историй носят легендарный характер. Обратимся к сюжетам некоторых из них. О. Солбергом был опубликован рассказ «Русская бухта»⁴⁸, где Бог лишил зрения орду разбойников. В рассказе Ю. К. Квигстада «Русские и гром» (№ 107), когда чудь начинает богохульствовать, Бог с помощью молнии разрывает землю, и чудь проваливается в трещину.

Таким образом, чудь в норвежской повествовательной традиции – название различных этнических групп, пришедших с востока (реже – с запада) на саамские территории и занимавшихся разбоем. Наблюдается общность сюжетов о чуди среди различных групп саамов, проживающих 1) на территории Северной Норвегии, 2) на границе Норвегии и Швеции и 3) на территории Кольского полуострова России.

В современной русской речевой практике этноним чудь используется в качестве локально-группового прозвища. *Чухарями* называют жителей деревень Сояны, расположенной на одноименном притоке р. Кулоя (Мезенский район), Нюхчи, находящейся в самых верховьях Пинеги (Пинежский район), а также всех жителей р. Пёзы (притока Мезени) и др. Прозвище *чухари*, как и само слово *чудь*, в архангельской речевой практике приобрело значение ругательства и используется в отношении людей, отставших, по народным представлениям, в социокультурном плане.

Наименование «чудь» присутствует в архангельских топонимах и семейных антропонимах. «В 1858 году в д. Устькымская (Мезенский уезд Архангельской губернии) появляются два околотка Якшины и *Чухари*»⁴⁹. Околоток (самостоятельная часть деревни) с таким же названием существовал в дер. Почезерье Пинежского района; а его жителей называли *чухи*. Как и топоним, семейное прозвище *чухарь* имело распространение в среднем течении рек Мезени и Пинеги.

Д. К. Зеленин рассматривал коллективное прозвище *чудь белоглазая* как присловье, имеющее антропологическое значение⁵⁰. Он писал, что это прозвище «очень верно и метко характеризует финский тип»⁵¹. Можно предположить, что за определением «белоглазая» стоят мифологические представления о слепоте иномирного существа. Представители «чужого» мира могут находиться в «своем» пространстве (колдуны, иностранцы, коновалы, кузнецы и др.). Как отмечали Ю. М. Лотман и Б. М. Успенский, свойства «чужого» переносились на монахов⁵². В этом же ряду стоят народные представления о том, что *чудь белоглазая* – это *полуслепые монахи Соезерской пустыни* или же *каторжники, ссыльные*, которых в прошлом было много на территории Верхнетоемского уезда Архангельской губернии⁵³.

В современном фольклоре произошла мифологизация образа чуди. Во время фольклорной экспедиции на Кенозеро (Плесецкий район Архангельской области) в 2005 г. местным жителям мы задавали один и тот же вопрос: *Кто такая чудь и помните ли Вы рассказы о чуди, существовавшие в этой местности?* Было опрошено 70 исполнителей. Всего один из них знал, что чудь – это народ, живший здесь до прихода русских (М. А. Потапова, 1950 г. р.). Остальные считали, что чудь – это разбойники (А. И. Тишнева, 1923 г. р.) или же относили ее к области мифологических персонажей и объединяли с русалками и водяными (А. Н. Губина, 1926 г. р.). Несмотря на то что обследованный нами регион имеет богатый пласт топонимов, свидетельствующий о финно-угорском субстрате, память о чуди практически растворилась. Лишь некоторые из исполнителей могли как-то идентифицировать чудь. Отметим, что еще в 1920-е гг. чудью здесь пугали непослушных детей⁵⁴.

Опираясь на материалы, находящиеся в Лаборатории фольклора Поморского университета, назовем некоторые из наиболее распространенных русских мотивов о чуди. К ним относятся следующие: о борьбе чуди с русскими за свои земли, о самопогребении чуди и ее кладах, о происхождении географических названий от имен чудских первопоселенцев, о внешности чуди, о ее ассимиляции с русским населением, о памятниках материальной культуры, оставленных ею, о ее верованиях (чудских богах и нежелании принимать христианство).

В архиве Поморского государственного университета наиболее интересными, на наш взгляд, являются рассказы 1) о том, как чудская деревня неподалеку от с. Бестужева ушла на дно оз. Светик и до тех пор, пока озеро не освятили, из-под воды раздавались стоны, а из озера появлялась корова, гнавшаяся за жителями близлежащих деревень; 2) как чудь похитила у своих соседей каменного идола, но оказалась не в состоянии его перетасщить, в результате идол остался на новом месте у дер. Березницкой и таинственно исчез после Октябрьской революции. Последний рассказ представляет собой контаминацию сразу четырех мотивов. Его второй мотив содержит информацию о чудском кладе, зарытом чудью перед самопогребением. Третий – о самопогребении чуди, которое она совершила из-за нежелания принимать православную веру. Четвертый – о предметах, которые иногда находили местные жители в местах ее проживания. Оба текста были записаны в Устьянском районе Архангельской области, на границе с Вологодской областью⁵⁵. Данный рассказ сочетает в себе жанровые признаки предания и легенды с мотивом наказания за непочитание. Первый же из описанных мотивов (похищение идола) относится к числу редких. Рассказ распадается на две части. Первая часть – отдельное самостоятельное повествование, вторая включает три мотива, которые вытекают друг из друга, связь между ними подчинительная.

В Кенозерской экспедиции нами были записаны следующие «чудские» предания: о том, как чудь предсказывает пожар; о том, как чудь крадет коров; о том, как местные жители находили глиняные игрушки, принадлежащие, по их мнению, чуди; и о том, что в деревне жила женщина по прозвищу Цобойда, которую считали потомком чуди, так как она сильно цокала⁵⁶. «Воспоминания» относятся к двум деревням Кенозерского сельсовета – Самково и Глазово. Описание чуди в этих повествованиях напоминает «портреты» нечистой силы: *из леса выскочила, вся такая в черном, лицо черное, волосы по ветру летят, глаза дикие...* (А. Н. Губина). Все исполнители отмечали длинные волосы чуди. В кенозерских рассказах чудь выполняет функции, свойственные в народной прозе мифологическим персонажам: предсказывает пожар, чудесным образом бросает через реку головни, от которых ровно через год в другой деревне начинается пожар, крадет коров и т. п.

Записанные предания имеют сюжетные мотивы, отсутствующие в указателе Ю. И. Смирнова. Это объясняется тем, что в народном сознании чудь утратила исторические черты и приняла мифологический характер, что и сказалось на характере повествования. Кенозерские предания оказались близки к мифологическим рассказам. К числу редких среди них можно отнести рассказ о том, что особенности происхождения отдельного человека (цоканье) позволяют идентифицировать «чудское» происхождение.

Предания содержат «ссылки на предков», подтверждающие их истинность: *старые люди говорили...; вот бабки сидят, разговаривают, старые были; у меня мать неграмотная была с 12-го года... и т. п.*

Подведем некоторые итоги. Этноним «чудь» имеет собирательное значение в русском и норвежском фольклоре. В норвежской культуре он означает разбойников различной этнической принадлежности, которые приходили с востока (реже с запада) грабить население Северной Норвегии. Как показало проведенное исследование, это наименование могло относиться к русским, финнам, карелам, квенам и народам, говорящим на скандинавских языках (шведам), а в период Второй мировой войны – к немцам. В русской культурной традиции название «чудь» относилось к различным финно-угорским народам, жившим на территории Европейского Севера до прихода русских и позднее ассимилировавшихся с ними. Кольские саамы называли чудью шведов и норвежцев, которые приходили к ним с запада с целью разбоя. Не исключается возможность существования в глубокой древности народа с таким же названием. Исследования топонимистов свидетельствуют о том, что этот народ мог относиться к прибалтийско-финской группе⁵⁷.

Слово «чудь» имеет исторический и мифологический контексты. В преданиях о чуди «сохранилась» память об историческом прошлом северного региона. Предания о чуди распространены на территории Европейского Севера, сюжеты о воинственной и разбойничающей чуди локализуются в саамских регионах России и Норвегии. В преданиях и сагах русские и саамы принадлежат «своему» миру, чудь связана с представлениями о «чужом» мире. Название получило значение «чужак», «разбойник».

¹ Hansen L. I. Grensefasettingen på Nordkalotten fra Middelalderen til 1751 // Det farefulle nord / Fredrik Fagertun m. fl.: Universitetet i Tromsø; Solheim, Svale 1973. Underjordsfolk // Norge (16): 148–333; Stromsted, Finn 1970: Nakkul og Lainit. Samiske eventyr; Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 34; Бубрих Д. В. Происхождение карельского народа. Петрозаводск, 1947. С. 25–26; Пименов В. В. Вепсы: Очерк этнической истории и генезиса культуры. М., 1965. С. 82–83; Попов А. И. Названия народов СССР. Л., 1973. С. 79; Агеева Р. А. Страны и народы: происхождение названий. М., 1990. С. 102; Рябинин Е. А. К этнической истории Русского Севера (чудь заволоцкая и славяне) // Русский Север. СПб, 1995. С. 13–42; Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. I. Екатеринбург, 2001. С. 169, 176.

² Максимов С. В. Год на Севере. Архангельск, 1984 (далее – Максимов); Qvigstad, Just, Pollan, Brita 1997: Samiske beretinger / innlending, kommentarer og språklig bearbeidelse ved Brita Pollan; [illustrasjonene er hentet fra Ernst Manker: Samefolkets konst]. I utvalg fra J. K. Qvigstads Samiske [i. e. Lappiske] eventyr og sagn I–IV, 1927–1929 (далее – Квигстад).

³ Булатов В. Н. Русский Север. Кн. 1: Заволочье (IX–XVI вв.). Архангельск, 1997. С. 59.

⁴ Агеева Р. А. Страны и народы... С. 86–117.

⁵ Агеева Р. А. Об этнониме чудь (чухна, чухарь) // Этнонимы. М., 1970. С. 199.

⁶ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1973. Т. 4. С. 388.

- ⁷ Попов А. И. Названия народов СССР. Л., 1973. С. 79.
- ⁸ Повесть временных лет // Полное собрание русских летописей. М., 1962. Т. 1. СПб, 4.
- ⁹ Смирнов Ю. И., Смолицкий В. Г. Новгород и русская эпическая традиция // Новгородские былины. М., 1975. С. 315–316.
- ¹⁰ Hansen L. I. Op. cit. 27.
- ¹¹ Зеленин Д. К. Указ. соч. С. 34; Бубрих Д. В. Указ. соч. С. 25–26; Пименов В. В. Указ. соч. С. 82–83; Попов А. И. Указ. соч. С. 79; Агеева Р. А. Страны и народы... С. 102; Рябинин Е. А. Указ. соч. С. 13–42.
- ¹² Первухин Н. Эскизы преданий и быта инородцев Глазовского уезда. Эскиз I. Вятка, 1888.
- ¹³ Фасмер М. Указ. соч. С. 388.
- ¹⁴ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2002. Т. 4. С. 594.
- ¹⁵ Смирнов Ю. И., Смолицкий В. Г. Указ. соч. С. 316.
- ¹⁶ Solberg Olav 1999: Landslaget for norskundervisning: Cappelen akademisk forlag (127). Norsk folkediktning: litteraturhistoriske linjer og tematiske perspektiv. LNU. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo: 39.
- ¹⁷ Qvigstad Just, Pollan Brita 1997. Op. cit.; Solheim, Svale 1973. Underjordsfolk // Norge (16): 148–333; Thorbjørn, Størdjord 1991: Lulesamiske eventyr og sagn. Bodø Lærerhøgskoles Skriftserie (2): 61; Stærk L. 1994: Eventyr og sagn fra Sør-Varanger. Karasjohka: Davvi Girji; Solberg O. Op cit.
- ¹⁸ Larsen A. S. og Larsen R. (red.) 2002: Hodelose menn og ihjelfrosne haikere: levende sagntradisjon fra Nord-Norge. Eureka forlag (8).
- ¹⁹ Максимов С. В. Год на Севере.; Путешествие Александра Кастрена по Лапландии, северной России и Сибири // Магазин землеведения и путешествий. Географический сборник Н. Фролова. Т. 6, ч. 2. М., 1860 (далее – Кастрен); Ефименко П. С. Заволоцкая чужь. Архангельск, 1869; Островский Д. Н. Лопари и их предания // Изв. Русского географического общества. Т. 25, вып. 4. СПб, 1889; Харузин Н. Н. Русские лопари // Изв. ОЛЕАЭ при Московском университете. Т. 66. Тр. этнографического отдела. Кн. 10. М., 1890 (далее – Харузин); Шустиков А. Троичина Кадниковского уезда. Бытовой очерк // Живая старина. 1982. Вып. 3; Itkonen T. I. Koltan- ja kuolanlappalaisia satuja. Helsinki, 1931 (далее – Итконен).
- ²⁰ Смирнов Ю. И. Предания Европейского Севера о чуде // Литература Сибири. Памяти Александра Бадмаевича Сокольева. Новосибирск, 2001. С. 55–67; Криничная Н. А. Предания Русского Севера. СПб, 1991.
- ²¹ Hansen L. I. Op. cit.
- ²² Вø O. 1997: Segner. Det norske Samlaget: 297.
- ²³ До 1970-х гг. название употреблялось по отношению к саамам, переехавшим в район Нур-Салтен в XVIII в. после истощения луле-саамских пастбищ в Швеции. В Норвегии они стали заниматься сельским хозяйством, рыболовством и охотой. На норвежской территории луле-саамы проживают на территории от горы Салтфьеллет на юге до Уфутена на севере, но большинство из них находятся на шведской территории.
- ²⁴ Визе В. Лопарские сейды // Изв. Архангельского общества изучения Русского Севера. Архангельск, 1912. № 9. С. 395–401; № 10. С. 453–495; Смирнов Ю. И. Предания Европейского Севера о чуде.
- ²⁵ Древнескандинавское название kven связано с древнескандинавским словом, передававшимся на древнорвежском словом «hvein», обозначающим «лежащее в низине, болотистое место» и отчасти «тонкая трава» / «местность с тонкой травой», то есть оно восходило к названию прибрежного ландшафта. Русские и финские исследования локализуют квен в Ботническом заливе. См.: Gallén J. og Lind J. 1991: Noteborgsfreden och Finlands Medeltida Ostgrans. Andre delen, tredje delen (kartbilaga). (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i finland (427). Helsingfors: 2.
- ²⁶ Hansen L. I. Op. cit.: 19.
- ²⁷ Hansen L. I. Op. cit.: 18.

²⁸ Факты разбойных набегов норвежцев на побережье Белого моря не в полной мере освещаются в норвежской истории, однако такие походы имели место еще до 1326 г., а также в период с 1419 по 1445 г. Подобный набег упоминается в Новгородской хронике 1419 г. См.: Hansen L. I. *Op. cit.*: 25–26.

²⁹ Hansen L. I. *Op. cit.*: 18.

³⁰ Larsen A. S. og Larsen R. *Op. cit.*: 30, 31, 53–57.

³¹ Qvigstad Just, Pollan Brita. *Op. cit.*: 242–267: 96, 97, 100, 107, 111, 114.

³² Stromsted F. *Op. cit.*: 9.

³³ Козьмин К. Варангерское море и его история (Из жизни Архангельского Севера) // Изв. Архангельского общества изучения Русского Севера. Архангельск, 1914. № 19. С. 639–644; № 20. С. 663–669.

³⁴ Уже к 1326 г. налогообложение русскими саамов, проживавших в провинции Тромс, имело устойчивый характер и было принято норвежскими властями. Оно продолжалось вплоть до 1600 г. Лишь в 1826 г. последние участки совместной русско-норвежской территории в Северном Варангере были поделены. См.: Dahl Bratrein, Havard 2004: *Russisk okkupasjon av Finnmark på 1400-tallet* // *Nakoygminne*. Harstad (2): 373–383.

³⁵ Thorbjørn S. *Op. cit.*: 61.

³⁶ Hansen L. I. *Op. cit.*: 27, 28–30.

³⁷ Storjord T. *Op. cit.*: 61.

³⁸ Qvigstad Just, Pollan Brita. *Op. cit.*: 242–267.

³⁹ В книге Ю. К. Квиґстада (Указ. соч. С. 242–267) помещены истории «Чудь на Нотозере» (№ 94) и «Проводник через Эйनावидду» (№ 95), в которых рассказывается, как чудь пыталась захватить Кольскую крепость в битве с саамами-сколтами. Сколты – православные саамы.

⁴⁰ Larsen A. S. og Larsen R. *Op. cit.*: 30, 47.

⁴¹ Информация предоставлена Ю. И. Смирновым (г. Москва).

⁴² Островский Д. Н. Указ. соч.; Харузин Н. Н. Указ. соч.; Itkonen T. I. *Op. cit.*

⁴³ Larsen A. S. og Larsen R. *Op. cit.*: 135.

⁴⁴ Bø O., Grambo R., Hodne B. og Hodne Ø.: *Op. cit.*: 297.

⁴⁵ Larsen A. S. og Larsen R. *Op. cit.*: 127.

⁴⁶ Larsen A. S. og Larsen R. *Op. cit.*: 30, 53.

⁴⁷ Stærk L. *Op. cit.*

⁴⁸ Solberg O. *Op. cit.*: 164–165.

⁴⁹ Новиков А. В. Лешуконье: История заселения Средней Мезени в XV–XIX веках. Архангельск, 1999. С. 61.

⁵⁰ Зеленин Д. К. Великорусские народные присловья как материал для этнографии // Зеленин Д. К. Избр. тр.: Статьи по духовной культуре 1901–1913. М., 1994. С. 49.

⁵¹ Там же.

⁵² Лотман Ю. М., Успенский Б. М. «Изгой» и «изгойничество» как социально-психологическая позиция в русской культуре преимущественно допетровского времени («свое» и «чужое» в истории русской культуры) // Тр. по знаковым системам. 15. Типология культуры. Взаимодействие культур. Тарту, 1982. С. 110–112.

⁵³ Дранникова Н. В. Указ. соч. С. 76.

⁵⁴ Агеева Р. Страны и народы... С. 86.

⁵⁵ Фольклорный архив Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск). Папка 324. Зап. в 2001 г. от М. Г. Порошиной, 1927 г. р., в. дер. Бестужево, Устьянский район.

⁵⁶ Там же. Папка 501. Зап. в 2005 г. от А. Н. Губиной, 1926 г. р.; М. А. Потаповой, 1950 г. р. в дер. Вершинино, Плесецкий район.

⁵⁷ Матвеев А. К. Указ. соч. С. 169. 176.

Карельская и ижорская эпическая традиция: к истории генетического родства

Исследователи разных дисциплин (языковеды, этнографы и фольклористы) уже долгое время занимаются проблемой изучения ижорского этноса, его культуры и языка, а также сравнения ижорских локальных традиций с общей финно-угорской. Интересна сама история возникновения народности ижора. Исследователи выдвигают различные гипотезы. Финский ученый Х. Киркинен в своих работах замечает, что ижорцы и карелы отделились от общего народа-предка в эпоху викингов и крестовых походов¹. В отечественной науке появление ижорцев на территории Ингерманландии относят к XI–XII вв. Как указывает историк В. В. Седов, к этому времени «корела, племя, образовавшееся в течение I тысячелетия н. э. севернее 60 северной широты, в районе северного и западного Приладожья, стала активно расселяться. Одна часть корелы продвинулась к северному побережью Ботнического залива, другая – к побережью Белого моря, а третья перешла р. Неву, заняв бассейн р. Ижоры, стала известна под именем ижора (ингры)»². Это предположение находит подтверждение и у исследователей-языковедов. А. Лаанест, разрабатывая проблему формирования ижорского языка, предполагает, что до начала II тысячелетия до н. э. существовал единый древнекарельский язык. Первые века II тысячелетия, когда одна ветвь карельских племен продвинулась на юго-запад, можно считать периодом древнеижорского языка³. Д. В. Бубрих, изучая происхождение карельского народа, отмечает, что на грани XI–XII вв., согласно различным данным, корела стала перемещаться к Неве. Одна группа вышла к устью Невы и стала известна под именем Инкери, ижоры, получившей свое название от реки, впадавшей в Неву с юга⁴. В дальнейшем развитие ижорского языка шло по линии обособления его диалектов. В процессе исторического развития единый ижорский язык не сложился, но особенности его диалектов позволяют выделить ижорский язык в качестве самостоятельного. Этой точки зрения придерживаются отечественные и эстонские исследователи, а также ряд зарубежных специалистов, в том числе П. Хайду⁵. Археологи, основываясь на выявленных материалах на территории Ингерманландии, говорят как о тождестве культур карел и ижорцев, так и о влиянии «Финской Карелии» на Ижорскую⁶. Таким образом, можно предположить, что карелы и ижорцы произошли от единого народа – перво-предка, а языки возникли от существовавшего когда-то единого пракарельского языка.

Рассмотрим, находят ли эти гипотезы подтверждение в фольклоре, насколько близки наши культурные и поэтические традиции. Остановимся подробнее на более древнем пласте народной поэзии – на эпической традиции. Собираание песенного фольклора на территории Карелии началось значительно раньше и велось более последовательно и тщательно, чем в Ингерманландии. В то время, когда уже был создан первый вариант «Калевалы» и сборник лирических песен «Кантеле-тар», не было сделано ни одной записи от ижорцев. Еще в 1833 г. А. М. Шегрен вел обширное исследование народного быта и этнографии ижорцев, но не придал значения тому, что среди местного ижорского и финского населения бытовали древние народные песни. В 1844 г. Э. Лённрот, возвращаясь из Тарту через Петербург в Хельсинки, сделал остановку в с. Котлы, где записал от одной только местной жительницы Анны Ивановой 30 свадебных песен (в общей сложности около 2300 стихов). Обращаясь в письме к петербургскому пастору К. В. Сирену, Э. Лённрот писал: «В этой местности, должно быть, можно было бы собрать и узнать много полезного». Однако Э. Лённрот так и не побывал в Ингерманландии. Только в 1847 г. его активный помощник Д. Европеус записал в приграничных деревнях Ингерманландии древние народные песни, многие из которых не были известны ранее. Это послужило началом для широкого и всестороннего обследования Ингерманландии финскими фольклористами, которые на протяжении многих лет выезжали в эти края в поиске новых песен. Значительная часть собранных эпических, лирических, свадебных и других обрядовых песен опубликована в сборнике «Древние руны финского народа». Всего 85 000 вариантов песен, около 400 000 поэтических строк. В советское время фольклорный материал от ижорских исполнителей записывали как эстонские, так и карельские исследователи. В Научном архиве Карельского научного центра РАН хранятся 13 рукописных коллекций ингерманландского фольклора, содержащих 3000 записей произведений различных жанров. Поскольку фольклорные записи от ижорского населения стали производить позже, чем в Карелии, песни на некоторые сюжеты уже не были зафиксированы, так как они могли прекратить свое бытование или претерпели существенные трансформации.

Сравнивая сюжетно-тематический состав ижорского и карельского эпосов, М. Кууси заметил, что если в Карелии бытовали в основном мифологические руны и героические песни, то в Ингерманландии и на Карельском перешейке – преимущественно баллады и лиро-эпические песни⁷. Рассматривая общую эпическую традицию Каре-

лии, уже не раз отмечали, что сюжетно-тематический состав песен беломорских и южных карел неоднороден. Локальная эпическая традиция карел-ливвиков, в какой-то степени, ближе к ижорской. В Олонецкой Карелии также преобладают песни лирического содержания и баллады. Сходство между южнокарельской и ижорской традициями объясняется тем, что исполнителями эпических песен в данных местностях на протяжении всего периода собирания являлись в основном женщины. Это обстоятельство оказало влияние на содержание эпоса, содействовало чисто «женской» интерпретации изображаемых событий.

В известных карельских и ижорских эпических песнях мы встречаемся с одними и теми же героями – это Вяйнямейнен (в южнокарельской традиции Вяйнямейне), Илмаринен (в южнокарельских песнях Илмойллине, у ижорцев Исмаройнен, Инкеройнен) и Йоухахайнен, Йоугамойнен. В ижорских рунах, так же как в южнокарельских, чаще всего на первый план выходит кузнец (в ижорской версии Исмаройнен). Он творец мироздания, а в некоторых вариантах и первым высекает пламя, делает лодку и кантеле. Образ ижорского кузнеца близок к общему для карел и ижорцев образу кузнеца-первопредка, хотя в ижорских песнях – это уже не культурный герой, а «свой человек», кузнец «Виро».

Ижорская традиция сохранила песни на архаичные мифологические сюжеты и героические песни. Тематика таких песен практически тождественна севернокарельской традиции. К этой группе можно отнести песни на такие сюжеты, как «Сотворение небесных светил», «Сотворение мира», «Большой дуб». Особую группу составляют мифы о создании культурных благ, о рождении и высекании первой искры, о создании кантеле и игре на нем, об изготовлении лодки. Рассматривая эпические песни, основанные на мифологических мотивах, мы замечаем, что и карелы, и ижорцы используют одни и те же мифы, но отношение к мифу у ижорцев и карел совершенно разное.

Возьмем для примера руну о создании кантеле. Примечательно, что кантеле карелы и ижорцы создавали по-разному. Как повествуется в карельской песне, музыкальный инструмент был сделан из головы большой щуки, в ижорской – из рогов барана или из дерева. Ижорская версия восходит к древнегреческому мифу об изготовлении арфы или гитириса Гермесом, карельский миф основан на внешнем сходстве музыкального инструмента со щучьей головой. В карельской традиции подробно описывается путешествие Вяйнямейнена на ладье, лодка героя застряла на спине огромной щуки, герой ло-

вит рыбу и делает из нее кантеле. В ижорской песне все проще: герой, чаще всего кузнец, как и в южнокарельской традиции, отправляется по дороге, находит дерево и делает из нее кантеле.

Mie käin tietä pikkaraise,
Matkoaani vähäise.
Löysin niityltä niverän,
Puun koveran koivikosta.
Siit veistin veräjän alla,
Kannon pääs kalkuttelin,
Sai kantele valmeheks.

Пошагал я по дороге,
Одолел пути отрезок,
На лугу нашел кривую,
Искривленный ствол среди рощи.
Построгал я ствол в воротах,
Потесал я на пенечке
Вот и кантеле готово⁸.

В ижорских эпических песнях, как и в карельских, встречаются упоминания различных древних божеств и рассказ о далеких мифических странах. Интересен появляющийся в ижорских песнях образ Сампсы Пеллервойнена. По всей видимости, этот персонаж восходит к Сампсе, языческому божеству леса и деревьев, о котором писал К. Канандер в «Финской мифологии» еще в 1789 г. В Приладожской Карелии зафиксированы руны о Сампсе-сеятеле, но этот персонаж полностью отсутствует в северно- и южнокарельской традициях. Этот сюжет сохранился в Ингерманландии, и песня является обрядовой. Она исполнялась на летних праздниках Петрова или Ильина дня.

Образ верховного бога Укко встречается в эпических песнях всех групп карел. Громоуик Укко был верховным богом у финно-угорских народов, к нему обращались с призывом поймать дождевые тучи. Святилищем Укко были рощи и камни, которым молились об излечении болезней и о хорошем урожае. В южнокарельских песнях Илмойллине обращается к богу Укко, выполняя трудные задания хозяйки Похьелы. Герой просит верховного бога нагнать тучи. Образ Укко – всевышнего божества, мы находим и в дошедших до нас ижорских песнях:

Pyhä Ukko armolliin
Työ meilen vierahisse,
Saa meilen käymäksi,
Anna mailles makkua,
Pellolles pehmitystä.

Укко, боже милосердный,
Приходи скорей к нам в гости,
Побывай у нас, желанный,
Дай ты силу нашим нивам,
Мягкости придай полям!⁹

В ижорских песнях о сватовстве не раз упоминается мифическая страна Хито, в южнокарельской традиции – Хийтола или Туони, Манала, как в севернокарельской традиции. Древний дух Хийси – языческое божество, хозяин Хийтолы, был известен всем прибалтийским финнам. Упоминание Хийтолы как обиталища мертвых и их душ встречается в Приладожье, Ингерманландии и Южной Карелии.

Единым для всей карельской, а также для ижорской эпической традиции является сюжет о сватовстве. Основным действующим лицом становится кузнец, иногда сын солнца, Божий сын или другой герой. В карельской песне сватаются всегда основные персонажи эпоса – Вяйнямейнен и Илмаринен. Добывание жены в ингерманландских песнях уже не является героическим подвигом, как в севернокарельских. Ижорский герой отправляется за невестой потому, что ему «плохо без жены живется, без стирающей рубашку». Так же как и в общекарельской традиции, герой подвергается различным трудным испытаниям, характер трудных заданий в некоторой степени отличается от карельской традиции, он ближе к сказочным: связать яйцо узлом, искупаться в ведре, попариться в огненной бане. Отличается и концовка песни: в южнокарельской традиции убежавшую жену обернули чайкой сидеть на берегу. В ижорских песнях жена выходит замуж против своей воли или убегает, или возвращается в отцовский дом.

Едиными для карельской и ижорской эпической традиции являются образы Калерво и Унтамо, но исследователи уже не раз замечали, что большее развитие сюжет о вражде между братьями получил только в ингерманландской традиции. Данный сюжет отражает внутренние противоречия родового общества, а не противоречия между обществом и природой или иноплеменным окружением. История края такова, что на протяжении многих столетий ижорская земля являлась ареной непрекращающихся войн. Это развивало в народе чувство самосохранения и сопротивления врагу. В какой-то степени это могло отразиться на развитии и сохранении данной эпической песни в Ингерманландии.

Женские образы пронизывают большую часть песен ижорцев. Подобное явление отмечается и в южнокарельской эпической традиции, где на первый план также выходит семейно-бытовая тематика. Баллады рассказывают нам о нелегкой женской доле, о положении молодой жены в доме мужа, о несправедливости девушки в доме родителей. Схожие с ижорскими сюжеты зафиксированы среди записей северных и южных карел. Это такие песни, как «Морские женихи», «Утраченные украшения», «Выкуп девушки», «Задержавшаяся у источника» и другие.

В заключение отметим, что многие сюжеты, мотивы и образы являются общими, это дает нам возможность говорить о генетическом родстве

карел и ижорцев. Конечно, особенности исторического развития Карелии и Ингерманландского края, взаимодействие с соседствующими культурами оказали влияние на формирование самобытных эпических карельских и ижорских традиции.

¹ Kirkinen H. Karjala Idän ja Lännen välissä. I. Venäjään Karjala Renessansiajalla (1478–1617). Helsinki, 1970. S. 15–16.

² Седов В. В. Этнический состав населения северо-западных земель Великого Новгорода (XI–XIV) // СА. 1953. № 18. С. 211.

³ Лаанест А. Ижорские диалекты: Лингвгеографические исследования. Таллин, 1966. С. 11–12.

⁴ Бубрих Д. В. Происхождение карельского народа. Петрозаводск, 1947. С. 32.

⁵ Хайду П. Уральские языки и народы. М., 1985. С. 95.

⁶ Рябинин Е. А. Финно-угорские племена в составе древней Руси. СПб, 1997. С. 71.

⁷ Kuusi M. Introduction // Finnish folk poetry / Epic / An Antology in Finnish and English. Helsinki, 1977. P. 42.

⁸ Киуру Э. С. Ингерманландская эпическая поэзия. Петрозаводск, 1990. С. 48.

⁹ Там же. С. 38.

© А. С. Степанова
Петрозаводск

Изучение карельских причитаний в XX и начале XXI в.

Причитания, как известно, долгое время являлись наименее изученным жанром устной поэзии. Как замечает У. С. Конкка, «научный интерес к карельским и другим прибалтийско-финским причитаниям, как к особому жанру народно-поэтического творчества, возник лишь в XX веке»¹.

В XIX в. исследование причитаний ограничивалось отдельными статьями описательного характера². Первой и тем особенно ценной была статья Э. Лённрота «О карельских причитаниях в России»³ (1836) с двумя образцами плачей, записанных им в 1834 г. в с. Ругозеро (ныне Муезерского района). Несмотря на непонятность языка и трудность записи, собрание причитаний тем не менее производилось (о собирании причитаний см. статью А. С. Степановой⁴).

В первые десятилетия XX в., как и в XIX в., карельскими причитаниями занимались финские ученые. С. Паулахарью, оставивший самый заметный след в собирании причитаний, благодаря случайной встрече с талантливой сказительницей и причитальщицей Анни Лехтонен из северокарельской дер. Войница, в 1916 г. публикует небольшую статью «О причитаниях Беломорской Карелии»⁵ с общей характеристикой жанра.

В ней впервые в литературе причитания получают восторженную оценку: «Самыми красочными, глубокими и эмоциональными из всей устной народной поэзии являются причитания...» Его не шокирует и процесс исполнения, как в свое время Э. Лённрота.

В 1924 г. выходит первое издание книги С. Паулахарью «Рождение, детство и смерть» (второе в 1995)⁶. Книга подготовлена на материале, записанном от Анни Лехтонен. В связи с описанием обряда похорон приводится полный цикл похоронных причитаний (36). Таким образом, это **первая** наиболее полная публикация севернокарельских текстов.

В 1924 г. В. Мансикка опубликовал небольшую статью «Туонела в плачах»⁷, где на материале карельских и ижорских причитаний попытался выявить представления о загробном мире Туонелы. Конкретной картины загробного мира не наблюдается, чаще всего в плачах имеются мотивы, описывающие путь в Туонелу – это нисхождение в подземный мир, где усопшего встречают ранее умершие родственники.

К проблемам карельских причитаний неоднократно обращался известный финский фольклорист М. Хаавио. В его популярной книге «Мир древней финской поэзии»⁸ имеется довольно большой раздел, посвященный причитаниям. Автор подводит итог того, что уже было написано и сказано о причитаниях предшественниками. Он, как и некоторые исследователи до него, не исключая русского влияния, подчеркивает самобытность и высокий уровень поэтичности прибалтийско-финских плачей, подтверждает предположения об их древности. Работа отличается серьезностью подхода к этому малоизученному жанру.

Проходит более 30 лет, прежде чем ученые вновь обращаются к причитаниям. В Финляндии поводом для этого становится создание 8-томной истории финской литературы, первый том которой полностью посвящен фольклору. Главу о причитаниях – «Поэзия причети»⁹ – поручают молодому фольклористу Л. Хонко. Позднее, в 1974 г., Л. Хонко писал о своих ощущениях: «Когда в 1962 г. я готовил общее описание плачевой поэзии, чувствовал, что нахожусь в пустыне. ...сегодня... положение существенно изменилось»¹⁰. Его работа отличается глубиной проникновения в природу причитаний, автор касается в ней почти всех **кардинальных вопросов**, связанных с исследованием жанра, – содержания и структуры, тематики и поэтики, распространенности их, особенностей у различных прибалтийско-финских народов. Особое внимание Л. Хонко уделяет обрядовой функции плачей, что не совсем четко учитывалось до него. Причитания, прежде всего, **обрядовая лирика**, а похоронные плачи – это «язык сакрального общения» с усопшими.

Эта работа стала отправной точкой для возобновления интереса к жанру, явилась своеобразной программой для последующего исследования плачей.

В те же годы предметом изучения в Финляндии становятся ижорские причитания. А. Ненола-Каллио публикует несколько статей, посвященных различным проблемам жанра, в 1982 г. выходит ее монография «Изучение ижорских причитаний»¹¹. Она же готовит публикацию ижорских и водских плачей, которая в силу определенных обстоятельств увидела свет только в 2002 г.

В 1950–60-е гг. начинается серьезное исследование причитаний и у нас, в Карелии. Заметим, что работа началась независимо от финских фольклористов. Статья Л. Хонко до нас еще не «дошла», связи с иностранными учеными были слабыми.

Запланированная кандидатская диссертация по причитаниям по объективным причинам не была завершена. Начался более интенсивный сбор материала, оказалось, что причитания еще встречаются в быту. Энтузиастом, ратовавшим за активизацию собирания, была У. С. Конкка, которая в тот период занималась сказкой. В Калевальском районе она встретила нескольких талантливых плакальщиц, к которым и направила меня, пришедшую в сектор фольклора в 1962 г.

Моя работа над причитаниями началась примерно в 1965–1966 гг. с изучения метафорического, то есть иносказательного языка севернокарельских причитаний (объем статьи 3 а. л.). Но так как не было серьезных публикаций плачей, мне предложили заняться подготовкой научного издания текстов. Сборник «Карельские причитания»¹² общим объемом 33 а. л. был подготовлен к 1972 г. Это было первое относительно полное издание карельских плачей в истории карельской и финской фольклористики (сюда не вошли плачи тверских карел). Он включал 233 текста с переводами на русский язык, расположенные по локальному, или территориальному, принципу, вступительную статью и многие другие атрибуты, необходимые в научном издании, а также нотное Приложение, содержащее 44 расшифровки, выполненные Т. А. Коски. Статью о музыкальных особенностях написала А. Г. Гомон, преподаватель консерватории.

Публикация открыла этот жанр карельского фольклора широкому кругу фольклористов. Книга получила неплохие отзывы. Если говорить о трудностях в работе, то самым сложным был перевод причитаний на русский язык. К тому времени причитаниями занялась У. С. Конкка, и все возникающие вопросы мы решали вместе, а также обращались за помощью к чл.-корр. АН СССР К. В. Чистову, который никогда нам не отказывал.

У. С. Конкка исследовала причитания с точки зрения их содержания и структуры, функций и связи с обрядами похорон и свадьбы. Ее монография «Поэзия печали»¹³ является единственным обстоятельным исследованием в этой области. Шаг за шагом автор рассматривает ход ритуалов похорон и свадьбы и неотрывную связь того или иного его элемента с причетью. Особенно важной была их роль в обрядах «отчуждения» – как в обряде похорон, так и свадьбы причитальщица психологически подготавливала родственников к разлуке с усопшим, невесту к отрыву от семьи, от своего рода. В обоих случаях разлука предполагалась вечной. В заключении автор подтверждает и развивает мысль Л. Хонко о том, что первоначальная функция метафоры и метонимов – именно иносказание, связанное с явлением табу, а не художественный, поэтический прием. Монографию смело можно назвать своего рода энциклопедией карельских причитаний.

Еще в рукописи (1975) работа получила высокую оценку ученых и была рекомендована к защите в качестве докторской диссертации, но по известным причинам на русском языке она вышла только в 1992 г., а до этого в 1985 г. была опубликована в Финляндии¹⁴.

Для меня следующим шагом стало изучение метафорического языка, а именно, **метафорических замен терминов родства**, в результате чего появилась монография «Метафорический мир карельских причитаний»¹⁵. В ней рассматривается система метафорических замен названных терминов, способы их образования, дана классификация и определены основные их особенности. В те годы у У. С. Конкка и у меня выходили статьи по различным вопросам, публиковавшиеся в отечественных и зарубежных изданиях, были доклады и выступления на семинарах. В 1980-е гг. интерес к причитаниям возрос, о них говорили на различных конференциях и симпозиумах. Остановлюсь здесь на двух симпозиумах, где причитаниям было уделено особое внимание. Симпозиум-73 проходил в Таллинне. На фольклорной секции из 13 докладов пять были посвящены причитаниям, в их числе и наши с У. С. Конкка.

Заметной вехой в истории изучения причитаний стал Симпозиум-79¹⁶, проведенный в Петрозаводске. Участвовали ученые из Москвы, Ленинграда, Эстонии и Финляндии. Все доклады фольклорной секции (16, из них 4 музыковедческих) были посвящены причитаниям: карельским, ижорским, вепсским, води, сету и русским.

Симпозиум стал для фольклористов важным этапом, на нем был обобщен опыт изучения жанра, намечены дальнейшие пути исследования и определены основные задачи. Обобщая то, что было высказано собирателями и исследователями ранее, Л. Хонко и на симпозиумах, и в статьях отмечал:

- необходимость **инвентаризации всех архивных и аудиозаписей**;
- **выработку условий для совместной работы и обмена** материалами (что и произошло вскоре между Архивом Карельского филиала АН СССР и Фольклорным архивом Общества финской литературы);
- **активизацию собирания** причитаний;
- **анализ репертуара** отдельных причитальщиц;
- **исследование процесса создания** плача, соотношение в нем импровизации и репродукции, степень стабильности и вариативности текста;
- **сравнительный анализ причитаний** в различных аспектах и др.¹⁷

В дополнение приведу еще некоторые, наиболее важные проблемы и задачи, высказанные исследователями в разное время. На первое место всегда ставилось **изучение языка причитаний, создание словаря этого уникального жанра**. Как образно писала У. С. Конкка еще в 1968 г., создается впечатление, что мы, «фольклористы, как бы не осмеливаемся переступить тот высокий порог, каковым представляется образный язык карельских плачей»¹⁸. Этот пробел в какой-то степени устранен.

На втором месте, пожалуй, стоит **вопрос сравнительного изучения как прибалтийско-финских причитаний между собой, так и сравнение их с русской плачевой традицией**, выявление общности и отличий, степени взаимовлияния и т. д., который пока остается открытым.

Выявление содержания и функций похоронных и свадебных причитаний в обрядах, а также соотношение двух обрядов – похоронного и свадебного. (Первая часть вопроса рассмотрена в монографии У. С. Конкка «Поэзия печали».)

Особый интерес представляет проблема **генезиса жанра**, решение которой остается открытым.

Исследование мелодического строя плачей находится еще в зачаточном состоянии. Имеются лишь отдельные замечания и выступления на конференциях Т. Коски, Т. Краснопольской, И. Семаковой, А. Гомон и некоторых финских музыковедов.

Проблем много, и перечень их можно продолжить. Как когда-то метко заметил Л. Хонко, проблемы легче ставить, чем их решать, и в то же время сослался на слова своего учителя М. Хаавио: «Правильная постановка вопросов в науке является не менее важной, чем правильные ответы на них»¹⁹.

Постепенно изучение причитаний к концу XX в. сокращается. Здесь уместно отметить наиболее важные публикации, посвященные либо полностью, либо частично причитаниям, где дается и характеристика публикуемых текстов. Так, в комплексном исследовании У. С. Конкка и А. П. Конкка «Духовная культура сегозерских карел...»²⁰ среди других устно-поэтических жанров публикуются и причитания, которые были записаны во время экспедиций

1972–1976 гг. в карельские деревни Медвежьегорского района. В книге Н. Лавонен «Песенный фольклор кестеньгских карел»²¹ опубликовано 28 причитаний, записанных от талантливой исполнительницы Федосьи Нионовой. Ижорские причитания были опубликованы в сборнике Э. С. Киуру, Т. А. Коски и Э. П. Кюльмясу²².

Это также работы финского акад. П. Виртаранта²³, посвященные карельскому фольклору как на территории Карелии, так и Тверской области²⁴, книга Ю. Пентикяйнена о сказительнице Марине Такало²⁵ и некоторые др.

Начало XXI в. ознаменовалось выходом из печати книги А. Ненола «Ижорские причитания»²⁶ (сборник текстов). Публикация заслуживает внимания и как серьезное исследование в области прибалтийско-финской плачевой традиции в целом со сравнительным анализом ижорских, водских и карельских причитаний. Уже внешне она выглядит внушительно (906 страниц, включая 645 причитаний с переводами на английский язык). Большая часть опубликованных текстов – это рукописные записи XIX–XX вв., но имеются и аудиозаписи, в частности, записи Э. С. Киуру (1966–1968 гг.), предоставленные Институтом ЯЛИ для публикации. В книге обширная вступительная статья с достаточно подробной, всесторонней характеристикой жанра, особенностей быта и традиций народов, проживающих в регионе. Имеется нотное приложение со статьей Я. Ниэми «О мелодическом строении ижорских причитаний». Наряду с основательным комментарием к текстам в книге множество различных таблиц и указателей, помогающих читателю ориентироваться в сложной структуре издания. Приводится краткий словарь трудных слов и выражений. Резюмируя, можно сказать, что книга является своеобразной энциклопедией по плачам ижор и води.

В 2003 г. вышел монографический сборник моих статей²⁷. В него вошли статьи, опубликованные в разные годы в различных изданиях, а также не публиковавшиеся ранее. С конца прошлого века моей основной работой являлось составление толкового словаря карельских причитаний, который и был опубликован в 2004 г.²⁸ Словарь включает 1350 слов и словарных статей, в которых дается пояснение их значений и функций в причитаниях, по возможности, – этимология отдельных слов. Самостоятельным разделом представлен полный перечень, или **Свод метафорических замен (МЗ)**, всех терминов, выявленных в причитаниях, поясняются принципы образования МЗ, дается их классификация и т. д. Разумеется, в одной работе невозможно охватить весь материал, подлежащий или нуждающийся в толкова-

нии, уже сейчас по ходу работы над новой темой я нахожу дополнения к словарю. В данном случае можно только сказать: трудно «объять необъятное», а язык причитаний – это действительно явление необъятное.

Таков краткий обзор изучения причитаний, а также задач и проблем, ждущих своего исследователя. Не хотелось бы заканчивать на пессимистической ноте, но кажется, что изучение причитаний приостановилось, желающих продолжать начатое – единицы. Заметим, что в университете Хельсинки обучаются две аспирантки, темой диссертации которых являются причитания: Э. Степанова занимается карельскими причитаниями, Г. Мишарина – причитаниями коми. Будем надеяться на новый всплеск интереса к этому уникальному жанру народной поэзии и верить, что это чуть приоткрытое «окно в прошлое» будет полностью открыто.

¹ Конкка У. С. Поэзия печали. Карельские обрядовые плачи. Петрозаводск, 1992. С. 11.

² Genetz A. Kuvaelmia kansan elämästä Salmin kihlakunnassa // Koitar. Helsinki, 1870. 1. osa; Porkka V. Inkerin itkuvirsistä // Valvoja. Helsinki, 1883; Forsström O. A. Kuvia Raja-Karjalasta. Helsinki, 1894; Neovius A. Suomalaisia itkuvirsia // Itä-Rajalta. Käkisalmi, 1894; в России в журнале «Живая старина» за 1894 г. выходят статьи учителя Святозерской школы Н. Ф. Лескова «Корельская свадьба» и «Погребальные обряды кореляков» с образцами плачей карел-людигов.

³ Lönnrot E. Itkuvirsiä Venäjän Karjalassa // Mehiläinen, syys-lokakuu, 1836.

⁴ Степанова А. С. Собрание и современное состояние карельских причитаний // Карельские плачи. Специфика жанра. Петрозаводск, 2003. С. 4–23.

⁵ Paulaharju S. Vienan Karjalan itkuvirsistä // Otava; Helsinki, 1916. S. 535–540.

⁶ Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuolema. Porvoo; Helsinki, 1924, 1995.

⁷ Mansikka V. J. Itkujen Tuonela // Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia. Helsinki, 1924. S. 52.

⁸ Naavio M. Suomalaisen muinaisrunouden maailma. Helsinki, 1935. S. 210–240.

⁹ Honko L. Itkuvirsirunous // Suomen kirjallisuus. Kirjoittamaton kirjallisuus. I. Helsinki, 1963. S. 81–128.

¹⁰ Honko L. Itämerensuomalaisen itkuvirsirunouden tutkimus // Kalevala-seuran vuosikirja. 1974. № 54.

¹¹ Nenola-Kallio A. Studies in Ingrian Laments. Helsinki, 1982.

¹² Карельские причитания / А. С. Степанова, Т. А. Коски. Петрозаводск, 1976.

¹³ Конкка У. С. Указ. соч.

¹⁴ Konkka U. Ikuinen ikävä. Karjalaiset riitti-itkut. Helsinki, 1985.

¹⁵ Степанова А. С. Метафорический мир карельских причитаний. Л., 1985.

¹⁶ Симпозиум-79 по прибалтийско-финской филологии. 22–24 мая 1979: Тез. докл. Петрозаводск, 1979.

¹⁷ Honko L. Itkuvirsien vertailevasta tutkimuksesta // Симпозиум-79. С. 11–12.

¹⁸ Konkka U. Karjalaisen itkuvirsirunouden tutkimuksen ongelmia // Virittäjä. 1968. № 2. S. 175–181.

¹⁹ Honko L. Itämerensuomalaisen itkuvirsirunouden tutkimus.

²⁰ Духовная культура сегозерских карел конца XIX – начала XX в. / Изд. подгот. У. С. Конкка, А. П. Конкка. Л., 1980.

²¹ Песенный фольклор кестеньгских карел / Изд. подгот. Н. А. Лавонен. Петрозаводск, 1989.

²² Народные песни Ингерманландии / Изд. подгот. Э. С. Киуру, Т. А. Коски, Э. П. Кюльмясу. Л., 1974.

²³ Virtaranta P. Vienan kansa muistellee. Porvoo; Helsinki, 1958; Anna Vasiljevna Tsesnakovan kerrontaa ja itkuvirsiä. Helsinki, 1994; Virtaranta Pertti ja Helmi: Ahavatuulien armoilla. Itkuvirsiä Aunuksesta. Toimittaneet R. Koponen ja M. Torikka. Helsinki, 1999.

²⁴ Virtaranta P. Suruvirret suuhun tuopi. Helsinki, 1989; Virtaranta Pertti ja Helmi. Kauas läksit karjalainen. Helsinki, 1986.

²⁵ Pentikäinen J. Marina Takalon uskonto. Helsinki, 1971.

²⁶ Nenola A. Inkerin itkuvirret. Ingrian Laments. Helsinki, 2002.

²⁷ Степанова А. С. Карельские плачи. Специфика жанра. Петрозаводск, 2003.

²⁸ Степанова А. С. Толковый словарь языка карельских причитаний. Петрозаводск, 2004.

© Э. П. Степанова
Хельсинки (Финляндия)

Скрытый мир плачей П. С. Савельевой

Причитания, или плачи, – древнейший жанр устной ритуальной поэзии – были известны по всему миру и у всех народов¹. Сейчас плачи встречаются очень редко, но в российской Карелии их еще можно услышать. В карельских причитаниях, помимо ритуальных моментов и выражения чувств утраты, печали, тоски, одиночества, присутствуют множество скрытых значений, проявляющихся в языковых формулах. Рассмотрим, что могут рассказать причитания талантливой карельской плакальщицы Прасковьи Степановны Савельевой² о понимании мироустройства карел Сегозерья.

При подготовке исследования³ в нашем распоряжении находились около 100 причитаний П. Савельевой. С 1970-х гг. и по 2001 г. исследователи Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН систематически записывали от П. Савельевой частушки, песни, загадки, пословицы и причитания. Хотелось бы выразить глубокую признательность и сердечную благодарность сотрудникам института, которые за эти годы собрали и сохранили уникальный материал, а также за предоставленные копии причитаний.

Выбранные в качестве объекта исследования похоронные и бытовые причитания П. Савельевой были рассмотрены, в частности, в свете формульной теории устной народной поэзии Oral Formulaic Theory. Основоположниками ее были Альберт Лорд⁴ и Милман Перри⁵, создавшие первые положения теории еще в 1930-е гг. Несмотря на жесткую критику, предложенная А. Лордом и М. Перри теория

продолжала развиваться, и одним из значимых и известных последователей теории стал американский ученый Джон Майлс Фолей⁶.

Согласно теории Лорда-Перри, устная поэзия характеризуется сплошной формульностью, при этом народный поэт не повторяет заученные традиционные произведения, а создает каждый раз новые в процессе своего исполнения, используя традиционные формулы и тематическую основу. Этим объясняется наличие множества различных вариантов одного и того же произведения. При создании устного произведения какого-либо определенного жанра поэт использует различные формулы, клише, которые складываются в более крупные единицы произведения – идеи и темы. При этом получившаяся тема не является постоянной языковой единицей, а лишь группой идей, которые могут варьироваться у разных исполнителей, в разных репертуарах, в различных регионах.

Причитания П. Савельевой также являются своеобразной импровизацией, а не заученными готовыми текстами и создаются именно в процессе исполнения. Примером этому может служить анализ похоронного плача Савельевой «О прибытии дочери на похороны матери»⁷, где явно выделяются четыре основные темы: 1. Окружающая среда изменилась до неузнаваемости. Матери не видно нигде; 2. Покойница уже обряжена для похорон, больше никогда не сможет беседовать; 3. Рассказ дочери о своей нелегкой жизни, о несчастной доле; 4. Просьба о прощении. Первая, вторая и четвертая темы являются обязательными, традиционными для данного момента похоронного обряда. Они в свою очередь состоят из определенных идей, которые выражаются одной или несколькими формулами. Интересно, что третья тема не обязательна для этого типа причитаний, а представляет собой внеобрядовый автобиографический плач, включенный талантливой женщиной в плач похоронный. Это лишний раз доказывает, что плач создается в каждой конкретной ситуации заново, но традиционным языком и темами.

Сама плакальщица не смогла точно ответить на вопрос, как создаются плачи. В 1999 г. мы с А. С. Степановой побывали у П. Савельевой и пытались узнать, каким образом она причитывает, как рождается плач. На все наши попытки выяснить этот вопрос, Прасковья Степановна отвечала, что плач нужно только начать, а остальные «слова» придут сами собой. Мы спрашивали, обдумывает ли она плач про себя, мысленно, на что она отвечала: «Нет, нет, нельзя так делать».

Д. М. Фолей, отталкиваясь от формульной теории, расширил ее, учитывая роль не только исполнителя, но и слушателя устного народного произведения,

а также место исполнения. Его «Immanent Art»⁸ позволяет по-новому «прочитать» традиционное устное произведение, распознать за словесными формулами и структурой более широкие значения, вкладываемые в традиционную поэзию не только исполнителем, но и слушателем, то есть народом. Во время исполнения достигается взаимная «коммуникативная экономия» (communicative economy)⁹ – поэту необязательно тратить лишние слова на вступления или какие-либо предварительные объяснения, слушатели практически сразу понимают, о чем пойдет речь, произведение какого жанра народной поэзии будет сейчас перед ними исполнено, поэтому сказитель может использовать максимально сжатые смысловые единицы.

Между исполнителем и слушателем не возникнет полного понимания, если они будут говорить на разных поэтических языках. Поэтому Д. М. Фолеи выделяет особый, специфический для каждого жанра устной народной поэзии **регистр**, который включает кроме слов и выражений грамматическую, синтаксическую структуру, а также любые особенности и отличительные черты данного жанра. Регистр может быть идиолектным – присущим только данному исполнителю, диалектным, то есть присущим представителям данного региона, и национальным поэтическим языком, присущим целому этносу¹⁰.

Как мы знаем, главной особенностью карельских плачей является их особый поэтический язык, полный закодированных выражений или метафорических замен, которые остаются непонятными непосвященному слушателю. При этом как язык причитаний, так и исполнение плачей подчиняются определенным правилам – это аллитерация, параллелизм, обилие множественного числа и уменьшительно-ласкательных форм¹¹ и другие. Все это образует регистр карельских причитаний. Как известно, Карелию можно разделить на три региональные традиции плачей: севернокарельскую, среднекарельскую и южнокарельскую, различные по языку, некоторым поэтическим и стилистическим приемам. Между ними нет четких границ и переход от одной традиции причитывания к другой происходит постепенно и плавно¹². Поэтому мы можем с полной уверенностью говорить и о национальном, и о диалектном регистре причитаний, так как нам известны как общекарельские, так и локальные особенности плачей и их исполнения.

Сложнее вычленить идиолектный регистр, для этого требуется провести сравнительные исследования причитаний разных плакальщиц одного и того же региона. На основании анализа причитаний П. Савельевой можно с большей долей уверенности предположить, что каждая талантливая женщина-плакальщица накапливает за свою жизнь определенный регистр, которым и пользуется при исполнении плачей. Выбор слов плача является идиолектным, но сами языковые формулы входят в диалектный регистр.

Многие исследователи, как русские, так и финские, считают, что поэтический и непонятный язык карельских плачей указывает на их древность и высокий уровень развития¹³. В связи с этим можно предположить, что в причитаниях помимо древнего языка сохранились и представления, например, о строении окружающего мира карел. На примере причитаний П. Савельевой мы попытались выяснить, что скрывается за ее плачами, за используемыми ею словесными формулами.

Проанализировав регистр похоронных и бытовых причитаний П. Савельевой и вычленив все подчиняющиеся общим правилам формулы, идеи и темы, мы пришли к выводу, что язык причитаний плакальщицы можно разделить на две основные группы. Первая группа представляет собой **универсальный язык или регистр**, то есть формулы, которые используются ею во всех причитаниях независимо от контекста, места или повода для исполнения. В первую группу входят все термины родства, «эго» женщины-исполнительницы и термины строения мира.

Другая, более обширная группа регистра, зависит от контекста исполняемого плача. В этой группе находятся все остальные формулы языка плачей. Женщина, исполняющая плач, может свободно выбирать из этой группы любые языковые формулы, которые ей нужны для выражения определенных тем с заданным контекстом. Здесь также встречаются несколько подгрупп. Есть группа формул, которые относятся только к похоронным и к поминальным плачам, есть «слова» для выражения различных чувств – печали, радости, утраты, есть метафорические замены, обозначающие оружие и машины, друзей и врагов, особые просьбы о прощении или благословении, выражение благодарности.

Остановимся подробнее на первой группе регистра (универсальном). Метафорические замены терминов родства почти всегда имеют положительный оттенок, например, *kallis naine kandajazeni* – дорогая женщина, меня выносившая – мать или *arnas hyväzeni* – дорогой мой хороший – отец. Нужно заметить, что в последние годы закон иносказания стал нарушаться и поэтому в современных плачах мы можем встретить прямые названия родственников. В плачах П. Савельевой встречаются иногда и замены с отрицательной направленностью, например, про мужа, который пьет водку и обижает жену, она говорит *karu da karu ottamien omena* – жестокий да жестокий плод / яблоко [чужих] принятых¹⁴.

«Эго» женщины-исполнительницы, самая обширная подгруппа, всегда несет в себе негативный оттенок. Это отрицательный, или негативный, эпитет «несчастливая», «бедная», «уставшая» и так далее, к которому исполнительница может добавить «женщина» или «стан» – тело, например, *vaibunut vardut* – уставший стан.

В плачах П. Савельевой мир делится на три части – это Боги или некие высшие существа – **Spuassuzet** (от рус. Спас-Христос), загробный мир и его обитатели, а в свадебных плачах и иконы – **syndyzet** и, наконец, реальный мир, в котором живут люди – **muailma**. Все они имеют положительную окраску, плакальщица говорит, например, прекрасные, чудесные Спасушки. Можно предположить, что Спуассузет обитают где-то в верхнем мире, хотя в плачах П. Савельевой нет четкого на это указания. Предположение основывается на том, что Сюндюзет относятся прежде всего к загробному миру, хотя могут обозначать и каких-то божественных существ, тогда как Спуассузет в ее плачах никогда к загробному миру отношения не имели. В похоронных причитаниях есть также упоминание о том, что в загробный мир нужно спускаться **вниз** по ступеням. На приведенной схеме Сюндюзет условно расположены внизу, а Спуассузет –верху. У карел, особенно северных и сегозерских, нет конкретного представления о загробном мире¹⁵. Они не отличают местонахождения присущих христианству ада или рая, откуда и вытекает неопределенное местонахождение Спуассузет и Сюндюзет, у южных карел представление о загробном мире уже более конкретизировано в связи с большим влиянием христианства.

Итак, в универсальный язык, или регистр, входят обязательные для каждого плача «слова». Это основа языка причитаний, без них плач уже не будет плачем. Они встречаются в любом причитании, независимо от того, по какому поводу исполняются – на похоронах, при проходах в армию или вне обряда. Эта часть регистра плачей более законсервирована и менее подвержена влияниям извне, или изменениям. Если обобщить и проанализировать понятия, входящие в первую группу, то перед нами предстает устройство мира в понимании П. Савельевой, а также место самой плакальщицы и окружающих ее людей в этом мире. Кроме того, проследив все контексты, где упоминаются Спуассузет или Сюндюзет, можно отчасти узнать, какими видит их именно Прасковья Степановна – кто такие Спуассузет, за что они отвечают, какова их функция в мироустройстве. Учитывая, что регистр ее причитаний, одновременно и идиолектный, и диалектный, является частью целостного поэтического национального регистра данного жанра устной народной поэзии, можно с уверенностью говорить и о том, что представление плакальщицы об устройстве мира – общее для карел Сегозерья. В свою очередь, пока еще рано говорить об общекарельском представлении о строении мира без анализа причитаний всех локальных плачевых традиций Карелии.

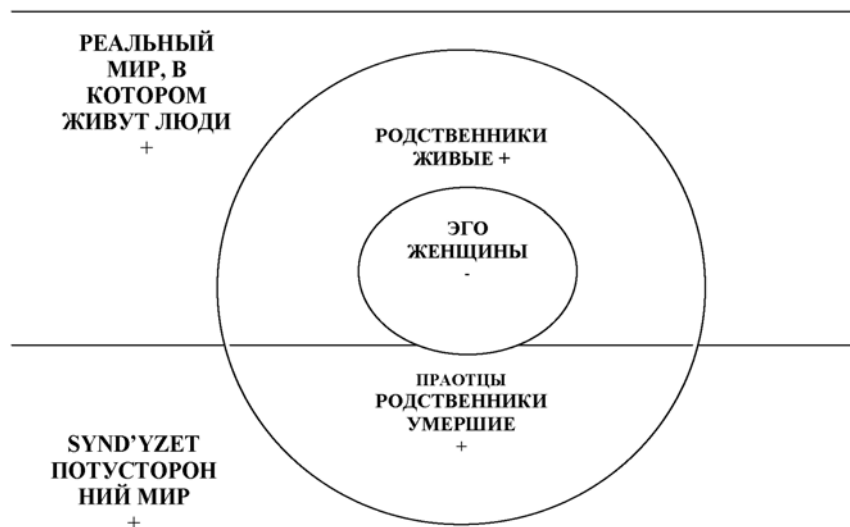
Присутствие в каждом плаче самой женщины-плакальщицы очень символично. Естественно, она выражает в своих плачах именно свои чувства, свои мысли, рассказывает о своей жизни, но при этом она пропускает через себя и чувства других людей, рассказывает о чужой жизни через призму своего «я» и своего мироощущения. Особенно это относится к внеобрядовой причети.

В обрядовых плачах, например, в похоронных, у П. Савельевой очевидна роль женщины как моста или звена, соединяющего мир живых с миром мертвых, что подмечает и исследователь ижорских причитаний А. Ненола. Именно женщина-плакальщица должна провести душу умершего в мир мертвых, обезопасив оставшихся в живых. Таким образом, плакальщица выполняет важную общественную функцию «проводника» между мирами, связывая всех в реальном мире, она выражает как личную, так и коллективную скорбь по умершему¹⁶. Кроме того, и после похорон женщина берет на себя обязанность хранить память о покойном, в этом случае на могиле исполняются поминальные плачи.

SPUASSUZET

БОГИ

+



За словесными выражениями в причитаниях П. Савельевой мы видим и строение мира, и место в этом мире женщины-исполнительницы и окружающих ее людей, в основном родственников. При этом Спущасузет-боги определяют судьбу и участь людей, они также боги-создатели, например, природных явлений и объектов. А Сюдюзет – это мир мертвых, куда уходят покойные и где живут предки-прародители. Прасковья Степановна была православной и, как выяснилось в интервью, знала основы православия, но говорила о них несколько заученно с долей определенной неуверенности, зато в ее плачах картина мира представляла всегда неизменной. Это лишний раз показывает, что ввиду своеобразия жанра соседние культуры, языки или верования оказали на сегозерские причитания намного меньшее влияние, чем на другие жанры фольклора.

Это лишь некоторые выводы, сделанные на материале причитаний П. Савельевой. Можно еще говорить о взаимосвязи карельской обрядовой и внеобрядовой причеты с устным народным творчеством соседних народов, например, русских или вепсов, о структуре причитаний, о тематической структуре автобиографических плачей.

Многие вопросы изучения карельских причитаний уже в какой-то степени решены и в этом большая заслуга сотрудников Института языка, литературы и истории. Все же многие вопросы остаются еще без ответа и задача молодого поколения исследователей не оставить без внимания этот сложный, но очень интересный жанр карельского фольклора.

¹ См. например: Honko L. Itkuvirsirunous // Suomen kirjallisuus. Kirjoittamaton kirjallisuus. I. Helsinki, 1963. S. 81–128; Конка У. С. Поэзия печали. Петрозаводск, 1992; Степанова А. С. Метафорический мир карельских причитаний. Л., 1985.

² Подробнее о П. С. Савельевой см.: Степанова А. С. Карельские плачи: Специфика жанра. Петрозаводск, 2003. С. 183–189.

³ Stepanova E. Itku, itkukieli ja itkijä. Helsingin yliopisto, folkloristiikan laitos, 2004. Käsikirjoitus.

⁴ Lord A. B. The Singer of Tales. New York, 1960.

⁵ Parry M. Whole formulaic verses in Greek and southslavic heroic song. 1933 // The making of Homeric verse. Reprinted; New York, 1980.

⁶ Foley J. M. How to Read an Oral Poem. University of Illinois Press, 2002; <http://www.oraltradition.org/>

⁷ Карельские причитания / А. С. Степанова, Т. А. Коски. Петрозаводск, 1976. Текст № 85.

⁸ Указ. соч. С. 109–125; Foley J. M. Immanent Art: From Structure to Meaning in Traditional Oral Epic. Bloomington, 1991.

⁹ Указ. соч. С. 117.

¹⁰ Harvilahti Lauri in collaboration with Zoja S. Kazagačeva. The Holy Mountain. Studies on Upper Altay Oral Poetry. Helsinki, 2003. S. 95–96.

¹¹ Степанова А. С. Метафорический мир.; Она же. Толковый словарь языка карельских причитаний. Петрозаводск, 2004.

¹² Степанова А. С. Метафорический мир... С. 16–17.

¹³ Lönnrot E. Itkuvirsiä Venäjän Karjalassa // Mehiläinen, syys-lokakuu, 1836; Haavio M. Suomalaisen muinaisrunouden maailma. Helsinki, 1935. S. 213; Конкка У. С. Указ. соч. С. 8.

¹⁴ Подробнее о метафорических заменах см.: Степанова А. С. Метафорический мир...; Она же. Толковый словарь...

¹⁵ Конкка У. С. Указ. соч. С. 49.

¹⁶ Nenola A. Inkerin itkuvirret. Ingrian Laments. Helsinki, 2002. S. 29.

© Н. Ф. Онегина
Петрозаводск

Русско-вепско-карельские фольклорные связи на материале волшебной сказки

Рассмотрим некоторые русско-вепско-карельские сказочные связи на уровне сюжетов путем сравнения однотипных сказок разных народов.

Исследуем смысловую сюжетную композицию, тематическое наполнение сюжетной схемы, функции действующих лиц (персонажей сказки).

Основываясь на открытии В. Я. Проппа о парности большинства функций в сказке, Е. М. Мелетинский выдвигает проблему изучения волшебной сказки по бинарным блокам, то есть большим синтагматическим единствам, представляющим собой различные виды испытаний, завершающихся получением сказочных ценностей.

В основу сравнительного анализа русско-вепско-карельского сказочного эпоса мы взяли алломорфы (отличия по форме) каждого вида испытаний, символику записи даем по работе В. Я. Проппа «Морфология сказки»¹. Для понимания общности знаковых систем прилагаем сводную таблицу обозначений со схемой сюжета «Чудесные дети» (СУС² 707).

Тип по СУС	Вредительство (или недостача)	Предварительное испытание ДГ'Z = Eλ	Основное испытание З-Р или Б-П; Л = EL	Дополнительное испытание ТУОНС* = E'Л'
707 I версия	I ход A ^{12/10} II ход A ¹ III ход a ³	Z ³ (Z)	Л ¹⁰ Л ⁴ Л ⁴	T ² УОН с ²
707 II версия	I ход A ^{12/10, 15} II ход a ³ A ¹¹	Д ⁷ Г ⁷ Z ⁷	Л ¹⁰ Л ^{4/IX}	(T ²) УОН

Всякий сказочный сюжет начинается с какого-либо вредительства (A) либо с недостачи чего-либо (a).

Предварительное испытание – это встреча героя с дарителем – реакция героя на его требования – получение волшебного средства, то есть $ДГZ = E\lambda$.

Основное испытание – это задача-решение или борьба-победа; любая иная ликвидация беды: $З-Р$, $Б-П$; $L=E\lambda$.

Дополнительное испытание на идентификацию героя: трансфигурация; узнавание; обличение; наказание; свадьба: T ; Y ; OH ; $C=E' L'$.

При структурно-синтагматическом анализе каждый вид испытаний изучается как конкретный сказочный эпизод, выбор которого с учетом причинно-следственных связей и составляет определенный вариант сказки. Общая композиционная схема не исключает варьирования в количестве и выборе этих эпизодов. Полный набор их не обязателен в каждом конкретном случае. Сюжетный тип отличается выбором вида испытаний для решения ведущего конфликта, системой и способами исполнения функций. Различные способы осуществления последних являются признаками национальных и региональных версий. При структурно-синтагматическом анализе с применением большого количества примеров сравниваемых сказок разных народов исключается сравнение единиц разных уровней и становится отчетливой грань между интернациональным и национальным в фольклорных традициях народов.

Из анализируемых сказок возьмем схемы выше обозначенного сюжета, отраженного в текстах общерусских (их 80 по СУС), в опубликованных и архивных русских сказках Карелии – 30 текстов; в карельских – 57; вепсских – 15.

Дадим структурно-типологическое описание двух версий:

1. Русская версия сюжета (СУС 707)

1 ход. Чудесных (золотых) сыновей царицы подменяют (вредительство – A^{12}); ее закупаживают в бочку и бросают в море (вредительство – A^{10}). Сын, спрятанный царицей, вырастает в бочке и разламывает ее, плененные освобождаются, попадают на необитаемый остров (ликвидация беды – L^{10}). Сын, применяя свои магические способности или волшебное средство, строит дворец, дом и т. п. (трансфигурация – T^2).

2 ход. Герой узнает об исчезнувших братьях (похищены антагонистом – вредительство – A^1), решает идти на поиски (отправка – $C\uparrow$); мать печет колобки на своем грудном молоке (волшебное средство изготавливается – Z^3); с их помощью найдены братья (ликвидация беды – L^4).

3 ход. Для привлечения внимания царя недостает разных диковинок (недостача – a^3). Герой вновь применяет свои магические умения и приобретает их (ликвидация недостачи – L^4); весть о них привлекает царя, и

он приезжает, узнает жену и детей (узнавание – У), наказывает виновников бедствия (наказание – Н) и возобновляет брак (с²).

II. Западноевропейская версия сюжета (СУС 707)

1 ход. Детей царицы подменивают (вредительство – А¹²) и бросают в воду (вредительство – А¹⁰). Оклеветанную царицу заточают (вредительство – А¹⁵). Детей спасают (ликвидация беды – Л). Живя у спасителя, они взрослеют, строят дом, выращивают сад (условно трансфигурация – Т²).

2 ход. Недостает разных диковинок (а³). Братья отправляются добывать их и не возвращаются (отправка – С↑).

3 ход. Не дождавшись братьев (они околдованы антагонистом – вредительство – А¹¹), сестра отправляется на поиски (С↑). Героиня встречает дарителя, выдерживает испытание и получает волшебное средство (Д⁷Г⁷З⁷), в результате чего добывает диковинки (ликвидация недостачи – Л⁴) и оживляет братьев (ликвидация первоначальной беды – Л^{IX}). Истина выясняется – Л^{4/IX}, виновные наказаны (обличение – О, наказание – Н).

При сопоставлении обнаруживаются различия в одноуровневых элементах сказок. В этих версиях отличаются переменные величины – способы исполнения функций. Например, вредительство А¹⁰ (бросание в море) в первом случае, во втором А¹⁵ (заточение оклеветанной царицы). Вредительство, учиненное над братьями героя (героини), тоже разное: А¹ (братья похищены и спрятаны); А¹¹ (околдованы, превращены в камни).

Различия в формах вредительства предопределяют своеобразие последующих звеньев. В западной версии героиня, пройдя предварительное испытание, добывает живую воду и возвращает братьев к жизни (ДГЗ–Л^{4/IX}). Ср.: Аф.³ № 288, карельск. текст КНС I⁴, № 49. В версии русской – братья узнают друг друга с помощью иного волшебного средства – коlobка, испеченного на грудном молоке матери (З³–Л⁴). Испытание на идентификацию героя тоже осуществляется иным способом, чем в русской версии. Посредником является птица-говоруня, раскрывающая царю истину, в то время как в русских, вепсских и карельских вариантах первой версии узнавание детей царем происходит по их внешним атрибутам (золотым рукам, ногам, волосам). Следовательно, перед нами две версии, своеобразно разработанные, но имеющие общую сюжетную композицию с семейным конфликтом в основе. Объектами борьбы являются невинно гонимые.

Посмотрим, как это выглядит в синтагматических рядах сопоставлений (карельские и вепсские тексты везде даны в нашем переводе. – Н. О.).

Русско-вепско-карельские параллели

Сюжет 707 «Чудесные дети» (русская версия)

Аф. № 284
(Рус. – сер. XIX в.)

ККН⁵ II, с. 4–8
(Карельск. – конец XIX в.)

NAKM. ⁶ № 196
(Вепс. – конец XIX в.)

Подмена чудесных детей (вредительство – А¹²)

Яга-баба пришла, отобрала у Марфы Прекрасной трех сыновей, а на замен оставила трех поганых щенят.

Бабка Сюяттар унесла детей в открытое поле на зеленую ниву, а взамен принесла щенят.

Яги-баба детей вымыла и спрятала, трех щенят притащила: «Смотри, что жена родила».

Бросание в море (новое вредительство – А¹⁰)

Посадили царевну вместе с сыном в бочку, заколотили, засмолили и бросили в океан-море широкое.

Царевич сделал дубовую бочку, набил железные обручи, жену с ребенком сажает туда и бросает в море.

Иван-царевич сделал бочку, железные обручи набил, в бочку жену посадил, с собой топор дал и в море опустил.

Плененные освобождаются (ликвидация начальной беды – Л¹⁰)

Долго носило бочку по морю, наконец, прибило к берегу; стала бочка на мель. А сын Марфы-царевны рос не по дням, вырос большой и говорит: «Матушка! Я потянусь...»

Бочка плавает в море семь лет, мальчик вырос там, стал большим. Говорит матери: «Я потянусь?» Мать говорит: «Потянись (букв. – пни) сейчас, сынок». Он как пнул, бочка развалилась, и они попали на берег.

Поди знай, сколько лет шатались по морю, вырос парень тут <...> Тесно стало в бочке, просит мать: «Благослови меня, я щель пробью». Он стукнул по желобу в бочке, и бочка надвое раскололась, и они пошли по песку за море.

Дети найдены (ликвидация беды – Л⁴)

Пришел к старому дубу, отвалил камень, глянул и увидел своих братьев: сидят вокруг стола в подземелье. Он спустил им по одному хлебцу; братья съели и заплакали: «Эти хлебцы кабыть на молоке нашей матушки!»

Мальчики спят, а мать кладет им в изголовье каждому колобок. Мальчики просыпаются, нюхают: что за чудо, как будто бы пахнет молоком нашей матери. Мать вышла к ним, и отправились все вместе домой.

Мать из своих грудей надоила молока, испекла колобы. Мальчик пошел, колобок сунул в амбар через дырку, и братья разломали колобок на кусочки попробовать: «Как будто из молока нашей матушки испечены».

В статье «Вепские сказки о невинно гонимых»⁷ нами дан структурно-синтагматический анализ ряда сюжетов, в том числе более подробно иллюстрируются тексты с сюжетами «чудесные дети».

Итак, в Карелии среди русских, карел и вепсов широко бытует русская версия названного сюжета. Интересно замечание собирателя XIX в. Варонена о том, что эту сказку знают почти все сказители карельских деревень, где ему довелось записывать: Вокнаволок, Ухта, Юшкозеро, Ругозеро (SKS II, с. 141)⁸. Кстати, все перечисленные населенные пункты относятся к Северной Карелии. Но, как считает У. С. Конкка, эта версия сказки распространена по всей Карелии (КНС I, № 42, примечание). Западноевропейская трактовка в известных нам вепских записях отсутствует и почти не встречается у южных карел.

Глубокие культурные и исторические связи русских, вепсов и карел подтверждает и то, что исследователи подобную «русскую» версию называли самобитной сказкой восточных славян.

Появление русской версии сюжета в среде карел и вепсов можно объяснить разными причинами, отчасти этногенезом карельского народа, новгородской колонизацией, миссионерством, позднее – отходничеством, ассимиляцией, билингвизмом (двуязычием) вепсов и карел и т. п.

У восточных угров и северных народностей русская версия сюжета «Чудесные дети» имеет иную разработку в основных звеньях структурного ряда. Чудеснорожденное дитя, брошенное в море с камнем на шее, остается жить на морском дне. Обитатели водной стихии заботятся о нем и считают своим. Но мальчик иногда выходит на берег, где его ловят. Видоизменение основного вредительства ведет за собой и иные формы ликвидации беды, поиска пропавших братьев и т. д. Иначе говоря, это новая версия, отличная от изучаемых нами⁹.

Особенно своеобразно у вепсов, карел и у других финно-угорских народов выглядят главные персонажи сказок: герой и антагонист, в них больше, чем в русских классических сказках, реминисценций мифологического воззрения на мир. Но это уже тема другого исследования.

Западноевропейскую версию (о поющем дереве, птице-говорушке и живой воде), как уже говорилось, мы не обнаружили у вепсов в нашем материале, а у карел нашли только шесть вариантов, все они из Северной Карелии. Появление ее в западной Европе исследователи относят к книжной традиции. Первая в мире запись сюжета относится к середине XVI в. – это итальянский сборник Страпаролы (Straparola, *Le piacevoli notti*, I–II, 1550–1553 гг.).

Трудно установить родину этой всемирно распространенной сказки, однако известно, что в Индии от хинди была записана эта версия сказки; в книжном источнике она есть в арабском сборнике «Тысяча и одна ночь» (в основе свода – индийские волшебные сказки, французский перевод Г. Галлана, 1704–1717 гг.)¹⁰. Есть основания рассматривать эту сказку как пришедшую в Европу с Востока. В Европе эта версия очень широко распространена.

Изучая тексты севернокарельской сказительницы М. И. Михеевой, нами были обнаружены в коллекции примечания собирательницы, где отмечено, что сказочница читала финскую книгу «Suomalainen lukukirja»¹¹. Исследовательница карельского фольклора У. С. Конкка в книге «Карельские народные сказки» утверждает, что карельские варианты этой версии сюжета близки к финским (КНС I, примечание). Вероятнее всего, это и есть путь проникновения западноевропейской версии в Карелию.

Наличие разных версий одних и тех же сказочных типов доказывает, что сюжет очень изменчив. При изучении его можно найти опору в твердом структурном подходе к материалу, основываясь на постоянных элементах (функциях). Они образуют четкую систему иерархически расположенных бинарных блоков. Деление сказок на большие синтагматические единства имеет свои преимущества, ибо дает возможность рассмотреть изучаемое явление без лишнего детализирования, что важно при синтезе.

В изучаемых сюжетах обнаруживаются две основные композиционные группы. Они отличаются выбором испытаний:

1) сюжеты с тремя испытаниями (предварительным, основным и дополнительным);

2) сюжеты с двумя испытаниями (предварительным, эквивалентом основного, и дополнительным).

Ведущими признаками следует считать предварительное и основное испытание, выбор и оформление которых отличает сюжетные типы один от другого. Более развитая форма волшебной сказки имеет все три испытания. Но внутри этой композиционной группы есть разновидности:

а) разрешение конфликта через З–Р (задачу–решение);

б) разрешение конфликта через Б–П (борьбу–победу).

Дальнейшая дифференциация типов основывается на различиях в способах исполнения функций. При морфологическом анализе следует учитывать перемещение форм материала, нарастание конфликта и усложнение фабулы, ведущие к изменению идейного содержания произведения.

Проводя параллели к сказкам других народов, устанавливаем, что целый ряд западноевропейских сказок (финских, немецких, норвежских и т. д.) укладывается в составленную для русско-вепсско-карельских параллелей типовую схему. Это дает возможность прийти к более широким обобщениям и выводам. Думается, что определенный слой сказочного эпоса следует рассматривать не только в рамках национальных, но и шире – в границах культурных ареалов. Структурная типология во многом помогает изучению жанров в сравнительно-историческом плане. Сюжетный репертуар карельских и вепских сказок в основном совпадает с восточнославянским, примыкая к севернорусской традиции.

¹ Пропп В. Я. Морфология сказки. Изд. 2. М., 1969. С. 127–132. Здесь же: Мелетинский Е. М. Структурно-типологическое изучение сказки. С. 134–162).

² Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Л., 1979 (далее – СУС).

³ Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. М., 1957–1958 (далее – Аф.).

⁴ Карельские народные сказки. М.; Л., 1963 (далее – КНС I).

⁵ Karjalan kielen näytteitä, 2. osa. Helsinki, 1934 (далее – KKN II).

⁶ Näytteitä äänis- ja keskivepsän murteista. Helsinki, 1951 (далее – NÄKM).

⁷ Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1983. С. 135–157.

⁸ Suomalaisia kansansatuja. 2. osa. Kuninkaallisia satuja. 1: viikko. Toim. K. Krohn. Helsinki, 1893 (далее – SKS II).

⁹ Мордовские народные сказки. Саранск, 1954. С. 3.

¹⁰ Зуева Т. В. Образование одной из версий сказки «Чудесные дети» в восточном фольклоре // Проблемы изучения русского устного творчества. Вып. 6. М., 1979. С. 3–16.

¹¹ Архив Карельского научного центра РАН. Оп. 2. Кол. 22, 13.

© А. С. Лызова
Петрозаводск

Зооморфные персонажи – похитители женщин в русских и прибалтийско-финских волшебных сказках

Известная исследовательница карельского фольклора У. С. Конкка справедливо заметила, что «сказка – самый интернациональный из всех жанров фольклора»¹. Волшебная сказка как жанровая разновидность не является исключением. Безусловно, в волшебных сказках разных народов встречаются одинаковые сюжеты и мотивы, в них действуют похожие персонажи, что отражается в указателях Аарне-Андреева, Аарне-Томпсона, в СУС² и др. Особенно это обстоятельство характерно для фольклорных текстов народов, живущих рядом. Взаимосвязи русской и прибалтийско-финской фольклорных традиций постоянно привлекали и привле-

кают внимание таких сотрудников Института ЯЛИ КарНЦ РАН, как В. Я. Евсеев, У. С. Конкка, Т. И. Сенькина, Э. С. Киуру, Н. Ф. Онегина.

Объектом нашего исследования являются сказочные варианты, объединенные темой похищения женщины и представленные в соседствующих этнокультурных традициях. Материалом для него послужили русские волшебные сказки из сборников XIX–XX столетий, карельские, финские, саамские сказки, опубликованные на русском языке³ или с русским переводом⁴, неизданные сборники фольклора прибалтийско-финских народов, хранящиеся в Научном архиве КарНЦ РАН⁵, некоторые фольклорные коллекции того же архива⁶.

В роли похитителя женщин в сказочных текстах могут выступать различные персонажи с зоо-, антропо-, зооантропоморфными признаками, а также аморфные, «природные» и «гибридные» существа.

К самому древнему типу относятся зооморфные похитители, восходящие, по-видимому, к тотемным животным, ведь они имеют сходство с персонажами сказок о животных, тотемистический характер которых уже определен исследователями⁷.

Самым распространенным похитителем в образе животного в рассмотренных русских, карельских, а также вепсских и ингерманландских сказках является *медведь*. Этот персонаж представлен в фольклорных текстах тремя основными сюжетами, обозначенными в СУС под номерами: 311 *Медведь и три сестры*, 552А *Животные-зятья* и 650А *Иван медвежье ушко*.

О внешнем облике медведя-похитителя сказочные тексты дают немного сведений. В нескольких русских вариантах подчеркивается наличие у него шерсти (Ончуков, № 78; Поморье, № 1), в одном из рассмотренных текстов сообщается, что он «мохнатый» (Соколовы, № 105). Кроме того, в отдельных сказках (русских и вепсских) указывается, что у медведя есть следующие части тела: передние лапы, которыми он хватает свою жертву (АКНЦ 115, 40) (в связи с этим следует сказать, что в одном из текстов он получает характеристику «косолапый», Саратовская обл., с. 124–138), плечо, на которое он ее взваливает (Поморье, № 18), голова (Зеленин Вят., № 16) или же морда с ноздрями (Башкирия, № 28). По своим внешним признакам этот персонаж, по-видимому, ничем не отличается от обычного животного.

Во многих сказках он наделяется «лесной» атрибутикой. В некоторых русских вариантах медведь прямо характеризуется как «зверь лесовой» (Соколовы, № 105), «лесной зверь» (Заонежье, № 48), «лютый зверь» (Ончуков, № 78). В то же время стоит отметить, что в нескольких текстах, зафиксированных на территории России, рассматриваемый похититель наделяется именами, свойственными человеку: Миша (Поморье, № 18), Мишка (Башкирия, № 28; Саратовская обл., с. 124–138), а

также Михаил Михайлович (Башкирия, № 28), «Медведь Медведёвич» (Зеленин Перм., № 6), которые сочетают в себе имя и отчество (что, впрочем, характерно для многих зооморфных персонажей-похитителей в русских волшебных сказках). В саамской сказке он именуется Колда-лыш (Саамы, № 74).

Кроме всего прочего, в некоторых русских сказках упоминается, что медведь часто ходит в лес (Соколовы, № 105; Терский берег, № 76), на охоту (Зеленин Вят., № 16), на добычу (Саратовская обл., с. 124–138), на пчельник (Афанасьев, № 152), просто гулять (Худяков, № 18) или же уходит далеко, не имея определенной цели (Терский берег, № 55). В вепсской сказке рассматриваемый персонаж занимается тем, что ест малину в лесном малиннике (АКНЦ 115, 40). В одном из карельских вариантов он «на день уходит в лес еду для себя искать» (КНС II, № 7).

В большинстве сказок сообщается, что медведь живет в берлоге (АКНЦ 115, 40; ИФ, № 8; Саамы, № 74; Афанасьев, № 152; Терский берег, № 55; Смирнов, № 247; Саратовская обл., с. 124–138; Садовников, № 34) или же в избушке (КНС II, № 7; Зеленин Вят., № 16; Худяков, № 18), в доме (Поморье, № 18), в «домушке» (Ярославская обл., № 4). Именно туда он приводит (приносит) свою жертву, иногда она сама приходит к нему.

Оказавшись во власти рассматриваемого персонажа, героиня становится женой медведя, хозяйкой в его жилище. В ряде русских (Поморье, № 18; Башкирия, № 28) и карельских (КНС II, № 7) вариантов сообщается, что она готовит ему; в ингерманландской сказке он заставляет похищенную «медвежат нянчить, качать» (ИФ, № 8); в саамском тексте героиня вынуждена ходить за водой (Саамы, № 74). В некоторых сказках, записанных на территории России, сообщается, что медведь, по-видимому, в благодарность за эту помощь обеспечивает женщину всем необходимым: кормит ее медом (Саратовская обл., с. 124–138; Садовников, № 34) и ягодами (Сказки Сибири, № 18; Саратовская обл., с. 124–138), приносит дрова (Башкирия, № 28). В прибалтийско-финских же вариантах нами обнаружено лишь одно свидетельство такой бытовизации: животное только «все сырое мясо приносит есть» (Саамы, № 74).

Стоит отметить, что результатом сожительства медведя с похищенной им женщиной в русских, а также в вепсских сказках нередко оказывается общий сын, который обычно имеет медвежьи уши (Терский берег, № 55; Сказки Сибири, № 18; Коргуев, № 14; АКНЦ 115, 40). Иногда он описывается следующим образом: «до пояс человек, а от пояса медведь» (Афанасьев, № 152) или обросший до половины шерстью мальчик (Садовников, № 34). Такие сказочные тексты объединяются в сюжет 650А *Иван*

медвежье ухо, который, согласно указателям, широко распространен в русской, карельской и вепсской традициях. Интересно, что в прочитанных нами карельских вариантах также функционирует Иван Медведев, который, однако, рождается у медведицы и похищенного ею мужчины (КНС I, № 13; АКНЦ 95, 293; 95, 349). В этом случае в карельской сказочной традиции, по-видимому, отражены более архаические представления о браке с тотемным животным, связанные с образом медведицы-прародительницы.

Стоит отметить, что в конечном итоге пленение героини медведем имеет временный характер. Похищенная освобождается либо благодаря своей смекалке, хитрости, либо с посторонней помощью. Медведь же в большинстве случаев остается в одиночестве, иногда он подвергается уничтожению.

Итак, рассмотренный ранее зооморфный похититель наделяется в сказках некоторыми отрицательными чертами. Совсем иной медведь предстает в русских волшебных сказках на сюжет 552А *Животные-зятья*, где он оказывается шурином героя и впоследствии его помощником. Что касается разрешения самой ситуации, то здесь медведь остается мужем сестры до конца повествования. К сожалению, нами не было обнаружено ни одной прибалтийско-финской сказки, где бы медведь выступал в такой роли.

Стоит отметить, что в некоторых русских (Садовников, № 29) и карельских (Богданов, л. 22–24 = Пажлаков, с. 94–96) вариантах сказок похитителем может выступать волк. В этих текстах он функционально заменяет рассмотренного ранее медведя. Живет волк в норе (Садовников, № 29) или в избушке (Богданов, л. 22–24 = Пажлаков, с. 94–96), где удерживаются в заточении похищенные им поочередно три сестры. В русской сказке даются минимальные сведения о внешности волка, который именуется так: «серый волчок». В карельском же тексте сообщается о том, что рассматриваемый персонаж умеет печь калитки, что подчеркивает национальную специфику сказки.

Стоит отметить, что в саамских сказках в роли похитителей женщин выступают другие животные: тюлень и олень (Саамы, № 134). (Характерно, что в нескольких саамских вариантах героини становятся женами указанных персонажей по своей воле.) Появление таких похитителей в рассматриваемой сказочной традиции не является случайным: оно связано с фауной того региона, где бытует сказка. Как правило, похищению подвергаются три сестры и третьим персонажем оказывается ворон, об образе которого речь пойдет чуть дальше.

Итак, женщин в русских, карельских, вепсских и саамских сказках похищают не только животные, но и различные птицы. Например, похищение трех сестер в одном из карельских вариантов, зафиксированных в Калевальском районе Карелии, совершают соответственно три сороки (Конкка, с. 27–35 = КНС II, № 40), которые становятся мужьями девушек. В русской традиции нет ни одного текста, где эта птица выступала бы в роли похитителя. Однако стоит отметить, что данный образ используется в детских потешках.

Согласно комментарию, представленному У. С. Конккой к указанному карельскому варианту, в одном из сказочных текстов сестер уносят орлы (АКНЦ 26, 48). В русских сказках эта птица совершает похищение женщины гораздо чаще (Афанасьев, № 159; Магай, № 5) и именуется иногда «Орел Орлович» (Карнаухова, № 169; 12 ставешков, с. 62–73).

В вепсской сказке, записанной от Ф. С. Смирнова в 1936 г., похитителями оказываются: ворон, голубь и сокол (АКНЦ 115, № 50). По мнению исследователя мифолого-религиозной традиции и животного мира у вепсов И. Ю. Винокуровой, два последних образа изначально не характерны для вепсской волшебной сказки и, по-видимому, являются заимствованными из русского фольклора. Эти три орнитоморфных персонажа-похитителя достаточно распространены в русских вариантах. Среди птиц, похищающих женщин, в текстах, записанных на территории России, преобладает ворон (Афанасьев, № 92, 130; Карнаухова, № 124; Магай, № 5; Пудожье, № 27; Смирнов, № 279; Терский берег, № 7; Худяков, Приложение 1, № 1; 12 ставешков, с. 62–73). Этот персонаж нередко именуется «Ворон Воронович» (Афанасьев, № 92, 130; Карнаухова, № 124; Магай, № 5; Пудожье, № 27; Смирнов, № 279; Терский берег, № 7; Худяков, Приложение 1, № 1; 12 ставешков, с. 62–73) или «Ворон Вороневич» (Зеленин Перм., № 6, 27; Смирнов, № 323). Характерно, что ворон-похититель в русских волшебных сказках (так же, как и медведь) имеет две разновидности. В большинстве текстов он является помощником героя, одаривающим его различными чудесными предметами. Однако в некоторых вариантах ворон противостоит освободителю. Эта ситуация отражается в русских текстах сказок на сюжет 312D *Катигорошек*, который нам не встретился в найденных прибалтийско-финских вариантах. Стоит отметить, что образ ворона в вепсском фольклоре изначально негативно окрашен⁸, но в сказке, записанной от Ф. С. Смирнова, он выступает как положительный персонаж. Что касается внешности этой птицы, то как в рассматриваемом вепсском варианте, так и в некоторых русских сказках подчеркивается, что ворон имеет черный цвет (Ончуков, № 78; Худяков, № 48). В отдельных сказках этот персонаж гиперболизируется посредством описания крыльев: «Ворон слетел на грядку, взял свою жену, одно крыло

послал, а другим закрыл (только и всево – тут и постеля и одеяло)» (Зеленин Вят., № 19); «вдруг ворон прилетел. На дворе сел, одним крылом махнул – полдвора закрыл, другим крылом махнул – совсем закрыл» (Худяков, Приложение 1, № 1). И в рассматриваемом вепском варианте сообщается о сильном взмахе крыльев ворона.

Сокол (Афанасьев, № 159; Верхнеленские сказки, № 30; Зеленин Вят., № 86; Сказки XVI–XVIII века, № 30; Терский берег, № 65; Худяков, № 22, 48) или «Сокол Соколович» (Магай, № 5; 12 ставешков, с. 62–73) является еще одним распространенным орнитоморфным похитителем в русских волшебных сказках. В текстах он характеризуется как «ясен сокол» (Афанасьев, № 159), и «от его пера такая светлота, будто каждое место горит» (12 ставешков, с. 62–73). В указанной вепской сказке сокол также наделен эпитетом «ясный». Вообще же, по словам И. Ю. Винокуровой, в вепском языке не зафиксировано собственного названия для обозначения этой птицы, оно было заимствовано из русского языка (см. вепс. *sokol*). Сам же образ характерен для такого жанра, как причитания, где он имеет определенную семантику.

Что касается голубя, то лишь в единичных русских вариантах он совершает похищение женщины (Коргуев, № 8). В рассматриваемом вепском сказочном тексте подчеркивается цвет этой птицы – сизый. Появление указанного орнитоморфного похитителя и в русской, и в вепской сказке обусловлено, по всей видимости, влиянием общехристианской традиции, где образ голубя имеет важное значение: символизирует светлое начало.

Стоит отметить, что в многочисленных русских и прибалтийско-финских сказках зооморфные похитители представлены в достаточно трансформированном виде. По своему происхождению многие из них восходят к тотемным животным, но с течением времени все более антропоморфизируются. Помимо того, что все они наделяются человеческой речью, некоторые из таких персонажей в русских текстах наделены именами, свойственными только человеку (по типу имя-отчество)⁹.

В результате антропоморфизации в сказках появляются перевоплощающиеся персонажи, которые могут свободно менять свой животный образ на человеческий. Это отражается в русских, карельских и вепских сказках.

Помимо этого в сказочных текстах появляются различные зооантропоморфные похитители. Примером такого персонажа может служить змея из одной русской волшебной сказки, он объединяет в себе черты человека и гада (змеи): «с виду Змей – богатырь, а голова – змеиная» (Бронницын, № 1).

Интересно, что в большинстве русских сказок змей в роли похитителя является отрицательным персонажем, функционирующим в основном в сюжете 301А, В *Три подземных царства* и 312D *Катигорошек*, где он непременно подвергается уничтожению. Однако в нескольких сказочных текстах, сохраняющих архаичные черты образа, рассматриваемый персонаж выступает в положительной роли (сюжет 552А). Что касается прибалтийско-финского фольклора, то в двух карельских вариантах (АКНЦ 95, 322; 95, 348) мужьями трех сестер оказываются соответственно 3-, 6- и 9-головые черти, которые являются помощниками героя. Эти персонажи, по всей видимости, появились под влиянием христианства.

Зооантропоморфные похитители встречаются и в прибалтийско-финских сказочных текстах. Так, в одном варианте из сборника Э. Салмелайнена похищение героини совершает горный тролль – старик, «у которого на голове торчит большой рог, а во лбу – один-единственный глаз» (Салмелайнен, с. 117–128). Тролли¹⁰ в германо-скандинавской мифологии – это великаны, обитающие внутри гор. Они уродливы, обладают огромной силой, но глупы, занимаются тем, что похищают девушек, младенцев и скот. По поводу внешности троллей даются следующие сведения: у них рыжие волосы, ходят они в темных штанах и красных шапках. В этом описании отражается, вероятно, то, что в позднейшей традиции тролли ассоциировались с различными демоническими существами, в том числе с гномами. И в указанной сказке тролль является зооантропоморфным существом, сочетающим в себе черты человека и животного.

Итак, зооморфные персонажи-похитители женщин более широко распространены в русских волшебных сказках, в прибалтийско-финской сказочной традиции они представлены меньшим разнообразием. Наиболее часто в сопоставленных вариантах в качестве зооморфного похитителя выступает медведь. Этот персонаж разработан в сказках более подробно. Что касается остальных персонажей, то они в процессе длительного бытования фольклорных традиций подвергаются различным трансформациям.

В заключение необходимо сказать, что данная работа посвящена постановке проблемы. В будущем привлечение новых материалов позволит провести более глубокое и детальное исследование, а также конкретизировать и обобщить выводы.

¹ Конкка У. С. В мире сказки // Сказки Эро Салмелайнена. М., 1991. С. 10.

² Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка. Л., 1979.

³ Карельские народные сказки. Петрозаводск, 1947 (далее – Пажлаков); Карельские народные сказки. Петрозаводск, 1959 (далее – Конкка); Саамские сказки. Мурманск, 1980 (далее – Саамы); Сказки Эро Салмелайнена. М., 1991 (далее – Салмелайнен).

⁴ Карельские народные сказки. М.; Л., 1963 (далее – КНС I); Карельские народные сказки (Южная Карелия). Л., 1967 (далее – КНС II).

⁵ Чудесные сказки. 1938–1939. АКНЦ. Ф. 1. Оп. 39. Ед. хр. 65 (далее – Богданов); Ингерманландский фольклор (прозаические жанры). 1975; АКНЦ. Ф. 1. Оп. 50. Ед. хр. 914 (далее – ИФ).

⁶ Так, кол. 95 представляет собой переводы 132, 133, 136 коллекций карельского фольклора, а кол. 115 содержит 54 сказки, записанные в 1935–1936 гг. на русском языке от вепса Ф. С. Смирнова, 40 из этих текстов вошли в сборник «Вепские сказки», который был подготовлен Г. Власевым и опубликован в 1941 г. в Петрозаводске, однако по непонятной причине в библиотеках нашего города он не обнаружен.

⁷ Костюхин Е. А. Типы и формы животного эпоса. М., 1987.

⁸ Устное сообщение И. Ю. Винокуровой.

⁹ Разумова И. А. Стилистическая обрядность русской волшебной сказки. Петрозаводск, 1991. С. 63.

¹⁰ См. об этом: М. Ю. Тролли // Мифы народов мира. М., 1994. Т. 2. С. 528; Энциклопедия сверхъестественных существ. М., 1997. С. 427.

© Ю. И. Дюжеев
Петрозаводск

На грани литературы и фольклора (о прозе В. И. Пулькина)

Основным содержанием «Кижских рассказов» (М., 1973) и других книг В. И. Пулькина (Вепские напевы, 1973; Происхождение красоты, 1979; Перун-трава, 1985; Это наша с тобою земля, 1987; Медный вершник, 1988; Чаша мастера, 1990; Царские персты, 2002) были предания, записанные им совместно с фольклористкой Н. Криничной в экспедициях 1969–1985 гг., а также материалы иных собирателей. Н. Криничная (впоследствии доктор филологических наук) стала не только супругой В. Пулькина и матерью его сыновей, но и фольклорным «опекуном» писателя и во многом определила многолетнюю увлеченность прозаика русской народной исторической прозой. В своих трудах Н. Криничная выявила генезис и структуру преданий, их историко-этнографические истоки и эволюцию в зависимости от социально-экономических и исторических условий. Естественно, что в союзе с таким выдающимся знатоком народного творчества В. Пулькиным (р. 1941) смело дополнял подлинные фольклорные тексты деталями и эпизодами, взятыми из других преданий и народных рассказов на ту же тему, и в своем «литературном пересказе»¹ фольклорных текстов высвечивал наиболее колоритные в художественном отношении особенности севернорусской речи, воспроизводил живые разговорные интонации собеседников, встреченных в Выегере и Заонежье, на берегах Онеги-реки и Белоозера.

Избранная В. Пулькиным форма литературного сказа получила распространение в России в связи с переходом фольклористики в 1930–50-е гг. к «фронтальному» изучению всех форм народного творчества в условиях, когда стало очевидным, что поэтическое творчество народа все более тяготеет к литературным нормам. Вокруг вопроса о взаимоотношении литературы и фольклора возникла оживленная дискуссия, в ходе которой Л. Емельяновым было высказано суждение, что литература, аккумулируя, организуя в самой себе художественные силы нации и в этом смысле обращаясь к фольклору как к одному из возможных источников, заимствуя из фольклора те или иные изобразительные средства, «не только тут же переводила их в план индивидуального художественного творчества, но и создавала этим самым более или менее стойкую собственно литературную традицию. А это значит, что необходимость непосредственного обращения к фольклору для последующих литературных поколений в значительной мере ослаблялась, становилась менее настоящей, поскольку эти поколения могли относиться к изобразительным средствам, выработанным когда-то литературой в творческом взаимодействии с фольклором, как и к традиции собственно литературной». Такой собственно литературный опыт в русской прозе Европейского Севера XX в. уже сложился на основе творчества Б. Шергина и С. Писахова, так что обращение В. Пулькина к фольклору было результатом отмеченной Л. Емельяновым «внутрилитературной преемственности», примером существования «внутрилитературных путей передачи уже ассимилированного фольклорного художественного опыта»².

В «Кижских рассказах» есть место и особенностям севернорусского крестьянского быта, и примечательным судьбам людей, и обыденной простоте деревенских событий. Все это объединено в своеобразную хронику народной жизни и дает повод к серьезным размышлениям о природе таких морально-этических понятий, как совесть, гражданский и патриотический долг.

Творчество В. Пулькина развивалось в пограничной области между литературой и фольклором, и в этом заключалась особая сложность писательской работы в те годы. Литературовед А. Чудаков под сказом понимал особый тип повествования, ориентированный на живую разговорную речь с широким использованием просторечия и диалектизмов. Классиками в этом жанре называл Н. Гоголя, В. Даля, Н. Лескова, а из советских авторов – М. Зощенко и В. Белова с его «Вологодскими бухтинами». Фольклорист К. Чистов термином «сказ» обозначал жанры устной прозы, повествующие о современности или недавнем прошлом.

При этом он различал сказы, ведущиеся от лица участника описываемого события (мемуарный сказ), и сказы, отделившиеся от участника-повествователя, которые с течением времени могут превращаться в легенду, предание, былин³.

В. Пулькин не мог не испытать огромное воздействие сложившейся в XIX в. в русской литературе (в том числе в «Народных рассказах» Л. Толстого) традиции изложения от первого лица, когда вышедший из национальной, народной среды герой получал возможность наиболее полного самовыражения, а роль автора ограничивалась краткими авторскими комментариями, а также предисловием или послесловием.

К такой форме литературного сказа относятся произведения В. Пулькина, написанные от имени вполне определенного рассказчика: «Кузьмичевы рассказы», «Добрая поветерь», «Белая дверь», «Жизнь пилюстава Василия Поспелова», где автор прямо указывает: «Несколько вечеров слушал я и записал так, как запомнил, повесть жизни старого рабочего»⁴.

Что же касается выполненных В. Пулькиным литературных пересказов произведений исторического и легендарного характера, то здесь он в большей степени использует традиционные образно-стилевые свойства фольклора. Например, «Сказ об Иване, русского жителя человеке, и Кижской земле» по своему родовому признаку приближается к фольклорному сказанию – понятию, в которое В. Аникин включал повествовательные произведения исторического и легендарного характера, сочетающие ретроспективность изложения с поэтической трансформацией прошлого⁵. «Сказанием» назвал В. Пулькин включенное в книгу «Вепские напевы» «Слово о Барде и Айре».

И совсем нельзя отнести ни к сказу, ни к сказанию такие произведения В. Пулькина, как «Повесть о малой родине», «Граненая игла» и очерки «Время платить долги», представляющие публицистические размышления «о времени и о себе».

В своих книгах В. Пулькин предстает один в трех лицах: он и мастер литературного сказа; и талантливый знаток реконструкции фольклорных преданий и легенд; а также остросовременный очеркист, чье сыновнее чувство ответственности перед «малой родиной» побуждает обращаться к читателю с размышлениями о главном: о счастье жить, беречь Родину, крепить ее трудом и любовью».

«Кижские рассказы» вышли в те годы, когда антизападные настроения в силу «холодной войны» стали явлением обычным в российском обществе. Традиционный спор между западниками и славянофилами вновь, как и до революции, стал одним из движущих моментов русского самосознания. Западному эгоизму противопоставлялась братская лю-

бовь и солидарность православного мироустройства Древней Руси. И если говорить о позиции В. Пулькина в этом споре, то такие посвященные далекому прошлому России циклы литературных сказов, как «Досюльщина старобытная», «Тястенники», «Святая Салма», «Колодец с Егорием», «Древодельцы», «При нас было», «Иван Лобанов», по духу своему близки идеологии евразийства, идеалом которой была однородность древнерусского общества, равно как и идеи возрождения национального величия Святой Руси.

Н. Криничная в сборнике «Северные предания» предложила ввести в научный оборот циклы: о заселении и освоении края; об аборигенах определенной местности; о «панах»; о великанах-богатырях, силачах; о раскольниках; об исторических лицах, в том числе о Петре Первом. И если присмотреться к композиции «Кижских рассказов», то систематизация материала произведена В. Пулькиным по предложенной Н. Криничной системе, которая помогает отразить различные аспекты дореволюционной истории России.

По примеру таких русских мастеров, как Н. Лесков, П. Бажов, Б. Шергин, в прозе которых присутствовал интерес к самобытности «малых» народов, В. Пулькин доброжелательно писал сказы и очерки о вепсах, карелах, манси – соседях русских по Северу.

Другой стороной его многообразной деятельности был большой цикл путевых очерков, отразивших впечатления странствий по Европейскому Северу и публиковавшихся в журналах «Вокруг света», «Нева», «Север», «Карелия», «Слово». Эти материалы были одушевлены давним восхищением автора жизнью и творчеством М. Пришвина.

К концу 1980-х гг. В. Пулькин в глазах читающей публики оставался в первую очередь продолжателем традиций русского северного сказа, путешественником и собирателем легенд⁶. Он продолжал работу над циклами сказов по мотивам русского, карельского, вепсского фольклора, но принятая к публикации в Москве рукопись прозы была возвращена автору в связи с финансовым крахом издательства. Если в 1970–80-е гг. вышло восемь книг В. Пулькина, то в 1990-е гг. – одна: «Чаша мастера. Сказы о древодельцах» (Петрозаводск, 1990), куда в основном вошли ранее опубликованные тексты. В условиях рыночной экономики оказались востребованы лишь сказы об основателе Петрозаводска Петре Первом (Царские персты, 2002).

Для В. Пулькина наступило время непростых мировоззренческих размышлений. Он находит опору в нетленной силе живого и цельного христианского мироощущения и по примеру Б. Шергина видит

бессмертие России в движении общества по пути восстановления христианской нравственности, семьи, культуры – всего того, что создало и возвеличило Россию. По просьбе церкви В. Пулькин пишет и публикует в журнале «Север» (1993, № 10) под общим заголовком «Северная Фиваида» сказания о святом чудотворце Александре Свирском и его учениках. В живописном мире «Северной Фиваиды» (под таким именем в церковной литературе утвердилось название обширного края Северной России) царили добро, правда, справедливость, жил Дух Святой, а чудотворцы соловецкие, олонецкие и ладожские молили Бога о благе России. Под пером писателя древнерусский агиограф обрел современное звучание и стал частью духовной жизни современников.

Позднее посвященный «школе» святого Александра Свирского цикл новелл был продолжен за счет произведений, написанных по мотивам житий и народных легенд о святых олонецкого и соловецкого изводов. Эти два десятка новелл печатались в журналах «Нева», «Карелия», «Народное творчество», «Свет».

В авторских комментариях к книге «Царские персты» В. Пулькин с восхищением говорит о красоте северных преданий и вместе с тем с глубокой горечью отмечает, что «извечные говоры Русского Севера, сохранившие краски древней молвы, смолкают. Крестьянский русский язык погибает, как еще совсем недавно погибли традиции древних вышивок, ткачества»⁷.

Оглядываясь на пережитое, В. Пулькин называет себя «реставратором памяти», который доносит до современников заповедную красоту рожденных в северных деревеньках преданий, делает все возможное, чтобы не истаяли традиции дедов и прадедов. Писателю посчастливилось по крупицам собирать народные памяти в те считанные годы, когда они еще были живы в крестьянской среде, поучаствовать в процессе восстановления связи времен, сохранения традиций прошлого во имя настоящего. По убеждению В. Пулькина, «поколения родных людей навечно сплочены прежде всего общей памятью, ответственностью перед ней... Нет ничего прочнее памяти. ... Память народов – величественная ноосфера, питающая художественное сознание»⁸.

Для В. Пулькина традиция – это воспроизведение старого в новых условиях, в новой ситуации. Для него важен аристотелевский принцип непрерывности, когда давняя традиция претерпевает те или иные трансформации, однако не прерывается и доживает до наших дней. Даже революция не означает для В. Пулькина обрыва традиций, поскольку тра-

диционная земледельческая практика продолжает бытовать на Русском Севере и в условиях всевозможных трансформаций и радикальных переворотов в политике и культуре. Поэтому в своем творчестве он не может и не хочет расставаться с национальной культурной традицией, вопреки расхожему мнению о ее исчерпанности в конце XX в. Не скрывая, даже открыто демонстрируя свою приверженность взгляду на фольклор как на такой же источник знания народной жизни, как история, этнография и литература, В. Пулькин, благодаря развитой эстетической памяти в своих литературных сказах вслед за С. Писаховым, Б. Шергиным, П. Бажовым сумел раскрыть первозданную красоту фольклорных образов и заставил поверить, что приверженность принципам русской национальной культуры составляет неотъемлемую, необходимую черту процессов, происходящих в обществе. И это обстоятельство объясняет значение составляющих «поэтическую этнографию Севера»⁹ лучших произведений В. Пулькина, которые отвечают современной жажде традиционного знания.

¹ Криничная Н., Пулькин В. Медный вершник: Сказы о Петре Первом. Петрозаводск, 1988. С. 7.

² Емельянов Л. И. Методологические вопросы фольклористики. Л., 1978. С. 184–185.

³ Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 382.

⁴ Пулькин В. Это наша с тобою земля: Повесть, очерк, сказы. Петрозаводск, 1987. С. 122.

⁵ Литературный энциклопедический словарь. С. 383.

⁶ Неёлов Е. М. Сказка, фантастика, современность. Петрозаводск, 1987. С. 13–20.

⁷ Пулькин В. Царские персты: Сказы о Петре Великом. Петрозаводск, 2002. С. 51.

⁸ Там же. С. 166.

⁹ Михайлов А. И. Поэтическая этнография Севера // Север. 1987. № 2. С. 113–117.

© *Е. И. Маркова*
Петрозаводск

Проблемы идентификации писателей Карелии в постсоветский период

Несмотря на несинхронность развития литературы Карелии на русском, финском, новописьменных – карельском и вепском – языках, писатели в поисках своей идентичности возвращаются «к началу своему» – осмыслению своей родовой (семейной и национальной) принадлежности в изменившемся мире.

Известно, что русский писатель отождествлял себя с образами пророка, трибуна, судии и правдоискателя. Однако превращение России в постсоветскую эпоху из великой державы в третьеразрядную страну отразилось на мироощущении литераторов. Изменилось само положение писа-

теля в обществе. Вследствие переориентировки читателей (под влиянием СМИ) на произведения массовой культуры, в лучшем случае – на сочинения прозападных литераторов, творения писателей, работающих в русле национальной традиции, оказались невостребованными. Русский автор терял связь с читательской аудиторией еще и потому, что журнал «Север» из-за финансовых затруднений выходил с полугодовым опозданием, тираж его сокращался. Все эти обстоятельства не могли не сказаться на идентификации русского писателя, его творческой репутации и судьбе. Поэтому в новом самоопределении творца, точно сформулированном Александром Васильевым (1953 г. р.): «Я подкидыш, изгой и бастард, вечный житель убогих окраин...»¹, – дважды подчеркивается его выпадение из великого прежде рода: «подкидыш», «бастард».

Эта позиция близка Анатолию Суржко (1942–2000). Герой его повести «Последняя игра» (1995) – прозаик. Он оставил в конце 1980-х гг. работу в газете, чтобы завершить начатую книгу, но грянули реформы, лишившие его сбережений. Однако больше, чем отсутствие средств, героя поразила реакция окружающих, откровенно радующихся тому, что положение писателей ухудшилось. Мало того, герой ощущает равнодушие своей семьи к его делу.

Забвение как возможный финал судьбы видится в двойниках героя: в образе его друга Павла и декабриста Б., о котором прозаик пишет книгу. В отличие от героя эти литераторы не женаты, бездетны, не имеют ни одного опубликованного произведения. Все их упования – на потомков. Казалось, Б. в конце жизни обрел преданных друзей. Однако его почитательница, не желая расставаться с рукописями кумира, завещала положить их в свой гроб, что и было исполнено наследниками, продемонстрировавшими тем самым полное равнодушие к литературному наследию своего соотечественника.

Если эта женщина поступила так, любя Б., то Ульяна, сестра Павла, считая его виновником своей неудавшейся судьбы, отомстила ему, использовав его рукописи как растопку для печи.

Герой чувствует себя чужим и в городе своего детства, и в родительском доме. Его душевные терзания усугубляет полученное наследство, которое может стоить ему жизни. Родной дядя, олицетворявший для героя в детстве мужчину-победителя (фронтовик, футболист, гитарист и игрок!), проиграл большую сумму денег в карты, однако решил не отдавать квартиру за долги, за что и был убит кредиторами. Расправа грозит и его наследнику.

Повесть завершается ощущением безысходности. Над героем нависает неразрешимый вопрос: как быть в ситуации, когда «...и сохранить

квартиру невозможно – не просить же телохранителей, а друзья-сверстники не помогут, немногих я накопил и сохранил, и те далеко, раскиданы по свету. И отдавать нельзя, потому что тогда становится бессмысленной дынина смерть и мне самому ненужной моя жизнь...»²

Герой не чувствует в себе сил для борьбы, но и не ищет защиты в лице государства и семьи. Выходит – нужно принять смерть и утвердиться тем самым как глава рода? Выходит, если не обретишь свой подлинный семейный статус, то не обретишь и свое место в литературе?

Неразрешимый вопрос поставил перед читателями А. Суржко, уйдя из жизни в рабочем кабинете редакции журнала «Север»...

Но в русской литературе Карелии намечается некий сдвиг. В отличие от героя А. Суржко герой последнего сборника стихов Владимира Судачкова (1952 г. р.) «Твердь» (2003) в мятущемся мире обрел прежде всего родную почву, семью, она у него в центре России, в центре Космоса – «Здесь Отечество мне, и сестринство, и давнее братство, потому что на камне любви мой полночный костер» («Я вернулся»).

Логично, что свое место в родовой цепочке пытаются определить писатели – карелы и вепсы. В отличие от русских собратьев, они получили хорошую финансовую и моральную поддержку, ибо дерзнули творить на языках, проходящих начальную стадию становления как литературных. Их произведения издаются, ранее никому не известных писателей приглашают на престижные российские и западные форумы, у них берут многочисленные интервью, что не могло не отразиться на их идентификации. Некоторые считают себя живыми классиками.

Но это не лишает их понимания драматизма и даже трагизма судьбы собственного народа и своей, ибо карельские и вепские деревни пустуют, что влечет за собой угасание языка и культуры. Поэтому писатель-финно-угр – прежде всего собиратель. Собиратель своего языка, культуры да и самого народа. Собиратель и просветитель, поведавший миру о своем народе и обозначивший место этого народа в мире.

К числу собирателей и просветителей относится и Мийкул Пахомов (1968 г. р.) – первый и единственный поэт, пишущий на людиковском диалекте карельского языка. Лингвист по образованию, он изучает диалект как исследователь, является составителем букваря людиковского языка. Его поэма носит характерное название – «Земля людиков», его лирика («Tuonuz ikkunus», 1993) пронизана мотивами «неразрывной связи с родной землей, народом, традиционными ценностями»³, попытками ответить на вопрос: кто я?

Кто я? Что я? Впрошаю,
Где живу? Хочу постигнуть.
И ответ, как из колодца,

из веков ко мне летит:
Ты лишь Космоса пылинка,
только малая частица,
лишь крупинка на планете,
что свершает жизни круг.
Ты дитя суровой Похьи,
рода древнего потомок,
из Курви Ййву Павши,
Обрахамы Феде внук.

(«Кто я?», перевод О. Мишина)

Отмечу, что в его лирике значимыми являются родовые характеристики: «сын», «внук». В поэзии М. Пахомова, казалось, поиски творческой идентичности замыкаются на родовом самоопределении. Но название его перевода на людиковский язык христианских легенд и молитв – «D'umalan Poig» («Сын Божий», 1999) – заставляет задуматься: не Иисус Христос (как чаще называет Спасителя молодежь), а Сын Божий». Не является ли книга переводов подступом к сакрализации образа поэта в творчестве М. Пахомова?

Намек на сакрализацию образа своего «я» содержится и в книге Николая Абрамова, названной им «Koumekümme koume» («Тридцать три»). Появление сакрального числа на обложке поэтического сборника он объяснил простым совпадением: в год (1994) издания книги ему исполнилось 33 года.

Но то, что он явился своему народу как первый поэт, пишущий на вепском языке, в возрасте Сына Божия, символично. И сам поэт, буквально, осознает знаковый характер своей миссии, ибо силы малого народа ослабли, так как «жизнь человеческая утратила Божественный смысл»⁴:

Слепой человек не знает, куда идти,
И на вершину горы каждому не взобраться,
Придет время – весенние реки обмелеют,
А многих журавлей убьет злой охотник,
Слепой – напьется вина и умрет в снегу.
И на вершине горы будет стоять деревянный крест».

(«Мои дни», перевод Н. Зайцевой)

Но по силам ли поэту такая ноша? Ведь прежде всего он – потомок крестьянина-вепса («Крестьянский сын»). Типологически поиски идентичности совпадают у Н. Абрамова с поиском своего «я» в лирике С. Есенина. Будучи в числе первых, кто сумел осмыслить мир деревни изнутри, великий поэт понимал, что пришел в эпоху кончины крестьянского рода, и потому его миссия предтечи чревата гибелью: первый станет последним («Я последний поэт деревни»). Это противостояние «первого–последнего» осязательно в творчестве Н. Абрамова. Не случайно его герой, подобно герою С. Есенина

(«Мир таинственный, мир мой древний»), хочет уйти из мира людей в мир зверей, слиться с образом волка – своего предка-тотема («По волчьему следу»).

В отличие от собратьев по перу, мечтающих припасть к порогу родного дома, финну-ингерманландцу Армасу Хийри (1935 г. р.) некуда вернуться. Его сородичи и он сам были интернированы во время Второй мировой войны, их родина Ингерманландия исчезла с карты России. В эпоху перестройки этот больной вопрос подняли писатели-ингерманландцы, превратившись на миг из литераторов-этнографов в правдоискателей. Но, видимо, роль оказалась не по плечу: они уехали на «историческую родину» в Финляндию, надеясь там продолжить творческие поиски, но, за редким исключением, они там не состоялись как писатели.

Для тех, кто, подобно А. Хийри, остался в Карелии, встал вопрос о поисках своей новой идентичности. Поэт вначале писал стихи на русском языке и под русским именем Олега Мишина стал известен. Но в отличие от поэтов русских по национальности он не создал в своей лирике образ дома. Если последний и появляется, то не как место обитания, а как временное пристанище героя-путешественника, спешащего пережить, запечатлеть в стихах драгоценные мгновения жизни⁵. Бездомность героя объясняется (хотя об этом в тексте прямо не говорится) его судьбой ингерманландца, у которого отняли родину.

В 2000 г. поэт впервые посвящает образу дома поэму «Karjalainen talo» («Карельский дом»). Он описывает родовой дом жены-карелки, поэтому текст насыщен карельскими фольклорными мотивами, финский («мужской») язык переплетается с карельским («женским»), и даже содержание произведения является своеобразным зеркалом повести «Настя», написанной его женой Ольгой Мишиной на ливвиновском диалекте карельского языка.

Дом для героя – живое существо со своим характером, со своей очень непростой историей⁶. Хотя герой держится несколько отстраненно и лик его не отражен в старинном зеркале наряду с родственниками жены, он готов стать жильцом этого дома, разделить его судьбу. В этой поэме намечается переход от образа героя – вечного путника к образу супруга. Новая ролевая установка является родовой, семейной, лишенной романтического пафоса. Но в ее бытовой приземленности осознаются мужские обязательства героя по отношению к своей семье и стране. Следует также подчеркнуть, что образ супруга предполагает постоянную ориентацию в тексте (или в подтексте) на другой полюс – образ супруги, предполагает постоянный диалог.

В заключение хочется напомнить, что, по убеждению известного мыслителя Г. П. Федорова, характерной особенностью России является определенная дисгармония «отцовского» и «материнского» сознания⁷. Ученый доказывает отсутствие отца на фольклорно-мифологическом материале. И с ним, безусловно, можно спорить⁸.

Но то, что в литературе Нового времени высший статус писателя далеко не всегда проецируется на его семейный статус, безусловно. В этом смысле русская и, шире, российская литература была безотцовской (квазиотцовской, если видеть в функции отца, например, Сталина), поэтому семейно-родовая идентичность современных писателей Карелии является положительным фактом, работающим на идею создания образа страны-семьи⁹.

¹ Васильев А. Не моление. Плач о себе // Волны трав. Петрозаводск, 1998. С. 96.

² Суржко А. Последняя игра. Петрозаводск, 2000. С. 82.

³ Гендер в творчестве современных писателей коренных народов Европейского Севера России / Сост. Е. И. Маркова. Петрозаводск, 2005. С. 97.

⁴ Спиридонова И. А. Вепская литература, проблемы становления // История литературы Карелии. Т. 3. Петрозаводск, 2000. С. 415.

⁵ Маркова Е. И. Олег Мишин (Армас Хийри) // История литературы Карелии. Т. 3. С. 327.

⁶ Гендер в творчестве современных писателей... С. 95–96.

⁷ Fedorov G. P. The Russian Religion Mind. Vol. 2. The Middle ages, the Thirteenth to the Fifteenth centuries. Cambridge, 1966. P. 19. Цит. по: Рябов О. В. Русская философия женственности (XI–XX). Иваново, 1999. С. 32.

⁸ Гендер в творчестве современных писателей... С. 54–55.

⁹ Рамки данной статьи не позволяют остановиться на поисках идентичности у писателей-женщин. См.: Гендер в творчестве современных писателей... С. 7–11, 82–87, 165–166.

© Е. Г. Сойни
Петрозаводск

Образ Финляндии и проблема самоидентификации в поэзии Вадима Гарднера

Финская природа стала фактом русской поэзии начала XX в. Обращение к финскому пейзажу, а через него к образам финской мифологии означало для русских поэтов проникновение в глубину древней праславянской памяти. История трактовалась через пейзаж, объяснялась через географические и пространственные образы. Поэты придавали образу Финляндии «особенное значение». В сознании О. Мандельштама, К. Фофанова, Е. Гуро Финляндия порой ассоциируется с родиной, а финская природа называется родной. Финляндия осталась для литераторов России во многом сказкой, страной вдохно-

вения, «приютом поэтических скитаний». Лирические герои русской поэзии искренне растеряны перед природой Финляндии, убеждены, что код сказочной северной земли разгадать невозможно: «Я не знаю, как долго, не знаю, кому я молился...» (О. Мандельштам), «И я мечусь, душой изнемогая...» (К. Фофанов), «Лес – ли – озеро – ли?» (Е. Гуро), «Я ничего не понимаю, горы...» (Н. Гумилев), «Иль тайна тайн во мне опять» (А. Ахматова).

Для русских поэтов, живших в Финляндии после 1917 г. постоянно, она, напротив, была не сказкой, а реальностью, порой страшной. Русские поэты, для кого Финляндия была действительно Родиной, осознавали ее родной, но нелюбимой страной, а себя нелюбимыми детьми, пасынками.

Одним из них был Вадим Даниилович Гарднер (1880–1956), уроженец г. Выборга, сын американского инженера Даниэля Томаса Гарднера и писательницы Екатерины Ивановны Дыховой.

Вадим Гарднер жил в имении матери в Метсякюля на Карельском перешейке, откуда был вынужден переехать в Хельсинки из-за начавшейся Советско-Финляндской войны 1939 г.

В. Д. Гарднер был мало известен в литературных кругах России. В Петербурге и Москве вышли его первые поэтические сборники «Стихотворения» (1908) и «От жизни к жизни» (1912), в 1913 г. он вступил в «Цех поэтов», созданный акмеистами. Творчество В. Д. Гарднера было замечено. О нем писали А. Блок, Н. Гумилев, М. Лозинский, С. Городецкий, но достаточно сдержанно. Все-таки он не был своим до конца.

Да, я странен, дик, своенравен, правда;
Не похож на всех. Но беды не вижу
В своеобразьи¹.

(«Сафические строфы»)

Американский гражданин, потомок очень знатной фамилии де Пайва-Перера Гарднер, к которой принадлежали основатель Бразильского университета Даниэль Гарднер де Пайва-Перера и придворный врач бразильского императора, Вадим Гарднер выделялся среди петербуржцев своим южным обликом. Латиноамериканское происхождение сказывалось на его на темпераменте, поэтической страстности и особой любви к России. В 1916 г. он решил поменять американское гражданство на русское, после чего был призван на военную службу и отправлен в Лондон в Комитет по помощи союзникам. Вернулся он оттуда на военном корабле через Мурманск вместе с Н. Гумилевым в 1918 г. и поселился в фамильном имении под Выборгом, которое вскоре оказалось на финской территории.

Третий сборник поэта «Под далекими звездами» был издан уже в Париже в 1929 г. в издательстве «Concorde». В первых двух заметны уроки символистов с их любовью к античности, интересом к мистическому, за-

предельному идеалу. Но передано и многоцветие земного, реального мира, виден подлинный, а не вымышленный свет солнца, чувствуется «кровь красная ликующих южан» (с. 36).

В третьем сборнике «Под далекими звездами» – стихи зрелого поэта о трагедии одиночества, о реалиях XX в., о перипетиях собственной судьбы. Но как бы трагично ни складывалась жизнь поэта, рядом с ним находилась Она – любимая, юная, боготворившая его жена Мария Францевна Гарднер (урожденная Череп-Спиридович).

Верить ты в мое предназначенье
Мир потоком Света озарить.
Только ты достойна в царстве тленья
Чашу ярких чар со мною пить².
(«Знаешь только ты мои мученья...»)

Мария Францевна была уроженкой Карельского перешейка. Полька по отцу, католичка по вероисповеданию, она до конца своих дней сохранила преданную любовь к России, куда ей уже не суждено было вернуться. Поэту было с кем разделить свое одиночество: «И спасала только вера в вечную любовь» (с. 139). «Мусе на вечность» – с такой надписью хранился в архиве Марии Францевны экземпляр книги «Под далекими звездами».

Образ Финляндии – один из центральных в творчестве В. Д. Гарднера. Это многозначный и даже противоречивый образ. Видоизменяясь, он появляется во всех трех сборниках поэта и как самостоятельный, и в соотносении с образом России.

И хотя поэт в первом сборнике постоянно сетует, что он, южанин, живет на севере

... полярной пеленою
Снегов и вечных льдов бесстрастия покрытый (с. 36),

что он «по ярости судьбы – сын студеных стран» (с. 36), северная студеная страна ему мила, и это – его родная страна:

Ты мне мила, суровая природа
Финляндии, страны моей родной –
Сосна, гранит, на море непогода.
(«Финский сонет», с. 25)

Создавая образ природы в «Финском сонете», В. Д. Гарднер подчеркивает ее шум, «ветра дикий вой», «грома треск»: «Люблю твой гул, животный прибор» (с. 25).

В гарднеровском образе финской природы соединены прохлада и кипение, а свою юношескую фантазию он сравнивает с «кипящей

змеею» под «венцами льда» (с. 36). В «Лунной газэле» (1914) из сборника «Под далекими звездами» он называет Финляндию «каменной», а свои стихи «не северными»:

В Суоми каменной, рунической
Слагал не северные руны я.

Мне были ближе струны страстные,
Когда на водах блески лунные. (с. 78)

В традиции русской поэзии В. Д. Гарднер восхищается «каменной» Финляндией – финскими скалами. Но для поэта, живущего среди них, скалы – каждый раз разные:

Здесь живем меж камней разноцветных и скал,
то нагих, то во мхи облаченных³.

(«Здесь живем меж камней...»)

По мнению поэта, «сacroкoвeннoe скaл paзмышлeнe», «мудрoсть бoльшoй глyбинy» истoлкoвaть нeвoзмoжнo, нo в кaмнях и скaлax oн видит

Яви прoшлoгo вeщиe сны.

<...>

Мир зaбытых, нo чyдных скaзаний...⁴.

Калевальской метрикой – четырехстопным хореем – написано одно из ранних пейзажных стихотворений Гарднера «Волны мелки, лысы камни...» (из сборника 1908 г.), где есть строки об обнаженности камней: «даже мхом они не крыты», о суровой и безмолвной зелени можжевельника, о рокоте моря, похожем на волю северян:

Тех, чьи мысли так прозрачны,
Чьи воленья так спокойны,
Чье здоровье утешает
И бодрит и сладко манит⁵.

А в стихотворении «Начало осени в Финляндии», опубликованном в 1916 г. в «Русской мысли», осенний пейзаж передан через знаки крестьянского труда –

Из риги синий дым; снопы... еще снопы,
Иные сложены, как ружья, в пирамидки,
Иные сгорбились, а по краям тропы,
К воде сбегаящей, звездятся маргаритки⁶.

Живя в Метсъякюля, на плодородной земле, поэт становится очевидцем и сенокоса, и сбора урожая, и сева озимых. Создавая осенний пейзаж

Финляндии, он говорит обо всем с естественной, подкупающей интонацией, соединяя земное (крестьянское) с небесным:

В лесах набросаны унылые рассказы;
И вновь засеяны озимые поля,
И падающих звезд уж катятся алмазы.

И как истинный северянин, он жаждет начала весны, новых теплых дней, первых гроз:

Довольно шуб! Довольно снов медвежьих! –
По скатам крыш воркуют про любовь.
Художница, с палитрой красок свежих,
Весна спешит, как трепетная кровь.

(«Весна», с. 41)

Поэту близки образы финской народной поэзии, в его стихах звучит кантеле, а сосны и болота слагают свои «руны»:

Но я ищу другие метры;
Любезны мне лесные ветры,
И руны сосен и болот,
И звуки кантеле старинной,
Густая темень ночи длинной
И звездный хоровод.

(«Из дневника поэта», с. 124)

Пользуясь калевальским стихом, он пишет в 1932 г. руну об Илмаринене, одном из главных героев «Калевалы». В. Гарднер останавливает свой выбор на кователе Сампо и потому, что с этим героем связан образ огня, света столь любимый поэтом, и потому, что Илмаринен – кузнец, кователь, человек труда:

Там у самой дороги
В старой кузнице краснеет
В очаге огонь ретивый,
И пылает и искрится.
Алым блеском озаренный,
Показался Ильмаринен.

(«Купол церкви православной...», с. 130)

Илмаринен необходим Финляндии, чтобы рассеять «тучи серые <...> над Суоми», разогнать «чернокрылых ворон». «Огонь ретивый» в кузнице Илмаринена перекликается в стихотворении с блеском от купола православной церкви:

Купол церкви православной
Бледным золотом блистает

Над туманным финским лесом.
Тучи серые проходят.
Бродят тучи над Суоми.
Чернокрылые вороны пролетают над полями (с. 130)

«Алый блеск» Илмаринена и блеск «купола православной церкви» в стихотворении соединены, это два источника света, поддерживающие друг друга. А через пять лет в «Сонете (обратном, нестрогом)» 1937 г. только одна звезда будет светить над черным лесом – это звезда православной веры:

Теперь окрест чернеет лес высокий,
Одна звезда венчает мрак глубокий.

Один лишь светоч теплится среди туч,
Как меж могил заброшенных лампада.
Во мгле скорбей, среди утрат – отрада
Вдруг засиявший теплый веры луч⁷.

Но настоящие скорби и утраты ждали В. Д. Гарднера впереди. С началом Советско-Финляндской войны всем жителям Карельского перешейка пришлось срочно покидать родовые имения и уезжать в разные уголки Финляндии. Многие хотели остаться. В разговоре с автором этих строк Мария Францевна Гарднер рассказывала, что русские жители Карельского перешейка собирались с приходом советских войск остаться жить в своих домах, но уже на территории Советского Союза. Они не были наивными, знали о ГПУ, о ссылках в Сибирь.

Родины предатели пируют
Г.П.У. справляет шабаш свой, –

писал Гарднер еще в 1928 г. («Наводнение 1924 г.», с. 100). Они были готовы ко всему в России, но не к переезду в Хельсинки! Правительства не договорились. Остаться в своих домах было запрещено⁸.

Мчит нас, мчит автобус. Все родное
Все, что близко нам было, – вдали⁹.
(«Едем мы. Позади нас пожары»)

Поэт познает всю тягость «лямки беженца», предчувствуя, что жизнь в Хельсинки будет «не его жизнью» («Вся эта жизнь не моя», с. 126), что ему будет «трудно жить в этой пропасти мрачной / Меж жестоких и гордых людей» (с. 102). Подлинная жизнь эмигранта начинается у Гарднера именно в 1939 г. после переезда в Хельсинки. Трагизм в гарднеровскую поэзию привнес не столько факт закрытия границы между Россией и Финляндией, сколько потеря родового гнезда на Карельском перешейке.

В 1942 г. поэт создает «Нюландский сонет» (впервые опубликованный лишь в 1987 г. в «Русской мысли» в Париже), где признается, что в душе все оборвалось, что не вызывают больше сочувствия ни «безмолвие камней», ни «закрытые сердца»:

О, Гельсингфорс, излюбленный ветрами,
Ты мало, горделивец, мне знаком.
По стогам я твоим бродил пешком.
Но ты с двумя своими языками
Не близок мне; стеной они меж нами.<...>
С тех пор, как сердце холод злой познало
Враждебного нам племени людей,
Суровое безмолвие камней
Сочувствия в душе не вызывает,
Сердец закрытых символ открывает. (с. 111)

В поэзии позднего В. Д. Гарднера образ Финляндии – родины, созданный в сборнике 1908 г., превращается в образ Финляндии – чужбины:

Твои неохватные дали,
Россия, закрыты для нас.
Мы маемся тут на чужбине
И катятся следы из глаз.
(«Твои неохватные дали...», с. 143)

Образ Финляндии эволюционирует от образа родной земли к образу чужой «белозвездной вселенной» с «чуждыми душами», а родиной становится уже недостижимая Россия:

В груди мы храним твою душу,
Родимая наша страна¹⁰
(«России»).

В «Алкеевых строках» 1943 г. поэт будет уже не Илмаринена, а славянского бога Сварожича молить «рассеять мрак финский», вместо калевальского стиха, используется античная метрика:

Сварожич мощный, щит и оплот славян,
Рассей мрак финский, дай нам тепла опять
Над всей округой властвуй, Светлый,
Славою нас осени победной. (с. 161)

В стихотворении «Здесь и там» В. Д. Гарднер сравнивает зимнюю Россию и Финляндию, казалось бы, один и тот же ландшафт, один и тот же снег, так же дети катаются на лыжах и коньках, играют в снежки,

Но все эти шалости, игры –
Забавы не русских детей.

Не наши здесь деды морозы
Хрустят под ногами ветвей... (с. 93)

В чем разница между финской и русской зимой? Для поэта зима в России «как-то сказочней»:

И сказочней как-то в России
Снегов голубое серебро.
Мечтательней наши подростки,
В них больше огня и души,
Чем здесь в молчаливой Суоми,
В болотной карельской глуши. (с. 94)

Именно в Финляндии во времена «жестокотного тиранства и распятой красоты» (с. 160) возникает подлинная любовь поэта к России, он пишет цикл стихотворений: «Я в Руси», «Святой Руси», «Грядущей Руси». Как Алеша Карамазов у Ф. М. Достоевского, В. Д. Гарднер приемлет в России все:

Все приемлю и нежно люблю –
Вот зачем о Руси я скорблю. (с. 72)

И, очевидно, полемизируя с Владимиром Соловьевым, с его стихотворением «Панмонголизм» о наступающей угрозе с Востока, поэт обращается к России:

И что тебе китайский ураган?..
Се, Иисус над пеной желтой бури!
<...>
И длань Его Россию вознесла.
(«Грядущей Руси», с. 74)

Ну а Финляндия? Она осталась «белозвездной вселенной» с «чуждыми душами». В 1942 г. Гарднер пишет «Октавы», в которых признается:

Мне север люб. Мила его природа,
Но чужды часто души северян. (с. 158)

Несмотря на «чуждость» северян, В. Д. Гарднер любил «воздух севера», «мир таинственных сказаний», «полночную Красоту»:

Мне близок торф морошковых болот
И самый воздух северных широт.
<...>
Сияний северных седых и красных,
И торжество полночной Красоты.
(«Октавы», с. 158)

И если бы не война 1939 г., не потеря дома, не надорванные струны гарднеровской лиры, возможно, образ Финляндии, созданный поэтом,

был бы более светлым, а сам Гарднер остался бы в истории русской поэзии певцом «разноцветного» гранита, сосен и моря – всего того, что он так любил в молодости.

¹ Гарднер В. У Финского залива. Хельсинки, 1990. С. 90 (В дальнейшем при ссылках на это издание в тексте в скобках указываются страницы.)

² Гарднер В. Избранные стихотворения. СПб, 1995. С. 68.

³ Там же. С. 62.

⁴ Там же.

⁵ Там же. С. 12.

⁶ Там же. С. 58.

⁷ Там же. С. 46.

⁸ Запись беседы с М. Ф. Гарднер от 4 июня 1997 г. Хельсинки. Архив автора.

⁹ Гарднер В. Избранные стихотворения. С. 79.

¹⁰ Там же. С. 61.

© Н. В. Чикина
Петрозаводск

Современное состояние литературы на ливвиковском наречии карельского языка

На рубеже XXI в. новый, важный шаг в своем развитии сделала литература на карельском языке, хотя в Республике Карелия процесс создания единого литературного языка до сих пор является замедленным в силу ряда обстоятельств: ограниченной сферы его применения, явлений литературного «многоязычия», «борьбы наречий», когда у карел литература развивается на собственно карельском, ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка. Такого рода образование «языковых пар», а не единого национального языка доктор филологических наук Э. Г. Карху объясняет особенностями процессов этногенеза, в частности, тем, что «карелы, являясь этническим меньшинством, к тому же рассредоточены и не представляют компактной целостности. В таких условиях перспектива формирования единого общенационального языка становится проблематичной»¹.

В докладе заместителя председателя Государственного комитета по национальной политике Республики Карелия Т. С. Клееровой, прозвучавшем на IV республиканском съезде карел 23 июня 2001 г., особое внимание уделялось вопросу о существовании языка в диалектных формах. Она поддержала принятое в конце 1980-х гг. учеными и специалистами Карелии решение не торопить события, а вести работу на 2–3 диалектах, поскольку существование языка в диалектных формах не является признаком его бедности или недоразвитости. Докладчик напомнила, что для развития диалектной

формы до литературного уровня необходимы определенные условия, время и средства, что знание одного из диалектов не затрудняет понимание других диалектов карельского языка, теперь уже имеющих нормы словоупотребления и правописания. Более того, к людям приходит осознание равноправности диалектов, собственной значимости каждого из них; на стыке диалектов ученые могут предпринимать попытки по составлению единых текстов, в первую очередь научных, официальных. «В быту, в художественной литературе каждый из диалектов еще долго будет сохранять присущее ему своеобразие»², – подчеркнула Т. С. Клеерова.

Разница в уровне отдельных младописьменных литератур России (например, карелоязычной и молодых литератур Поволжья – мордовской, чувашской, марийской, удмуртской) очевидна. Однако в каждой из них наблюдаются общие тенденции в развитии художественного мышления: движение от всеобщего увлечения автобиографизмом к более широкому кругу собственно эпических жанров, от исторической тематики – к отображению современности, от категорий историко-описательного характера – к освоению современных изобразительных средств.

Все сказанное относится и к литературе на ливвиковском наречии карельского языка. Как известно, ливвиковское наречие распространено на северо-восток от Ладожского озера почти до 63 градуса северной широты. Это наречие впитало в себя черты собственно карельского наречия и ряд особенностей вепсского языка. Одним из первых, кто активно взялся за развитие литературы на ливвиковском наречии, был поэт В. Е. Брендоев (1931–1990). Его книги «Anusrandaine» («Край мой Олонецкий», 1980), «Hiilan huoli» («Горячая забота», 1983), «Kadajikko» («Можжевелик», 1986) и другие были проникнуты чувством патриотизма, заботой о создании национальной среды, искренней любовью к своему языку.

Эстафету из рук безвременно ушедшего из жизни В. Е. Брендоева приняли современные авторы-ливвики (А. Волков, З. Дубинина, О. Мишина, П. Семенов и др.), которые обращаются к читателям, опираясь на свой жизненный опыт. Каждый из них от книги к книге обретал писательский опыт, расширял свои представления о возможностях и перспективах развития литературы на карельском языке.

В феврале 1998 г. при Союзе писателей Карелии было создано литературное объединение «Karjalaine Sana» («Карельское слово»), куда вошли прозаики и поэты, пишущие на карельском языке: Александр Волков, Зинаида Дубинина, Ольга Мишина, Николай Назаров, Иван Савин, Петр Семенов и др. На заседаниях обсуждаются вопросы писательского мастерства, критическому анализу подвергаются рукописи произведений прозы и поэзии.

Развитие литературы на ливвиковском наречии карельского языка началось с переводов Библии. Институт перевода Библии (Финляндия) в 1991 г. на ливвиковском наречии издал «Jiesuksen eläigu» («Жизнь Иисуса»). Позднее были опубликованы и другие переводы: «Jevangelii Markan mugah» («Евангелие от Марка», 1993), «Jevangelii Matfein mugah» («Евангелие от Матфея», 1997), «Apostoloin ruavot» («Деяния святых Апостолов», 1999), «Jevangelii Lukan mugah» («Евангелие от Луки», 2000), «Uuzi Sana» («Новый Завет») и «Lühüt tieduoandai kniigaine Uvven Sanan lugijoiile» («Приложение к Новому Завету», 2003). В 2002 г. к 775-летию крещения карел, по Лаврентьевской летописи, в Петрозаводске был выпущен «Malittusana» («Молитвослов»). В разные годы переводчиками Библии были Л. Ф. Маркианова, З. Т. Дубинина, В. Д. Рягоев, Т. В. Щербакова.

Началась активная просветительская деятельность (переводы фильма «Иисус», учебники для детей). 8 июня 1990 г. в г. Петрозаводске вышел первый номер газеты «Oma Mua» («Родная земля») на карельском языке. На ее страницах стали печататься материалы на ливвиковском наречии карельского языка.

Писатели-ливвики оттачивали свое перо, переводя русскую классику. В 1998 г. А. Волков публикует книгу «Ven'an runot» («Русские стихи»), в которой представлены его переводы стихов Г. Державина, А. Пушкина, М. Лермонтова на карельский язык. Творческим успехом А. Волкова стала книга переводов «Vellen süväin» («Сердце брата», 2001), куда вошли переведенные на карельский язык произведения 68 авторов. П. Семенов публикует свой перевод рассказов М. Зощенко в книге «Ildaizen vuottajes» («В ожидании ужина», 2001). На страницах газеты «Oma Mua» был опубликован сделанный А. Волковым перевод повести А. С. Пушкина «Метель» и выполненный П. Семеновым перевод «Капитанской дочки». Тем самым художественные сокровища входили в читательский круг карел на родном языке.

Известный исследователь многонациональной литературы России К. Султанов называл просветительство «строительной площадкой» перехода к литературе нового типа, исторически необходимой ступенью эволюции национального художественного сознания – от фольклора к собственному литературным формам³.

На этой ступени литературного развития материалом для вдохновения писателей-ливвиков, как правило, служила сельская среда. Любовь и уважение к деревне как к колыбели национальной самобытности пронизывает их прозу и поэзию. Объектом художественного внимания писателей-ливвиков является жизнь простых людей, история народа.

Первая книга поэта А. Волкова на родном языке так и называлась – «Pieni Dessoilu» («Маленькая Дессойла», 1997) и воспевала «тихую родину» поэта. За ней последовали другие книги. Его лучшие стихи были представлены в сборнике «Järvet Karjalan» («Карелии озера», 2003). В стихах А. Волкова все слышнее становятся мотивы гражданственности, связанные с размышлениями о судьбе карельского народа, о конкретных заботах земляков. Лирика воспоминаний прожившего и много выдавшего человека приходит в тесное соприкосновение с актуальными проблемами жизни. Именно лирико-публицистическая сторона дарования А. Волкова выражается в его стихах с большой силой и целеустремленностью.

Ностальгическая тема, связанная с памятью о деревенском детстве, объединяет прозу и поэзию О. Мишиной. Ее книги «Kuldaine ildu» («Золотой вечер», 1993), «Ratoi» («Колесо», 1996), «Piäsköin korgevus» («Ласточкина высота», 2002), «Marin kukku» («Цветок Марии», 2003) подкупают знанием сельской жизни, обычаев и быта карельского народа. Писательница бережно относится к драгоценным крупинкам народного опыта, переживаниям простого человека.

К истокам и корням народного характера обращается П. Семенов в романе «Puhtasjärven Maša» («Маша из Пухтасъярви», 2004). Рисуя жизнь простой карельской женщины, прозаик насыщает текст деревенской речью, живыми диалогами и репликами.

Красота родного слова доступна только любящему сердцу. Видимо, поэтому так много стихотворений у поэтов-ливвиков посвящено своему родному языку. Это и «Kirjukieli» («Письменный язык») Клавдии Алексеевой, «Livvin kieli» («Язык ливвиков») Прасковьи Федоровой, «Livvin kieli – rahvahan mieli...» («Язык ливвиков – мысль народа...») Ирины Кудельниковой.

В поэзии авторы опираются на фольклор, который им знаком с детства. С лирическим чувством они пишут о красоте карельской земли и ее людей.

Многие книги прозаиков автобиографичны: авторы пишут о событиях недавнего прошлого, свидетелями которых довелось быть им (или их близким).

Среди молодых писателей-ливвиков следует выделить Сантту Карху (псевд.; наст. имя Александр Медведев), а также Наталью Антонову и Лену Корнякову.

Драматургия на ливвиковском наречии представлена пьесой О. Мишиной «Paginat čuassuloin rinnal» («Разговоры при часах»). Она была опубликована в книге «Marin kukku» и посвящена судьбе двух женщин в перестроечное время.

За полтора десятилетия писатели-ливвики добились определенных успехов. В Союз писателей были приняты А. Волков, П. Семенов, О. Мишина, В. Вейкки, З. Дубинина.

Стал традиционным фестиваль карельской поэзии, посвященный памяти В. Брендоева «*Täs synnyngrannan minun algu...*» («Здесь Родины моей начало...»).

В заключение отметим, что становление литературы на карельском языке предстает как сложный процесс. В отличие от рождения литературы других малочисленных народов России (где отправной точкой послужило создание национальной письменности), в Карелии до сих пор наблюдается существование языка в диалектной форме и дискусируются различные пути решения языкового вопроса. Если в других младописьменных литературах движение к новому эстетическому качеству шло непрерывно, то в Карелии отмечается полоса разрыва почти в полвека, когда поступательное движение литературы замедлилось. К началу возрождения роли карельского языка в 1990-е гг. уже не осталось в живых писателей, создававших свои произведения в довоенное время на карельском языке. Начинающим поэтам и прозаикам необходимо было накопить опыт, чтобы на новом эстетическом уровне продолжить завоевания предшественников. Тем не менее авторы раздела «Карельский язык» в коллективном труде «Прибалтийско-финские народы России» В. Д. Рягов и Е. И. Клементьев отмечали, что в новой общественно-политической ситуации карельская интеллигенция осознала всю важность сохранения народом родного языка как одного из факторов этнической самоидентификации и сосредоточивает свое внимание на разрешении языковых проблем: воссоздании письменности уже не на кириллической, а на латинской графической основе, обучении детей родному языку, выпуске учебных пособий, издании газет и книг на карельском языке⁴.

Литература на ливвиковском наречии карельского языка продолжает развиваться, демонстрируя стремление национальной интеллигенции не допустить утрату этнокультурного наследия, сохранить важнейшую функцию культуры – поддержание культурно-языкового единства и преемственности поколений.

¹ Карху Э. Г. Малые народы в потоке истории: Исследования и воспоминания. Петрозаводск, 1999. С. 27.

² Клеерова Т. О перспективах карельского языка в Республике Карелия // Карелия. 2001. 28 авг. С. 7.

³ Султанов К. Национальное самосознание и ценностные ориентации литературы. М., 2001. С. 96.

⁴ Прибалтийско-финские народы России. М., 2003. С. 206.

**Преемственная связь романа Х. Тихля «Lehti kääntyy»
(«Страница переворачивается»)
с традициями финского критического реализма**

Из восьми изданных на финском языке книг Хильды Тихля¹ (1870–1944 гг.) шесть были опубликованы в Финляндии в период с 1907 по 1916 г., и две, представляющие собой отдельные части романа «Lehti kääntyy» (1934–1936), – в Советском Союзе в издательстве «Kirja».

Жизнь и творчество Хильды Тихля достаточно широко освещены как в Финляндии (в трудах Р. Палмгрена, Р. Виртаранта)², так и в Карелии, где с 1925 по 1944 г. Х. Тихля жила и творила, когда после участия в финской рабочей революции, ареста и тюрьмы на о. Сандвик, откуда бежала, в течение шести лет жила в Финляндии нелегально, переехав через границу в Швецию и затем – в Советский Союз.

Роман «Lehti kääntyy» стал предметом пристального внимания критиков и литературоведов сразу после его публикации³, а позднее был внимательно исследован видным ученым Э. Г. Карху, чьи книги широко известны как в Финляндии, так и в России. В своих трудах Э. Г. Карху подчеркивал, что уже в ранних, написанных в Финляндии работах Х. Тихля «при очень запутанных религиозно-этических исканиях питала стихийное сочувствие к борьбе угнетенных масс и в конечном итоге оказалась вместе с революцией»⁴, что в написанном в Советском Союзе романе «Lehti kääntyy» писательница «со своими новыми героями, русскими крестьянами, как бы заново проходила весь тот путь исканий, которыми шли герои ее более ранних книг»⁵.

В работах Э. Г. Карху намечен перспективный путь изучения преемственной связи финноязычной прозы Карелии 1930-х гг. с традициями финского критического реализма. Но сама по себе эта тема настолько сложна и многообразна, что открывает широкое поле деятельности для новых поколений литературоведов.

После необходимого в таких случаях историко-литературного обзора вернемся к обозначенной в докладе теме и отметим следующее. Действительно, как утверждает Э. Алто, финноязычная литература Карелии в 1930-е гг. «оказалась причастной к созданию массы ложных, трагифарсовых и парадоксальных мифов»⁶. И, тем не менее, даже в этих сложных условиях Х. Тихля и ряд других прибывших из Финляндии в Россию прозаиков оставались верны принципам гума-

низма и критического реализма, как они делали в своих ранних произведениях, опубликованных на родине.

Как известно, Х. Тихля начинала свой творческий путь будучи одним из представителей сложившегося в 1905–1907 гг. в финской литературе особого направления «рабочей литературы», что объяснялось социальным происхождением, симпатиями писательницы к трудящимся массам, жизнь которых была ей хорошо знакома. В то же время уже в молодости, в том числе благодаря религиозному воспитанию, она не была приверженцем превращения литературы в одну из форм политической агитации. Она всегда ощущала ответственность писателя перед историей и в своем романе «Lehti kääntyy» вполне сознательно противостояла социалистическому реализму, призывавшему в 1930-е гг. изображать действительность в идеализированном свете.

Персонажи романа Х. Тихля проходят сложный путь духовного саморазвития. Они не имеют ничего общего с распространенными в советской прозе 1930-х гг. героями-коммунистами, изначально не имевшими недостатков. Такого рода «романтические», устремленные в светлое будущее персонажи и не могли попасть на страницы романа писательницы, верной принципам критического реализма, точно так же, как на определенном этапе развития финского общества романтические ангелы-торпари и их ангелы-дочки не устраивали Ю. Ахо, М. Кант, А. Ярнефельта. Для Х. Тихля невозможно было оставаться романтиком в условиях советской действительности 1920–30-х гг., хотя партийные органы настаивали на воспевании героизма и трудового подвига.

Героев романа «Lehti kääntyy» нельзя разделить на положительных и отрицательных, правых и неправых, они постоянно спорят, высказывают различные точки зрения, в том числе противоположные, пытаются реально понять сложные проблемы действительности, в том числе: куда же придет победившая революция? Каковы ее результаты? Что последует за ней?

Писательница критически исследует суть общественной жизни предреволюционной и советской России, трагическое положение народных масс.

Финский реалист 1880–90-х гг. Ю. Ахо в своем идейно-эстетическом манифесте критического реализма⁷ писал, что в своих произведениях реалисты высказывают нелицеприятную правду о современном им обществе и эта правда обращается в Финляндии против верхних сословий общества – духовенства, чиновничества, богатого купечества. Что касается прибывшей в советскую Россию Х. Тихля, то очень скоро она убедилась в ложности лозунгов о всеобщем равенстве, в приоритете интересов партийной номенклатуры.

Один из героев романа старик Федосей на собрании выступает с резкой критикой применения насильственных методов в деревне: «Если

быть над крестьянином страшным и жестоким начальником, всегда относиться с подозрением к крестьянину, то как же можно ждать, что крестьянин будет честен с вами... Нужно быть человеком, нужно уметь понимать и доверять... Вот и хлеб на полях русских не растет, как начальник прикажет, и стрельбой из винтовок тут не поможешь... Вам, молодые люди, надо с крестьянином поскромнее обходиться, поменьше важничать да умничать. В избу к крестьянину входите как нормальные люди, соблюдайте крестьянские обычаи»⁸.

Если многие советские прозаики 1920–30-х гг. считали крестьянство исконно враждебным всему новому, то в романе Х. Тихля крестьяне изображены живыми людьми, которые думают, спорят, ищут истину.

Критический реализм характеризует человека универсально как конкретную исторически сложившуюся индивидуальность. Герои Х. Тихля изображаются не только в возвышенные минуты своей жизни, но и в трагических ситуациях. Ее персонажи – существа социальные, сформировавшиеся под воздействием определенных социально-исторических причин. Они не только характеризуются в сфере морального сознания, но и показаны в каждодневной практической деятельности. Роман привлекает пониманием основных тенденций исторического процесса, интересом к повседневному человеческому бытию.

Следуя принципам критического реализма, Х. Тихля правдиво отражает действительность как в положительных, так и в отрицательных проявлениях. Ее интересует только пережитое, познанное посредством опыта. «Идеалы не могут направлять историю, – писал Ю. Ахо, – в каком-то ином смысле, чем это делает история, которая, выявляя законы действительности, именно через них указывает, как нам надлежит действовать»⁹.

Критический реализм есть искусство как критикующее, так и утверждающее. Высокие социальные, гуманистические ценности оно находит в самой действительности, главным образом в демократически, революционно мыслящих кругах общества. Положительные герои в творчестве реалистов – правдоискатели, люди, связанные с национально-освободительным или революционным движением или активно сопротивляющиеся растлевающему влиянию индивидуалистической морали. Ю. Ахо писал о реалистической литературе: «Заключив книгу, читатель чувствует, что он немного поумнел. Он научился тому же, чему его мог научить опыт. Он имел возможность всмотреться в изнанку условий, увидел, что же там скрывается, и сделать свои выводы. Именно таким образом реалистическая литература стремится воздействовать своими картинами на читателя».

Роман Х. Тихля правдиво рисует Россию в тот судьбоносный момент, когда страница ее истории переворачивается. Читатель видит край листа, кото-

рый отделяет прошлое от будущего. Изображение острого края страницы истории, переломного момента в жизни государства со всеми его конфликтами и проблемами и есть один из важных моментов критического реализма.

¹ Leeni: Kertomus. Helsinki: Yrjö Weilin, 1907; Metsäkyliä: Kertomuksia. Porvoo: WSOY, 1909; Kuopus ja muita kertomuksia / Kirj. Riika Alho. Hämeenlinna: Kansa, 1910; Jumalan lapsia: Kolme kertomusta. Porvoo: WSOY, 1913; Hilma; Elämän satua: Kertoelmia. Porvoo: WSOY, 1913; Ihmisiä: Romaani. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto, 1916; Lehti kääntyy. I osa: Fedosei. Petroskoi, 1934; Lehti kääntyy. II osa: Tuholaisia. Petroskoi, 1936.

² Palmgren R. Joukkosydän: Vanhan työväenliikkeemme kaunokirjallisuus. Osa 1. Porvoo; Helsinki, 1966; Virtaranta P. Kulttuurikuvia Karjalasta. Jyväskylä: Weilin+Groos, 1990.

³ Aalto V. Hilda Tihlä on esiintynyt: [Lehti kääntyy kirjan arv.] // Rintama. 1935; Ruhanen U. Kirjailija H. Tihlä // Punainen Karjala. 1937.

⁴ Карху Э. Г. История литературы Финляндии. XX век. Л., 1990. С. 181.

⁵ Очерк истории советской литературы Карелии. Петрозаводск, 1969. С. 129.

⁶ Алто Э. Л. Финноязычная литература Карелии. СПб, 1997 (История литературы Карелии. Т. 2). С. 79.

⁷ Карху Э. Г. История литературы Финляндии. XIX век. Л., 1979. С. 387.

⁸ Lehti kääntyy. II osa: Tuholaisia. Petroskoi, 1936. S. 137 (перевод Р. П. Койвисто).

⁹ Карху Э. Г. История литературы Финляндии. XIX век. С. 390.

© С. М. Лойтер
Петрозаводск

Особенности поэтики сказок Василия Фирсова

В современной литературе Карелии выделяются два писателя, специфическая сторона творчества которых определяется отражением народного опыта, воплощенного в фольклоре. Именно такому опыту, говоря словами А. Т. Твардовского, эти писатели «находят в своем творчестве свой ряд»¹, апеллируя к народно-поэтическому источнику, подчиняя его своей авторской воле. Речь идет о Викторе Пулькине и Василии Фирсове.

Если творчество В. Пулькина — фольклориста-собирателя, известного писателя, автора ряда книг сказов, основанных на «досюльщине стародавней» (первая появилась в 1973 г.), — не раз оказывалось в центре внимания критиков и литературоведов², то В. Фирсов долго оставался вне поля зрения. Он пришел в литературу в 1992 г. (тогда вышли в свет две книги сказок — «Чужой домовый», «Сказки деда Северьяна»), позже появились публикации в журнале «Север» и республиканской прессе, затем сборники «Слово за щекой» (Вытегра, 1998) и «Озорные сказки» (Петрозаводск, 2003). Тем не менее до недавнего времени лишь несколько газетных откликов (даже не рецензий) и сказанное в обзоре литературы 1990-х гг., принадлежащем Ю. И. Дюжеву³, было единственным свидетельством признания писателя. Первая статья

«Сказки Василия Фирсова», написанная автором этих строк и студенткой Карельского педагогического университета Т. В. Рединой, была опубликована в журнале «Карелия» на финском языке⁴. В 2003 г. я была приглашена в Поморский университет на международную конференцию «Наследие Бориса Шергина в изменяющейся России», где был представлен доклад «Размышления о писателе-сказочнике Василии Фирсове». Теперь он опубликован в сборнике «Наследие Бориса Шергина»⁵. В развитие и продолжение этого доклада остановлюсь на некоторых особенностях поэтики писателя-сказочника В. Фирсова.

Как всякий писатель, создающий литературную сказку (эта традиция идет от В. А. Жуковского и А. С. Пушкина к литературным сказкам наших дней, к сказке Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца»), В. Фирсов следует главному, релевантному признаку сказки как жанра – сознательности вымысла, который В. Я. Пропп определил как «нарочитая поэтическая фикция»⁶. Однако это следование в сказках В. Фирсова приобретает самобытный и неповторимый характер. И об этом, используя термин П. Г. Богатырева, «сигнализирует» и фольклорный материал, который лежит в основе сказок, и способы его художественного преображения.

Из русских писателей-сказочников В. Фирсову ближе всего Б. Шергин и С. Писахов. Быть может, это объясняется тем, что все они принадлежат Русскому Северу, взращены и вскормлены одинаковыми климатическими и бытовыми условиями. Вместе с тем у них было разное фольклоропорождающее окружение: Б. Шергина и С. Писахова вскормила поэтически одаренная поморская среда, всячески «поощрявшая артистическое исполнение и безудержную импровизацию», В. Фирсова – в детстве и юности изустное слово вологодской деревни, где он позже записывал поговорки, присловья, народную речь, а затем сознательное погружение в стихию севернорусского фольклора.

Рассмотрение 159 сказок В. Фирсова и сопоставление их с главным инструментарием в изучении восточнославянской сказки – Сравнительным указателем сюжетов (СУС) позволяет сделать вывод о том, что их основным источником являются новеллистическая (бытовая) и «животная» сказки (история русской литературной сказки убеждает в преобладающем обращении их авторов к сюжетам и мотивам волшебной сказки).

Семь из восьми сказок о животных В. Фирсова имеют непосредственный фольклорно-сказочный источник, и вместе с тем каждая из них представляет собой оригинальную, индивидуально-профессиональную версию традиционного сюжета или мотива со своей аргументацией и смыслом. В «животных» сказках В. Фирсова в каждом отдельном случае свой, придуманный или пересозданный сюжет, свои, переосмысленные или обновленные персонажи и образы, своя художественная задача и своя философия. В сказке «Как дружили лиса да заяц», восходящей к широко распространенному типу – «Заяц и лисица»

(СУС 36), известный мотив – хождение в гости – трансформировался в совершенно новый, оригинальный сюжет, в котором традиционно трусливому и слабому зайцу отводится непривычная для него роль: он совершает поступки, несвойственные своему фольклорному прототипу. Заяц не только хлебосолен и щедр, но и полон достоинства и действенной справедливости. В сказке «Перышко» (отдельные ее мотивы перекликаются с сюжетом «Заяц-хвастун» – СУС 70) опять же зайцу, но еще и волку, и медведю, хваставшимся, но не сумевшим закинуть перышко на дерево, противопоставит маленький смешливый мышонок. Давая возможность самому маленькому ощутить свое превосходство, В. Фирсов становится на точку зрения ребенка, выражает самое непосредственное и простодушное сознание, утверждающее полноценность детства и силу маленького существа. Тем самым происходит обновление и обогащение народной традиции, наполнение ее новыми, волнующими современного писателя идеями и образами. Многомерен нравственный, даже социальный смысл, мудрость сказки «Шел однажды ежик», не имеющей аналога в сюжетном указателе. Простодушная и незатейливая сказка как будто предупреждает: тщетно надеяться на избирательность зла, оно не щадит никого, а добро не должно, не имеет права быть беспомощным.

Во многочисленных бытовых сказках своей частотностью выделяются тематические группы о ленивых и нерадивых людях, о неверных женах, о солдате, о вечных глупцах. Отдельный цикл про Степанушку-простака заставляет вспомнить то Иванушку-дурачка из народных сказок, то неистребимых пошехонцев, то Шиша из поморских «скоморошьях старин»⁷ и «Поморских сказок» Б. Шергина. Вместе с тем Степанушка не адекватен ни одному из этих типов.

Изобретательна, неистощима выдумка В. Фирсова, когда он изображает лень. Она и качество, характеризующее того или иного сказочного персонажа, и антропоморфный, персонифицированный (персонифицированы в его сказках *глупость, совесть, смерть, нужда, стыд, грех, правда*) образ, который ведет себя совершенно самостоятельно. Десять Андронов из одноименной сказки символизируют доведенные до абсурда, гипертрофированные лень и безалаберность, актуализирующие многие явления нынешней жизни и утверждающие реальность фантастического. А очеловеченные и превращенные благодаря субстантивации служебных частей речи Авоська, Небоська и Как-нибудь в сказке-притче «Три товарища» выражают авторскую точку зрения на достаточно распространенный способ вечного и современного, в том числе жизненного поведения и жизнеустройства.

Одна из особенностей художественного мира в сказках В. Фирсова – интерес к созданию нарочито нелепой, небывалой, перевернутой или вывернутой наизнанку действительности. Такой «смеховой мир» (М. М. Бахтин) предстает

прежде всего в сказках о пошехонцах, в которых доведенная до абсурда, алогизма глупость преподает уроки мудрости («Про Киндасово», «Говорящий блин», «Как зипун на шубе женился», «Как старик кукиши продавал», «Кому шуба, кому рукава», «Как Андрон холод выносил»). Их оксюморонный юмор усиливается рифмованным, так называемым раешным, или говорным, стихом. В. Фирсов широко использует говорный, раешный, юмористический по своей природе стих («Сидор-добродел», «Нашел мужик пятак», «Небылица про небылицу», «Летела сорока»).

По словам Д. С. Лихачева, «рифма – один из способов балагурства. Рифма провоцирует сопоставление разных слов, „оглупляет“ и „обнажает“ слово. Рифма создает комический эффект»⁸. «Сказки деда Северьяна» предваряет написанный раешным стихом автоэпиграф, в котором манифестируется маска рассказчика деда Северьяна (антропоним подчеркивает связь с севером), жизнелюба, весельчака и балагура. Это сознательная реминисценция из ярмарочного райка, который в народном театре представляет репертуар балаганных дедов и карусельных зазывал⁹:

Я – дед Северьян,
Я не тих и не буян,
Я не трезв да и не пьян,
Не Федот и не Лукьян.
Не старик я – старичок:
Бороды один клочок.
На печи и на стогу,
За столом и на лугу,
На зеленом берегу
Сказки сказывать могу...

Превосходно владея этой формой народной речи, В. Фирсов обогащает ее, обновляя рифменный и лексический ряд. И это касается как названия сказки («Раскидай хлевце, наруби дровце», «Дядя Филат подарил десять утят»), так и ее сюжета. Сочетание того и другого содержит сказка «И понял Митроха, что – хорошо, а что – плохо», использующая прием обращений-отсылок народной кумулятивной сказки «Смерть петушка» (СУС АТ 2021 А; 241 1; 2032), ее ритмико-стилистический ход и логику. Безалаберный и ленивый Митроха, живущий по принципу «авось», оставшись зимой без дров, идет за помощью к соседу Ивану, который согласен их дать, если сосед Степан даст возок сенца; сосед Степан согласен дать возок сенца, если кум Наум даст мешок муки; кум Наум просит взамен шубу и отправляет к свату Ипату и т. д. Игровая в своей основе кумулятивная форма дала жизнь сказке-притче с очень определенной нравственной мыслью: «Думал Митроха, думал, да и думать перестал,

топор из-под лавки достал, лошадь запряг, в лес ударился. Весь день топором махал, хорошо отогрелся, дров привез – до весны хватит. Натопил Митроха избу, мороз выжил, иней по углам свел, на печи лежит, добрых людей благодарит: спасибо Петьке с коромыслом, свату Ипату да куму Науму, да Степану с Иваном – научили жить, за дровами в лес ходить, по соседям не искать, может сказку снова начать да еще рассказать...

Тенденция к рифмованной скоморошьей речи соединяется в сказках В. Фирсова с использованием разнообразия пословично-поговорочных форм. Принцип, когда «сказка цитирует пословицу», известен народной традиции. Так, пословичные формы встречаются в сказках «Иван Королевич», «Старичок Осип и три попа», «Купечь Скоробогатой» из сборника Б. М. и Ю. М. Соколовых «Сказки и песни Белозерского края»¹⁰. «Речь идет о классе пословиц (в свое время он очень интересовал Г. Л. Пермякова), которые мотивированы сказками»¹¹. В. Фирсов этот прием фольклорной цитации использует наоборот: его сказки мотивированы пословицами, которые оказываются сюжетообразующим фактором. «На сюжеты наталкивает чтение русских пословиц. Я их читаю, возвращаясь не раз, выписываю», – признавался он в одном из интервью. Фантазия сказочника позволяет ему превратить лаконично выраженную пословичную мудрость в целое повествование с действиями, персонажами и всей сказочной атрибутикой. Так, присловье «Не будь приметливый, будь приветливый» материализовалось в сказку «Приметливый да приветливый», пословица «Не кнутом лошадь погоняй, а мешком» – дала жизнь сказке «Мужик Федул», пословица «Не дал Бог ума – может, даст тебе сума» – сказке «Горбатая бабка», пословица «Дурака валяю, ума добавляю» – сказке «Как мужики дурака валяли», пословица «И рад бы дать, да надо сено метать» – сказке «Как Федот стал не тот», пословица «В городе не пашут, а калачи едят» – сказке «Как Филофей избу продавал» и др.

Сказки Фирсова вобрали в себя не только русскую народно-сказочную традицию и не только поэтику сказки. Они являются результатом пересоздания, трансформации традиций и поэтики анекдота, «малых» фольклорных жанров (пословичных форм, загадки), частушки, народных мифологических рассказов. Но особенно сильно в них следование народной «смеховой культуре» в виде площадно-ярмарочного, скоморошьего искусства и травести народного театра. Такое невозможно ни в одной из жанровых разновидностей («животной», волшебной, бытовой) народной сказки, которая обладает своей «морфологией», своей устойчивой поэтикой и живет в строгом соответствии со своей «сказочной обрядностью». Сплавить воедино, синтезировать разные фольклорные (и литературные)

традиции, подчинив их авторской воле, авторскому замыслу и авторской фантазии может писательская сказка, дающая новую жизнь одному из самых древних жанров народного слова.

Сказки В. Фирсова свидетельствуют о том, что в литературу пришел самобытный писатель, писатель ярко выраженной индивидуальности. Они доказывают действенность и благотворность севернорусской традиции, они убеждают, насколько сильны ее импульсы, какие разные и совершенно непохожие в сфере индивидуального творчества явления она рождает.

¹ Твардовский А. Т. О литературе. М., 1973. С. 260.

² См.: Рогощенков И. К. В. И. Пулькин // История литературы Карелии. Петрозаводск, 2000. Т. 3. С. 245–255.

³ Дюжев Ю. И. Русская литература Карелии 1990-х годов // История литературы Карелии. Петрозаводск, 2000. Т. 3. С. 315.

⁴ Loïter S., Redina T. Vasili Firsovin sadut // Carelia. 2004. № 1. S. 105–109.

⁵ Лойтер С. М. Размышления о писателе-сказочнике Василии Фирсове // Наследие Бориса Шергина. Архангельск, 2004. С. 70–80.

⁶ Пропп В. Я. Русская сказка. Л., 1984. С. 40.

⁷ Григорьев А. Д. Архангельские былины и исторические песни. М., 1904. Т. 1. С. XIX.

⁸ Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976. С. 27.

⁹ См.: Фольклорный театр. М., 1988. С. 379–430.

¹⁰ См.: Сказки Белозерского края / Зап. Б. М., Ю. М. Соколовы. Архангельск, 1981. № 40, 43, 47.

¹¹ Левинтон Г. «Интертекст» в фольклоре // Voces Amicorum Guilhelmo voigt Sexagenario. Budapest, 2000. P. 28.

ЭТНИЧЕСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ДЕРЕВЯННОМ ЗОДЧЕСТВЕ РУССКОГО СЕВЕРА

*© В. П. Орфинский
Петрозаводск*

К вопросу о сохранении и возрождении национальных культур (опыт междисциплинарных исследований)

Почти десять лет назад ученые, изучающие язык и культуру народов Карелии, объединились для совместных исследований. Это начинание вылилось в комплексные экспедиции, проводимые ежегодно с 1996 г., а результатом стали полидисциплинарные монографии, сложившиеся в своеобразную, узнаваемую серию. Она включает книги, посвященные с. Суйсарь, деревням Юккогуба и Панозеро¹, завершается подготовка к изданию монографии о Сямозерье².

Авторы, пользуясь преимуществами сотрудничества с коллегами-гуманитариями, в рамках своих разделов решали, в первую очередь, свои специальные задачи. Но была и общая проблема, которая не могла не тревожить каждого – это проблема ассимиляции карел. Лейтмотивом монографий стал поиск исторических прецедентов устойчивости и «обратимости» карельской культуры – чтобы ответить на актуальный вопрос, возможно ли в настоящее время предотвратить ее угасание?

Показательны в этом отношении метаморфозы в прошлом людиковского, а ныне обрусевшего с. Суйсарь.

На первый взгляд, мало что напоминает о карельском прошлом села, но при внимательном рассмотрении оказывается, что в планировочной организации входящих в его состав деревень в XX в. происходят любопытные преобразования, характерные для многих поселений карел. Судя по следам и остаткам старых построек, в прибрежной части суйсарской дер. Северной ранее существовала рядовая планировка с ориентацией домов на воду. В первой половине XX в. вновь строящиеся дома в береговом порядке обращались не на воду, как их предшественники, а на юго-

восток. Более того, возникшая по соседству в 1920-е гг. рядовая дер. Куля, не учитывая близость водоема, полностью повторила планировочные принципы Северной. Вывод очевиден: в XX в. в Суйсари водоем потерял свою приоритетность в организации поселения. В то же время возрос приоритет южной ориентации. Налицо «архаизация» архитектурной формы: проявление в ней отголосков древней традиции поклонения южному солнцу³. «Архаизация» в данном случае – спутник «вторичной этнизации», порожденной реакцией самосохранения традиционной народной культуры на угрозу ее унификации⁴.

Культура Суйсари сопротивлялась наступающей с востока ассимиляции и пассивно: путем консервации форм, связанных с относительно устойчивыми хозяйственно-бытовыми процессами. Пример тому – состав подстилки для скота, используемый в хлевах и вместе с навозом вывозимый на поля в качестве удобрения. У обрусевших карел Прионежья так же, как и в глубине карельского этнического ареала, такие подстилки включали преимущественно хвою и мох с добавлением соломы и осоки, в русском Заонежье – солому, а хвою, мох и осоку – только в качестве добавок. Традиционные карельские предпочтения неукоснительно соблюдались суйсарянами, несмотря на то что качество получаемого удобрения находилось в обратной зависимости от количества хвои.

Пассивному сопротивлению способствовала и характерная для карел в целом заторможенность эволюции зодчества. Не случайно в Суйсари до последнего времени относительно хорошо сохранялся архитектурный декор, а в нем – «карельские» версии форм, возникшие в результате творческой переработки заимствованных русских деталей.

Сходные результаты получены на лингвистическом материале: при полной утрате людиковского диалекта карельского языка в Суйсари, лексика суйсарян конца XX в. также включала слова, отражающие давние контакты русского и прибалтийско-финского населения. Но в целом их современный говор отнесен Л. П. Михайловой к олонекской группе говоров севернорусского наречия. По мнению исследователя, в начале XX в. в Суйсари произошла форсированная языковая ассимиляция.

Вопрос о соотношении языка и культуры не нов. Не повторяя ни известных аргументов в пользу культуuroобразующей роли языка, ни наиболее распространенных контраргументов – нападений о культурной самобытности народов, не имеющих собственного языка, ограничимся рассмотрением вопроса: правомерно ли отождествлять билингвизм (применительно к фольклорным жанрам – «бифольклоризм») с форсированной ассимиляцией этнических сообществ?

В монографии о Панозере описывается феномен бифольклоризма, который долгое время рассматривался финляндскими исследователями русской поэзии как досадное проявление ассимиляции карельской культуры в русской. По словам Санкт-Петербургской фольклористки Т. Г. Ивановой, бифольклоризм является переходной формой, используемой только для кратковременного отставания национального самосознания, и не мог существовать долго⁵. Однако означает ли бифольклоризм необратимую стадию в этнокультурной эволюции?

Факты, приведенные У. С. Конкка в монографии о Юккогубе, свидетельствуют, что «русизмы» в карельской причетной традиции появились еще в далекой древности и правомерно атрибутировать такие проявления бифольклоризма как устойчивые этнические символы. Их можно назвать бинарными этническими символами, так как они играли двойственную роль: с одной стороны, служили проводниками надвигающейся ассимиляции, с другой – «противоядием» от нее, способствующим этническому самовыражению. Так, заимствования русских слов помогали плакальщикам строить аллитерации – основу стихосложения плачей и в целом калевальского стиха, что способствовало наиболее полному проявлению собственной поэтической традиции.

Показательно, что бинарные символы зафиксированы также в разных сферах творчества панозерцев, в том числе в народном зодчестве – русско-карельские по своему характеру дома-комплексы, надстроенные над карельскими часовнями колокольни с высоким «русским» столпом и пологим покрытием в виде «карельского» колпака, печи с русским по происхождению «козоно» и пережитком открытого очага – камельком, заимствованным у саамов.

Равноправный этнокультурный диалог обогащал художественное творчество взаимодействующих народов. Похоже, что это универсальная закономерность развития любой фольклорной культуры. Дополнительное подтверждение тому – давнее исследование А. С. Степановой, посвященное ритуальной причете, связанной с «невестиной баней». Оказалось, что степень сохранности карельской причетной традиции находилась в прямой зависимости от интенсивности русских влияний, а образная выразительность одного из самых самобытных жанров устной лирической поэзии карел проявилась наиболее ярко в Южной Карелии, где двуязычие среди мужской части населения давно стало культурной нормой⁶. По этому поводу можно сказать, перефразировав А. И. Куприна, русские влияния для народного творчества карел то же, что ветер для огня: тлеющее этническое самосознание он тушит, а костер творческого самовыражения раздувает еще сильнее.

Принято считать, что к началу XX в. народная культура постепенно утрачивала свою самобытность. Пример Суйсари как будто подтверждает это. Но даже здесь в разных сферах культуры семантически значимые формы людиковского происхождения некоторое время продолжали оставаться смысловыми акцентами культурной среды. Правда, в Суйсари это происходило лишь по инерции.

Иное дело Сегозерье – большая округа Юккогубы, которое в начале прошлого века готово было идти по пути обострения этнического своеобразия. Подтверждение тому – тенденция к этнизации часовен; «диалог» разных направлений в кистевой росписи; иконы-примитивы и «народное православие», в котором переплелись поминально-погребальная обрядность и древние культы с христианскими представлениями; творчество сказочника, исполнителя русских былин и их переводчика на карельский язык Т. Е. Туруева и знаменитый Сегозерский хор, созданный уроженцем Смоленской области Георгием Савицким и карелками из Падан Агафьей Лебедевой, Феклой Исаковой и Марией Громовой.

В этой связи интересен проанализированный финским этносоциологом К. Хейккинен опыт Финляндии, куда после «Зимней войны» 1939–1940 гг. переселилась значительная часть приладожских карел. Потомки мигрантов, родившиеся на чужбине уже после войны, выросли в условиях почти полной ассимиляции. Но в последней четверти XX в. благодаря обострению этнического самосознания многие из них, ориентируясь на сохранившиеся отголоски реальных этнических традиций и традиции литературные, стали рассматривать карельскую культуру на уровне обобщений, необходимых для формирования этнических символов. В результате возник парадокс: рост этнического самосознания на фоне угасания фактической этнической культуры⁷.

Возможно, нечто подобное на рубеже XIX–XX в. спонтанно наметилось в Сегозерье, где этническая активность населения была продиктована внутрикультурными побуждениями, в противоположность Финляндии, где в 1970-х гг. попытки реанимировать этнические традиции карел связаны с внешними импульсами – воздействием школы, краеведческой литературы и главным образом финской православной церкви.

А есть ли надежда изменить современную этническую ситуацию на исследованных нами территориях?

Информацией к размышлению по этому поводу могут послужить наблюдения, сделанные в 2001 г. в Северной Германии руководителем Первой российско-немецкой этнографической экспедиции А. С. Мыльниковым. Не опровергая аксиому о том, что жизнь любого этнического сообщества не бесконечна и помимо этногенеза включает обратный ему процесс распада, ученый утверждал, что распад, или, по введенному им термину, «этническая делабора-

ция», является, по существу, переходом в инобытие — сопровождается сменой на коллективном уровне этнической ориентации сообщества и обеспечивает культурную преемственность — перенесение в настоящее и будущее ключевых элементов наследия, которые входя в структуру современной народной культуры, способны придавать ей локальное своеобразие⁸.

Многообразие возможных сценариев этнического или постэтнического возрождения исторических территорий еще не является гарантией такого возрождения. Для успешной реализации того или другого сценария необходимо создать адекватный ему механизм, учитывающий экономический потенциал, историко-культурные и природные ресурсы возрождаемой территории.

В Карелии пока известна только одна попытка такого возрождения, осуществляемая в исторической дер. Панозеро благодаря совместным усилиям финляндского фонда «Юминкео» и фонда им. Архиппы Перттунена из Костомукши. Попытка эта, описанная в последней из упомянутых монографий, актуальна и перспективна, поскольку, учитывая рекомендации ЮНЕСКО по сохранению Всемирного культурного и природного наследия, ориентируется на механизмы цивилизованного рынка и привлечение помощи международного сообщества. Опыт возрождения Панозера можно рассматривать как прецедент для других исторических поселений Русского Севера. Однако панозерский пример в силу его уникальности не может служить универсальным рецептом. Это лишь напоминание о необходимости искать нетривиальные способы практического осуществления теоретически бесспорных идей.

Историко-культурные ресурсы Панозера во многом уникальны, что и нашло отражение в книге об этой знаменитой северо-карельской деревне. В свою очередь книга вызвала новую волну интереса к наследию Панозера и активизацию деятельности по его сохранению. Надеемся, что готовящаяся к изданию монография о Сямозерье сможет сыграть такую же роль.

Сямозерье — территория, досконально изученная в археологическом отношении, ни разу не подвергалась комплексному историко-культурному описанию. Потому в глазах широкой общественности и специалистов по народной культуре она остается «терра инкогнито». А между тем исследования авторов монографии показали, что на этой ливвиковской территории сохранились уникальные следы собственно-карельской культуры, восходящие к древней Кореле.

По наблюдениям И. Б. Семаковой, только в Шотозерско-Сямозерском межозерье и к северо-западу от него в бассейне р. Шуя в XIX–XX вв. были зафиксированы большие диатонические кантеле, по ряду основополагающих характеристик аналогичные инструментам из Северного Приладожья.

Более того, как показала О. А. Набокова, в Сямозерье пропорциональный строй прялок больше соответствует североприладожским образцам, нежели прялкам, зафиксированным в пределах собственно-карельских этнических ареалов.

По данным И. Е. Гришиной, Сямозерье представляет собой средоточие домов особой планировки – разношироких домов-дворов с усложненной застройкой коммуникационной зоной между жилой и хозяйственной частями. Ареал подобных домов в масштабах Карелии имеет меридиональную направленность и совпадает с территорией расселения собственно карел от Северного Приладожья до Беломорской Карелии. Однако и немногие сохранившиеся образцы, и опубликованные данные позволяют наметить этот ареал лишь пунктиром. И только в Сямозерье такие дома отмечены в большом количестве и более молоды, что говорит и о длительности и устойчивости традиции их возведения, и о значении Сямозерья как хранителя собственно-карельских традиций домостроения до первой трети XX в. включительно.

Наибольший интерес в силу неожиданности своих результатов представляет детальное исследование лодок-сямозерок, проведенное специалистами по традиционным деревянным судам Ю. М. Наумовым и А. П. Скворцовым. Они показали, что традиционные лодки Сямозерья отличаются от эталонных для Карелии «кижанок» в первую очередь устройством матицы – кияля: в «кижанках» киль выполнен в виде горизонтальной тесины прямоугольного сечения, в «сямозерках» – вытесан из массивной плахи и имеет Т-образное сечение, аналогичное киллю поморских карбасов.

Если «кижанки», судя по бытовавшим в прошлом на внутренних водоемах Заонежья легко переволакиваемым посуху долбленкам-«ушкоям» (или «ошкучам»), скорее всего, генетически восходят к новгородским ушкуям, то «сямозерки» – к морским судам, сформировавшимся, по-видимому, в Приладожье в XI в., когда племенное образование корелы вышло на просторы Балтики. В XII–XIII вв. расцвет культуры древних карел сопровождался распространением их влияний в западном направлении, что способствовало сохранению «морского статуса» раннесредневекового балтийского государства. Однако уже с конца XIII в. после включения корелы в состав Новгородской земли и последующей аннексии Швецией приграничных карельских территорий первоначальная направленность карельской экспансии на запад сменилась восточной⁹, что непосредственно отразилось в судостроительстве в виде постепенной атрофии высокого кияля.

Примечательно, что процесс подобной атрофии менее всего затронул лодки Сямозерья, несмотря на то что и Сямозеро, и близлежащие озера по своему характеру не самые «мористые» внутренние водоемы Карелии. При этом лодки прямых наследников древней корелы – северных собст-

венно карел сохранили лишь рудименты морских килей. Похоже, что бытующие до настоящего времени лодки-сямозерки являются единственным живым символом, напоминающим сегодня о золотом веке национальной карельской культуры.

Все отмеченные особенности культуры Сямозерья можно объяснить лишь тем, что именно территория современного расселения северных (сямозерских) ливвиков в XVII в. оказалась в эпицентре «карелизации» вепсского населения Онежско-Ладожского межозерья, а сямозерцы стали играть ведущую роль в этнокультурных процессах на юго-западе Карелии, особенно в период «вторичной этнизации» рубежа XIX–XX вв.

¹ Село Суйсарь: история, быт, культура. Петрозаводск, 1997; Деревня Юккогуба и ее округа. Петрозаводск, 2001; Панозеро: сердце Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2003.

² История и культура Сямозерья / Отв. ред. Орфинский В. П. (в печати).

³ Гришина И. Е. Планировочные приоритеты в развитии традиционных сельских поселений Карелии // Архитектурное наследство. Вып. 44. М., 2001. С. 60–61.

⁴ Орфинский В. П. Загадки «домиков мертвых» // Памятники культуры и мировоззрение. Петрозаводск, 1985. С. 129–143.

⁵ Иванова Т. Г. Заонежская былинная традиция и проблема географического распространения былин // Междунар. науч. конф. по проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры Русского Севера «Рябининские чтения – 95»: Сб. докладов. Петрозаводск, 1997. С. 88–90.

⁶ Степанова А. С. Карельские свадебные причитания и ритуальная свадебная баня // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1988. С. 106–129.

⁷ Heikkinen K. Karjalaisuus ja etninen itsetajunta. Salmin siirtokarjalaisia koskeva tutkimus. Joensuu yliopistonhum. Julk. № 9. Joensuu, 1988. S. 360–364.

⁸ Мыльников А. С. Об этнической деляборации и постэтничности: в связи с некоторыми итогами полевых наблюдений в Северной Германии // Музей. Традиции. Этничность. XX–XXI вв.: Материалы междунар. науч. конф., посвященной 100-летию Рос. этнографического музея. СПб; Кишинев, 2002. С. 175–178.

⁹ Сакса А. И. История населения Приладожской Карелии и области Саво с древнейших времен и до XIV в. // Очерки исторической географии: Северо-Запад России: Славяне и финны. СПб, 2001. С. 267–270.

© А. Б. Бодэ
Москва

Древний Новгород и Москва.

О возможности взаимодействия традиций в деревянном зодчестве

Вопрос о возможности выявления в деревянном зодчестве Севера древних традиций, связанных с основными направлениями освоения и заселения региона, долгое время оставался вне сферы внимания исследователей. Ареальные исследования освоения Севера и распространения русской культуры проводились в рамках различных научных дисциплин. Во

взаимосвязи с переселенческими потоками из Новгорода рассматривалось, главным образом, распространение произведений эпической поэзии¹. В деревянном культовом зодчестве Севера отдельные тенденции, связанные с восточными и западными влияниями, описаны В. П. Орфинским на примере построек Обонежья².

По аналогии с каменной архитектурой в деревянном зодчестве Новгородской земли можно предполагать существование собственных традиций, отличных от тех, что бытовали в среднерусских землях. Выявлению древних новгородских традиций в деревянном зодчестве северо-западных областей посвящена отдельная работа автора, носящая характер постановки проблемы. Как отголоски традиций Новгородской земли было рассмотрено распространение каскадных и восьмискатных покрытий деревянных церквей и часовен³. В качестве основного метода принято картографическое ареалирование исследуемых признаков и сопоставление полученных ареалов с территориями бывших новгородских владений.

Устройство каскадных покрытий встречается на основных или соподчиненных объемах ряда клетских церквей, например, Георгиевской 1493 г. в с. Юковичи, Рождества Богородицы 1599 г. в дер. Лиственка, Никольской 1613 (1705?) г. в с. Ковда. Подобным образом покрыты алтарные прирубы шатровых храмов в с. Самино 1692 г., в с. Пидьма 1696 г., а также основные срубы часовен в деревнях Леликозеро второй половины XVII в., Загубье 1717 г., Селецкое 1753 г. и др.

Восьмискатные покрытия встречаются на церквях с основным объемом в виде четверика, таких, как Флора и Лавра 1613 г. в с. Мегрега, Троицкой 1694 г. в с. Помялово, Никольской 1708 г. в с. Уйма. Ярусные, состоящие из четвериков церкви представлены единственным сохранившимся памятником – церковью Иоанна Предтечи 1694 г. в с. Ширково. Несколько аналогичных построек известно по старинным изображениям⁴.

Расположение построек с каскадными кровлями практически полностью укладывается в границы Новгородской земли. Большинство известных деревянных церквей с восьмискатным покрытием объемов было построено также в границах бывших новгородских владений, несколько – за их пределами. Объекты в основном сосредоточены на территориях, непосредственно окружающих Новгород или связанных с ним удобными путями. Заметное скопление объектов наблюдается на северо-востоке от Новгорода – в Обонежье.

За первым водоразделом по пути от Новгорода рассматриваемые архитектурные приемы встречаются очень редко. В Поонежье их не зафиксировано вообще. В Беломорье и Северодвинском поречье – это отдельные объекты, расположенные на значительном удалении друг от друга.

Применение каскадных покрытий на различных постройках или их частях можно связывать с удаленностью от Новгорода. Объекты, сгруппированные вокруг центра, – преимущественно церкви, где подобным образом покрыты основные срубы. В Прионежье каскадные покрытия встречаются только на алтарных прирубах шатровых храмов и на часовнях. Трехступенчатые каскадные кровли, в отличие от двухступенчатых, представлены постройками, также расположенными сравнительно недалеко от Новгорода.

Исчезновение предполагаемых древних новгородских традиций в целом наблюдается в конце XVII – начале XVIII в., хотя на различных территориях этот процесс протекал по-разному. Строительство часовен с каскадными покрытиями дольше всего, вплоть до середины XVIII в., продолжалось в Заонежье. Сложившаяся в Прионежье полиэтническая среда, очевидно, способствовала не только консервации древних традиций, но и их творческой переработке⁵.

В совокупности выводы по географии распространения, характеру устойчивости и времени исчезновения рассматриваемых традиций позволяют предполагать, что строительство деревянных церквей с восьмискатными и каскадными покрытиями восходит к периоду самостоятельности Новгорода. Однако выявление древних новгородских традиций более результативным представляется в сопоставлении с московскими влияниями.

На территории Русского Севера выделяются две зоны, связанные с основными переселенческими потоками⁶. В Онежско-Двинском ареале поток колонизации из среднерусских земель перекрыл более ранний новгородский. Особое положение занимает Поонежье, которое находится в части Севера, где московское влияние было наиболее сильным, и вместе с тем оно является «порубежным» по отношению к Обонежью – территории, тесно связанной с Новгородом и долго сохранявшей древние новгородские традиции.

Наиболее ранние выявленные характерные особенности деревянного зодчества Поонежья выражаются в покрытиях соподчиненных объемов крещатых храмов системой поставленных одна на другую бочек и в устройстве декоративных кокошников на основных срубах шатровых церквей⁷. Примером тому изображения церквей Ошевенского монастыря⁸, церкви Никольская 1618 г. в с. Пурнема, Вознесенская 1654 г. в с. Пияла, Иоанна Златоуста 1665 г. в с. Саунино и др.

Особенности поонежских деревянных церквей сопоставимы с приемами каменного зодчества. На монументальных шатровых храмах XVI – первой половины XVII в. ряды и ярусы кокошников образовывали систему перехода от крещатого или квадратного в плане основания к верхнему

восьмерику. Кроме того, кокошники обычно фиксировали любой переход от одной формы к другой – от восьмерика к шатру, от шатра к барабану.

После объединения русских земель под властью Москвы древние новгородские торговые пути теряют былое значение и наиболее важными становятся радиальные по отношению к Москве направления. Одной из таких дорог стала Онега, представлявшая собой кратчайший путь в западную (внутреннюю) часть Белого моря.

В XVI в. Беломорье активно вовлекается в жизнь государства. Об этом говорят и масштабы соляной торговли, обеспечившей быстрое развитие поонежских городов и сел, и бурный расцвет Соловецкого монастыря, который входит в число крупнейших в России. Все это способствовало укреплению экономических и культурных связей Поонежья с центральными районами страны. Думается, что Онега в это время была, если не самой значительной торговой дорогой Севера, то уж никак не менее оживленной, чем Двина.

Положение изменилось с открытием северного морского пути в Европу, когда иностранная торговля была сосредоточена в Архангельске. Со смещением наибольшей торговой активности в восточную часть Белого моря Онега приобрела местное значение, играя связующую роль между западной частью моря и Белозерскими и Вологодскими землями. К тому же с XVII в. солеварение на беломорском побережье пошло на спад и в центральные районы России поступала более дешевая уральская соль. Торговый путь, проходивший по Онеге, становился все менее оживленным.

Все это позволяет предполагать, что в Поонежье в XVI в. (кроме последних десятилетий) складывались наиболее благоприятные по сравнению с другими северными землями условия для распространения архитектурных традиций Московской Руси, что подтверждается распространением на Севере каменного культового строительства.

Поонежье тесно соприкасалось с Белоозером, где каменное строительство началось значительно раньше, чем в других, прилегающих к Северу районах. Архитектура древнейших белозерских построек ориентировалась на московские образцы. Собор Рождества Христова в Каргополе 1558–1566 гг. относится к распространенному типу, строившемуся по подобию Успенского собора Московского Кремля. Черты складывающейся общерусской архитектуры отчетливо выражены в постройках Соловецкого монастыря второй половины XVI в. Для сравнения – по северодвинскому направлению к XVI в. относится только одна каменная постройка в Сольвычегодске.

Отсутствие или ограниченное распространение покрытий системой бочек и кокошников в других севернорусских землях может быть объяснено предположением о символическом значении поонежских церквей.

Храмы, архитектура которых отчетливо выражает ориентацию на средне-русские образцы, могли служить утверждению господства Москвы на Севере. Надо сказать, что среди каменных культовых построек XVI в. архитектурно-художественный образ монументального шатрового храма наиболее соответствует символу централизованной власти.

Крещатые церкви Поонежья и Беломорья образуют слабую, но из-за отсутствия подобных построек на сопредельных территориях, все же достаточно заметную «пунктирную» линию, огибающую Обонежье с северо-восточной стороны. Таким образом, их расположение в общих чертах стыкуется с зоной наибольшей устойчивости древних новгородских традиций. Если в Поонежье объекты четко следуют течению реки, то в Беломорье они более разбросаны.

Можно увидеть соответствие между местоположением беломорских построек и их архитектурными особенностями. Например, с. Шуерецкое расположено в северо-западной части Поморского берега, которая входила в состав Обонежской пятины. Находившаяся здесь крещатая Никольская церковь конца XVI(?) в. не имела покрытия выступающих частей основания системой бочек. Климентовская церковь 1501(?) г. или XVII в. в с. Уна, напротив, расположена на «московской» территории, в стороне от границы с Обонежской пятиной. В ее архитектурном решении и пропорциональном строе идея высотности, торжественности выражена не столь подчеркнуто.

Что касается Успенской церкви 1674 г. в с. Варзуга, расположенной на значительном удалении от Обонежской пятины на Север, то строительство здесь церкви, несущей московские архитектурные традиции, очевидно, имело тот же символический смысл – утверждение власти Москвы, только в иной ситуации. Успенская церковь относится к поздним крещатым постройкам, когда взаимодействия древних новгородских и московских традиций, наверное, уже не могло быть. Идеино-символическое содержание образа церкви в Варзуге, как отмечал А. В. Ополовников, по-видимому, связано с борьбой против приверженцев старой веры⁹.

Возвращаясь к новгородским традициям, следует заострить внимание на распространении восьмискатных кровель на ярусных постройках. На землях, составлявших владения Новгорода, ярусные состоящие из четвериков церкви с восьмискатным покрытием ярусов зафиксированы только на приграничных со среднерусскими княжествами территориях. В этом можно увидеть обострение самоидентифицируемых характеристик по мере приближения к границе ареала.

Отмеченное в деревянном зодчестве взаимодействие древних новгородских и московских традиций имеет сходство с процессами, происходившими на стыках этнических ареалов. Символическое значение, придававшее-

ся архитектурной форме, является закономерным результатом сопоставления «своего» и «чужого» и стремления утвердить собственную значимость. Таким образом, в основе того и другого явления лежит единый механизм взаимодействия двух сторон, выражавшегося в сфере искусства.

Изучение древних новгородских и московских традиций в деревянном зодчестве Севера представляется достаточно перспективным направлением, которое, возможно, позволит сделать более понятным развитие деревянного зодчества на древних этапах и его взаимодействие с каменной архитектурой.

¹ Дмитриева С. И. Географическое распространение русских былин. М., 1975. С. 20–22, 37–41.

² Орфинский В. П. Отголоски храмостроительных традиций Древнего Новгорода на восточной периферии бывшей Новгородской земли (XVI–XIX вв.) // Православие в Карелии: Материалы 2-й научной конф., посвященной 775-летию крещения карелов. Петрозаводск, 2003. С. 17–23.

³ Бодэ А. Б. Древние новгородские традиции в деревянном культовом зодчестве северо-западных областей России XVI–XVIII вв. // Архитектура в истории русской культуры. Вып. 6. «Переломы эпох». М., 2005. С. 69–89.

⁴ Максимов П. Н., Воронин Н. Н. Деревянное зодчество XIII–XVI вв. // История русского искусства. Т. 3. М., 1955. С. 280; Изв. Императорской археологической комиссии. Вып. 57. С. 131.

⁵ Орфинский В. П. Указ. соч. С. 19–21.

⁶ Витов М. В. Этнография русского Севера. М., 1997. С. 12–17.

⁷ Бодэ А. Б. Характерные особенности деревянного культового зодчества Поонежья XVII–XIX вв. Т. 1. М., 2005 (Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры).

⁸ Мильчик М. И. Северный деревянный монастырь на иконах XVII–XIX вв. // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1978. Л., 1979. С. 333–346.

⁹ Ополовников А. В. Успенская церковь в селе Варзуга // Архитектурное наследство. Вып. 5. М., 1955. С. 48.

© А. Ю. Борисов
Петрозаводск

Планировочные формы традиционных сельских поселений: опыт исследования этнических особенностей

Впервые положительный ответ на вопрос об этнических особенностях в планировках традиционных поселений был дан в работах В. П. Орфинского, который утверждал, что специфика проявления этнического в планировках поселений заключается не в предпочтении тех или иных планировочных форм разными этническими группами населения, а в нюансных отличиях и тенденциях развития таких форм¹.

Одной из таких тенденций является предпочтение южной ориентации лицевых фасадов домов. Анализируя данные по территории проживания славянских народов в границах бывшего СССР, в том числе и на Русском Севере, Е. Э. Бломквист указывала на то, что стремление обратить главные фасады домов окнами на юг было естественно для всех крестьян². Вместе с тем она отмечала, что типами планировки поселений (формами поселений. – А. Б.) исследователи почти не занимаются³, поэтому более детализированных выводов о южной ориентации жилых построек в указанной работе, как и в этнографических трудах более позднего времени, нет. Однако В. П. Орфинский, сопоставляя планировочные структуры русских и карельских деревень, отметил, что тенденции к южной ориентации домов у прибалтийско-финских народов прослеживаются более отчетливо, чем у русских⁴. Конкретизации этого положения и посвящено исследование, которое выполнено на основе натуральных материалов, собранных нами в двух этноконтактных зонах русского и прибалтийско-финского населения: вепсов в первом случае, тихвинских карел – во втором.

Однозначно приоритет ориентации на юг («на лето», на солнце) можно определить только для простых планировочных форм. Когда застройка характеризуется одинаковой закономерной ориентацией, особой сложности в выявлении этой закономерности нет, особенно если с солнечной стороной горизонта не конкурируют никакие другие структурообразующие элементы – водоем, дорога, природная или архитектурная композиционная доминанта. Следует отметить, что в иерархии приоритетов ориентации за главенствующий нами принимается солнце. Так, например, если застройка смотрит одновременно на южную сторону горизонта и водоем, то главным мотивом такой постановки домов является стремление к ориентации на солнце. Если же при обращении застройки к воде «жертвуют» южной ориентацией, то в данном случае основным приоритетом является водоем. То же правило применяется нами при сочетании ориентации «на лето» и на дорогу.

Труднее определить приоритет в ориентации «на лето» в беспорядочных или сложных формах поселений. Такие формы характерны для территории, заселенной южными вепсами. Здесь подавляющая масса деревень в планировочном отношении представляет собой сложные образования, состоящие из трудно расчленимого смешения различных простых форм.

При анализе структуры поселения с точки зрения приоритетности ориентации «на лето» такие планы поселений разделялись нами на несколько простых форм, а при нечеткой определимости последних – с учетом вышеозначенного правила выявлялся приоритет ориентации для каж-

дого дома. Каждое поселение было описано через процентное соотношение различных направлений ориентации жилых домов: «на лето», на водоем, на дорогу. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о явном преобладании в поселениях постановки домов с ориентацией «на лето» (см. табл.). Таким образом, южные вепсы, так же как и карелы, сохраняют стремление к ориентации жилища «на лето».

Приоритеты ориентации жилой застройки, %

Направление ориентации лицевых фазов домов	Для приводомных поселений		Для сележных поселений	
	Поселения, где отмечена данная ориентация (доля в общем числе обследованных)	Жилые дома с данной ориентацией (доля в общем числе домов поселения)	Поселения, где отмечена данная ориентация (доля в общем числе обследованных)	Жилые дома с данной ориентацией (доля в общем числе домов поселения)
На солнце	100	28–100	100	70–100
На водоем	30	4–36*	–	–
На дорогу	33	9–30**	66	9–24

*За исключением дер. Тедрово, где доля домов с ориентацией на водоем составляет 72%.

** За исключением дер. Чайгино, где доля домов с ориентацией на дорогу составляет 70%.

Еще большую сложность для выявления тенденции к ориентации «на лето» представляют наиболее поздние формы поселений – уличные. Среди всех обследованных нами поселений на территории проживания тихвинских карел и соседствующих с ними русских уличные формы составляют 87% и преобладают как у карел, так и у русских. При таких планировочных структурах возможность ориентации «на лето» не может быть одинаковой для всех домов, особенно для поселений с широтным направлением улицы. У местного населения стремление ориентировать свои жилые постройки на южную сторону горизонта вылилось в некоторые преобразования широтных уличных форм: существенно уплотнялся и удлинялся северный широтный ряд домов в составе улиц, застройка южного ряда становилась менее плотной (деревни Бирючево, Новиково), а дома в его составе располагаются не только перпендикулярно, но и параллельно дороге.

При меридиональном расположении улицы застройка по отношению к дороге перпендикулярна и равномерно распределена относительно нее. В поселениях, имеющих и широтные и меридиональные улицы, последние развивались более активно (удлинялись по сравнению с широтными), при этом застройка по обеим сторонам меридиональной улицы уплотнялась одинаково (деревни Забелино, Селище). Из сказанного можно предположить, что меридиональные улицы более удобны с точки зрения ори-

ентации жилища на солнце. Однако преобладания таких структур ни у карел, ни у русских не отмечено. А для сложных структур этот прием анализа оказался вообще неприемлемым.

Но карельские и русские поселения на обследованной территории с точки зрения южной ориентации построек все же отличаются.

Практически все жилые постройки и карел, и русских так или иначе имеют окна, обращенные к южной стороне горизонта, независимо от планировочной структуры поселения. Это наблюдается не только в натуре, но и сохраняется в сознании местных жителей, которые объясняют особенности постановки дома стремлением к лучшему его освещению, так как число окон было ограничено, и размеры их были небольшими якобы из-за того, что существовал налоговый сбор на размер и количество окон. Интересно, что такие ответы были получены только в карельских деревнях. По мнению историков Н. А. Кораблева и А. Ю. Жукова, сведения о таком налоге недостаточно достоверны: налоги на крестьян были подушные или подворные. При этом исследователи обратили внимание на существование налога «на дым» у карел до переселения их «из-под шведов»⁵. Одна из местных жительниц во время опроса упомянула о таком налоге и на этой территории. Возможно, в данной местности каким-то образом в сознании населения выстроилась ассоциативная цепочка: «дым» – «дымоволочное окно» – «окно», связывающая возможность установления налога с особенностями жилища.

Очевидно, что при постановке дома в деревне для лучшего его освещения крестьяне учитывали и планировку самого дома, включая расположение входа в него и, конечно, планировку избы. Схемы домов на данной территории традиционны и количество их разновидностей ограничено, поэтому только постановка домов на местности влияет на параметры их естественного освещения.

Для сравнения эффективности «улавливания» солнечного света (учета солнечной освещенности) жилищами карел и русских на обследованной территории все традиционные схемы жилых построек были сведены к двум основным типам – домам с двух- и трехсторонним освещением избы, а в качестве количественной характеристики использовалась величина освещенной площади пола избы, отнесенная к общей ее площади (в процентах), которая изменяется в течение дня в зависимости от движения солнца. Определенный промежуток времени, когда ее значение превышает 50% от общей площади пола, был назван нами периодом максимальной обеспеченности инсоляцией (МОИ).

Целью подсчетов было выявление направлений ориентации, в пределах которой период МОИ для изб I и II типов был бы наибольшим, а затем определение числа домов в поселении, постановка которых попадает в эти благоприятные пределы ориентации. Изменение положения солнца

в течение дня учитывалось при помощи графика для определения координат солнца при географической широте 60° . Так как продолжительность освещения земной поверхности солнцем зависит от времени года, то в расчетах использовались усредненные показатели, поэтому принято, что продолжительность дня равна 12 часам и движение солнца происходит в секторе горизонта, ограниченном азимутами 95° и 265° ⁶.

Для домов, освещаемых с двух сторон и имеющих вход с левой стороны от главного фасада, диапазон азимутов оптимальной ориентации составил $115\text{--}185^\circ$, а для имеющих вход справа от главного фасада – $175\text{--}245^\circ$ ⁷. При этом максимально возможный период МОИ равен примерно 4 часам. В случае, когда окна расположены по трем сторонам сруба, для домов, имеющих вход с левой стороны от главного фасада, этот диапазон составил $160\text{--}185^\circ$, а для имеющих вход справа от главного фасада – $185\text{--}200^\circ$. Но при такой оконности избы максимально возможный период МОИ равен уже 12 часам, то есть практически всему дню.

В результате анализа планов поселений оказалось, что процент домов с оптимальной постановкой, при которой период МОИ имеет наибольшее значение, достаточно велик и в русских, и в карельских деревнях. Но на карельской территории доля таких домов в общем числе жилых построек по разным деревням составляет от 39 до 88%⁸, для русских же деревень аналогичный показатель уменьшается до 10–55%. Таким образом, можно говорить, что в карельских деревнях по сравнению с русскими лучше использовались возможности для освещения избы за счет оптимальной постановки дома на местности. Однако при этом часто нарушалась закономерность построения, или «чистота» планировочных форм. Показательный пример тому – карельские деревни Новинка и Дубровка, представляющие собой сложные структуры с короткими разнонаправленными улицами и порядками домов.

В свою очередь, в русских деревнях более строго соблюдалась «планировочная дисциплина», чему способствовала большая приоритетность упорядочивающих застройку линейных структурообразующих элементов, в первую очередь – дорог. Дополнительно подтверждает этот вывод и тот факт, что при преобладании приводоемого заселения и у карел, и у русских только в русских поселениях (деревни Клеск и Усадище) отмечена прибрежно-рядовая форма поселения с ориентацией на воду и одновременно на неблагоприятную для освещения сторону горизонта – северо-северо-запад.

Полученные результаты исследований позволяют говорить о явной приоритетности южной ориентации жилой застройки при формировании поселений как русских, так и прибалто-финнов. Однако для последних

это явление характерно в большей степени, что не может быть обусловлено лишь практическими соображениями. Несомненно, существует также и символическое значение ориентации на солнце, которое до настоящего времени детально не изучалось и которое еще предстоит раскрыть.

¹ Орфинский В. П. Вековой спор. Типы планировки как этнический признак (на примере поселений Русского Севера) // СЭ. 1982. № 2. С. 55–61.

² Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов // Восточно-славянский этнографический сборник. М., 1956. С. 58.

³ Там же. С. 41.

⁴ Орфинский В. П. Указ. соч. С. 59, 61.

⁵ Автор приносит благодарность за консультацию А. Ю. Жукову и Н. А. Кораблеву.

⁶ Гусев Н. М. Архитектурная светотехника. М.; Л., 1949.

⁷ Разница в значениях азимутов для домов с правым и левым входом связана с тем, что избы имеют неодинаковую оконность боковых фасадов.

⁸ За исключением деревень Курята (14%) и Логиново (6%), имеющих большие утраты в застройке, что не позволяет говорить о корректности для них полученных результатов анализа.

© А. О. Слудняков
Санкт-Петербург

О времени распространения красного угла в крестьянских избах Северо-Запада России

Принято считать, что красный угол¹ появился в крестьянских избах еще в глубокой древности. М. Г. Рабинович относил его возникновение к XIII в., а А. К. Байбурин, видимо, даже к X–XI вв.² В подтверждение этой версии исследователи ссылаются на известную работу П. А. Раппопорта о древнерусском жилище, причем на то ее место, где говорится, что печь у русских стала располагаться у входа в X–XI вв.³ И хотя сам П. А. Раппопорт о красном угле не сказал ни слова, из факта размещения печи в углу у входа, похоже, был сделан вывод, что угол, расположенный по диагонали от печи, обязательно должен был иметь какую-то сакральную функцию⁴. Однако, надо думать, что нельзя ставить знак равенства между помещением печи в один угол и сакрализацией другого угла.

Существует версия и более раннего происхождения красного угла, согласно которой он является наследием язычества. Эту гипотезу в разное время высказывали различные исследователи, в том числе и такие известные ученые, как Б. А. Рыбаков и А. А. Шенников. Они считали, что в раннем средневековье в красном углу вместо икон

находились фигурки языческих «божков», наподобие тех деревянных фигурок, что в XIX–XX вв. попадались этнографам на божницах крестьянских изб⁵.

Это утверждение кажется нам также недостаточно обоснованным. Наличие в XIX–XX вв. на божницах упомянутых фигурок еще не является основанием для утверждения, что и в древнерусских постройках подобные предметы находились именно там. Кроме произвольной экстраполяции современных этнографических данных на средневековые это не подтверждается никакими иными источниками. Кроме того, точная атрибуция таких фигурок («панок») не была произведена⁶. К тому же, древним языческим центром избы аргументированно считается печь (очаг)⁷. Общий же обзор ареала распространения красного угла показывает, что он, скорее, может быть связан с христианской традицией иконопочитания, нежели с язычеством⁸. Что же касается фигурок на божницах, то, думается, это лишь одна из многочисленных попыток язычества как-то приспособиться к господствующей христианской культуре и «встроиться» в нее⁹.

А. А. Шенникову принадлежит также и еще одно интересное предположение. Основываясь на письменных источниках, он пришел к выводу, что, например, в XVI–XVII в. в крестьянских избах икон могло и не быть вовсе. Одним из главных аргументов исследователя стало сообщение итальянского дипломата Паоло Кампани, который писал, что хотя у русских в домах «на самом почетном месте» находятся иконы или кресты, но есть дома, в которых икон нет, и в этом случае не полагается креститься при входе. А. А. Шенников считал, что свидетельство об отсутствии икон может относиться как раз к крестьянским избам, которые в тот период использовались для содержания и кормления скота. Это, возможно, противоречило церковным требованиям и делало помещение в них икон нежелательным. Иконы, по мнению А. А. Шенникова, находились в клетях – неотапливаемых кладовых-спальнях, уровень комфорта в которых был выше, чем в избах¹⁰.

Для прояснения ситуации необходимо проанализировать наиболее ранние источники по интересующему нас вопросу. Они относятся к XVII–XVIII вв. и принадлежат иностранцам, побывавшим в России и опубликовавшим свои воспоминания у себя на родине. Приведенные ими весьма скудные сведения, разумеется, не могут считаться неоспоримыми фактами, так как, во-первых, иностранцы говорят о России «вообще», без привязки к конкретной местности и, как правило, не разделяя городские и крестьянские постройки, а во-вторых, мы пользуемся переводами, точность которых часто не можем проверить. Но, тем не менее, за неимением других сведений, относящихся к этому времени, следует обратить на них внимание.

Стоит сказать, что здесь мы рассматриваем материалы, которые так или иначе имеют хотя бы косвенное отношение к крестьянскому жилищу, а не к жилищам феодалов или богатых горожан.

Одни из самых ранних наблюдений принадлежат известному путешественнику Адаму Олеарию, посетившему Россию в 1634–1635 гг. А. Олеарий описывает интерьер построек различных слоев общества так: «...ни в одном доме, ни у богатых, ни у бедных людей, незаметно украшения в виде расставленной посуды, но везде лишь голые стены, которые у знатных завешаны циновками и заставлены иконами»¹¹. Иными словами, путешественник обратил внимание на иконы только в жилищах феодальной знати, а в домах даже «богатых людей» (по-видимому, купцов), не говоря уже об основной массе населения, он икон не отметил, что косвенно подтверждает сообщение П. Кампани. Однако далее А. Олеарий уже говорит о наличии икон в каких-то крестьянских жилых постройках: «Крестьяне в деревнях не желали допустить, чтобы мы касались руками их икон, лежа на лавках, обращались к ним ногами»¹². Из данной фразы невозможно выяснить, о каких именно постройках идет речь и где располагались иконы. Но, скорее всего, здесь говорится о клетях. В то время здоровые взрослые люди даже зимой спали в основном в клетях, а не в избах¹³. Даже в XIX в. в Среднем Поволжье, где отдельно стоящие кладовые-спальни были еще широко распространены и использовались по своему прямому назначению, гостей укладывали спать именно там, а не в избе¹⁴. Однако нельзя полностью исключать и возможность существования икон в избах. А. Олеарий также впервые указывает и на расположение икон и стола в углу «комнаты». Речь, правда, идет о богатом доме, а не о крестьянской избе¹⁵.

Следующее свидетельство принадлежит дипломату Гвидо Мьежу, посетившему Россию в 1663–1664 гг. и оставившему описания крестьянских и городских жилых построек, по его словам, мало отличавшихся друг от друга. Говоря об интерьере изб, Г. Мьеж отмечает и наличие иконы: «нет ни одного дома, где у окна не висела бы икона с лампадой»¹⁶. У какого окна висит икона Г. Мьеж не уточняет, тем более что из его описания непонятно, сколько вообще окон в избе и как они расположены.

Наиболее подробными и заслуживающими доверия сведениями об интересующем нас вопросе являются наблюдения англичанина Джона Перри, жившего в России в 1698–1715 гг. Д. Перри, инженер на великих стройках петровской эпохи, разбирался в различных постройках намного лучше А. Олеария или Г. Мьежа и подробно описывал их, включая временные жилища солдат.

В своей книге Д. Перри сообщает о наличии красного угла в домах богатых людей: «Между русскими существует обыкновение (особенно между богатыми, которые могли позволить себе эту роскошь) ставить в комнатах своих, преимущественно же в переднем углу, против печи, множество изображений Святых...» В этой фразе интересно то, что наличие множества икон в доме признается роскошью, которую не все могли себе позволить. Далее Д. Перри поясняет: «В доме же бедного человека, где существует только один такой образ... и где бывает очень темно, да где не всегда перед образом горит и восковая свечка, то чужому человеку, входящему в избу, трудно с первого раза рассмотреть, где находится... образ, и он первым делом спрашивает: „А где же Бог?“, на что кто-нибудь из присутствующих указывает ему, на каком месте стены висит образ»¹⁷.

Таким образом, налицо ситуация, когда человек, попавший в незнакомый дом, не может сориентироваться и найти божницу. В XX в. этого, скорее всего, не произошло бы. Устойчивая диагональ печь – красный угол позволяла быстро определить место для икон даже в темноте. Видимо, в начале XVIII в. на северо-западе России, где работал английский инженер, такой диагонали в большинстве случаев еще не было¹⁸. Кроме того, Д. Перри определенно противопоставляет постановку икон в «передний угол», уже принятую у богатых, и размещение иконы у бедных на каком-то неопределенном «месте на стене», что также свидетельствует об отсутствии у основной массы населения красного угла в привычном нам понимании.

Косвенным подтверждением этого служит и то, что даже в конце XIX – начале XX в. иконы еще далеко не везде располагались в углу по диагонали от печи. Например, на границе Кемского и Повенецкого уездов у старообрядцев-карел была зафиксирована ситуация, отчасти напоминающая описание Д. Перри: «В красном, сутнем, углу вы редко увидите икону, как обыкновенно бывает в русской избе..., но осмотрите хорошенько стены: где-нибудь посредине стены, между окнами, или в углу против печки, где вы совсем не привыкли видеть иконы, заметите... маленькие, створчатые... образа, которые помещаются обыкновенно на высоте не более двух аршин от полу»¹⁹. Сведения о расположении икон в непривычных местах есть и из других мест Русского Севера²⁰.

Таким образом, можно предположить, что в начале XVIII в., по крайней мере, на территории Северо-Запада России красный угол в привычном нам виде имелся в основном в избах богатых людей (подчеркнем, что речь идет именно об избах, а не о различных «чистых» помещениях типа горниц или «комнат», в которых он мог существовать и раньше). У основной же массы населения, в том числе у крестьян, постановка икон в угол по диагонали от печи, по всей видимости, еще не была широко распространена.

Теперь осталось выяснить, где же висела та единственная икона, о которой говорят Д. Перри и Г. Мьеж. Если это, как мы предполагаем, не был красный угол, то в каком другом «месте на стене» она могла находиться? Как гипотезу предложим вариант ее размещения на середине лицевой стены. Подобное расположение икон было широко распространено в Карелии еще в начале XX в. Иконы там помещались на фасадной стене, часто над центральным окном²¹, что отчасти совпадает с описанием Г. Мьежа. Возможно, в XVII–XVIII вв. так же или похоже они располагались и в центральных районах страны, где побывал Г. Мьеж.

Стоит отметить, что фольклорист Н. А. Лавонен, которой, видимо, не известны приведенные данные письменных источников, на основании сопоставления интерьеров изб старообрядцев и православных Карелии пришла к аналогичным выводам и предположила, что помещение икон в красном углу – явление достаточно позднее, как-то связанное с реформой Никона²². С такой привязкой изменений в интерьере к церковным реформам, конечно, нельзя согласиться. Как уже отмечалось, А. Олеарий видел размещение икон в углу «комнаты» задолго до событий 1656–1667 гг. Однако сделанный Н. А. Лавонен вывод о позднем происхождении красного угла, основанный на изучении только натурного материала, в целом совпадает с приведенным нами предположением, базирующемся на анализе исключительно письменных источников.

Возможно, длительное сохранение в быту старообрядцев архаичных способов размещения икон было связано с определенным консерватизмом этой конфессиональной группы и желанием сохранить какие-то древние (с точки зрения самих старообрядцев) формы. Возможно, такое расположение икон было удобно для применявшейся старообрядцами беспоповцами практики домашних богослужений.

В заключение необходимо сказать о приблизительных хронологических рамках распространения красного угла у крестьян на Северо-Западе России. Точно определить их, по понятным причинам, невозможно. Видимо, Д. Перри отметил лишь самое начало этого процесса, который, как уже было сказано, полностью не завершился и к началу XX в.

Однако, скорее всего, во второй половине XVIII в. красный угол уже был достаточно распространен, во всяком случае, в городском, мещанском жилище. В популярном издании И. Г. Георги «Описание всех в Российском государстве обитающих народов...» об интерьере русской избы (причем опять без какой-либо территориальной привязки, а также явно смешивая крестьянские и мещанские постройки) сказано: «...в углу, на стенах, изображения...угодников Божиих...»²³ И. Г. Георги описывал, скорее, интерьер мещанской, а не крестьянской избы, но, несмотря на

это, в крестьянских избах он уже, вероятно, имел распространение. Во всяком случае, все действительно подробные и достоверные описания крестьянских построек, относящиеся, правда, к середине XIX в., за исключением описанных нами случаев, показывают, что к этому времени процесс распространения красного угла на Северо-Западе России уже завершился.

¹ Здесь и далее под термином «красный угол» мы будем понимать угол, расположенный по диагонали от печи с расположенными в нем иконами.

² Рабинович М. Г. Русское жилище в XIII–XVII вв. // Древнее жилище народов восточной Европы. М., 1975. С. 168; Он же. Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988. С. 19; Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. С. 129–130.

³ Раппопорт П. А. Древнерусское жилище // Древнее жилище народов восточной Европы. М., 1975. С. 126.

⁴ Байбурин А. К. Указ. соч. С. 129–130.

⁵ Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1988. С. 497–500; Шенников А. А. Двор крестьян Неудачки Петрова и Шестачки Андреева. Как были устроены усадьбы русских крестьян в XVI в. СПб, 1993. С. 65–66.

⁶ Например, так и не было выяснено, принадлежали ли они обычным крестьянам или встречались только у профессиональных колдунов (или их потомков). Также не исключено, что такие фигурки вообще не имели никакой сакральной функции. Во всяком случае, они хотя и стояли на божницах, но предметами поклонения, похоже, не были (Бабаянц Г. Н. Поморские куклы «панки» // Этнография народов Восточной Европы. Л., 1977. С. 112–113).

⁷ Байбурин А. К. Указ. соч. С. 130, 160; Рыбаков Б. А. Указ. соч. С. 496–497.

⁸ Топорков А. Л. Происхождение элементов застольного этикета у славян // Этнические стереотипы поведения. Л., 1985. С. 226.

⁹ В качестве аналога такого приспособления можно привести многократно опубликованные и известные всем специалистам заговоры и иные действия бытовой или любовной магии, которые совершенно справедливо рассматриваются богословами как язычество, но в которых можно найти немало христианских символов.

¹⁰ Шенников А. А. Указ. соч. С. 63–65.

¹¹ Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб, 1906. С. 202.

¹² Олеарий А. Указ. соч. С. 316.

¹³ Шенников А. А. Указ. соч. С. 64–65.

¹⁴ Erdmann J. F. Beitrage zur Kenntniss der Inneren von Russland. T. I. Riga; Dorpat, 1822. S. 102; Записки Александры Фукс о чувашах и черемисах Казанской губернии. Казань, 1840. С. 170, 274; Тр. статистической экспедиции, снаряженной в 1883 году Казанским губернским земством. Казань, 1884. С. 14 и др.

¹⁵ Олеарий А. Указ. соч. С. 316–317.

¹⁶ Описание Московии при реляциях графа Карлейля // Историческая библиотека. СПб, 1879. № 5. С. 29.

¹⁷ Перри Д. Состояние России при нынешнем царе. М., 1871. С. 143.

¹⁸ Интересно, что похожую ситуацию в середине XVI в. С. Герберштейн наблюдал и в домах зажиточной верхушки общества. В первой половине XVII в. А. Олеарий также наблюдал нечто подобное (и также в богатых домах) (Герберштейн С. Записки о московитских делах. СПб, 1908. С. 86; Олеарий А. Указ. соч. С. 317). Видимо, в XVI – начале XVII в. диагональное расположение печи и икон было редкостью даже в богатых городских постройках.

¹⁹ Оленев И. В. Карельский край и его будущее в связи с постройкой Мурманской железной дороги. Гельсингфорс, 1917. С. 46.

²⁰ Спасский А. Этнографическое описание жителей Нижегородской губернии Васильского уезда села Спасского. Рук. 1849. Архив Российского Географического общества (далее – АГО). Р. 23. № 69. Л. 1 об.; Лысков П. Быт жителей-крестьян Архангельской губернии Шенкурского уезда, Подвинья, удельных, и в особенности Клоновской пустыни Гос. имуществ. Рук. 1854. АГО. Р. I. Оп. 1. № 49; Обработка анкеты Российского Географического общества 1917 г. Вологодская губерния. Тотемский уезд. Рук. 1917. АГО. Ф. 24. Оп. 1. № 05-III. и др.

²¹ Лавонен Н. А. Стол в верованиях карелов. Петрозаводск, 2000. С. 93–95.

²² Лавонен Н. А. Указ. соч. С. 95.

²³ Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, всех обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопримечательностей. Ч. 4. СПб, 1799. С. 135.

© И. Е. Гришина, М. Е. Романова, Е. В. Ляля
Петрозаводск

Ареальные исследования традиционных бань Карелии и сопредельных территорий

Картографирование является одним из способов объективизации этноархитектурных исследований. Оно позволяет рассмотреть территориальные отличия архитектурно-типологических признаков и временные изменения в них, очертить их ареалы и определить локальную, региональную или этническую принадлежность. Особенно продуктивно картографирование при междисциплинарных исследованиях: анализ историко-архитектурных ареалов способствует формированию гипотез, касающихся генезиса и эволюции архитектурных приемов, форм и деталей, а междисциплинарное сопоставление ареалов – их подтверждению, а также взаимопроверке данных и выводов в смежных науках.

Метод ареальных исследований дает наилучшие результаты при картографировании массового материала, полученного при сплошном обследовании большой территории. Именно такое масштабное исследование было предпринято нами с использованием сведений о 1719 традиционных банях, собранных в 1992–2004 гг. в экспедициях по Карелии, Каргополью (оз. Ла́ча) и Онежско-Ладожско-Белозерскому межозерью (Бабаевский, Вашкинский, Вытегорский районы Вологодской области, Тихвинский и Бокситогорский районы Ленинградской области).

Создание тематических карт осуществлялось с помощью технологий геоинформационных систем (ГИС), с использованием программного пакета MapInfo Professional, методом построения интерполяционных по-

верхностей. Этот метод построения тематической карты преобразует дискретно определенную информацию в непрерывную путем интерполяции точечных данных из таблицы-источника и представляет собой определение вероятности появления того или иного признака в необследованных точках, исходя из определенных значений, зафиксированных в обследованных поселениях. Ареалы отображаются на карте с помощью непрерывных цветовых градаций или изолиний, выделяющих области с одинаковыми значениями. Метод особенно пригоден для построения ареалов на равномерно обследованной территории, но и при несоблюдении такого условия он дает возможность сделать первые обобщения материала, выдвинуть гипотезы и в дальнейшем либо подтвердить их, либо скорректировать с проведением дополнительных обследований.

Традиционная баня, оставаясь в деревнях самой массовой хозяйственной постройкой, вызывает большой интерес у исследователей народной культуры.

Этноархитектуроведами бани рассматриваются как часть строительной культуры: фиксируются их объемно-планировочная структура, конструктивные решения, приемы группировки построек и их расположение на местности. При этом связь этнографических и историко-архитектурных аспектов изучения позволяет объяснить отдельные особенности бань как строительных объектов.

Закономерности развития бань соотносятся с общими закономерностями развития народного зодчества и могут существенно уточнить последние. В этом плане особенно ценно выявление последовательных этапов эволюции общей структуры и конструктивных элементов бань, а также определение территорий распространения отдельных типологических признаков или их комплексов, как правило, достаточно точно маркирующих ареалы локальных строительных культур.

Традиционные северные бани являются также источником для изучения истории жилища, так как повторяют в своей структуре его древние черты: камерность, планировочный тип, определяемый постановкой и ориентацией устья печи, расположение окон, конструкции стен, покрытий, перекрытий. В первую очередь к баням относится положение Н. Н. Харузина о том, что архаичные формы жилья, вытесняемые более прогрессивными формами, не исчезали, а лишь меняли свое назначение, используясь в качестве хозяйственных построек¹. Повышенная традиционность бань, как и всех хозяйственных построек, известна. Однако было бы неверно отождествлять ее с консервативностью, абсолютной неизменностью. По нашим изысканиям, баня, развиваясь, сохраняет традиционность своей связи с жилищем. Архитектура бани постоянно «подпитыва-

ется» за счет переноса в нее архитектурно-строительных приемов, характерных уже для современного ей жилища, возможно, в связи с тем, что бани нередко использовались для жилья². Таким образом, баня как бы повторяет, но со значительным временным отрывом изменения в его планировочной структуре и конструкциях. Поэтому данные по эволюции бань могут использоваться для повышения степени вероятности реконструкций относительно ранних этапов эволюции жилища, производимых, как правило, на основании археологических данных, письменных источников и других архивных материалов, а также путем сопоставления жилища народов (по возможности, родственных), находящихся на разных стадиях развития³. Именно этот аспект исследования бань хорошо иллюстрируют проведенные нами ареальные исследования, которые мы рассмотрим на примере картографирования двух групп признаков – планировочных типов бань и способов дымоудаления из черных бань.

Одним из важнейших признаков бани является ее планировочный тип, определяемый постановкой и ориентацией устья печи, позволяющий отнести баню к определенному этническому или региональному комплексу традиционной строительной культуры. Уже при подготовке материалов к картографированию было ясно, что в Карелии встречаются только бани западнорусского типа, за исключением единичных примеров бань южно-восточнорусского типа у прионежских вепсов⁴. На обследованных же территориях Вологодской и Ленинградской областей бани двух картографируемых нами типов сосуществуют в сопоставимых долях и их территориальное распределение представляет большой интерес. У тихвинских карел (Климовская волость Бокситогорского района Ленинградской области), так же как и на основной территории расселения карел в Карелии, преобладают бани западнорусского типа (на востоке Климовской волости, где проживают русские, выраженную конкуренцию западнорусскому составляет южно-восточнорусский тип бани).

Явно выражено преобладание бань южно-восточнорусского типа в Северном Белозерье (Вашкинский район и восток Вытегорского района Вологодской области) с центрами на северном побережье Белого озера, в Ивановском сельсовете на р. Индоманке (деревни Ивановская, Ларино, Зуево и др.), в гнездах деревень Окштама (дер. Кузьминская и др.), Пуштора (дер. Нестерово и др.), Исаево (дер. Матвеева и др.). Последнее гнездо деревень известно как самый восточный анклав вепсов, сохранявших свой язык до начала XX в.

Интересно, что небольшие островные ареалы преобладания южно-восточнорусского плана в зоне границы между двумя планировочными типами бань отмечаются также на территориях вепского расселения – у куй-

ско-пондальских вепсов (дер. Слобода и др.) и в примыкающем к ним недавно обрусевшем гнезде деревень Сяргозеро, у южных вепсов (деревни Сидорово, Радогощь и др.), у капшинских вепсов (деревни Усть-Капша, Корбеничи и др.), у уже упоминавшихся прионежских вепсов. Вместе с тем у пязозерских вепсов присутствует только западнорусский план бань.

По-видимому, взаиморасположение ареалов бань западнорусского и южно-восточнорусского типов на исследуемой территории является следом двух традиций, которые принесли на нее два миграционных потока русских переселенцев. Один из них – с юго-запада – составили древние новгородцы (начиная с X–XI вв.), новгородской традиции соответствует западнорусский планировочный тип бань. Второй поток – с юго-востока – составили русские из Верхнего Поволжья (начиная с XIV в.). В местах их расселения укоренился южно-восточнорусский планировочный тип бань.

Остающиеся вопросы о том, почему два указанных типа бань распределяются по обследованным территориям Ленинградской и Вологодской областей неравномерно и почему вепсы разных групп сохранили разные планировочные типы, могут быть решены при проведении более детального анализа и картографирования бань по нескольким признакам.

Учитывая отмеченную связь планировки бань и изб, можно сказать, что ареалы устойчивого преобладания бань южно-восточнорусского типа отмечают территорию, где в прошлом было возможно распространение подобного же типа изб. Картографирование планировочных типов изб было выполнено в 1950-е гг. этнографом Е. Э. Бломквист⁵ и с тех пор не корректировалось. Предпринятое нами картографирование планировочных типов бань может дополнить работу Е. Э. Бломквист в ретроспективном аспекте.

Бани северно-среднерусского и южно-западнорусского типов⁶ отмечены нами только в Онежско-Ладожско-Белозерском межозерье и составляют незначительный процент от общего числа обследованных. По-видимому, в процессе эволюции эти типы сменились распространенными здесь в настоящее время западнорусским и южно-восточнорусским. Это подтверждается, в частности, тем, что ареал бань северно-среднерусского типа уверенно совпадает с территорией, где в самых старых жилых домах фиксируется аналогичный планировочный тип избы: переход к более поздним планировочным типам произошел и в жилище, и в банях.

Но нельзя говорить о столь же широком бытовании на обследованной территории в прошлом бань и изб южно-западнорусского типа. Следы такого плана избы зафиксированы только в дер. Турандино на юге Ленинградской области, там же отмечена и баня подобного типа. Судя по ареалам бань, можно говорить об обследованной части Онежско-Ладожско-

Белозерского межозерья как о зоне взаимопроникновения в прошлом изб южно-восточнорусского и южно-западнорусского планировочных типов.

Картографирование вариантов дымоудаления из черных бань, проведенное в рамках исследования, было нацелено на реконструкцию картины различных способов дымоудаления, характерных в прошлом для жилища на Русском Севере.

Известно, что дымоудаление из курных изб характеризует этническую специфику крестьянского жилища, не позволяя объяснить ее только стадийностью. Для русских курных изб было характерно дымоудаление через стенные дымоволоки, для изб прибалтийско-финских народов – карел и вепсов – через потолочный дымоволок⁷. Однако полученные ареалы дают возможность говорить об уточнении этого положения.

В южной части исследуемой территории потолочные дымоволоки характерны для южных, капшинских, пязозерских, прионежских вепсов. Вместе с тем у куйско-пондальских вепсов потолочные дымоволоки распространены только на восточной части территории их расселения, у исаевских вепсов с ними конкурирует сочетание потолочного и стенного дымоволоков, а в недавно обрусевшем вепском Сяргозере преобладают стенные дымоволоки.

Потолочные дымоволоки преобладают также на обрусевших вепских территориях в Коштугах и Ундозере, их распространение также представлено мелкими островными ареалами в северном Белозерье у прежде «чудского» населения, где перемежаются с территориями преобладания стенных дымоволоков.

Обращает на себя внимание противоречивый характер ареалов разных способов дымоудаления в Климовской волости. Здесь на русском востоке отмечено больше потолочных дымоволоков, а на карельском западе – стенных.

Столь же неоднозначно ареализирование вариантов дымоудаления на территории Карелии. Следует отметить, что ярко выраженный ареал стенных дымоволоков отмечается здесь только у карел-ливвиков. У русских Заонежья, карел-людиков и собственно карел преобладают потолочные дымоволоки, однако в некоторых местностях они дополняются стенными дымоволоками. В Северной Карелии такое дополнение становится правилом в ареале расселения собственно карел и только в поморских русских деревнях сохраняются решения исключительно с потолочными дымоволоками.

Описанная картина может свидетельствовать о том, что в русских районах Карелии строительная культура испытала сильное влияние прибалтийско-финской традиции. Что же касается распространения стенных

дымоволоков у карел и вепсов в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях, то в данном случае можно говорить об обратном процессе – о русских влияниях на зодчество прибалто-финнов. Все это требует дальнейшего более детального изучения с подключением дополнительного материала с мало исследованных территорий и с использованием картографирования.

¹ Харузин Н. Н. Очерки развития жилища у финнов: Этнографическое обозрение. М., 1895. С. 16–46.

² Орфинский В. П., Гришина И. Е. Простейшие деревянные постройки как источник для изучения крестьянского жилища // Народное зодчество. Петрозаводск, 1992. С. 21.

³ Там же. С. 19.

⁴ Названия планировочных типов бань приняты по аналогии с известной этнографической классификацией типов избы: южно-восточнорусский тип – с печью в дальнем от входа углу и ориентацией устья к входу; западнорусский тип – с печью в углу рядом с входом и ориентацией устья к боковой стене.

⁵ Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов // Восточно-славянский этнографический сборник. М., 1956. С. 235.

⁶ Северно-среднерусский тип – с печью в углу у входа и ориентацией устья к противоположной от входа стене; южно-западнорусский тип – с печью в дальнем от входа углу и с ориентацией устья к боковой стене.

⁷ Орфинский В. П., Гришина И. Е. Указ. соч. С. 28.

© А. Ю. Косенков, Е. В. Ляля
Петрозаводск

Геоинформационные технологии в изучении архитектурного наследия (на примере деревни Рубчейла)

Одна из актуальных проблем современной культуроохранительной деятельности – отсутствие систематизированных данных об объектах, препятствующее выработке эффективной стратегии сохранения архитектурного наследия. Особенно важна выработка такой стратегии в условиях дефицита финансирования ремонтно-реставрационных работ.

В Карелии во время инвентаризации деревянного зодчества 1979–1980 гг. и последующих лет исследований достопримечательных территорий и отдельных поселений собран огромный материал, но организовать его и рационально с ним работать пока не удавалось. Помочь упорядочить имеющиеся данные могут геоинформационные системы (ГИС).

ГИС – это, с одной стороны, набор программных инструментов, используемых для ввода, хранения, манипулирования, анализа и отображения любой географически привязанной информации, с другой сторо-

ны, образ мышления, способ принятия решений в организации, где вся централизованно хранящаяся информация соотносится с исследуемой территорией. ГИС можно рассматривать как базу данных координатно привязанной информации, обладающей дополнительными удобствами пользования и наглядностью представления информации.

Первый опыт создания ГИС традиционного сельского поселения был предпринят нами на примере сямозерской дер. Рубчейла. В Сямозерье относительно хорошо сохранилось архитектурное наследие одной из этнодиалектной групп карел – северных ливвиков и уникальная природная ситуация. Успешной культурно- и природоохранной деятельности способствует наличие энтузиастов среди местного населения, направляемых созданным в 2003 г. Национальным центром сямозерских карел «Сямозерье». Кроме того, по Сямозерью проходит туристический маршрут «Голубая дорога», что дает возможность его быстрого включения в современную социокультурную жизнь. Рубчейла является опорным поселением этнокультурного центра «Сямозерье», по ряду признаков она представляет собой своеобразный эталон приемов и форм, характерных для зодчества северных карел-ливвиков.

Начальным этапом создания ГИС поселения стала систематизация имеющегося материала. Условно он был разделен на две части. Первая из них поддается обработке с помощью типовых программ и служит для выработки методик. В свою очередь последние после апробации могут использоваться для составления специализированных программ автоматизации процессов управления базами данных. Вторая часть – накапливающаяся, но пока не задействованная информация, сохраняется в приемлемом для ГИС электронном виде, а в перспективе в ней реализуется.

Важнейшим этапом создания ГИС явилась разработка специального инструментария, включая универсальную информационную модель традиционного сельского поселения. Из-за отсутствия общепринятого понятийного аппарата был введен ряд терминов для описания такой модели. Ведущий из них – контейнер (англ. container, буквально – вместилище), обозначающий некую «емкость», соответствующую какому-либо структурно-целостному объекту в иерархической системе традиционной сельской архитектурной среды: объемному, объемно-пространственному, пространственно-объемному. В нашем случае примером пространственно-объемного объекта является сама дер. Рубчейла, объемно-пространственного – усадьба, объемного – отдельная постройка.

Основная составляющая любой постройки – остов, который, в свою очередь, выступает как объемный контейнер только на другом уровне иерархии. Минимальный подобный элемент срубного остова – это венец (к

примеру, намогильный «домик», состоящий всего из одного венца). Для характеристики элементов остова мы вводим признак, роднящий элемент с остовом, такой признак – трехмерность. Венец состоит из бревен, бревна могут служить элементами других конструктивных систем. Поэтому, чтобы проследить ту грань, за которой элементы сруба перестают являться его подобием, вводятся характеристики таких элементов по степени их замкнутости, то есть уподоблению срубу – разомкнутость и сомкнутость. Кроме того, элементы подразделяются по конструктивным решениям и материалу. Перечисленные признаки позволяют описать все известные на Русском Севере приемы и формы традиционного деревянного зодчества.

Метод создания информационной модели основан на использовании принципа «и-или» в иерархических «деревьях», которые представляют собой знания в научной и практической сфере. Исходная конструктивная система (дом, усадьба) разбивается с определенной степенью детализации по структурным (конструктивным) и функциональным признакам на ряд неделимых далее блоков или подсистем. Причем мы сами определяем минимальную вершину на определенном уровне, например, минимальный элемент сруба – венец, на следующем уровне, по отношению к венцу – бревно. Помимо этого, каждой вершине могут быть приписаны какие-то атрибуты и характеристики. Например, бревну – данные древесиноведческого¹ и / или конструкционного² мониторинга.

В результате получается некий граф, в котором узлы соответствуют сущностям (подсистемам, блокам) исходной конструктивной системы. Для получения и дальнейшего сохранения однозначности и целостности образованного графа исходной системы его узлам присваивается тип «и», «или», а также «Висячий».

Сущность типов узлов «и», «или» точно такая же, как и основных логических элементов. Что касается типа узла «Висячий», то он соответствует далее неделимой сущности конструктивной системы (при заданной степени детализации) и включается в дерево структурного решения как подузел узлов типа «и» и «или». Например, минимальный объемный неделимый элемент сруба – венец.

Полученные структурная и функциональная схемы (графы) были универсализированы в ходе апробирования на распространенных типах традиционных построек.

По каждому блоку графа по мере необходимости могут создаваться так называемые «карточки», в которых отражаются атрибуты данного блока, его классификационное описание. Структура данных «карточек» создается в виде электронных таблиц. Эти «карточки», увязанные между собой по графу, и составляют основу базы данных по сооружению. Оперирование информаци-

ей, содержащейся в карточке, осуществляется путем сопоставления идентификационных номеров (ID) строк электронных таблиц.

Созданная модель помогла структурировать имеющиеся материалы по одному из интереснейших памятников архитектуры Рубчейлы – дому А. А. Ермолаева.

На основании первичного обобщения собранных материалов и визуального осмотра памятника сделан вывод о необходимости его консервации, поскольку около 70% строительного объема находится в аварийном состоянии: сгнили опорные столбы и конструкция крыши хозяйственной части, значительно деформированы стены³. Срочное проведение противоаварийных работ и замена сгнивших элементов несущей конструкции снимут угрозу форсированного разрушения, но не гарантируют длительное сохранение памятника. Получение таких гарантий может быть обеспечено только с помощью прогнозирования процесса деструкции по данным древесиноведческого⁴ и конструкционного мониторинга, определяющего динамику негативных изменений.

Уточненные одним из авторов обмеры⁵ позволили «разобрать» дом по бревнам с присвоением каждому бревну своего идентификационного номера. Таким образом, были созданы карточки по бревнам и ряду других элементов, представленные в виде электронных таблиц. Следующая операция – сопоставление древесиноведческих данных, полученных М. В. Кистерной и В. А. Козловым, с карточкой по стенообразующим бревнам. В итоге были получены карточки с древесиноведческими характеристиками девяти венцов, то есть всех тех венцов, которые находятся в проблемных зонах сруба. Затем осуществлялось непосредственное использование инструмента ГИС среды MapInfo. Для этого потребовались оцифрованные планы соответствующих венцов сруба дома. Все обработанные в программе венцы со своими специфическими деталями и особенностями (проемы, стыки и т. д.) были сохранены в файлы в виде отдельных слоев с присвоением имен, соответствующих номеру венца от земли (01_венец, 02_венец, ..., i_венец). Следующий этап формировал в MapInfo пространственную базу данных, представляющую собой совокупность таблиц для разных элементов. Каждая таблица имеет свою структуру и свое графическое изображение (план какого-то венца). В нашем случае каждое бревно интерпретируется программой как площадной объект, имеющий свою строку в таблице для занесения в нее путем ручного набора идентификационных номеров бревен с карточки. Далее была загружена атрибутивная база данных по бревнам, то есть выше упомянутая карточка в виде электронной таблицы. Пространственная локализация атрибутивной базы данных в MapInfo осуществляется автоматически

благодаря сопоставлению двух баз данных по единому универсальному идентификационному номеру (ID) для каждого бревна.

Таким образом, выбрав какой-то слой (венец) и анализируемую его часть – бревно, можно увидеть в открывшемся окне программы все необходимые атрибутивные данные (влажность, физическое состояние данного бревна и др.). При наличии двух и более замеров по одному бревну, но в разных местах параметры его состояния указываются на определенных участках, границами которых являются две ближайшие оси. При этом локализация точки определения атрибутивных данных фиксируется привязкой к одной из осей. Помимо этого, благодаря возможности выполнять операции (строить sql-запросы, формировать логические выражения) над пространственными базами данных, можно строить тематические планы. К примеру, указав шаг изменения влажности путем градации цвета, можно легко получить план какого-то венца с раскраской бревен соответствующей влажности (например, чем темнее цвет, тем влажность больше). Также можно формировать запросы по наличию стыков по длине, компенсационно-деформационных надпилов и т. д. Для того чтобы сделать этот процесс более наглядным, было принято решение совместить процедуру получения атрибутивных данных и графической информации. А эта задача переводит работу над созданием ГИС уже на другой уровень, поскольку стандартными инструментами MapInfo это сделать невозможно. С помощью интегрированного компилятора MapBasic был создан модуль к MapInfo, который формирует в панели инструментов дополнительную кнопку, нажав на которую и выбрав бревно, можно увидеть на экране монитора не только символьные данные, но и местоположение выбранного бревна в общем объеме сооружения.

Существуют и другие задачи, поскольку Рубчейла интересна как комплекс сооружений. В деревне кроме дома А. А. Ермолаева существуют еще семь домов-памятников, состояние которых тоже вызывает опасение. Для оптимального сохранения объемно-пространственной среды их необходимо не только не утратить, но и восстановить. Задача по сравнению с домом А. А. Ермолаева усложняется тем, что эти дома находятся в частной собственности. Очевидно, что, рассматривая детально дом А. А. Ермолаева, необходимо наметить ряд первоочередных мероприятий по сохранению всех остальных памятников. Отработанная схема мониторинга на доме А. А. Ермолаева должна быть перенесена на остальные памятники в последовательности, определяемой их охранным статусом и степенью сохранности (то есть гарантией длительного безаварийного сохранения). Все это будет способствовать постепенному включению каждого памятника в ГИС.

¹ Дреесиноведческий мониторинг – анализ параметров (влажность, физическое состояние и др.) древесины несущих конструкций, для которого необходима периодичность проведения, зависящая от статуса и физического состояния сооружения.

² Конструкционный мониторинг основан на анализе и прогнозировании развития деформаций.

³ Дополнительно для объективной оценки состояния конструкций дома привлекались эксперты: заместитель директора ООО «СВЯТ» В. В. Шелгунов, директор ООО «Экситон» И. М. Осипов.

⁴ Первичный дреесиноведческий осмотр дома А. А. Ермолаева осуществлялся в августе 2002 г. В. А. Козловым и М. В. Кистерной.

⁵ Исходные обмеры предоставлены архитектурно-реставрационным проектным предприятием ЗАО «ЛАД».

© Н. А. Патрашкова
Петрозаводск

Архитектурно-планировочное решение этнолитературного музея в деревне Хайколя

В 1993 г. в программу десятилетия мировой культуры ЮНЕСКО был включен проект «Рунопевческие деревни Беломорской Карелии», разработанный фондом имени Архиппы Перттунена (г. Костомукша, Республика Карелия) и фондом «Культурная горница г. Кухмо», Финляндия (ныне – фонд «Юминкеко»). Причины такого успеха – историко-культурная ценность территории, на которой сохранилась еще живая культура, некогда создавшая всемирно известный эпос «Калевала». Для спасения, регенерации и преемственного развития этой культуры в проекте предусмотрено помимо сохранения карельского языка, фольклорных и ремесленных традиций возрождение традиций архитектурных путем воссоздания историко-архитектурного ландшафта поселений, реставрации старых зданий и строительства новых домов с учетом народного опыта¹.

Безусловно, потенциальными центрами возрождения и распространения архитектурных традиций Беломорской Карелии являются восемь старейших и относительно хорошо сохранившихся поселений – Калевала, Хайколя, Ювалакша, Вокнаволок, Пиртигуба, Поньгогуба, Суднозеро, Панозеро. Они отнесены к категории «историческое поселение» и представляют собой комплексные историко-архитектурные памятники.

Деревня Хайколя – одно из интереснейших поселений Беломорской Карелии. Расположенная на небольшом острове, она обладает уникальным по своему характеру природным окружением и типичной для традиционных собственно-карельских поселений живописной свободной планировкой. В плане сохранения архитектурного наследия деревня также оказалась в благо-

приятном положении: в 2003 г. здесь создан этнолитературный музей, посвященный народному писателю Карелии Ортъе Степанову.

Артем Михайлович Степанов (Ортъе Степанов) родился 7 апреля 1920 г. в Хайколя, с ней связана жизнь и творческая деятельность писателя, в деревне сохранилась усадьба с его домом. О. Степанов похоронен на местном деревенском кладбище. Создатели музея задумали его как обширную, включающую всю деревню экспозицию, которая должна отразить культуру северных карел и историю деревни с акцентом на событиях, описанных в произведениях О. Степанова. Планируется, что музей станет одной из композиционно-эстетических и культурно-просветительских доминант на перспективном туристическом маршруте из Скандинавии и Финляндии через рунопевческие деревни Беломорской Карелии и г. Кемь на Соловки. Уже сейчас эта возможность частично реализуется. Несмотря на то что музей еще только разворачивает свою деятельность, каждый год Хайколю по пути в дер. Панозеро посещает до 1000 человек из Финляндии, Норвегии, Швеции.

Разработка архитектурного решения деревни-музея была нацелена на воссоздание планировочной структуры и застройки Хайколя по состоянию на 1930-е гг. Но главным препятствием для решения поставленной задачи стало то, что к рубежу XX–XXI в. значительная часть традиционной застройки деревни была утрачена или искажена переделками, а архитектурные обмеры и целенаправленная фотофиксация построек в ней никогда не проводились, за исключением глазомерного плана-схемы деревни и выборочной фотосъемки, выполненных во время инвентаризации архитектурного наследия Карелии в 1979 г., когда состояние архитектурного наследия Хайколя приближалось к настоящему.

Первым шагом в нашей работе стали сбор, оценка и анализ всех имеющихся иконографических материалов. Большая часть картографических материалов представляла собой схемы с не совсем точным местоположением построек, но точно воспроизводящие их количество и расположение относительно друг друга. Такие схемы, а также фотографии отдельных построек и фотопанорамы, большей частью любительские, послужили для восстановления размещения застройки на острове.

Был определен двухэтапный подход к воссозданию деревни-музея.

На первом этапе предполагается сохранение всех существующих построек и включение в структуру деревни двух новых домов-комплексов. Один из них строится с 2004 г. по проекту, разработанному по сохранившимся фотографиям, второй – дом Кузьмина, рекомендуется к воссозданию по заказу музея в качестве гостевого, а по своим архитектурным признакам – в качестве ключевого элемента в застройке поселения.

Второй этап развития музеев будет связан с реализацией генерального плана деревни, воссоздающего ее историческую планировочную структуру в той степени, в какой это позволяют сделать имеющиеся иконографические документы. В зависимости от историко-архитектурной ценности, технического состояния и наличия документальных оснований для реставрации и воссоздания генеральным планом предусмотрена различная судьба существующих или существовавших, но утраченных построек деревни – сохранение в современном виде, сохранение в измененном виде (полная или частичная реставрация / реконструкция), сохранение до полной естественной амортизации, ликвидация до истечения срока амортизации, воссоздание.

Имеющиеся в нашем распоряжении документы, в том числе «портреты» домов, выполненные в результате перекрестного опроса местных жителей², позволили на плане второй очереди деревни-музея, а также на ее объемной модели обобщенно реконструировать группу жилых домов, воссоздающих прежний монументальный масштаб застройки, характерный для зодчества северных карел в период его расцвета в конце XIX – начале XX в. По всей видимости, именно такая архитектура служила фоном для развития сюжетных линий в романах О. Степанова.

Методика разработки проектов воссоздания жилых домов в условиях недостатка достоверной информации была показана в нашем исследовании на примере проектирования уже упоминавшегося дома Кузьмина.

Дом был утрачен в 1930-е гг., но его облик воссоздан на рисунке, сделанном О. Степановым по рассказам старожилов и собственным воспоминаниям. Судя по рисунку, дом-комплекс отличался от существующих ныне в деревне жилых построек, но по внешним признакам сходен с известными по разным источникам домами, распространенными в конце XIX – начале XX в. (на некоторых территориях и позднее) у собственно карел, а также в зонах их культурного влияния, например, в Сямозерье³. По объемно-планировочному решению такие дома являлись, как правило, «глаголями» с усложненной, пространственно развитой стыковой зоной между жилой частью (передней избой или избой и горницей) и двухэтажным двором-сараем, включающей встроенное дополнительное жилое помещение (боковую избу), амбары-кладовые («айто»), а также лестнично-коммуникационный узел. Традиции по строительству домов-комплексов такого типа зародились на племенной территории корелы в Северо-Западном Приладожье (отсюда и его название)⁴.

В рамках данной работы с целью обоснования выбора образцов для реконструкции дома Кузьмина были рассмотрены все известные иконографические аналоги. Среди них зафиксированные в конце XIX – начале XX в. Ю. Бломstedтом, В. Суксдорфом и И. К. Инха старинные дома в

деревнях Беломорской Карелии и сопредельных территорий – Лувозере, Минозере, Юшкозере, Ругозере, Кимасозере, Андроной Горе, Ухте (Калевале), Мунанкилахти, Аконлахти, Шаповаре⁵, а также следы преобразований таких домов в сохранившихся постройках дер. Панозеро⁶.

В результате анализа 36 планов и фотографий домов-комплексов по характерным особенностям выявлено 20 домов «приладожского типа», в том числе «глаголей» – 13, «брусов» – 6, «кошель» – 1. При картографировании указанных типов домов определено тяготение их ареала к западу Северной Карелии, при этом в западной части ареала распространены «глаголи», а в восточной – «брусы». Это свидетельствует о том, что «глаголи» характерны для собственно-карельской территории, а «брусы» преобладают на ее восточной периферии, в зоне этнического сопоставления карел с русскими поморами и / или получили распространение в более поздний период.

Деревня Хайколя уверенно попадает в ареал «глаголей», что дает возможность рассматривать реконструируемый дом Кузьмина как типичный для данной территории и использовать известные по источникам «глаголи» как аналоги для конкретизации его объемно-планировочного решения. Рисунок О. Степанова позволил уточнить требования к аналогам и выбрать три наиболее подходящих, в соответствии с которыми были запроектированы экстерьер и внутренняя планировка дома.

С учетом того что дом будет являться гостевым, увеличено количество жилых комнат для сезонного и временного проживания постояльцев. Внутренние пространства двора и сарая приспособлены под новые функции (гараж, зал собраний с возможностью использования для устройства выставок). Такая модернизация интерьера стала возможной благодаря принципиальной установке проекта на отказ от «реставрационной мистификации»: новая постройка рассматривается не как воссоздание подлинного памятника истории и культуры, а лишь как обобщенно-символическая интерпретация местных архитектурных традиций, что правомерно применительно к Хайколя не только как к мемориальному музею.

Опыт Карелии показывает, что возрождение руинированных деревень чаще всего начинается с воссоздания копии сооружения, обычно храма, игравшего ключевую структурообразующую роль в планировке и застройке поселения. Такая узнаваемая копия воспринимается населением как символ возвращения к жизни умирающей деревни⁷. В Хайколя, где никогда не существовало культовых построек, было решено возложить роль такого заново воссоздаваемого символа на дом Кузьмина – типичное северокарельское жилище.

Надо отметить, что к настоящему времени в Северной Карелии не сохранилось ни одного дома подобного типа – этой карельской архитектурной классики, образы которой позволили известному финскому архитек-

тору А. Аалто сопоставить карельское зодчество по своему значению с эпосом «Калевала»⁸. Воссоздание дома Кузьмина в Хайколя даст возможность почувствовать монументальность, масштаб и развитую внутреннюю пространственность жилой постройки – все, что воплощает своеобразие северокарельской традиции. Такой объект, несомненно, заинтересует туристов и поможет осознать местным жителям свое великое архитектурное прошлое.

Деревню-музей Хайколя, являющуюся комплексным историко-архитектурным памятником, безусловно, необходимо рассматривать как единый, пространственно развитый объект, к которому применимы все современные требования, предъявляемые к научной реставрации. К числу таких требований относятся: абсолютная приоритетность связи с конкретным местом, характеризующим историко-мемориальный аспект реставрации; частичное сохранение подлинного материала (в нашем случае подлинных построек. – *Н. П.*), включение которого в новый комплекс способно его «освятить»; сохранение или интерпретация исторически сложившейся объемно-планировочной структуры, а также стилистических характеристик и форм памятников-предшественников, способствующих восприятию историко-мемориальной ценности воссоздаваемых объектов и их эстетических достоинств⁹. Продолжение проектных работ по этнолитературному музею в дер. Хайколя сможет развить и конкретизировать современные подходы к реставрации применительно к поселению-памятнику.

¹ Ниеминен С. Рунопевческие деревни Беломорской Карелии // Народное зодчество. Петрозаводск, 1998. С. 305–307.

² Автор благодарит топонимиста Д. В. Кузьмина, сотрудника ИЯЛИ КарНЦ РАН, проводившего интервьюирование местных жителей и зарисовки и любезно предложившего результаты своих изысканий для проектирования музея.

³ История и культура Сямозерья / Отв. ред. Орфинский В. П. Петрозаводск (в печати).

⁴ Орфинский В. П., Гришина И. Е. Генезис дома-двора в крестьянском зодчестве Карелии // Архитектурное наследие. Вып. 44. М., 2001. С. 71–72; Они же. Зодчество деревни Панозеро // Панозеро: сердце Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2003. С. 232–251.

⁵ Blomstedt Y., Sucksdorff V. Karelska byggnader och ornamentala former. Helsinki, 1900; Ibidem. Karelske Gebaude und ornamentale former aus Lental – Russisch – Karelien. Helsinki, 1902; Inha I. K. Kalevalan laulumailta. Helsinki, 1906; Kaukonen V. Kansanrunon Kauko-Karjalaa ja Kalevalan synti. Porvoo, 1984; Paakkala A. Kylillä Karjalassa. Rakenuskirja. Hanko, 1985.

⁶ Гришина И. Е., Орфинский В. П. Традиционная застройка Панозера // Панозеро: сердце Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2003. С. 276–279.

⁷ Гришина И. Е., Орфинский В. П. Кирка в Куркиекки – памятник памятнику архитектуры // Народное зодчество. Петрозаводск, 1999. С. 263.

⁸ Аалто А. Архитектура и гуманизм. М., 1978. С. 34–36.

⁹ Щенков А. С. Заключение: Совершенствование методики архитектурной реставрации // История и теория реставрации памятников архитектуры. М., 1986. С. 89–91.

О проектировании этноэкологических поселений в Карелии

Техногенный образ жизни создал многочисленные угрозы благополучию человечества, самому его существованию и продолжает создавать все новые и все более серьезные проблемы. В защите от агрессивной технократии, игнорирующей законы жизни, нуждается и сам человек, и его естественная среда обитания – природа. Решить проблемы сохранения природы и организации разумного взаимодействия человека с окружающей средой призваны экопоселения. Анализ современного опыта создания экопоселений позволяет в общем виде определить их характерные признаки.

Экопоселение – это населенный пункт, в котором каждая семья живет в собственном родовом поместье, находящемся в ее частной собственности. Размер земельного участка (как правило, от 1 до 2 гектаров) и его форма должны быть достаточны для полного самообеспечения семьи, по крайней мере, продуктами питания, и представлять собой целостную устойчивую самодостаточную и самовосстанавливающуюся экосистему, где реализуется принцип симбиоза человека и природы¹. Кроме родовых имений в экопоселении имеется необходимая инфраструктура, сооружения и территории общего пользования (школа, деловой центр, спортивные сооружения, культурные заведения, парки, хозяйственные сооружения и т. п.). Целесообразным считается организовывать поселения в пределах от 90 до 250 родовых поместий².

К настоящему времени более чем в 40 странах появилось свыше 200 экопоселений. В Российской Федерации, по состоянию на конец 2004 г., насчитывались 93 альтернативных поселения в 28 регионах страны. По некоторым данным, количество потенциальных жителей экопоселений составляет от 7,5 до 15 млн. россиян, 4507 семей зарегистрированы как землевладельцы родовых поместий. В среднем одно поселение имеет площадь 135 гектаров и количество семей (или поместий) – 20.

Организаторы экопоселений осознают себя создателями общины нового поколения – «экодеревни» или в более широком смысле – устойчивого в плане экологической безопасности альтернативного поселения.

Все многообразие экопоселений можно разделить на три типа: протопоселение, собственно поселение и мегапоселение³.

Под протопоселением понимается инициативная группа людей, которая стремится к созданию общины, уже имеет для этого землю и жилье. При этом из членов группы на месте постоянно живут несколько человек. Часть

инициативной группы большую часть времени проводит пока вне поселения. Протопоселением является, например, Нево-Эковиль в Карелии. Лидер Нево-Эковили большую часть времени вместе с семьей проживает в районном центре Сортавала за 20 километров от поселения. Там же находятся офисы общественной организации «Нево-Эковиль» и фирмы «Мир», которая принимает активное участие в развитии Нево-Эковили. Часть жителей этого поселения постоянно живет в нем, а часть покидает его на несколько месяцев. Количество постоянно живущих не превышает 11 человек. На сегодняшний день это единственное экопоселение в Карелии.

Собственно поселение – это община численностью в несколько десятков и не более трех сотен человек, ведущих информационно-аграрный (духовно-творческий, возможны и другие варианты названия) образ жизни. Несмотря на то что основную часть жизни ее члены проводят в общине, они социально и духовно активны, участвуют в общественной жизни за пределами общины. В противном случае это будет всего лишь традиционным сельским поселением.

Мегапоселение – альтернативное поселение, рассчитанное на многие сотни и даже тысячи людей. Это крупное экопоселение или территориально объединенная сеть экопоселений с развитой инфраструктурой и системой хозяйственного самообеспечения. Оно обладает системой общего ведения хозяйственной и социально необходимой деятельности (образование, здравоохранение) по разнообразным направлениям. В частности, мегапоселение имеет организационные, финансовые и бизнес структуры для организации предпринимательской деятельности, строительства инфраструктуры поселения, обеспечения работников социальной сферы, продвижения на внешний рынок продукции, собранной или изготовленной в поселении, и т. д.

Каждый феномен экопоселения уникален и имеет свою специфику. Среди поселений встречаются религиозные общины, сообщества родовых поместий, некоммерческие партнерства (НП), демонстрационные зоны энергоэффективного домостроения, экологические центры, Центр славянской культуры и ремесел, Центр для духовных и образовательных программ, НП приемных семей, НП природопользователей, Школа экологии, ремесел и искусств⁴.

Выбор места расположения поселения, как правило, сводится к двум вариантам: либо поля (бывшие сельскохозяйственные угодья), либо деревни – существующие или заброшенные. Часто, но вовсе не обязательно, рядом находится водоем – река, озеро. В большинстве случаев недалеко проходит ЛЭП, реже – газопровод. Встречаются населенные пункты с водопроводом и телефонизацией.

При проектировании экопоселения необходимо учитывать определенные требования к его пространственной организации. Экологически безопасный дом в границах родового поместья должен быть расположен таким образом, чтобы использовать минимальную площадь продуктивной земли, быть построенным из материалов, которые не имеют токсичного эффекта. Необходимо максимально выгодно использовать местные климатические условия для освещения, обогрева и вентиляции, сокращая таким образом потребление энергии.

Для преобладания природной среды над техногенной в поселке сохраняются естественные природные зоны. Желательно, чтобы все поселение в целом было окружено природной лесозащитной зоной, а расположение участков относительно друг друга предотвращало постоянные, сквозные воздушные продувы, что будет способствовать созданию своего микроклимата в поселении. Возможно, например, круговая организация общей формы поселения.

Кроме родовых поместий поселение должно обладать всей необходимой инфраструктурой современного поселения: общественной и производственной территорией, транспортными и инженерными коммуникациями. Желательно, чтобы геометрическое расположение участков влияло на минимизацию затрат по прокладке коммуникаций и дорог, особенно на сокращение длины дорог, следовательно, на удобство и скорость перемещения по поселку.

Существующие экопоселения далеко не все имеют своей целью возрождение и сохранение народной культуры. В связи с этим автором предлагается термин «экологическое этнопоселение» или «этноэкологическое поселение» для поселений, организуемых, как правило, на основе заброшенных или «живых» деревень. Цель таких поселений – возрождение экономического и социального положения деревни, а также искусств, ремесел, фольклора, архитектуры и традиций различных этнических групп населения, воспитание этнического самосознания, формирование личности нового поколения, которому предстоит жить в условиях новой духовно-информационной цивилизации. В этноэкологических поселениях не только при реконструкции, но и при новом строительстве должны возрождаться или по-новому прочитываться местные историко-архитектурные традиции, будь то особенности использования строительных материалов для строений, объемно-планировочные решения зданий или структура поселения, а может быть, и совокупность всех составляющих.

Проблема развития сельских поселений и использования при этом архитектурных традиций является на сегодня одной из главных задач профессионального зодчества.

Архитектурный ансамбль селения складывается из двух основных элементов: искусственно создаваемых объектов и природного ландшафта. Конечная цель реализации основных принципов архитектурной композиции в процессе формирования современного ансамбля села сводится к достижению его своеобразия, индивидуализации, возможно через «этнический колорит»⁵. Композиционная идея, заложенная в архитектурно-планировочную, зависит от места размещения поселка, его назначения и функций, положения в системе расселения и применения определенных типов зданий. Один из главных моментов в формировании композиционной идеи связан с установлением органичной связи с природным ландшафтом.

В результате исследований, проведенных на начальном этапе проектирования генплана экологического поселения «Родная земля» в Вепсской волости, автором были проанализированы исторически сложившиеся принципы планировочной организации вепсских поселений. Для селенных поселений вепсов характерна беспорядочная или рядовая форма плана с ориентацией жилищ «на лето» (на юг); для приводомных – прибрежно-рядовая форма с домами, расположенными вдоль береговой линии и ориентированными лицевыми фасадами на водоем или от водоема, а иногда – форма, не учитывающая структурообразующую роль береговой линии.

Южная ориентация в целом была приоритетна в вепсских поселениях, но в большой степени сочеталась с разнонаправленностью лицевых фасадов домов.

Главное своеобразие вепсских поселений заключается в трактовке рядовых и уличных структур с использованием взаимоперпендикулярной ориентации построек с формированием отдельных микроструктур, напоминающих фрагменты замкнутых планов. Впечатление замкнутости и обособленности частей деревни усиливает относительная независимость дороги и линии застройки. Локальные микроструктуры, которых в поселении могло сложиться несколько, появлялись как следствие обособления отдельных родственных групп или в результате «экологического» подхода: небольшие пространства были защищены от ветра, сомасштабны человеку, создавали ощущение психологического комфорта. Правда, у северных вепсов в Карелии локальные планировочные микрообразования встречаются лишь в порядке исключения⁶.

Что касается главных элементов композиции, доминирующих объемов в вепсских поселениях, то это были естественные высотные акценты – священные рощи с культовыми сооружениями, располагающиеся на периферии поселения (чаще северной). При этом храм играл подчиненную роль по отношению к кладбищенской роще⁷.

Обобщая изложенное, следует отметить, что вепские планировочные традиции очень хорошо отвечают требованиям, предъявляемым к планировке экопоселений. При проектировании этноэкологического поселения «Родная земля» конкретные приемы планировочных решений будут определены после обследования территории, отведенной под строительство, и дер. Залесье, на базе которой сформируется новое поселение.

¹ Геков А. Н. Пояснительная записка к отчету по теме: «Изучение возможностей организации строительства и обустройства экспериментальных экологически чистых поселений, состоящих из Родовых поместий» / ЗАО «Институт управления стоимостью». Кемерово, 2001.

² www.ekoland.brn.ru/files/info/RODOWOE.

³ www.eco-rus.com/text/poselenia/pos1.htm.

⁴ grishino.ecology.net.ru; ers.tarusa.ru; kitezh.nm.ru; new-life.newmail.ru/sotros; www.anastasia.ru; www.blagodan.nm.ru; www.eco-kovcheg.ru; www.eco-rus.com/text/poselenia/pos1.htm; RODOWOE; rodnoe; www.onego.ru/win/pages/nevo; www.podoli.ru; www.rural-russia.narod.ru; www.slavnoe.ru.

⁵ Гурулев О. К. Архитектура жилых и общественных зданий для села. М., 1988.

⁶ Гришина И. Е. Планировочные приоритеты в развитии традиционных сельских поселений Карелии // Архитектурное наследство. Вып. 44. М., 2001. С. 55–63; Орфинский В. П., Гришина И. Е. Крестьянские поселения и постройки // Прибалтийско-финские народы России / Вепсы. М., 2003. С. 382–383.

⁷ Орфинский В. П. Культовая архитектура вепсов // Современная вепсология: достижения и перспективы / Отв. ред. И. Ю. Винокурова (в печати).

БУБРИХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ В ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКОМ РЕГИОНЕ

© *Е. И. Клементьев*
Петрозаводск

Языковое право, политика, практика

1. Законодательная защита языковых прав народов

Языковые права народов Российской Федерации защищаются на двух уровнях – федеральном и региональном.

Важнейшей особенностью закона «О языках народов РСФСР» (принят 20 октября 1991 г.) является признание нормы группового этнического права. Языковой суверенитет рассматривается как совокупность прав народов и личности на сохранение и всестороннее развитие родного языка независимо от их численности (ст. 2, п. 1, 2). Государство, признавая равные права народов на сохранение и развитие языков, охраняет равноправие языков народов законом (ст. 2, п. 4, ст. 3, п. 1), обеспечивает условия для изучения и преподавания родного языка (ст. 10, п. 1). По закону субъекты РФ наделяются правом принимать законы и другие нормативно-правовые акты на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (ст. 3, п. 3). В этом отношении российский закон «идет в ногу» с рядом международно-правовых актов, защищающих групповые права, прежде всего права коренных народов и национальных меньшинств.

По Конституции РФ (принята 7 июня 1994 г.) основой федерального устройства страны является принцип равноправия и самоопределения народов. Право народов на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития гарантируется ст. 68, п. 3. В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации особо защищаются культурно-языковые интересы коренных малочисленных народов (ст. 69).

Еще дальше в расширении языковых прав граждан пошли разработчики закона РФ «Об образовании». Согласно ст. 6, п. 2 этого закона, «Граждане Российской Федерации имеют право на получение основного общего образования на родном языке». Таким образом, закон «Об образовании», устранив монополизм государства на социальный заказ школ, провозгласив правовую защиту национальных языков, не просто расширял, а предоставлял принципиально новые возможности реализации языковых ожиданий народов.

Культурно-языковые права народов и национальных меньшинств защищаются также рядом других законодательных актов Российской Федерации.

По словам известного российского ученого М. Н. Губогло, специалиста по проблемам законодательства в сфере этногосударственных и языковых взаимоотношений, РК проявляет особую заинтересованность в развитии норм национального права, ибо «без ключевых положений этого права... сохранение карел и их этничности действительно становится проблематичным»¹.

И это действительно так: с 1991 г. до настоящего времени в республике принято около 20 нормативно-правовых актов (законов, постановлений, распоряжений правительства, программ, концепций), непосредственно защищающих культурно-языковые интересы карел, вепсов и финнов Карелии.

Первую попытку ликвидации правовых лакун по защите культурно-языковых прав народов на законодательном уровне предпринял Верховный Совет РК на 23 сессии. 18 января 1994 г. был введен в действие закон «Об образовании». По закону в пределах своей компетенции республика наделялась правом самостоятельно осуществлять правовое регулирование в области образования (ст. 3, п. 2). Признавая сферу образования приоритетной, ст. 6, п. 2 предусматривала, что «Республика Карелия создает условия для получения образования на родном языке, а также на выбор языка обучения для представителей других национальных групп в рамках возможностей, предоставляемых системой образования».

После многократных дополнений статьи закона, защищающие культурно-языковые интересы народов, претерпели существенные изменения. Из закона исчезло положение о том, что республика создает условия для получения образования на родном языке. В настоящее время «Органы исполнительной власти Республики Карелия в области образования: разрабатывают и реализуют республиканские целевые программы развития образования с учетом национальных и

региональных социально-экономических, экологических, культурных, демографических и других особенностей Республики Карелия, устанавливают региональные (национально-региональные) компоненты государственных образовательных стандартов» (ст. 2, п. 2). Последняя версия закона «Об образовании» предусматривает поддержку изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности (ст. 3).

Права народов и этнических групп на сохранение и развитие национально-культурной самобытности, восстановление и сохранение исконной среды обитания, а также сохранение национально-культурной самобытности коренных малочисленных народов (карел, вепсов) путем реализации республиканских и государственных программ, обеспечивающих их национально-культурное развитие, регламентируются ст. 17 закона «О культуре» (введен в действие 25 января 1995 г.).

По Конституции РК (принята 12 февраля 2001 г.), «В Республике Карелия народам, проживающим на ее территории, гарантируется право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития» (ст. 11, п. 2). Реализация этой правовой нормы отражена в ст. 21: «В Республике Карелия осуществляются меры по возрождению, сохранению и свободному развитию карелов, вепсов и финнов, проживающих на ее территории» и РК «устанавливает региональные (национально-региональные) компоненты государственных образовательных стандартов, поддерживает различные формы образования, способствует развитию науки» (ст. 29, п. 2).

Закон «О государственной поддержке карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия» (принят 19 марта 2004 г.), гарантируя юридическую, социальную, экономическую защиту языков (ст. 2), предусматривает проведение комплекса мер по их сохранению, изучению, развитию и использованию (ст. 3). Это укрепление и расширение социально-культурных функций карельского, вепсского и финского языков; поддержка СМИ, использующих эти языки; организация системы обучения в образовательных учреждениях названным языкам; поддержка образовательных учреждений; издание различных учебных пособий, литературы, словарей на карельском, вепсском, финском языках; поддержка научных исследований по этим языкам. Закон предусматривает совершенствование системы подготовки кадров различного профиля, работающих «на языке», «с языком», «для языка». В законе сохранилось положение о праве получения основного общего образования на родном языке путем создания необходимого числа классов, групп и условий для их функционирования (ст. 5, п. 2).

2. Программное обеспечение языковых приоритетов

Важными шагами в решении возрожденческих задач стали: воссоздание вепсской и карельской письменности, возникновение сети школ с изучением карельского, вепсского, финского языков, разработка и издание серии учебной и учебно-методической литературы, активная подготовка преподавательских кадров, регулярные семинары учителей, преподающих национальные языки, научно-практические конференции и т. д. Кроме этого, за последние примерно 10 лет в республике был принят пакет других нормативно-правовых документов, направленных на сохранение и развитие языков карел, вепсов, финнов².

Первым из таких актов стала «Программа обновления и развития народной школы в Карельской АССР на 1991–1995 годы», одобренная коллегией Министерства образования республики.

Цель программы – формирование системы образования, **обеспечивающей укрепление позиций национально-русского двуязычия** (выделено мной. – Е. К.). Реализовать программу планировалось путем организации непрерывного изучения языков по схеме «ДООУ – школа – вуз» и тем самым решить стратегическую задачу – укрепить национально-русское двуязычие как норму языкового поведения, что позволило бы достичь возвратного двуязычия, широко распространенного в среде прибалтийско-финских народов Карелии в послевоенные десятилетия.

Эта идеологема (представление) – достичь возвратного двуязычия – нашла дальнейшее развитие в «Концепции возрождения и развития языка и культуры карел, вепсов, финнов Республики Карелия» (утверждена СМ РК 23 декабря 1993 г.). В ней особо подчеркивалось, что так как семья перестала выполнять свою главнейшую этническую функцию – обеспечивать национально-культурную и языковую преемственность поколений, на плечи возрождающейся школы ложится огромная ответственность за языковое будущее народов. Переход к изучению ряда гуманитарных предметов на карельском, вепсском, финском языках расценивался как важнейшее условие, препятствующее культурной, языковой и этнической ассимиляции народов.

Цель Концепции развития финно-угорской школы (принята 25 апреля 1997 г.) заключалась в том, чтобы содействовать сохранению и развитию языков и культур карел, вепсов, финнов, на практике обеспечить функционирование финно-угорской школы в рамках возможностей, предоставляемых действующей системой образования. Изучение языков в школе было разделено на пять этапов (от 2 до 6 часов в неделю), обеспечивающих непрерывность наращивания этнокультурного и языкового потенциала учащихся.

Целевые программы «Этнокультурное образование в Республике Карелия» также ориентированы на создание условий для развития финно-угорской школы как основного звена в возрождении и развитии языков и культур карел, вепсов и финнов в рамках возможностей, представляемых действующей системой образования. Программы предусматривают разработку и апробирование содержания образования финно-угорской школы с учетом республиканского (национально-регионального) компонента федерального стандарта и примерных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

К закону «О государственной поддержке карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия» (принят в марте 2004 г.) республиканским Госкомнацем была разработана и решениями Главы республики и Законодательного Собрания утверждена специальная программа мероприятий (2005 г.). Она предусматривает реализацию комплекса мер (ст. 3), которые создают условия для свободного владения карельским, вепским, финским языком.

3. Достижимо ли возвратное двуязычие?

При действующей системе образования, когда объем часов, выделяемый на реализацию федерального компонента государственного образования, составляет 85–95%, а на региональный компонент, в рамках которой изучаются нерусские языки, остается 10–15%, говорить о том, что массовое возвратное двуязычие достижимо, весьма проблематично. В настоящее время свободное владение карельским, вепским или финским языком обеспечивается лишь вузовской подготовкой.

Современная так называемая национальная школа работает не в соответствии с принятыми Конституциями РФ и РК законами о языках или об образовании, гарантирующими сохранение языков, а по приказу Министерства образования Российской Федерации от 9 февраля 1998 г., по которому изучение нерусских языков ведется в урезанных часах учебного времени. Из-за нечеткой федеральной языковой политики, когда общегосударственная и региональная образовательная политики альтернативны (декларируем одно, на практике имеем другое), опасные издержки в сохранении языков имеют тенденцию накопления. И об этом убедительно свидетельствуют данные двух последних переписей населения. Всероссийская перепись 2002 г. демонстрирует стремительно нарастающее увеличение доли карел, вепсов, финнов с родным русским языком: национальная принадлежность и родной язык совпадали только у 25,6% карел, 15,8% вепсов, 16,1% финнов. С 1989 по 2002 г. доля карел с родным карельским языком сократилась на 25,9%, среди вепсов – на 24,9%, финнов – на 21,4%. Причем удельный вес карел, вепсов, финнов с совпадающей на-

циональностью и родным языком сокращается значительно быстрее, чем численность этих народов. В 2002 г. языком своей национальности владели 48,4% карел, 40,8% финнов, 38% вепсов³.

Настанет ли время, когда проблемы сохранения народами языков и культур будут реально защищаться действующими Конституциями РФ и РК, принятыми федеральными и республиканскими законами? Судя по проекту Концепции государственной федеральной этнонациональной образовательной политики, ввиду доминирующей в ней тенденции к унитаризму и унификации, многим народам РФ, в том числе карелам, вепсам и финнам, серьезно рассчитывать на сохранение этнической культуры и языковой самобытности едва ли придется.

¹ Губогло М. Может ли двуглавый орел летать с одним крылом? Размышления о законотворчестве в сфере этногосударственных отношений. М., 2000. С. 45.

² См. подробнее: Клементьев Е. И. Правовая защита национальных интересов: миф или реальность? // Сеть этнического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. Бюллетень. Ноябрь–декабрь. 2001. С. 32–39; Он же. В поисках правовой защиты культурно-языковых интересов карел, вепсов, финнов Республики Карелия. Серия «Права человека и законодательство о языках в субъектах Российской Федерации». М., 2003.

³ Национальный состав населения Республики Карелия по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. Петрозаводск, 2005. С. 27–28.

© R. Grünthal
Helsinki (Finland)

Itämerensuomalaisten kielten muutos suomalais-ugrilaisen kielikunnan periferiassa

Прибалтийско-финские языки
на финно-угорской языковой периферии

В прибалтийско-финских языках, которые являются близкородственными, лексическое и грамматическое подобие считается очевидным. Это сходство отличает их от всех прочих финно-угорских языков. По этой причине при проведении сравнения с другими финно-угорскими языками исследователи прибалтийско-финской группы уделяют намного больше внимания общим чертам, нежели различающим.

В основе изучения различий между языковыми группами в рамках одной языковой семьи, например, между саамскими, прибалтийско-финскими и пермскими языками, как правило, лежит сравнение языков. Однако, как предполагается, важную роль при формировании прибалтийско-финских языков в особую группу финно-угорской ветви сыграли языковые контакты. Объектом исследования в этом случае оказываются не только родственные языки, которым в силу общего

происхождения свойственно лексическое и грамматическое сходство, но и языки, генетически не связанные с описываемыми языками, но находящиеся с ними в одной контактной зоне.

Помимо естественных внутриязыковых изменений в прибалтийско-финских языках закрепляются также изменения, возникшие в результате языковых контактов. Внутриязыковые изменения могут способствовать расподоблению языков. Кроме того, внутриязыковые изменения могут быть очень похожими, даже одинаковыми, хотя известно, что эти процессы протекали в каждом из рассматриваемых языков независимо, например, упрощение конца слова и системы словоизменения. На характер языковых контактов влияют также индивидуальные особенности языков, находящихся в зоне контактирования. Несмотря на то что в контактной зоне, по последним научным данным, не существует четких границ, складывается впечатление, что влияние современных индоевропейских языков направлено, помимо лексики, больше на функциональные границы морфосинтаксиса, нежели на морфологическую суть.

В статье рассматриваются явления, объединяющие прибалтийско-финские языки в отдельную группу на финно-угорской языковой периферии, а также факторы, повлиявшие на возникновение различий между этими языками.

1. Itämerensuomalaiset kielet ovat suomalais-ugrilaisten kielten läntinen haara ja niiden puhuma-alue ulottuu saamelaiskielten tavoin luoteisten indoeurooppalaisten kielten eli balttilaisten ja etenkin germaanisten kielten lähialueille. Suomalais-ugrilaisuus erottaa itämerensuomalaisia kieliä nykyisistä ja esihistoriallisen ajan balttilaisista, germaanisista ja slaavilaisista kielistä. Se yhdistää itämerensuomalaiset kielet maantieteellisesti kauempana idässä puhuttaviin kieliin ja niiden puhuma-alueisiin. Ajallisesti yhteys on vuosituhansien ikäinen. Vuosituhansien aikaisen kehityksen aikana monet muutokset ovat tuoneet itämerensuomalaisia kieliä lähemmäksi niiden indoeurooppalaisia naapurikieliä, mikä näkyy etenkin sanastossa. Suomalais-ugrilaisen kielten keskinäinen erilaisuus on lisääntynyt, mutta erilliskehityksestä voi myös löytää piirteitä, jotka vahvistavat suomalais-ugrilaisille kielille tyypillisenä pidettyjä ominaisuuksia tai muutoksia, jotka liittyvät niiden suomalais-ugrilaiseen taustaan. Tarkastelen tässä kirjoituksessa itämerensuomalaisia kieliä nimenomaan tästä näkökulmasta.

Kun itämerensuomalaisten kielten vertailukohteena ovat muut suomalais-ugrilaiset kielet, niiden maantieteellinen ja rakenteellinen läheisyys on eräitä ääritapauksia lukuun ottamatta niin ilmeistä, että perusaksiooma läheisistä sukulaisista on helppo uskoa. Nykyään erot korostuvat kielisosiologisessa ympäristössä, mutta en tässä yhteydessä puutu siihen lähemmin. Lisäksi eteläisimmät itämerensuomalaiset kielimuodot eteläviro eli võrun kieli ja liivi ovat pohjoisten itämerensuomalaisten kielten kannalta niin erilaisia, että yhdistävien piirteiden löytäminen on vaikeampaa kuin maantieteellisesti lähemmistä kielistä.

Silti ei toistaiseksi ole osoitettu sellaisia piirteitä, jotka yhdistäisivät joi-takin itämerensuomalaisia kielimuotoja enemmän saamelais- tai mordva-laiskieliin kuin muihin itämerensuomalaisiin kieliin. Itämerensuomalaisten ja saamelaiskielten myöhäisiä kosketuksia ja varsinkin Ääninen–Laatokka–Sai-maa–Päijänne linjalta pohjoiseen alkavaa, saamelaisperäisen nimistön todis-tamaa substraattia lukuun ottamatta itämerensuomalaisten ja saamelaiskielten ja itämerensuomalaisten kielten ja mordvalaiskielten välisen suhteen selittäminen edellyttää näiden alaryhmien käsittelyä omina kokonaisuuksinaan: saamelaiskieliä yhtenä haarana, itämerensuomalaisia kieliä toisena ja mordvalaiskieliä kolmantena. Toisin sanoen esimerkiksi suomen, karjalan tai vepsän saamelaisperäinen paikannimisubstraatti ei kerro lähemmästä geneettisestä suhteesta, vaan siitä, että ne ovat keskenään kontaktikieliä ja jot-kin sanaston ja nimistön yhtymäkohdat johtuvat kielikontakteista. Paikannimi- ja substraattitutkimus on ollut viime vuosina itämerensuomalaisten kielialueen varhaisvaiheiden tutkimuksen vireimpiä suuntauksia. Tulokset ovat vahvista-neet käsitystä siitä, että keskinäisten kontaktien selvittäminen on tärkeä osa niiden välisten suhteiden kartoittamista.

Siihen listaan, joka tekee itämerensuomalaisista kielistä itämerensuomalaisia, kuuluu lukuisia kielen ulkoisessa olemuksessa, siis sekä sanastossa että rakenteessa, näkyviä samankaltaisuuksia. “Suomalais-ugrilaista kieliperimää”, kuten Eeva Kan-gasmaa-Minn kuvasi itämerensuomalaisten kielten vanhinta tunnettua taustaa, täydentää siis “itämerensuomalainen kieliperimä”. Sille on ominaista vanhinta suomalais-ugrilaista ainesta selvästi myöhempi kerrostuma. Siinä limittyvät toisaalta vanhan suomalais-ugrilaisen aineksen jäsentyminen itämerensuomea yhdistäväksi järjestelmäksi, toisaalta yhteisten innovaatioiden tulo tai arkaismien säilyminen.

Kun itämerensuomalaista kieliperimää arvioidaan, looginen johtopäätös on, että yhtäläisyydet johtuvat siitä, että ne ovat peräisin yhteisestä kantamuodosta. Oletus kantasuomesta (usein myöhäiskantasuomi-nimisenä) perustuu juuri tähän päätelmään. Kun puhutaan kielen muuttumisesta sekä esihistoriallisten kielimuo-tojen rekonstruoinnista, on kuitenkin syytä muistaa, että nekään eivät diak-ronisesti tarkasteltuna voi olla staattisia. Voidaan olettaa, että kielessä tapahtuvat muutokset usein ovat tai voivat olla toisten muutosten aiheuttamia, kuten esi-merkiksi morfologisen synkretismin eli taivutushomonymian eliminoiminen ja analogisten muotojen leviäminen. Nykyään tunnetut itämerensuomalaiset kielet ja niiden varhaiseksi kantamuodoksi rekonstruoitu kantasuomi tulee tällöin nähdä jatkuvassa muutoksessa olevina järjestelminä, joihin vaikuttavat kielen omat muutosmekanismit ja kielikontaktit. Muutokseen vaikuttavat tekijät voivat olla hyvin eri-ikäisiä. Itämerensuomalaisissa kielissä näkyvien muutosten kiinne-kohtia ovat siten kunkin kielen erilliskehityksen aika, kantasuomalainen aika ja sen takana oleva suomalais-ugrilainen aika.

Arvioin seuraavassa lähemmin kolmea itämerensuomalaisten kielten nominikielioppiin liittyvää morfologista ja syntaktista ominaisuutta edellä luonnostellun, jatkuvaa muutosta ilmentävän diakronian näkökulmasta: 1) kieliopillisten sijojen eli nominatiivin, genetiivi-akkusatiivin ja partitiivin funktioita, 2) paikallissijojen kehitystä ja 3) possessiivisuffiksien muuttumista.

2. Itämerensuomalaisten kielten lauseopin silmiinpistäviä erikoisuuksia on se, että kaikki kolme kieliopillista sijaa, nominatiivi, genetiivi-akkusatiivi ja partitiivi voivat tietyin ehdoin esiintyä sekä subjektin että objektin asemassa. Nominatiivi on ensisijainen subjektin sija, mutta genetiivi-akkusatiivi ja partitiivi ovat ensisijaisesti objektin sijoja. Itämerensuomessa on siten kehittynyt varsinkin objektin sijojen osalta omalaatuinen systeemi, vaikka tosin mordvassa ja jossakin määrin saamessa on tapahtunut samansuuntaista kehitystä.

Käsitys suomalais-ugrilaisen kantakielen kieliopillisten sijojen olemuksesta on paljon hypoteettisempi kuin itämerensuomalaisten kielten. Havainnollistan kuitenkin itämerensuomalaisten kielten ja suomalais-ugrilaisen kantakielen (*SGR) kieliopillisten sijojen välistä eroa ja käyttöä subjektin (S) ja objektin (O) asemassa seuraavalla kuviolla. Viime mainitussa nominatiivin (pääteetön), genetiivin (*-n) ja akkusatiivin (*-m) oletetaan tavallisesti olleen tehtäviltään paljon selvärajaisempia kuin itämerensuomessa. (Käytän tässä yhteydessä pikemmin termiä itämerensuomi kuin kantasuomi, koska kyse on ensisijaisesti nykyisiä itämerensuomalaisia kieliä synkronisella tasolla yhdistävistä kielitypologisista ominaisuuksista.)

*SGR	S	O
nom		
gen		
akk		

IMS	S	O
nom		
gen-akk		
part		

Tärkein ero on siis se, että itämerensuomessa samat sijat ovat käytössä sekä subjektin että objektin asemassa. Tämä tilanne näyttää vaikuttaneen siihen, että objektin sijamerkintä on ollut muutoksen alaisena myös itämerensuomalaisten kielten erilliskehityksen aikana. Huomattakoon, että genetiivi-akkusatiivin ja partitiivin työnjako objektin sijana on vienyt itämerensuomalaisia kieliä eri suuntiin. Vepsässä genetiivi-akkusatiivia käytetään objektin sijana toisinaan myös sellaisissa tapauksissa, jotka muissa itämerensuomalaisissa kielissä saavat partitiiviojektin. Virossa taas partitiiviojekti ja verbiadverbit näyttävät valtaavan tilaa genetiivi-akkusatiivilta. Liivissä nominatiivin ja genetiivi-akkusatiivin välinen morfologinen ero on vähentynyt.

3. Lokaaliset sijat ovat usean suomalais-ugrilaisen kielen tunnusmerkki. Itämerensuomessa on kaksi paikallissijasarjaa, sisä- ja ulkopaikallissijasarja. Jälkimmäinen on oletettavasti ollut myös liivin esimuodossa, vaikka se kirjallisesti dokumentoidusta liivistä puuttuukin. Paikallissijasarjoja yhdistää se, että sekä paikallissijan lajia (sisäpaikallissijojen *-s*-tunnus ja ulkopaikallissijojen *-l*-tunnus) että morfosyntaktinen ominaisuutta (tulo-, olo- tai erosiija) ilmaiseva morfeemiaines on yhteinen. Kielipillisten sijojen tavoin myös itämerensuomen sisäpaikallissijoilla on paralleeli mordvassa. Ulkopaikallissijojen historia on toistaiseksi hämärämpi.

<i>puu-h-un</i>	<i>puu-l-le</i>	<i>taivaa-s-een</i>	<i>taivaa-l-le</i>
<i>puu-s-sa</i>	<i>puu-l-la</i>	<i>taivaa-s-sa</i>	<i>taivaa-l-la</i>
<i>puu-s-ta</i>	<i>puu-l-ta</i>	<i>taivaa-s-ta</i>	<i>taivaa-l-ta</i>

Historiallisesti sisä- ja ulkopaikallissijasarjan oletetaan olleen sikäli vielä lähempänä toisiaan, että morfosyntaktista ominaisuutta ilmaiseva morfeemi olisi kummassakin sarjassa identtinen (tulossijassa *-(e)n*, olosijassa *-nA*, erosisijassa *-tA*).

Itämerensuomessa näkyy suomalais-ugrilaisille kielille ominainen, paikallissijojen taipumus jäsentyä paradigmaattisiksi osajärjestelmiksi, toisaalta sijojen rakenteessa ilmenevä kaksimorfisuus. Mutta myöskään kahden paikallissijasarjan kannalta itämerensuomalainen yhteisaika kattaa vain osan kehityksestä: alkupiste on kauempana menneisyydessä, ja sen selvittämiseen tarvitaan muiden suomalais-ugrilaisien kielten avaamaa näkökulmaa muutosmekanismeihin. Tällä tavalla voidaan paremmin ymmärtää itämerensuomalaisten kielten paikallissijojen käytössä ja rakenteessa synkronisella tasolla ilmeneviä eroja.

4. Kolmas nominitaivutuksessa laajempaa osasysteemiä koskeva ja itämerensuomalaisten kielten kehitystä eri tavoin kuvaava kategoria ovat possessiivisuffiksit. Nykysuomen kaltaisen järjestelmän oletetaan kuuluneen kaikkien itämerensuomalaisten kielten varhaisempaan kehitykseen. Esimerkiksi vanhan kirjaviron ja kansanrunokielen perusteella on ilmeistä, että virossa on aikaisemmin ollut possessiivisuffikseja, vaikka ne nykykielestä puuttuvat. Se, että possessiivisuffiksien reliktejä voidaan löytää myös niistä itämerensuomalaisista kielistä, joiden nykymuodoista ne puuttuvat, ei suomalais-ugrilaisessa kontekstissa kuitenkaan ole ainoa eikä diakronisen kehityksen kannalta välttämättä tärkein yhdistävä piirre.

Numeruksen ilmaiseminen ei itämerensuomalaisten kielten possessiivisuffikseissa ole yhtä monikäyttöistä kuin lähes kaikissa muissa suomalais-ugrilaisissa kielissä. Joko etäisemmissä sukukielissä on yksikön ja monikon lisäksi kaksikko eli duaali, kuten saamelaiskielissä, obinugrilaisissa kielissä ja samojedikielissä, tai sitten suffiksaalista monikkoa voidaan käyttää sellaisissa nominien taivutusmuodoissa, joissa se ei itämerensuomessa esiinny. Itämerensuomessa possessiivisuffiksien avulla voidaan osoittaa vain omistajan yksikkö ja monikko, ei omistetun monikollisuutta. Esimerkiksi mansissa omistajan ja omistetun luvun erottaminen perustuu johdonmukaiseen morfeemien agglutinaatioon, minkä avulla voidaan tehdä ero yksikön, duaalin ja monikon välillä. Suomessa *talo-ni* voi merkitä yhtä hyvin ‘yksi taloni’, ‘kaksi taloani’ tai ‘monta taloani’ ja on siis omistetun lukua ajatellen synkretistinen.

Edellä mainitun itämerensuomen possessiivisuffiksien omistetun luvun ilmaisemisen pelkistymisen lisäksi possessiivisuffiksit näyttävät itämerensuomessa ylipäättään olevan ilmeisen epäproduktiivin kategoria. Äärimmäistapauksia ovat viro, mukaan lukien võru eli eteläviro sekä liivi, joista possessiivisuffiksit ovat jo kadonneet. Myös suomessa ekspansiivinen pääkaupunkiseudun puhekieli eroaa possessiivisuffiksien käytön osalta normitetusta kirjakielestä, ja viimeaikaiset tutkimustulokset kertovat, että niitä käytetään omistusrakenteissa vähemmän ja vähemmän. Edelleen vaikka possessiivisuffikseista voi löytää enemmän esimerkkejä vanhasta suomalaisesta kansankielestä ja vastaavasti vatjasta ja karjalasta, ei niillä selvästikään ole samanlaista merkitystä kuin esimerkiksi marissa ja permiläisissä kielissä, jossa possessiivisuffiksit ovat erittäin tärkeitä lauseen temaattisen rakenteen ja määräisyyden ilmaisijoita, eivät pelkästään omistajan ja omistetun persoonan ja luvun. Niissä possessiivisuffikseja käytetään vastaavien kerronnallisten ja lauseensisäisten viittaussuhteiden osoittamiseen, mihin itämerensuomessa käytetään mm. pronomineja.

Se reduktio, joka ensi silmäyksellä jakaa itämerensuomalaiset kielet kahteen ryhmään – niihin, joissa possessiivisuffikseja esiintyy, ja niihin, joista se puuttuu – asettuu suomalais-ugrilaisessa kontekstissa osaksi pitkäaikaisempaa muutosta. Myöskään tässä tapauksessa kantasuomi ei mitä ilmeisimmin ole se muutoksen taso, josta kehitys lähtee liikkeelle, vaan välivaihe pitkässä ketjussa.

5. Verbikieliopin ja verbitaivutuksen puolelta voitaisiin esittää vastaavia tapauksia, joissa itämerensuomi näyttää ensi silmäyksellä erottuvan muista tai ainakin suurimmasta osasta muita suomalais-ugrilaisia kieliä omaksi ryhmäkseen, mutta jotka pitkällä aikavälillä liittyvät kielen muuttumiseen ja suomalais-ugrilaisen kielimuodon kehittymiseen itämerensuomalaiseksi. En kuitenkaan tässä yhteydessä laajenna tarkasteluani verbikielioppiin, enkä muihin nominikieliopin alueisiin. Pää-tarkoitukseni on ollut nostaa lyhyesti esille kysymys kielen muutoksen dynaamisuudesta ja kieliopin uusiutumisesta. Kun arvioidaan itämerensuomalaisten

kielten kehitystä suomalais-ugrilaisen kielikunnan länsireunalla, on toisaalta otettava huomioon niitä yhdistävät tekijät, mutta toisaalta kiinnitettävä huomiota myös niissä tapahtuvien muutosten eri-ikäisyyteen.

Lopuksi tuon esiin vielä senkin mahdollisuuden, että kielessä voi tapahtua myös muutoksia, jotka itse asiassa kehittävät niitä lähemmäs alkuperäistä tyyppiä. Tällainen muutos näyttää tapahtuneen vepsän taivutusmorfologiassa. Vepsässä on itämerensuomalaisista kielistä ylivoimaisesti vähiten morfofonologista vaihtelua. Taivutusmorfologia perustuu siihen, että vartalomorfeemiin liitetään vakiintuneessa järjestyksessä kieliopillisia ja johdinmorfeemeja. Tällaista typologista agglutinaatiota pidetään vanhana suomalais-ugrilaisen kielten ominaisuutena. Se ei välttämättä vähennä vepsän itämerensuomalaisuutta eikä tuo sitä lähemmäs suomalais-ugrilaista kantakieltä. Mutta myös tämänsuuntainen typologinen muutos perustuu epäilemättä siihen, että ne ovat kielen kannalta mahdollisia, ehkä tarkoituksenmukaisiakin.

© J. Ōispuu
Tallinn (Estonia)

Kaunokirjallisuus kirjakielen elvyttamisprosessin osana (aunuksenkarjala)

Художественная литература
как компонент возрождения национального языка
(на примере ливвиковской литературы)

Возрождение литературного языка имеет две стороны: отправные точки теоретического возрождения и способы применения теории на практике. Роль художественной литературы в процессе возрождения и развития литературного языка часто при рассмотрении языковых вопросов, к сожалению, остается в тени.

Начиная с 1990-х гг. культивировалась в основном исконно ливвиковская и переводная литература. Национальная литература всегда и везде играла значительную роль в возрождении и развитии литературного языка.

С точки зрения молодого возрожденного литературного языка у переводной литературы существенная цель: убедить говорящих на этом языке в том, что на их родном языке можно как грамматически, так и лексически создавать разнообразнейшие тексты. В 1990-х гг. возрожденная ливвиковская переводная литература в этом смысле не является исключением. Ливвиковские писатели переводят не только с русского, но и с финского языка.

Как корни народа, так и его будущее одновременно присутствуют в народной поэзии. Такая ситуация сложилась и в Карелии: в 1990-х гг. было издано много книг, посвященных карельской народной поэзии. Одни из этих произведений относятся к литературе, другие – к науке. В то же время черты народной поэзии

можно заметить в творчестве многих ливвиковских писателей. Природа Карелии, ее красота, чистота и девственность являются наиболее распространенными мотивами в ливвиковской поэзии. Влияние природной поэзии встречаем повсюду, ведь любовь к родным краям, языку и культуре можно выразить только традиционными выразительными средствами языка.

Важный вклад в издание художественной литературы на карельском языке внесла газета «Oma muu». В 1990–2004 гг. на страницах газеты было опубликовано 1019 оригинальных стихотворений 109 писателей. В список десяти лучших авторов, по данным газеты «Oma Muu», входят Зинаида Дубинина (137 стихов), Александр Волков (76), Вася Вейкки (Василий Иванов) (75), Мииккул Пахомов (59), Владимир Брендоев (53), Клавдия Алексеева (53), Пекка Вахроев (36), Ольга Мишина (27), Прасковья Федорова (26) и Зина Трошина (26).

Наряду с периодическими изданиями художественная литература является одним из важнейших инструментов, с помощью которого введенные комиссиями новшества и утвержденные языковые нормы и новые слова доходят до народа.

Suomalainen tutkija Aulikki Jalava on monografiansa “Kansallisuus kadoksissa. Neuvosto-Karjalan suomenkielisen epiikan kehitys” saatesanoissa todennut: “Tarttuessani 70-luvun lopulla Neuvosto-Karjalan kirjallisuuden aihepiiriin en voinut arvata, että maailmanpolitiikan muutos tekisi karjalaisesta ja inkeriläisestä kirjallisuudesta niin kiinnostavan kuin nyt on osoittautunut” (Jalava 1990: 11). Sama pätee minun kohdallanikin: muistaakseni tutustuin Karjalan kirjallisuuteen jo koulupoikana Saarenmaalla kotikaupungissani Kuressaaressa, josta silloin oli lehtikioskilta mahdollista ostaa Punalippu-aikakauskirjan. En puhunut suomea ja luin “Punalipusta” lähinnä lyhyempiä juttuja. Mutta muutamat Karjalan kirjailijoitten nimet jäivät muistiini. Sen lisäksi karjalaisten kirjailijoiden teoksia oli ja on vironnettuinakin (ks. Öispuu, 2003: 509–512.).

Mainitsemani A. Jalavan tutkimus on kirjoitettu 1980-luvun loppupuoliskolla, jolloin karjalan kielen ja kulttuurin elvyttäminen olivat vasta suunnitteilla. 1990-luvulta lähtien karjalan kielen ja kulttuurin kehityksessä on tapahtunut paljon, jota v. 1990 ei vielä voinut ajatellakaan.

Kielen elvyttämisellä on kaksi tahoja: elvyttämisen teoreettiset lähtökohdat ja teoriaa käytäntöön soveltavat toimenpiteet. Kaunokirjallisuuden rooli kielen elvyttämisprosessissa ja kehityksessä jää usein valitettavasti kielikysymyksen käsittelyn varjoon. Siksi haluankin esitelmässäni kiinnittää huomiota kirjallisuuteen.

Venäjänkielisellä termillä *карельская литература* on kaksi merkitystä, laajempi ja kapeampi. Laajemmassa merkityksessä *карельская литература* on maantieteellinen käsite ja tarkoittaa Karjalan kirjallisuutta, Karjalassa luotua kirjallisuutta sen kieltä huomioon ottamatta. Kapeammassa merkityksessä *карельская литература* on karjalainen kirjallisuus. Karjalainen kirjallisuus ei

kuitenkaan tarkoita automaattisesti karjalankielistä kirjallisuutta. Karjalainen kirjallisuus voi olla joko venäjän-, suomen- tai karjalankielistä. Näin ollen vieraalaissyntyiset klassikot Antti Timonen, Nikolai Laine, Ortjo Stepanov, Jaakko Rugojev ja Pekka Perttu loivat Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä merkkiteoksensa suomeksi, vaikka Timosen ja Laineen 1930-luvun tuotannosta löytyy karjalankielisiäkin esimerkkejä. Heidän tuotantonsa edustaa karjalaisuutta suomeksi. Karjalassa on nykyäänkin venäjäksi kirjoittavia karjalaisia ja suomalaisia. Useat kirjailijat ovat kirjoittaneet ja kirjoittavat sekä venäjäksi että suomeksi.

Termillä *литература Карелии* on selvästi maantieteellinen merkitys ja se viittaa konkreettisesti Karjalassa luotuun kirjallisuuteen. Vuosina 1994–2000 Karjalan Tasavallassa julkaistun 3-osaisen kirjallisuushistorian otsikkona on *“История литературы Карелии”* (“Karjalan kirjallisuuden historia”) (Karhu, 1994; Alto, 1997; ILK, 2000). Näin ollen kirjallisuushistoria viittaa Karjalassa syntyneeseen venäjän-, suomen-, karjalan- ja vepsänkieliseen kaunokirjallisuuteen. Termi *karjalankielinen kaunokirjallisuus* liittyy taas aunuksen-, vienan-, lyydin- sekä tverinkielisen kirjallisuuden. 1990-luvulta lähtien on eniten viljelty aunuksenkielistä alkuperäistä ja käännöskaunokirjallisuutta. Tämä esitelmä keskittyy tarkemmin aunukselaiseen kaunokirjallisuuteen.

Kansalliskielisellä kirjallisuudella on kielen elvyttämisen ja kirjakielen kehityksen kannalta merkityksellinen rooli. Useimpien eurooppalaisten kirjakielten (muitten joukossa viron ja suomen) varsinainen alku sijoittuu luterilaisuuden ja sen mukaan kansankielisen hengellisen kirjallisuuden syntyyn 1500-luvun alkupuoliskolla, jolloin ns. luterilaisissa maissa ilmestyivät ensimmäiset kansankieliset kirjat. Kirjakielen ensimmäisenä lähteenä on joko katekismus, runokirja, evankeliumi, Uusi Testamentti, koko Raamattu tai aapinen. Ortodoksisten karjalaisten kohdalla päti noin kaksi ja puolisataa vuotta myöhemmin sama säännönmukaisuus: vanhimpana tunnettuna karjalankielisenä painetun sanan muistomerkkinä on v. 1820 julkaistu Matteuksen evankeliumi tverin murteella. 1890-luvun lopun ja 1900-luvun alun evankeliumien käännökset karjalan kielelle jatkoivat traditiota. 1990-luvun saavutuksina on mainittava v. 1995 ilmestynyt *“Biblii lapsile”* (BL, 1995) ja Raamatun kääntäjien suurtyönä ilmestynyt *“Uuzi Sana”* vuodelta 2003 (US, 2003). Vuosisatojen kuluessa Uuden Testamentin tai koko Raamatun käännöksiä olemassaolosta on tullut tavallaan kirjakielen kehitysvoiman ja jatkuvuuden mittapuu: ovathan Raamatun käännökset panneet alulle eurooppalaisen käännöskirjallisuuden perinteen. Myöhemmin käännöskaunokirjallisuus on ollut ja on siltana eri kansojen maailmankuvan, ajattelun ja kulttuurien välillä.

Nuoren elvytetyn kirjakielen kannalta käännöskirjallisuudella näyttää kuitenkin olevan vielä yksi oleellinen tavoite: saada kielen puhujat vakuuttuneiksi siitä, että heidän äidinkieltensä pystyy rakenteellaan ja sanastollaan ilmaisemaan mitä erilaisimpia tekstejä. 1990-luvulla elvytetty aunukselainen käännöskirjallisuus ei siinä mielessä ole poikkeuksellista. Kaikki karjalaiset ovat lukeneet venäläisiä klassikkoja ja nykykirjallisuutta venäjäksi peruskoulusta asti. Kuitenkin jo Vladimir Brendojevista lähtien aunukselaiset literaatit ovat alkuperäisen tuotantonsa ohella kääntäneet venäjänkielistä runoutta ja lyhyttä proosaa ikään kuin todistaakseen itselleen, aunuksen kirjakielen elvyttämisen moittijoille sekä kirjakielen elinvoimasta empiville, että aunus on ilmaisukeinoiltaan tasavertainen muitten kirjakielten joukossa. Esimerkiksi venäläisten runoilijoiden tuotannon käännöksiä sisältyy Aleksandr Volkovin *“Pieni Dessoilu”* -kokoelmaan (Volkov, 1997: 36–65). Käännöksiä venäjästä on myös Vas’a Veikin kokoelmassa *“Eloksen dorogat”* (Veikki, 2003: 81–89). Muutamat aunukselaiset kirjailijat kirjoittavat sekä venäjäksi että karjalaksi: kaksikielisen runokokoelman *“Вечный огонь. Iguine tuli”* (Volkov, 2000) on julkaissut Aleksandr Volkov. Häneltä on ilmestynyt myös venäjänkielinen kokoelma *“Поздняя осень”* (“Myöhäinen syksy”) (Volkov, 2003b). Venäjänkielisenä ovat aloittaneet runoilijan uransa Vas’a Veikki ja jotkut muutkin tämän päivän runoilijat Karjalassa. Ensimmäiset runonsa kirjoitti venäjäksi aikoinaan myös aunukselainen klassikko Vladimir Brendojev.

V. 2001 Aleksandr Volkovilta ilmestyi runokäännöksen kokoelma *“Vellen suvain”*, johon on liitetty runokäännöksiä 67 runoilijalta 1700-luvulta 2000-luvulle asti (Volkov, 2001).

Venäjän ohella aunukselaiset ovat kääntäneet suomesta. Esimerkiksi Zinaida Dubininan kokoelmaan *“Valgei koivikko”* sisältyy käännöksiä “Kalevalasta”, “Kantelettaresta”, Eino Leinolta ja Hilikka Kajarrolta (Dubina, 2003: 66–75).

Proosan puolella käännöskirjallisuuden merkittävin edustaja on Pjotr Semjonov. Häneltä on ilmestynyt lyhyen proosan valikoima *“Ildaizen vuottajes”* (Sem’onov, 2001). Tässä kohtaa on mainittava, että proosakäännökset aunuksenkarjalaksi ovat rajoittuneet lyhyen proosan käännöksiin.

Käännöskaunokirjallisuuden osuutta kirjakielen kehittämisessä ei saa aliarvioida. Käännökset kirjallisuuden puolella ovat verrattavissa kontrastiivistutkimuksiin lingvistiikassa: kääntäjän on hyvin tunnettava sekä lähde- että kohdekieli. Sanaston rikastuttamisen rinnalla kääntäminen lisää ja vakiinnuttaa kielen tuntemusta.

Sekä jokaisen kansan juuret että tulevaisuus yhtäkaa ovat kansanrunoudessa. Samaa periaatetta on noudatettu myös Karjalassa: 1990-luvulla on

julkaistu useita kirjoja, jotka liittyvät karjalaiseen kansanrunouteen. Toiset teoksista liittyvät kirjallisuuteen, toiset tieteeseen.

Samalla kansanrunouden piirteet ovat havaittavissa useimpien aunukselais-ten kirjailijoiden tuotannossa. Karjalan luonto, sen kauneus, puhtaus ja kosketamattomuus ovat levinneimpiä motiiveja aunukselaisessa runoudessa. Kansanrunouden vaikutusta tapaamme kaikkialla: voihan rakkautta kotipaikkaansa, kieltään ja kulttuuriaan kohtaan ilmaista vain kielensä perinteisillä ilmaisukeinoilla.

Uskon olevani oikeassa todetessani, että tärkein persoona aunukselaisille ja heidän itsetunnolleen on Vladimir Brendojev. Hänen tuotannostaan ammennetaan voimia, hänen kielenkäytöstään otetaan usein mallia. Runoudellaan Brendojevista on tullut tavallaan *livvin kielen* käytön esikuva. Vladimir Brendojev (1931–1990) ja Paavo Lukin (1922–1988) olivat kaksi ensimmäistä ”pääskystä” aunukselaisessa runoudessa. Ja vaikka Ortjo Stepanov onkin todennut, ettei kaksi pääskystä kevättä tee, 1990-luvun alku toi *livvilaisiin* runotaivaisiin vielä kolmannenkin pääskysen – tuolloin vähän yli 20-vuotiaan Aleksandr Medvedjevin *alias* Santtu Karhun. V. 1988 hän voitti ”Punalipuns” järjestämän nuorten kirjoittajien runokilpailun runollaan ”*Mustas kois*”. 50 ruplan palkinnon lisäksi hän sai palkinnokseen tunnustusta Karjalassa ja sen rajojen ulkopuolella. Vuoden 1990 alussa ilmestyi Suomessa peräkkäin kolme Santtu Karhun vinyylisingleä: ”*Mustas kois*”/”*Lykyn peräh*”, ”*Airotot veneh*”/”*Syvysharmavuss*” ja ”*Anuksen Anja*”/”*Omien aigoin legendat*”. Samoihin aikoihin sijoittuu myös ”*Talvisovat*” -rockyhtyeen synty. On muistettava, että Santtu Karhun runoilijan ura alkoi vuosina, jolloin karjalan elvytysprosessi oli vasta alussa. Näin ollen hänen vinyylisinglensä voi sijoittaa vuoden 1990 karjalan kielen elvytyksen merkkitapahtumien (aunuksen aapisen ilmestymisen, ”Oma Mua” -lehden koekappaleet jne.) rinnalle. Santtu Karhusta onkin tullut laulava ja rokkaava runoilija. Hänen tuotantonsa on monipuolista: rokki- (rock) ja humorististen laulujen ohella hänen CD-levyillään on lyyrisiä lauluja. Muutaman lystikkään laulun sanat ovat aiheuttaneet vanhemman sukupolven edustajien joukossa tiettyä tyytymättömyyttä. Mutta pyhittäähän tarkoitus keinot: kenties juuri niillä konstein, rohkeasanaisten rokkinsa kautta, hän herättää nuoren karjalaisen sukupolven kiinnostuksen äidinkieltään kohtaan. Olemukseltaan Santtu Karhu on lyyrikkö. Sävelmissään hän on käyttänyt usein Zinaida Dubininan runoja ja kansanrunoja. Ilmeisesti heissä on jotain yhteistä. Onhan Zinaida Dubininakin lyyrikkö. Ja sävelminähän runot joutuvat helpommin kansan keskuuteen. Ottakaa vaikkapa ”Oma Pajo” -kuoron ohjelmisto. Tällä kohtaa on mainittava edesmenneet Ivan Ljovkin (1903–1974) ja Nikolai Dubalov (1930–2002) (ks. Dubalov, 1995).

Karjalankielistä runoutta ja proosaa on ilmestynyt lehdissä (“Oma Mua”, “Vienan Karjala”) ja aikakauskirjoissa (“Carelia”, “Kipina”). Runsaimmin kaunokirjallisuutta on julkaissut “Oma Muas”, josta v. 2000 tuli aunuksenkielinen lehti. Alkuperäisen kaunokirjallisuuden osalta on mainittava kokoelma “*Omil pordahil*” (OP, 1999) ja antologia “*Karjalan pagin*” (KP, 2003).

Karjalan kirjailijoiden tuotantoa on ilmestynyt myös ulkomailla ilmestyneissä kokoelmissa.

Kuten edellä mainittu tärkeä osuus karjalakielisen kaunokirjallisuuden julkaisemisessa on “Oma Mua” -lehdellä.

Tammikuusta 1991 säännöllisesti ilmestyvä karjalainen viikkolehti “Oma Mua” julkaisi jo ensimmäisissä numeroissaan artikkelien ohella runoja, kertomuksia, satuja ja käännöskirjallisuutta. Lehti käynnisti jopa otsikon “*Lugijat runoillah*” (“Lukijat runoilevat”). Runojaan ovat julkaisseet eri alojen ihmiset, myös runoilijoiden ikä on ollut vaihteleva. Kirjoittajien joukossa on ollut opettajia, oppilaita, opiskelijoita, kielentutkijoita, lehtimiehiä ja muitten alojen ihmisiä. Eläkeikäisten kirjoittajien osuus on ollut suuri. Suurin piirtein kaikille runokokoelmansa julkaisijoille “Oma Mua” on ollut ensimmäinen painettu sana. Vuosina 1990–2004 “Oma Mua” -lehden palstoilla on ilmestynyt 1019 alkuperäistä runoa 109 kirjoittajalta. “Oma Mua” lehden top-kymmeneen (kymmenen kärjessä -listaan) kuuluvat Zinaida Dubinina (137 runoa), Aleksandr Volkov (76), Vas’a Veikki (Vasili Ivanov) (75), Miikul Pahomov (59), Vladimir Brendojev (53), Klavdija Aleksejeva (52), Pekka Vahrojev (36), Ol’ga Misina (27), Praskovja Fjodorova (26) ja Ziina Trošin (26). Kuujärven lyydin kielellä runoilevaa Miikul Pahomovia lukuun ottamatta kaikki top-kymmeneen kuulijat ovat *livvikkoja*, aunuksenkarjalaisia. Miikul Pahomovin kohdalla pitää mainita, että hän oli ensimmäinen, joka 1990-luvulla julkaisi Karjalassa runokokoelmansa: v. 1993 ilmestyi Miikulin lyydinkielinen runokirja “*Tuohuz ikkunas*” (Pahomov, 1993).

1990-luku näyttää tavallaan vauhdinottovaiheelta, koska 2000-luvun ensimmäiset viisi vuotta ovat antaneet aunuksenkieliselle kaunokirjallisuudelle huomattavan sysäyksen. Siinä hallitsevat runous ja lyhyt proosa. Vuonna 2004 julkaistiin myös ensimmäinen aunukselaisen romaani – prosaistina ja proosankääntäjänä tunnetun Pjotr Semjonovin teos “*Puhtasjärven Masa*”:n (Sem’onov, 2004). Semjonovilta on ilmestynyt vielä kertomuskokoelma “*Ruadajat*” (Sem’onov, 1998). Lisäisin tähän myös Olga Misinan ja hänen 1990-luvun aunukselaisen lyhyen proosan aloittaneen kirjansa “*Kuldaine ildu*” (Misina, 1993). Olga Misinan kirja

“*Marin kukku*” (Misina, 2003) ja siihen sisältyvät Nastja-kertomukset ovat ensimmäisiä esimerkkejä ns. pitemmästä proosasta.

Aunukselaisessa kirjallisuudessa on huolehdittu myös kasvavasta lukijakunnasta. Lastenkirjallisuutta edustavat Olga Mišinan kirjan “*Piaskoin korgevus*” (Misina, 2002) rinnalla Tamara Ščerbakovan kirjoittamat lastenkirjat “*Pajun kukkazet – kevian viestit*” (Ščerbakova, 1999), “*Enne Rastavua*” (2000) ja “*Armahile bunukoile*” (2002). Lastenkirjojen joukkoon kuuluu myös toisen aunukselaisen runoklassikon Paavo Lukinin tuotanto. V. 1996 ilmestyi Lukinin runokirja “*Iče minä*” (Lukin, 1996). Onhan aunukselaisilla olemassa sarjakuvakirjakin – Volodja Lukkosen v. 1992 ilmestynyt “*Paha-ozane kalastus*” (Lukkonen, 1992).

Aunukselainen kaunokirjallisuus lumoo minua sekä kielentutkijana että kaunokirjallisuuden lukijana. Kielentutkijana herättää huomiota teosten kielenkäyttö, joka on vuosi vuodelta yhtenäistynyt, mutta joissa on säilynyt samalla kirjailijan murretausta ja kielenkäytön erikoisuudet. Kaunokirjalliset tekstit tarjoavat kielentutkijalle erinomaista lingvististä aineistoa. Kuten muuallakin, Karjalassa painetut tekstit ovat hyvien kielentaitajien toimittamia. Useimmiten toimittajina mainitaan Ludmila Markianova ja Vladimir Rjagojev. Jo muutaman vuoden ajan Karjalassa on toiminut ortografian ja oikeakielisyys-komissio sekä terminologit. Lehdistön ohella kaunokirjallisuus on tärkeimpiä välineitä, jonka kautta heidän tekemänsä päätökset, uudistukset sekä heidän hyväksymänsä kielinormit ja uudet sanat joutuvat kansan keskuuteen ja kansan kielenkäyttöön.

Karjalassa kiinnitetään paljon huomiota kirjailijoiden koulutukseen (“*Karjalaine Šana*”) ja uuden kirjailijapolven kasvattamiseen (“*Nuoret vezazet*”).

Vuonna 2002 Juminkeko Suomessa ja Karjalan tasavallan kansallisen politiikan komitea panivat alulle Karjalan kirjallisuuden klassikot -sarjan. Kolmessa vuodessa Periodika -kustantamon julkaisuihin ovat ilmestyneet kolmen karjalaisen klassikon – Ortjo Stepanovin, Jaakko Rugojevin ja Pekka Pertun tuotannon kootut teokset (Stepanov, 2002; Rugojev, 2003; Perttu, 2004). Se on hyvä merkki karjalaisten suhtautumisesta kirjallisuusperintöönsä.

Tällä hetkellä aunukselaisen kirjallisuuden ykköstuntija näyttäisi olevan Karjalan kirjailijaliiton puheenjohtaja Armas Mišin, jonka kirjoittamia ovat lähes kaikki aunuksenkielisten teoksien alkusanat ja teoksiin sisältyvät kirjallisuuden yleiskatsaukset. Toivottavasti asiantuntijoiden joukkoon lisääntyä nuoremmankin sukupolven edustajia. Heistä mainitsisin ainakin Natalja ċikinan. Tuleehan tämän päivän tapahtumista huomenna historiaa ja aunukselainenkin kaunokirjallisuus tarvitsee tutkijansa.

Lähteet

- Alto E.* Финноязычная литература Карелии. История литературы Карелии. СПб, 1997.
- Biblii lapsile. Stokgol'm–Helsinki: Biblien kiänändüinstituuttu, 1995 (BL, 1995).
- Dubalov N.* Anusrandaine. Pajokogomus. Petroskoi, 1995.
- Dubinina Z.* Valgei koivikko. Petroskoi, 2003.
- История литературы Карелии. 3. Петрозаводск, 2000 (ILK, 2000).
- Jalava A.* Kansallisuus kadoksissa. Neuvosto-Karjalan suomenkielisen epiikan kehitys. Helsinki, 1990.
- Karhu E.* Карельский и ингерманландский фольклор в историческом общении // История литературы Карелии. СПб, 1994.
- Koppalov A.* Žil'čoi muheloittau. Новинка ухмыляется. Петрозаводск, 2004.
- Karjalan pagin. Kauniskirjituksen antologii. Petrozavodsk, 2001 (KP, 2001).
- Lukin P.* Iče minä. Karjalaizii runoloi lapsih näh. Petroskoi, 1996.
- Lukkonen V.* Paha-ozane kalastus. Petrozavodsk, 1992.
- Misina O.* Kuldaine ildu. Proozukirjoituksii. Petroskoi, 1993.
- Misina O.* Piäsköin korgevus. Runot lapsile. Petroskoi, 2002.
- Misina O.* Marin kukku. Kerdomukset. Näütelmüs. Petroskoi, 2003.
- Omil pordahil. Runot da kerdomukset karjalan kielel. Keräväkniigu. Petroskoi, 1999 (OP, 1999).
- Pahomov M.* Tuohuz ikkunas. Runokird'. Petroskoi, 1993.
- Pahomov M.* Luudiland. Runokird' lüüdín heimon kolmes mujus. 2000.
- Kolmevärinen runokokoelma lyydin kielellä. Kuopio: Snellman-instituutti.
- Perttu P.* Väinämöisen venehen jälki. Essee ja kertomuksia. Juminkeko, 2004.
- Rugojev J.* Kivenä koskessa. Valitut runot. Juminkeko, 2003.
- Sem'onov P.* Ruadajat. Petroskoi, 1998.
- Sem'onov P.* Ildaizen vuottajes. Petroskoi, 2001.
- Sem'onov P.* Puhtasjärven Maša. Petroskoi, 2004.
- Stepanov O.* Kotikunnan tarina. I–II. Juminkeko, 2002.
- Scerbakova T.* Pajun kukkazet – keviän viestit. Labilugii da avunandai L'udmila Markianova. Čomastai Olga Ikkonen. Petroskoi, 1999.
- Scerbakova T.* Enne Rastavua. Čomastai Olga Ikkonen. Petroskoi, 2000.
- Scerbakova T.* Armahile bunukoile. Petroskoi, 2002.
- Uuzi Sana. Helsinki, 2003 (US, 2003).
- Veikki V.* Elokseen dorogat. Valitut runot. Petroskoi, 2003.
- Volkov A.* Pieni Dessoilu. Runot, kiännökset. Petrozavodsk, 1997.
- Volkov A.* Вечный огонь. Iguine tuli. Петрозаводск, 2000.
- Volkov A.* Vellen süvään. Petroskoi, 2001.
- Volkov A.* Järvet Karjalan. Val'l'tut runot. Petroskoi, 2003a.
- Volkov A.* Поздняя осень. Петрозаводск, 2003b.
- Õispuu J.* Karjala kirjandus ja keelepoliitika // Keel ja Kirjandus. 2003. 7. S. 509–530.
- Õispuu J.* 2005.

Двуязычие в культурном пространстве малочисленного народа

Билингвизм, или двуязычие, понимается в широком плане как равное владение двумя языками и, в более узком плане, как владение литературной нормой языка и его диалектами или диалектом. Если принять во внимание более узкий план, то, например, русскоязычные представители сельской местности все двуязычны, поскольку в той или иной степени владеют местными говорами или диалектами и литературным языком (хотя на последнем не всегда в полной степени). Однако к новописьменным языкам подобное понимание двуязычия практически неприменимо. Новописьменная норма, например, такого малочисленного народа, как вепсы, развивается всего ~10–15 лет, и поэтому лишь немногие представители диалектов владеют навыками говорения и нормами письма на новописьменном языке. Для них, скорее, характерно двуязычие именно в широком плане, то есть владение двумя языками: языком доминирующего большинства (русский язык) и родным языком. О проблемах двуязычия в свое время появлялось много различного рода исследований и сборников статей и в общетеоретическом аспекте и в применении к национальной школе. В них обсуждалась существующая ситуация, но не содержалось каких-либо предложений по сохранению или развитию, углублению и изменению состава участников процесса двуязычия, которое практически всегда понималось как национально-русское и не иначе.

Обсуждение названной проблемы не активизировалось и на рубеже 1980–90-х гг., которые характеризуются всплеском повышенного внимания к состоянию языков и культур малочисленных народов и которые иногда называют своеобразным начальным периодом новой «языковой революции»¹. В мировой же практике двуязычие определяют как вполне обычное явление современной жизни. Более того, ученые полагают, что 5/6 населения планеты говорит, по меньшей мере, на двух языках². Иногда высказывается мысль о том, что двуязычие в раннем возрасте позволяет быстрее осваивать и иные языки, в том числе иностранные, и, кроме того, двуязычные дети более способны к творчеству³.

Стабильное двуязычие может продолжаться столетиями, пока не наступит давления со стороны одного языка в пользу другого. И даже при подобном положении носители другого языка могут противостоять такому давлению путем осознания того, что собственный язык не является менее значительным, чем другой, что они вполне могут чувствовать себя

как дома в обоих языках, и что двуязычие, а не одноязычие является нормой в большей части мира.

Тем не менее все-таки говоря о дву- или многоязычии, прежде всего имеют в виду, что эта черта должна быть присуща представителям тех народов, которые не доминируют в государстве, то есть являются национальным меньшинством. Однако многие из данных представителей, не осознавая своего богатства, а также и под давлением обстоятельств, начинают отказываться от родного языка в пользу языка большинства. И это положение чаще всего мы наблюдаем сейчас в Республике Карелия и в сопредельных регионах в отношении вепского да и карельского народа тоже.

Как показала последняя перепись населения 2002 г., у всех национальностей доминантным является русский язык. Языком своей национальности, например, в Республике Карелия владеют 48,3% карел и 38,0% вепсов. Среди них язык своей национальности считают родным лишь 15,8% вепсов и 26,6% карел⁴. В этом случае мы, очевидно, можем предполагать, что они являются двуязычными. Причем, что касается вепского народа, то вепсы являлись двуязычными длительное время, что не мешало им сохранять родной язык. Так, известный финляндский ученый Э. Лённрот, совершивший в свое время более десятка экспедиций к родственным народам, в 1842 г. посетил вепские селения. Он оставил в своих дневниковых записях свидетельства того, что вепсы в то время были двуязычны. Он даже писал, что его деревенские учителя заявляли ему, как теперь люди удивляются, что еще 10 лет назад были живы старики, не знавшие иного языка, кроме вепского. А в начале 1800-х гг. они стали двуязычными, более того, дети даже стали предпочитать говорить по-русски. Тогда данное положение вещей, связанное с двуязычием, показалось ученому катастрофическим и послужило причиной следующего высказывания: «Насколько больше оснований для изумления было бы у тех самых стариков, если бы они встали из могил через 100 лет и обнаружили бы, что уже третье-четвертое поколение их потомков не понимает ни одного слова на языке своих предков»⁵. Настолько обреченной казалась тогда ситуация на взгляд знаменитого ученого. А каково бы было изумление самого Лённрота, если бы он смог узнать, что прошло уже 160 лет, а вепсы не забыли родной язык и ставят вопрос о его сохранении и развитии и далее. Таким образом, существует свидетельство о функционировании активного двуязычия у вепского народа более 200 лет. Понятно, что жизнь поселений была более замкнутой и способствовала сохранению родного языка. Тем не менее, история показала, что при употреблении обоих языков, двуязычие является фактом сосуществования, а не гибели языка. Имеются свидетельства и русско-национального двуязычия, которое, очевидно,

и было той важной составляющей, которая позволяла чувствовать некоторое равноправие и уважительное отношение со стороны народов-соседей. Например, известен так называемый «Лексикон» исправника Ларионова, содержащий 531 словарную статью, состоящую из русского слова и его вепсского эквивалента, что позволяет полагать, что он был составлен при наличии интереса к вепсскому языку, к значениям вепсских слов и, в конечном итоге, был направлен на то, чтобы понимать речь вепсов⁶.

На рубеже 1980–90-х гг., когда приступили к возрождению языков малочисленных народов, были сформулированы тактически ближайшие и стратегически более отдаленные цели. Под отдаленной перспективой понималось расширение сферы использования вепсского языка. А как важнейший результат – возрождение *возвратного* двуязычия (термин этносоциолога Е. И. Клементьева). Однако таким образом задача тогда не была сформулирована, хотя содержание ее было таковой. В «Концепции развития национальной финно-угорской школы Республики Карелия» (утверждена Председателем Правительства 25 апреля 1997, № 225) одним из важнейших принципов ее функционирования и развития под номерами 8–9 обозначены принципы *обоюдного двуязычия* (многоязычия) и *культурного плюрализма*⁷. Это действительно прогрессивные пункты концепции. Но поскольку концепция – это сжатое перечисление принципов работы школы, то в ней не расшифровано, каким образом предполагалось внедрять обоюдное двуязычие в школьную жизнь.

За полтора десятка лет, которые были наполнены работой по возрождению языков и культур малочисленных народов, работой, в которой участвовали общественность, научные учреждения, органы власти, школы и дошкольные учреждения, в Республике Карелия удалось добиться действительно позитивных результатов: возрождены карельская и вепсская письменности, началось изучение языков в школах, подготовлена программа и концепция развития национальной школы Карелии (отметим, что подготовленная в самом начале 1990-х гг., она была признана одной из прогрессивных в стране), удалось создать определенное количество учебников и словарей, началась подготовка специалистов с высшим образованием – впервые в истории народов – по карельскому и вепсскому языкам, стала формироваться молодая вепсская литература. В целом в Республике Карелия было принято около 20 различных правовых актов (законов, концепций, программ и т. д.), защищающих культурно-языковые приоритеты. За прошедшие годы ученым, преподавателям, учителям, прессе, отчасти молодой литературе удалось сформировать основы качественно нового состояния вепсского языка, которое ранее не было ему присуще – создать основы его письменной традиции. Причем данная тра-

дияция в какой-то степени устоялась, хотя нельзя утверждать, что она принята населением окончательно. Напротив, к нашему глубокому огорчению, следует признать, что в семьях, где двуязычие и так было нарушенным, односторонним, то есть старшее поколение обращалось к детям на родном языке, а они, понимая речь родителей, отвечали им по-русски, начало исчезать даже это понимание, поскольку дети в школе стали изучать иную форму языка. Заново оценив опыт полутора десятков лет, полагаем, что следовало изыскать возможности и первую книгу для детей – букварь, создать на трех диалектах вепсского языка, что позволило бы и старшему поколению, которое было выброшено ранее из процесса сознательного обучения языку в школе, привыкнуть к написанному слову. Прежде они передавали друг другу от поколения к поколению устную языковую информацию и только к таковой были привычны. Возможно, эта первая книга дала бы возможность полюбить и написанное слово, которое в книге более бы импонировало слуху знатоков языка.

Можно констатировать, что в настоящий период острота проблемы заключается еще и в том, что новописьменные языки и диалекты, а также зарождающиеся литературы на почве вепсского языка являются пока некими антагонистами. Диалекты пока далеки от сближения, и каждый носитель языка остро чувствует их разницу. Диалекты, с одной стороны, противостоят друг другу, с другой стороны, – новописьменному языку. В свою очередь, новописьменный язык не принимается многими носителями языка. Молодая зарождающаяся литература отчасти использует особенности новописьменного языка (особенно в области лексики), отчасти развивается на диалектной основе. Вепсская литература и пресса, возникнув и вселяя в целом новые надежды, пока остается чтением для избранных, по большей части, для интеллигенции. Причина кроется, с одной стороны, в том, что у населения еще не выработалась привычка читать и писать на родном языке. С другой стороны, выбор какой-то одной диалектной формы в качестве литературной, новообразованная лексика и терминология стали затруднять понимание текстов, поскольку количество грамматических и лексических новообразований иногда стало превышать порог понимания языка. Работа же по определению данного порога, какие-либо опросы и выяснение ситуации в этой области не проводились, и мнение населения не уточнялось. Перечень новых слов и терминов, который иногда публикуется в газете, односторонне информативен: давая информацию читателям, он чаще всего и не ожидает ответа.

Все это стало создавать непонимание между участниками возрождения языков и культур и потребителями его результатов. Процессы возрождения отчасти стали носить камерный характер, а сама идея возрожде-

ния, не находя новых сторонников, становится менее привлекательной для окружающих. А это и опасная, и обидная для участников возрождения ситуация – ведь и сделано немало.

Участникам возрождения не удалось в необходимой степени за эти полтора десятка лет активизировать отношение к идее возвратного двуязычия. Не стало жизнью и провозглашенное в качестве принципа работы школы обоюдное двуязычие. Несмотря на термин – обоюдное двуязычие – данный принцип опять-таки имел в виду двуязычие для национального меньшинства, поскольку никто и нигде не предусматривал учебники для начинающих изучать вепский язык (или карельский) с позиции большинства. В наших условиях и на благодатной почве национально-русское двуязычие, которое существовало долгое время, распространившееся вширь и вглубь, постепенно стало превращаться в одноязычие – в этом случае русский язык в конечном итоге фактически и психологически стал восприниматься языком внутринационального общения. Можно отметить лишь единичные случаи обретения двуязычия, и в основном они связаны с профессиональной деятельностью: работой на радио, телевидении, в прессе, в науке. Причем основой для данного двуязычия стали домашние знания родного языка или университетские знания. Опыт преподавания языка в университете показал, что даже при нулевом знании языка при поступлении в вуз студенты им овладевали практически за 4 года (5-й курс посвящен написанию дипломной работы и практически не содержит занятий по языку и навыку говорения на нем). При окончании же школы знания исключительно слабы, хотя учеба в ней продолжается 11 лет. Значит, что-то делается не так, где-то допускаются серьезные ошибки и просчеты, и они слабо анализируются.

Кроме того, и перепись 2002 г. не подтвердила ожиданий и надежд на то, что решение задач, связанных с сохранением, развитием и использованием карельского и вепского языков, будет содействовать росту национального самосознания этих народов и позиция народов к сохранению родного языка станет более активной. Так, количество вепсов сократилось с 12 до 8 тысяч человек. Конечно, национальное самосознание важная, но не единственная характеристика процессов возрождения. Хочется искренне надеяться, что точка еще не поставлена. Деятельность последних лет в некоторой степени приостановила процессы ассимиляции, появились робкие ростки надежды на возрождение. К сожалению, они не стали более глубокими, поскольку поставленные задачи зачастую решались стихийно, они не вытекали друг из друга и не были последовательными. Инициативы общественности не всегда находили достаточную поддержку и пони-

мание у властных структур, не было качественного нарастания положительных моментов, а росло лишь их количество, которое стало расплываться как дым, не позволяя выделить из этого количества главное. А сама идея углубления знаний в области языка, которая бы позволила превратить школу в заведение, которое действительно соответствовало бы принципу двуязычия и культурного плюрализма, оказалась не достаточно разработанной и практически не принятой к выполнению.

Деятельность по возрождению языков и культур необходимо продолжить, но в нее следует внести новую струю. Думается, возвратное двуязычие, которое бы вновь следовало привнести в жизнь вепского народа, а также обещанное обоюдное двуязычие, которое было провозглашено в качестве принципа работы финно-угорской школы Республики Карелия, могли бы внести неоценимый вклад в дело возрождения языков малочисленных народов. Они бы смогли расширить количество ситуаций, например, для использования вепского языка, создать более широкую аудиторию его понимающих и вселили бы большее уважение к говорящим на данном языке.

¹ Клементьев Е. И. В поисках правовой защиты культурно-языковых интересов карел, вепсов, финнов Республики Карелия. М., 2003. С. 4.

² Раннунт М. Пособие по языковой политике. Таллинн, 2004. С. 57.

³ Skutnabb-Kangas T. Language, Literacy and Minorities. London, 1990.

⁴ Национальный состав населения Республики Карелия: Статистический сб. 5. Петрозаводск, 2005. С. 27.

⁵ Elias Lönnrotin matkat. II osa. Helsinki, 1902. S. 197.

⁶ Баранцев А. П. О взаимодействии языков южной Карелии в первой половине XVII века // Симпозиум-79 по прибалтийско-финской филологии. Петрозаводск, 1979. С. 43.

⁷ Концепция развития финно-угорской школы Республики Карелия // Родные языки в школе. Петрозаводск, 2000. С. 17.

© П. М. Зайков
Петрозаводск

I инфинитив в диалектах карельского языка*

К инфинитивам в карельском языке относят именные или неличные формы глагола, которые сочетают признаки имен существительных и глаголов. Обычно все инфинитивы объединяют в единую грамматиче-

* Статья подготовлена к публикации на средства Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 04-04-00276а.

скую категорию, что обосновывается целым рядом факторов. Исторически они являются падежными формами отглагольных существительных и в предложениях, как правило, выступают в тех же функциях и управляются теми же глаголами, что и существительные. Тем не менее их нельзя полностью приравнять к именам существительным, поскольку они потеряли многие признаки последних. Принадлежность инфинитивов к системе глагольного словоизменения обусловлена тем, что наряду с финитными формами они не только обозначают действие, но и могут присоединять к себе члены предложения, обозначающие объект и обстоятельства действия. Другими словами, они обладают предикативностью, хотя она реализуется у них иначе, чем у финитных форм. Чаще всего инфинитивы выступают в предложении, где имеется финитная форма глагола, и образуют внутри основного предложения дополнительный центр предикации, выступая в роли предикативной части конструкции, которая может быть трансформирована в придаточное предложение. Инфинитив может быть дополнительным центром предикации в том случае, если сказуемое в предложении выражено полнозначной финитной формой глагола. Если же финитный глагол является в предложении неполнозначным, то инфинитив образует с ним составное глагольное сказуемое (*rupien ruatamah* 'я буду работать', *pitäy uskuo* 'надо верить'), в составе которого грамматические функции выполняются финитным глаголом, а лексическую нагрузку несет на себе инфинитив.

На материале разных диалектов карельского языка выделяют различное количество инфинитивных форм. А. Генетц полагает, что в собственно-карельском наречии имеются четыре инфинитива, хотя так называемый IV инфинитив с суффиксом *-min'e*, *-min'i*, *-mize* следовало бы, по его мнению, рассматривать как словообразовательную модель¹. В ливвиковском же наречии, полагает он, существуют три формы инфинитива: I, II и III инфинитив². Э. В. Ахтия³ на материале ливвиковского наречия выделяет все пять инфинитивных форм по образцу грамматик финского языка. В грамматике Н. А. Анисимова⁴ представлены лишь две формы инфинитива: I (t-овый) и II инфинитив (m-овый). Так называемый II инфинитив (с показателем -e) трактуется им как деепричастие. А. А. Беляков⁵ считает, что в тверских диалектах функционируют один инфинитив и четыре формы m-ового герундия. П. Пальмеос и В. Д. Рягоев⁶ полагают, что есть все основания говорить о двух формах инфинитива: I и II инфинитиве. В так называемом первом инфинитиве объединены традиционно выделяемые в прибалтийско-финских языках формы первого и второго инфинитива. В исследованиях Г. Н. Макарова⁷, Е. А. Адель⁸, П. М. Зайкова⁹, Л. Ф. Маркиановой¹⁰ выделяются три группы инфинитивов, которые условно называют I, II и III инфинитивом.

Чем же можно объяснить такой разноречивой в выделении количества инфинитивных форм и их различную трактовку? На наш взгляд, существуют тому две причины. Первая связана с тем, какие грамматические традиции кладутся в основу их выделения. Если автор работы следует традициям русской грамматики, то он непременно наряду с причастиями выделяет деепричастия, под которыми подразумеваются традиционно выделяемые формы II инфинитива (Анисимов Н. А.). Те же исследователи, которые следуют грамматическим воззрениям на инфинитивы с позиции грамматики финского языка, склоняются к обнаружению пяти форм инфинитивов (Ahtia E. V.). Объединение же форм I и II в одну группу объясняется тем, что их суффиксы исторически связаны друг с другом, и поэтому авторы исследований посчитали возможным рассматривать их вместе¹¹. Мы же в данной работе будем следовать традиционному делению всех инфинитивов на I, II и III инфинитивы, поскольку все они имеют свои грамматические суффиксы и обладают различными семантическими значениями.

Форма I инфинитива является неопределенно-личной, которую также принято считать словарной формой глагола. Показателем одноосновных глаголов в собственно-карельском и ливвиковском наречиях являются следующие:

-(u)a: *antu-a*, *andu-a* ‘дать’. Показателем инфинитива одноосновных глаголов здесь и далее является только конечный гласный. Гласный же, взятый нами в скобки, не считается показателем I инфинитива и может варьировать по диалектам. На месте гласного *u* может выступать также гласный *o*, и, таким образом, окончания *-(u)a* и *-(o)a* находятся в отношениях свободного варьирования.

-(o)a: *anto-a*, *ando-a*. Подобные формы возникли в результате перехода от долгого гласного *aa* в дифтонг *oa*, а именно, *antoa* < **antaa* < **antada*. Данный переход произошел в период самостоятельного развития карельского языка. Позднее дифтонг *oa* > *ua* (*anto-a* > *antu-a*).

В весьгонском и кондушском диалектах в результате перехода гласного *u* в *i* форма инфинитива оканчивается на дифтонг -(i)a (< **ua*), например, *andi-a*.

В тихтозерском диалекте в результате регрессивной ассимиляции бывший дифтонг *oa* развился в долгий гласный *oo*, в результате чего показателем инфинитива стал гласный *o*, то есть *oa* > *oo*, например, *šano-o* ‘сказать’, *ajo-o* ‘ехать’ и др.

В дёржанском диалекте в интересующих нас формах отпадает конечный гласный *i*, таким образом, показателем инфинитива становится ноль звука, а сама форма глагола оканчивается на гласный *u*, например, *ruadu* ‘делать’, *šanu* ‘сказать’, *andu* ‘дать’ и др.

Названные варианты показателей I инфинитива представлены в глаголах с заднерядной огласковкой.

-(y)ä. Данный показатель представлен главным образом в собственно-карельском наречии, за исключением весьегонского, валдайского и дёржанского диалектов, например, *jätty-ä* ‘оставить’, *lämmitty-ä* ‘согреть’, *kynty-ä*, *kyndy-ä* ‘пахать’, *tiety-ä*, *tiedy-ä* ‘знать’.

-(y)ö выступает только в панозерском диалекте: *pityö* ‘надо’.

-(i)ä. Этот суффикс представлен в трех диалектах собственно-карельского наречия (весьегонском, валдайском и дёржанском) и повсеместно в ливвиковском наречии, например, *löydi-ä* ‘найти’, *peitti-ä* ‘спрятать’, *jätti-ä* ‘оставить’, *vedi-ä* ‘тянуть’. Рассматриваемый показатель инфинитива является первоначальным по сравнению с *-(y)ä*, поскольку дифтонг *iä* возник из долгого гласного *ää*. По аналогии с развитием *piä* ‘голова’ (< *pää*), *siä* ‘погода’ (< *sää*) возникли формы инфинитива типа *jätti-ä* ‘оставить’ (< *jättää* < **jättä-dä*). Подобные формы инфинитива существовали некогда и в собственно-карельском наречии, на что указывают примеры из периферийных диалектов и ранние записи. Инфинитивы с исходом на *-(y)ä* (*jätty-ä*) возникли по аналогии с формами с заднерядной огласковкой типа *ottu-a* ‘взять’.

-(e)ä. Показатель имеет узкое распространение и обнаружен нами в письменных источниках по паданскому и поросозерскому диалектам, например, *syötte-ä* ‘кормить’. По всей видимости, именно из этого дифтонга развился предшествующий, который в настоящее время широко распространен, то есть *eä* > *iä*.

-(i)e. Суффикс обнаружен только в тихвинском и кондушском диалектах, например, *peitti-e* ‘прятать’. Скорей всего, этот суффикс возник из *(i)ä*, то есть *(i)ä* > *(i)e* (*peitti-ä* > *peitti-e*).

-(u)o. Этот и нижеследующие признаки инфинитива представлены в собственно-карельском и ливвиковском наречиях главным образом в возвратных глаголах: *vakautu-o* ‘успокоиться’, *havaččeutu-o* ‘проснуться’, *kučču-o* ‘звать’, *kačču-o* ‘смотреть’.

-(o)o. Долгий гласный обнаружен в тихозерском диалекте, возник в результате регрессивной ассимиляции: *sano-o* ‘сказать’ (< **sano-a* < **sano-a*), *kaččo-o* ‘смотреть’ (< **kaččo-a* < **kaččo-δa*).

-(u)a. Показатель распространен в тихвинском и коткозерском диалектах: *ambu-a* ‘выстрелить’, *sidu-a* ‘завязать’. Не исключено, что этот показатель возник в результате отпадения спيرانта: *ambu-a* ‘стрелять’ < **ambu-δa*.

-(i)e. Данный признак инфинитива широко распространен во всех диалектах собственно-карельского и ливвиковского наречий: *lukie*, *lugie* ‘читать’, *eččie* ‘искать’, *hyppie* ‘прыгать’, *rykie*, *rygie* ‘кашлять’.

-(i)i. Подобный суффикс встречается только в тихтозерском диалекте: *lugii* ‘читать’, *rygii* ‘кашлять’. Он возник из предшествующего в результате сужения гласного *e* под влиянием предшествующего гласного, то есть *(i)e > (i)i* (*lugie > lugii*).

-(i)O. Представлен только в дёржанском диалекте, в результате отпадения конечного гласного. Таким образом, показателем I инфинитива стал ноль звука, например, *lugi* ‘читать’, *rygi* ‘кашлять’.

-ja, -jä. В собственно-карельском и ливвиковском наречиях этот показатель выступает прежде всего в четырехсложных глаголах типа *kapaloi-ja*, *kabaloi-ja* ‘пеленать’, *ikävöi-jä*, *igavoi-jä* ‘тосковать’. Он же выступает также в двухсложных глаголах *pui-ja* ‘молотить’, *voija* ‘быть’. В ливвиковском наречии в последнем случае показатель выступает также в глаголе *sua-ja* ‘получить’.

-va, -vää. Выступает в достаточно ограниченном количестве глаголов: *tuuvva*, *tuuva* ‘принести’, *juuvva*, *juuva* ‘пить’, *syuvvä*, *syvvä* ‘есть’, *myuvvä*, *myvvä* ‘продать’.

Перечисленные показатели I инфинитива характеризуют так называемые одноосновные глаголы, имеющие только гласную или гласные основы. Согласная основа в них отсутствует. Следующие же показатели I инфинитива распространяются на двухосновные глаголы, имеющие гласную и согласную основы.

-ha, -hä. В собственно-карельском наречии окончание инфинитива представлено лишь в двух глаголах: *nähä* ‘видеть’, *tehä* ‘сделать’. В собственно-карельском наречии исключением является глагол *nähä* ‘видеть’, который относится к одноосновным.

-la, -lä. Показатель инфинитива характерен для собственно-карельского и ливвиковского наречий: *tul-la* ‘прийти’, *kuunnel-la* ‘слушать’, *kävel-lä* ‘ходить’.

-sa, -sä. Суффикс выступает только в собственно-карельском наречии: *pes-sä* ‘мыть’, *piäs-sä* ‘попасть’, *nous-sa* ‘встать’, *kus-sa* ‘мочиться’.

-ra, -rä. Характерен только для собственно-карельского наречия: *pur-ra* ‘грызть’, *vier-rä* ‘катиться’.

-ta, -tä. Показатель так называемых двухосновных стяженных, транслативных и некоторых дескриптивных глаголов: *mua-ta* ‘спать’, *viha-ta* ‘ненавидеть’, *luva-ta* ‘обещать’, *hypä-tä* ‘прыгнуть’, *kaije-ta* ‘сужаться’, *leve-tä* ‘расширяться’, *kola-ta* ‘стучать’, *vara-ta* ‘бояться’. В дёржанском диалекте в результате отпадения конечного гласного признаком двухосновных стяженных глаголов стал согласный *-t*, например, *kezrät* ‘прясть’.

В ливвиковском и людиковском диалектах этот же показатель представлен в тех глаголах, в которых в собственно-карельском наречии выступает признак *-ha, -hä, -sa, -sä, -ra, -rä*, например, *näh-tä*

‘видеть’ (сравни с.-кар.: *nä-hä*), *pes-tä* ‘мыть’ (сравни с.-кар. *pes-sä*), *pur-ta* ‘грызть’ (сравни с.-кар.: *pur-ra*).

В людиковском наречии формы первого инфинитива оформляются показателями **-(t)ta**, **-(t)tä** и **-da**, **-dä**. При этом в одноосновных глаголах чаще всего представлен показатель **-da**, **-dä**: *sano-da* ‘сказать’, *pajatta-da* ‘петь’, *hypsä-dä* ‘доить’, *d’uo-da* ‘пить’, *dogadi-da* ‘догадаться’. Двухосновные же глаголы имеют признаком основного инфинитива **-(t)ta**, **-(t)tä**, например, *maga-tta* ‘спать’, *näh-tä* ‘видеть’, *pes-tä* ‘мыть’.

Формы I инфинитива функционируют в предложении в следующих случаях:

1) для выражения цели высказывания.

(Вокнаволок) *Ei ollun mitänä antua*¹² ‘не было что-либо дать’. (Юшкозеро) *Annetti hevoista kyndyä*¹³ ‘дали лошадь вспахать’. (Весьегонск) *Et’t ändan vähäs’tä vielä istuo*¹⁴ ‘вы не дали еще немного посидеть’. (Рыпушкалица) *Kai tytöt kiirehtetäh miähele mennä: varatah igän’eidižekse jändy*¹⁵ ‘все девушки торопятся выйти замуж, бояться остаться в старых девах’;

2) в качестве прямого дополнения.

(Оуланга) *Kolmatta lašta hiän ei suanun imettyä* ‘третьего ребенка она не смогла кормить грудью’. (Паданы) *Ei kehtoa kezrätä talvella*¹⁶ ‘она не хочет прясть зимой’;

(Неккула) *Ei piä kiirehtiä ni naija, ni miähele mennä* (ОКР, 1969) ‘не надо торопиться жениться и замуж выходить’. (Святозеро) *Emme voi tabata*¹⁷ ‘мы не можем поймать’. (Видлица). *Tietti d’o ommella, leikkua* (NKK, 308) ‘умели уже шить и кроить’;

3) частью составного сказуемого совместно с безличными глаголами *pitäy*, *pidäy* ‘надо’, *himottau* ‘хочется’, *tarviččou* ‘следует’, *toperiü* ‘придется’, *tulou* ‘надо, следует, придется’.

(Кестеньга) *Huuhntuo piti še šormusta* (NKK, 34) ‘сполоснуть водой надо было кольцо’. *Ei pijä nimitä šanuo* (NKK, 37) ‘не надо ничего говорить’. (Подужемье) *Pitäy opaštua Saškua* (NKK, 122) ‘надо учить Сашку’. (Тихвин) *Pidää kukko šyöt’r’ie*¹⁸ ‘надо накормить петуха’. (Дёржа) *Pidäw l’ečči t’oplii pr’ipark pidäw ruadu*¹⁹ ‘надо лечить, теплые припарки надо прикладывать’. (Ведлозеро) *Moannuzin hätkembäh ga pidi mennä roadoh* ‘я поспал бы подольше, да надо было идти на работу’. (Галезеро) *Šille pid’i endepiäi sanuda* (LL, 87) ‘ему надо было заранее сказать’. (Тивдия) *Pidi anta sada litrat* (NKK, 350) ‘надо было дать сто литров’;

4) в качестве подлежащего.

(Кестеньга) *Paha on köyhänä elyä* ‘плохо жить бедным’. (Рыпушкалица) *Avvutetah heiniä ruadua* (NKK, 314) ‘помогают убрать сено’;

5) дополнением к другому глаголу, когда хотят выразить начало действия, желание или возможность действия.

(Ухта) *Toaš alkau ukko kylyö lämmittyä* (TVKK, 53) ‘снова старик начинает топить баню’. (Тунгуда) *Käsköy kylyn lämmit’t’yä* ‘велит баню истопить’. (Толмачи) *Mahatko sie itkie* (ОКР, 1963, 48) ‘умеешь ли ты исполнять плачи’. (Валдай) *Šil’mie ei šoa avata* (СКГ, 201) ‘глаза не открыть’. (Сямозеро) *Käski sinul andua* (ТАК, 8) ‘он велел тебе отдать’. *Vie nügöi malttazin keittiä* (NKK, 278) ‘я и сейчас умею варить’. (Святозеро) *Emme myö tahtottu lähtä sinna* (LT I, 95) ‘не хотели мы идти туда’;

6) в вопросительных предложениях.

(Ухта) *Kunne lähtie?* ‘куда пойти?’ (Рыпушкалица) *Kel kyzyö?* ‘у кого спросить?’ (Святозеро) *Tahtozittego panda kartof’eit muah* ‘не хотите ли посадить картофель?’.

Исторически суффиксом I инфинитива был *-tak*, слабоступенным вариантом которого был *-ak*²⁰. Первый из них представлен во всех наречиях карельского языка в двухосновных стяженных глаголах [*kat(k)a-ta* ‘сломать’]. Если основа двухосновного глагола оканчивалась на согласный *s*, то в этих случаях также был представлен сильноступенный признак, например, *pes-tä* < **pes-täk*. Подобная форма сохранилась в ливвиковском и людиковском наречиях. В собственно-карельском наречии сочетание согласных *st* чередуется в закрытом слоге с *ss*, в результате и появилась современная форма *pes-sä*. В остальных же двух- и одноосновных глаголах в формах I инфинитива выступал слабоступенный показатель **-dak*: *tul-la* ‘прийти’ < **tul-ak*, *män-nä*, *men-nä* ‘уйти’ < *men-däk*, *pur-ra* ‘грысть’ < *pur-dk*. В этих случаях спيرانт ассимилировался с предшествующим ему согласным.

Показатель I инфинитива **tak* прослеживается во всех прибалтийско-финских языках, например, (вепс.) *ajada* ‘ехать’ (* < *aja-da*), (водск.) *menpä* ‘уйти’ (*men-dä*), (эст.) *siduda* ‘связать’ (< *sidu-da*), (ливск.) *tuulda* ‘прийти’ (< *tuul-da*) (Häkkinen K.).

В саамском языке показатель I инфинитива также восходит к названному суффиксу, например, *v’ihked* ‘отнести’²¹, *suoldet* ‘засолить’²², *man-nat* ‘уйти’ (< **mene-tAk*) (Häkkinen K.). Из дальнеродственных языков, как считает К. Хяккинен, реликты этого суффикса остались, по всей видимости, в венгерском (*ment* ‘ушедший’) и в хантыйском языке (*menta* ‘уйти’), хотя не исключено, что они возникли в результате аналогии (Häkkinen K.). Исторически показатель основного инфинитива *-tak* состоит из *-tAk* и *-*k*, первый из которых был именным отглагольным

суффиксом, а второй – падежным окончанием латива, на что указывают, в частности, случаи глагольного управления, требующие падежа вхождения, например, *tah(t)on ulos lähtie* ‘я хочу домой, на улицу, пойти’.

- ¹ Genetz A. Tutkimus Venäjän Karjalan kielestä // Suomi. II: 14. Helsinki, 1880. S. 216–217.
- ² Genetz A. Tutkimus Aunuksen kielestä // Suomi II: 17. Helsinki, 1885. S. 166, 192.
- ³ Ahtia E. V. Karjalan kielioppi. Suojärvi, 1936. S. 78–79 (далее – Ahtia E. V.).
- ⁴ Анисимов Н. А. Карельской киэлен грамматика I части. Петрозаводск, 1939. С. 103–104 (далее – Анисимов Н. А.).
- ⁵ Беляков А. А. Морфологическая система собственно-карельского диалекта (калининское наречие) // Тр. Карело-Финского филиала Академии наук СССР. Петрозаводск, 1954. Вып. 1. С. 78.
- ⁶ Palmeos P. Karjala valdai murrak // Emakeele Seltsi toimetised. Tallinn, 1962. № 5. S. 62–66 (далее – Palmeos P.); Рягоев В. Д. Тихвинский говор карельского языка. Л., 1977. С. 153 (далее – Рягоев В. Д.).
- ⁷ Макаров Г. Н. Карельский язык // Языки народов СССР. М., 1966. Т. 3. С. 71, 73.
- ⁸ Адель Е. Л. Глагольное словоизменение в карельском языке. Паданский ареал. Петрозаводск, 1998.
- ⁹ Zaikov P. Karjalan kielioppi. Petroskoi, 2002.
- ¹⁰ Markianova L. Karjalan kielioppi. Petroskoi, 2003.
- ¹¹ Palmeos P. Op. cit.; Рягоев В. Д. Указ. соч.
- ¹² Язык и народ. СПб, 2002. С. 129.
- ¹³ Näytteitä karjalan kielestä. I. Joensuu; Petroskoi, 1994. S. 149 (далее – NKK).
- ¹⁴ Макаров Г. Н. Образцы карельской речи. Л., 1963. С. 16 (далее – ОКР, 1963).
- ¹⁵ Макаров Г. Н., Рягоев В. Д. Образцы карельской речи. Л., 1969. С. 81 (далее – ОКР, 1969).
- ¹⁶ Духовная культура сегозерских карел / Сост. У. С. Конкка, А. П. Конкка. Л., 1980. С. 176.
- ¹⁷ Virtaranta P. Lyydiläisiä tekstejä. Anna Vasiljevna Tšesnakovan kerrontaa ja itkuvirsiä. VI. Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki, 1994. № 218 (далее – LT).
- ¹⁸ Образцы карельской речи / Сост. В. Д. Рягоев. Л., 1980. С. 214 (далее – ОКР, 1980).
- ¹⁹ Слушаю карельский говор / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 2001. С. 37 (далее – СКГ).
- ²⁰ Häkkinen K. Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen historiallista taustaa // Fennistica 6. Turku, 1985. S. 125 (далее – Häkkinen K.).
- ²¹ Керт Г. М. Саамский язык. Л., 1971. С. 203.
- ²² Керт Г. М., Зайков П. М. Образцы саамской речи. Петрозаводск, 1988. С. 77.

© J. Koppaleva, S. Kovaljova
Petroskoi

Kirjakielten sanakirjat: historia ja nykyaika

Словари литературных языков: история и современность

Лексикография является одной из древнейших областей человеческой деятельности. Первые словари появились на востоке за сотни лет до н. э. и лишь к XVI в. приобрели привычный для нас вид. Современные электронные словари постепенно приходят на смену «бумажным». Электронная лексикография имеет много преимуществ по сравнению с традиционной, позволяя сокращать время

sovunnen slosverey. No sovsremennost sstavit pered leksikografaami novnye zadachi. Razvitiye novейших tehnologiy i te izmeneniya, kotorye proisxozhit vo vsех sferaх obщественной жизни, vleкуt za sobой izmeneniya slovarnogo sostava sovsremennыx языков. Slovari stremyatsya zafiksirovat novooбrazovaniya. No etot protsess ne tak odnoznaчen: ne vse novnye slova v konечном sчete ostayutsya v yazyke. Sovremennaya leksikografiya imet delo s zhivым языком i razvivayetsya vmeste s nim.

Rolъ двуязычных slovarей v nashе vremya vozrastayet. Oni ispolъzuyutsya ne tolъko dlya perevoda s odnogo yazyka na drugой, oni nuzhny dlya effektivnogo osvoeniya inostrannyx языков, dlya unifikatsii terminologii, dlya polucheniya opredelennoy informatsii, rasshiряя takim obrazom granitsy i vozmozhnosti sovsremennogo чeloveka.

V leksike naxozhыt oтражениe vse явлениa действительности, a slovari oтражают те izmeneniya, kotorye proisxozhit v yazyke.

Leksikografiya on itse asiassa hyvin vanhoja ihmisen toimialoja. Ensimmäiset sanakirjat ilmestyivät hamassa muinaisuudessa itävaltioissa: sumerilainen 2400-luvulla e.a.a. ja kiinalainen 1900-luvulla e.a.a. Ihmiset laativat vaikeatajuisten sanojen hakusanastoja, näin syntyivät ns. glossariumit ja vokabulariumit.

Länsi-Euroopassa ensimmäiset sanakirjat ilmestyivät 700-luvulla ja Venäjällä 1000-luvulla. Sanakirjat sinä muodossa, johon me olemme tottuneet nykyään, syntyivät 1500-luvulla. Tämä oli sanakirjatyön varhaiskausi.

Nykyinen leksikografia on edistynyt hyvin pitkälle. Perinteisten “paperisanakirjojen” rinnalla yhä useammin käytetään sähköisiä sanakirjoja, sekä selittäviä että kielitieteellisiä, mm. kaksikielisiä. Sähköinen leksikografia sallii laatia sanakirjaa paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Sähköisten sanakirjojen käyttäjät saavat perehtyä uusimpaan sanastoon, sillä sähköistä versiota voidaan jatkuvasti ajanmukaistaa lisäämällä uusia sanoja.

Klassiseen “paperisanakirjaan” sanat hyväksytään jonkun “koejakson” kulluttua. Aikaisemmin tämä koejakso (siitä lähtien kun sanaa aloitetaan käyttää kielessä ja siihen asti kun se tulee sanakirjaan), oli noin 20–30 vuotta. Nyt sanan tuleminen sanakirjaan tapahtuu nopeammin. Koekautena “veistetään” eri varianteista ja muunnelmista sanan lopullinen muoto, karsitaan okkasionaaliset variantit.

Koekauden aikana sanoille voi syntyä uusia merkityksiä, neologismista voi tulla tavallinen sana, tavallinen sana voi siirtyä arkaismien luokkaan, ja sana voi loppujen lopuksi jäädä kokonaan pois käytöstä. Kaksikielisen sanakirjan laatijan eteen nousee useampia ongelmia. Esim., uusi lainasana usein tarvitsee jonkun verran aikaa mukautuakseen kieleen. Siitä lähtien kun uutta sanaa aloitetaan käyttää kielessä, se voi muuttaa äänneasuaan, mikä vuorostaan heijastuu sen kirjoitustapaan. Esimerkiksi, sanasta ‘*риелтор*’ ‘kiinteistönvälittäjä’

tällä hetkellä käytännössä voi tavata kolmea eri kirjoitusmuotoa: риелтер, риэл-тор, риэлтер. Mikä niistä loppujen lopuksi jää kirjakieleen, on vaikea sanoa. Samoin sanan *‘дистрибьютер’* ‘välittäjä’ lopullinen kirjoitusmuoto ei ole vielä vakiintunut. Siitä on tavattavissa kirjoitetussa kielessä useampi vaihtoehto: *‘дист-рибьютер’*, *‘дистрибьютор’* ja *‘дистрибутор’* (БТС, Крысин, 2005).

Sanakirjojen käyttäjät haluavat nähdä uusia sanoja uusissa kaksikielisissä sanakirjoissa, löytää uusien sanojen vastineita toisesta kielestä. Mutta sanakirjan tekijän on otettava huomioon, että sanakirjaan pitäisi hyväksyä vain sanan vakiin- tunut kirjoitusmuoto. Esimerkkinä voivat olla venäjänkieliset sanat *‘пейджер’* ‘henkilöhakulaite’ ja *‘тхэквондо’* ‘taekwondo’. Suureen venäläis-suomalaiseen sanakirjaan ne pääsivät muodossa *‘пейджер’* ja *‘таэквондо’*, niin kuin ne siihen aikaan (1990-luvun lopulla) kirjoitettiin (БРФС). Suomenkieliset sanat *‘surffata’*, *‘surffaus’* jne. (ks. KS) voivat myös olla esimerkkeinä, jotka kuvaavat vastaavaa kehitystä suomen kielessä, ne nimittäin ovat muuttaneet kirjoitusasuaan verrattuna v. 1994 ilmestyneeseen Suomen kielen perussanakirjaan (SKPS), johon ne oli vielä hyväksytty *‘surfata’* ja *‘surffaus’*-asussaan.

Kieli muuttuu eri aikoina eri tavalla. Kirjakielen kehityksen vauhti kasvaa elämämme muutosten vaikutuksesta. Melkein joka päivä lukiessamme lehteä me saatamme joutua hämilleen, koska monia uusia sanoja, joita käytetään joukkoviestimissä, on vaikea ymmärtää.

Nykyelämässä, jonka pääominaisuuksina ovat globalisaatio ja integraatio, kaksikielisten sanakirjojen osuus on kasvanut. Niiden tehtävä ei ole ainoastaan kääntäminen. Kaksikielisiä sanakirjoja käytetään vieraiden kielten opetuksessa, terminologian yhdenmukaistamisessa eri tieteen ja tekniikan aloilla, tietyn informaation saamisessa. Informaation laajuus vaatii hakusanaston maksimaalista täydellisyyttä sekä sanojen luokittelun tasapainottamista. Kaksikielisen sanakirjan hakusanaston laatimisessa pohjaudutaan yleensä uusien selittävien sanakirjojen hakusanastoihin.

Viime vuosikymmenien kuluessa venäjän kieleen on tullut monia uusia sanoja, jotka liittyvät tieteen ja tekniikan saavutuksiin, yhteiskuntapoliittisen elämän kehitykseen, uusien laitteiden ja kodinkoneiden leviämiseen jne. Elämän uusien ilmiöiden ilmestyminen on jatkuva prosessi. Samalla uusien leksiemien käyttö riippuu kirjakieltä puhuvasta ihmisestä, ts. on subjektiivista. Esimerkiksi, uusi yhteysväline *‘мобильный телефон’* suomeksi on *‘matkapuhelin’* (tämä on kirjakielen nimitys). Venäjän puhekielessä sitä nimitetään *‘мобильник’*, *‘мобила’*, *‘труба’*. Tästä tyylillisestä moninaisuudesta sanakirjaan valitaan normi *‘сотовый (tai мобильный) телефон’* ‘matkapuhelin’. Ylälämainitut puhekieliset muodot varustetaan tyyliä osoittavalla merkinnällä ja, jos on mahdollista, laitetaan vastineeksi myös tyylillisesti vastaava muunkielinen sana (tässä tapauksessa *kännykkä*).

Kaksikielisen sanakirjan laatijan on noudatettava sellaisia periaatteita kuin käännöksen adekvaattisuus, sanojen tyylillinen arvojärjestys jne. On tärkeää ei ainoastaan löytää sanan tarkka vastine, vaan myös näyttää sanojen mahdollisia käyttöyhteyksiä kontekstissa, sanojen synonyymejä jne. Tätä varten käytetään ennen kaikkea esimerkkejä ja sulkeissa olevia selitteitä.

Uuden tekniikan ja uusien teknologioiden kehittämisen yhteydessä meidän puheeseemme tuli erikoissanoja, joita me käytämme melkein jokapäiväisesti. Ne kuuluvat ennen kaikkea ATK-alaan:

дискковод – levyasema

мышь – hiiri

электронная почта – sähköposti

сайт, веб-сайт – WWW-sivusto

звуковая карта – äänikortti

текстовый файл – tekstitiedosto

жидкокристаллический монитор – nestekidenäyttö.

Koska ATK-alan sanasto on hyvin kehittynyt suomen kielessä, ei ole hankalaa löytää suomenkielisiä vastineita uusille venäjänkielisille käsitteille. Jotkut käsitteet käännetään synonyymeillä:

монитор – näyttöruutu ja monitori

курсор – kohdistin ja kursori

процессор – prosessori ja suoritin

сканер – skanneri ja tutkain (tai kuvanlukija)

Uutta tekniikan alan sanastoa lainataan usein englannin kielestä:

процессор – prosessori

сканер – skanneri

хакер – hakkeri

мультимедийные сообщения – multimediam viestit.

Eräät jo ennestään kielessä olevat sanat voivat saada lainasanojen joukosta homonyymejä, esim., verbi ‘кликать’ ‘napsauttaa’ on lainattu englanninkielestä ‘to click’. Suomen kielessä käytetään sen semanttista käännöslainaa.

Tekniikan kehittämisen mukaa käyttöön tulee uusia sanoja:

цифровой тюнер – digiviritin

плазменный телевизор – plasmatelevisio

заставка (в сотовом телефоне) – taustakuva

ноутбук – salkkumikro, kannettava tietokone

телевизор с плоским экраном – taulutelevisio

стеклопакет – umpiolasi

цифровой фотоаппарат – digitaalikamera.

Samoin runsaasti syntyy uusien ammattien nimityksiä Yllämainittujen ‘*пультор*’ ja ‘*дистрибьютер*’ – sanojen lisäksi voidaan mainita sellaiset kuin:

супервайзер – verkon ylläpitäjä
менеджер – toimitusjohtaja
маклер – meklari, kaupanvälittäjä
продюсер – tuottaja (*elok.*).

Paitsi tekniikan kehittämistä sanaston laajentamiseen johtavat muutkin meidän elämämme uudet ilmiöt tai ne, joiden nimitykset ovat levinneet meidän jokapäiväiseen kielenkäyttöömme viime aikoina:

отмывание денег – rahanpesu
банкомат – pankkiautomaatti
инвестор – investoija
спонсор, спонсировать – sponsori, sponsoroida
посредник – välittäjä
домофон – ovipuhelin
пиратская копия – piraattikopio.

Uusien sanojen joukossa on paljon sellaisia, jotka esiintyvät vain uusimmissa kaksikielisissä sanakirjoissa (БРФС, Коппалева, 2001):

презентация – esittelytilaisuus
инаугурация – virkaanastujaiset
саммит – huippukokous (*poliit.*)
клон, клонировать, клонирование – kloonii, kloonata, kloonaus
бодибилдинг – kehonrakennus
наркокурьер – huumekurjieri
торговый центр – ostokeskus, ostoskeskus
имиджмейкер – imagonrakentaja
топ-модель – tähtimannekiini.

Venäjän kieli on kirjavanaan englanninkielisiä lainoja. Jopa niille käsitteille, joilla on vakiintunut venäjänkielinen nimitys, joskus ilmestyy uusi vieraskielinen. Esim., sanan ‘училище’ (‘opisto’) asemesta usein käytetään sanaa ‘колледж’. Käytetään sellaisia lainoja kuten ‘мэр’ (‘kaupunginjohtaja’), ‘префектура’ jne. Aika usein venäjänkielisten lainojen suomenkieliset vastineet ovat omaperäisistä aineksista muodostuneita sanoja:

пульт дистанционного управления – kauko-ohjain
трансферт – siirto (*liik.*)
сервер – palvelin
меню – valikko
дисплей – näyttö
эсклюзивный – yksinomainen.

Usein uusien esineiden tai käsitteiden suomenkieliset nimitykset ovat yhdysanoja, joiden ainakin yksi osa on uusi lainasana:

цифровой фотоаппарат – digitaalikamera

реструктуризация долга – velkasaneeraus.

Venäjän kieleen on tullut uusia lyhenteitä, joita käytetään sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä sellaisinaan:

ПК [пэ-ка], персональный компьютер – mikrotietokone, mikro

ЖК [жэ-ка], жидкокристаллический – nestekide-

СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита – AIDS

ВИЧ, вирус иммунодефицита человека – HI-virus, HIV

СМИ, средства массовой информации – joukkoviestimet, joukkotiedotusvalineet.

Viime aikoina jokapäiväiseen käyttöön tulee yhä enemmän englanninkielisiä lyhenteitä, jotka säilyttävät kirjoitettuna venäjänkielisessä tekstissä (siis kyrillisessä) englantilaiset kirjaimet:

CD-диск – CD-levy, CD-ROM-levy

DVD-диск – DVD-levy

web-сайт – WWW-sivusto, www-sivusto

SMS-сообщение – tekstiviesti.

Viimeksi mainitusta käytetään myös puhekielistä muunnelmaa ‘эсэмэска’.

Mitä tulee atk-alan arkikieliseen ja slangisanastoon, niin se on aivan erikoinen aihe, koska sellaisia sanoja on oikein paljon niin venäjän kuin suomen kielessäkin, ja keksitään yhä uusia, sellaisia kuin venäjänkieliset ‘судюк’ (< CD-rom), ‘дрова’ (< driver), ‘аська’ (< ICQ), suomenkielinen romppu (< CD-rom) jne.

Voidaan mainita vielä yhden piirteen, joka on ominainen venäjän kielen nykyiselle kehitysvaiheelle. Monet arkaismit tai historialliset sanat otetaan taas käyttöön: vanhentunut ilmaus ‘судебный пристав’ ‘ulosottomies’ tuli aivan nykyaikaiseksi. Samoin tulivat uudestaan käyttöön sellaiset sanat kuin ‘губерния’ ‘kuvernementti’, ‘губернатор’ ‘kuvernoori’, ‘суд присяжных’ ‘valamiesoikeus’, ‘лицей’ ‘lyseo’, ‘гимназия’ ‘kymnaasi’ ja monet muut.

Elämämme muuttuu koko ajan, ja kieli elävänä ilmiönä muuttuu sen mukana. Sanakirjat ovat vanhentuneita jo ilmestyessään ja se on ymmärrettävää: elävää kieltä on mahdotonta vangita mihinkään sanakirjaan. Mutta sanakirjatoimittajan pitää yrittää pysyä ajan tasalla, ja tämä kilpajuoksu jatkuu.

Lähdeluettelo

Suomen kielen perussanakirja. Helsinki, 1995 (далее – SKPS).

Kielitoimiston sanakirja. CD-ROM-versio. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 132. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy. Helsinki, 2004 (далее – KS).

Куусинен М. Э., Оллыкайнен В. М., Сюръялайнен Ю. Э. Большой русско-финский словарь. М., 1997 (далее – БРФС).

Коппалева Ю. Э. Новый финско-русский словарь. СПб, 2001 (далее – Коппалева, 2001).

Большой толковый словарь русского языка. СПб, 2004 (далее – БТС).

Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2005 (далее – Крысин, 2005).

© L. Joki
Helsinki (Finland)

Suomen kielen uudissanoista Kielitoimiston sanakirjassa

Неологизмы в новом толковом словаре финского языка «Kielitoimiston sanakirja»

В начале 2005 г. вышла в свет новая электронная версия толкового словаря финского языка «Kielitoimiston sanakirja». В него вошла основная общеупотребительная лексика современного финского языка. Словарь содержит около 100 000 словарных статей, что превышает объем предыдущей электронной версии (CD-perussanakirja), которая появилась в 1997 г., приблизительно на 4 000 статей.

В статье рассказывается о новой лексике, которой пополнился финский язык на рубеже XX и XXI вв., а также о тех принципах, которые лежат в основе отбора лексического материала для новых словарей. Особое внимание уделяется так называемым иноязычным вкраплениям в лексику финского языка, которые фиксирует новая версия словаря «Kielitoimiston sanakirja» (*benchmarking, cover, guacamole, handsfree, spinning*).

Yleistä sanakirjasta

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ja Kielikone Oy:n yhteisjulkaisuna ilmestyi viime vuodenvaihteessa sähköinen Kielitoimiston sanakirja (KS). Se pohjautuu vuonna 1997 ilmestyneeseen CD-Perussanakirjaan (CD-PS), joka taas on muokattu vuosina 1990–1994 ilmestyneestä painetusta Suomen kielen perussanakirjasta. KS:ssa on noin 4 000 sana-artikkelia enemmän kuin CD-PS:ssa ja kuutisentuhatta enemmän kuin painetussa kirjassa. Vanhoista sana-artikkeleista on muokattu tai uudistettu yli 15 000. Yhteensä KS:ssa on noin 100 000 sana-artikkelia. Lisäksi Kielitoimiston sanakirjaan liittyy kokonaan uutena osiona suomalaisten paikannimien Asutusnimihakemisto.

KS on, kuten edeltäjänsäkin, sekä deskriptiivinen että normatiivinen. Sanakirjassa kuvataan nyky-suomen keskeinen sanasto, joka koostuu enimmäkseen kirjoitetun, mutta myös puhutun kielen sanoista. Lähinnä puhekielessä

käytettävien sanojen kohdalla on tyylilajimerkintä *ark.* (arkikielessä) tai *slg.* (slangissa), joskus myös *murt.* (murteissa). Arkikielen ilmauksia on otettu mukaan runsaasti, koska niiden käyttö on nykyisin tavallista paitsi puhekielessä myös kirjallisissa yhteyksissä.

Sanakirjan normatiivisuus käy ilmi ”paremmin”-suosituksissa ja ”pitaa olla”-normeissa, esimerkiksi s.v. *ekomerkki* paremmin: ympäristömerkki ja s.v. *file* pitää olla: filee. Kielitoimiston sanakirja tukeutuu kannanotoissaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suomen kielen lautakunnan päätöksiin.

KS:ssa on esitetty taivutustiedot kaikista hakusanoista, sekä yleisnimistä että paikannimistä. Taivutuksen osoittavat muotosarjat ja niiden numeroinnit ovat samat kaikissa kolmessa sanakirjassa, mutta Kielitoimiston sanakirjassa sarjoja on täydennetty.

Uudissanat

Kieleen on jatkuvasti tarjolla uutta sanastoa, jonka joukossa on paljon tilapäisiksi jääviä ”päiväperhoja”. Sanakirjantekijän on vaikea ennustaa, mitkä sanat jäävät elämään ja mitkä sanakirjasta kannattaa unohtaa. Sanaston loputon uudistuminen ja maailman muuttuminen on kiehtovaa mutta sanakirjantekijälle myös ahdistavaa. Nykykielen sanakirja on väistämättä hiukan vanhentunut jo ilmestyessään. Sähköisistä sanakirjoista tehdään sentään muutaman vuoden välein päivitettyjä versioita.

Kansalaiset arvostelevat Kielitoimistoa aika ajoin siitä, että se hyväksyy liikaa vierassanoja suomen kieleen. Kielitoimisto ja suomen kielen lautakunta pyrkivät toki löytämään omaperäisiä vastineita vieraskielisille ilmauksille ja ottavat huomioon kieliyhteisön tarjoamat vaihtoehdot, mutta aina sopivan vastineen keksiminen ei onnistu. Jos suomennos tuntuu keinotekoiselta, se kiuhtuu pois.

Jotta sana olisi elinkelpoinen, sen on toimittava käytössä. Sen on asetettava hyvin kieleen, eli se on voitava kirjoittaa, ääntää ja taivuttaa olemassa olevan sanaston mallin mukaan. Sanan merkityksen on oltava selvä. Myös sanan läpinäkyvyys on tärkeä ominaisuus, ja sanan herättämien mielleyhtymien on oltava oikeansuuntaisia.

Yhdyssanoja

Suomen kielen uudissanoista suuri osa on yhdyssanoja. Viime vuosien produktiivisia yhdyssanaryhmiä ovat muun muassa sanat, joiden määriteosana on *eko*, *bio*, *geeni* tai *verkko*. Tässä nostan esiin viimeksi mainittu, siis ne, joissa on määriteosana sähköistä tietojärjestelmää merkitsevä *verkko*. Tällaiset KS:n *verkko*-alkuiset yhdyssanat ovat kaikki uudissanoja verrattuna CD-Perus-sanakirjan sanoihin. Niitä on yhteensä 18, esimerkiksi *verkkojulkaisu*

‘tietoverkossa ilmestynvä julkaisu’, *verkkolääkäri* ‘tietoverkon välityksellä sairaudenhoidon neuvoja antava lääkäri’, *verkkomainonta* ‘mainonta tietoverkon välityksellä’ ja *verkkoviestintä* ‘viestintä tietoverkon välityksellä’.

Toisin kuin *verkko*-alkuiset, lähes kaikki KS:n sähköiseen tiedonvälitykseen liittyvät *verkko*-loppuiset yhdyssanat ovat jo CD-Perussanakirjassakin. Näitä on kymmenen, esimerkiksi *datansiirtoverkko* ja *dataverkko*, jotka merkitsevät ensisijaisesti datansiirtoon tarkoitettua televerkkoa, *lähiverkko* tavallisesti yhden organisaation tai rakennuksen sisäinen ‘tiedonsiirtoverkko’ ja *tietoverkko* ‘tietokoneiden ja niiden välisten viestiyhteyksien muodostama järjestelmä’. Ainoa uudissana on *tietoliikenneverkko*, jonka merkitys on sama kuin sanan *televerkko*; sanat tarkoittavat telepäätelaitteiden välisiä viestiyhteyksiä ja näiden yhteyksien mahdollistamiseksi tarvittavia laitteita.

Miksi lähes kaikki kyseisenlaiset *verkko*-alkuiset sanat ovat uusia, mutta *verkko*-loppuiset jo edellisessä sanakirjassa esiintyneitä? Yhdyssanan alku- eli määriteosa antaa vihjeen siitä, mikä perusosan merkitys on. Esimerkiksi määriteosan perusteella tiedämme, että sanoissa *kalastusverkko* ja *kaapeliverkko* perusosalla on eri merkitykset. CD-PS:n ilmestyessä *verkko*-sanana uusi merkitys ‘tiedonsiirtoverkko’ ei ollut vielä niin vakiintunut, että tämänmerkityksinen *verkko*-sana olisi päässyt määriteosaksi. Noin seitsemän vuotta myöhemmin, uuden merkityksen vakiinnuttua, sana on alkanut toimia myös määriteosana.

Mukautettua lainasanaa *netti* (< *Internet*, *net*), joka siis myös merkitsee tietoverkkoa, ei CD-Perussanakirjassa vielä ollut. KS:n *netti*-alkuiset sanat (*nettikahvila*, *nettiosoite*, *nettipuhelin*, *nettiriippuvuus*, *nettisivu*) on merkitty tyylil-tään arkisiksi. Vaikka omaperäinen *verkko*-sana on käytössä, myös *netti* on kielen arkipäivää. Kukapa tietää, yleistyykö se siinä määrin, että tyylilajimerkintaa *ark.* ei enää KS:n seuraavassa versiossa ole.

Sitaattilainoja ja mukautettuja lainoja

Kansainvälisten kulttuurikontaktien laajetessa ja tiivistyessä kieleen on tarjolla runsaasti uutta materiaalia eri puolilta maailmaa. Kieliyhteisöllä on eri tapoja ottaa vastaan tätä vierasperäistä ainesta. Yksi tapa on käyttää sanaa tai sanaliittoa sellaisenaan, täysin lainanantajakielen mukaisena, siis sitaattilainana. Ajan myötä sitaattilainojen kirjoitusasu saattaa mukautua kohdekielen äännejärjestelmään. Sitaattilainojen rinnalle onkin otettu mukautettuja, suomalaistettuja muotoja (esim. *gourmet*-sanana rinnalle *gurmee*).

Sitaattilainoja on KS:ssa vajaat 150. Sitaattilaina otetaan sanakirjaan mukaan, jos se on kielessä yleisesti käytössä, vaikka sille olisi olemassa suomenkielinen vastine tai suomen kieleen mukautettu asu. (Yllä mainittu *netti* on esimerkki sanasta, joka on mukautettu suoraan, ilman että se olisi koskaan ollut sitaattilaina.)

2000-luvun vaihteen uudissanastossa on runsaasti tietotekniikkaan ja talouselämään liittyvää sanastoa, mutta myös ruoka-, urheilu- ja musiikkisanastoa. Artikkelin tiivistelmässä mainitut sitaattilainat *benchmarking*, *cover*, *guacamole*, *handsfree* ja *spinning* edustavat näitä alueita, ja niiden lähtökieli on yhtä lukuun ottamatta englantia. Kuitenkin esimerkiksi ruokasanastoa saadaan suomeen tällä hetkellä hyvin monista kielistä, ehkä eniten italiasta.

Seuraavassa esittelen sana-artikkelit yllä mainituista KS:n sitaattilainoista ja niiden mahdolliset synonyymiset sana-artikkelit tai artikkelit, joihin sitaattilaina-artikkeleista viitataan. Lisäksi kunkin tapauksen kohdalla on sitaattilainan käytön perustelut.

benchmarking [bentsmaakiŋ] yrityksen, tuotteen tms. kehittäminen vertaamalla sitä hyväksi todettuihin esikuviin, kilpailijoihin tms., esikuva-analyysi, vertailuanalyysi.

esikuva-analyysi *tal.* = benchmarking.

vertailuanalyysi *tal.* = benchmarking.

*Suomenkieliset vastineet eivät ole vakiintuneet, joten sitaattilaina on jätetty päähakusanaksi, jonka yhteydessä selite on annettu.

cover [kavø] *mus.* sellaisen kappaleen uudelleenlevytys, jonka joku muu laulaja tai yhtye on alkuaan tehnyt tunnetuksi. *Levyllä on yhtä coveria lukuun ottamatta vain omia kappaleita.*

*Sopivaa suomenkielistä ilmausta ei ole syntynyt tai ei ole keksitty. Puhemielessä tunnetaan myös mukautettu laina *koveri*, jota ei ole sanakirjassa.

guacamole [guakamoo'le] (taivutus: guacamole/n, -a, -en jne.) *ruok.* avocadosta tehty (dippi)kastike.

*Sitaattilainaa ei ole ainakaan vielä mukautettu suomeen. (Lähtökieli on nahuatli, eräs asteekkikieli.)

handsfree [handsfrii] *ark.* handsfree-laite.

handsfree-laite [handsfrii-] laite joka mahdollistaa handsfree-toiminnon, "handsfree".

handsfree-toiminto [handsfrii-] toiminto jonka avulla (matka)puhelinta voidaan käyttää ilman, että sitä täytyy pitää kädessä, kädet vapaana -toiminto. *Kaiuttimen tai nappikuulokkeen avulla toteutettu handsfree-toiminto.*

**Kädet vapaana -laite* on kömpelö ilmaus. *Handsfree*-sanaa on yritetty suomentaa monella tapaa, mutta sopivaa vastinetta ei ole keksitty.

spinning [spiniŋ t. spinniŋ] (taivutus: spinningi/ä, -ssä jne.) = kuntopyörävoimistelu.

kuntopyörävoimistelu kuntoliikuntamuoto jossa poljetaan kuntopyörää ryhmässä musiikin tahdissa opettajan ohjaamana, spinning.

*Sitaattilaina ja omaperäinen sana on esitetty sanakirjassa tasavertaisina, mutta käytännössä sitaattilaina on selvästi yleisempi. Voi olla, että seuraavassa sanakirjaversiossa selite annetaan *spinning*-hakusanan yhteydessä.

Yleensä sitaattilainat eivät noudata suomen kielen astevaihtelua, kuten esimerkiksi italialaista maissipuuroa merkitsevä sana *polenta* : *polentan*. Toiset taas noudattavat, mutta eivät ehdottomasti, vaan niistä käytetään myös vaihtelemattomia muotoja; näin esimerkiksi italialaista viinaa tarkoittava sana *grappa* : *grappan* tai *grapan*.

Taivutus onkin usein sitaattilainojen ongelma, varsinkin sellaisten sanojen, joiden viimeinen kirjain ei äänny, kuten ranskalaisperäinen sana *gourmet*: *gourmet'n* ('herkku' tai 'herkkusuu'). Siksi kielenhuolto suosittaa sitaattilainojen sijaan tai rinnalle mukautettuja muotoja, joita on helppompi taivuttaa, esimerkiksi *gurmee* : *gurmeen*. Myös puhekieli mukauttaa sitaattilainoja; tästä esimerkkinä on aiemmin mainittu *koveri*. Vierassanojen mukautetut muodot ovat perusteltavissa taivutuksen yksinkertaisuuden lisäksi sen vuoksi, että niiden ääntämisasu, kaikissa taivutusmuodoissaan, on kirjoitusasun mukainen. Ne ovat siis kaikin tavoin sitaattilainoja helppokäyttöisempiä.

Lähteet

Sanakirjat

CD-Perussanakirja. Uusin tieto nykysuomen sanoista. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 94. Julkaisija: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Ohjelmiston suunnittelu ja toteutus: Lingsoft Oy. Kustantaja Oy Edita Ab. Helsinki, 1997.

Kielitoimiston sanakirja. CD-ROM-versio. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 132. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy. Helsinki, 2004.

Suomen kielen perussanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 55. Kustantaja VAPK-kustannus-Painatuskeskus. Helsinki, 1990–1994.

Artikkelit

Eronen R. Sanat kuin perhoset // Kielikello. 2000. 1. S. 29–31.

Eronen R. Maailma verkossa. Pääkirjoitus // Kielikello. 2005. 2. S. 3.

Grönros E.-R. Kielitoimiston sanakirja // Kielikello. 2004. 4. S. 4–8.

Grönros E.-R. Sähköinen Kielitoimiston sanakirja // Terminfo. 2005. 1. S. 14–16.

Nuutinen L. Sitaattilainat sanakirjassa // Kielikello. 2005. 2. S. 25–28.

Vilkamaa-Viitala M. Vieraita kieliä sanojen takana // Kielikello. 2005. 2. S. 19–21.

Karjalan kielen sanakirjojen hakusanoituksesta

О структуре словарной статьи в «Словаре карельского языка»

«Словарь карельского языка» в шести томах (KKS), последний том которого вышел в Финляндии в 2005 г., по принципу построения словарных статей заметно отличается от словарей карельского языка, опубликованных в Республике Карелия. «Словарь карельского языка» представляет собой большой диалектологический словарь, охватывающий все наречия карельского языка. Он адресован в первую очередь финским лингвистам, поэтому именно финский язык используется для толкования значений слов. Это же обстоятельство повлияло и на разработку принципов построения словарных статей. Словари карельского языка, подготовленные Г. Н. Макаровым и А. В. Пунжиной и выпущенные в Петрозаводске, также являются диалектологическими, но они включают диалектную лексику очень небольшого языкового региона и для толкования слов в них используется русский язык. Новые словари карельского языка, вышедшие в Карелии, представляют собой словари «литературного» языка, ориентированные на школьников и студентов. Многим карелам, которые живут в России, новый «Словарь карельского языка» может показаться слишком сложным по структуре. В данной статье объясняются принципы построения словарной статьи в новом словаре.

Suomessa laadittu kuusiosainen Karjalan kielen sanakirja (KKS) valmistui kokonaisuudessaan kevättälvellä 2005 sen viimeisen osan ilmestyessä. Varsinainen sanakirjatyö vaati aikaa suunnilleen 50 vuotta. Jos otetaan huomioon ainesten keruu, aikaa kului vielä toiset 50 vuotta ja ylikin. Sanakirjan päätoimittajana kolmessa ensimmäisessä osassa oli Pertti Virtaranta ja kolmessa viimeisessä Raija Koponen. Sanakirjatyötä tehtiin vuodesta 1976 lähtien Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. Sanakirjan pohjana on siis yli sadan vuoden aikana kerätty aineisto, joka käsittää runsaat 550 000 sanalippua. Sanakirjassa on edustettuna karjalan kielen kaksi päämurretta: varsinaiskarjala vienalais- ja etelämurteineen sekä aunukselaismurteet eli livvi. Lyydiläismurteiden tietoja ei kirjassa ole, koska kaikki se aineisto, mikä lyydistä oli 1950-luvulla Suomessa, oli julkaistu vuonna 1944 ilmestyneessä Juho Kujolan toimittamassa Lyydiläismurteiden sanakirjassa.

KKS poikkeaa hakusanoituseriaatteiltaan monessakin suhteessa Karjalan tasavallassa ilmestyneistä karjalan sanakirjoista. Tässä esityksessäni käsittelen lähinnä KKS:aa, mutta jossain määrin otan vertailuainesta muista karjalan sanakirjoista. KKS on laaja ja siis lähes kaikki karjalan kielen eri murteet käsittävä murresanakirja. Sen selityskieli on suomi. Petroskoissa julkaistut

G. N. Makarovin ja A. V. Punžinan Karjalan kielen sanakirjat ovat myös karjalan kielen murre-sanakirjoja, mutta kattavat suppeamman alueen murteen, ja niiden selityskieli on venäjä. Käytän niistä tässä lyhyesti vain tekijän nimeä. Näistä erinomaisista sanakirjoista on ollut paljon apua KKS:n toimittajille heidän työssään. Uudemmat Karjalan tasavallassa julkaistut sanakirjat ovat lähinnä opiskelijoille tarkoitettuja kirjakielen sanakirjoja: L'udmila Markianovan ja Tatjana Boikon "Karjal-ven'alaine sanakniigu (liügi)", Pekka Zaikovin ja Larisa Rugojevan "Karjalais-venäläini sanakirja (pohjois-karjalaiset murtehet)" sekä Vieno Fedotovan "Kratkij frazeologitšeskij slovar' karel'skogo jazyka (Vienan karjalan fraseologini sanakirja, Livvin karjalan fraseologine sanakniigu)". Käytän niistä tässä nimitystä opiskelijasanakirja.

Monen Venäjän karjalaisen voi olla vaikea käyttää KKS:aa, ja siksi on syytä selvittää toimitusperiaatteita. Keskityn vain hakusanoitukseen ja pystyn vain muutamain esimerkein ottamaan esiin joitakin seikkoja. KKS:n ensimmäisen osan Johdanto-osassa on hyvin lyhyesti esitetty hakusanoitusperiaatteita. Yleisohjeena on ollut, että hakusanaksi on pyritty ottamaan sanan vienalaismurteiden mukainen muoto. Tämä selittyy sillä, että sanakirjan käyttäjiksi oli ajateltu suomalaiset kielentutkijat, joille tietenkin suomea lähinnä olevat vienalaismurteet ovat helpoin lähestymistapa. Olen yksinkertaistanut esimerkkien kirjoitusasua jättämällä esimerkiksi useimmat liudennusmerkit pois.

Ensimmäinen ja hyvin olennainen seikka on aakkosjärjestys. Vasta kuudennen, viimeisen osan sivulle 8 ennen t-alkuisten artikkelien alkua on KKS:aan lisätty käytössä oleva aakkosjärjestys. Ero Karjalan tasavallassa julkaistujen sanakirjojen aakkosjärjestykseen on huomattava. Makarovin ja Punžinan sanakirjoissa on esitetty aakkosluettelo, livvin opiskelijasanakirjassa ei sitä ole, mutta järjestys on sama kuin fraseologisen sanakirjan sivulla 9 esitetty karjalainen aakkosjärjestys. Sen sijaan vienalaismurteiden opiskelijasanakirjassa on muista poikkeava aakkosluettelo. KKS:n luettelossa on sulkeisiin merkitty liudentuneet kirjaimet, koska ne on aakkostettu samaan paikkaan kuin liudentumattomat; vain silloin kun liudennus on sanojen ainoa ero, on liudentumattoman konsonantin sisältävä sana ensin.

KKS:n johdannon hakusanoitusperiaatteiden 1. kohdassa sanotaan, että sanakirjassa on käytetty vain soinnittomia klusiileja ja sibilantteja - siis vienalaismurteiden mukaisesti. Tästä seuraa, että sanakirjassa ei yhdessäkään hakusanassa ole **b**:tä, **d**:tä, **g**:tä, **z**:tä, **ž**:tä eikä **dž**:tä. Lisäksi Suomessa yleisimmän käytännön mukaan soinniton affrikaatta on merkitty **tš**:llä eikä nykykäytännön mukaan **č**:llä. Soinnillinen affrikaatta on KKS:ssa merkitty murre-esimerkeissä **dž**:llä, ja samoin on tehty Makarovin ja Punžinan sanakirjoissa. Tässä on yksi selvä ero Karjalan tasavallan murre- ja

kirjakielisten sanakirjojen välillä: soinnillisen affrikaatan merkiksi on livvin kirjoissa otettu ž. Paikka aakkosissa on sama.

Edellä esitetty ns. vienalaisperiaate aiheuttaa sen, että *briha-* ja *balalaikka-* sanat löytyvät **p**-alkuisista: **priha** ja **palalaikka**, *doroga* on **t**-alkuisissa: **toroka** ja *goŕu* on **k**-alkuisissa: **koŕa**, *zavodie* on hakusanoitettu **s**-alkuisten joukkoon: **savotie**, *ženihhä / ženihä* on hakusanoitettu **šeni(h)**häksi ja aakkostettu muiden **s**-alkuisten joukkoon.

Affrikaatan merkinnästä otan esimerkiksi KKS:n 6. osasta **t**:llä alkavien sanojen joukosta hakusanana **tšontšoi**. Se on aakkostettu siten, että ajatellaan **t** ja **š** erillään, **tš**-alkuiset tulevat **tr**-alkuisten jälkeen ennen **tu**-alkuisia. Kuten aakkosluetteloista voi huomata, Karjalan tasavallassa julkaistuissa sanakirjoissa sana löytyy aakkosten alkupäästä, **č**:n kohdalta. Suomessa on affrikaattaa merkitty eri aikoina monella tapaa: yleisin on tämä KKS:n käyttämä (*tš / ttš* ja murre-esimerkeissä soinnillinen *dž*), mutta joskus on käytetty myös merkintää *č / čč*.

KKS:ssa kaikki **s**:t ovat aakkosissa tasaveroisia (jos sanat ovat muuten samannäköiset, **š** jää toiseksi ja **ś** viimeiseksi): esim. **saikka**, **šaikka**, **šeni(h)hä**, **śola**, **svieri**. Makarovin, Punžinan ja livvinmurteiden opiskelijasanakirjoissa **š**-alkuiset sanat tulevat **s**-alkuisten jälkeen. Erillään ovat myös soinnilliset **z** ja **ž**. Vienalaismurteiden opiskelijasanakirjoissa on vain yksi **s** hakusanoissa ja esimerkeissä, toisin sanoen oppositiota **s**:n ja **š**:n välillä ei ole merkitty ollenkaan.

Makarovilla ja Punžinalla on *w*-kirjain *u-* ja *ü*-loppuisen diftongin tai pitkän *u*:n ja *ü*:n jälkimmäisen komponentin merkkinä, jota ei ole enää opiskelijasanakirjoissa, vaan niissä on KKS:n tapaan *u-* tai *y/ü*-kirjain. Tämä seikka vaikuttaa tietenkin aakkosjärjestykseen, kun **w** tulee **u**:n ja **v**:n jälkeen.

Erittäin silmäänpistävä ero varsinkin hakusanoituksessa KKS:n ja muiden sanakirjojen välillä on pitkään *a*:han ja *ä*:hän palautuvien diftongien merkinnässä. KKS:ssa on myös diftongi *ua* hakusanoitettu **oa**:ksi (**moa**) ja diftongit *iä*, *yä* ja *öä* **eä**:ksi (**peä**). Siihen, miksi näin päätettiin tehdä, on varmaan monta syytä, joita näin jälkikäteen voi vain arvailla. Suomalaiset tutkijat ovat jo alusta lähtien merkinneet nämä diftongit useimmin *oa*:na ja *eä*:nä ja osin myös *öä*:nä (esim. Arvid Genetz kirjassaan Tutkimus Venäjän Karjalan kielestä). Tämä on vaikuttanut KKS:n periaatteista päätettäessä 1950-luvulla. Nyt ratkaisu olisi luultavasti toinen.

Pohdin seuraavaksi, miten paljon yhdelle lekseemille on sallittu äänne- ja muotovariaatiota. KKS:ssa **tšitšiliusku**-artikkelissa on 52 eri asua, jos kaikki liudennuserotkin otetaan huomioon. Jos eroja liudennuksessa ja soinnillisuudessa ei lasketa, asuja on n. 40. Yksinomaan tverinkarjalasta asuja on 15. **tšitšiliusku** valittiin hakusanaksi, koska asu on yleisin, niin myös

vienassa. Hakusanamuotoon nähden etäisimpiä on esimerkiksi tveriläismurteiden *tšigal'aguška*. *tšigal'aguška* voisi olla oma artikkelinsakin, mutta sen ja *tšitšiliuskun* välinen äänteellinen jatkumo on niin tiivis, että rajanveto eri artikkeleihin tuntui epätarkoituksenmukaiselta. Viitehakusanat on pyritty tekemään mahdollisimman aukottomasti.

KKS:n 5. osassa on artikkeli **roštuo**, joka on sanan vienalainen asu. Eniten tietoja KKS:n arkistossa on kuitenkin asuista *rastava* / *rastavu*. Vienalais-periaatteen mukaan kaikki on yhdistetty **roštuo**-artikkeliin, vaikka yhdyssanoja ja johdoksia on yhtä yhdyssanaa lukuun ottamatta vain *rastava*-asusta.

Joskus siis on artikkeliin yhdistetty hyvinkin erilaisia asuja, joskus taas voi ihmetellä, miksei niin ole tehty, ja voi jopa ihmetellä, miksei löydy edes viitehakusanaa. Syynä on se, että sanakirjaa on tehty niin pitkän ajan kuluessa, että kaikkia vastaantulevia äänneasuja ei ole osattu arvata. Syynä on myös se, että on ajateltu pitää kaikki vähänkin enemmän toisistaan poikkeavat asut erillään – varsinkin, jos sanat alkavat eri kirjaimella. Tästä esimerkkinä voi mainita vaikkapa 1. osan **feresi**- ja 6. osan **veresi**-artikkelit; samoin **fartukka** ja **vartukka** on erotettu eri artikkeleiksi. Toimituksen nyky-ymmärryksen mukaan nämä ilman muuta kuuluisivat samaan artikkeliin. Kaikista **f**-alkuisista on kyllä vertausviite **v**-alkuisiin, eli kyse ei ole ollut vahingosta, vaan ratkaisu on ollut tietoinen. Toisinkin on menetelty: 1. osan **hniika**-artikkelista ei ole viitettä 2. osan **kniika**-artikkeliin, on vain yleisviite **hn-** > myös **kn-**. Samoin on 2. osassa tehty viittaus **kn-** > **hn-**.

On selvää, että murteenkerääjät ovat merkinneet muistiin vaihtelevasti sanaliitto- ja yhdyssanatapauksia (esim. *uusi vuosi* ja *uusivuosi*), ja jonkin verran on KKS:ssa muutettu esimerkkiaineksen merkintöjä yleisimmän kirjoitusasun suuntaan. Informanttien sanapainoja ei enää voi kuulla. Ei voi tietää esimerkiksi, onko viisaampaa tulkita 'melkoista, aikamoista määrää' tarkoittava ilmaus *väki tukku* sanaliitoksi vai yhdyssanaksi. Molempia kirjoitusasuja on sanalipuissa. Ratkaisu oli se, että molemmat kirjoitusasut jätettiin silleen, esimerkit sijoitettiin **tukku**-artikkeliin omaksi merkitysryhmäkseen ja tehtiin **väkitukku**-viittausartikkeli (> **tukku** 3). Makarovin sanakirjassa ilmaukset on tulkittu sanaliitoiksi ja ne on sijoitettu **vägi**-artikkeliin, mutta lisäksi sanakirjassa on oma adverbartikkelinsa **vägitukul**. KKS:ssa nämäkin tapaukset ovat **tukku**-artikkelissa. Punžinalla ilmaustyyppiä ei ole, koska tverissä *tukku*-sanalla ei ole tällaista suuren määrän merkitystä.

Sanaliittohakusanoja KKS:ssa on niukalti, esimerkiksi 6. osassa vain interjektioita tyyppiä **tšillin tšallin** ja **viu vau** ja yksi ainoa nominiartikkeli **toine arki**. Se on tehty samaan tapaan kuin 1. osan artikkelissa **ensimäine arki**. Jos tarkastellaan muita **toine**-alkuisia hakusanoja, yhdyssanaksi on hakusanoitettu mm. **toineilma**, jossa siinäkin on sekä sanaliitto- että

yhdyssanaesiintymiä. Sen sijaan samaa merkitsevässä **tuoilma**-artikkelissa kaikki tiedot ovat yhdyssanoja. Aakkostuksessa tulkitaan sanaliitotkin yhdyssanoiksi.

Esitän lyhyesti esimerkkisanojen avulla vain muutamia yleisperiaatteita, jotka saattavat tuottaa ongelmia.

-ine-substantiivit tai **-adjektiivit**: **talo(i)lline**-artikkelissa on sanasta asut *talollini ~ taloillini ~ talolline ~ taloilline ~ taloilliine*. Tässä on livvin kanta hakusanassa.

-ailla-frekventatiiviverbit: **vaivailla**-artikkelissa on asut *vaivoalla ~ vaivailla*, **vaivaillakseh**-artikkelissa asut *vaivoallakseh ~ vaivaillakseh*. Tässäkin livvin kanta voittaa, mutta varsinaiskarjalan muodoista on viitehakusanat.

-ie-adjektiivit: **valkie**-artikkelissa on asut *valkie ~ valkei*. Ei ole tehty viitehakusanoja muotoa ***valkei**.

Sanan 1. tavun *e*-loppuiset vokaaliyhtymät voivat tuottaa ongelmia, sillä esim. **loata**-hakusanan alta löytyvät asut *laeta ~ lageta*. **moah**-artikkelissa ovat myös asut *maeh ja majeh*, mutta viitehakusanat onneksi ohjaavat etsijää.

-jeä- ja **-joa-**verbit: 1. osassa ovat erillään esimerkiksi artikkelit **hyräjeä** ja **hyrätä**, mutta myöhemmin tämäntyyppiset verbit on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yhdistetty **tšurata**-tyypisen hakusanan alle: *tšur|ata, -uau ~ -ajau*. Viitehakusanaa ei ole yleensä tehty.

Refleksiiviverbit on yhdistetty **-kseh**-päätteisiin, jopa niin, ettei viitettä ole tehty *-heze*-asusta; vain jos ei *-kseh*-muotoa ole, on *-ttši*-asusta muodostettu hakusana: esim. **pintšissellättši**. Sen sijaan Sisä-Venäjän murteille tyypillinen refleksiiviverbi on omana artikkelinaan: esim. **uskaltoattšie**-hakusanan alla on tverinmurteinen asu *uššaldoatšie*. Punžinalla sama sana on hakusanoitettu seuraavasti: **uššalduačie**.

Lukijaa helpottamaan on laadittu viitehakusanoja, mutta toisaalta on pitänyt säästää tilaa, joten tarpeeksi ei niitä aina ole, ja ns. ryhmäviitteet eli katkaistut viitteet eivät välttämättä ole kovin havainnollisia. Karjalan kielen sanakirjan lukijoiden on syytä käyttää mielikuvitustaan sanojen haussa.

Käytetty kirjallisuus

- Fedotova V.* Kratkij frazeologičeskij slovar' karel'skogo jazyka. Petrozavodsk, 2001.
Genetz A. Tutkimus Venäjän Karjalan kielestä. Helsinki, 1880.
Karjalan kielen sanakirja 1. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI, 1. Helsinki, 1968.
Karjalan kielen sanakirja 2. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI, 2. Helsinki, 1974.
Karjalan kielen sanakirja 3. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI, 3. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 25. Helsinki, 1983.
Karjalan kielen sanakirja 4. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI, 4. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 25. Helsinki, 1993.

Karjalan kielen sanakirja 5. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI, 5. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 25. Helsinki, 1997.

Karjalan kielen sanakirja 6. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI, 6. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 25. Helsinki, 2005.

Kujola J. Lyydiläismurteiden sanakirja. Lexica Societatis Fenno-Ugricae IX. Helsinki, 1944.

Makarov G. Slovar' karel'skogo jazyka. Petrozavodsk, 1990.

Markianova L. & Boiko T. Karjal-ven'alaine sanakniigu. Petroskoi, 1996.

Punžina A. Slovar' karel'skogo jazyka. Petrozavodsk, 1994.

Zaikov P. & Rugojeva L. Karjalais-venäläini sanakirja. Petroskoi, 1999.

© *В. П. Федотова, Т. П. Бойко*
Петрозаводск

Собственно карельская лексика в диалектных словарях Финляндии и Карелии

Диалектный словарь собственно карельских говоров с толкованием на русском языке составляется с целью фиксации и введения в научный оборот карельской лексики, в которой отражается материальная и духовная культура карел Лоухского, Калевальского, Беломорского, Кемского, Медвежьегорского, Муезерского, Суоярвского районов. Всего охвачены 33 ареала Северной и Средней Карелии.

При работе над словарем мы использовали опыт составления известных диалектных словарей карельского языка Г. Н. Макарова, А. В. Пунжиной, учебных словарей Л. Ф. Маркиановой и Т. П. Бойко, П. М. Зайкова и Л. И. Ругоевой.

Настольной книгой для нашей работы является 6-томный словарь карельского языка «Karjalan kielen sanakirja» – труд, над которым финляндские ученые работали десятки лет, включающий материал собственно карельских и ливвиковских наречий, собранный в течение более 100 лет (2-я половина XIX и 1-я половина XX в.). Эту гигантскую работу невозможно переоценить.

Словарь «Karjalan kielen sanakirja» мы используем как канву, которая помогает не упустить слова, зафиксированные собирателями карельского материала из Финляндии, многие из которых мы в настоящее время уже не смогли бы найти в полевых условиях. Это касается прежде всего лексики, отражающей исчезнувшие культурные и материальные реалии, а также образной речи карел того времени, когда они в Карелии говорили по-карельски.

Опираясь на указанные работы, мы поставили задачу дать наиболее полное описание зафиксированной лексики собственно карельских говоров Карелии в их современном звучании; это будет отражением состояния с 1950-х гг. до наших дней. После Великой Отечественной войны изменилась демографическая ситуация в Карелии, многие деревни исчезли, а другие слились в поселения, в которых живут носители различных говоров, поэтому звучание карельской речи во многом унифицировалось. Возможно, поэтому наши материалы по некоторым параметрам отличаются от тех, что были зафиксированы собирателями в XIX – начале XX в.

Следует также заметить, что материалы словаря собраны главным образом путем магнитофонных записей; рукописные же образцы речи записаны носителями конкретных говоров, поэтому у нас есть возможность дать максимально точное звучание карельской речи.

Это касается и опубликованных источников, используемых в нашей работе. Коллективные монографии по материальной и духовной культуре сегозерских карел, образцы карельской речи из книги «Karjalan kielen näyteitö», изданной в г. Йозенсуу (Финляндия), и другие полностью построены на материалах магнитофонных записей. Из других публикаций мы также берем прежде всего сведения, зафиксированные на пленке, имея возможность проверить точность звучания там, где появляются сомнения.

Помощники и консультанты из носителей конкретных говоров (А. С. Степанова – по Гейколе, П. И. Лукина – по Юшкозеру, Е. И. Клементьев – по Ондозеру, Р. Ф. Клементьева – по Тикше) дополняют и подтверждают наши сведения по севернокарельским ареалам. Также нам систематически любезно предоставляет лексические материалы по севернокарельским ареалам сотрудник сектора языкознания Д. В. Кузьмин. По тунгудскому говору у нас есть обширная, хотя и неполная картотека Ф. Ф. Федорова, который длительное время работал в данном ареале. Таким образом, у нас имеются достоверные сведения по основным ареалам собственно карельской речи, проверенные путем неоднократного прослушивания магнитофонных записей, а также во время экспедиций в конкретные районы.

Представленный в «Словаре собственно карельских говоров Карелии» материал позволяет сделать некоторые выводы:

1. Говоры данной территории характеризуются общностью в основной его части и мало отличаются по базовой лексике от ливвиковских и тверских собственно карельских говоров.

Влияние ливвиковского и людиковского наречий на собственно карельскую лексику наблюдается там, где они непосредственно соприкасаются. Например, в сегозерских говорах слово *počči* ‘свинья’ встречается гораздо чаще, чем *šiga*; ливвиковское *päčči* ‘печка’ используется в падан-

ском говоре вместо собственно карельского *kiugua*; русское 'шаньга' передается в некоторых сегозерских говорах общим с ливвиковским *si-pan'iekka*, во всех других собственно карельских говорах *šanki* (Калевала – Кестеньга), *šangi* (во всех других говорах), а также почти везде известно в данном случае слово *kal'itta*. С точки зрения лексики и звучания речи выделяется тунгудский говор своей близостью одновременно как с ливвиковскими, так и тверскими говорами, особенно с последними.

2. Словообразовательная система характеризуется общими чертами: это однородные по построению сложные слова, образованные путем словосложения. С помощью одинаковых суффиксов образуются моментативные, фреквентативные, каузативные глаголы, при этом первые, то есть моментативы и фреквентативы чрезвычайно богато представлены в тунгудском говоре.

Отглагольные имена образуются одинаково во всех говорах. Имеются говорные различия в образовании уменьшительно-ласкательных и отыменных прилагательных, а также в отыменных и притяжательных существительных на *ne – n'e – n'i*; *šil'män'e* в тунгудском, *šil'mäne* в паданском, *silman'i* в калевальско-кестеньгском; *pikkarain'e* (Тунгуда), *pikkarane* (Паданы), *pikkarain'i* (Калевала – Кестеньга), *pilvin'e* (Тунгуда), *pilvine* (Паданы), *pilvin'i* (Калевала – Кестеньга). Здесь сегозерский вариант схож с ливвиковским, тунгудский с тверским говором.

3. Говоры собственно карельского наречия имеют некоторые фонетические различия, что также сближает их с ливвиковскими говорами. Сильнее других говоров выделяются северные: калевальский, вокнаволоцкий и кестеньгский ареалы, которые в звучании характеризуются отсутствием звонкости согласных, там нет согласных звуков *b, d, g, z, ž*; во всех остальных ареалах в той или иной степени эти согласные имеются, в начале и в середине слова, как и в ливвиковском наречии.

4. Собственно карельское наречие в целом характеризуется одинаковым использованием шипящих и свистящих согласных, и шипящие встречаются намного чаще, чем свистящие, – это, очевидно, особенность собственно карельских говоров, отличающая их от ливвиковского наречия, где наблюдается обратная картина: свистящие более частотны. Своеобразно выглядят на этом фоне некоторые говоры паданского ареала и Поросозера. Здесь заметно более частое употребление свистящих, чем в других собственно карельских говорах, но часто бывает так, что один и тот же информант в одних и тех же словах использует и свистящие, и шипящие, что позволяет говорить о явном переходе от собственно карельского наречия к соседним ливвиковским и людиковским: *šil'mä ~ sil'mä, šil'it't'yä ~ sil'it't'yä*. Общим с ливвиковским является и наличие мягкого *d'* вместо *j*, здесь сближаются Ондозеро, Тунгуда и некоторые паданские говоры с ливвиковской Видлицей: *d'ogi* вместо *jogi*, в *d'ärvi* вместо *järvi*.

Что касается гласных звуков, то для большинства собственно карельских говоров характерен дифтонг *-ua ~ -yä* в начале и в конце слова, как и в ливвиковском наречии, но в некоторых говорах, как и в ливвиковском, на месте указанного дифтонга встречается *-oa, -ea, -iä*, этим отличаются также некоторые паданские и поросозерские говоры. В собственно карельском ондозерском говоре, как в ливвиковской Видлице, вместо дифтонгов *ua ~ yä* употребляются долгие гласные: *kačahtaa* вместо *kacahtua*.

Все указанные особенности фонетики найдут отражение в словаре собственно карельских говоров Карелии.

5. Иллюстративный материал к словарным статьям свидетельствует о том, что грамматическая структура говоров обладает общими характеристиками.

Падежные формы совпадают во всех ареалах, однако и тут есть исключение: в говоре дер. Чебино (Собене) могут встречаться как полные (собственно карельские), так и сокращенные (ливвиковско-людиковские) формы местных падежей в одних и тех же текстах. Общим является отсутствие отдельной формы аллатива на *-lle*, его значения везде передаются формой адессива на *-lla*.

Возвратные глаголы имеют отличия от общей картины в паданском и тунгудском ареалах, где наряду с формами на *tuo, työ kaccouduo* встречается форма *kaccuokse* 'смотреться'.

В качестве вывода хотелось бы сказать, что материал словаря собственно карельских говоров Карелии позволяет утверждать, что создание единого карельского литературного языка возможно.

Литература

- Духовная культура сегозерских карел конца XIX и начала XX в. Л., 1980.
- Зайков П., Ругова Л. Карельско-русский словарь (северно-карельские диалекты). Петрозаводск, 1999.
- Маркианова Л., Бойко Т. Карельско-русский словарь (ливвиковское наречие). Петрозаводск, 1996.
- Karjalan kielen sanakirja. Helsinki, I – 1968, II – 1974, III – 1983, IV – 1993, V – 1997, VI – 2005.
- Материальная культура и декоративно-прикладное искусство сегозерских карел конца XIX и начала XX в. Л., 1981.
- Словарь карельского языка (ливвиковский диалект) / Сост. Г. Н. Макаров. Петрозаводск, 1990.
- Словарь карельского языка (тверские говоры) / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 1994.
- Устная поэзия тунгудских карел / Изд. подгот. А. С. Степанова. Петрозаводск, 2000.

БУБРИХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЛЕКСИКА И ОНОМАСТИКА КОНТАКТНОГО АРЕАЛА

© О. Н. Крылова
Санкт-Петербург

Знаковая символика женского севернорусского костюма

Одежда, как известно, почти у всех народов является не только средством защиты людей от воздействия окружающей среды, но и знаком принадлежности человека к той или иной социальной или половозрастной группе. Русский народный костюм не был исключением из этого правила.

Рассмотрение народной одежды в качестве своеобразного языка культуры впервые предложил П. Г. Богатырев, представив структуру народного костюма как особый вид семиотической системы. Исследователь выделил практическую, утилитарную, эстетическую, возрастную, социально-половую (функция костюма замужней женщины) и тесно связанную с ней моральную функцию, а также функцию праздничного костюма, обрядовую, профессиональную, функции, указывающие на род занятий, вероисповедание, и региональную функцию¹.

В состав севернорусского сарафанного комплекса входили: рубаха, сарафан, пояс, душегрея, кокошник, украшения, обувь.

Термин «сарафан» первоначально с XIV по XVII в. обозначал мужскую длинную распашную одежду. С XVI в. этим термином стали называть женскую накладную (надеваемую через голову) или распашную (на сквозной застежке спереди) одежду. В зависимости от материала, кроя или места бытования он мог называться атла'сником (*Атласник, самый лучший сарафан, из атласа шили*. Карг. Арх.), кума'чником (*Из кумача – кумачник, уборки внизу, потом ленточки, кружево. Сарафан гладкий, из кумача – кумачник*. Карг. Арх.), кле'точником (*А клеточник*

изо льна, тоже длинный сарафан, клеточник дононешнего носили, его в клетку ткали. Кирил. Волог., Онеж. Карел.), кра'сиком (*Красик – это сарафан, его никто не сошьет сейчас*. Пест. Новг. *Красик-то еще моя бабка носила, мы-то красики не захватили*. Белоз. Волог., Баб. Волог.), дубняко'м (*Вышла на улицу в синем дубняке*. Волог.) и др. В зажиточных семьях праздничные сарафаны шили из парчи (парчев'ик, парчо'вник), шелка (ше'лко'вик), бархата (ба'рхатник). Самыми завидными невестами считались девушки, носившие «золотые» сарафаны – вышитые золотными цветами по белой ткани².

Севернорусские сарафаны по покрою были разнообразны: косоклинный глухой; косоклинный распашной или со швом спереди; прямой, собранный на обшивке, с ляжками; сарафан с лифом.

Наиболее древним считается глухой косоклинный сарафан (шушу'н, мату'рник, маре'нник). На сгибе перегнутого пополам полотнища прорезали отверстие для головы. Дополнительные клинья соединяли перед и спинку сарафана. Первоначально наиболее старинные образцы сарафанов имели для фасона пришитые со спины длинные узкие рукава, зачастую фальшивые. Обычно их затыкали за пояс или связывали узлом на спине. Такие сарафаны сохранялись в быту псковских староверов и в Новгородской губернии до второй половины XIX в.

Косоклинный распашной сарафан (кли'нник, кита'ечник, фера'зь) состоял спереди из двух полотнищ, застегивающихся на медные, оловянные или серебряные пуговицы либо сшитых и имеющих чисто декоративную застежку. Сильно расклешенный силуэт косоклинных сарафанов, вертикальные линии отделки подчеркивали стройность женской фигуры.

Более поздние круглые или прямые сарафаны относятся к третьему типу (кругля'к, кру'глый сарафан). Их шили из нескольких цельных прямых полотнищ, густо соборенных у верхнего края. Сборки прикрывались прямой обшивкой, к которой пришивали ляжки. Обычно круглые сарафаны украшались по подолу двумя-тремя полосами кружев, лент или позумента.

И, наконец, четвертый тип – это сарафан с лифом (ли'фник), пришедший в деревню из города. Здесь основной признак – наличие лифа в верхней части сарафана, облегающего грудь и спину или только спину, который пришивался к пышной соборенной юбке.

Особенности в одежде различных по зажиточности групп крестьянства в середине XIX в. выражались не столько в покрое и типе одежды, сколько в качестве тканей, наличии ценных украшений. Девушка, достигшая совершеннолетия, обязательно должна была иметь шелковый сарафан (ше'лковик: *Пасху носили шелковик*. Беломор. Карел.) или

ба'рхатник (*Сарафан из бархатной материи шили, бархатник*. Череп. Волог.). Шелковники, атласники, штофники и гарусники были дорогими, надевались по большим праздникам, и их количество у невесты указывало на уровень благосостояния семьи. Богатые девушки имели по несколько штук каждого вида сарафанов, невесты из семьи среднего состояния – только по одному. *Дала сундук окованный. В этом сундуке чего только нет! Штофники, парчовники, и золотом и серебром – всем наградила* (Медв. Карел.). Самые бедные девушки и женщины совсем не имели атласников и гарусников, и их самой нарядной одеждой были кумачники и ситечники. *У крещеных-то было аглечник да сатинник, агличник только богатые держали, а у бедных не было* (Пудож. Карел.). *Кто жили побогаче, те уж и кашамерники заведут* (Никол. Волог.).

«В бывшем Череповецком уезде Новгородской губернии, – как пишет М. К. Герасимов, – девушки в соответствии с их богатством или бедностью составляли отдельные хороводы в праздник: наиболее богатым был хоровод „бархатниц“, затем – хоровод девушек, одетых в „гарусники“ – сарафаны из шерстяной материи, а бедные собирались в хоровод из одетых в „ситцевики“»³.

Молодежь своему костюму уделяла очень большое внимание. Парни и девушки при встрече хвалили одежду друг друга. Девичьи разговоры сосредоточивались вокруг красивых нарядов подруг. Русские крестьяне говорили: «Курицу не накормить – девицу не нарядить». Наличие только одного праздничного сарафана у девушки брачного возраста считалось верхом неприличия. Ее родителей деревенское сообщество обычно строго осуждало за безразличие к дочери⁴.

Особое значение в народном костюме придавали цвету как средству наибольшей выразительности. Цвет играл существенную роль в народной одежде, сообщая определенную информацию о носителе данного костюма. При этом различие в цвете костюма воспринималось гораздо легче, чем изменения в крое или ткани, особенно на расстоянии. Цвет одежды как бы предупреждал собеседников, с кем они имеют дело и какую позицию нужно занять в отношении этого человека. У богатых невест в приданое входило до 3–5 десятков сарафанов: красные, которые носили молодыми, пестрые – для среднего возраста и синие (синяки) – для пожилого. Подвенечный сарафан нередко или черного или синего цвета, красный надевали на второй день после свадьбы (он как бы символизировал супружество).

Основная часть костюма русских крестьянок до начала XX в. – это длинная конопляная рубаха. Рубахи, которые носили с сарафаном, могли быть цельными: проходни'ца (В.-У., Тотем., Никол. Волог.); проходёнка, проходну'ха (Тотем. Волог.); однаста'н, однаста'нка (Волог.), ис-

це'льница, пропускни'ца (Пинеж. Арх.). Рубахи «исцеленницы» были распространены по рекам Мезени и Пинеге в первой половине и в середине XIX в.⁵ Рубахи составные чаще шили из разных тканей. Верхнюю часть (рукава, воротушку, грудку, оплечье) делали из более тонкой, часто покупной ткани, нижнюю часть (подставку) – из домотканины. Бытовали также рубахи из дорогих шелковых тканей, а позднее – из миткаля, ситца, коленкора, сатина, парчи.

В деревне дни сенокоса, окончания жатвы, первого выгона скота считались праздничными, крестьянки наряжались в специальные рубахи с богато украшенными подолами: подо'льница (*Если становина вышита, то это подольница*. Онеж. Карел.); поко'сница (Волог., Арх.); сенок'сница (*Сенокосницы были сморшатами, сено косили в них*. Волог.); наподо'льница (*К сенокосу девки и бабы готовят себе чистые наподольницы – рубахи с вышитыми по подолу из красной бумаги каймами или с обложенным кругом его лентами и кружевами*. Кадн. Волог.); жа'тельная рубашка (*Как рожь-то поспеет, выходили мы жать и одевали жательные рубашки. Женичины рубахи жательные имели, мужчины все в том же, что и дома*. Кириш. Ленингр.); страдову'шка (*Страдовушки, когда жать, рожь жати с красным узором страдовушка, а овес жать – с белым узором*. Сол. Новг.). Носили их с большим напуском под опояском – узким ярким пояском, под который подтыкали холщовый платок или полотенце для вытирания пота. Иногда этот наряд дополнялся передником либо юбкой. В северных губерниях покосные рубахи со второй половины XIX в. начинают шить с верхом из кумача и станом из белого холста, клетчатой пестряди или набойки. Широкая полоса тканого геометрического узора, украшавшего подолы, порой превышала 30 см. В более ранние времена она выполнялась только из красных ниток, позднее дополнилась вышивкой разноцветным гарусом.

С глубокой древности на Руси существовал обычай шить праздничные рубахи с очень длинными рукавами, собиравшимися у запястья красивыми складками. В праздничной и свадебной одежде Вологодской, Олонецкой, Архангельской губерний встречались рубахи с рукавами длиной до 100–120 см (долгорука'вки). В Олонецкой и Архангельской губерниях свадебные рубахи с такими длинными рукавами назывались убива'льницами⁶, пла'кальнями или маха'вками⁷, маха'льницами, так как уезжавшая под венец невеста, прощаясь с родными, причитала («убивалась») и размахивала длинными рукавами.

Рубаха непосредственно соприкасается с телом человека, и, чтобы обезопасить его, нужно было лишить злые силы возможности проник-

нуть внутрь одежды через отверстия (ворот, подол, рукава). Отпугнуть нечисть могла вышивка, в которой зашифрованы древние магические символы.

В северных губерниях вышивку выполняли хлопчатобумажными, шелковыми и золотными нитями. В узорах традиционными мотивами орнамента были изображения женской фигуры – символа плодородия, солярных знаков: кругов, крестов, свастики, усложненных ромбов, коня, оленя, птицы; дерева – символа вечно живой природы; двух птиц – голова к голове – символа счастливого брака.

Важной составной частью праздничного сарафанного комплекса была плечевая одежда – душегре'я (коротёна) – род короткого кафтана с рукавами или без рукавов: обжи'м, обжима'лка (*Сошью обжималку, это безрукавка на вате*. Череп. Волог.); лиф (*Ватной лиф носили, коротенькой и без рукавов, а грудь обожмет – вот и тепло*. Онеж. Арх.); ли'фик (*На плечи надевали лифик, не такой, как теперь*. Белоз. Волог.). Бытовала и совсем коротенькая безрукавка на лямках (перо', пёрышки, епа'нечка) с трубчатыми складками на спине. Особенно нарядные образцы такой одежды изготавливались из узорных шелковых тканей, парчи, бархата, сплошь расшитого золотными нитями. Для тепла душегрейки подбивали ватой. Распашные шугаи (тип жакета) с рукавом простегивали на вате, отложной воротник и рукава отделявали мехом: *А из бархата такой шугай шила, таких и нет теперь* (Пуд. Карел.).

Женский севернорусский костюм отличался от девичьего головным убором. Девушки полностью волосы не закрывали, а замужние женщины их тщательно убирали. Девушки до замужества носили повя'зку, поче'лок – девичий головной убор в виде широкой ленты, украшенной жемчугом, бисером, позументом. Этот головной убор закреплялся двумя тесемочками на затылке. Достигая совершеннолетия, девушка вплетала в косу ленту с бантом на конце в знак того, что ее можно сватать. Сговоренка, то есть просватанная девушка, надевала повязку с нате'мником – кружком или овалом, прикрывающим ей макушку. Это был переходный тип головного убора от девичьего к женскому. Просватанная невеста украшала косу длинной широкой лентой красного или желтого цвета. В день венчания или накануне невеста передавала ленту (девичью волю) своим подружкам. В Архангельской, Вологодской губерниях иногда косу убирали под длинный белый вязаный колпак, носивший название «честного». Наиболее распространенными и венчальными головными уборами на Русском Севере были также голодво'рец, вене'ц, кону'ра, кору'на. Они были дугообразной формы или в виде широкого обруча, обязательно с открытым верхом, который венчал венок из искусственных цветов или лент.

Важнейшим элементом свадьбы был ритуал надевания на голову новобрачной женского головного убора – повивание, окучивание, снятие покрова. Девичья прическа менялась на женскую: две косы укладывались вокруг головы и убирались под мо'ршень, бору'шку, являющиеся уже закрытыми уборами.

Крестьянки среднего возраста и старухи носили под платком пово'йники или косынки, молодые женщины по праздникам украшали голову кокошником.

Еще одной разновидностью северных женских головных уборов была шамшура – тип шапочки с твердым околышком или дном и завязками сзади. В большинстве губерний дорогие кокошники и шамшуры носили с платками, вышитыми золотными и серебряными нитями.

В тех губерниях, где основным головным убором девушек и женщин был платок, девушки завязывали его на голове иначе, чем женщины. Если женщины, например, складывали платок углом и завязывали его узлом под подбородком, то девушки концы платка завязывали на затылке. Девушки часто складывали платок в ленту и обвязывали его вокруг головы, опуская концы на спину, женщинам же так носить платок не полагалось. Девушки накидывали поверх костюма на плечи иногда до пяти платков разного размера, закладывая их концы за лямки сарафана, женщины могли накинуть один длинный платок, закалывая его на груди на булавку.

Главными днями, когда традиционный костюм являлся обязательным для девушки, были дни самых больших праздников и дни исполнения старинных обрядов. Так, девушки надевали традиционный костюм в Крещение, так как в этот день девушки брачного возраста «выставлялись на смотрины». Они катались на санях или «стояли столбами» на площадях, показывая себя и свою одежду потенциальным женихам и их родителям. Кроме того, традиционный костюм был обязателен для невесты и подружек во время свадеб. П. С. Ефименко писал, что там, где старинный наряд вышел из употребления, «во время свадеб, заплачки... невесты обязаны быть в повязке и штофной паре так, что у которой ее нет, та занимает на стороне»⁸.

Русский народный костюм на протяжении длительного времени (XVIII – середина XX в.) был относительно стабилен, что отмечалось практически всеми исследователями. Вместе с тем в течение двух с половиной столетий шел непрерывный процесс развития традиционной одежды. Одни вещи заменялись другими, менялись их покрой, цвет, материал, из которого они шились, изменялась манера ношения того или иного предмета одежды, включались новые, не типичные для традиционного костюма предметы. Особенно активными были изменения в покрое одеж-

ды: косоклинные сарафаны заменялись на прямые, вместо верхней одежды с прямой цельной спинкой появлялась верхняя одежда, отрезная по талии, со сборками вокруг талии, изменялись фасон и состав головных уборов. Так, в Олонецкой губернии ушли в прошлое «старинные сарафаны (кунтуши, кундыши, матурные шубы) с широкими ляжками, к которым сзади прикреплялись две ленты, называемые рукава... Сейчас эти сарафаны не носят. Сейчас сарафан похож на юбку. Он кроится из пяти-шести полотнищ, причем передние полотнища делаются длиннее ее задних и боковых... ляжки узкие, обшитые тесьмой. Сарафан стягивается поясом»⁹. В 80-е гг. XIX в. у девушек Олонецкой губернии в моду входит кафтан: «Как на новую моду, возникшую, впрочем, в самой деревне, можно указать на „пятишовки“ и „семишовки“. Они шьются на вате или кудели, покрываются сукном, кумачом, ситцем, кроются в талию, спереди без вытачек с широкой юбкой, доходящей до половины бедра. На спине и по бокам делаются пять или семь швов, которые отмечаются пятью или семью пуговицами, идущими вдоль талии»¹⁰.

В конце XIX в. получил распространение казачо'к (Карг. Арх.); каза'к (Кондоп. Карел.); каза'чка (Кем. Карел.); ба'ска (Чаг. Волог., Подп. Ленингр.) – длинная кофта, сшитая по фигуре, с невысоким стоячим воротником, с рукавами, широкими вверху и узкими у кисти. Казачок застегивался спереди на пуговицы. Носили его с юбкой или сарафаном.

На рубеже XIX и начала XX в. в моду вошла городская па'ра – парная с сарафаном, а позднее с пышной юбкой приталенная кофта. Как правило, ее шили из одинаковой материи: *У невесты была пара [сарафан и кофта] одета* (Пуд. Карел.). Женский костюм, состоящий из юбки и кофты, в вологодских говорах получил название парёшка (*У ей парёшката баская*), па'рка (*Больно у тя парка-то седни добра. Где уж эдакую парку-то себе огоревала?* Волог. Волог.), па'рочка (*Сарафаны-то баские шили да кофты казачки были. Вот накинут такую парочку и на гулянье ходили.* К.-Г. Волог. *А если он придет к зиме, дак парочку купит, это платье, отдельно юбка и кофта.* Вашк., Баб. Волог., Карг. Арх., Онеж., Прион., Пуд. Карел., Подп. Ленингр.).

Исследования показывают, что семиотический статус костюма как группы функционально взаимосвязанных и взаимообусловленных предметов на протяжении XIX – начала XX в. продолжал оставаться очень высоким, обладал как утилитарной, так и знаковой прагматикой, то есть соответствовал и практическим и символическим требованиям.

¹ Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971.

² Работнова И. П. Русская народная одежда. М., 1964.

³ Герасимов М. К. Некоторые обычаи, обряды, приметы и поговорки крестьян Череповецкого уезда Новгородской губернии // Этнографическое обозрение. 20. 1894. № 1. С. 121.

⁴ Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в. Л., 1988. С. 75–83.

⁵ Работнова И. П. Указ. соч. С. 12.

⁶ Работнова И. П., Вишневская В. М., Кожевникова Л. А. Народное искусство Архангельской области // Сб. трудов НИИХП. М., 1962. Вып. 1. С. 18.

⁷ Тазихина Л. В. Север Европейской части РСФСР // Крестьянская одежда населения Европейской России: XIX – начала XX в.: Определитель. М., 1972. С. 133.

⁸ Ефименко П. С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии // Тр. этнографического отдела ИОЛЕАЭ. М., 1877. Кн. 5, вып. 1. С. 62

⁹ Миллер В. Ф. Систематическое описание коллекций Дашковского этнографического музея. М., 1983. Т. 3. С. 25.

¹⁰ Там же. С. 6.

Словари

Архангельский областной словарь. М., 1980–1999. Вып. 1–10.

Новгородский областной словарь. Новгород, 1992–2000. Вып. 1–13.

Словарь вологодских говоров. Вологда, 1983–2002. Вып. 1–9.

Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб, 1994–2002. Вып. 1–5.

Словарь русских народных говоров. Л.; СПб, 1965–2004. Вып. 1–38.

© Г. М. Керн
Петрозаводск

Критерии идентификации саамской субстратной топонимии

Типологически и по своим лексическим и грамматическим показателям саамский язык наиболее близок к прибалтийско-финским языкам. Вместе с тем, в саамском языке имеется ряд признаков, отличающих его от других прибалтийско-финских языков. Говоря о переходе протосаамов на финно-угорскую речь и об отражении этого явления в фонетике саамского языка, Д. В. Бубрих писал: «Не подлежит сомнению, что лопари стали пользоваться одной из разновидностей финно-угорской речи только несколько тысячелетий назад – в лопарской фонетике отражаются „перебой“, объясняющиеся переходом финно-угорской речи в новую среду (появление задержки артикуляции согласных при определенных условиях, исчезновение шипящих согласных, сокращение числа гласных и т. д.)»¹. Важным свидетельством дофинно-угорского периода в этнической истории саамов является слой лексики, не имеющий соответствий в

других уральских языках. По данным известного финского исследователя саамского языка и культуры Т. Итконена, в саамском языке до трети словарного запаса составляет лексика, не имеющая соответствий в других языках. «Если отграничить в саамском языке те слова, соответствия которым имеются в финно-угорских и самодийских языках, а также те, которые заимствованы из скандинавских и русского языков, то в нем остается до трети всего словарного состава, составляющего многотысячный слой лексем, которым невозможно найти соответствия ни в одном из других языков (помимо, может быть, тех, которые заимствованы из саамского, например, в финский)»².

Представленные лексемы отражают жизненно важные для саамов понятия не только окружающего ландшафта, природных явлений (природные объекты, явления природы, флора, фауна), но и базисные понятия человеческой деятельности (части тела человека, семейные отношения, психические и физические действия, хозяйственная и иная деятельность): 1) ландшафт, флора, фауна: *jemnn* земля (примеры даются по кильдинскому диалекту), *njarrk* мыс, *čadz* вода, *vunntas* песок, *rovvn* кочка на болоте, *keddk* камень, *abbr* дождь, *pinnk* ветер, *roššn* рябина, *luemman* морошка, *sarr* черника, *jonng* брусника, *kumpar* гриб, *murr* дерево, *kettk* росомаха, *nugkeš* щука, *šappš* сиг, *allt* важенка, *konnt* олень дикий, *puaz* олень домашний; 2) хозяйственная деятельность: *sajjm* сеть, *cedz* краска для сетей, *ollk* вешала для сетей, *njamm* клей, *čujjke* ходить на лыжах, *kimnnj* котел, *vjarr* суп; 3) соматическая лексика: *kuttk* сердце, *nirr* щека, *kajjp* подбородок, *čoaivv* живот; 4) глаголы: *kippte* варить, *tullte* кипеть, *kirrte* лететь, *kuarkte* хвастать, *lujjhke* плакать, *nisse* целоваться, *njuččke* прыгать, *čaccke* бросать, *tommte* узнавать; 5) другая лексика: *kuras* пустой, *modžes* красивый, *sejjd* божество, *cigk* туман, *munnj* мороз и т. д.³

При компьютерной обработке свода саамской топонимии, собранной К. Никкулем в районе Печенги и насчитывающей 1555 топонимов, по частотности употребления в составе топонимов субстратные лексемы распределились следующим образом: *njarrk* мыс – 93, *suel* остров – 75, *koshk* сухой – 30, *uts* маленький – 29, *kuorb* пожара – 28, *moorast* гора, гряда – 27, *jonn* большой – 21 и т. д.⁴

Антропологически саамы в отличие от других прибалтийско-финских народов принадлежат к монголоидной расе, приближаясь по этому признаку к марийцам и удмуртам⁵.

Как известно, в прибалтийско-финских и саамском языках имеются балтийские (литво-латышские) заимствования⁶. В саамский язык они проникли через прибалтийско-финские языки.

Особенно велико было влияние на прибалтийско-финские и саамский языки германских (скандинавских) языков. По подсчетам ученых, в диа-

лектах саамского языка насчитывается до 3000 заимствований. Имеется огромная литература по данному вопросу. Р. Нисканен подготовила Библиографический указатель, насчитывающий свыше 600 работ⁷.

С XI в. саамы вошли в соприкосновение с русскими. Поскольку заимствования из русского языка на первоначальном этапе проходили на уровне диалектной речи, в саамский язык заимствовались слова, находящиеся на периферии русского литературного языка, например: *sule* бутылка (ср. рус. сулея – штоф, бутылка), *buhmarne* пасмурный (ср. рус. бухмарный – пасмурный, облачный), *domvei* надгробье (ср. рус. домовина – гроб), *sulem* ядовитый (ср. рус. сулема – ядовитый белый порошок), *koadte* брюки (ср. рус. гачи – штаны) и др. Древние русские заимствования настолько прочно вошли в саамскую речь, что подчиняются просодическому признаку – чередованию ступеней согласных.

Заимствованная лексика в определенной мере может пролить свет на относительную хронологию контактирования. Так, в прибалтийско-финских языках в свое время произошел переход *ti > si*, например, финское *silta* из балтийского (литовское) *tiltas*; в саамском языке в соответствующих словах такой переход также произошел, ср. саамск. (кильдиск.) *šallt* пол. Этот факт говорит о том, что саамские племена разошлись с прибалтийско-финскими **после того**, как в прибалтийско-финском и саамском языках произошел переход *ti* в *si*.

После распада прибалтийско-финско-саамской общности в прибалтийско-финских языках произошел переход *s > h*. Приведем примеры литво-латышских заимствований: фин. *halla* заморозки, ср. саамск. *sulln* изморось, фин. *lohi* лосось ср. саамск. *luss*, фин. *heinä* ср. саамск. *suijn*, фин. *heimo* племя, ср. саамск. *suijn* сход, собрание, фин. *pühä* святой, ср. саамск. *pass* и т. д. Как видно из примеров, в саамском языке такого перехода не произошло, то есть саамский и прибалтийско-финские языки разошлись **до того**, как в прибалтийско-финских языках этот переход совершился.

Таким образом, в настоящее время в зависимости от характера лексики, фонетических изменений, происходивших после распада прибалтийско-финско-саамской общности, имеются достаточно четкие критерии идентификации саамской топонимии. Поскольку ареал саамской топонимии распространен в различных этнических и культурно-исторических зонах, целесообразно, на наш взгляд, проанализировать «встроенность» саамской топонимии в язык-приемник, выявить специфику адаптации в каждом заимствующем языке. Априорно, учитывая обширность территории, можно утверждать, что хронологически эти процессы в каждой зоне не могли протекать одновременно и однотипно.

Условно можно выделить следующие зоны адаптации:

1. Территория Архангельской и отчасти Вологодской и Ленинградской областей или Европейский Север России. Здесь элементы саамской топонимии сохранились в адаптированном русском языке виде. «Живая» вепская топонимия функционирует в районах расселения вепсов Вологодской и Ленинградской областей. Поскольку наряду с саамской топонимией в данном ареале явно прослеживается прибалтийско-финский пласт, возникает вопрос, была ли эта зона былого единства прибалтийских финнов и саамов или хронологически первыми насельниками были протосаамы.

2. Карелия. Исторические процессы взаимодействия саамов, карел и русских проходили здесь уже в период «писанной» истории и имеют документальные и иные свидетельства.

3. Финляндия. Саамская топонимия сохранилась в этом регионе, адаптированная диалектами северной группы прибалтийско-финских языков – карельским и финским. По существу, здесь проходили процессы, аналогичные карельским до прихода русских.

4. Кольский полуостров. Проникновение русских, в частности новгородцев, на территорию Кольского полуострова относится к первой половине XI в. К XV в. русские прочно осели на Терском берегу Кольского полуострова, где в это время от Кандалакши до Варзуги были поселения карел и, судя по топонимии, саамов⁸. Конечно, четкие границы между этими зонами провести невозможно.

Мы не рассматриваем территорию северной Скандинавии, поскольку не располагаем соответствующими материалами.

1. Европейский Север России. Как и в каждом исторически сложившемся регионе, наиболее древний страт этимологически не реконструирован. Следующим в хронологическом отношении можно считать слой саамской (лопарской) топонимии. Кому принадлежит эта топонимия – протосаамам или «финноугризированным» саамам – науке предстоит решить в будущем.

Выдвинутая еще в XIX в. А. И. Шегренем и М. А. Кастреном и нашедшая поддержку в работах М. Фасмера и А. И. Попова идея о пребывании саамов в бассейне Северной Двины получила дополнительную аргументацию в работах А. К. Матвеева.

В топонимии явно прослеживаются следы как саамского, так и прибалтийско-финских языков. Собственно саамская топонимия идентифицируется субстратным слоем лексики. Приведенные А. К. Матвеевым материалы свидетельствуют, что саамская топонимия могла восприниматься как русским языком, так и прибалтийско-финскими. Такие топонимы, как Няльмозеро, Нюхчручей, Енгозеро,

Тохтозеро, могли возникнуть при прямом заимствовании из саамского, ср.: *njallm* устье; рот, *njuhħč* лебедь, *jonng* брусника, *tohht* гагара. Топонимы типа Чухченема, Лумплахта первоначально могли быть заимствованы прибалтийскими финнами у саамов (ср. саамск. *čuhħč* глухарь, *luetman* морошка и финское *net* из *niemi* мыс и *lahti* залив) и впоследствии русскими у прибалтийских финнов⁹.

Субстратные саамские топонимы в русском употреблении, естественно, прошли фонетическую и морфологическую адаптацию в соответствии с законами русского языка.

Важным свидетельством пребывания этноса на той или иной территории являются исторические источники, а также топонимы, в основе которых лежат этнонимы — названия национальных общностей.

О пребывании саамов на восточной окраине Европейского Севера России имеются косвенные сведения. Так, Т. Лукьянченко пишет: «Современное население п-ва Канин, так называемых канинских ненцев, еще в начале нашего века соседние русские и коми называли лопарями. Кроме того, некоторые особенности культуры канинских ненцев сходны с саамскими. Так, очень похожи головные уборы канинских ненцев и саамов. Лодка, которой пользуются канинские оленеводы во время перекочевок, напоминает по форме лопарскую кережу. Интересна также и ненецкая промысловая обувь — тоборки с отрезными голенищами, как бы пришитыми к саамским каньгам»¹⁰.

Саамская топонимия в качестве субстрата функционирует в составе вепсской топонимии в бассейне р. Ояти¹¹. Адаптированная русским языком, она представляет собой факт русской речи. Поскольку саамский язык структурно во многом совпадает с вепским, топонимические модели этих языков в большинстве своем идентичны. Интересно отметить, что саамские лексемы в составе вепского топонима не переводятся. При адаптации вепсской топонимии русским языком перевод отдельных лексем — обычное явление.

2. Карелия. О пребывании саамов на территории Карелии помимо топонимических данных свидетельствуют письменные памятники, устные предания, археологические находки, этнографические сведения и этнонимия¹². Первоначальный письменный документ о саамах на территории Карелии имеется в записи святого Лазаря Мурманского, называемого также Муромским, который основал Успенскую церковь на Мурманском острове Онежского озера, чтобы обращать в христианство саамов, живущих неподалеку. Вот что он сообщает: «А живущие тогда именовались около озера Онега *Лопляне* и *Чудь*, страшные сыроядцы близ места сего живяху....»¹³ Как видно из записи, саамов (лопляне) и вепсов (чудь) уже идентифицировали как самостоятельные этносы.

Живая память народа донесла сведения о пребывании саамов на севере Карелии. Так, в 1947 г. В. Евсеев записал от сказительницы Марии Михеевой (род. в 1885 г. в дер. Алаярви ныне Калевальского района) два предания о пребывании саамов (лапландцев) в этих местах¹⁴. Из текстов можно узнать, что саамы «жили в землянках», «запускали невод», «строили запруды», были православными: «они осенили лицо крестным знамением».

Важным доказательством пребывания саамов в Карелии являются археологические памятники. Свообразными и характерными памятниками саамского этноса являются сейды. Сейдами, по утверждению Т. Итконена, саамы называли выделяющиеся по размерам или по форме камни или скалы, в которых, по их представлениям, жили боги или духи, а также пни и деревянные столбы, которые посвящали богам¹⁵ (подробно о сейдах в Карелии см. статью И. С. Манюхина «Культовые места саамов в Карелии»¹⁶). В связи с сейдами интересно отметить, что рядом с этими культовыми местами, как правило, наблюдается скопление саамской топонимии.

Уместно также напомнить, что Д. В. Бубрих, занимаясь этнонимией Карелии, обратил внимание, что некоторые карелы своих северных соседей называли «лаппи»¹⁷.

В ономастике важно не только то, как называют тот или иной объект или этнос, но и кто называет. Как справедливо заметил известный исследователь топонимии А. И. Попов, «местные названия, связанные с племенными, возникают чаще всего в областях соприкосновения двух или нескольких племен»¹⁸. Племенные названия возможны только в том случае, когда один этнос четко идентифицирует себя по отношению к другому, причем это название часто может не совпадать с самоназванием этноса. Саамы себя называют *saam*, *saabme*.

А. И. Попов приводит извлеченные из «Писцовой книги Обонежской пятины» названия населенных пунктов с компонентом *лопь* на территории Карелии: «деревня Лопинская (погост Спасской в Кижях)», «Деревня в лопском конце на Куко-озери». Есть в писцовых книгах (Вотская пятина) и такие указания: «в Вотцкой пятине город Орешек... На Корельской стороне 12 дворов, а на Лопьской 72 двора»¹⁹.

Следы саамской топонимии равномерно распределены по всей территории Карелии. Причем сколки саамской топонимии, вкрапленные в русские названия, идентифицируются субстратной саамской апеллятивной лексикой, например: Ваджега (ср. саамск. *vuotttššu* болотистая местность с цепью озер; ср. также *vadž* важенка, самка оленя), Няльмозеро (ср. *njallm* устье, глотка), Навдьозеро (ср. *navvd* волк, зверь), Нюхчозеро (ср. *njuhħč* лебедь) и др.²⁰

Саамские лексические основы широко представлены в карельских топонимах. Собственно карельская топонимия поглотила саамскую. Наиболее полно саамские элементы сохранились в гидронимии. В. Лескиннен приводит примеры: *Lužmandjogi* Лужма река (ср. *lussm* исток реки), *Nälmadjogi* Нялма река, *Lubosalma* Лубосалма пролив (*luobbal* проточное озеро). По утверждению В. Лескинена, в Карелии имеется около 800 гидронимов с саамскими вкраплениями²¹.

3. Финляндия. Исследование саамской топонимии Финляндии связано прежде всего с именем Т. Итконена. Уже в 1920 г. в журнале «*Virittäjä*» появилась его статья о саамских топонимах субстратного происхождения на территории распространения диалектов финского языка²². По утверждению Т. Итконена, если саамское слово или часть слова были знакомы, то оно переводилось на финский язык например: *Hietajärvi* – *Vuodasjäuri* (*hieta* – *vuodas* песок), *Jäniskoski* – *Njoammelkuošk* (*jänis* – *njuemmel* заяц), *Saariselkä* – *Sueločielt* (*saari* – *suelo* остров). В 1926 г. в этом же журнале было опубликовано дополнение, содержащее 13 топонимов²³.

Т. Итконен провел уникальное по своей скрупулезности исследование, зафиксировав на карте Финляндии топонимы, обусловленные апеллятивной и этнонимной лексикой. Так, на территории Финляндии он выявил и зафиксировал на карте 575 топонимов с компонентом *lappi*. Причем, число таких топонимов в ходе дальнейших разысканий, по его мнению, будет увеличиваться. Автор утверждает, что все эти названия связаны с саамами не только как насельниками этих мест, но и торговцами и налогоплательщиками. На другой карте им отмечено до 900 топонимов с саамскими компонентами²⁴.

4. Кольский полуостров. Центральная, северная и восточная его части, по всей вероятности, напрямую адаптировались русской топонимией. На западной и южной (Терский берег) частях до прихода русских предположительно проживали карелы и финны²⁵.

Длительные контакты русских с саамами придали колорит русской топонимии Кольского полуострова. Несомненно, что саамы не были первыми насельниками полуострова. Так, Т. Итконен приводит до 80 употребляемых саамами на севере Финляндии топонимов, по его мнению, заимствованных от прежнего населения и не понятных саамам, например: *Anar*, *Jehkatš*, *Kuivi*, *Lemme*, *Nuvvus*, *Roiro* и др. Часть из них саамского происхождения, но со временем они могли исчезнуть, сократиться, износиться²⁶.

Адаптационные процессы в топонимии между родственными языками и разносистемными протекают различно. При взаимодействии русской и

саамской топонимии наблюдается не только значительный разброс моделей адаптации, но и различная степень фонетической, грамматической и лексической освоенности заимствованной топонимии.

Можно выделить следующие основные способы или модели освоения саамской топонимии русским языком. Первый – естественный и довольно распространенный – это передача звукового облика саамского топонима средствами русской фонетики в устной речи и русской графики на письме. Звуковой комплекс, воссоздающий саамский топоним, в русском восприятии, понимается, не несет никакой информации (если собиратель топонимии или слушающий не владеет саамским языком), кроме как наименование определенного объекта. Это название-слово для русского неразложимо ни на отдельные лексемы, ни на морфемы. Примеры: Айтсуол – остров (ср. *ajhht* амбар, *suel* остров), Валеслухт – залив (ср. *vales* кит, *luht* залив), Ньюммельчуолм – пролив (ср. *njuemmelj* заяц, *čuelljm* пролив) и т. д. Сюда можно отнести случаи транслитерации однокоренных саамских лексем: Поной – река (ср. *pienne* собака).

Второй способ адаптации саамской топонимии – полуперевод топонимов, в результате чего появляются так называемые гибридные образования. Переводится, как правило, детерминант, то есть слово, обозначающее вид объекта, а атрибут – определение – не переводится: Мончегуба – залив (ср. *modžes* красивый), Няльмозеро (ср. *njallm* пасть, устье) и т. д.

Наконец, употребительны случаи перевода всех компонентов топонима: *Vureč-luhht* – Вороний залив, *Karabnjarrk* – Корабельный наволок, *Nukkešjavr* – Щучье озеро, *Supprinnt* – Осиновый берег, *Pienneluhht* – Собачья губа и т. д.

Различные способы адаптации зависят, естественно, от степени взаимного владения языками контактирующих сторон, от способа отразить значение лексем и структуру заимствуемой топонимии средствами своего языка, «встроить» их в свою систему.

Таким образом, при выявлении саамского субстрата необходимо, во-первых, четко идентифицировать хронологические пласты саамской апеллятивной лексики: 1) субстратный, не имеющий соответствий в современных живых языках, 2) прибалтийско-финско-саамский, 3) заимствованная лексика (литво-латышская, германо-скандинавская, славянская). Во-вторых, следует учитывать специфику адаптации саамской топонимии родственными и иносистемными языками.

При выявлении саамского субстрата было бы полезным наложение сетки компонентов современной саамской топонимии района Петсамо на исследуемый ареал. При компьютерной обработке массива саамской топонимии района Петсамо (1555 топонимов) нами было выявлено 838 лексем (этимологизируемых и неизвестного происхождения) и определена частотность их употребления²⁷.

Данные топонимии могут помочь в разрешении вопроса о месте и относительной хронологии соприкосновения саамов с прибалтийскими финнами и вхождению их в финно-угорскую семью.

Существенные результаты могут быть достигнуты при сопряжении топонимии с археологическими памятниками и данными краниологии.

В. И. Хартанович, исследуя древние и современные антропологические типы Северо-Запада России и Фенноскандии, пришел к выводу, «что длительные контакты саамов и карел оставили следы не только в языке и культуре, но и в антропологическом облике обоих народов»²⁸. Поскольку саамы антропологически в отличие от прибалтийских финнов – европеоидов принадлежат к монголоидной расе, краниологические находки являются наиболее существенными при идентификации этноса.

¹ Бубрих Д. В. О советском финно-угроведении // СЭ. 1949. № 2. С. 192.

² Itkonen T. I. Suomen lappalaiset vuoteen 1945. I. Porvoo–Helsinki, 1948. S. 165.

³ Op. cit. S. 165–167.

⁴ Керт Г. М. Применение компьютерных технологий в исследовании топонимии (прибалтийско-финская, русская). Петрозаводск, 2002.

⁵ Марк К. Ю. Соматология финнов и саамов // Финно-угорский сборник. Антропология. Археология. Этнография. М., 1982. С. 127.

⁶ Kalima J. Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat. SKST 202. Helsinki, 1936.

⁷ Нисканен Р. А. Германские заимствования в прибалтийско-финских и саамском языках: Библиографический указатель // Прибалтийско-финское языкознание: Вопросы взаимодействия прибалтийско-финских языков с индоевропейскими языками. Л., 1971.

⁸ Ушаков И. Ф. Кольская земля. Мурманск, 1972.

⁹ Матвеев А. К. Этимологизация субстратных топонимов и моделирование компонентов топонимических систем // Вопросы языкознания. 1976. № 3. С. 65–66.

¹⁰ Лукьянченко Т. В. Этногенез саамов // Этногенез народов Севера. М., 1980. С. 28–40.

¹¹ Муллонен И. И. Гидронимия бассейна реки Ояты. Петрозаводск, 1988. С. 74–84.

¹² Керт Г. М. Саамские элементы в топонимии Карелии // Рябининские чтения – 95. Петрозаводск, 1997.

¹³ Харузин Н. Н. Русские лопари (Очерки прошлого и настоящего быта). М., 1890. С. 18.

¹⁴ Евсеев В. Я. Карельский фольклор. Новые записи. Вступительная статья, подготовка текстов и примечания В. Евсеева. Петрозаводск, 1947.

¹⁵ Itkonen T. I. Suomen lappalaiset vuoteen 1945. II. Porvoo–Helsinki, 1948. S. 310.

¹⁶ Манюхин И. С. Культурные места саамов в Карелии // Прибалтийско-финские народы России. М., 2003. С. 125–135.

¹⁷ Бубрих Д. В. Указ. соч. С. 192.

¹⁸ Попов А. И. Непочатый источник истории Карелии (Карельская топонимика) // Родные сердцу имена (Ономастика Карелии). Петрозаводск, 1993. С. 59.

¹⁹ Попов А. И. Указ. соч. С. 59–60.

²⁰ Керт Г. М. Некоторые саамские топонимические названия на территории КАССР // Вопросы языкознания. 1960. № 2. С. 86–92.

²¹ Лескинен В. О некоторых саамских гидронимах Карелии // Прибалтийско-финское языкознание: Вопросы фонетики, грамматики и лексикологии. Л., 1967. С. 79–88.

²² Itkonen T. I. Lappalaisperäisiä paikannimiä suomenkielen alueella // Virittäjä. 1920. № 1–2. S. 1–11.

²³ Itkonen T. I. Lisiä Keski- ja Etelä Suomen lappalaisperäiseen paikannimistöön // Virittäjä–Suomen. 1926. S. 33–35.

²⁴ Itkonen T. I. Suomen lappalaiset vuoteen 1945. I. 589 S. II 631 S. Porvoo–Helsinki, 1948. S. 97–107.

²⁵ Керт Г. М. Характер топонимии юго-западного ареала Кольского полуострова // Etudes Finno-Ougrienne. 1977. Т. 14. S. 141–145; Он же. Субстратная топонимия Терского берега Кольского полуострова // Прибалтийско-финское языкознание: Вопросы лексикологии и лесикографии. Л., 1981. С. 64–68.

²⁶ Itkonen T. I. Suomen lappalaiset vuoteen 1945. II. Porvoo–Helsinki, 1948. S. 521–522.

²⁷ Керт Г. М. Применение компьютерных технологий в исследовании топонимии (прибалтийско-финская, русская). Петрозаводск, 2002. С. 145–167.

²⁸ Хартанович В. И. Древние и современные антропологические типы Северо-Запада России и Фенноскандии // Очерки исторической географии. СПб, 2001. С. 505.

© Н. Н. Мамонтова
Петрозаводск

К вопросу о нормализации карельских и русских географических названий Карелии

Географические названия, являясь своеобразными памятниками истории, языка и культуры народов, их создавших, отражают физико-географические особенности края, историю его заселения, условия жизни и основные занятия жителей, их мировоззрение, верования и многое другое. Однако основной функцией любого топонима была и остается адресная: названия возникают и существуют прежде всего для ориентирования на местности. Этим обусловлено их огромное практическое значение, особенно в жизни современного общества: для органов государственного управления, транспорта, связи, других учреждений и организаций, ведомств, да и для каждого, живущего на земле, так как крайне важно, чтобы адрес был точным.

Именно поэтому вопросы нормализации (упорядочения написания) русских и иноязычных топонимов, создание инструкций по русской передаче нерусских названий, нормативных словарей-справочников останутся актуальными для ряда территорий многонациональной России, включая Республику Карелия.

Инструкции и словари, как правило, утверждались органами власти и, получив статус нормативных документов, являлись обязательными для всех юридических и физических лиц бывшего Советского Союза.

Созданию инструкций и словарей, разработке рекомендаций по написанию и употреблению названий мест предшествует исследовательская работа. К настоящему времени существует ряд инструкций по передаче на русский язык нерусских топонимов, в том числе финно-угорских (удмуртских, марийских, мордовских, эстонских). Все они были утверждены Главным

управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР (с припиской: «Обязательны для всех ведомств и учреждений СССР») и согласованы с Президиумами Верховных Советов Эстонской ССР и соответствующих автономных республик¹.

В Карелии для передачи карельских, вепсских и финских географических названий на русский язык разработаны пока только «Правила написания названий населенных мест Карельской АССР», утвержденные Президиумом Верховного Совета КАССР 23 мая 1958 г.²

Эти правила определенным образом способствовали нормализации прежде всего названий населенных пунктов – ойконимов с учетом сложившихся давних традиций их употребления на русском языке. Названия поселений составляют особый топонимический пласт в силу исключительного характера именуемых объектов и той роли, которую они играют в жизни любого общества. Ойконимы чаще, чем все другие названия мест, употребляются жителями края и за его пределами, хотя зачастую они являются вторичными, производными от названий физико-географических объектов, при которых расположены: река и с. Шуя, река и пос. Суна; ср. также названия населенных пунктов: Сямозеро, Ведлозеро, Кизрека, Рыбрека, Вехручей, Ламбасручей, Выгостров, Юркостров, Виллагора, Соймигора, Койвусельга, Гомсельга, Черный Порог, Кривой Порог, Великая Губа, Пергуба, Верхняя Ламба, Ахвенламби, Святнаволок, Щукнаволок, Сяргилахта, Чуралахта и т. д.

Большая часть топонимов Карелии нерусского происхождения заимствована русским населением от местных жителей края устным путем в процессе непосредственного живого их общения. Письменные традиции передачи прибалтийско-финских ойконимов Карелии на русский язык складывались на протяжении длительного времени. Наиболее полно топонимия Карелии представлена в документах XV–XVIII вв., ценнейшими из которых являются писцовые книги. Обычной формой записи поселений в них является описание местоположения: деревня (починок, волостка) при таких-то реке, озере, горе, заливе и т. п. (следуют названия этих объектов) и далее перечисляется еще несколько поселений (без названий), расположенных по соседству: «поч. в Нялмонаволоке над Вемозером», «поч. на Суне под Кивачом порогом», «дер. у того же озера на Сал-острове». В некоторых случаях приводится местный ойконим после слова «словет»: «дер. на Олонце реке на низу словет на песку» (< кар. *liete* ‘песок’). Часто указывается имя владельца или первопоселенца: «дер. на Видлице Ермолкино посиденье...», «дер. Карпиково посиденье...» и т. д. В писцовых книгах XVIII в. число ойконимов в традиционном понимании возрастает: «волостка Ондозеро», «волостка Сяргозеро» и т. д., что свидетельствует о большей формализации названий поселений.

Следует отметить, что Карелия представляет собой особый регион, своеобразную естественную лабораторию процесса усвоения местных названий русским языком. При этом выделяются три зоны. В восточной (Заонежье, Беломорье, Пудожский край) этот процесс уже завершился, и можно говорить о прибалтийско-финско-саамском субстрате в топонимии: Водла, Вирма, Воренжа, Колежма, Кузаранда, Нигижма, Пегрема, Рагнукса, Сондалы, Сума, Челмужи, Яндомозеро. В Северо-Западном Приладожье, вошедшем в состав Карелии после военных действий 1939–1944 гг., неоднократно происходила смена населения, и сейчас практически здесь не осталось коренных местных жителей. Большинство топонимов Приладожья при передаче на русский язык транслитерированы, максимально приближены к оригиналу с сохранением прежней финской огласовки: Вааранкюля, Импилахти, Керисюръя, Лахденпохья, Леппясюръя, Мантсинсаари, Отсанлахти, Уусикюля, Хелюля, Хямекоски, Яккима и др. На территории, расположенной между двумя вышеупомянутыми, до сих пор проживают потомки древнего прибалтийско-финского населения. Топонимия ее существует на двух уровнях: официальном (на русском языке) и неофициальном (на языке местных жителей – карел и вепсов): Березовая Гора – Koivahanmägi, Вехручей – Vehkoja, Вокनावолок – Vuokkiniemi, Гушкала – Huškala, Мунозеро – Mund'ärvi, Намоево – Nuamoilu, Лисья Сельга – Reboiseltgi, Тигверы – Tihveri, Реболы – Repol'a, Юккогуба – Prokko'l'a.

Несмотря на столь давние, устоявшиеся традиции усвоения местных названий русским языком с их фонетическим, морфологическим и лексическим типами адаптации, до сих пор имеют место случаи разного написания ойконимов, например, Кудама и Кудома, Таунан и Тоунан, Куркиёки и Пийтсийоки, Юргелица и Юргилица, Куокканиэми и Палониэми. Видимо, сказывается диалектная раздробленность карельского языка, бывшего до недавнего времени бесписьменным, неодинаковое восприятие этими диалектами влияния русского языка и, как следствие, – разное произношение и написание местных названий (например, озвончение глухих согласных), не совсем адекватная передача русским языком долгих гласных, гласных переднего ряда ä, ö, ü, дифтонгов и удвоенных согласных, сочетания гласных ie как ие и как из: Гимолы – Himol'a, Гомсельга – Honguseltgi, Кереть – Kieretti, Паданы – Paatene, Пулонга – Puulonki. Являются ли названия Костомукса (Суоярвский район) и Костамукша (Калевальский район) отражением диалектных особенностей карельского языка или же результатом не совсем верного воспроизведения по-русски двух одинаковых названий?

В настоящее время к существующим проблемам передачи на русский язык карельских названий мест прибавились новые, привлекавшие особое внимание со стороны властных структур и общественности. Это связано непосредственно с воссозданием карельской письменности и

ростом национального самосознания карел³. На первый план выдвинулась проблема употребления на официальном уровне, наряду с русскими, исконных карельских названий в местах компактного проживания карельского населения, придания им статуса официальных. При этом следует учитывать, что на сегодня в Карелии существуют и развиваются два письменных языка: для карел-ливвиков и собственно карел (о карелах-людиках речь вообще не ведется), поэтому одинаковые карельские названия графически оформляются по-разному: Юляярви – *Üläjärvi* и *Yläjärvi*.

При нормализации карельских названий мест следует определиться, что считать официальной формой топонимов – полную (*Rugajärvi*, *Hiižijärvi*) или краткую, употребляемую гораздо чаще (*Rugarvi*, *Hiižarvi*). Высказывалось мнение, что «действительной официальной формой ойконима, как и всякого другого топонима, необходимо считать название, которым пользуется сам народ», но насколько оно правомерно⁴. А если в народе употребляется не одна, а несколько форм названия, какую из них выбрать в качестве основной (*Lindujärvi* или *Lindäarvi* – для гидронима; *Lindujärvi*, *Lundujärvenküla* или *Lindäarvi*, *Lindarvenküla* – для ойконима)? Как быть с диалектными вариантами целого ряда местных географических терминов, которые в качестве составной части представлены в названиях мест, например, *voara*, *vuara*, *vaara*, *vuaru* ‘гора, возвышенность’ или *šelkä*, *šelgä*, *selgä*, *selgü*, *sel’g(e)* и т. д. ‘кряж, возвышенность, холм, гора’; *sar’*, *suari*, *suar’(i)*, *soar’i*, *šoari* ‘остров’⁵? Какие из них унифицировать с учетом существования в настоящее время двух письменных языков у карел? «Как для теоретического языкознания, так и для практических потребностей всегда остается актуальным вопрос выбора нормативной, наиболее стабильной формы топонима из ряда варьирующих модификаций»⁶. Возникают и другие проблемы нормализации карельских названий мест.

Особо следует сказать о топонимах Карелии, представленных на картах и атласах, которые в большом количестве издаются в последнее десятилетие разными организациями и турфирмами со множеством ошибок в написании названий, особенно физико-географических объектов⁷. Так, на территории Сямозерья (южная Карелия) одни и те же названия (одного происхождения) пишутся даже на одной карте на русском языке по-разному: н. п. Вендеры при оз. Вендюрском; р. Соуда и оз. Совдозеро; ур. Онгамукса при оз. Онга-Мукса; озера Ротчозеро и Ниж. Ротчезеро; р. Ротчозерка и Ротчезерка; н. п. Сяпчезеро при оз. Сяпчозеро; руч. Питкоя и Питкооя; н. п. Миккелица при оз. Миккильское; г. Муставаара, ср. н. п. Хаутаваара; р. Вилайоки, ср. н. п. Виллагора; оз. Мустуярви, бол. Мустусуо, руч. Мустоя и т. д.

Карельские названия, неадекватно переданные на русском языке, вносят определенный разноречивый и путаницу: оз. Сюевярви и Сюеваяви (< кар.

Sivä/järvi ‘глубокое озеро’), оз. Хавгелампи (< кар. *Haugi/lambi* ‘щучье озеро’), бол. Очусуо [< кар. *Očči/suo* ‘переднее (находящееся перед чем-либо) болото’], Дегчилампи, Деученлампи, Йочъярви (< кар. *joučči, d’oučči, jowcen* ‘лебединое озеро’), н. п. Погьялахта (< кар. *Pohja/lahti* ‘северный залив’). Нередко встречаются явные описки, например, н. п. Эссоила, ст. Эсойло; г. Кутажма и р. Кутижма, н. п. Кутижма; Вехкусельга и Вехкимяги (< кар. *vehku* ‘вахта, водяной трилистник’), н. п. Хаутоваара и Хаутаваара (< кар. *haudu, hauta* ‘яма’ и *vuaru* ‘гора’); Талвесуо (< кар. *talvi* ‘зима’, *suo* ‘болото’), Суури Савнъярви и Суври Савнъярви (< кар. *Suuri Sävnyjärvi* ‘Большое Язь-озеро’), Тервалампи и Тервуоски [< кар. *terv(a, u)* ‘смола’, *koski* ‘порог (в реке, озере)’] и т. д.

Следует отметить, что у карел-ливвиков, проживающих на территории Сямозерья по соседству с карелами-людиками и суоярвскими карелами, для обозначения небольшого лесного озера (обычно непроточного) существует географический термин *lambi*, а для реки – *jogi, d’ogi*. Вместо соответствующих им русских терминов ламба, ёги, дёги в ряде названий на картах употреблено иное написание (лампи, ёки, йоки), что более соответствовало бы финскому источнику, но вряд ли это обстоятельство служит свидетельством пребывания финского населения на указанной территории. По всей видимости, подобное написание – отголосок того времени, когда финский язык, наряду с русским, выполнял роль второго официального языка в Карельской АССР. Ср. р. **Вилайоки** близ горы **Виллямаги** (< кар. *Villanjogi, Villanmagi*), а также Дёучой лампи (< кар. *D’oučoilambi*) и др.

Итак, становится очевидной необходимость давно назревшего упорядочения употребления географических названий Карелии как на русском языке, так и на карельском, вепсском, финском языках. Следует проводить эту работу с широким обсуждением основных принципов нормализации топонимии Карелии, учитывая письменные нормы карельского и вепсского языков, подготовив одновременно инструкцию по передаче карельских, вепсских и финских названий мест на русском языке.

Необходимо также создание нормативного словаря-справочника географических названий Карелии не только на русском языке, но и с карельскими, вепсскими, финскими соответствиями там, где они имеются⁸, в единой нормализованной форме, которая должна основываться на письменных традициях названных языков. В словаре должны быть указаны также тип объекта, его административная принадлежность, а в заключение следовало бы привести народные неофициальные формы и варианты названий. Такого справочника давно ждут работники средств массовой информации, почтовой связи, транспорта и других служб и ведомств.

После утверждения словаря и инструкций соответствующими органами власти географические названия Карелии должны быть обязательны для употребления всеми без исключения в том виде, в каком они будут представлены в словаре-справочнике.

¹ Инструкция по русской передаче географических названий Мордовской АССР. М., 1971; Инструкция по русской передаче географических названий Эстонской ССР. М., 1972; Инструкция по русской передаче географических названий Удмуртской АССР. М., 1973; Инструкция по русской передаче географических названий Марийской АССР. М., 1979.

² Карельская АССР. Административно-территориальное деление (на 1 января 1973 г.). Петрозаводск, 1973.

³ Все, что говорится о карельских названиях, относится в равной мере и к вепсской топонимии.

⁴ Рубцова З. В. О словарях названий населенных пунктов Витебской и Брестской областей БССР Е. И. Рапановича // Прикладная топонимика: Сб. научных трудов ЦНИИГАиК. Вып. 230. М., 1981. С. 113.

⁵ Мамонтова Н. Н., Муллонен И. И. Прибалтийско-финская географическая лексика Карелии. Петрозаводск, 1991.

⁶ Рубцова З. В. Варьирование и норма белорусской и русской топонимии: Науч. доклад по опубликованным трудам, представленным к защите на соискание учен. степ. канд. филологических наук. М., 1993. С. 3.

⁷ Карельская АССР. Карты... М., 1984; Атлас Карельской АССР. М., 1989; Российская Федерация. Республика Карелия. Карты... на 18 листах состояния на 1980–1983 гг. М., 1993; Республика Карелия. Топографическая карта. М., 1997; Республика Карелия. Южная часть. 2004.

⁸ Ранее в 1928 и 1935 гг. были изданы: «Список населенных мест Карельской АССР (по материалам Переписи 1926 г.)» и «Список населенных мест Карельской АССР (по материалам Переписи 1933 г.)», где ойконимы приводились на русском, карельском или вепсском и финском языках, но, к сожалению, со множеством неточностей и ошибок.

© З. В. Рубцова
Москва

Историко-языковедческая незащищенность географических названий

Написание топонимов в отличие от нарицательных существительных нередко зависит не от современных орфографических норм, а от **официальной формы** географических названий. Так, написание *Вышний Волочок* (см. «Списки населенных мест Российской империи, т. 43. Тверская губерния», ПТРС, 1862, по списку – № 4) полностью соответствует правилам современной орфографии, однако в официальных справочниках административно-территориального деления СССР с 1941 по 1983 г. и РСФСР по 1986 г. включительно значился *Вышний Волочек*, что автоматически свидетельствует о безударности суффикса **-ок** после шипящего согласного, которая опровергается утверждением, опубликованным в

пятом томе БСЭ (М., 1971. С. 575), совмещающим официальное написание с ударением: *Вышний Волочёк*.

Причина официального **-ек** на месте орфографически правильного **-ок** прозрачна. Написание после 1917 г. стало зависеть от людей, далеких от века Просвещения: под суффиксом **-ек** подразумевается **-ёк**. Поэтому по сию пору на всех картах Тверской области или России пишется *Вышний Волочек*. Так же город *Вышний Волочек* и пристань *Вышний Волочек* значатся в энциклопедическом справочнике «Тверская область» (Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1994), подготовленном администрацией и архивным отделом Тверской области.

Попутно следует заметить, что областные справочники административно-территориального деления, будучи официальными источниками, готовятся в основном без участия специалистов по русскому языку, исключительно на официальном уровне. По этой причине незащищенность географических названий касается прежде всего несоблюдения орфографических правил, которым обучают в средней школе. Эти правила нередко игнорируются конкретными областными чиновниками, взявшими на себя труд подготовить такой справочник: *Решоткино* – в одной области, *Решеткино* и *Решёткино* – в других; *Батагово* – в одной области, *Ботагово* – в другой (ударным в обоих случаях является, как показывают местные ответы, третий слог); написание *Рождествино* и *Рождествено*, *Спас* и *Спасс*, *Прусы* и *Пруссы*, *Тупицыно* и *Тупицыно* и тому подобные орфографические противоречия характерны для современных российских справочников административно-территориального деления. К тому же некоторые из них недостаточно отредактированы также при сверке списков названий и алфавитных указателей к ним, вследствие чего встречаются противоречия в написании одних и тех же названий: в основном тексте справочника – *Голицыно*, *Трещина*, в алфавитном указателе они же соответственно – *Голицино* и *Терещиха*.

Также вопреки принятым нормам используется или, напротив, отсутствует в написании названий населенных пунктов дефис: в одном и том же областном справочнике можно найти *Медное-Власово*, где «чёрточки» не должно быть, *Снопок Новый*, *Снопок Старый**. То же касается слитного или раздельного написания названий: в одном и том же источнике могут быть представлены такие противоречивые орфографические варианты, как *Новозыбинка* и *Ново-Загарье*, *Ново-Петрово*, *Старотеряево* и *Старо-*

* Где ее употребление оговорено специальными орфографическими правилами.

Черкасово. По-разному оформляются общеизвестные сокращения: *рп* (рабочий поселок), но *р.п.*, *пгт* (поселок городского типа), но *п.г.т.* и т. п.

Последствия неподготовленности тех, кто реально готовит справочники административно-территориального деления, касаются не только орфографии, но и лексики и словообразования. Кроме того, обращает на себя внимание внедрение небывалых прежде типов именования. В особенности это становится заметным, когда возникает необходимость предложить название вновь возникшему населенному пункту. Если прежние названия на Руси исконно были краткими, содержательными (*Азарово, Бель, Красная Горка, Репище* и т. п.), то ныне предлагаемые местными чиновниками наименования нередко каким образом не отвечают исторически сложившимся национальным традициям, например, в разных областях заняли свое место такие поселки, как *Центральное отделение совхоза «Маслово»*, *Железнодорожная казарма 556 км* (шесть слов в имени данного поселка!), *Калужская опытная сельскохозяйственная станция, 20 лет Октября*, поселки *Всесоюзного электротехнического института им. Ленина, Октябрьского отделения совхоза «Пугачевский»*, *Ферзиковского гравино-щебеночного комбината* и многие др.

Нет желания останавливаться на том, что подобные именования являются псевдоназваниями, отражая протокольную скуку повседневности. Важнее показать, что живой топонимический материал раскрывает отношение современного деревенского населения даже к таким церковным именам, как *Ильинский Погост*. Когда называют жителей этого села, то пользуются такими словами, как *ильинопогостцы*, но чаще – *гуслики*, поскольку населенный пункт расположен на речке *Гуслице* и **так** сказать сподручнее. Такое стремление к краткости названия с очевидностью проявляется в способах передачи информации о том, откуда родом жители села: из *Ильинского Погоста*, из *Ильинки*, из *Погоста*, то есть в устной речи два слова названия нередко заменяют одним – *Ильинка* или *Погост* (информация получена от местной средней школы в июле 1997 г.). Нет сомнений: когда слов, как в представленных официальных именах современных поселков стало больше двух, многословное название расподобилось с тем, каким в действительности пользуется местное население, в том числе жители самих поселков.

Некоторые картографические заблуждения также связаны с местной администрацией. Так, замена исторически засвидетельствованного названия речки *Нахабинка* (Московская область) неизвестным коренным жителям гидронимом *Грязева* поддерживается, как утверждают местные краеведы, на официальном уровне.

Удручает незащищенность географических названий при их устном использовании, в частности, дикторы нашего *настоящего*, по его самооценке, радио нередко произвольно изменяют ударение, не уточнив его по существующим словарям: *бомба на берегу реки Маны'ч* (программа «Новости» 16 декабря 2003 г.), но река *Ма'ныч*, озера *Ма'ныч* и *Ма'ныч-Гуди'ло* («Словарь названий гидрографических объектов России и других стран-членов СНГ». М., 1999. С. 241). Официальные справочники административно-территориального деления каждой конкретной территории, к сожалению, традиционно не указывают ударения, хотя именно местные филологи, специалисты в области топонимии, давно с успехом могли бы выполнить подобную работу, от которой заметно повысилась бы общая языковая культура.

Нормализации вновь возникающих географических названий в определенной степени способствует Межведомственная комиссия по географическим названиям, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. № 273. Из 29 ее участников один – языковед (директор Института русского языка РАН А. М. Молдован), остальные представляют различные ведомства России, в силу своих служебных задач соприкасающиеся с географическими названиями.

Работе Межведомственной комиссии помогают своими заключениями о поступающих предложениях сотрудники Картографического отдела ЦНИИ геодезии, аэросъемки и картографии им. Красовского, филологи. Примером такой помощи может служить следующий отзыв о желании администрации одной из областей присвоить своей вновь возникшей деревне наименование *Газонаполнительная станция*: «ЦНИИГАиК не может согласиться с присвоением данной деревне предложенного названия, поскольку географическому объекту присвоено наименование объекта газоснабжения. Подобное использование технической терминологии взамен наименования географического объекта не способствует его отличию от других объектов и их распознаванию, то есть противоречит одному из пунктов статьи 1 Федерального закона от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ „О наименованиях географических объектов“.

В соответствии с той же статьей Федерального закона рекомендуется „*выбор наиболее употребляемого наименования географического объекта...*“, поэтому в качестве варианта для обсуждения предлагаем наименование *Новождамирово*, так как газонаполнительная станция и ее администрация относились к территории дер. *Ждамирово*, вошедшей ныне в черту города. Предлагаемое название соответствует требованиям статей Федерального закона».

Однако иногда случается, что местная администрация не принимает решения Межведомственной комиссии. Так, в 1994 г. поступило предложение назвать вновь возникший населенный пункт словом *Проводник*. В своем заключении о названии ЦНИИГАиК и комиссия указали на многозначность слова: проводником чего будет географическое название – электрической энергии? поезда? идей? Оказалось последнее: имеется в виду проводник идей марксизма-ленинизма. Филологи обратили также внимание на словообразовательное совпадение вероятного названия жителей с именительным падежом предлагаемого «топонима»: житель – *проводник*? жительница – *проводница*? Было рекомендовано также выяснить у коренных жителей, как назывались объекты, находившиеся прежде на месте созданного ныне населенного пункта, и воспользоваться их именами. Но в готовящемся к изданию очередном областном справочнике появился *пос. Проводник...* Несмотря на очевидную многозначность слова большинство опрошенных интерпретирует его как поселок, образованный группой неких *проводников*.

Географические названия – часть языка, на котором мы говорим. Часть нашей Родины, ее истории и самосознания. Необходимо, чтобы официальные справочники административно-территориального деления подготавливали к изданию специалисты, обучавшиеся обращению с географическими названиями со студенческих лет. Если местная администрация не ведет диалога с филологами по поводу качества своей работы, найти с ней общий язык можно с помощью местной прессы.

Литература

Административно-территориальное деление Брянского края за 1916–1985 гг. Т. 1. Тула, 1987; Т. 2. Тула, 1989.

Административно-территориальное деление. Курская область. Курск, 1993.

Административно-территориальное деление Смоленской области: Справочник. Смоленск, 1993.

Калужская область. Административно-территориальное деление на 1 марта 1993 года. Калуга, 1993.

Орловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1976 года. Орел, 1976.

Попов С. А. Ойконимия Воронежской области в системе лингвокраеведческих дисциплин. Воронеж, 2003.

Справочник по административно-территориальному устройству Московской области. М., 1999.

**Реконструкция нарицательной лексики
на материале русской топонимии Карелии
разноязычного происхождения**

Нарицательная лексика играет заметную роль в образовании географических названий. В топонимии сохраняются многие территориально ограниченные слова, которые исчезли или находятся на пути исчезновения из нарицательной лексики говора. Большинство изменений в лексике говоров вызвано внеязыковыми причинами, когда слова исчезают в результате утраты реалий. В русской микротопонимии Карелии сохранился ряд подобных слов-архаизмов. Это лексика, связанная с подсечным земледелием, когда крестьяне выжигали и вырубали лес, корчевали пни для посевов. Многие из этих слов сохраняются только в топонимическом употреблении (*починок, суки, след, угол*). Топонимические материалы нередко указывают на более широкое распространение того или иного термина в прошлом (*дербина, новинка, новочисть, тереб*).

В микротопонимии употребляется значительное количество слов, которые не зафиксированы ни в словарях, ни в памятниках письменности. Не исключено, что некоторые из них выступали в роли русских географических или полеводческих терминов. В этом случае топонимия может быть источником лексических реконструкций.

Субстратные географические названия для реконструкции географической терминологии широко используются А. К. Матвеевым, О. А. Тешуш, И. И. Муллонен¹. При этом справедливо утверждается, что реконструкцией является любая интерпретация субстратного названия как восходящего к географическому термину². Имеются примеры восстановления полеводческой лексики на базе наименований русского происхождения³.

В качестве источника лексических реконструкций в данной работе используются микротопонимы Заонежья и Пудожского района Карелии разноязычного происхождения, извлеченные из документов Национального архива – государственных актов на вечное пользование землей колхозами, материалы по ведению севооборота, закреплению сельскохозяйственных угодий, утверждения внешних границ землепользования колхозов 1930–1950 гг.⁴

Следует отметить, что подобные лексические реконструкции не являются надежными и обладают большей или меньшей степенью вероятности. Таковыми признаются реконструкции лексики, существовавшей ранее, но впоследствии утраченной⁵.

Вероятно, самыми ненадежными будут те реконструкции, которые опираются на единичные топонимические употребления. Так, название пахотного угодья у дер. Костинская Песчанского сельсовета Пудожского района **Верстанки** может восходить к нарицательному **верстанка* ‘песчано-каменистое место’. В медвежьегорских, пудожских, петрозаводских, онежских, тихвинских, череповецких, чудовских, устюженских говорах употребляются однокоренные слова *верста* и *гверста* ‘мелкий камень, щебень; дресва’ (СРНГ IV: 148; СРГК I: 331); в старорусском говоре *гверздянка* ‘участок мелкого леса, где рубят зимой дрова’ (НОС II: 10). Варианты *верста* и *верстанка* возникли в результате упрощения начального сочетания согласных, что связано с влиянием прибалтийско-финских языков, для которых, как и в других финно-угорских языках, характерно отсутствие групп согласных в абсолютном начале слова⁶.

Название сенокосного участка **Лужница** у дер. Карасозеро Заонежского района можно сопоставить с однокоренным *лужник*, бытующим в ярославских говорах в значении ‘небольшой луг, лужайка, лужок’, а в рязанских – ‘сырое болотистое место’ (СРНГ VII: 351). В заонежских говорах могло употребляться нарицательное **лужница* с предполагаемым значением ‘сырое место’. Ср. также **Копняг** – пахотное угодье Костинская, Пудожский район < **копняг* ‘место (какое?)’ – *копня* ‘копна хлеба или сена’ в вытегорских, вознесенских говорах, *копнище* ‘огороженное место в поле, на котором ставятся хлебные скирды’ в тотемских говорах (СРНГ XIV: 292); **Лобозняги** – сельскохозяйственный участок Типиницы, Заонежье < **лобозняг* ‘место (какое?)’ – *лобозник* ‘большое широколистное растение, растущее на пожнях’ в петрозаводских говорах (СРНГ XVII: 97); **Пурховье** – пахотное угодье Каршевская, Пудожский район < **пурховье* ‘место обитания птиц?’ – *пурховище* ‘излюбленное место обитания птиц’ в свердловских и вятских говорах (СРНГ XXXIII: 138); *пурхать* ‘порхать, перелетать’ в медвежьегорских и прионежских говорах (СРГК V: 352).

Высокая частотность в топонимическом употреблении позволяет говорить о более надежной реконструкции. Так, пудожские и заонежские названия **Мочальник** – пахотное угодье (Ялгандсельга Песчанского сельсовета), у **Мочальника** – сельскохозяйственное угодье, **Мочальничное поле** (Паяницы, Заонежье) могут восходить к нарицательному **мочальник* ‘место для мочеения льна’. В лодейнопольских, подпорожских, кондопожских говорах употребляется однокоренное слово *мочало* ‘углубление, яма, приспособление для мочеения льна, лыка и т. п.; мочило’ (СРГК III: 266).

Ненадежными могут быть реконструкции на базе составных наименований из определения и определяемого слова. Частотное употребление одной топо-

нимической лексемы с разными определителями может быть вызвано разделением сельскохозяйственного угодья между хозяевами.

В Заонежье зафиксированы наименования пахотных угодий со словами *позмя*, *позмь*: **Заанашкина Позмя**; **Государева Позмя**; **Малая Заанашкина Позмя** (Вегорукса); **Долгая Позмя**, **За Долгой Позмей** (Сибово); **Кривая Позмя**; **Заросшая Позмь** (Пегрема Великогубского сельсовета); **Филицкая Позмя** (Калозеро Космозерского сельсовета). То, что слова *позмя* и *позмь* могли употребляться в качестве нарицательных, подтверждает наличие однокоренного *позём*, зафиксированного в значениях ‘засаеваемый участок земли’ в плесецких и каргопольских говорах (СРГК V: 32), ‘усадебная, жилой дом, хозяйственные постройки, сад, огород’ – в олонекских говорах, ‘земельный участок, надел’ – в архангельских, нижегородских, московских говорах, ‘почва, земля’ – во владимирских, тверских, ленинградских (СРНГ XXVIII: 331). Вариант *позьмо* ‘усадебная’ и ‘участок земли, надел’ бытует в саратовских, уральских, казанских, пензенских, рязанских говорах (СРНГ XXVIII: 342).

Названия пахотных угодий **Руданга**; **Алешинская Руданга**; **Танинская Руданга** зафиксированы в дер. Заломаева Гора Отовозерского сельсовета Пудожского района. Слово *руданга* может быть связано с карельским *ruadua* ‘осваивать новые земли, вырубать лес под пашню, под луга’ (СКЯЛ: 314).

В Кузаранде отмечено название **Клиная Худа**, возможно, связанное с вепским глаголом *hutta* ‘палить подсеку’ (СВЯ: 136). Ср. *кляпóй* ‘изогнутый от корня, растущий наклонно, кривой’ в вологодских, архангельских, уральских, пермских говорах; *кляповый* и *клеповый* ‘ничего не значащий, негодный плохой’ в воронежских и ленинградских (СРНГ XIII: 333).

В Пудожском районе фиксируются названия **Фетихотина Роса** и **Ефимовская Роса** (деревни Купецкий Погост и Кильпога). Во владимирских и тверских говорах слово *роса* употребляется в сочетаниях в значении ‘сенокос в раннее утро (пока роса на траве не обсохла)’, ср.: *Há росу уйти, пойти* ‘отправиться на сенокос’ (СРНГ XXXV: 181). В киришских говорах известно слово *росивина* ‘заброшенный, невозделываемый участок леса’ (СРГК V: 561). Возможно, слова *роса* и *росивина* в указанных значениях связаны с карельским ливвиковским *razi* ‘вырубленная два года назад, но не паленая подсека’, финским *rasi* ‘лес, срубленный при корчевании и оставшийся не сожженным’, вепским *razagat* ‘подсека, оставленная на второй год не спаленной и не очищенной’ (СКЯЛ: 300; СВЯ: 464; Фасмер III: 433). В говорах южного Прионежья зафиксировано диалектное *разаги*, заимствованное русскими из вепского⁷. В вологодских говорах известно слово *расáги* ‘подсека, поросшая мелким тонким

лесом и травой' (СРНГ XXXIV: 107). Как указывает А. К. Матвеев со ссылкой на Я. Калиму, переход прибалтийско-финского краткого *ä* в рус. *o* был характерен для периода ранних контактов (ср. *Корела, лопь, лохта* при фин. *Karjala, Lappi, lahti*). В более поздних заимствованиях, к которым относится и слово *роса*, *ä* может быть отражено и как рус. *a*, и как рус. *o*⁸.

Таким образом, топонимические данные позволяют с разной долей вероятности реконструировать некоторые лексемы, не зафиксированные ни в говорах, ни в памятниках письменности (*верстянка, лужища, мочальник, позмя, пурховье* и др.). Некоторые из подобных слов могут иметь прибалтийско-финское происхождение (*роса, худа, руданга*).

¹ См., например: Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Ч. 1. Екатеринбург, 2001; Муллонен И. И. Топонимия Присвирья: Проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск, 2002; Теуш О. А. К проблеме реконструкции географической терминологии по данным субстратной топонимии Русского Севера // Ономастика в кругу гуманитарных наук: Материалы междунар. науч. конф. Екатеринбург, 2005. С. 69–71.

² Теуш О. А. Указ. соч. С. 70.

³ Смирнова О. С. Топонимия как ниша для функционирования географических терминов и источник их реконструкции // В. И. Даль и русская региональная лексикология и лексикография: Материалы всерос. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения В. И. Даля. Ярославль, 2001. С. 140–147.

⁴ В работе использованы архивные материалы фондов 1067, 1843, 2341.

⁵ Теуш О. А. Указ. соч. С. 70.

⁶ Основы финно-угорского языкознания (вопросы происхождения и развития финно-угорских языков). М., 1974. С. 119; Матвеев А. К. Указ. соч. С. 127.

⁷ Мамонтова Н. Н., Муллонен И. И. Прибалтийско-финская географическая лексика Карелии. Петрозаводск, 1991. С. 79; Мызников С. А. Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада. СПб, 2003. С. 136.

⁸ Матвеев А. К. Указ. соч. С. 33–34.

Словари

Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепсского языка. Л., 1972 (далее – СВЯ). Новгородский областной словарь. Вып. 1–13. Новгород, 1992–2000 (далее – НОС).

Словарь карельского языка: Ливвиковский диалект / Сост. Г. Н. Макаров. Петрозаводск, 1990 (далее – СКЯЯ).

Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Вып. 1–6. СПб, 1993–2005 (далее – СРГК).

Словарь русских народных говоров. Вып. 1–37. Л.; СПб, 1965–2003 (далее – СРНГ).

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1967–1973 (далее – Фасмер).

Характеризующая функция русского личного имени

Личное имя является, образно говоря, звуковой оболочкой понятия Человек. Имя придает этому понятию реальные очертания, создает образ. Лингвистами хорошо изучена структура личных имен, история их образования. Культурологические исследования часто представляют русские имена в базовом составе русской лексики. Однако в русле семиологического направления личное имя редко рассматривается как семантическая структура, характеризующаяся денотативной двуплановостью, хотя хорошо известно, что многие личные имена имеют в составе своего значения интенсивно функционирующие семы, которые позволяют использовать словоформы в переносном характеризующем значении.

Возможно, это происходит потому, что, по словам В. В. Виноградова, «история собственного имени и процессы его превращения в нарицательное с определенным значением и яркой экспрессивной окраской очень сложны»¹. Современные исследователи, изучающие имена собственные в прагматическом аспекте, настаивают на включении ономастического материала в современные словари, утверждая, что собственное имя – «самая конкретная, а вместе с тем и самая абстрактная категория, дающая возможность на материале языковых контекстов проследить не только историю народа, его мировоззрение, но и превращение конкретного номинального значения в нарицательное понятие»².

Большое значение для решения проблем лексикологии, лексикографии и методики преподавания языка имеет изучение функционального аспекта антропонимики. Различаются экстенциональное употребление имени по отношению к человеку, за которым закреплено определенное личное имя, и интенциональное употребление личного имени по отношению к абстрактному понятию, концепту, символически обозначаемому этим именем (например, предательство – Иуда, злодейство – Каин, храбрость – Суворов, изобретательство – Кулибин). На протяжении многих веков определялись концепты, каждый из которых является сгустком культуры. В. Н. Телия обозначила зависимость развития образной семантики слова от идеоэтнического культурно-исторического опыта народа термином «культурная коннотация». «Реальность коннотативных признаков в живом функционировании языка проявляется в том, что коннотативные признаки часто обуславливают

способность переосмысления лексического значения в искомый смысл на основе ассоциативных связей»³. Эти связи отражают традиционные представления, верования и многовековой социальный опыт носителей языка.

Интенциональные концептуальные семы являются основанием для развития метафорического переноса Человек → Человек. Одной из базовых лексических групп, обслуживающих эту семантическую сферу, являются имена мифических существ, героев народных сказок и былин, исторических деятелей. Оценочные значения многих личных имен основаны на культурной коннотации, на устойчивом представлении о какой-либо характерной особенности реального или вымышленного лица. Эти имена принято называть прецедентными.

Большую часть этой группы слов составляли в недавнем прошлом имена библейских персонажей и героев сказок, былин (*Каин, Соломон, Аред; Баба Яга, Иван да Марья* и др.). На примере развития их семантического содержания можно убедиться в том, что образование вторичного характеризующего значения у личного имени часто происходит не однолинейно. Одно и то же имя в разговорных и художественных контекстах может развивать кардинально противоположные значения или вторичное, характеризующее человека значение, не связанное напрямую с первоначальным содержанием интенционала слова. Это происходит благодаря воздействующим на семантическое развитие слова особенностям менталитета русских людей. Семасиологами с недавнего времени выделяется так называемая социальная коннотация, которая иногда приводит к перекодировке семантического переноса. Так, имена многих библейских персонажей получили «второе рождение» в русских народных говорах, в городском просторечии. Например, очень продуктивным в разговорной среде оказалось имя *Лазаря*, библейского героя, нищего, попавшего в рай. Слово *лазарь* в христианской литературе является наименованием святого, а в разговорном русском языке оно изменило семантику, обозначает главным образом нищего, попрошайку⁴ и в различных регионах России получило значения: лицемер, ханжа, лживый человек, навязчивый, настойчивый в своих просьбах человек и ленивый, плохой ученик⁵.

Существуют функциональные различия в использовании личных имен. К древним временам восходит традиция заменять имя злого духа, очень важного в жизни человека лица или предмета, другим именем. Демона называли *Дёма*, а чертей – *дёмины ребята*, соху ласково – *Андреевна*. И, наоборот, традиционные имена иногда заменялись на онимоподобные словоформы, чтобы сбить с толку злых духов и оградиться от их сил (*Ненаш, Некрас* и др.).

Целью использования личного имени в фольклорных текстах (поговорках, загадках, частушках) могло быть шутивное обращение, каламбур. Способность личного имени характеризовать те или иные свойства человека в данных контекстах очень тесно связана с фонематическими ассоциациями личных имен и ключевых текстообразующих слов. Например, в поговорках: *Ерёма, Ерёма, сидел бы ты дома; Мели, Емеля, твоя неделя; В поле Маланья не для гулянья; Федул губы надул; Пригожа, как Фетиньина рожка*⁶.

Наиболее распространенной целью использования личного имени в характеризующей функции является выражение эмоциональной оценки и воздействие на адресата речи. Имя, известное в своем переносном значении, характеризует человека с точки зрения общественных норм поведения и морали. Так, например, считалось, что с миром злых демонов связаны люди иного вероисповедания, относящиеся к лагерю врагов. Видимо, на близости этих концептов базируется синонимичность слов *магомет, аслам, оман* и *еретик*, которые в русских народных говорах обозначали злого, вредного, жестокого человека.

Активное употребление с давних времен и по сей день некоторых личных имен в характеризующем значении обусловлено языковой традицией, отражающей устойчивую общественную реакцию на сословную принадлежность человека. Например, издавна некоторые женские простонародные имена имеют в разговорном языке пренебрежительно-уничтожительную коннотацию (*Ненила, Матрена, Фетинья*). В противовес к ним имена *Марина, Милитриса* развивали значения, характеризующие богатых, важных, модно одетых женщин. Еще один пример. В XVII в. имя фольклорного персонажа *Ваня, Ванька (Ванька Каин)* ассоциировалось с человеком из простонародья, имеющим такие качества, как лихость, смелость и в то же время подлость, лживость. В дальнейшем преобладающей коннотацией этого имени стала глупость, лень и необразованность⁷.

Иногда первоначальная ассоциация, являющаяся первопричиной использования данного имени в характеризующей функции, со временем оказывается утеряна. Но за определенным именем остается прочно закрепленное то или иное характеризующее значение, например, в именах на букву Ф. По словам В. В. Виноградова, «не подлежит сомнению, что собственные имена, начинавшиеся когда-то чуждым восточным славянам звуком Ф, чаще всего получали презрительное и бранное значение (Фетюк из Феотих)»⁸. И в дальнейшем многие имена на букву Ф сохраняли потенциальную коннотацию пренебрежения (Фефёла, Фофан, Филимон, Филя). Устойчивость образных и звуковых ассоциаций имен демонстрируют употребляющиеся в настоящее время в языке современной молодежи слова *фефёла* – старомодная дурочка и *фофан* – дурак, тупица, глупец⁹.

Таким образом, подтверждается правомерность разделения понятия коннотации на взаимодополняющие адгерентную (основанную на внеязыковой ситуации) и ингерентную (устойчивую, заложенную в языковую память) коннотацию. В современном русском языке есть примеры закрепления коннотационных элементов за определенной словоформой благодаря сохранению восприятия личного имени вместе с латентным вторичным эмоционально-оценочным значением. Так, в современном молодежном сленге слова **вася, ваня, ванька, вова, петя, петька** имеют большой набор синонимичных характеризующих значений: парень, мужчина из деревни, посредственный человек, простак, дурак, человек неинтеллигентного вида, растяпа и др. Кроме того, отмечены устойчивые вариативные выражения **алюминиевый ваня, алюминиевый вова**, характеризующие очень глупого человека. Развитие некоторых слов уже вышло за пределы семантического поля Человек. В молодежном сленге слово **вася** имеет значения: ‘растяпа, лопух, дурак’ и ‘о чем-либо окончательно потерянном, бесполезном’ в контексте: *Ну, все, вася, пошли отсюда, пацаны*. Это говорит о постепенном стирании яркости, образности значений данного слова и в то же время о возможности дальнейшего развития его семантики на основе устойчивой коннотации, которая заменила собой ядерный элемент значения слова.

Обращает на себя внимание тот факт, что характеризующая функция закреплена за определенным банком личных имен. Именно эти имена регулярно употребляются в качестве эмоционально-оценочной характеристики человека. Благодаря закреплению характеризующей функции за определенными именами в русском языке развиваются фонематические варианты и отономастические дериваты – производные эмоционально насыщенные, оценочные слова. Например, именная словоформа Ваня является основой фонетических вариантов и производных слов с широкой палитрой эмоционально-оценочных значений в русских народных говорах: **ваньзя, ваньдзя, ваньжа** – простофиля, глупый, неловкий, неповоротливый человек.

Исследователи процессов современного словообразования отмечают продуктивность и в современном русском языке отантропонимического способа образования новых слов, связывая это с фактором усиления роли личности в жизни общества¹⁰. Особенностью использования данного способа словообразования является постоянное обновление банка корневых морфем.

Знание современной идеологии и культурных особенностей социальной среды, в которой используются языковые единицы, не всегда ведет прямым путем к пониманию семантических особенностей этих единиц.

«Известно, что в языке наряду с отражением живых идей современности громадную роль играют унаследованные от прошлого – иногда от очень далекого – технические средства выражения», – писал В. В. Виноградов. Как уже говорилось, потенциальная способность личного имени характеризовать те или иные свойства человека в речевых контекстах очень тесно связана с фонематическими ассоциациями личных имен. Если рассматривать это явление шире, то фонетические ассоциации оказываются с древнейших времен важным элементом для образной и семантической направленности развития слова, предопределяют возможность использования его в характеризующей функции. И эта область изучения еще не полностью освоена лингвистами-антропологами.

Возможно, существует и еще один уровень отбора лексики экспрессивного характера для переосмысления значений, лексики, отражающей эмоциональное состояние говорящего. Этот отбор происходит на фонетическом уровне лексем. Обращает на себя внимание тот факт, что слова, используемые для обозначения очень плохого, злого, вредного человека, имеют в своем фонетическом составе свистящие, шипящие, рычащие звуки: *Ирод, Сатана*. Для обозначения медлительного, неуклюжего, плохо соображающего человека часто употребляются слова с растягивающими звук гласными: *Вова, Ваня, Петя*. Для характеристики непослушного, плохо понимающего обращенную к нему речь, злого, враждебного обществу человека используются слова с четко ощутимыми фонетическими особенностями иноязычной лексики, например, слово, дающее презрительную характеристику выходцу из Средней Азии, *кимчиргыз*, образовано на основе непривычных русскому человеку звуковых сочетаний нерусского имени¹. В прошлом веке аналогичную функцию бранного слова выполняли слова *абыз, бахмет, осман*. Так говорили об угрюмом, неприветливом человеке, нелюдике, о том, кто производит впечатление темного, неразвитого человека. Следовательно, немаловажное значение для выбора того или иного слова для выполнения характеризующей функции имеет и фонетический облик, «словесный образ» наименования. Но эта проблема требует еще своего более глубокого исследования, материалом для которого может служить богатый в вариативном отношении лексический фонд русского языка.

¹ Виноградов В. В. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры // Вопросы языкознания. М., 1958. № 1. С. 21.

² Кондратьева Т. Н. Метаморфозы собственного имени. Казань, 1983. С. 3.

³ Телия В. Н. Типы языковых значений. М., 1981. С. 43.

⁴ Словарь современного русского литературного языка. Вып. 1–17. М., 1950–1965.

⁵ Словарь русских народных говоров. Вып. 1–39. СПб, 1965–2005.

⁶ Катерлина В. В. Личное имя собственное: национально-культурные особенности функционирования: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Краснодар, 1998. С. 8–10.

⁷ Кондратьева Т. Н. Указ. соч. С. 34.

⁸ Виноградов В. В. История слов. М., 1994. С. 304.

⁹ Левикова С. И. Большой словарь молодежного сленга. М., 2003.

¹⁰ Земская Е. А. Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык конца XX столетия. М., 1996. С. 99.

¹¹ Новое в русской лексике 1992. СПб, 2004.

© *Е. А. Полюзю*
Петрозаводск

Экспрессивы со значением личностной характеристики в севернорусских говорах

Экспрессивы со значением личностной характеристики занимают особое место в лексике севернорусских говоров, так как непосредственно отражают этические и эстетические идеалы народа. Многие лингвисты, анализирующие тематическую группу «человек», экспрессивность слова связывают прежде всего с коннотативным компонентом лексического значения, в состав которого входит и оценка объекта действительности, и образное представление, и эмоциональная окрашенность (Ю. И. Чайкина, Т. В. Бахвалова, В. Н. Телия и др.)¹.

В лексической системе севернорусских говоров содержится довольно большое количество слов, сформированных путем семантической деривации. Образность, основанная на метонимическом или метафорическом переносе, является средством выражения экспрессивности². В этом отношении привлекают внимание слова прибалтийско-финского происхождения, отражающие характеристику нравственных качеств человека. Рассмотрим субстратную лексику сквозь призму мотивационных признаков.

Слова с компонентами финского, карельского и вепсского происхождения входят в лексико-семантические группы: «болтливый человек», «ворчливый человек», «плакса», «неряшливый человек», «медлительный человек». В основе вторичной номинации лежат следующие признаки: 'какое-либо действие', 'физическое свойство', 'черта характера человека', 'сходство с тем или иным животным по внешним качествам, поведению', 'сходство с растением', 'сходство с природным явлением', 'сходство с предметом' и др.

Самую большую группу слов, называющих болтливого, ворчливого, плаксивого человека, составляют звукоподражательные лексемы. В осно-

ве номинации находится подражание, во-первых, звукам, издаваемым животными, птицами, насекомыми или человеком, во-вторых, – каким-либо звукам окружающей действительности.

В кондопожских говорах употребляется существительное *буленду́шка*, *булянду́шка* ‘та, которая говорит неправду’, образованное от глагола *бу́лендать* ‘болтать, пустословить’. Ср. подпорожское *бу́ландать* ‘тихо и невнятно говорить’ (СРГК, 1, 136–138)³, ленинградское *бу́лендать* ‘булькать (о воде)’ (СРНГ, 3, 270)⁴. Лексемы *бу́лендушка*, *бу́лендать*, *бу́ландать* содержат в своей семантике общий компонент ‘издавать определенные звуки’ и, скорее всего, являются этимологически прибалтийско-финскими. Ср. в финском языке: *pulista* ‘булькать’, ‘говорить неясно, бубнить, бормотать; болтать’ (ФРС, 486)⁵; в карельском: ливв. *bul'bettua* ‘булькать (о жидкости)’ (СКЯМ, 30)⁶; в вепсском: *bulbutada* ‘пустословить, болтать пустяки’ Пондала Бабаевского района Вологодской области (СВЯ, 50)⁷.

Подпорожским говорам известны однокоренные слова *пíнега* ‘тот, который часто плачет; плакса’, *пинáйдать* ‘плакать’, *пíнендать* ‘тихо, негромко говорить’, ‘свистеть, пищать’, *пíнгать* ‘свистеть, пищать’ (СРГК, 4, 513). Ср. также *пинча́ть* ‘пищать’ в русских говорах Коми, *пíнить* ‘плакать’ в зауральских говорах (СРНГ, 27, 35). Лексемы с корнем *пин-* прибалтийско-финского происхождения. Ср. в вепсском языке: *piništa* ‘пищать’ Озёра Подпорожского района Ленинградской области; *pinkta* ‘пищать (о птицах)’ Шимозеро Вытегорского района Вологодской области (СВЯ, 419); в карельском языке: ливв. *pinineh* ‘писк’, *piništä* ‘пищать тонким голосом’ (СКЯМ, 268).

В кондопожских говорах бытует существительное *чíлайдун* ‘болтун’ (СРГК, 6, 790), образованное от глагола *чíлайдать*. В основе метафорического переноса лежит ‘сходство звуков, издаваемых человеком, со звоном колокольчика’. Ср. *чилáйдать* ‘звенеть’ в архангельских, *чíландать* ‘звонить в маленький колокольчик’ в олонечких говорах (Фасмер, 4, 361)⁸. Лексемы с данным корнем заимствованы из прибалтийско-финских языков: в карельском – ливв. *čilahutua* ‘брякнуть, стукнуть’, ‘грязнуть, внезапно запеть’ (СКЯМ, 35); в вепсском – *čilaita* ‘бренчать, звенеть’, ‘журчать’, ‘тараторить’ Пондала Бабаевского района Вологодской области (СВЯ, 59).

Подобные изобразительные и звукоподражательные глаголы имеют суффиксы *-айда-* и *-анда-* прибалтийско-финского происхождения. Как отмечают А. С. Герд и З. М. Дубровина, «проникнув в русские говоры Карелии непосредственно из вепсского и карельского языков, глаголы на

-айда-ть (-анда-ть) с их вариантами стали излюбленной и универсальной моделью для заимствования вообще звукоподражательных и изобразительных глаголов, а также для образования подобных глаголов от исконно русских основ»⁹. Некоторые глаголы являются «результатом контаминации или двойного заимствования: рус. *лопотать* → вепс. *lopotada* ‘шлепать, хлопать, тараторить, лопотать’ → рус. *лобайдать*, *лобандать* ‘стучать, шуметь, кричать, громко говорить’; рус. *нюхать* → вепс. *ñii-haita* ‘нюхать’ → рус. *нюгайдать* ‘тихо говорить, мямлить, гнусавить’; рус. *бурчать* → вепс., олон.-карел. *hurišta* ‘бурчать в животе’ → рус. *бурайдать* ‘ворчать себе под нос’»¹⁰. Таким образом, рассматривая звукоподражательную лексику, следует говорить о взаимовлиянии русского и прибалтийско-финских языков.

В севернорусских говорах употребляются лексемы с мотивационными семами ‘физиологическая особенность человека’ и ‘черта характера человека’. Слово *у́кка* ‘молчаливый человек’ известно медвежьегорским говорам, ‘неповоротливый, неуклюжий человек’ – терским говорам (СРГК, 6, 596). Лексемы с корнем -укк- зафиксированы в словарях финского, карельского и вепсского языков. Ср.: вепс. *uk* ‘старик’ Пондала Бабаевского района Вологодской области, Озёра Подпорожского района Ленинградской области; *ukk* ‘старик’ Шокша Прионежского района; *ukkulin’e* ‘старикашка’ Шокша Прионежского района, Чикозеро Подпорожского района Ленинградской области (СВЯ, 599); ливв. *ukko* ‘старик’ (СКЯМ, 403); фин. *ukko* ‘старик’, ‘дед, дедушка’, ‘мужик, старик; батя’ (ФРС, 675). В основу метафорического переосмысления, на наш взгляд, положен признак ‘немогущий, слабый’, содержащийся в значении ‘старик’, в результате чего лексема *у́кка* в терских говорах приобрела семантику ‘неповоротливый, неуклюжий человек’.

Слово *чу́лко* ‘хитрый, ловкий человек’ известно каргопольским говорам (дер. Глазово – по записям автора). Данная лексема, возможно, связана с карельским *čuilakka*. Ср.: твер. *čuilakka* ‘пронырливый, вёрткий’, *čuilahutua* ‘шмыгнуть, сунуться, проникнуть куда-либо’, *čuilua* ‘метаться, соваться’ (СКЯП, 31)¹¹.

Реже в севернорусских говорах встречаются семантические дериваты с такими мотивационными признаками, как сходство человека с растением, деревом, животным или природным явлением.

В терских говорах лексема *кóппала* обозначает человека с веснушками (СРГК, 2, 419), в кемских и архангельских *кóппала* используется в качестве прозвища растрепанной длинноволосой женщины (СРНГ, 14, 281). Ср. *кóппала* ‘птица глухарка’ в беломорских, каргопольских говорах, *кúппола* ‘то же’ в медвежьегорских (СРГК, 2, 419). Существительное

кóптала прибалтийско-финского происхождения: карел. *koppala* ‘глухарь’, фин. *koppalo* ‘то же’ или саам. кильд. *kuapel* ‘то же’ (Фасмер, 2, 317). В кемских, архангельских и терских говорах произошло переосмысление данного слова. В основе вторичной номинации лежит сходство человека с птицей по внешнему облику: ‘растрепанный, взъерошенный; пестрый’.

В вологодских говорах лексема *ня’йвинька* употребляется в значении ‘солнце, источник чего-нибудь прекрасного’, а также используется для экспрессивного наименования человека (СРНГ, 33, 11). Слова с корнем *няйв-* этимологически прибалтийско-финские. Ср.: вепс. *päiv* ‘день’ Пондала Бабаевского района Вологодской области, Радогоща Бокситогорского района Ленинградской области; *päiväin’e* ‘солнце, солнышко’ Пондала Бабаевского района Вологодской области, Пелдуши Подпорожского района Ленинградской области (СВЯ, 449); карел. ливв. *päivü* ‘солнце’ (СКЯМ, 293); фин. *päivä* ‘день, солнце’ (ФРС, 502).

Пудожским говорам известен фразеологический оборот *косая мя’нда* ‘капризный человек’ (СРГК). Лексема *мя’нда* имеет такие значения, как ‘редкослойная сосна’ в плесецких и кондопожских, ‘слой дерева между сердцевиной и корой’ в пудожских, прионежских и кондопожских, ‘об очень полном человеке’ в медвежьегорских, кирилловских (СРГК, 3, 284); ‘неплотный, рыхлый слой древесины, расположенный непосредственно под корой’ в беломорских, архангельских, северодвинских, вологодских, ‘низкорослый сосновый лес’ в архангельских, вологодских говорах (СРНГ, 19, 85). *Мя’нда* прибалтийско-финского происхождения: карел. *mändü*, фин. *mänty* ‘сосна’, эст. *mänd* ‘то же’ (Фасмер, 3, 30). Созданию метафорического значения ‘полный человек’ у слова *мя’нда* способствует признак ‘кряжистый’, а сема ‘капризный’ возникает на основе признака ‘рыхлый; плохого качества’. В устойчивом сочетании *косая мя’нда* образность формирует не только существительное, но и зависимый компонент – прилагательное *косая*.

Таким образом, исследование субстратной лексики, отражающей характеристику различных качеств человека, позволяет выявить особенности мировосприятия жителей Севера, а также увидеть тесную взаимосвязь, взаимовлияние карельского, вепсского, финского и русского языков.

¹ Телия В. Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция // Метафора в языке и тексте. М., 1988. С. 26–52; Бахвалова Т. В. Характеристика интеллектуальных способностей человека лексическими и фразеологическими средствами

языка на материале орловских говоров. Орел, 1993; Чайкина Ю. И. Семантика экспрессивов со значением личностной характеристики в лексико-семантической системе говора // Севернорусские говоры. Вып. 6. СПб, 1995. С. 43–49.

² Сафина Р. А., Борискова Л. А. Образность фразеологизмов, выражающих умственные способности человека, в немецком и русском языках // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы. Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Казанского университета (Казань, 4–6 окт. 2004 г.): Тр. и материалы. Казань, 2004. С. 86–87.

³ Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Вып. 1–6. СПб, 1994–2005 (далее – СРГК).

⁴ Словарь русских народных говоров. Вып. 1–38. М.; Л.; СПб, 1965–2004 (далее – СРНГ).

⁵ Финско-русский словарь / Сост. И. Вахрос, А. Щербаков. М., 1977 (далее – ФРС).

⁶ Словарь карельского языка (ливвиковский диалект) / Сост. Г. Н. Макаров. Петрозаводск, 1990 (далее – СКЯМ).

⁷ Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепского языка. Л., 1972 (далее – СВЯ).

⁸ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1964–1973 (далее – Фасмер).

⁹ Дубровина З. М., Герд А. С. Изобразительные и звукоподражательные глаголы прибалтийско-финского происхождения в русских говорах Карелии // Сов. финно-угроведение. 15. 1979. 4. Таллин, 1979. С. 245.

¹⁰ Там же. С. 246.

¹¹ Словарь карельского языка (тверские говоры) / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 1994 (далее – СКЯП).

© Л. П. Михайлова
Петрозаводск

Внешний облик русского слова в зоне этноязыкового контактирования

Лексика северных и северо-западных русских говоров характеризуется генетической неоднородностью. В плане исследования истоков формирования лексической системы, ее своеобразия интерес представляет не только субстратная лексика, но и русские по происхождению слова, имеющие необычный фонематический состав в сравнении с лексикой как общеизвестной, так и бытующей на других территориях. Причины отличительных особенностей диалектной системы на разных ее уровнях кроются не только в сосуществовании в настоящее время разных этноязыковых коллективов, особенно в Карелии, а также в Ленинградской, Вологодской, Псковской областях. Это, на наш взгляд, может служить лишь поддерживающим фактором сохранения системы, сложившейся в глубокой древности. В процессе соприкосновения и взаимодействия языков разного строя выявились те элементы, которые были сильными и устойчивыми в своей системе и в наибольшей степени отличными от чужой. Несовпадающие признаки адаптирую-

щихся друг к другу систем, особенно на фонетическом уровне, оказались наиболее активными при проникновении в соседнюю среду. Несогласованность системных признаков русского и прибалтийско-финских языков обнаруживается прежде всего в составе гласных и согласных звуков, в характере начального слога в слове, в строении словоформы и т. п. Длительное сосуществование народов в новых условиях общения, при новой внешней детерминанте для каждого языка¹, приводит к возникновению общих языковых признаков, которыми ранее не обладала адаптирующаяся система, то есть происходит обмен интенциональными признаками передающей системы и превращение их в экстенциональные в принимающей системе.

К признакам прибалтийско-финского языка, обладающим интенциональной значимостью, на которые русская / славянская система могла осуществлять функциональный запрос², можно отнести следующие: начало слова без сочетаний согласных, абсолютное начало слова без звонких согласных³, депалатализацию согласных, выпадение *v*- в начале слова и др.⁴

Цель данной работы – показать некоторые особенности русской диалектной и прибалтийско-финской лексики, обусловленные взаимодействием языков.

В области гласных для говоров Заонежья и некоторых других севернорусских говоров характерен переход *'e > 'a* после мягких согласных с одновременной перетяжкой ударения на предшествующий, чаще всего на первый слог, что, возможно, связано с воздействием прибалтийско-финской системы на русскую, ср. древнейшее заимствование славянского слова **verteno* в финский *värttinä*. В русских говорах примером могут служить наряду с другими слова *ря'шить* 'сломать, поломать, исковеркать, привести в негодность' Кондоп. (5: 617)⁵, ср. *решить* 'уничтожить, разрушить' Лод., Тихв., Медв., Пуд., Выт., Кирил., Карг., 'привести в негодность, испортить' Лод., Тихв., Подп., Пуд., Выт., Кирил., Карг. (5: 522); *ря'тливый* 'добрый, сердечный, душевный' Кад. (5: 616), ср. *ретливый* 'пылкий, горячий (о сердце)' Медв., родственное с *ретивый* 'вспыльчивый' Шексн. (5: 519).

В области согласных на синтагматическом уровне вместо исконных наблюдается появление звуков, усвоенных под непосредственным влиянием соседних языков. На данный факт обращали внимание многие лингвисты, в частности, на материале ярославских и костромских говоров, где обнаруживается мерянский субстрат, О. В. Востриков отмечает такие особенности, как замена звонких глухими в начале слова, озвончение согласных в интервокальном положении, отсутствие стечения согласных в начале слова и некоторые другие⁶. В русских говорах Карелии и соседних территорий на месте исконного [ж] наблюдается соответствие звуков

[ж] ~ [з] ~ [с], обусловленное рефлексамии прибалтийско-финского консонантизма: «вариативное бытование [з], [ж] на почве русских говоров отражает результаты различного субстратного влияния: карельского – [ž] или вепсского – [z] типа», варианты с [ž] и [z] имеются и в карельских диалектах⁷. Вариант с [с] является, по-видимому, рефлексом финского происхождения.

Остановимся на примере «путешествия» русского слова за пределы родной языковой стихии и возврата в новом звуковом облике. Среди названий рыболовных орудий и их частей в русских говорах бытуют слова с этимологическим корнем *реж* (< **rēd*), имеющим несколько вариантов.

1) *Режá* и *рэжа* ‘самая редкая рыболовная сеть (для крупной рыбы); редкаячайное полотно сети в различных орудиях лова’ Волж., Ярослав., Иван., Сталингр., Дон., Перм., Мезен. Арх., Пск., Волхов и Ильмень, Весьегон. Твер., *реж* ‘то же’ Беломор., Свердлов., Иркут., Перм., р. Урал, Волхов и Ильмень, *режь* ‘то же’ Север., Калинин., Том., Кемер., *рёжь* ‘то же’ Пинеж. Арх., с близкой денотативной соотносительностью представлено *режь* – Волга, Дон, Урал, Арх., Пск., Новосиб. Приангарье, *режáк* – Астрах., Волга, Дон, Урал, Оренб., Арх., Беломор., Хабаров., Терск., *режáн* – Том., *режева́* – Свердлов., *режова́* – Урал, *реже́нец*, *режи́нец* – Пск., *режи́на* – Осташк. Калинин., Волхов и Ильмень, *режóвица* – Север (СРНГ 35: 25–29), *режóвка* ‘рыболовная сеть’ Канд., *режь* ‘толстая нить, бечевка в рыболовной сети’, *режеви́ца* ‘отверстие в середине рыболовной сети’ Плес. (5: 508), ср. *редуха* ‘редкая рыболовная сеть’ Кирил. (5: 507). Слова с корнем *реж*- многочисленны и охватывают широкий ареал.

2) *Ряжь* ‘рыболовная сеть’ Пуд., Волог., *ря’жевая сеть* ‘рыболовная сеть меньше рамовой сети’ Медв. (5: 611), *ряж* ‘редкая, с крупными ячейками рыболовная сеть’ Галич. Костром., Ярослав., Свердлов., Новосиб. (СРНГ 35: 347), *ряжéи* ‘крупная ячейка рыболовной сети’ Новг. (СРНГ 35: 349), *ря’жи* ‘часть невода, сети с мелкими ячейками’ Костром. (ЯОС 8: 145). Ареал бытования слов с *ряж*- ограничен севернорусскими говорами. Допустимо предполагать усвоение данного корня в связи с переходом ‘*e* > ‘*a*, известным на Севере и Северо-Западе. Ср. *рядь* ‘рыболовная сеть’ Пуд., *ряды’ш* ‘рыболовная сеть с крупными ячейками’ Медв. (5: 610).

3) *Риз*, *ри́зец*, *ризе́ц*, *ри́суи* ‘рыболовное орудие в виде сети, натянутой на деревянные обручи’, *ристéц*, *ри́стик* ‘ловушка для рыбы’, *ри́стик* ‘рыболовное орудие типа ризца, но меньших размеров’ Пск., *ри́зец*, *ризе́ц* ‘орудие типа мережи для лова снетков, но больших размеров’ Пск., Селигер, Брян. (СРНГ 35: 102, 106). Все слова с корнем *риз*-, *рис*- и его расширителем в виде согласного [т] известны лишь псковским говорам, за исключением слова *ризе́ц*,

имеющего несколько расширенный ареал. С учетом последнего можно предполагать, что они имеют непосредственную связь с эст. *riis* ‘сак, мережа’ (РЭС: 784), которое, в свою очередь, явилось заимствованием русского слова *режс*. В районе Волхова и Ильмена для обозначения хорошей рыбы – судака, леща и т. д. – известно слово *рiсса* (СРНГ 35: 106), которое предположительно можно отнести к этой же группе слов, если иметь в виду метонимический перенос: ‘крупная ячея сети’ > ‘крупная рыба, удерживаемая ячеей’.

Другие прибалтийско-финские языки также усвоили русские слова для обозначения рыболовной сети: фин. *riesa* ‘сеть’, карел. *grieza* ‘сеть’, олон. *riežu*, вепс. *řeža* ‘редкая сеть’ (SKES III: 779). Слово *grieza*, отмеченное в южных карельских говорах, имеет добавочное начальное *g-*, что можно объяснить гиперкоррекцией. Как видим, древнерусскому «ять» соответствует вепс. [e], фин. и карел. [ie], эст. [ii], что может свидетельствовать об усвоении русского слова в эпоху распада прибалтийско-финского языка-основы. Русские говоры Севера и Северо-Запада оставили у себя, во-первых, исконный вариант с гласным [e], как и на большей территории России, во-вторых, преобразованный под влиянием прибалтийско-финской фонетической системы вариант с [’a], в-третьих, подвергшиеся в иноязычной среде более значительной «переработке» слова с гласным [и] и согласными [з] или [с], заимствованные русскими говорами. В последнем случае речь идет о «возвращении на родину путешественников» с иноэтническими элементами во внешнем облике.

Сопоставление русской и прибалтийской лексики, отличающейся началом корня при совпадении семантики, может дать повод для размышления об исконности слова. В этом отношении небезынтересны слова с *дряб-* и *räb-, räp-*. Представим русский материал: *дрябь* ‘топь, трясина’ Олон. (СРНГ 8: 226), *дряб* ‘трясина’ Бокс., Подп., Баб., Канд., Кем., *дрябь* ‘то же’ Бокс., Подп., Баб., Кем., *дрябучина* ‘топкое место, трясина’ Онеж., *дря’блый* ‘нетвердый, болотистый, оседающий под ногами (о почве)’ Онеж. (СРГК 2: 7); в архангельских говорах – *дрябь* ‘топкое, вязкое, болотистое место, топкое болото’ Леш., Пин., Прим., ‘низменное сырое, поросшее лесом, кустарником место’ Прим., ‘густо заросшее место в лесу, чаща’ Мез., Пин., Шенк., *дрябочина* ‘топкое болото’ Онеж. (АОС 12: 324); в новгородских говорах ‘трясина, топкое болото’ – *дрябь* Бор., Валд., Под., Мош., *дря’бель* Ст., Новг., *дрябина* Мош., Бор., Дем., Люб., Мал., Мар., Ок., Парф., Под., Сол., Ст.; ‘жидкая, топкая грязь’ – *дрябь* Ок., Оп., *дря’бля* Ок. (НОС 2: 106); в псковских говорах – *дрябь* ‘непроезжее место’ Печ., *дря’на* ‘топкое место, трясина’ Вл. (ПОС 10: 23, 26). Заметим, что в слове *дря’на*, представляющем собой фонетическое и морфологическое изменение лексемы *дрябь*⁸, преобразование [б] > [п] может являться прибалтийско-финским рефлексом. Корень *дряб-* восходит к славянскому **dręb-* и является род-

ственным к *дреб-* < слав. **dreb-* при близости лит. *drebėi* ‘дрожать’ (ЭССЯ 5: 112). Существенно наличие формы *дребь* в близких значениях на территории Архангельской, Вологодской областей и Карелии⁹. Обращая внимание на исходные семантические признаки ‘топкость’, ‘труднопроходимость’, В. Л. Васильев определяет ступени семантического развития ‘болото’ > ‘лес’ при исчезновении признака ‘топкость’: ‘топкое место’ > ‘топкое место, поросшее кустарником, частым лесом’ > ‘кустарник; частый, густой лес’¹⁰. Данный тип семантических цепей отражает закономерные семантические процессы, происходящие в славянской географической терминологии¹¹.

Прибалтийско-финский материал, сходный в семантическом отношении и отражающий частичное совпадение фонематического состава (*дряб-* ~ *räb-, räp-*), менее объемён: ливв. *räbe(j)ikkõ* ‘редколесье с чахлами деревьями; молодой частый лес’, фин. *räpeikkõ* ‘кустарник, молодая поросль’, зап.-фин. *rääpiõ* ‘непроходимое место, топь’, с которым соотносится арх. *рябы* ‘малорослый лес на болоте или в тундре’ и, по предположению Н. Н. Мамонтовой, И. И. Муллонен, утраченное вепс. **räbeh* (**räbez*), ставшее производящей основой для лодейнопольского *рябега* ‘сырая болотистая низина в лесу’¹².

Совпадение территории бытования, семантики слов в русском и прибалтийско-финских языках даёт основание предполагать в качестве исходного русское *дряб-*, утратившее при вхождении в соседнюю языковую среду начальный согласный (*räb-*), изменившее в финском языке звонкий согласный на глухой (*räp-*) и в отдельных случаях усвоившее лишь последнее звено семантической цепи.

Приведенные факты служат яркой иллюстрацией сложных процессов, происходящих в зоне контактов разных этносов на севере европейской части России, – адаптации одной системы к другой, взаимообмен языковыми особенностями.

¹ Мельников Г. П. Системная типология языков: Принципы, методы, модели. М., 2003. С. 74.

² Мельников Г. П. Указ. соч. С. 38.

³ Основы финно-угорского языкознания (вопросы происхождения и развития финно-угорских языков). М., 1974. С. 119, 125.

⁴ Основы финно-угорского языкознания (прибалтийско-финские, саамский и мордовские языки). М., 1975. С. 31–33.

⁵ Географические пометы используемых словарей сохраняются. Данные СРГК ограничиваются указанием лишь номера выпуска и страницы.

⁶ Востриков О. В. Финно-угорский субстрат в русском языке. Свердловск, 1990. С. 35.

⁷ Мызников С. А. Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо-Запада: Этимологический и лингвогеографический анализ. СПб, 2004. С. 360.

⁸ Васильев В. Л. Новгородская географическая терминология (Ареально-семасиологические очерки). Великий Новгород, 2001. С. 147.

⁹ Васильев В. Л. Указ. соч. С. 145. Заметим, что на с. 249 на карте № 14 «Фиксация МГТ от корня *dreb-» знаки, относящиеся к дребь и дряпа, переставлены местами, что следует учитывать при определении ареала.

¹⁰ Васильев В. Л. Указ. соч. С. 147.

¹¹ Толстой Н. И. Славянская географическая терминология (семасиологические этюды). М., 1969. С. 244.

¹² Мамонтова Н., Муллонен И. Прибалтийско-финская географическая лексика Карелии. Петрозаводск, 1991. С. 82.

Словари

Архангельский областной словарь / Под ред. О. Г. Гецевой. Вып. 1–12. М., 1980–2004 (далее – АОС).

Новгородский областной словарь / Отв. ред. В. П. Строгова. Вып. 1–13. Новгород, 1992–2000 (далее – НОС).

Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1–15. Л.; СПб, 1967–2004 (далее – ПОС).

Русско-эстонский словарь / Сост. Т. Кузик. Ревель, 1903 (далее – РЭС).

Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А. С. Герд. Т. 1–6. СПб, 1994–2005 (далее – СРГК).

Словарь русских народных говоров. Т. 1–38. М.; Л.; СПб, 1965–2005 (далее – СРНГ).

Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1–31. М., 1974–2005 (далее – ЭССЯ).

Ярославский областной словарь. Вып. 1–10. Ярославль, 1981–1991 (далее – ЯОС).

Suomen kielen etymologinen sanakirja. Helsinki, 1965–1981. Osa 1–7 (далее – SKES).

© *О. М. Жаринова*
Петрозаводск

Названия домашних животных в карельском языке

Собака является первым животным, которое человек приручил еще в каменном веке. Уже в период уральской языковой общности она была домашним животным финно-угров. О том, что древние племена корелы, занимающиеся охотой и рыболовством, имели в хозяйстве собак, свидетельствуют останки, найденные на приладожских стоянках. Охота с помощью собаки запечатлена в одной из сцен наскальных изображений¹.

Карельское название собаки *koira*, *koiru*, *koir(e)* относится к числу древнейших финно-угорских слов. Оно встречается практически во всех

родственных языках: фин. *koira*, *koiras* ‘собака, самец’ / вепс. *koir* / вод. *koira* / эст. *koeg* / лив. *kuoir* ‘собака’ / коми *kir*, *kir-pon*, *kires* ‘самец, пёс’ / манс. *ker*, *xar* ‘самец, самец оленя, жеребец’ / хант. *kar*, *xor*, *xar* / венг. *here* ‘самец’ / ненец. *xora* ‘самец, бык, жеребец’ / нган. *kuru* ‘самец, бык’ / энец. *kura* ‘бык’ / сельк. *gor* ‘самец’ / км *kora* ‘бык, самец’. Слово предположительно образовано от основы **koj(e)* ‘самец, мужчина’, сравни *saam kuojja* ‘муж, мужчина’ / манс. *hoj*, *kuj*, *xuj* ‘самец, мужской’ / хант. *ku*, *kuj-*, *hoj* ‘мужчина’². Изменилось лишь значение: в прибалтийско-финских языках *koira* обозначает в основном собаку как вид, в обско-угорских и самодийских языках оно обозначает самца. Изначально основа обозначала особь мужского пола вообще, затем произошло сужение родополового значения до конкретного вида животного *koira* ‘собака’.

Названия щенка *penikka*, *rentu* являются дериватами древнего финно-угорского слова *peni* (**pena*), которое в отличие от *koiga* сразу стало обозначать собаку: фин. *peni* ‘собака, слово для подзыва щенка’ / эст. диал. *peni*, *pini* ‘собака’ / лив. *piñ* / саам. *bæñä*, *pienni* / морд. *pine*, *pinä* / мар. *pi*, *pij* / коми *pon* / удм. *pini*, *puni* ‘собака’³. В настоящее время форма *peni* ‘собака’ практически не употребляется.

Еще одно древнее название собаки в карельском языке *kutti*, *kudžu* имеет два значения: *kutti* (в детской речи *kut’a*, *kut’u*) означает собаку и встречается в основном в собственно-карельском наречии. Вариант *kudžu*, где гемината *tt* перешла в аффрикату *dž*, более распространен в ливвиковском наречии в значении ‘щенок’. Наличие междометий призыва собаки куть (куть-куть-куть) в русских диалектах, а также фонетических вариантов славянских языков **kut-*, *kuč-*, *kuc* позволяет сделать вывод об ономатопозитическом характере этого названия⁴.

Что касается крупного рогатого скота, то, по свидетельству исторических и археологических данных, он был заимствован в одомашненном состоянии еще в VI–V вв. до н. э. в Поволжье, на территории проживания древних финно-угров. Начало массового содержания скота относится к концу III – началу II в. до н. э., когда волосовская культура испытала сильное влияние пришлых земледельческо-скотоводческих племен – балановских, являвшихся носителями индоевропейских языков, и абашевских, носителей индоиранских языков. Балановским племенам – предкам балтийских народов – были известны все виды домашних животных.

В начале III тыс. до н. э. начинается интенсивное заселение территории Карелии финно-угорскими переселенцами с верховьев Волги и Волго-Окского междуречья. Их основными занятиями, безусловно, были охота, рыболовство и собирательство, однако навыки в разведении ряда домашних животных, прежде всего свиней, крупного и мелкого рогатого

скота, у них уже присутствуют. Об этом свидетельствуют такие древние финно-угорские названия в карельском языке, как *sika* (*sigä*) ‘свинья’, *lehmä* ‘корова’, относящиеся к финно-мордовскому пласту лексики, индоиранские заимствования *porsas* ‘поросёнок’, *varža* ‘жеребенок’, *vaza* ‘телёнок’, индоевропейские: *uuhi* ‘овца, ярочка’, *noaras* ‘самка’. Индоиранские заимствования считаются в финно-угроведении самыми древними, что позволяет рассматривать их как адстратную лексику.

II тыс. до н. э. датируются контакты прибалтийско-финских племен с балтийским населением, свидетельством чему служат такие балтийские заимствования, как *hieho* ‘нетель, молодая корова’, *härkä* ‘бык’, *oinas* ‘баран’, *vuonna* ‘ягненок’. К германским заимствованиям (I тыс. до н. э.) относится название овцы *lammäs*, ставшее видовым и практически вытеснившее впоследствии индоевропейское *uuhi*, а также название жеребца *piete*. К более поздним относятся заимствования из шведского языка *pässi* ‘баран’, *ruuna* ‘мерин’, *tamma*, *mera* ‘кобыла’, славянские заимствования *hurta* ‘собака’, *bokko*, *bošši* ‘баран’, *žiivattu* ‘животное’.

Некоторые заимствования претерпели в карельском языке существенные изменения. Так, от индоиранского названия поросенка *porsas* при помощи деминутивного суффикса -čči образовалось наиболее распространенное карельское название свиньи *počči*; от балтийского заимствования *härkä* ‘бык’ опять же при помощи деминутивного суффикса -kki – карельское название *häkki*. Дериватами от славянского *boran* ‘баран’ являются соответствующие карельские названия *bokki*, *bokko*, *bošši*, где суффиксы -kki, -kko, -šši также являются деминутивными. При этом согласный г, числительный в основах *porsas*, *härkä*, *boran*, выпадает в карельских вариантах *počči*, *häkki*, *bošši*, *bokko* как несовместимый с деминутивными суффиксами.

Зоонимами прибалтийско-финского праязыка являются *sälgü* ‘жеребенок’, *hebo* ‘лошадь (возможно, германское заимствование)’, *karičča* ‘ярочка, молодая овца’. Пракарельским следует считать, на наш взгляд, название с половозрастной характеристикой *lähtömä* ‘нетель’, употребляемое наряду с балтийским заимствованием *hieho*.

Содержание скота для древних карел было новым видом деятельности. Знакомство с тем или иным видом домашнего животного сопровождалось, как видно, языковым заимствованием. В целом же животноводство у карел получило развитие, что подтверждают и языковые данные. Карелы разводили в основном крупный рогатый скот (нами зафиксировано 40 названий, в том числе составных), овец (44 названия), свиней (25 названий). Овцеводство, согласно Писцовым книгам, было развито значительно сильнее, чем свиноводство,

на всем Европейском Севере. У карел, как и у вепсов, свинья была редким домашним животным. Свиней выращивали преимущественно в городах, а овец – в деревнях. В XIX – начале XX в., по свидетельству этнографов, карелы (кроме олонцевских) не употребляли в пищу свинину, более важное место занимали продукты овцеводства⁵.

Наибольшее количество названий приходится на лошадь (70 названий). Это объясняется тем, что в XIV в. население северо-западного Приладожья, «кобыличкой корилы», как названо в летописи, занималось разведением и продажей коней. В доисторическое время и в раннем средневековье на Карельском перешейке (бассейн р. Вуоксы) были распространены стада полудиких лошадей местной породы. Древние карелы приручали их и поставляли в Финляндию и Европу.

Таким образом, названия домашних животных относятся к древнейшему слою карельской лексики. Для них характерна устойчивость значений. Несмотря на долгий исторический путь развития, они мало изменились с точки зрения семантики: во всех наречиях и говорах обозначают одни и те же реалии, несут одинаковую половозрастную характеристику.

¹ Очерки истории Карелии. Петрозаводск, 1957. Т. 1. С. 93.

² Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. SKST 556. Helsinki, 1992. 1. S. 385.

³ Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. SKST 556. Helsinki, 1994. 2. S. 335.

⁴ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. 2. С. 433–434.

⁵ Кочкуркина С. И. Древняя Карелия. Л., 1982. С. 154.

БУБРИХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

© С. В. Коробейникова
Петрозаводск

Стилистика и эстетика языка как один из важных разделов преподавания основ перевода в школе

Методика преподавания перевода в школе рассматривает этот предмет только как вспомогательный при изучении иностранного языка, то есть больший упор делается на практическую часть вопроса. Но нужна ли в школе теория перевода (естественно, не оторванная от практики) как самостоятельная дисциплина?

Заниматься практикой перевода, не зная его теории, так же невозможно, как и быть врачом, не зная анатомии и физиологии. Анатомия и физиология изучает процессы и явления, протекающие в человеческом организме, а медицина, будучи прикладной наукой, содержит в себе систему правил и рекомендаций, которые должен знать доктор, чтобы вылечить человека. «Таким же образом, – как отмечал Л. С. Бархударов, – теория перевода, если мы хотим, чтобы она имела какую-то практическую ценность, должна не просто устанавливать закономерности процесса перевода, но и должна предписывать переводчику какие-то нормы или правила, следуя которым он может добиваться на практике желаемых результатов»¹.

Существует комплекс дисциплин, изучающих перевод под различными углами зрения, центральной и основной частью которого является лингвистическая теория перевода, вокруг нее уже группируются литературоведческое, психологическое, кибернетико-математическое направления и др. Здесь можно упомянуть о макро- и микролингвистике.

В задачу микролингвистики входит изучение, по словам Фердинанда де Соссюра, «языка в самом себе и для себя», то есть узколингвистические

дисциплины – грамматика, фонетика, лексикология и семасиология (над этим работают на уроках финского языка). К макролингвистике же относятся те направления в языкознании, которые изучают язык в связи с факторами, лежащими вне языка. Это психоллингвистика, социоллингвистика (взаимодействие языка и социальных факторов), этнолингвистика (язык и культурно-этнографический фактор), лингвистическая география и т. д.

В этой связи кажется естественным отнесение теории перевода в школе к области макролингвистики. Создание качественного не только художественного, но и технического перевода невозможно без учета всех или почти всех ранее перечисленных факторов.

Конечно, нельзя представлять теорию перевода как набор рецептов и команд, следовать которым переводчик (школьник) обязан неукоснительно. В ее задачу входит описание закономерности перехода от языка оригинала к языку перевода и некоторым образом моделирование перевода.

Наивно полагать, что, владея более или менее двумя языками, человек в состоянии сделать перевод, который можно будет считать достойным внимания. Можно передать содержание, но это все равно, что изложить «Анну Каренину» в комиксах. Красота и сила слова оригинала уничтожаются нерадивым переводчиком.

Старшеклассники, занимающиеся на уроках переводом с финского языка на русский, часто просто, во-первых, недостаточно хорошо владеют родным языком, во-вторых, не знают, к какому жанру относится текст, предложенный им для перевода, не представляют аудитории, на которую направленно содержание текста, и т. д.

Учитель, преподающий теорию и практику перевода в школе, должен понимать, что в первую очередь необходимо привлечь внимание учеников к законам русского языка в связи с переводческой деятельностью, поскольку, несмотря на то что на уроках литературы перечисленным аспектам уделяется некоторое время, школьники, в силу возрастных особенностей, не всегда могут сделать перенос полученных знаний из одного курса в другой.

Так как перевод преподается старшеклассникам в течение двух или трех лет (с 9 по 11 класс или в 10 и 11 классах после того, как ученики окажутся на определенном языковом уровне), наиболее оптимально начать обучение с самых простых во всех отношениях текстов. Постепенно возможно знакомство с разножанровыми текстами, с текстами, направленными на разновозрастную аудиторию, с техническими, юридическими и экономическими текстами и документами, не содержащими особых трудностей.

Наиболее интересным оказывается для школьников перевод художественного текста, причем не только отрывка, но и небольшого законченного текста с интересным сюжетом. В этом случае результат своей работы ученик может «дать почитать» родителям и друзьям. Конечно, подбор текстов – сложная работа для учителя, но мы бы рекомендовали все же не увлекаться переводными (произведениями русской литературной классики) или адаптированными текстами из учебных пособий. Гораздо более эффективной, хотя и более трудоемкой, будет работа с аутентичным текстом.

В качестве примера можно привести работу десятиклассников по переводу небольшого отрывка романа М. Лассила «За спичками».

1. Учитель беседует с учениками о времени, когда был написан роман, о его авторе, об исторической действительности.

2. Школьники получают представление о социальной среде и времени, в котором живут герои романа, знакомятся с текстом произведения.

3. Обсуждаются психологические особенности героев, то, как речь может иллюстрировать характер личности (здесь, как и на предыдущих этапах, есть богатейшая возможность для использования ТСО – это видеофильмы, записи народных песен, картины художников, фольклор от анекдотов до колыбельных песен; важно заинтересовать ребят тематикой произведения, над которой они будут работать).

4. Если в тексте есть прямая речь, предлагаются и совместно обсуждаются варианты ее перевода, подбирается русскоязычная лексика, наиболее соответствующая мысли автора.

5. Обязательно вспоминаются соответствующие разделы теоретического курса, так как на данном этапе школьники еще учатся соотносить теорию с практикой.

Лишь после всего перечисленного можно приступить к самостоятельной работе над небольшим, в три–четыре предложения, отрывком из произведения. По окончании работы ребята сравнивают результаты, отмечают ошибки, неточности, недочеты. И, наконец, переводят уже довольно большой отрывок, затем сравнивают то, что получилось, с переводом М. Зощенко.

На это уходит не один урок, требуется длительное время и заинтересованность.

Ранее уже упоминалось о нейролингвистике. Что может представлять ее на уроке? Это музыка. Она настраивает на определенную волну, а волны настроения, в свою очередь, поднимают из глубины памяти определенные лексические блоки. Финская и карельская классическая музыка (Я. Сибелиус, Г. Сини-сало) помогает одиннадцатиклассникам работать над поэтическим переводом.

Важность определенного психологического настроя неоспорима при переводе поэзии. Замечательно передан патриотический и романтический дух стихотворения А. Киви «Suomenmaa» в переводе ученика 11 класса А. Сало:

Maa kunnasten ja laaksoen,
mi on tuo kaunoinen?
Tuo hohteet kesäpäivien,
tuo loisteet pohjan tulien,
tää talven, suven ihana,
mi onpi soma maa?

Страна равнин, страна озер,
Что может быть тебя милей?
Сияет лето... Из цветов
Ковер нарядный. Зимних дней
Мороз бодрящий. И весна!
Где лучше этой есть страна?

Конечно, правильно подобранный учителем музыкально-ассоциативный ряд далеко не единственное условие для создания более или менее удачного перевода. На лекциях учащиеся повторяют материал уроков литературы, где они познакомились с системой стихосложения и стихотворным размером. Большую сложность для ребят представляет беглость ударения в русском языке по сравнению с фиксированным ударением в финском (первый слог). При переводе стихотворения Я. Виртанена ученики почувствовали, как сложно соблюдать размер оригинала:

Meni kesä lämmin,
Syksy tänne ehtii.
Paistaa heliämmin
Kuiva keltalehti.
Lehdet puista riipii
syksytuuli vinha,
Varkan lailla hiipii
Talvi hurte-inha.

Пролетело лето,
Наступила осень.
Злой осенний ветер
Желтый лист уносит.
Спящие деревья
Покрывает иней,
Принося с собою
Синий вечер зимний.

Завершив работу, ребята знакомятся с переводом этого же стихотворения А. Мишина.

Теперь, благодаря техническим возможностям, учащиеся старших классов большинства школ, где углубленно изучается финский язык, могут работать и над устным переводом, то есть смотреть, слушать и переводить речь носителей языка в различных ситуациях, что дает большую практику в изучении финского языка. Ребята учатся правильно говорить на родном языке, чувствовать стиль и ситуацию. Чувство стиля для переводчика так же важно, как слух для музыканта. Чувство стиля обостряется, если постоянно тренироваться. Упражнений такого плана довольно много, например, построение синонимической цепочки, причем разбитой на стили речи:

Стиль	Научный	Нейтральный	Возвышенный	Разговорный
Слово Идти	Следовать	Идти	Шествовать	Топать

Заполнять таблицу можно самостоятельно или с помощью словаря синонимов. Заголовки столбцов можно менять по своему усмотрению, в зависимости от того, какая цель преследуется. Это могут быть названия различных социальных ступеней, диалектов, эпох, возрастных групп и т. д. В столбце, озаглавленном «слово», может быть любая часть речи, даже фраза.

Возможен «перевод» из стиля в стиль, то есть нечто романтическое записать в виде полицейского протокола или обычные действия за обедом описать научными терминами и т. д.

Эти и подобные упражнения сродни записной книжке или личному словарю переводчика, куда можно впоследствии обращаться в поисках лучшего варианта слова.

Можно взять отрывки из популярных переводных детективов, любовных романов, туристических проспектов, найти недостаток (неправильный подбор слова, канцеляризм, несоответствие стилю) и исправить его.

Например:

Пантера	атаковала	девушку.	
	набросилась на		
Хитрость	дала положительный результат.		
	удалась.		

1. У меня были какие-то знания по археологии.	1. Я кое-что понимал в археологии.
2. ...глядя на великолепное зрелище морского простора...	2. ...любуюсь морским простором...
3. Это вызывало у меня раздражение.	3. Я злился.

Конечно, сводить эстетику речи только к художественной литературе, значит считать технический текст и технический перевод не имеющим отношения к литературе вообще. Некоторые ученые-лингвисты и переводчики-практики говорят, что в наше время для написания научной статьи не нужно вообще уметь писать, достаточно иметь в своем распоряжении лишь некоторый, весьма ограниченный, набор языковых средств, который сводится к стандартным клише².

Хотя без клише тоже обойтись невозможно, их надо знать, так как клише русского языка не переводятся на финский калькой, а имеют свой аналог (так же, как и идиомы) и наоборот.

Терминология не менее важна для переводчика. Конечно, очень помогает технический словарь, но это далеко не панацея. Важно уметь оперировать имеющимся багажом и, самое главное, разбираться хоть немного в сути тек-

ста, который переводишь. Школьнику порой трудно правильно перевести технический текст не столько потому, что он не достаточно владеет языком, а просто потому, что он не понимает сути переводимого.

Здесь уместно вспомнить Паскаля: «Когда читатель открывает научную книгу и убеждается, что в ней изложено все просто и ясно, он удивляется: ожидая встречи с важным и чопорным автором, он знакомится с обыкновенным человеком». Конечно, здесь не имеется в виду научная литература, адресованная узкому кругу специалистов, но перевод такого рода литературы и не входит в задачи школьного курса теории перевода. Но, благодаря знакомству с данным курсом, учащиеся всегда помнят о том, что они переводят с финского языка на русский, а не на тарабарский. Так что «проблема эстетики языка, — по утверждению Р. А. Будагова, — это проблема не только стиля художественной литературы, но и проблема научного стиля изложения, проблема общелитературного языка»³.

Обучаясь основам перевода в школе, старшеклассники, с одной стороны, должны научиться переключаться с законов языка одного народа на законы другого языка. Кроме того, курс ставит перед собой цель воспитать в ребятах понимание того, что процесс перевода не является механическим, а требует не меньшего творчества, знаний и таланта, чем создание оригинала. Работая над переводом разнообразных текстов, школьники расширяют свой кругозор, учатся понимать другой народ, приобретают знания по психологии и социологии, науке и технике, увеличивают словарный запас как родного, так и изучаемого языка, учатся видеть мир глазами другого человека и приобретают драгоценный опыт перевода, который им понадобится в будущем.

¹ Бархударов Л. С. Язык и перевод. М., 1989.

² Будагов Р. А. Человек и его язык. М., 1974.

³ Там же.

© И. П. Козяп
Петрозаводск

Влияние русского языка на лексику финского языка в Республике Карелия (на материале финноязычных газет и журналов 1960–1980 гг.)

Финский язык в Карелии как язык административной, культурной и просветительской деятельности имеет историю не многим более 80 лет. На первый взгляд, может показаться странным, что в республике, где русские и карелы составляют большую часть населения, финский язык

так много значит. Однако это явление имеет долгую и порой противоречивую историю. Этапы развития финского языка в Карелии были напрямую связаны с политической и социальной обстановкой в республике. С 1920 по 1980 г. финский язык в Карелии находился в отрыве от своей культурной традиции. Связь с Финляндией прекратилась с установлением советской власти. Находясь в иноязычной среде, финский язык претерпел большое влияние, прежде всего русского языка. Оно проявлялось на морфологическом, синтаксическом и лексическом уровне. Попытаемся показать лексические изменения в финском языке Карелии на материале газет и журналов, а также выявить их причины.

Развитие и бытование финского языка в республике можно разделить на следующие периоды:

– 1920–1937 гг. Образование КТК и объявление финского языка вторым государственным. 1920–30-е гг. – самый масштабный и плодотворный период в становлении финского языка. Именно в эти годы издавалось наибольшее количество финноязычной периодики, во многих школах и техникумах обучение проводилось на финском языке. И в эти годы влияние русского языка на словообразование было очень сильным. Во-первых, в советской действительности наблюдалось много новых явлений. Во-вторых, русский язык оказывал давление как язык идеологии. В 1937 г. всякая деятельность на финском языке была прекращена.

– 1941–1955 гг. После окончания Советско-Финляндской войны Карельская АССР была преобразована в Карело-Финскую ССР. Начался новый этап финнизации Карелии. Государственными языками в республике стали русский и финский. Преподавание карельского языка в школах было отменено, финский язык вновь возвращен в школы с карельским составом учащихся. Однако осуществить языковую программу в полном объеме не удалось, так как репрессии уничтожили финноязычную интеллигенцию, разрушили все основы развития финского языка, созданные в течение предшествующего периода. В 1954 г. введены ограничения на обучение финскому языку в школах. Он начал преподаваться как предмет в тех районах, где проживали карелы и финны. В эти годы издавался журнал «Punalippi» («Красное знамя») с перерывом на военные годы и газета «Totuus» («Правда»). Основные усилия были направлены на продолжение работы, несмотря на минимальные возможности. Наследие старшего поколения перешло к младшему, лексика изменилась незначительно.

– 1956–1980 гг. в истории Республики Карелия являют собой особый период как политической, так и социальной жизни. Даже в развитии финноязычной литературы выделяется именно этот временной отрезок как

качественно новый этап ее развития. 7 ноября 1956 г. Карело-Финская Советская Социалистическая Республика преобразуется в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Финский язык сохраняет положение второго государственного языка. Однако его обязательное изучение в школах детьми карел и финнов было отменено, подготовка специалистов в области финского языка и литературы прекращена. В 1963 г. изучение финского языка в Петрозаводском государственном университете было возобновлено. Постановлением Совета Министров Карельской АССР с 1966/67 учебного года для желающих вводится изучение финского языка в 16 общеобразовательных школах республики.

В апреле 1957 г. принято решение о начале издания финноязычной газеты «Neuvosto-Karjala» («Советская Карелия»), хотя она, только под другим названием – «Karjalan Kommuuni» («Карельская Коммуна»)¹, издавалась уже с 1920 г.

Еще одним печатным изданием на финском языке в эти годы был журнал «Punalippu», в котором печатались художественно-публицистические произведения. Этим ограничивалась карельская финноязычная пресса.

Развитие газетного финского языка в республике определялось в этот период двумя основными факторами. Во-первых, основную массу авторов составляли уже не сами выходцы из Финляндии, многие из которых погибли в годы репрессий или на войне, а их дети. Для них родным языком был финский, но сказывалось и влияние русского языка. В конце 1950- и в 1960-х гг. поколение журналистов формировалось из карельских и ингерманландских авторов. Прочно ставшие на ноги карельские поэты и писатели Я. Ругоев, Т. Сумманен, Н. Лайне, Н. Яккола, А. Тимо-нен, О. Степанов активно печатались в журнале «Punalippu». Их финский язык испытывал влияние карельского языка, но это, как нам кажется, только обогащало и вносило свой колорит, делая язык их произведений неповторимым. Больше всего это проявлялось в прямой речи героев:

– A mitäpä siun mielestä pitäisi ruatua? Terentjev kysyi ja istuutui Hote-jevin viereen.

– Nostua länget vuarnah. Ei tästä kuitenki tolkkuo tule (Punalippu. 6/60. S. 25).

– Terve, prihat! (Punalippu. 3/75. S. 17).

– Tytöillä ei ollut tapanaan järjestellä illatsuja eikä muitakaan kutsuja (Punalippu. 3/75. S. 17).

Вторым определяющим фактором является то, что именно в эти годы расширяется сотрудничество с Финляндией. 4 июня 1948 г. Финляндия заключила с СССР Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи; в сентябре 1955 г. этот договор был продлен на 20 лет.

20 апреля 1971 г. между Финляндией и СССР подписан Договор о развитии экономического, технического и промышленного сотрудничества. Отношение к Финляндии становится дружественным. Растет интерес к культуре этой страны. В журнале «Punalippu» печатаются произведения финских авторов (П. Хаанпяя, В. Катая, А. Нордгрэн, В. Линна), тогда как за все предшествующие годы был опубликован только лишь в 1948 г. роман М. Лассила «Воскресший из мертвых»².

Это, с одной стороны, дало карельским авторам возможность, хоть и малую, развивать и совершенствовать свой финский язык, а с другой, заставляло постоянно работать. Ведь уже со второй половины 1950-х гг. «Punalippu» и с 1970-х гг. «Neuvosto-Karjala» распространялись в Финляндии, причем тираж был в несколько раз больше, чем в Карелии³.

Интерес со стороны финских читателей требовал соблюдения чистоты языка. Количество русизмов в этот период значительно уменьшилось. Это обуславливалось исчезновением самих явлений советской жизни 1920–30 гг., названия которых напрямую заимствовались из русского языка. Хотя остались такие, как *kolhoosi, prikaati, prikatiiiri, sosialistinen kilpailu, plakaatti*. Для новых понятий, например, в области космических достижений, старались найти соответствие в финском языке или пользовались семантическими кальками – дань советскому народу.

Kosmonautti jatkaa samaa luodin matkaa (Punalippu. 3/75. S. 37).

Tässä talossa on maailman ensimmäisen avaruuslentäjän kotimuseo (Neuvosto-Karjala. 16.08.70. S. 2).

Maaliskuun 27. päivänä 1964 Neuvostoliitossa laukaistiin avaruuteen keinotekoinen Maan sputnik «Kosmos 27» (Neuvosto-Karjala. 29.03.64. S. 1).

Maan keinokiertoalaisten startteja (Neuvosto-Karjala. 16.08.70. S. 2).

Neuvostoliitosta lähetettiin maailman ensimmäinen Maan keinotekoinen seuralainen sputnik (Neuvosto-Karjala. 16.08.70. S. 2).

Neuvostoavaruusilmailu (Punalippu. 6/61. S. 63).

Kosmonauttiikan nykytila (Neuvosto-Karjala. 29.03.64. S. 1).

Alus oli päässyt radalleen, lavelle avaruuden valtatielle (Punalippu. 6/61. S. 68).

Kosmisen avaruuden ja ilmakehän ylimpien kerrosten tutkimus (Neuvosto-Karjala. 1963).

Lähti kosmukseen kolmas avaruusaluksistamme (Punalippu. 6/61. S. 63).

Mikä hetki hyvänsä meidät voitiin lähettää Baikonurin avaruuslentokentälle (Punalippu. 6/61. S. 68).

Miehistö on valmis starttiin. Kohta lähdetään kosmodromille (Neuvosto-Karjala. 1976).

Развитие науки и техники в этот период происходит очень быстро. *Kinopirtit* заменяются на *elokuvateatterit* или *elokuvit*, всюду возводятся *kulttuuritalot* tai – *palatsit*. В жизни сельского хозяйства появляются *valtiotilat*, *aputaloudet*, *farmit*. И человеку помогает уже не *Ekskavaattori*, а *kaivinkone*. *Rajoonit* заменяются на *piirikunnat*.

Из бытовой техники в домах появляется *televisio* или *telkkari*, *jäähdytyskaappi*, *viisariton pöytäkello*, *jossa ajan näyttää numerotaulu*, *sähkökäyttöinen mehunpuserrin*.

Televisiossa on kaksi ohjelmaa eli kanavaa. В названии передач такие примеры:

Dekkari, juniorien kansainvälinen jääkiekko-ottelu, sarjafilmi, dokumenttiefilmi, päivän kuvaruutu.

В социальной сфере происходят заметные сдвиги вперед:

Vuosina 1959–60 rakennettiin Karjalassa 389.000 neliometriä asuntoalaa (Punalippu. 6/61. S. 88).

Marraskuun 1.päivästä aletaan maksaa avustusta vähempivaraisten perheiden lapsille (Neuvosto-Karjala. 2.10.74. S. 1).

Uutta äitiysavustusten maksussa (Neuvosto-Karjala. 3.03.74. S. 2).

Päätös toimenpiteistä ... elinolopalvelujen laajentamiseksi Karjalan ASNT:ssa (Neuvosto-Karjala. 30.09.70. S. 2).

Neuvostoliiton teollisuuslaitosten yhteydessä toimii nykyään 1.800 yöparantolaa (Neuvosto-Karjala. 20.09.70. S. 1).

Ammattiliittojärjestöllä on lomakotipaikkoja aina riittävästi (Punalippu. 6/61. S. 89).

Встречавшиеся ранее аббревиатуры SSSR ja RSFSR заменились на SNLT ja VSFNT.

Интересный случай перевода названия улиц в рассказе о рабочем ЛПМК в журнале «Punalippu» (6/60):

Ajoin Solomannin viertotietä ja sitten Lokakuun katua.

Mutta sinne on pitkä matka Toukokuun 1. päivän viertotien varrella.

Однако праздник 1 мая уже называется *Vappu*.

Были и не совсем удачные словообразования:

Runsajäseninen taidemiesryhmä (Punalippu. 4/61. S. 117).

Miten valmistetaan suurprosenttista selluloosaa (Punalippu. 4/61. S. 92).

Informaatiotiedonanto (Neuvosto-Karjala. 12.01.61. S. 1).

Hänellä oli mukavuusasunto kaikkine...kulttuurisineineen (Punalippu. 3/75. S. 56).

Monta, monta kohtaamistilaisuutta on jo ollut... (Punalippu. 6/61. S. 86).

На наш взгляд, в это время сложились весьма благоприятные условия для подъема финского языка. Все больше приоткрывалась дверь в Фин-

ляндию, и это помогло бы возобновить культурную традицию финского языка, исправить некоторые недочеты. С нашей стороны был накоплен большой пласт неологизмов, относившихся к советскому периоду, и опыт сохранения культуры языка в необычайно суровых условиях. Но, к сожалению, так не произошло. Многие носители языка, получив возможность, переехали в Финляндию, а экономический кризис страны отвлек внимание от национальных проблем. Все это привело к тому результату, который мы сейчас имеем.

¹ Алто Э. Л. Советские финноязычные журналы 1920–1980. Петрозаводск, 1989. С. 142.

² Там же. С. 139.

³ Sundelin Apu. Taistelijä, rakentaja, valistaja. Petroskoi, 2000. S. 53–56.

© А. А. Полин
Петрозаводск

Отражение постсоветских реалий в финноязычных СМИ Республики Карелия

Каждый естественный язык являет собой определенный способ восприятия и организации мира, отражает особенности каждой данной формы языкового мышления, выраженного семантической сетью понятий, характерных для данного конкретного языка¹. В данном аспекте совершенно уникальным представляется нам финский язык Республики Карелия и, в качестве его частного варианта, язык финноязычной прессы республики. Специфика СМИ заключается в том, что они вынуждены максимально быстро реагировать на малейшие изменения в общественно-политической жизни. В нашей статье мы бы хотели остановиться на языке региональной газеты «Карьялан Саномат». Вновь возникающие общественно-политические явления, подчас характерные исключительно для российской действительности, должны немедленно найти свое языковое отражение в языке газеты. Как правило, пресса Финляндии реагирует на подобные явления нашей действительности лишь спустя некоторое время, а следовательно, в процессе первичного ввода новых лексем-неологизмов этот источник не может оказать существенного влияния. Таким образом, очевидно, что постперестроечный период, оставивший глубокий след в жизни нашего общества, в нашем сознании, не мог не найти своего отражения и на уровне языка, особенно в его наиболее неогенной сфере – лексике.

Довольно широко в текстах «Карьялан Саномат» представлена группа так называемых «нестойких» неологизмов, иногда определяемых терми-

ном «окказионализмы» (лат. *occasionalis* ‘случайный’), по мнению автора, столь же неопределенным и неустойчивым, как и они сами. Крайне интересным примером подобной лексики, на наш взгляд, является слово «*debilokratia*»² («дебилократия»). Используемая в финноязычном контексте данная лексическая единица, очевидно, представляет собой результат прямого калькирования из русского языка, в котором данный термин также не является кодифицированным (например, рус. *бандократизм*). Реализована русская модель словообразования путем сложения двух корней с помощью соединительной гласной «о». Совершенно нехарактерная согласная в начале слова свидетельствует о полной «неадаптации» слова на фонетическом уровне средствами финского языка, подчеркивая его и без того очевидную чуждость. Важным показательным аспектом употребления данного неологизма является его прагматический аспект. Среди пласта новой лексики, ориентированной на выполнение прагматической функции, данное слово выделяется как оценочно-характеризующая единица. Подобные языковые единицы занимают важное место в системе прагматических средств языка, целевым назначением которых, без всякого сомнения, является воздействие на психику человека, его мысли, чувства и, в результате, регулирование его социального и индивидуального поведения. Подобная эмоциональная оценка входит в коннотативный компонент, с которым, в свою очередь, и коррелирует прагматическая отмеченность слова³.

Классические модели суффиксального словообразования⁴ представляют собой следующие слова, являющиеся некоторыми символами и своеобразным языковым отражением эпохи: *macdonaldisoituminen*⁵ ‘макдональдизация’, *länsimaistaa*⁶ ‘вестернизировать, озападничивать’, ‘*elokuulaiset-91*»⁷ (участники путча августа 1991 г.), образованные с помощью продуктивных суффиксов финского языка с соблюдением всех правил. Особенный интерес представляет слово *macdonaldisoituminen*, корнем которого является калькированное заимствование из английского языка, американизм, не соответствующий ни фонетическому, ни морфологическому строю финского языка; несмотря на этот факт, дальнейший процесс словообразования происходит в полном соответствии с финской языковой моделью.

В парадигме слова «ваучер», окончательно вошедшего в лексикон нашего населения в эпоху печально знаменитой приватизации, наиболее отчетливо прослеживается некоторая языковая неразбериха в определении одного и того же явления. Для наименования соответствующей ценной бумаги в русском языке функционировали, по крайней мере, два наименования: «приватизационный чек» и (менее официальное) «ваучер» (от англ. *voucher* – расписка, подтверждающий документ)⁸. В газе-

те «Карьялан Саномат» за этот период мы находим эквиваленты для обеих лексем: *privatisointishekki*⁹ и *voucher*¹⁰. Слово *privatisointi* образовано в соответствии с нормами и правилами финского словообразования в плане ассимиляции иноязычной лексики (ср. *to criticize* – *kritisoida*; *to liberalize* – *liberalisoida* – *liberalisointi*; *to privatize* – *privatisoida* – *privatisointi*). Лексема «voucher» была напрямую заимствована из английского языка без каких-либо изменений на морфологическом уровне. Однако и в этом случае, оставаясь верными принципам финского языкового пуризма, желая оставаться в рамках финской языковой словообразовательной традиции, авторы издания решили в дальнейшем передавать тот же самый смысл средствами самого финского языка: *privatisointi* – *yksityistäminen* ‘приватизация’; *privatisointishekki eli voucher* – *yksityistämissekki*¹¹.

Существуют также примеры функционирования равноправных синонимов, образованных средствами самого финского языка. Так, например, выражение *прожиточный минимум* было оформлено в языке газеты как *elinkustannusminimi*¹², а также *toimeentulominimi*¹³. В данном случае, на наш взгляд, даже будучи субъективным, трудно отдать предпочтение какому-либо из вариантов. Однако и в подобных случаях нельзя быть однозначным. Так, например, пара *pyhäkoulu*¹⁴ и *sunnuntaikoulu*¹⁵ ‘воскресная школа’ образована средствами исключительно финского языка. Однако очевидно, что вторая лексема – калька с русского языка, в то время как первая является старым финским словом. В данной ситуации не представляет труда предсказать судьбу неологизма-кальки.

Даже при поверхностном анализе отобранного материала становится очевидным, что наиболее продуктивным морфолого-семиологическим способом образования новой лексики является словосложение – когда из двух или более уже имеющих слов образуется путем их объединения новое сложное слово (напр., *asuntomarkkinat* ‘рынок квартир’, *ihmisoikeusvaltuutettu* ‘уполномоченный по правам человека’, *itsemurhaterroristi* ‘террорист-смертник’, *perhebudjetti* ‘семейный бюджет’ jne.). Своего рода рекордами по количеству корней можно считать следующие неологизмы, состоящие из четырех корневых слов: *peruskulutushyödykekori*¹⁶ ‘продовольственная корзина’ и *perustuslakituomioistuim*¹⁷ ‘конституционный суд’.

Рост лексики семиологическим путем является, на наш взгляд, очевидным доказательством реализации закона экономии языковых усилий, или закона языковой экономии. Со вступлением России в пространство рыночной экономики в стране появились относительно новые явления и

понятия, которые, по существу, новыми не являлись. Однако после 70 лет изоляции от всего мира многие вещи актуализировались в несколько иной, характерной только для новой России форме. Так, одно время крайне популярной была профессия «челнока». Русское слово образовано путем вторичной номинации. В данном случае при образовании финского эквивалента наиболее простым путем представляется элементарное калькирование. Однако на страницах газеты мы неожиданно находим использованную в качестве эквивалента финскую лексему *laukkukauppias*¹⁸ ‘коробейник’. В дореволюционной России коробейниками называли ‘торговцев, вразнос продающих галантерейные товары, мелкие вещи, необходимые в крестьянском быту’¹⁹. В XIX в. в Финляндии были широко известны карельские коробейники, которых называли *laukkukauppiaat*, или *laukkurit*. Они занимались (чаще всего нелегально) приграничной торговлей с Финляндией. Интересно, что два языка для обозначения одного и того же явления пошли разными путями. Авторы финноязычной газеты использовали уже существующее слово с близкой семантикой; другими словами, уже существующее вновь вошло в языковой оборот, актуализировав и несколько изменив первоначальное значение. Русский же язык отказался от старого слова и ввел другое, уже существующее, образовав в рамках его семантики новое значение, в основу которого лег метафорический перенос.

В постперестроечный период с некоторыми проблемами столкнулась и Российская Армия. Словно зеркало беззаконий, поработивших общественные отношения на всех уровнях, армия погрузилась во мрак «дедовщины», которая вряд ли могла уступить какому-либо общественному явлению в своей жестокости и бессмысленности. Для определения данного явления в языке республиканской прессы появился лексический эквивалент *simpustus*²⁰. Слово в финском языке далеко не новое, перевод которого звучит как «(грубая) муштровка». Толковый словарь С. И. Ожегова дает следующую дефиницию лексемы: муштра — ‘суровая система воспитания, обучения (первонач. военного)’²¹. Очевидно, что подобное определение могло бы полноценно охарактеризовать уставные отношения солдат в Советской Армии. Однако то, с чем столкнулось руководство Российской Армии, никак не подпадает под данное определение. Дедовщина — ‘в армии: неравноправное и оскорбительное поведение старослужащих по отношению к молодым солдатам, новобранцам’²². Даже это определение с трудом вмещает ту жестокость и беспринципность, с которой реализуются так называемые неуставные отношения в современной Российской Армии. Следовательно, из сказанного мы можем сделать лишь два вывода. С одной стороны, лексема *simpustus* могла быть использована намеренно, из лояльности к власти,

что позволило авторам быть в большей мере сдержанными и корректными в эмоциональной и социальной оценке данного явления. В этом случае данная лексема не получила дополнительного значения, а была употреблена в старом, актуализированном. С другой стороны, мы имеем дело с семантическим дериватом, когда уже имеющееся в употреблении слово приобрело новое значение, о котором говорилось выше. В финском языке Финляндии нет прямого аналога данного слова, так как нет и аналога самого понятия. В этом смысле примечательно и показательно, что исконно финское слово употребляется для обозначения исключительно русского явления, обретая новую семантику, которую оно никогда не получило бы в финском языке. Это финская лексема с семантикой, относящейся к русской картине мира.

Фундаментальные геополитические преобразования, связанные с развалом советского государства, привели к тому, что в лексиконе сначала политиков, а затем и простых граждан появились два абсолютно новых термина, характерных только для русского языка в конкретном историческом контексте: «страны ближнего и дальнего зарубежья». Благодаря уже имеющимся моделям финского словообразования редакторам газеты не составило труда ввести новые термины и в состав финского языка Карелии: *lähiulkomaat* и *kaukoulkomaat*²³ (ср. *lähikylä* ‘ближняя (соседняя) деревня’, *lähikatu* ‘ближняя (соседняя) улица’, *lähimailla* ‘поблизости, неподалеку’; *kaukojuna* ‘поезд дальнего следования’, *kaukojohto* ‘линия дальней связи’, *kaukomaat* ‘далекая страна’). Однако введением только этих лексем решение круга проблем, связанных с новым геополитическим контекстом, не ограничивалось. Как, например, быть с теми русскими, которые всю жизнь проживали на территории Советского Союза и в одно мгновение оказались русскими, живущими за пределами России? Несмотря на то что на уровне русского языка это явление не нашло своего прямого отражения, на страницах финноязычной газеты мы находим слово *ulkovenäläinen*²⁴, которое образовано по типу слова *ulkosuomalainen* (финн, проживающий за пределами исторической Родины).

Таким образом, из рассмотренных примеров видно, что рост лексики происходит как морфолого-семантическим (безусловное преимущество словосложения), так и семантическим путем. Наряду с искусственным созданием лексем, когда для уже существующего понятия вводят новое слово, довольно ощутимы и тенденции спонтанного процесса заимствования. Даже при поверхностном анализе материала становится очевидным, что при образовании новой лексики довольно существенно влияние как русского языка, так и финского языка Финляндии, что подтверждает специфику языка газеты. Беря во внимание этот факт, нельзя, однако, не

заметить, что, спустя некоторое время, предпочтение отдается варианту, процесс образования которого максимально остается в традиции классического финского словообразования.

-
- ¹ Леви-Строс К. Структурная антропология. В. В. Иванова. М., 2001. С. 308–313.
² Karjalan Sanomat. 1992. 24. helmikuuta.
³ Азнаурова Э. С. Прагматика художественного слова. Ташкент, 1988. С. 17; Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. С. 18–19.
⁴ Iso suomen kielioppi / Päätoim. A. Hakulinen SKST, 950. Helsinki, 2004. S. 179–188 (далее – ISK).
⁵ Karjalan Sanomat. 1994. 3. joulukuuta.
⁶ Karjalan Sanomat. 1993. 12. kesäkuuta.
⁷ Karjalan Sanomat. 1993. 21. lokakuuta.
⁸ Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения. СПб, 1998 (далее – ТСРЯ).
⁹ Karjalan Sanomat. 1992. 26. elokuuta.
¹⁰ Karjalan Sanomat. 1992. 12. marraskuuta.
¹¹ Karjalan Sanomat. 1994. 15. helmikuuta.
¹² Karjalan Sanomat. 1992. 25. elokuuta.
¹³ Karjalan Sanomat. 1995. 4. helmikuuta.
¹⁴ Karjalan Sanomat. 1992. 10. lokakuuta.
¹⁵ Karjalan Sanomat. 1993. 14. lokakuuta.
¹⁶ Karjalan Sanomat. 1995. 4. helmikuuta.
¹⁷ Karjalan Sanomat. 1995. 8. huhtikuuta.
¹⁸ Karjalan Sanomat. 1994. 28. huhtikuuta.
¹⁹ Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 1990.
²⁰ Karjalan Sanomat. 1994. 2. kesäkuuta.
²¹ Ожегов С. И. Указ. соч.
²² Там же.
²³ Karjalan Sanomat. 1994. 26. heinäkuuta.
²⁴ Karjalan Sanomat. 1994. 16. elokuuta.

© О. Ю. Жукова
Петрозаводск

Образ дома в вепсских обрядовых плачах

Как известно, свадебные и похоронные причитания – часть «переходных» ритуалов, связанных с изменением статуса индивида¹. Девушка-невеста навсегда уходит из девичества в замужнюю жизнь. Умерший человек уходит к своим предкам, в другой мир.

Семантической сущностью обрядов является само перемещение. Мотив ухода, расставания постоянно присутствует в причитаниях. К покойному обращаются:

muga aigalaz sinä kerazitoi i kogožitoi – «так рано ты собрался»,
nügüde sindei kaimdamei – «теперь тебя провожаем»,

lähted sinä verhale vilule randaizele – «уходишь ты на чужой холодный бережок» или *edaheizele vilule randaizele* – «на дальний холодный бережок».

Под этим иносказательным именованием места перемещения (характерного и свадебным, и похоронным плачам) подразумевается «отдаленное пространство». В фольклорной традиции «неизвестное», «чужое» всегда «дальнее». Наблюдается разделение сфер своего и чужого.

Дом является одним из символов той жизни, которую человек покидает.

В плачах его именуют *korged kodine* – «высокий дом» (устойчивое сочетание с постоянным эпитетом). Для языка вепсских причитаний характерны устоявшиеся словесные формулы (атрибутивные сочетания), складывающиеся с учетом традиционных способов каждый раз в новое произведение.

Мать невесты причитывает:

Libed linduizem,

säditei i sobitei

Kalhize sobeizihe,

Čomihe sadoizihe,

Jälgmeižen coman da ehtkoizen-se

*Ičein korttas da kodizes-se...*²

Милая моя пташечка,

Нарядилась и оделась

В дорогие одежды,

В красивые наряды,

В последний хороший вечерок

В своем высоком доме...

В свадебных причитаниях добавляют *roditel'ski korged kodine*.

Поэтизируя родительский дом, его именуют русскоязычными заимствованиями в сочетании с тем же прилагательным *korged*:

korktađ horominaized – «высокие хоромы»,

korged gornicaine – «высокая горница».

Метафорическая замена термина дом: *läm pezaine* – «теплое гнездышко», соотносится с метафорической заменой термина невеста: *libed linduine* – «милая пташечка».

...manen ičēn laskvan mamkon

*lamas pežāžes...*³

...ухожу из теплого гнездышка

своей ласковой матушки...

Также говоря о доме, используют сочетание *čoma cogaine* – «красивый, хороший уголок». Здесь может подразумеваться передний «красный» угол как образ всего дома.

Kut minä kaicelin (minun vouktan voudeižen)

Kalhen kazvattajaizen korttas kodizes

*I kalhen kandjoihuden comas cogaižes*⁴.

Как я оберегала (мою белую волюшку)

в высоком доме дорогого вырос-

тившего
и в красном углу дорогой выно-

сившей.

В причети рисуется идеальный, правильный, дом. Части дома и предметы интерьера характеризуются изобразительными или выразительными (эмоционально-положительными) эпитетами.

Важный предмет в интерьере дома – стол. В плачах *dubovijad stolaized* – «дубовые столы». Это устойчивое сочетание заимствовано из русского фольклора, где широко распространено и имеет значение «правильности», «добротности». Данный изобразительный эпитет встречается и в именовании других частей дома:

dubovijad pordhaized – «дубовые крылечки»,

dubovijad vereized – «дубовые двери»,

dubovi lavaine – «дубовый пол».

Окно называют *izo iknaine* – «милое окошечко». Постоянный эпитет *izo* имеет явно выразительный характер и необходим для соблюдения аллитерации в сочетании, свойственной языку вепского фольклора.

Окно – часть правильного дома, «по отсутствию окна дом живого человека противопоставляется гробу как посмертному жилищу»⁵.

Tegiba sinii kodizen,
*Da ii tehtud izod iknašt...*⁶

Сделали тебе домик,
Да не сделали милого окошка...

Ele iknaižid i ele uksuzid,
*Mugomha panemei da kodizhe...*⁷

Нет окошек и нет дверей,
В такой кладем тебя домик...

Окно – «нерегламентированный вход в дом, через него осуществляется связь с внешним миром»⁸. Душа умершего в образе птицы возвращается к окну дома.

Kändouteške sinä libedaks linduizeks,
Isteske sinä minun izoho iknaižehe-
*se...*⁹

Обернись милой пташечкой,
Сядь ты на мое милое окошеч-
ко...

Одним из наиболее почитаемых предметов в интерьере дома была печь. Она выражает оппозицию «жизнь – смерть» в проявлении «теплый – холодный». Поэтому характеризует печь ее главное свойство: *lām päčine* – «теплая печечка».

«Печь рассматривалась как „жилище“ домашнего огня, поэтому в народных представлениях на нее переносились черты и свойства, приписываемые этой стихии»¹⁰.

У вепсов существует обычай касаться руками печи после возвращения с кладбища в день похорон. Толкования существуют разные, но все сводится к избавлению, очищению от нехороших последствий¹¹. Защитная символика огня через предметы, связанные с процессами протапливания печи, применялась во многих обрядах у мно-

гих народов¹². Так, в одном из описаний вепсской свадьбы говорится: «невесту ведут в баню преимущественно ее подруги с песнями, звеня сковородами и заслонками»¹³. Также при выносе покойника: как только поднимали гроб, на его место бросали кочергу, действие имело оберегательную функцию¹⁴.

Дом – это место обитания домашних духов. Дом и сам порой представляется живым организмом: когда в дом пришла беда, смерть:

pimizuiba izod ikneized – «потемнели милые окошки». Сопереживает он и чувствам невесты:

Entä mikš tanambei

Не знаю, почему сегодня

Likutas i lambutas,

Двигаются и прогибаются,

*Nene lavalahkoized roditel'skijad...*¹⁵

Эти половицы родительские...

Таким образом, «правильный» дом, в котором *dubovijad stolaized* – «дубовые столы», *izod iknaižed* – «милые окошки», *tazo lavaine* – «ровный пол», *läm räčine* – «теплая печь», имеет функцию защиты от нехорошего влияния другого, чужого мира.

Уходя в другой мир, человек прощается с домом и со всей прошлой жизнью:

Prostiske izoiš ikneizispei,

Попрощайся с милыми окошечками,

Lamas päčizespei,

С теплой печечкой,

Dubovijois vereizispei,

С дубовыми дверцами,

*Da comas cogaizespei...*¹⁶

Да с красивым уголком...

¹ Невская Л. Г. Балто-славянское причитание (реконструкция семантической структуры). М., 1993. С. 56.

² Язык и народ (Тексты и комментарии). СПб, 2002. С. 60.

³ Образцы вепсской речи / Сост. М. И. Зайцева, М. И. Муллонен. Л., 1969. С. 256.

⁴ Там же. С. 103.

⁵ Невская Л. Г. Указ. соч. С. 77.

⁶ Полевые материалы автора.

⁷ Фонотека Петрозаводской консерватории. Ед. хр. 313/8005.

⁸ Невская Л. Г. Указ. соч. С. 77.

⁹ Полевые материалы автора.

¹⁰ Винокурова И. Ю. Огонь в мифологии вепсов // Вепсы. Петрозаводск, 1999. С. 161.

¹¹ Строгальщикова З. И. Погребальная обрядность вепсов // Этнокультурные процессы в Карелии. Петрозаводск, 1986. С. 78.

¹² Логинов К. К. Интерьер крестьянской избы в обрядности и верованиях заонежан // Заонежский сборник. Петрозаводск, 1992.

¹³ С-ов П. «Оятские лапти» («Картина с натуры») // Олонекский сб. Петрозаводск, 1894. Вып. 3. С. 400.

¹⁴ Строгальщикова З. И. Указ. соч. С. 72.

¹⁵ Полевые материалы автора.

¹⁶ Полевые материалы автора.

Семантическая классификация обобщительно-определятельных местоимений*

Обобщительно-определятельные местоимения – это особый разряд местоименных слов карельского языка, выделяемый не всеми исследователями-языковедами.

Так, А. Генетц¹, Е. В. Ахтия², Г. Н. Макаров³, П. М. Зайков⁴ объединяют в один разряд как неопределенные, так и обобщительно-определятельные местоимения.

Между тем В. Д. Рягоев⁵ и Л. Ф. Маркианова⁶ выявляют в карельском языке как неопределенные, так и определятельные местоимения. Главное отличие между указанными группами местоимений В. Д. Рягоев видит в их функциях: «функция определятельных местоимений заключается в выделении определенного, ограниченного числа предметов из неопределенного множества: *jogahin'e tuo omalla ris't äellä sorokan 'каждая (невеста) приносит своей крестной сороку (женский головной убор замужней женщины)'*; *muduannet hüivät talot lahjottii 'некоторые хорошие дома дарили'*»⁷, в то время как неопределенные местоимения указывают на неопределенные, невыясненные предмет, лицо, место и т. д.: *ket to hänel'lä avutetaa 'кто-то ему помогает'*; *jo varuš/šat müt'üt't'ä n'ibui't ruumenda 'уже и приготовишь какой-нибудь мякны'*.

Приведем еще два мнения, высказанные в связи с определением сущности обобщительно-определятельных местоимений. Так, В. И. Лыткин считает, что обобщительно-определятельные местоимения выделяются в особый разряд как слова, являющиеся обобщенно-качественными определителями⁸. В то же время М. А. Шелякин подчеркивает, что обобщительно-определятельные местоимения указывают на отдельный предмет, который говорящий объединяет с другими предметами по широким, категориальным, а не качественным признакам. Он считает, что значение обобщительно-определятельных местоимений обладает, с одной стороны, элементом обобщенной указательности, а с другой стороны, элементом качественной неконкретизированности предмета⁹.

Выделение в отдельные группы неопределенных и обобщительно-определятельных местоимений представляется нам вполне логичным. Все неопределенные местоимения указывают на предметы, лица, место, вре-

* Статья подготовлена к публикации на средства Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 04-04-00276а.

мя, которые для говорящего не обладают конкретной, индивидуальной определенностью. Специфика обобщительно-определятельных местоимений состоит в том, что они указывают на отдельный предмет (или предметы), который (которые) говорящий объединяет с другими предметами по широким, категориальным признакам.

Семантика обобщительно-определятельных местоимений довольно разнообразна и многогранна. Одни из них обозначают парные предметы (*molommat* 'оба', *kumpiki* 'оба, и тот, и другой'), другие – идентичность (*sama* 'тот же самый'), третьи – совокупность предметов (*kaikki* 'все') и т. д.

В карельском языке выявляются следующие семантические группы обобщительно-определятельных местоимений:

1. Консессивные. Местоимения данной группы имеют уступительное значение и не содержат окончательного выбора, более того, говорящему безразличен результат выбора. Эту группу составляют:

а) образованные от вопросительных при помощи частиц *hot*, *hod*, *hos*, *hoz* 'хоть', заимствованных из русского языка (выявляются во всех наречиях): *hot* (*hod*), *hoz*, *hos*, *hoš*) *mi* 'хоть что, что угодно, какой угодно, хоть сколько, сколько угодно'; *hoš*, *hot ken* 'хоть кто, кто угодно'; *hoš*, *hot* *kumpani*, *kudai* 'хоть который, который угодно'; *hod* (*hot*) *hos* *mitiŋš*, *mittuine*, *mitus*, *mitte* 'хоть какой, какой угодно':

собств.-кар. Вокнаволок: *šiun ois pitän hoš kumpaseh šituo heponi* (КНС, 1963, 375) 'тебе нужно было к которому угодно (дереву) привязать лошадь'; ливв. Коткозеро: *rua hod midä, ei nimitä sanota* 'делай что угодно, ничего не скажут'; люд. Мунозеро: *hebo hūpnii aidas hot mit't'es* (LS, 1944, 75) 'лошадь перепрыгнет через какой угодно забор';

б) образованные от вопросительных при помощи частицы *l'uiibo* 'угодно', заимствованной из русского языка (выявляются в тверских диалектах собственно-карельского наречия): *mil'uiibo* 'что угодно, сколько угодно'; *kenl'uiibo* 'кто угодно':

собств.-кар. тверск.: *Nasto kun luvettelou, abeuttau kenen l'uiibo* (СКЯ, 1994, 9) 'Настя, когда причитывает, кого угодно до слез доведет';

в) образованные от вопросительных при помощи аффиксальной частицы глагольного происхождения *tahto* 'угодно' (выявляются в ливвиковском и людиковском наречиях): *kentaht* 'кто угодно', *mittuinetahto*, *mit-tetahto* 'какой угодно':

ливв. Тулмозеро: *olgah miittuine tahto* (KKN, 1934, 30) 'пусть будет какой угодно'; люд. Мунозеро: *muid nimiid ota mitte tahto vai Van'kad elä ota* (LS, 1944, 266) 'другими именами назови какими угодно, только Ванькой не назови'; *ole ken taht, vedä iäre* (LS, 1944, 165) 'будь кем угодно, отвези обратно'.

Примыкая к глаголу в форме императива, местоимение с частицей *tahto* чаще всего является обобщительно-определительным, поскольку именно в этом случае данная частица выступает в значении 'угодно' и, следовательно, образует обобщительно-определительное местоимение, а не семантически близкое к нему неопределенное местоимение с омонимичной частицей со значением 'нибудь': ср. неопр. *sie kentahto on 'там кто-то есть'* и обобщ.-опр. *olga sie kentahto 'пусть там будет кто угодно'*. Таким образом, неопределенная или обобщительно-определительная семантика местоимений с частицей *tahto* обусловлена синтаксически;

г) образованные от вопросительных при помощи слова *vaikka* 'хоть' (выявляются в собственно-карельском наречии): *vaikka mityš 'хоть какой, какой угодно'*;

собств.-кар. Оуланга: *Markke-rukka še kuto meän kyläššä vaikka mityttü löityö* (KKS, 1983, 327) 'Маркке этот плел в нашей деревне **какую** **угодно** берестяную обувь'.

2. Тотальные, обозначающие в той или иной мере определенный предмет, количество, обстоятельство:

а) образованные от вопросительных при помощи аффиксальных частиц *-ki*, *-gi* и выступающие в значении 'каждый, оба' (*kuki, kudaigi*) или 'всякий, разный' (*mittuinegi, miitusgi*) (выявляются во всех наречиях карельского языка):

собств.-кар. Панозеро: *käyköä kuki milma muistelomah miun hauvan peällä* (ККО, 1907, 6) '**каждый** приходите на мою могилу вспоминать меня'; ливв. Сямозеро: *kudaigi suadih hyväšti dengoa* (KKS, 1974, 477) '**оба (каждый)** получили достаточно денег'; люд. Святозеро: *pajatettih kous miituttegä pajot* (ФСЛР, 1975, 216) 'пели когда **какие** (=какие **угодно, разные**) песни';

б) *joka* (в северных диалектах собственно-карельского наречия), *joga* (в южных диалектах собственно-карельского наречия и в ливвиковском наречии), *d'oga* (в видлицком и ведлозерском говорах ливвиковского наречия и в людиковском наречии), *jogo* (в тверских диалектах собственно-карельского наречия) и образованные от них при помощи именного словообразовательного суффикса *jokahini, jogahi(i)ne, d'ogahine* 'каждый'.

Семантическая особенность местоимений *joga, jogahine* заключается в том, что они указывают на отдельные элементы (предметы), из которых состоит какое-нибудь множество, и которые однородны по отношению к свойствам всего данного множества: сочетание *jogahine ristikanzu* 'каждый человек' означает, что отдельный человек является одним из подобных людей, из которых состоит все множество. Таким образом, употребляя данные местоимения, мы выделяем отдельный предмет из ряда по-

добных, целого множества предметов и тем самым распространяем наши высказывания на все множество:

собств.-кар. Вокнаволок: *se oli joka päivä sreäppimini* (KKS, 1968, 504) '**каждый** день была стряпня'; Тунгуда: *jogahizella oli moata* (KKS, 1968, 505) '**у каждого** была земля'; ливв. Тулмозеро: *joga langaine erikseh* (KKN, 1934, 28) '**каждая** ниточка отдельно'; Видлища: *d'ogahiine otti min sai* (KKS, 1968, 505) '**каждый** взял столько (рыбы), сколько сам поймал'; люд. Галезеро: *d'oga kohtas* (LL, 1967, 91) '**в каждом** месте'; Мунозеро: *d'ogahizel on mozgut piäs* (LS, 1944, 35) '**у каждого** есть голова на плечах'.

Для усиления значения к местоимению *joka* (*joga*) иногда присоединяется прилагательное *ainavo* (*ainavoine*, *ainut*, *ainuo*), обозначающее 'один, единственный':

собств.-кар. Ухта: *jok ainuot suutkat varsan suau* (KKN, 1936, 144) '**каждые** сумки рождает жеребенка'; ливв. Видлища: *d'ogainavon on tuldan kerätmöh* (KKS, 1968, 504) '**каждому** надо прийти на собрание';

в) *kaikki, kai* 'все, всё', *kaikin* 'все'; *koko, kogo* 'весь'.

Местоимения *kai, kaikki* 'все, всё', *kaikin* 'все' указывают на целостный класс предметов, состоящих из однородных или разнородных предметов и любой по объему. Таким образом, эти местоимения имеют собирательное значение, указывая на совокупность явлений или полноту охвата чего-либо.

Местоимение *kaikin* 'все' используется, когда речь идет о группе людей:

kaikki (собств.-кар.), *kai* (ливв., люд.), 'все, всё, весь', *kaikin* (ливв., люд.) 'все':

собств.-кар. Паданы: *kai jo mändih* (KKN, 1936, 40) '**все** уже ушли'; ливв. Коткозеро: *kai ruavot sudrei mendih* (ОКР, 1969, 149) '**все** работы были напрасные'; люд. Святозеро: *pagettih kaikin iäre* (ФСЛР, 1975, 209) '**убежали все** прочь'.

Местоимение *koko* (*kogo*) имеет значение 'весь, целый'. В людиковском наречии местоимение такого типа отсутствует;

koko (сев. собств.-кар.), *kogo* (южн. и тверск. собств.-кар.; ливв.):

собств.-кар. Ругозеро: *söi kogo leivän* (KKS, 1974, 287) '**съел весь** хлеб'; ливв. Рыпушкалицы: *kogo rovius ei olluh mostu* (KKS, 1974, 287) '**во всей** семье не было такого (как он)';

г) *molommat, molomma, molemmat, mollembat, molotit, molletit, mollei, molen* 'оба'. Семантика этих местоимений близка семантике числительных: *оба* = два; *molommat, molemmat* (собств.-кар.), *molomma* (падан.), *molemmat* (тверск.), *mollembat* (ливв.), *molemba, molembad* (люд.):

собств.-кар. Контокки: *vei molommat laivat* (KKS, 1974, 342) '**угнал оба** корабля'; ливв. Рыпушкалицы: *tulou mollembat vellet čoarín luo* (KKN,

1934, 12) 'приходят **оба** брата к царю'; люд. Галезеро: **molembad oldih Ivanad** (LL, 1967, 89) '**оба** были Иваны';

mol(l)otit, molletit (ливв., люд.), *mollotiin* (люд.):

ливв. Ведлозеро: **molletit** syöu (КНС, 1967, 241) '**обоих** съест'; люд. Святозеро: **molloitit sizäret vahnembe i nuorembe** (ФСЛР, 1975, 235) '**обе** сестры – старшая и младшая';

molen, molommin (собств.-кар.), *molemmiin* (тверск.), *mollei* (ливв., люд.), *mollembin* (люд.):

собств.-кар. Реболы: *ruvettih moata molen* (KKN, 1932, 59) '**легли спать оба**'; ливв. Ведлозеро: *toatto da moamo kuollah mollei* (KKN, 1934, 35) '**мать и отец оба** умирают'; люд. Мунозеро: *rubettih mollei itkemäh* (LS, 1944, 242) '**оба** начали плакать'.

3. Противопоставительные: *toini, toine, miui* 'другой', *üksi...toine* 'один...другой':

toini (собств.-кар.), *toine* (ливв., люд.):

собств.-кар. Поросозеро: *muzikka pisti toizen muzikan veičellä* (LL, 1967, 31) '**музик** пырнул **другого** мужика ножом'; ливв. Коткозеро: *lastu jätetäh toizeh taloih* (ОКР, 1969, 158) '**ребенка** оставляют **в другом** доме'; люд. Святозеро: *lähtöu toizeh gosudarstvah* (ФСЛР, 1975, 230) '**отправляется в другое** государство'.

«Парное» местоимение карельского языка *üksi...toine*, реже *toine...toine* (только в северных диалектах собственно-карельского наречия) в значении 'один...другой' имеет более четко выраженное противопоставительное значение, чем выступающее единожды (в коми-пермяцком языке подобное местоимение В. И. Лыткин относит к разряду противопоставительных):

собств.-кар. Паданы: *üksi poiga varraštai toizelda hebozen* (KKN, 1936, 44) '**один** парень крадет у **другого** лошадь'; ливв. Ведлозеро: *yhtel puutui pravoslavnoidi vieruo miui, a toizel puutui Syväinteröin akan tytär* (КНС, 1967, 141) '**одному** попалась жена православной веры, а **другому** – дочка Сюоятар'; люд. *šhted on kuivad lodmad, toized on vezilodmad* (LS, 1944, 209) '**одни** низины сухие, **другие** – сырые'.

собств.-кар. Поросозеро: *muut jo on māndy* (KKN, 1936, 30) '**другие** уже ушли'; ливв. Рыпушкалицы: *annetah lehtän peä, muudu lihua ei anneta* (КНС, 1967, 282) '**дают** коровью голову, **другого** мяса не дают'; люд. Святозеро: *a muid ei olnu* (ОЛР, 1978, 72) '**а других** не было'.

4. Обозначающие схожесть или идентичность: *sama, samani, samaine*, 'такой же, тот же самый'. Для усиления утверждения к местоименному слову *samaine* (реже к *sama*) довольно часто примыкает местоимение *se* 'тот', иногда *üksi* 'один':

собств.-кар. Ухта: *se samani musikka tuli vastah 'тот же самый мужик пришел навстречу'*; ливв. Ведлозеро: *piutui sih samah linnah, kudamah pidi mennä* (КНС, 1967, 179) '*попал в тот самый город, в который ему было нужно*'; люд. Мунозеро: *sen päivän saman tuli 'в тот самый пришел'*.

Иногда в значении '*такой же, тот же самый*' выступает местоимение *uksi* '*один, некто*', что, вероятно, объясняется семантикой числительного *uksi* '*один*': собств.-кар. Ухта: *en ole opastun yhessä koht olomah* (ККН, 1936, 142) '*я не привык находиться в одном и том же месте*'.

¹ Genetz A. Tutkimus Venäjän karjalan kielestä. Helsinki, 1880. S. 206; Genetz A. Tutkimus Aunuksen kielestä. Helsinki, 1883–84. S. 159.

² Ahtia E. V. Karjalan kieliooppi. Äänne- ja sanaoppi. Suojärvi, 1936. S. 70–72.

³ Макаров Г. Н. Карельский язык // Языки народов СССР: Финно-угорские и самодийские языки. М., 1966. С. 69.

⁴ Зайков П. М. Грамматика карельского языка. Петрозаводск, 1999. С. 61–62.

⁵ Рягоев В. Д. Тихвинский говор карельского языка. Л., 1977. С. 102–110.

⁶ Markianova L. Livvin murdehen morfolougii. Petroskoi, 1993. S. 76.

⁷ Рягоев В. Д. Указ. соч. С. 108–109.

⁸ Коми-пермяцкий язык. Кудымкар, 1962. С. 243.

⁹ Шелякин М. А. Русские местоимения. Тарту, 1986. С. 82.

Литература

Карельские народные сказки / Изд. подгот. У. С. Конкка. Л., 1963 (далее – КНС, 1963).

Карельские народные сказки / Изд. подгот. У. С. Конкка и А. С. Тупицина. Л., 1967 (далее – КНС, 1967).

Образцы карельской речи / Сост. В. Д. Рягоев, Г. Н. Макаров. Л., 1969 (далее – ОКР).

Образцы людиковской речи / Сост. А. П. Баранцев. Петрозаводск, 1978 (далее – ОЛР).

Баранцев А. П. Фонологические средства людиковской речи. Л., 1975 (далее – ФСЛР).

Karjalan kieltä ja kansankulttuuria. Julkaisseet H. ja P. Virtaranta. Helsinki, 1990 (далее – ККК).

Karjalan kielen näytteitä. Julkaisut E. Leskinen. Helsinki, 1932, 1934, 1936 (далее – ККН).

Ojansuu H. Karjalan kielen opas. Kielennäytteitä, sanakirja ja äänneopillisia esimerkkejä. Helsinki, 1907 (далее – ККО).

Karjalan kielen sanakirja. Päätoimittaja P. Virtaranta. SUS. Helsinki (далее – ККС).

Lähisukukielten lukemisto. Toimittanut P. Virtaranta. Helsinki, 1967 (далее – LL).

Lähisukukielet. Näytteitä uralilaisista kielistä 3. Toimittaneet P. Virtaranta ja S. Suhonen. Helsinki, 1978 (далее – LS).

Suojanen M. Indefiniittipronominien teoriaa. Lisensiaattityö. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos. 1971.

Suojanen M. Mikael Agrikolan teosten indefiniittipronomit: totalitiivit. Helsinki, 1977.

Прибалтийско-финские послелогои на ливвиковско-карельской почве

Наряду с падежами в финно-угорских языках всегда использовались послелогои, которые дополняли падежную систему, выражая локальные или грамматические связи. Послелогои встречаются в большом количестве во всех финно-угорских языках, даже в тех, которые имеют многообразную падежную систему. Иными словами, системы падежей и послелогов не находятся по отношению друг к другу в комплиментарном отношении, а, скорее, наоборот.

Послелогои в финно-угорских языках образуются чаще всего из существительных, реже – от глаголов. Л. Хакулинен также считает, что «...послелогои и предлоги по происхождению представляют собой в финском языке формы, входившие в прежние или современные именные или глагольные парадигмы...»¹ Поэтому послелогои, хотя и классифицируются как неизменяемый класс слов, на практике в финно-угорских языках обладают формами некоторых падежей, а послелогои, указывающие на место, часто имеют ряд локальных падежей, которые относительно карельского языка (ливвиковское наречие) выделены, например, и в работе Л. Маркиановой² (например, кар. *al*, *alpäi*, *alle*, *alači* и т. д.). Естественно, они не могут иметь полной падежной парадигмы. Частичная падежная флексия подтверждает идею о субстантивном происхождении послелогов.

Самыми первичными считаются те послелогои, которые выражают основополагающие связи (например, кар. *edeh* ‘перед’, *tuakse* ‘позади’, *piäl* ‘на’, *al* ‘под, внизу’, *rinnal* ‘рядом, около’ и т. д.). Предполагается, что они восходят к существительным, обозначающим части тела человека, например, *piäl* ‘над’ (ср. кар. *piä* ‘голова’), *rinnal* ‘рядом, около’ (ср. кар. *rindu*, *rinta* ‘грудь’), *korval* ‘около’ (ср. кар. *korvu* ‘ухо’) и т. д. Тем не менее высказывается мысль и о том, что древнейшие слова с местным значением в финно-угорских языках не восходят к названиям частей тела, а их первоначальный смысл был абстрагирован, обозначая лишь некое пространство, например, *ala* < **alak*³ ‘нижняя часть, находящийся внизу, нижний и т. д.’, *taka* < **taʏak(-)*⁴ ‘задняя часть, находящийся внизу, задний’ и т. д.⁵

Что касается послелогов карельского языка, то их развитие проходило в двух направлениях: 1) они сохранились в качестве послелогов, соответствия которым имеются и в других родственных языках (*al* ‘под’, *piäl* ‘над’, *tagua* ‘за’, *sijal* ‘вместо’, *vastah* ‘против, навстречу’, *ümbäri* ‘вокруг’ и т. д.); 2) некоторые из них вошли в границы слова, превратившись в

часть падежного окончания (*minu-nke* ‘со мной’, *mečä-späi* ‘из леса’, *lattie-lpäi* ‘с пола’, *üö-ssäh* ‘до ночи’, *mičoi-lluo* ‘к жене’ и т. д.). Сами послелого достаточно активно упоотребляются при уточнении и дополнении значений синтаксических конструкций. Послелого карельского языка (ливвиковское наречие) можно разделить на четыре главные группы, внутри которых они наиболее употребительны:

1. Послелого, ориентированные в пространстве: **al (ual)**, например, *A toine stola on varustettu, erinomainen stola neččih, orren ual* (Vuoh’tarvi) ‘А другой стол, особый, уже накрыт под воронцом’⁶; *Kiven al kirguw, aitan al ambuw* (Sammatus) ‘Под камнем поскрипывает, под амбаром постреливает’⁷; *Istutetah jumaloin ual* (Vuot’arvi) ‘Усаживают (ее) под иконы’⁸; **ies (iez)**, например, *Nügöi plitoil keitetäh, enne päčin ies keitetih* (Säämäjärvi)⁹; ‘Теперь на плитах готовят, а раньше перед печью (в печи) варили’; *Koiš päčin ies da pello maltaimmo i kirjatah ruadua* (Ul’I’öine) ‘Дома возле печки да и на поле умели и без грамоты работать’¹⁰; *Päčin iez voibi pastoa, voibi niidü riehtiläl keitellä* (Vieljärvi)¹¹ ‘В печи (перед печью) можно печь, можно и на сковороде жарить’; **piäl**: например, *Lapsem pani polvem piäl* (Säämäjärvi)¹² ‘Ребенка положила на колено’; *Ewle se muamo, kudai lapsen suaw, on se muamo, kudai vačan piäl magaitaw* (Sammatus) ‘Не та мать, которая родила, а та, что выпестовала да грудью выкормила’¹³; **rinnal**, например, *Meijän rinnal eli, El’midjärves, elmind’ärviläin oli* (Vuoh’tarvi) ‘Рядом с нами жила в Эльмисярви, эльмисярвская была’¹⁴; *Ihan olen koin rinnal* ‘Совсем рядом с домом нахожусь’; **ümbäri**, например, *Riboitammo halmehes ümbäri i jänöi heittäw käwdäh* (Mägräd’d’arvi) ‘Разбрасаем вокруг участка, и заяц отвадится ходить (на репу)’¹⁵; *A koivuloiz ümbäri nenga otetah sidä tuohtu* (Vitele) ‘А с берез так бересту отдирают’¹⁶ и т. д.

2. Послелого, указывающие на время **aigah (aigua, aijakse)**, например, *Voinan aigah kačo se luajittih* ‘Это сделали во время войны’; *Pedrunpiän aigah otetah* ‘Во время Петрова дня берут’; **peräh (peräs)**, например, *Sit üheksän ned’älin peräs sula roih mua* (Vehkuselgü) ‘Через девять недель земля будет талая’¹⁷; *Vuvven peräs rod’ih kolhozu* ‘Через год сформировался колхоз’; **piäliči**, например, *Aijas piäliči häi nouzi* ‘Через некоторое время он поднялся’, *Häi kävüü sinne päiväs piäliči*¹⁸ ‘Он придет туда через день’ и т. д.

3. Послелого, указывающие на субъектные отношения: **kel**, например, *Mahan kel onhai akku* (Säämäjärvi)¹⁹ ‘Жена-то с животом (беременная)’; *Da kiis’el’in kel süödih* (Säämäjärvi)²⁰ ‘И с киселем ели’; *Sit tahtahan kel süödih* (Säämäjärvi)²¹ ‘Затем с тестом ели’; **tilas**, например, *Tuatan tilas kalastamah kävüü poigu*²² ‘Вместо отца рыбачить отправился сын’; *Voizitgo mennä minun tilas*²³ ‘Можешь пойти вместо меня’; **niškoi**, например, *Ostua leibiä iččeh*

niškoi ‘Покупать хлеб для себя’; *Pagin oli sinuh niškoi* ‘Речь шла о тебе’; *näh*, например, *Meijän kolhozu oli Anuksen rajonas parahimbie žiivatoim kačondah näh* ‘Наш колхоз в Олонецком районе был из лучших по животноводству’²⁴; *Eihäi ilmai sanottu moižih näh* ‘Не зря ведь про таких говаривали’²⁵ и т. д.

4. Послелогои, указывающие на причинно-следственную связь, например, *täh*, *Emmogo nähnüh nimidä sen täh* ‘Из-за этого ничего не видели’; *Emmo lähte pühapäivän täh* ‘Не поехали в воскресенье’; *valdua Vüzündän valdua brihačču uinoi hedi*²⁶ ‘Мальчик уснул быстро из-за того, что устал’, *sijas* *uksen sijas* ‘вместо двери’; *Uksi oli luajittu gorničan ikkunan sijah* ‘Дверь была сделана вместо окна горницы’ и т. д.

Исследователи полагают, что класс послелогов в финно-угорских языках открыт. Об этом свидетельствует тот факт, что в языках появляются послелогои, которые не имеют соответствий в родственных языках, то есть эти послелогои – результат самостоятельного развития языков и диалектов. Карельский язык не исключение. В нем, как и в других родственных языках, отдельные падежные формы имен существительных, теряя знаменательное значение, постепенно переходят в класс послелогов (*aigua*, *niškoi*, *tilas*, *valdua*, *jüttüöh* и т. д.) и таким образом пополняют его.

¹ Хакулинен Л. Развитие и структура финского языка. Ч. I. М., 1953. С. 69.

² Markianova L. Karjalan kieliooppi. Petroskoi, 2002. S. 186–187 (далее – Markianova).

³ Suomen sanojen alkuperä. SKS. Helsinki, 1995–2001, osa I. S. 66 (далее – SSA).

⁴ SSA, osa III. S. 257.

⁵ Saarinen S. Die Nominalkategorie und das Postpositionssystem der Wolgasprachen // Congressus Decimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Pars I. Joshkar-Ola, 2005. S. 161–172.

⁶ Рягов В., Макаров Г. Образцы карельской речи (говоры ливвиковского диалекта карельского языка). Л., 1969. С. 230 (далее – Рягов).

⁷ Там же. С. 64.

⁸ Там же. С. 226.

⁹ Näytteitä karjalan kielestä; Joensuu-Petrozavodsk, 1994. S. 280 (далее – NKK).

¹⁰ Рягов. С. 105.

¹¹ NKK. S. 286.

¹² Ibid. S. 273.

¹³ Рягов. С. 68.

¹⁴ Там же. С. 245.

¹⁵ Там же. С. 114.

¹⁶ NKK. S. 299.

¹⁷ Рягов. С. 218.

¹⁸ Markianova. Op. cit. S. 187.

¹⁹ NKK. S. 273.

²⁰ Ibid. S. 281.

²¹ Ibid. S. 281.

²² Markianova. Op. cit. S. 187.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid. S. 106.

²⁵ Ibid. S. 82.

²⁶ Ibid. S. 187.

Отглагольные суффиксы имен существительных в диалектах карельского языка

Морфологический способ словообразования в карельском языке является продуктивным способом пополнения класса имен существительных и прилагательных.

В работах по именному словообразованию в финно-угорских языках отдельно рассматриваются две группы суффиксов: отыменные и отглагольные. Такое деление оправдано и для карельского языка. Однако есть случаи, когда один и тот же суффикс используется при образовании имен существительных как от имен, так и от глаголов. К таковым, например, можно отнести суффикс существительных *-us / -üs-*, посредством которого образуются существительные со значением качества или свойства, например, *rahus* ‘зло’ (< *raha* ‘плохой’), *čomus* ‘красота’ (< *čoma* ‘красивый’) и существительные со значением названия или результата действия, например, *kivissys* ‘боль’ (< *kivisteä* ‘болеть’), *niäritüs* ‘поддразнивание’ (< *niäritteä* ‘дразнить’). Суффиксы имен существительных *-os / -ös-, -es-, -as / -äs* также могут выступать как после именных, так и глагольных основ, например, *külvös* ‘посев’ (< *külvö* ‘посев’), *ostos* ‘покупка’ (< *ostua* ‘покупать’), *jalas* ‘полоз’ (< *jalka* ‘нога’), *syöttiläs* ‘побирушка’ (< *syötellä* ‘кормить’), *kives* ‘грузило’ (< *kivi* ‘камень’), *muanites* ‘обман’ (< *muanittua* ‘обманывать’).

Еще в прауральский период одни и те же суффиксы могли присоединяться как к глагольным, так и именным основам. Это объясняется тем, что в тот отдаленный период сами глагол и имя были еще менее четко разделены, чем в современных финно-угорских языках*.

Рассмотрим употребление и основные функции некоторых продуктивных deverbalных суффиксов существительных в диалектах карельского языка.

Суффикс *-ja / -jä-, -ju / -jü-, -i* – один из самых продуктивных, выражающих деятеля, суффиксов карельского языка. По диалектам он имеет разную фонетическую форму:

1) *-ja / -jä* выступает в говорах собственно-карельского наречия: *kaččoja* ‘смотреть’ (< *kačču* ‘зритель’), *hieroja* ‘массажист’ (< *hieruo* ‘массажист’), *mečästäjä* ‘охотник’ (< *mečästyä* ‘охотиться’), *itettäjä*

* Бубрих Д. В. Историческая морфология финского языка. М.; Л., 1955. С. 118–119.

‘плакальщица’ (< itettyä ‘заставлять плакать’), *varastaja* ‘вор’ (< varastoa ‘воровать’), *kyndäjä* ‘пахарь’ (< kyndeä ‘пахать’), *tervoaja* ‘тот, кто смолит’ (< *tervata* ‘смолить’).

2) -ju / -jü, -i выступает в ливвиковском наречии, причем к глагольным основам, заканчивающимся на дифтонг, будет присоединяться суффикс -ju / -jü: *leikkuaju* ‘жнец’ (< *leikata* ‘жать хлеба’), *süöjü* ‘едок’ (< *süvvä* ‘есть’), *kezriäjü* ‘пряха’ (< *kezrätä* ‘пряхать’), тогда как с остальными основами параллельно употребляются две формы, например, *tuöndäi* ~ *tüöndäjü* ‘тот, кто отправляет’ (< *tuöndiä* ‘отправлять’), *kandai* ~ *kandaju* ‘несущий, тот, кто несет’ (< *kandua* ‘нести’), *süöttäi* ~ *süöttäjü* ‘кормилец’ (< *süöttiä* ‘кормить’), *kävelii* ~ *kävelijü* ‘идуший’ (< *kävellä* ‘ходить’), *ongittai* ~ *ongittaju* ‘рыболов-удильщик’ (< *ongittua* ‘удить’), *tagoi* ~ *tagoju* ‘кузнец’ (< *tagou* ‘ковать’).

3) -i выступает в диалектах людиковского наречия: *kožiččii* ‘жених, сватающийся’ (< *kožita* ‘свататься’), *matkadai* ‘ходок’ (< *matkata* ‘идти’), *püüdäi* ‘тот, кто ловит рыбу, птицу и пр.’ (< *püütä* ‘ловить рыбу, птицу и пр.’), *pakiččii* ‘нищий’ (< *pakita* ‘просить; побираться’), *niittäi* ‘косарь’ (< *niittää* ‘косить’), *elläi* ‘житель’ (< *el’ädä* ‘жить’).

При присоединении суффикса к основам на -е конечная гласная последней будет чередоваться с -i, например, *lukie* ‘читать’ (*luke-*) > *lukija* ‘читатель’, *kävellä* ‘ходить’ (*kävele-*) > *kävelii* ‘идуший’, *langeilla* ‘падать’ (*langeile-*) > *langeilii* ‘эпилептик, припадочный’, *kuunnella* ‘слушать’ (*kuundele-*) > *kuundelii* ‘слушатель’, *kožita* ‘сватать’ (*kožiče-*) > *kožiččii* ‘жених, сватающийся’.

Без сомнения, рассматриваемый словообразовательный аффикс является одним из самых продуктивных в карельском языке. При его помощи образуются производные почти от всех типов глагольных основ. Таким образом, суффикс независим от морфологических ограничений. Однако семантическое ограничение несколько сужает его использование. Новые слова посредством данного суффикса не образуются от безличных глаголов, к таковым, например, относятся: *hämärdüü*, *himoittai*, *kivistäu*, *säräittäu*, *haikostuttau*, *tuulou*, *vihmuu*, *kajostah*, *nukuttau*, *juotattau*, *tarvičcou*, *pidäu*.

Продуктивность суффикса -ja / -jä, -ju / -jü, -i легко прослеживается и на новообразованиях, например, *uvvistai* ‘реформатор’, *ohjailii* ‘организатор’, *perustai* ‘основатель’, *omistai* ‘обладатель’, *luottai* ‘доверитель’, *ahtuaju* ‘грузчик’, *tallendai* ‘вкладчик’, *kuluttai* ‘потребитель’.

Основным словообразовательным значением рассматриваемого суффикса является выражение деятеля. Именно в этом значении он выступает и в других близкородственных языках. Приведем несколько

примеров: фин. *saaja* ‘получатель’, *myyjä* ‘продавец’, *laulaja* ‘певец’,
вепс. *astui* ‘идуший’, *omblii* ‘швея’, *pajatai* ‘певец’, *istui* ‘сидящий’, эст.
laulja ‘певец’, *andja* ‘дающий’, *kündja* ‘пахарь’, лив. *andaji* ‘дающий’,
juokšiji ‘бегун’, *salai* ‘вор, крадущий’, *kindai* ‘пахарь’.

Посредством словообразовательного аффикса -*min’i*, -*min’e*, -*mine*,
-*miine* образуются отглагольные производные со значением действия
или же результата действия. Как видно из предыдущего, данный
суффикс в диалектах карельского языка также имеет разную
фонетическую форму:

1) -*min’i* употребляется в севернокарельских, юшкозерском и
тунгудском диалектах: *oraštumin’i* ‘учеба’ (< *oraštuo* ‘учиться’), *läsimin’i*
‘болезнь’ (< *läsie* ‘болеть’), *kutomin’i* ‘вязание’ (< *kutuo* ‘вязать’),
kesröämin’i ‘пряжение, материал для прядения’ (< *kesrätä* ‘прясть’),
amprumin’i ‘стрельба’ (< *ampruo* ‘стрелять’), *šoutamin’i* ‘гребля’ (< *šoutoa*
‘грести’), *ruohtimin’i* ‘смелость’ (< *ruohtie* ‘осмеливаться’), *ammultamin’i*
‘черпание’ (< *ammultoa* ‘черпать’);

2) -*min’e* употребляется в южнокарельских, панозерском и
подужемском диалектах собственно-карельского наречия и в людиковском
наречии: *jauhomin’e* ‘помол, то, что подлежит помолу’ (< *jauhuo* ‘молоть’),
vedämin’e ‘ноша’ (< *vedeä* ‘возить’), *tagomin’e* ‘ковка’ (< *tagoa* ‘ковать’),
rygimin’e ‘кашель’ (< *rygie* ‘кашлять’), *tuomin’e* ‘гостинцы’ (< *tuoda*
‘привозить’);

3) в паданском диалекте параллельно употребляются два варианта
суффикса -*min’e* и -*mine*: *syömine* ‘еда’ (< *syvvä* ‘есть’), *keit’tämin’e*
‘варка; варево’ (< *keit’t’eä* ‘варить’). Как свидетельствует собранный
лингвистический материал, в северных деревнях паданского ареала
суффикс содержит палатализованный вариант *n’e*, тогда как в южных
населенных пунктах используется -*mine*;

4) суффикс -*mine* выступает в ведлозерском, сямозерском,
тулмозерском, видлицком диалектах ливвиковского наречия: *nägemine*
‘зрелище’ (< *nähtä* ‘видеть’), *nieglomine* ‘вязание, то, что вяжут’ (< *niegluo*
‘вязать’), *kalastamine* ‘лов рыбы’ (< *kalastoa* ‘рыбачить’), *andamine*
‘давание’ (< *andua* ‘давать’), *ostamine* ‘покупка’ (< *ostua* ‘покупать’);

5) суффикс -*miine* употребляется в коткозерском, рыпушкальском,
неккульском диалектах: *jawhomiine* ‘помол; то, что подлежит помолу или
уже смололи’ (< *jawhuo* ‘молоть’), *kündämiine* ‘пахота’ (< *kündiä*
‘пахать’), *kurimiine* ‘курение; курево, табак, то, что курят’ (< *kurie*
‘курить’), *puimiine* ‘молотьба; хлеб, подлежащий молотьбе’ (< *puija*
‘молотить’), *kandamiine* ‘ношение; ноша’ (< *kandua* ‘нести’), *tagomiine*
‘ковка’ (< *taguo* ‘ковать’).

Производные с рассматриваемым аффиксом образуют отглагольные имена действия, например, *magaittamine* ‘усыпление’, *lugemine* ‘чтение’, *kävelemine* ‘ходьба, хождение’, а также результат или следствие действия, например, *ostamin’i* ‘покупка’, *rüginin’e* ‘кашель’, *juomin’e* ‘питье’, *kezriämine* ‘материал для прядения’, *kandamiine* ‘ноша’, *kurimiine* ‘курево’, *tuomin’e* ‘гостинцы’.

Рассматриваемый аффикс продуктивен во всех говорах карельского языка. С его помощью образуются отглагольные производные почти от всех типов глаголов, то есть он так же, как и предыдущий суффикс, независим от морфологических ограничений и не образует новых слов от безличных глаголов.

Суффикс широко известен в прибалтийско-финских языках в той же самой функции. Приведем некоторые примеры: фин. *lukeminen* ‘чтение’, *kysyminen* ‘спрашивание’, вепс. *astmine* ‘ходьба’, *kirjutamine* ‘написание’, *rüginine* ‘кашель’, *pezemine* ‘мытьё’, эст. *lugemine* ‘чтение’, *küsimine* ‘спрашивание’, *söömine* ‘еда’, лив. *ki`zzimi* ‘опрашивание’, *rap`ni* ‘укладывание’, *jagami* ‘деление’.

Не менее уступающим по продуктивности предыдущему суффиксу является отглагольный суффикс -nta, -nda, -ndu, -nd:

1) -nta выступает в севернокарельских диалектах собственно-карельского наречия: *kapalointa* ‘пеленование’ (< *kapaloija* ‘пеленовать’), *košenta* ‘сватовство’ (< *košie* ‘свататься’), *leikintä* ‘игра’ (< *leikkie* ‘игра’), *paimennenta* ‘пастьба’ (< *paimentua* ‘пасти’), *aššunta* ‘ходьба’ (< *aštuo* ‘идти’), *leikkoanta* ‘рубка; жатва’ (< *leikata* ‘рубить; жать’);

2) -nda употребляется в переходных и южнокарельских диалектах: *l’yön’d’ä* ‘битье’ (< *l’yv’v’ä* ‘бить’), *kažvanda* ‘рост’ (< *kažvoa* ‘расти’), *valanda* ‘литье’ (< *valoa* ‘лить’), *vejän’d’ä* ‘перевозка’ (< *ved’iä* ‘возить’), *ammunda* ‘стрельба’ (< *ambuo* ‘стрелять’), *šovvanda* ‘гребля’ (< *šovdoo* ‘грести’).

3) -ndu выступает в диалектах ливвиковского наречия: *piendu* ‘носка’ (< *pidiä* ‘носить’), *kehitändü* ‘предложение’ (< *kehittiä* ‘предлагать’), *varrastandu* ‘воровство’ (< *varrastua* ‘воровать’), *pakičendu* ‘прошение; просьба’ (< *pakita* ‘просить’), *jürizendü* ‘грохот’ (< *jüristä* ‘греметь, громохат’), *kižuandu* ‘игра’ (< *kižata* ‘играть’), *kiirehtändü* ‘спешка’ (< *kiirehtiä* ‘спешить’).

4) -nd используется в диалектах людиковского наречия: *ambund* ‘стрельба’ (< *ambuda* ‘стрелять’), *d’ürizend* ‘грохот’ (< *d’ürista* ‘греметь, громохат’), *eländ* ‘проживание’ (< *el’ädä* ‘жить’), *lähtend* ‘уход’ (< *l’ähtä* ‘отправляться’), *kündänd* ‘пахота’ (< *kündädä* ‘пахать’), *čakkadand* ‘ругань’ (< *čakata* ‘ругаться’), *tulend* ‘приход’ (< *tulla* ‘приходить’).

Данный суффикс независим от морфологических ограничений, он сочетается с любыми по строению глаголами, одно- (*šüöndä, lüöndü, suandu*), двух- (*uššönda, väzündü, virund*) и многосложными (*paimeññanta, koiraitandu, starinoičendu*).

Основным семантическим значением рассматриваемых отглагольных производных является выражение названия действия, например, *karjunta* ‘крик, кричание’, *valanda* ‘литье’, *lebäüñdä* ‘отдых’, *kyzyñdä* ‘спрашивание’, *külväñdü* ‘сев’.

Параллели этому суффиксу имеются и в близкородственных прибалтийско-финских языках. Приведем примеры: фин. *etsintä* ‘поиск’, *uusinta* ‘обновление’, *harkinta* ‘обдумывание’, вепс. *tulend* ‘приход’, *astund* ‘ходьба’, *nevond* ‘совет’, *joksend* ‘бег’, эст. *kaevand* ‘результат раскопок’, *lisand* ‘добавление’. По семантике рассматриваемые отглагольные производные карельского языка не отличаются от таковых родственных языков. Можно отметить лишь то, что в карельском языке суффикс *-nta* (*-nda, -ndu, -nd*) продуктивнее, нежели в финском, где он сочетается с глаголами первого и пятого типов (за некоторыми исключениями): *toiminta* < *toimia*, *pesintä* < *pesiä*, *lääkintä* < *lääkitä*, *valinta* < *valita*.

Литература

- Вяри Э. Продуктивные суффиксы имен в ливском языке // Вопросы финно-угорского языкознания. 3. М., 1965.
- Зайков П. М. Грамматика карельского языка. Петрозаводск, 1999.
- Майтинская К. Е. Венгерский язык. Ч. 2. Грамматическое словообразование. М., 1959.
- Макаров Г. Н. Образцы карельской речи. Л., 1969.
- Макаров Г. Н., Рягов В. Д. Образцы карельской речи. Л., 1963.
- Образцы карельской речи / Сост. В. Д. Рягов. Л., 1980.
- Основы финно-угорского языкознания. Прибалтийско-финские, саамские и мордовские языки. М., 1975.
- Рягов В. Д. Тихвинский говор карельского языка. Л., 1977.
- Словарь карельского языка (ливиковский диалект) / Сост. Г. Н. Макаров. Петрозаводск, 1990.
- Словарь карельского языка (тверские говоры) / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 1994.
- Genetz A. Wepsän pohjoiset etujoukot // Kieletär I:4. Helsinki, 1872.
- Genetz A. Tutkimus Venäjän karjalan kielestä // Suomi II:14. Helsinki, 1880.
- Genetz A. Tutkimus Anuksen kielestä // Suomi II:17. Helsinki, 1885.
- Hakulinen L. Suomen kielen rakenne ja kehitys. Neljäs, korjattu ja lisätty painos, Helsinki, 1979.

- Karjalan kielen sanakirja. I osa // Lexica Societatis Fenno-Ugricae. Helsinki, 1968.
- Karjalan kielen sanakirja. II osa // Lexica Societatis Fenno-Ugricae. Helsinki, 1974.
- Karjalan kielen sanakirja. III osa // Lexica Societatis Fenno-Ugricae. Helsinki, 1983.
- Karjalan kielen sanakirja. IV osa // Lexica Societatis Fenno-Ugricae. Helsinki, 1993.
- Karjalan kielen sanakirja. V osa // Lexica Societatis Fenno-Ugricae. Helsinki, 2004.
- Markianova L.* Livvin murdehen morfolougii. Nominat da abusanat. Petroskoi, 1993.
- Markianova L.* Karjalan kielen kielioppi. Petroskoi, 2002. 5–9.
- Rintala P.* Sanajohdonproduktiivisuudesta ja sen rajoituksista // Tietolipas 93.
- Vesikansa J.* Nykysuomen oppaita 2. Johdokset. Porvoo, 1978.
- Virtaranta P.* Lyydiläisiä tekstejä. I // Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki, 1963. № 129.
- Virtaranta P.* Lyydiläisiä tekstejä. II // Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki, 1964. № 130.
- Virtaranta P.* Lyydiläisiä tekstejä. III // Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki, 1964. № 131.
- Virtaranta P.* Lyydiläisiä tekstejä. IV // Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki, 1976. № 132.
- Virtaranta P.* Haljärven lyydiläismurteen muoto-oppia // Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki, 1986. № 190.
- Zaikov P.* Karjalan kielen kielioppi. 5–9. 2002.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Байбурин А. К.</i> Несколько замечаний о резистентности, заимствованиях и взаимодействиях	3
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНИХ ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ	
<i>Косменко М. Г.</i> Основные концепции этноса и проблемы этнической принадлежности культур бронзового века – раннего средневековья в Карелии	8
<i>Хартанович В. И.</i> Антропологический состав карельского народа (общность и специфика территориальных групп как результат межэтнического взаимодействия)	13
<i>Филатова В. Ф.</i> Этнокультурные аспекты в изучении мезолитических древностей на территории Карелии	22
<i>Кочуркина С. И.</i> Древние карелы в финляндских исследованиях	29
<i>Тарасов А. Ю.</i> Энеолитическая индустрия каменных макроорудий Карелии в ряду европейских индустрий позднего каменного века	35
<i>Лобанова Н. В.</i> Археологические исследования на Карельском берегу Белого моря (2003–2005 гг.)	43
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ «КОНТАКТНОЙ ЗОНЫ»	
<i>Разумова И. А.</i> Этнокультурная ситуация на Кольском Севере: проблемы, аспекты и методы исследования	51
<i>Хейккинен К.</i> Национальность, пол, социальное положение исследователя и исследуемых – сложный комплекс факторов, влияющих на ход полевого этнографического исследования	56
<i>Логинов К. К.</i> К вопросу об этнолокальных и локальных группах русских Карелии	62
<i>Винокурова И. Ю.</i> Этногенетические истоки традиционных представлений о домашних птицах у вепсов	69
<i>Кузнецова В. П.</i> «Словарь живого поморского языка» И. М. Дурова как источник для изучения этнокультурных контактов	74
<i>Суутари П.</i> Перемены в национальной музыкальной культуре Карелии в 1930–50-е гг.	80
ПРИГРАНИЧЬЕ: ДИАЛОГ И СТОЛКНОВЕНИЕ КУЛЬТУР	
<i>Жуков А. Ю.</i> Этносоциальные истоки генезиса поморов. XV–XVI вв.	85
<i>Борисов И. В.</i> История горного дела Северного Приладожья	91

<i>Пулькин М. В.</i> Переводческая комиссия Архангельского Комитета Православного миссионерского общества (конец XIX в.)	97
<i>Дубровская Е. Ю.</i> Судьбы приграничья в «Рассказах о Гражданской войне в Карелии» (по материалам Архива КарНЦ РАН)	102
<i>Мусаев В. И.</i> Контрабанда в российско-финляндском пограничье как экономическая и политическая проблема (1920–30-е гг.)	106
<i>Дианова Е. В.</i> Кооперация и повседневность: будни и праздники жителей Карелии в 1920-е гг.	111
<i>Филимончик С. Н.</i> Городские школы Карелии в годы нэпа: новации и традиции	118
<i>Сенявская Е. С.</i> Влияние войн XX в. на формирование образа Финляндии и финнов в России	126
<i>Фролов Д. Д.</i> Советские и финские военнопленные 1939–1944 гг.	131
<i>Бутвило А. И.</i> Феномен национальной государственности: этнополитический и историко-правовой контекст	137
<i>Савич О. Ю.</i> Культурная жизнь в Карелии. 1940–1944 гг.	141
<i>Протасова Е. Ю.</i> «Рюсся»: кто это?	148
ФОЛЬКЛОРНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В СВЕТЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ	
<i>Криничная Н. А.</i> Мифологема сотворения мира и ее христианская трансформация (русско-карельские параллели)	155
<i>Дранникова Н. В., Ларсен Р.</i> Предания о чуди в норвежском и русском фольклоре	162
<i>Миронова В. П.</i> Карельская и ижорская эпическая традиция: к истории генетического родства	174
<i>Степанова А. С.</i> Изучение карельских причитаний в XX и начале XXI в.	179
<i>Степанова Э. П.</i> Скрытый мир плачей П. С. Савельевой	186
<i>Онегина Н. Ф.</i> Русско-вепско-карельские фольклорные связи на материале волшебной сказки	193
<i>Лызлова А. С.</i> Зооморфные персонажи – похитители женщин в русских и прибалтийско-финских волшебных сказках	199
<i>Дюжнев Ю. И.</i> На грани литературы и фольклора (о прозе В. И. Пулькина)	206
<i>Маркова Е. И.</i> Проблемы идентификации писателей Карелии в постсоветский период	211
<i>Сойни Е. Г.</i> Образ Финляндии и проблема самоидентификации в поэзии Вадима Гарднера	216

<i>Чикина Н. В.</i> Современное состояние литературы на ливвиковском наречии карельского языка	224
<i>Койвисто Р. Р.</i> Преемственная связь романа Х. Тихля «Lehti kääntyy» («Страница переворачивается») с традициями финского критического реализма	229
<i>Лойтер С. М.</i> Особенности поэтики сказок Василия Фирсова	232
ЭТНИЧЕСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ДЕРЕВЯННОМ ЗОДЧЕСТВЕ РУССКОГО СЕВЕРА	
<i>Орфинский В. П.</i> К вопросу о сохранении и возрождении национальных культур (опыт междисциплинарных исследований)	238
<i>Бодэ А. Б.</i> Древний Новгород и Москва. О возможности взаимодействия традиций в деревянном зодчестве	244
<i>Борисов А. Ю.</i> Планировочные формы традиционных сельских поселений: опыт исследования этнических особенностей	249
<i>Слудняков А. О.</i> О времени распространения красного угла в крестьянских избах Северо-Запада России	254
<i>Гришина И. Е., Романова М. Е., Ляля Е. В.</i> Ареальные исследования традиционных бань Карелии и сопредельных территорий	260
<i>Косенков А. Ю., Ляля Е. В.</i> Геоинформационные технологии в изучении архитектурного наследия (на примере деревни Рубчейла)	265
<i>Патрашкова Н. А.</i> Архитектурно-планировочное решение этнолитературного музея в деревне Хайкола	270
<i>Воронецкая И. Ю.</i> О проектировании этноэкологических поселений в Карелии	275
БУБРИХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ В ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКОМ РЕГИОНЕ	
<i>Клементьев Е. И.</i> Языковое право, политика, практика	280
<i>Grünthal R.</i> Itämerensuomalaisten kielten muutos suomalais-ugrilaisen kieli-kunnan periferiassa (Прибалтийско-финские языки на финно-угорской языковой периферии)	285
<i>Õispuu J.</i> Kaunokirjallisuus kirjakielen elvyttämisprosessin osana (aunuksen-karjala) [Художественная литература как компонент возрождения национального языка (на примере ливвиковской литературы)]	291
<i>Зайцева Н. Г.</i> Двужычие в культурном пространстве малочисленного народа	299
<i>Зайков П. М.</i> I инфинитив в диалектах карельского языка	304
<i>Koppaleva J., Kovaljova S.</i> Kirjakielten sanakirjat: historia ja nykyaika (Словари литературных языков: история и современность)	311

<i>Joki L.</i> Suomen kielen uudissanoista Kielitoimiston sanakirjassa (Неологизмы в новом толковом словаре финского языка «Kielitoimiston sanakirja»)	317
<i>Torikka M.</i> Karjalan kielen sanakirjojen hakusanoituksesta (О структуре словарной статьи в «Словаре карельского языка»)	322
<i>Федотова В. П., Бойко Т. П.</i> Собственно карельская лексика в диалектных словарях Финляндии и Карелии	327
БУБРИХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. ЛЕКСИКА И ОНОМАСТИКА КОНТАКТНОГО АРЕАЛА	
<i>Крылова О. Н.</i> Знаковая символика женского севернорусского костюма	331
<i>Керт Г. М.</i> Критерии идентификации саамской субстратной топонимии	338
<i>Мамонтова Н. Н.</i> К вопросу о нормализации карельских и русских географических названий Карелии	347
<i>Рубцова З. В.</i> Историко-языковедческая незащищенность географических названий	352
<i>Приображенский А. В.</i> Реконструкция нарицательной лексики на материале русской топонимии Карелии разноязычного происхождения	357
<i>Колосько Е. В.</i> Характеризующая функция русского личного имени	361
<i>Пюльзю Е. А.</i> Экспрессивы со значением личностной характеристики в севернорусских говорах	366
<i>Михайлова Л. П.</i> Внешний облик русского слова в зоне этноязыкового контактирования	370
<i>Жаринова О. М.</i> Названия домашних животных в карельском языке	375
БУБРИХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ	
<i>Коробейникова С. В.</i> Стилистика и эстетика языка как один из важных разделов преподавания основ перевода в школе	379
<i>Козяр И. П.</i> Влияние русского языка на лексику финского языка в Республике Карелия (на материале финноязычных газет и журналов 1960–1980 гг.)	384
<i>Полин А. А.</i> Отражение постсоветских реалий в финноязычных СМИ Республики Карелия	389
<i>Жукова О. Ю.</i> Образ дома в вепсских обрядовых плачах	394
<i>Гилоева Н. М.</i> Семантическая классификация обобщительно-определятельных местоимений	398
<i>Родионова А. П.</i> Прибалтийско-финские послелогии на ливвиковско-карельской почве	404
<i>Филиппова Е. В.</i> Отглагольные суффиксы имен существительных в диалектах карельского языка	407

Н а у ч н о е и з д а н и е

**МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПОЛИЭТНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ПОГРАНИЧНОГО РЕГИОНА**

Материалы международной научной конференции,
посвященной 75-летию Института языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН

*Печатается по решению Ученого совета
Института языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН*

Оригинал-макет *Т. Н. Люрина*
Обложка *И. В. Хеглунд*

Серия ИД, Изд. лиц. № 00041 от 30.08.99 г. Сдано в печать 16.01.06.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнитура Times. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 30,0. Усл. печ. л. 24,2. Тираж 500 экз. Изд. № 85. Заказ 357

Карельский научный центр РАН
Редакционно-издательский отдел
Петрозаводск, пр. А. Невского, 50